



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

HARVARD COLLEGE LIBRARY

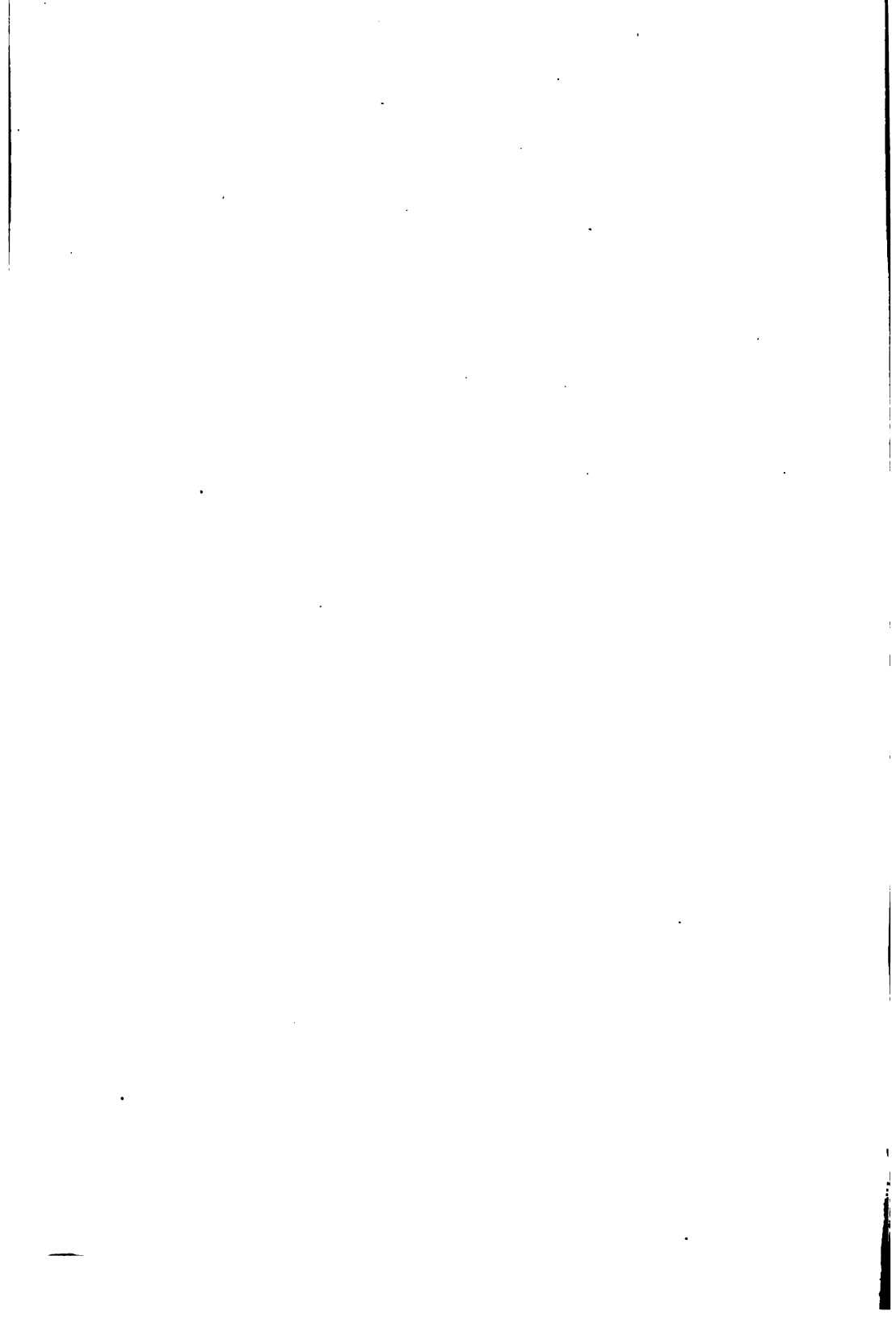
Bought with the income of
THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER





СОЧИНЕНІЯ А. Н. АПУХТИНА



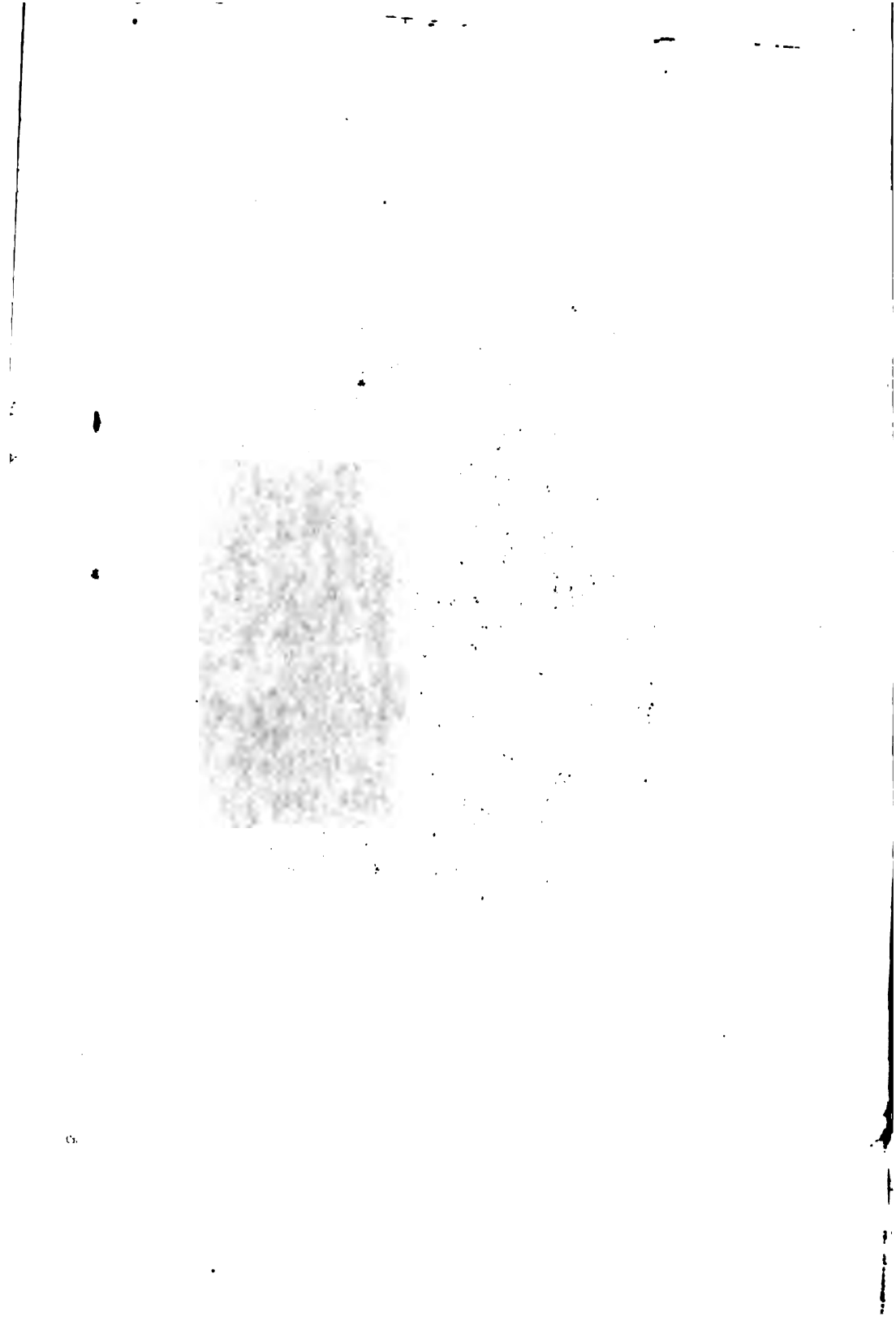


A. Suvorov

НА.

АНІЕ

ОЧЕРКОМЪ.



СОЧИНЕНІЯ

А. Н. АПУХТИНА.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОСМЕРТНОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ

СЪ ПОРТРЕТОМЪ, ФАКСИМИЛЕ И БІОГРАФИЧЕСКИМЪ ОЧЕРКОМЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ А. С. СУВОРИНА. ЭРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. 13

1900



Slav 4335.7.702



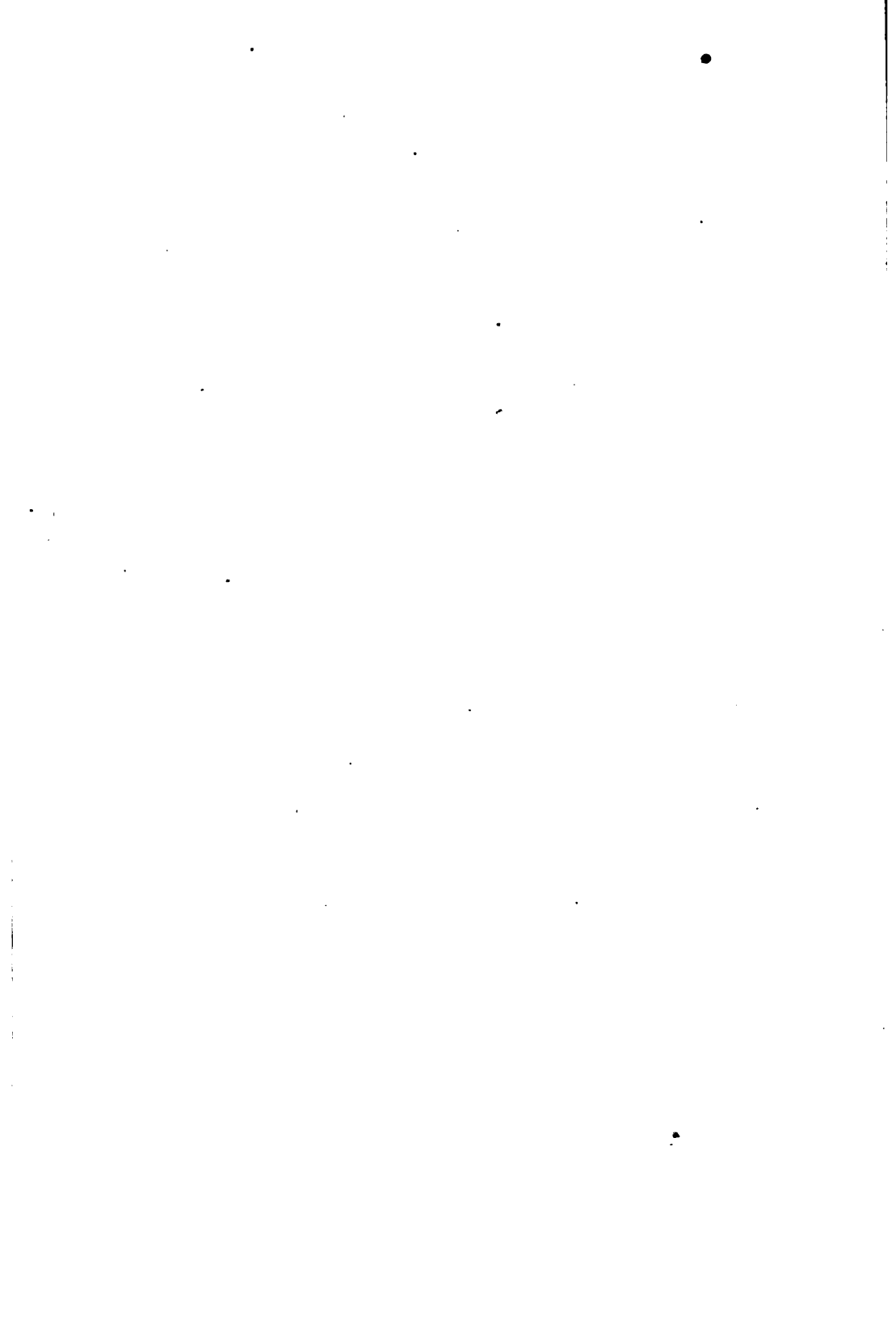
Г. Карцову.

Настойчиво, прилежно, и
Торой такнствени
Плюды моей факнази и
Ты в эту вписывал

Укрой ее от любовных
Не отдавай на суд
На слух и гул призраков
Завяжишь ~~эту~~ дули

Когда у умирусь я на де
И покорясь своей,
Одну лишь кажда/в пра
Оставлю в муть и

Пускай тебе неграде как
Сердечной дружбы на
И ты тогда забытого
Конт добрых слов



Алексѣй Николаевичъ АПУХТИНЪ.

(БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ).

Алексѣй Николаевичъ Апухтинъ родился 15-го ноября 1840 г.* въ городѣ Болховѣ, Орловской губерніи, ближайшемъ отъ своего родового имѣнія дер. Павлодаръ, Козельскаго уѣзда Калужской губерніи.

Родъ Апухтиныхъ старинный, боярскій. Отецъ поэта, отставной майоръ Николай Θεодоровичъ, уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ женился на Марьѣ Андреевнѣ Желябужской, дѣвушкѣ тоже древняго дворянскаго происхожденія. Первенцомъ этого брака былъ Алексѣй Николаевичъ.

Дѣтство его протекло среди нѣжнаго ухода и заботливости матери,—женщины, выдававшейся по уму и образованію. Рано проявившіяся поразительныя способности ребенка, его болѣзненность и слабость были причинами, исключительно связавшими самую безпредѣльную любовью мать и старшаго сына. Братья

* По метрической книгѣ значится 16-е ноябрю, но самъ поэтъ въ теченіе всей жизни праздновалъ день своего рожденія 15-го ноябрю.

А. Н. были настолько моложе его, что не могли учиться с нимъ вмѣстѣ, и весь первый пылъ материнской любви, всѣ со-кровища своего недюжиннаго по тогдашнему времени образова-нія Марія Андреевна сосредоточила на воспитаніи своего пер-венца. Сверхъ того, феноменальныя способности его внушали молодой матери сознаніе особенной отвѣтственности, возложен-ной на нее судьбою,—отсюда, кромѣ исключительныхъ заботъ объ его воспитаніи, проистекало также и совершенно исключи-тельное положеніе А. Н. въ семействѣ. Эта привычка первен-ствовать, привитая съ ранняго дѣтства, избалованность семей-наго кумира на всю жизнь поэта наложили особый отпечатокъ въ его сношеніяхъ съ людьми. Смягченныя умомъ и врожден-нымъ тактомъ, эти привычки баловня придавали какую-то ори-гинальную окраску общенію съ этою необыкновенною личностью. Правда, что талантъ, блестящее остроуміе и внѣшнія условія его болѣзненности поддерживали его права на совершенно осо-бенное положеніе въ обществѣ. Баловнемъ людей онъ началъ жить, баловнемъ сошелъ и въ могилу.

Въ отвѣтъ на граничившую съ обожаніемъ нѣжность ма-тери, А. Н. платилъ одною изъ тѣхъ привязанностей, которыя поглощаютъ всю нѣжность души, заставляютъ звучать всѣ струны сердца однимъ аккордомъ немолчнаго благоговѣнія и восторга. Всѣ родственныя и дружескія отношенія, всѣ сердечныя увле-ченія его жизни, послѣ кончины Марьи Андреевны, были только обломками этого храма сыновней любви. Память о матери была жива въ немъ до послѣднихъ дней, но, какъ святая святыхъ души, охранялась отъ вторженія постороннихъ, и очень рѣдко, только самымъ избраннымъ изъ окружавшихъ лицъ, повѣрялъ онъ неостывшую и глубокую скорбь объ ея утратѣ. Только вслѣдствіе этого сохранилось такъ мало воспоминаній его пер-ваго дѣтства: вспоминать о немъ—значило говорить о матери, а поминать ея имя все ему было больно. Но зато, если онъ заговаривалъ объ этомъ періодѣ жизни, то съ такою ясностью и отчетливостью, что несомнѣнна была неугасимая живость всѣхъ дѣтскихъ впечатлѣній въ глубинѣ глубинъ его сердца. Неза-долго до кончины А. Н. рассказывалъ мнѣ о ежегодныхъ по-ѣздкахъ съ матерью для говѣнія въ Оптину пустынь, къ вели-кому старцу Макарію. Какою непередаваемою прелестью дышалъ его рассказъ! «Такой массы и такихъ чудныхъ цвѣтовъ, какъ

въ Оптиномѣ скиту,—говорилъ онъ,—я уже потомъ во всю жизнь мою не зналъ. Мнѣ теперь кажется, что я видѣлъ тамъ голубую георгину даже...» Воспоминаніе этой обители отразилось въ поэмѣ «Годъ въ монастырѣ».

Поэтическій даръ А. Н. сказался очень рано; сначала онъ выражался въ страсти къ чтенію и къ стихамъ преимущественно, при чемъ обнаружилась его изумительная память, во всей свѣжести сохранившаяся до кончины. Разъ прочесть стихотвореніе почти значило для него уже выучить его наизусть. До 10-ти лѣтняго возраста онъ уже зналъ Пушкина и Лермонтова и, одновременно съ ихъ стихами, декламировалъ и свои собственные.

Въ 1852 году Марья Андреевна отвезла своего любимца въ Петербургъ и отдала въ приготовительный классъ Императорскаго Училища Правовѣдѣнія. Тамъ сразу феноменальный мальчикъ обратилъ на себя вниманіе и начальства, и товарищей, такъ что поступленію его въ VII-й (низшій) классъ Училища Правовѣдѣнія уже предшествовала слава «будущаго Пушкина».

Превосходная домашняя подготовка, подъ руководствомъ матери, и выдѣляющіяся способности мальчика сдѣлали то, что онъ сразу перешагнулъ черезъ классъ: весною 1853 года онъ блистательно выдержалъ экзаменъ въ VII-й классъ, а осенью того же года, послѣ каникулъ, держалъ экзаменъ и поступилъ въ высшій, VI-й классъ Училища.

Помимо тягостной разлуки съ матерью, переходъ изъ семейной обстановки въ училищную не могъ быть особенно тяжелъ для юнаго поэта. Его талантъ, съ большою яркостью проявившійся уже въ то время, и блестящіе успѣхи въ наукахъ сразу поставили его въ глазахъ высшаго начальства въ исключительное положеніе. Съ другой стороны, природный юморъ, остроуміе и ореолъ «будущей знаменитости» выдвинули его на первый планъ и среди товарищей. Онъ сталъ первенствовать въ Училищѣ, какъ первенствовалъ въ своей семьѣ. Впечатлѣніе, производимое его личностью, доходитъ до того, что Августѣйшій Попечитель И. У. П. принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій удостоиваетъ юношу, не въ примѣръ прочимъ, личными бесѣдами и даже собственноручными письмами. Директоръ училища, А. П. Языковъ, на время, свободное отъ занятій, поселяетъ его въ своей квартирѣ, хлопочетъ о помѣщеніи въ печати поэтическихъ произведеній молодого поэта и дости-

гасть цѣли. Благодаря этому содѣйствію, газета «Русскій Инвалидъ» въ 1854 году печатаетъ стихотвореніе «Эпаминондъ» *, посвященное памяти адмирала Корнилова, а въ 1855 г. «Подажаніе арабскому» **. «Ода на рожденіе Великой Княжны

ЭПАМИНОНДЪ.

Когда на лаврахъ Мантиней
Герой Эллады умиралъ,
И сонмъ друзей, держа трофеи,
Страдальца ложе окружалъ,
Мгновенный огонь одушевленья
Взоръ потухавшій озарилъ.
И такъ, со взоромъ убѣжденья,
Онъ окружавшимъ говорилъ:
«Друзья, не плачьте надо мною!
«Не долговѣченъ нашъ удѣлъ:
«Блаженъ, кто жизни суетою
«Еще измѣрить не успѣлъ,
«Но кто за честь отчизны милой
«Ея во вѣки не щадилъ,
«Разилъ врага,—и надъ могилой
«Его незлобиво простилъ!
«Да, я умру, и прахъ мой тлѣнный
«Пустынный вихоръ разнесетъ:
«Но счастье родины священной
«Красою новой зацвѣтетъ!»
Умолкъ... Друзья его внимали...
И видѣль мѣсяцъ золотой,
Какъ, наклонившись, рыдали
Они надъ урной роковой.
Но слава имени героя
Его потомству предала,
И этой славы, взятой съ боя,
И смерть сама не отняла.

Пронзень ядромъ въ пылу сраженья,
Корниловъ мертвъ въ гробу лежитъ...
Но всей Руси благословенье
И въ міръ иной за нимъ летитъ.
Еще при грозномъ Наваринѣ
Онъ украшеньемъ флота былъ;
Поборникъ правды и святыни,
Враговъ отечества громилъ,
И Севастополь величавый
Надежнѣй стѣнъ оберегалъ...
Но смерть поспорила со славой,
И вѣрный сынъ Россіи палъ,

* «Русскій Инвалидъ», 1854 г., № 240.

** «Русскій Инвалидъ», 1855 г., № 71.

Вѣры Константиновны» черезъ милостивое посредство принца, П. Г. Ольденбургскаго, въ томъ же году, доходить до свѣдѣнія Высочайшаго Двора.

Рѣдко кому при первыхъ шагахъ дѣятельности приходится встрѣтить столько сочувствія и поощреній, какъ А. Н. Не

За славу, честь родного края,
Какъ древнѣй грекъ, онъ гордо палъ
И, все земное покидая,
Онъ имя родины призывалъ.
Но у безсмертія порога
Онъ, вѣрой пламенной горя,
Какъ христіанинъ, вспомнилъ Бога,
Какъ вѣрнопопданный—царя!
О, пусть же ангелъ свѣтозарный
Твою могилу осѣнитъ,
И гимнъ Россіи благодарной
На ней немолчно зазвучитъ!

ПОДРАЖАНІЕ АРАБСКОМУ.

Въ Аравіи знойной понинѣ живетъ
Усопшаго Междѣ счастливый народъ.
И мудры ихъ старцы, и жены прекрасны,
И юношей сонмы гяурамъ ужасны.
Но какъ затмеваются звѣзды луной,
Такъ всѣхъ затмевалъ ихъ Набекъ молодой.

Прекрасенъ онъ былъ, и могучъ, и богатъ.
Въ степяхъ Аравійскихъ верблюдовъ и стадъ
Имѣлъ онъ въ избыткѣ, отраду Востока,
Но краше всѣхъ благъ и даровъ отъ Пророка
Его кобылица гнѣдая была,—
Изъ пламени ада литая стрѣла.

Чтобъ ей удивляться, изъ западныхъ странъ
Къ нему притекали толпы мусульманъ;
Язычникъ и рыцарь въ желѣзѣ и стали,
Поэты ей сладкія пѣсни слагали,
И славный пѣвецъ аравійскихъ могилъ
Набеку такіа слова говорилъ:

«Ты, солнца свѣтлѣйшій, богатъ не одинъ;
«Такихъ же, какъ ты, я богатствъ властелинъ;
«Отъ выси Синая до стѣнъ Абушера
«Побѣдой прославлено имя Дагера.
«Но, море святое увидя со скалъ,
«На пѣснь и пѣвницу я мечъ промѣнялъ.

только семья, наставники и товарищи высказывают живой интересъ къ расцвѣту его таланта, но на его долю выпадаетъ завидное счастье найти сочувственниковъ въ такихъ писателяхъ, какъ И. С. Тургеневъ и А. И. Фетъ. Юношей еще, въ каникулярное время, нашъ поэтъ видится съ ними, какъ съ сосѣдями и близкими Марья Андреевнѣ людьми, вступаетъ, не-

«И вотъ я узналъ кобылицу твою
«Я къ ней пристрастился... и, рабъ твой, молю
«Отдать съ нею мнѣ и минуты покою.
«На что мнѣ богатства? Они предъ тобою...
«Возьми ихъ себѣ и владѣй ими вѣкъ!»
Молчаньемъ суровымъ отвѣтилъ Набекъ.

Вотъ ѣдетъ Набекъ по равнинамъ пустымъ
Аравіи знойной... И видитъ: предъ нимъ
Склоняется старецъ въ одеждѣ убогой:
«Аллахъ тебѣ въ помощь и милость отъ Бога,
«Набекъ милосердный». — «Ты знаешь меня?»
— «Твоей не узнать кобылицы нельзя».

— «Ты бѣднѣ?» — «Богатство меня не манитъ,
«А голодъ терзаетъ и жажда томитъ
«Въ пустынь безслѣдной, три дня и три ночи
«Не вѣдали сна утомленные очи, —
«Изъ этой пустыни исторгни меня».
И слышитъ: — «Садися ко мнѣ на коня».

— «О, путникъ! и радъ бы да силъ уже нѣтъ», —
Быль дряхлаго нищаго слабый отвѣтъ.
«Но ты мнѣ поможешь во имя Пророка!»
Слѣзаетъ Набекъ во мгновеніе ока,
И нищій, поддержанъ могучей рукой,
Свободенъ сидитъ ужъ на шеѣ крутой.

И старца внезапно мѣняется видъ:
Онъ съ юной отвагой коня горячитъ,
И конь, распутивши широкую гриву,
Въ пустынь понесся, веселый, игривый;
Блеснули на солнцѣ, исчезли въ пыли,
Лишь имя Дагера звучало вдали!

Набекъ пораженный какъ громомъ стоитъ,
Не видитъ, не слышитъ и мраченъ молчитъ,
Вездѣ предъ очами его кобылица,
А солнце пустыню палитъ безъ границы,
А весь онъ осыпанъ пескомъ золотымъ,
А груди червонцевъ лежатъ передъ нимъ.

3-го февраля 1855 г.

смотря на разницу лѣтъ, въ пріятельскія отношенія и пользуется ихъ совѣтами и поощреніями.

Во время всего пребыванія въ Училищѣ А. Н. оказывалъ блестящіе успѣхи въ наукахъ: при всѣхъ переходахъ изъ класса въ классъ онъ былъ награждаемъ и считался изъ самыхъ первыхъ учениковъ.

Темнымъ пятномъ этого свѣтлаго вступленія въ жизнь было слабое здоровье и физическая слабость. Лица, знавшія Апухтина въ эти годы, видятъ передъ собою слабое тщедушное созданіе, съ задумчивыми глазами и съ вѣчно подвязанною щекой. Весною 1858 года онъ такъ боленъ, что не въ силахъ держать переходнаго экзамена, поступаетъ въ I (последній) классъ осенью и затѣмъ въ теченіе всего учебнаго года живетъ въ лазаретѣ училища.

Самая радостная эпоха въ жизни молодыхъ людей — окончаніе курса наукъ, для А. Н. была, напротивъ, эпохой самаго тяжкаго испытанія и скорби. 23-го апрѣля 1859 г., во время разгара выпускныхъ экзаменовъ, скончалась Марья Андреевна. Это было горе, равнаго которому онъ уже не зналъ до конца своей жизни.

Награжденный при выпускѣ золотою медалью, А. Н. поступаетъ, въ маѣ 1859 года, на службу въ департаментъ министерства юстиціи. Служебная карьера не составляетъ интереса его жизни и къ своимъ обязанностямъ чиновника онъ относится небрежно, какъ бы шутя. Его гораздо болѣе занимаетъ литературная дѣятельность, и онъ выступаетъ съ небольшими стихотвореніями въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ того времени.

Дослужившись до званія младшаго помощника столоначальника, онъ въ концѣ 1862 года оставляетъ министерство юстиціи, еще ранѣе, до этого, удалившись въ деревню. Къ этому же времени относится почти полное исчезновеніе его имени съ заголовковъ періодическихъ изданій. Восторженный поклонникъ Пушкина, Лермонтова, Баратынскаго и Тютчева, совершенно чуждый господствовавшему тогда направленію въ изящной словесности, онъ не находитъ сочувствія характеру своей поэзіи въ литературныхъ заправилахъ того времени и отказывается надолго отъ печатанія своихъ стихотвореній, но литературной дѣятельности все-таки не прекращаетъ. Онъ продолжаетъ творить, а въ 1863 году, въ бытность свою въ Орлѣ, въ качествѣ

старшаго чиновника по особымъ порученіямъ при губернаторѣ, устраиваетъ рядъ публичныхъ лекцій о Пушкинѣ, объ его отношеніи къ произведеніямъ котораго я буду говорить ниже.

Въ 1864 году А. Н. возвращается въ Петербургъ, номинально причисляется къ министерству внутреннихъ дѣлъ, окончательно отказавшись отъ служебной карьеры, и уже до самой кончины только на небольшіе промежутки времени покидаетъ столицу. Эти годы совпадаютъ съ проявленіемъ того тяжелаго недуга, который совершенно незамѣтно началъ подкрадываться къ нему еще ранѣе и подъ конецъ, переродившись въ водяную, свелъ его въ могилу. Недугъ этотъ — ожирѣніе — не поддававшийся никакому лѣченію, съ годами довелъ его до состоянія настоящаго убожества. Къ счастью, однако, страданій въ прямомъ смыслѣ онъ не причинялъ. А. Н. мучился только въ лежачемъ положеніи отъ затрудненнаго дыханія и при движеніи. Въ послѣдніе годы двадцати шаговъ, пройденныхъ по комнатѣ, уже было достаточно, чтобы вызвать одышку и утомленіе, отъ которыхъ онъ не могъ отдѣлаться въ теченіе нѣсколькихъ минутъ.

Періодъ средины шестидесятыхъ годовъ — самый бѣдный произведеніями его музы. Къ тому немногому, что сочиняетъ, онъ относится такъ небрежно, что отъ стиховъ этого времени почти ничего не сохраняется. Но съ 1868 г. вдохновеніе снова начинаетъ сказываться въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ произведеній («Реквиемъ», «Ниобея», «Ночь въ Монплеизирѣ», «Моленіе о чашѣ», «Ночи безумныя», «Старая любовь» и проч.) и одновременно снова возрождается та извѣстность, которая съ теченіемъ времени все болѣе разрасталась. Хотя онъ стиховъ своихъ не печатаетъ, но уже не скрываетъ ихъ, какъ прежде, отъ друзей, а записываетъ ихъ въ особенной книжечкѣ, доступной всѣмъ почитателямъ его таланта. Они переписываются все увеличивающеюся толпой поклонниковъ и получаютъ огромное распространеніе. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ извѣстность А. Н. уже замѣтно разрастается и сборникъ его стихотвореній принимаетъ размѣры изряднаго тома.

Лѣтомъ 1870 года нашъ поэтъ совершаетъ давно задуманное паломничество въ Святогорскій монастырь, на могилу Пушкина, и въ этомъ же году, позднимъ лѣтомъ, поселяется на Малой Итальянской улицѣ, близъ Греческой церкви, въ домѣ княгини

Мосальской. Въ теченіе почти 20-ти лѣтъ онъ живетъ въ этой квартирѣ и внѣшній образъ жизни его, бѣдный событіями, остается такъ же неизмѣненъ, какъ и мѣстопробываніе. Волѣнненное состояніе все возрастаетъ и нѣкоторая подвижность, выражающаяся въ первое время этого періода въ частыхъ, но краткихъ отлучкахъ въ Москву, Ревель, Кіевъ, два раза за границу и въ Орловскую губернію,—постепенно замедляется и окончательно прекращается за нѣсколько лѣтъ до кончины.

Изъ двухъ путешествій въ чужія сараны, первое совершается А. Н. исключительно для лѣченія—въ Карлсбадъ, и оставляетъ очень незначительный слѣдъ въ его впечатлѣніяхъ. Второе же, сдѣланное ради удовольствія въ сѣверную Германію, южную Францію и затѣмъ въ Миланъ и Венецію, гораздо болѣе понравилось ему, но не настолько однако, чтобы разсѣять то равнодушіе, почти презрѣніе, которое онъ всегда выказывалъ ко всему чужеземному. Несмотря на очень свѣтлыя воспоминанія этой поѣздки въ Италію, онъ, имѣя и досугъ, и средства, все-таки никогда туда не вернулся.

Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ А. Н., хотя его произведенія не появляются въ печати*,—уже настоящая литературная знаменитость. Его стихотворенія въ рукописи расходятся въ огромномъ количествѣ, и имя его становится популярнымъ не только среди того общества, въ частицѣ котораго онъ вращался, но проникаетъ и въ специально литературные кружки: актеры и декламаторы читаютъ ихъ съ эстрады. Но, только приближаясь къ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ, Апухтинъ уступаетъ увѣщаніямъ и просьбамъ почитателей его таланта и рѣшается снять имъ самимъ наложенный запретъ на печатаніе своихъ стиховъ. Съ 1884 года его имя опять украшаетъ лучшія періодическія изданія: «Вѣстникъ Европы», «Русскую Мысль» и «Сѣверный Вѣстникъ», а въ 1886 году появляется собраніе его стихотвореній. Изданное въ количествѣ 3,000 экземпляровъ, оно быстро расходуется.

Въ 1889 году А. Н. покидаетъ свою квартиру на М. Итальянской и переселяется на Кирочную улицу, въ домъ Жедринскаго. Съ этимъ переездомъ связано начало очень важной эпохи его

* Если не считать рѣдкихъ появленій его имени въ случайныхъ сборникахъ и въ «Гражданинѣ».

творчества. До тѣхъ поръ почти не дѣлая никакихъ попытокъ писательства прозой, онъ становится романистомъ. Сначала онъ задумываетъ большой романъ, рисующій эпоху перехода отъ временъ Императора Николая I къ эпохѣ великихъ реформъ слѣдовавшаго царствованія. Но едва доведя романъ до окончанія четверти начертаннаго плана, отлагаетъ его довершеніе и пишетъ подъ-рядъ три повѣсти: въ 1890 г. — «Изъ архива графини Д.», въ 1891 г. — «Дневникъ Павлика Дольскаго» и въ 1892 г. — «Между смертью и жизнью». Въ его собственномъ чтеніи, вѣстать сказать превосходномъ, всѣ три вещи имѣютъ огромный успѣхъ среди слушателей самаго разнообразнаго рода. Но никакіе восторженные отзывы людей компетентныхъ, никакія просьбы и увѣщанія издателей не могутъ вызвать у А. Н. согласія на печатаніе ихъ.

Въ 1891 году, весною, появляются первыя грозныя проявленія водяной болѣзни, унесшей его въ могилу. Благодаря энергическому лѣченію, страшные симптомы почти проходятъ и возвращаются только два года спустя, въ февралѣ 1893 года. Всѣ усилія побѣдить болѣзнь на этотъ разъ были безуспѣшны. Съ февраля по августъ продолжалась неустанная борьба со смертью. Въ серединѣ лѣта, однако, нѣкоторое, чисто внѣшнее, облегченіе дало возможность бѣдному страдальцу переѣхать на новую квартиру, на Милліонной улицѣ, гдѣ вскорѣ настало послѣднее ухудшеніе и затѣмъ — смерть. 17-го августа А. Н. тихо скончался.

Послѣ матери главную роль въ духовной жизни нашего поэта играетъ Пушкинъ. Съ дѣтскихъ лѣтъ, по его собственному выраженію, «онъ обожалъ и зналъ наизусть любимаго поэта» и до самой кончины неизмѣнно оставался вѣренъ своему культу. Пушкинъ — поэтъ, драматургъ, романистъ и человѣкъ — были въ одинаковой степени возвышеннымъ идеаломъ всей его жизни. Апухтинъ не только поклонялся ему, какъ величайшему писателю, онъ его любилъ, какъ любятъ живыхъ людей, со всѣми ихъ недостатками. Говорить о немъ онъ не могъ безъ умиленія и въ зрѣлыхъ лѣтахъ, какъ въ дѣтствѣ, чтить память его въ самыхъ трогательныхъ проявленіяхъ чисто сыновней любви. Ради «великаго учителя» А. Н. рѣшается на такія дѣйствія, которыя всѣмъ лицамъ, близко его знавшимъ, кажутся совершенно ему несвойственными. Питая какой-то болѣзненный страхъ къ

«улицѣ», толпѣ, публикѣ,—онъ публично выступаетъ въ Орлѣ на кафедрѣ, въ качествѣ лектора о Пушкинѣ. Нѣсколько изнѣженный, не любящій никакихъ внѣшнихъ безпокойствъ, считающій путешествіе въ купе I-го класса «тяжкимъ наказаніемъ», боязливый даже во время ѣзды въ каретѣ по городу, онъ отваживается на путешествіе при полномъ отсутствіи комфорта, только для того, чтобы поклониться могилѣ великаго поэта, при чемъ дѣйствительно подвергается опасности. Двое бродягъ дѣлаютъ попытку остановить тарантасъ, и только благодаря энергіи спутника и хорошимъ лошадямъ, А. Н. избѣгаетъ большой непріятности, можетъ быть,—смерти. Затѣмъ, очень недовѣрчиво относясь къ людямъ, взмывающимъ какое-нибудь проявленіе общественнаго настроенія, всегда готовый мѣтко и остроумно отрезать преувеличенное увлеченіе и изъ глубины своего дивана на Итальянской съ саркастическою улыбкой глядящій на суетню людскую, постоянно боящійся быть смѣшнымъ въ собственныхъ глазахъ, очень щепетильный во всякихъ разговорахъ о деньгахъ,—онъ суетится, ѣздитъ, проситъ, чтобы собрать сумму на памятникъ Пушкина и къ 400 руб. своей колллекты присоединяетъ изъ своихъ, по его собственному выраженію, «ограниченныхъ средствъ» — 100 рублей. Мало того, врагъ всякихъ юбилеевъ и торжественныхъ собраний, гдѣ неизбежно является нѣкоторая приподнятость тона и преувеличеніе значенія празднуемаго событія,—онъ груститъ въ день открытія памятника Пушкина въ Москвѣ и жалуется, что никто не вспомнилъ пригласить его на это торжество. Вотъ что онъ пишетъ П. И. Чайковскому 6-го іюня: «Въ этотъ знаменитый день, пока на бульварѣ сердца Россіи М. и Г. открывали плохой памятникъ великому поэту, при чемъ ругались и дрались «по маленькой», чтобы не потерять привычки, бѣдный, всѣми забытый, поэтъ Апухтинъ сидѣлъ на своемъ диванѣ и томился размышленіями самаго грустнаго свойства. Онъ думалъ, что имѣетъ не меньше правъ принять участіе въ праздникѣ. Во-первыхъ, онъ съ дѣтскихъ лѣтъ обожалъ и зналъ наизусть любимаго поэта. Затѣмъ, когда М. и Г., вслѣдъ за Писаревымъ, глумились и издѣвались надъ великой тѣнью, Апухтинъ всѣми силами защищалъ вышедшее тогда изъ моды и поруганное знамя. Сверхъ того, ему казалось, что если бы воскресъ Пушкинъ, то предпочелъ бы его, Апухтина, стихи стихамъ М. или, чего Боже избави! даже Г., буде таковыя бы ока-

зались. Конечно, онъ бы могъ напомнить о себѣ, сунуться даже, но не сдѣлалъ этого изъ скромности, а можетъ быть изъ гордости. Такъ или иначе, но онъ забытый. И цѣлый день преслѣдовали его эти мысли, которыя, по возвращеніи его домой, разрѣшились приливомъ кромѣшной тоски. Чтобы развлечься, онъ надѣлъ бѣлый халатъ, зажегъ всѣ свѣчи и началъ декламировать любимыя стихотворенія Пушкина, переходя съ кресла на кресло и проливая обильныя слезы. Онъ былъ смѣшонъ, но немножко и жалокъ».

Другими свѣточами художественнаго развитія Алексѣя Николаевича, но значительно меньше вліявшими на него, были Лермонтовъ, но только какъ стихотворецъ, Грибоѣдовъ, какъ творецъ «Горе отъ ума», и Баратынскій, этотъ поэтъ для многихъ. Безъ того безусловнаго поклоненія, которое онъ воздавалъ Пушкину, онъ изучилъ и зналъ ихъ творенія наизусть. Ни однимъ стихомъ ихъ нельзя было привести его въ замѣшательство или заблужденіе.

Здѣсь встаетъ отмѣтить то странное явленіе, что Апухтинъ никогда не могъ понять высокаго значенія произведеній Гоголя и совершеннѣйшія изъ нихъ, «Мертвыя души» и «Ревизоръ», считалъ слабѣйшими.

Изъ иностранныхъ языковъ А. Н. основательно зналъ только французскій; поэтому великіе итальянцы, англичане и нѣмцы почти не имѣли вліянія на его творчество. Среди французовъ любимѣйшими учителями его были: Андре Шевье и Альфредъ Мюссе. Викторъ Гюго, какъ поэтъ, оставался ему всегда чуждъ; онъ скорѣе цѣнилъ его, какъ автора «Notre-Dame» и «Les travailleurs de la mer». Но вообще, вслѣдствіе привитаго съ дѣтства чувства какой-то исключительно горячей любви ко всему родному, русскому, Апухтинъ съ молодости до конца жизни проявлялъ относительную холодность ко всѣмъ явленіямъ западной литературной жизни.

Русская природа, русскіе люди, русское искусство и русская исторія составляли для него основной, можно сказать, исключительный интересъ существованія.

Какъ почти всѣ родственныя чувства А. Н. были поглощены любовью къ матери, какъ любовь къ Россіи отодвигала на второй планъ живое отношеніе ко всему иностранному,—такъ же среди искусствъ любовь къ литературѣ, и изъ всѣхъ

литературь—къ русской, почти исключала любовь къ другимъ искусствамъ.

Я уже говорилъ о значеніи Пушкина, какъ «учителя» и образа въ жизни А. Н. Не имѣя для него того воспитательнаго значенія, рядомъ съ именемъ любимаго поэта въ его мнѣніи стояло имя графа Л. Н. Толстого. Когда въ пятидесятыхъ годахъ явились въ печати первыя произведенія графа безъ подписи, Апухтинъ сразу, въ числѣ очень немногихъ, оцѣнилъ красоту ихъ. Заинтересованный именемъ восхитившаго его писателя, онъ бѣжитъ къ Тургеневу подѣлиться своими впечатлѣніями и узнаетъ съ тѣхъ поръ надолго—до появленія «Смерти Ивана Ильича» включительно—священное для него имя нашего великаго романиста. Какъ Пушкину, онъ посвящаетъ ему восторженное поклоненіе, не допускающее никакого другого критическаго отзыва, кромѣ Гётевскаго «So wollt' er's machen», ждетъ cadaго новаго произведенія Льва Николаевича, какъ манны небесной, но, съ восторженною благодарностью принимая каждую художественную строчку гениальнаго писателя, онъ все же оказываетъ предпочтеніе нѣкоторымъ его твореніямъ. Такъ любимѣйшими были всегда «Казаки» и «Дѣтство», которыхъ онъ не уставалъ перечитывать безъ конца. Со времени наступленія молчанія великаго художника и появленія проповѣдника, только изрѣдка облакающаго свою мудрость въ художественную форму, отношеніе Апухтина къ личности Толстого измѣнилось. Все, что вышло съ этой поры изъ-подъ пера Л. Н., причиняло нашему поэту не радость и счастье, а скорбь, которую онъ долго таилъ про себя, но, наконецъ, не выдержалъ и въ горячемъ письмѣ высказалъ своему кумиру. Отвѣта на это письмо не послѣдовало.

Изъ другихъ современныхъ ему писателей почетнѣйшее мѣсто въ его мнѣніи занималъ изъ поэтовъ: Тютчевъ, а вслѣдъ за нимъ Фетъ, гр. А. Толстой и отчасти Полонскій. Тургеневъ, Достоевскій и Островскій послѣ гр. Л. Н. были любимѣйшими его авторами, но далеко не во всѣхъ ихъ произведеніяхъ.

Вслѣдъ за литературой, А. Н. болѣе всего интересовался исторіей, какъ и во всемъ, конечно, русскою и преимущественно прошлаго столѣтія. Наши историческіе журналы и изданія были его постояннымъ чтеніемъ. Наиболѣе плѣнялъ и захватывалъ его интересъ—вѣкъ Екатерины. Среди историческихъ лицъ въ

его умѣ эта величественная фигура царила такъ же властно и всепоглощающе, какъ мать, Россія, Пушкинъ и Л. Толстой,—каждый въ своей области. Малѣйшія подробности частной жизни монархини, такъ же какъ и все великое, что она совершила, были имъ изучены во всѣхъ подробностяхъ.

Изъ другихъ искусствъ—драматическое и музыка единственно играли нѣкоторую роль въ жизни А. Н. Но въ томъ и другомъ дальше самаго скромнаго дилетантизма онъ не заходилъ. Оставаясь вѣрнымъ себѣ, онъ и тутъ родной театръ и родную музыку предпочиталъ чужеземнымъ. Въ молодости восхищался Мартыновымъ, въ шестидесятихъ годахъ, въ обществѣ нѣсколькихъ представителей золотой молодежи, одно время ежедневно посѣщалъ Александринскій театръ, увлекался талантомъ Брошель. Но уже съ начала семидесятихъ годовъ онъ въ драматическіе театры заглядываетъ только «ради компаніи» или какого-нибудь выходящаго изъ ряда явленія и находитъ пріятнымъ развлеченіемъ только участіе и даже простое присутствіе въ любительскихъ спектакляхъ. Будучи неподобнымъ декламаторомъ, актеромъ онъ былъ посредственнымъ. Мѣра его любви къ сценическому искусству сказывается въ парадоксѣ, который онъ часто любилъ повторять, что «артисты никогда не могутъ такъ хорошо играть, какъ любители».

Въ музыкѣ,—любя самъ себя обманывать поклоненіемъ Моцарту и Бетховену, которыхъ, въ сущности, очень мало зналъ,—онъ искренно восторженно относится только къ «Руслану» Глинки, «Русалкѣ» Даргомыжскаго и «Евгенію Онѣгину» своего друга П. Чайковскаго. Въ продолженіе многихъ лѣтъ онъ не пропускалъ ни одного представленія первыхъ двухъ оперъ и зналъ ихъ, какъ дилетантъ, въ совершенствѣ. Пушкинское имя играло огромную роль въ этой любви, но не главную, во всякомъ случаѣ, потому что рядомъ съ названными операми «Борисъ» Мусоргскаго, «Мазепа» Чайковскаго и «Каменный гость» Даргомыжскаго не нравились ему нисколько. Затѣмъ во всемъ остальномъ, какъ большинство дилетантовъ, съ одинаковымъ удовольствіемъ слушалъ истинно-прекрасное и шаблонно-пошлое. Романсы Глинки и цыганскія пѣсни одинаково вызывали въ немъ умиленіе и восторгъ. Нѣкоторое относительное благородство вкуса выказывалось только въ безусловномъ отвращеніи къ опереткѣ.

А. Н. при жизни пользовался вмѣстѣ со славой писателя,

въ равной степени, извѣстностью своего остроумія. И дѣйствительно, болѣе чарующаго, неисчерпаемо интереснаго, тонкаго въ наблюденіяхъ, искрящагося мѣткими и изящными «словами» собесѣдника нельзя себѣ представить. Но при этомъ надо оговориться: большинство людей, не имѣвшихъ случая сталкиваться съ нимъ въ жизни, составили себѣ представленіе о немъ, какъ о какомъ-то Мефистофелѣ, зло и безпощадно осмѣивающемъ все на свѣтѣ. Постоянно — стоило появиться въ обществѣ какой-нибудь ѣдкой сатирѣ, язвительному словцу, какъ оно неизбѣжно молвой приписывалось ни въ чемъ неповинному Апухтину. Ничего нѣтъ невѣрнѣе этого. Его натура была слишкомъ мечтательно-созерцательная, онъ былъ слишкомъ безучастенъ къ современности, слишкомъ мало дѣятель, чтобы негодовать, карать и язвительно осмѣивать. Внѣшнія обстоятельства и болѣе всего его болѣзненное состояніе поставили его въ положеніе зрителя, а не актера въ общественной жизни; она протекала мимо, почти его не затрогивая, и онъ глядѣлъ на нее съ интересомъ, но безстрастно, съ легкою насмѣшливою улыбкой; въ ней не чувствовалось ничего жестокаго, ядовитаго, ничего сатирическаго. Это былъ просто необычайно тонкій наблюдатель, умѣвшій высказываться ярко, картинно и съ непередаваемымъ юморомъ. Главная прелесть его «словечекъ» и экспромтовъ заключалась въ ихъ неожиданности, въ той быстротѣ, съ которою онъ умѣлъ поворачивать вещи, освѣщая ихъ смѣшныя стороны, въ интонаціи, въ величаво-добродушной улыбкѣ, съ которою онъ произносилъ ихъ, а главное — въ той изящной, прихотливой формѣ, въ которую они облекались имъ. При малѣйшемъ уклоненіи отъ нея вся соль пропадала; поэтому дать понятіе объ обаятельномъ впечатлѣніи ихъ простымъ пересказомъ невозможно.

Не одно остроуміе составляло очарованіе его общества. Онъ былъ интересенъ и жилъ какъ въ веселомъ настроеніи, когда съ неподражаемымъ юморомъ и виртуозностью умѣлъ сообщать свое веселье другимъ, такъ и въ меланхолическомъ. Тогда онъ декламировалъ. Можетъ быть, съ точки зрѣнія требованій, представляемыхъ къ декламатору съ эстрады, къ актеру, декламация эта была неправильна, монотонна, но, несмотря на это, несмотря на букву «л», выговариваемую какъ «у», въ каждомъ стихѣ, произносимомъ имъ слегка на-распѣвъ, какъ бы лаская каждое созвучіе, слышалась такая любовь къ музыкѣ стиха, такая искрен-

ность и глубина поэтического настроенія, что оно невольно общалось всѣмъ присутствующимъ.

Память у него до самой кончины оставалась такъ же феноменальна, какъ въ дѣтствѣ. Безъ большого преувеличенія можно сказать, что почти все прекрасное въ русской поэзіи онъ зналъ наизусть, и поэтому въ его декламаціяхъ произведенія Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева и др. играли такую же роль, какъ и его собственные. Эта способность импонировать, сообщать свое настроеніе окружающимъ, то чаровать ихъ остротами, шутками и экспромтами, то заставлять проникаться красотами поэзіи— были причинами того баловства людей, которымъ онъ былъ окруженъ всю жизнь. И если бы отъ его произведеній ничего не осталось и память его нуждалась бы въ выясненіи его заслугъ, то можно было бы помянуть и ту, что, благодаря ему, любовь и интересъ къ русской поэзіи проникали туда, гдѣ часто до него объ ней ничего не знали.

Привычка быть центромъ вниманія окружающихъ, желаннымъ гостемъ всюду, куда онъ показывался, вмѣстѣ съ болѣзненнымъ состояніемъ, приковывавшимъ его половину дня къ дивану, породила ту пассивность въ сношеніяхъ съ людьми, которая мѣшала ему вращаться въ кругу людей одной съ нимъ профессіи. Онъ видѣлъ только тѣхъ, кто къ нему приходилъ, бывалъ тамъ, куда его звали, гдѣ жаждали его присутствія. Жизнь не приучила его добиваться, искать. Онъ самъ ни къ кому не шелъ навстрѣчу. Его собратья тоже, каждый увлеченный своимъ дѣломъ, безъ его напоминанія о себѣ, не шли къ нему. А. Н. встрѣчался почти со всѣми великими современниками, и только Тургеневъ и Фетъ въ молодости имѣли нѣкоторое значеніе въ его жизни; съ другими же, какъ съ Тютчевымъ, Некрасовымъ, Щербиной, Полонскимъ, А. Майковымъ, Достоевскимъ, Островскимъ и проч., онъ сталкивался только какъ свѣтскій человѣкъ. Личныя сношенія съ ними не играли никакой роли ни въ его литературной дѣятельности, ни въ жизни. Поэтому Апухтинъ никогда не принадлежалъ ни къ какому литературному лагерю, если не считать таковымъ людей, объединенныхъ культомъ хudoжественной правды.

Имѣя очень опредѣленные консервативные взгляды въ политикѣ, воспитанный въ духѣ стародворянскихъ тенденцій, какъ членъ общества, онъ, правда, относился съ нѣкоторою брезгли-

вострою къ людям противоположныхъ взглядовъ. Какъ литераторъ же, восторженно принималъ все прекрасное, не справляясь о политическихъ и философскихъ убѣжденіяхъ его создателя. Литературныя симпатіи А. Н. къ личностямъ писателей имѣли мѣриломъ только количество и качество тѣхъ художественныхъ впечатлѣній, которыя они ему давали.

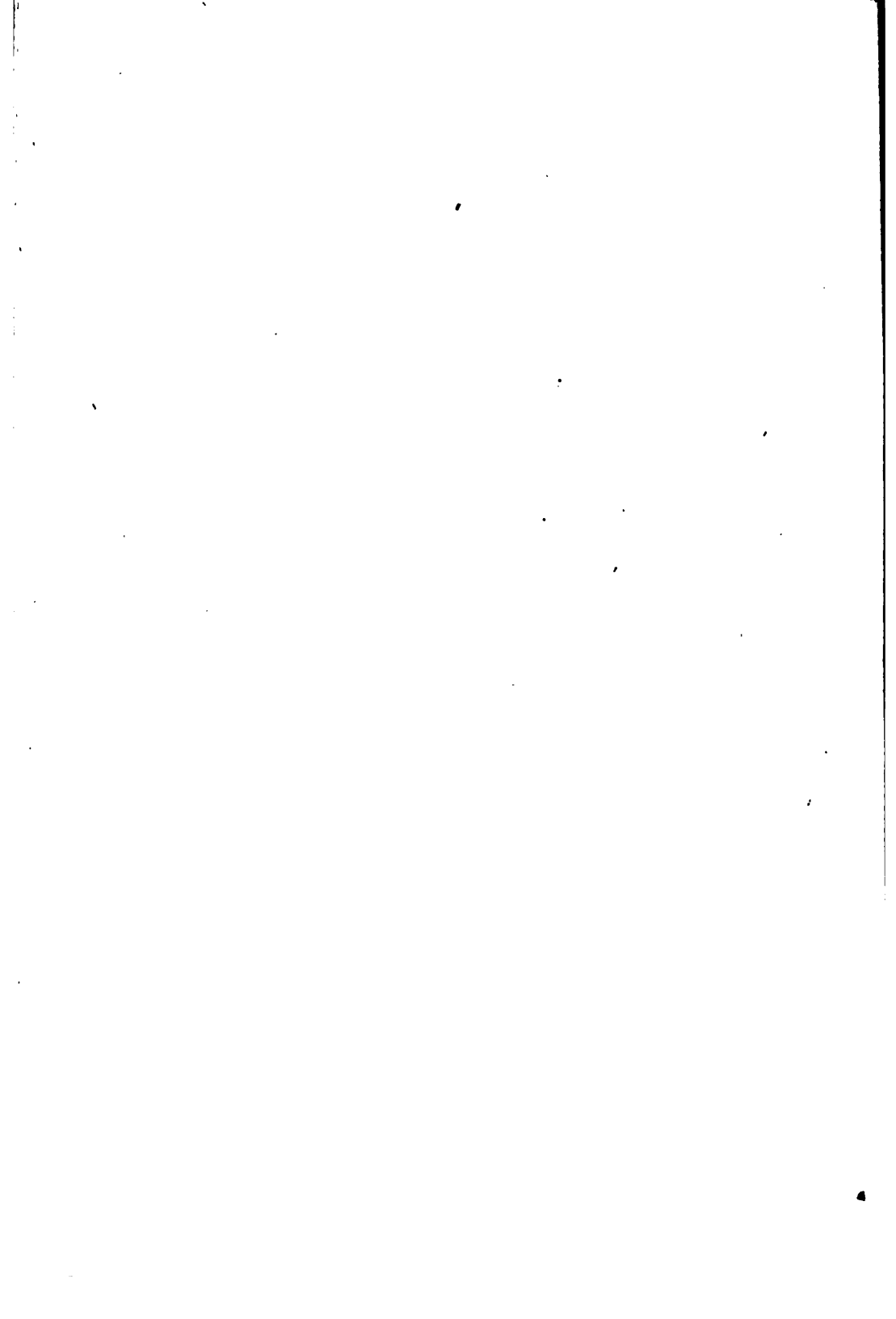
Изъ того факта, что Апухтинъ не заботился о печатаніи своихъ стихотвореній, небрежно относился даже къ записыванію ихъ, было бы невѣрно заключить, что онъ не дорожилъ ими потому, что они доставались ему легко, что онъ, какъ Тютчевъ, по выраженію Ив. С. Аксакова, «ронялъ» стихи, не заботясь о томъ, подберутъ ихъ или нѣтъ. Исключая экспромта и дѣтища мимолетнаго настроенія, къ которымъ, пожалуй, А. Н. относился по-тютчевски,—«ронять» свои серьезные творенія онъ уже потому не могъ, что они—плодъ тщательнѣйшаго обдумыванія и отдѣлки,—крѣпко сидѣли у него въ памяти, и если не предавались имъ гласности, то исключительно потому, что онъ не признавалъ ихъ достойными. Мало того, даже произведенія, получившія его санкцію къ обнародованію, туго и неохотно распространялись имъ, иначе какъ въ его собственной декламациі среди интимнаго кружка пріятелей. Онъ не только не навязывалъ своихъ стиховъ печати, но самымъ горячимъ поклонникамъ его музы лишь позволялъ (и далеко не всегда) ихъ переписывать. Продолжая недовѣрчиво относиться къ достоинствамъ только что созданныхъ твореній, не полагаясь на восторженные отзывы слушателей, онъ какъ бы искалъ въ степени настойчивости просьбъ о перепискѣ оцѣнку того, что вышло изъ-подъ его пера. Очень, очень рѣдко доставлялъ онъ самъ кому-нибудь свои стихи въ переписанномъ видѣ. И это отнюдь не изъ лѣни, еще менѣе изъ балованности моднаго писателя, а исключительно вслѣдствіе строгаго отношенія къ себѣ и глубочайшаго благоговѣнія къ своему искусству. А. Н. скорѣе можно было упрекнуть въ избыткѣ неумолимости къ своимъ произведеніямъ, и многое изъ того, что читатель найдетъ въ этомъ собраніи, первоначально чуть не насильно было вырвано у него и получило его санкцію позже, только вслѣдствіе безусловно одобрительнаго приговора лицъ, мнѣніемъ которыхъ онъ дорожилъ. Культъ формы у него доходилъ до флюберовскаго педантизма, и каждое стихотвореніе только тогда признавалось готовымъ выйти на

свѣтъ Божій, когда единственное выраженіе замерцавшей въ немъ мысли было найдено. Отсюда та непринужденность, ясность и рельефность его стиха, которая, какъ все простое въ прекрасномъ,—результатъ глубокаго знанія и большого труда, составляютъ неоспоримое качество сочиненій Апухтина. Все, что онъ хотѣлъ сказать, онъ сказалъ просто и прекрасно. Здѣсь не мѣсто оцѣнивать, въ какой мѣрѣ важно и нужно то, что онъ сдѣлалъ, но умолчать о благоговѣйномъ трепетѣ, съ которымъ онъ относился къ своему искусству, значило бы лишить его образъ въ этомъ бѣгломъ очеркѣ одной изъ главныхъ чертъ характеристики его литературной дѣятельности. Во всемъ, что онъ совершилъ на этомъ поприщѣ, безграничная любовь къ родинѣ и родной поэзіи были основой, а неумолимо-строгое отношеніе къ себѣ вѣрнымъ и прочнымъ руководителемъ въ его стремленіи внести—посильную лепту въ сокровищницу русской словесности.

Модестъ Чайковскій.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТИХОТВОРЕНІЯ



КЪ РОДИНѢ.

Далеко отъ тебя, о родина святая,
Ужъ цѣлый годъ я жилъ въ краяхъ страны чужой,
И часто о тебѣ грустилъ, вспоминая
Покой и счастье, минувшее съ тобой.
И вотъ въ странѣ зимы, болотъ, снѣговъ глубокихъ,
Гдѣ, также одинокъ, и я печально жилъ,
Я сохранилъ въ душѣ остатокъ чувствъ высокихъ,
Къ тебѣ всю прежнюю любовь я сохранилъ.
Теперь опять увижусь я съ тобою,
Въ моей груди вновь запылаетъ кровь,
Я примирюсь съ своею судьбою,
И явятся мнѣ вдохновенья вновь.

Ужъ близко, близко... Все смотрю я вдаль,
Съ волненіемъ чего-то ожидаю
И съ каждою тропинкой вспоминаю
То радость смутную, то тихую печаль
И вспоминаю я свои былые годы,
Какъ мирно здѣсь и счастливо я жилъ,
Какъ улыбался я всѣмъ красотамъ природы
И въ дебряхъ съ эхомъ говорилъ.
Ужъ скоро, скоро... Лошади бѣгутъ,
Ямщикъ сидитъ, вполголосъ папѣвая,
И черезъ нѣсколько минутъ
Увижу я тебя, о родина святая!

Павлодаръ, 15-го іюня 1853 г.

ЖИЗНЬ.

О жизни! ты—мигъ, но мигъ прекрасный,
Мнѣ невозвратный, дорогой;
Равно—счастливый и несчастный
Разстаться не хотять съ тобой.

Ты—мигъ, но данный намъ отъ Бога
Не для того, чтобы роптать
На свой удѣлъ, свою дорогу
И даръ безцѣнный проклинать,

Но чтобы жизнью наслаждаться,
Но чтобы ею дорожить,
Передъ судьбой не преклоняться,
Молиться, вѣровать, любить.

Орелъ, 10-го августа 1853 г.

ДУМА МАТЕРИ.

Ты спишь, дитя, а я встаю,
Чтобъ слезы лить въ нѣмой печали;
Но на твоёмъ лицѣ оставить не дерзали
Страданія печать ужасную свою.
Попрежнему улыбка молодая
 Цвѣтетъ на розовыхъ устахъ
И дѣтскій смѣхъ, мой ропотъ прерывая,
Нерѣдко слышится въ давно глухихъ стѣнахъ!
 Полураскрыты глазки голубые,
 Плечо и грудь обнажены,
 И на подобіе волны
 Играютъ кудри золотыя...
О, если бы ты зналъ, младенецъ милый мой,
 Съ какой тоскою сердце бьется,
Когда къ моей груди прильнешь ты головой
И звонкій поцѣлуй щеки моей коснется!
 Воспоминая давятъ грудь...
Какъ нѣжно обнималъ отецъ тебя порою!
 И, вѣрь, ужъ годъ, какъ нѣтъ его съ тобою.
Ахъ, если-бъ вмѣстѣ съ нимъ въ гробу и мнѣ заснуть!..
 Заснуть?.. А ты, ребенокъ милый,
 Какъ въ мірѣ жить ты будешь безъ меня?
Нѣтъ, нѣтъ! я не хочу безвременной могилы:
Пусть буду мучиться, страдать... но для тебя!

И не понять тебѣ моихъ страданій, —
Еще ты жизни не видалъ,
Не видѣлъ горькихъ испытаній
И мимолетной радости не зналъ.
Когда-жъ, значенія слезы не понимая,
Въ моихъ глазахъ ее примѣтишь ты,
Склоняется ко мнѣ головка молодая,
И предо мной встають знакомыя черты...
Спи, ангель, спи, невѣдѣнемъ счастливый
Всѣхъ радостей и горестей земныхъ:
Сонъ безпокойный, нечестивый
Да не коснется вѣждъ твоихъ,
Но Божій ангель свѣтозарный
Къ тебѣ съ небесъ да низойдетъ
И гимнъ молитвы благодарной
Къ престолу Божію на утро отнесетъ.

Спб. 5-го сентября 1854 г.

ПОЭТЪ.

Взгляните на него, поэта нашихъ дней,
Лежащаго во прахѣ предъ толпою:
Она—кумиръ его, и ей
Поетъ онъ гимнъ, вѣнчанный похвалою.
Толпа сказала: «Не дерзай
«Гласить намъ истину холодными устами!
«Не нужно правды намъ, скорѣе расточай
«Запасы лъстивыхъ словъ предъ нами».
И онъ въ душѣ оледенилъ
Огонь вскипающаго чувства,
И тотъ огонь священный замѣнилъ
Одною ржавчиной искусства;
Онъ безразсудно пренебрегъ
Души высокое стремленье
И дерзко произнесъ, низверженный пророкъ,
Слова упрека и сомнѣнья;
Воспѣлъ порочный пиръ палатъ,
Презрѣнья къ жизни духъ безплодный,
Приличьемъ скрашенный развратъ,
И гордость мелкую, и эгоизмъ холодный...
Взгляните: вотъ и кончилъ онъ,
И, золото схвативъ дрожащею рукою,
Бѣжитъ поэтъ къ безславному покою,
Какъ рабъ, трудами изнуренъ!

Таковъ ли былъ питомецъ Феба,
Когда, святого чувства полнъ,
Онъ пѣлъ красу родного неба,
И шумъ лѣсовъ, и ярость волнъ;
Когда въ простыхъ и сладкихъ звукахъ
Творцу міровъ онъ гимны пѣлъ?
Ихъ слушалъ рабъ въ тяжелыхъ мукахъ,
Предъ ними варваръ цѣпенѣлъ!
Поэтъ не требовалъ награды,—
Не для толпы онъ пѣснь слагалъ:
Онъ покидалъ, свободный, грады,
Въ дубравы тихія бѣжалъ,
И тамъ, гдѣ горы возвышались,
Въ свободной, дикой сторонѣ,
Поэта пѣсни раздавались
Въ ненарушимой тишинѣ.

29-го сентября 1854 г.

ГОЛГОѠА.

Распятый на крестѣ нечистыми руками
Межъ двухъ разбойниковъ, Сынъ Божій умиралъ.
Кругомъ—мучители нестройными толпами,
У ногъ рыдала Мать. Девятый часъ насталъ:
Онъ предалъ духъ Отцу.—И тьма объяла землю,
И громъ гремѣлъ, и, гласу гнѣва внемля,
Евреи въ страхѣ пали ницъ...
И дрогнула земля, разверзлась тьма гробницъ,
И мертвые. воставъ, явились живыми...

А между тѣмъ, въ далекомъ Римѣ
Надменный временщикъ безумно пировалъ,
Стяжаніемъ неправеднымъ богатый,

И у воротъ его палаты
Голодный нищій умиралъ.

А между тѣмъ софистъ, на догматы ученья
Всѣ доводы ума напрасно истощивъ,
Подъ бременемъ неправдъ, подъ игомъ заблужденья,
Являлся въ сонмищахъ уныль и молчаливъ.

Народъ блуждалъ во тьмѣ порока,
Неслись стenanія съ земли, —

Все ждало истины...

И скоро отъ Востока
Пришельцы новое ученье принесли...
И, старцы разумомъ и юные душою,
Съ молитвой пламенной, съ крестомъ на раменахъ,
Они пришли — и пали въ прахъ
Слѣпыя мудрецы предъ рѣчію святою.

И нищій жизнь благословилъ,
И въ заустѣніи богатаго обитель,
И въ прахѣ идола, а въ храмахъ Бога силъ
Сіяетъ на крестѣ Голгоѣскій Искупитель!

17-го апрѣля 1855 г.



МАЙ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Мѣсяцъ вешній, ты ли это?
Ты—предвѣстникъ близкій лѣта,
Мѣсяцъ пѣсенъ соловья?
Май ли, жалуясь украдкой,
Ревматизмомъ, лихорадкой
Въ лазаретѣ встрѣтилъ я?

Скучно. Вечеръ темный длится,
Словно зимній. Печь дымится,
Крупный дождь въ окно стучить;
Всѣ попрятались отъ стужи,
Только слышно, какъ чрезъ лужи
Сонный ванька дребезжитъ.

А въ краю, гдѣ протекали
Безъ заботъ и безъ печали
Первой юности года,
Потухаетъ лучъ заката,
И зажглась во тьмѣ богато
Ночи мирная звѣзда.

Вдоль околицы мелькая,
Поселянъ толпа густая
Съ поля тянется домоѣ;
Зеленѣетъ пышно нива,
И подъ липою стыдливо
Зрѣетъ ландышъ молодой.

27-го мая 1855 г.

ВЕЧЕРЪ.

Окно отворено... Послѣдній лучъ заката
Потухъ... Широкій путь лежитъ передо мною;
Вдали виднѣются разсыпанныя хаты;
Акаціи сплелись надъ спящею водою;
Все стихло въ глубинѣ разросшагося сада...
Порой по небесамъ зарница пробѣжитъ;
Протяжный звукъ роговъ скликаетъ съ поля стадо
И въ чуткомъ воздухѣ далеко дребезжитъ.
Яснѣе видить умъ, свободнѣй грудь трепещетъ,
И сердце полное сомнѣнья гонитъ прочь...
О, скоро ли луна во тмѣ небесъ заблещетъ
И трепетно сойдетъ плѣнительная почь?..

15-го іюля 1855 г.



БЛИЗОСТЬ ОСЕНИ.

Еще осенніе туманы
Не скрыли рощи златотканной;
Еще и солнце иногда
На небѣ свѣтитъ, и порою
Летаютъ низко надъ землею
Унылыхъ ласточекъ стада,—

Но листья желтыми коврами
Шумятъ ужъ грустно подъ ногами,
Сырѣетъ пестрая земля;
Куда ни кинешь, взоръ пытливый
Встрѣчаетъ высохшія нивы
И обнаженные поля.

И долго ходишь въ вечеръ длинный
Безъ цѣли въ комнатѣ пустынной...
Все какъ-то пасмурно молчить;
Лишь бѣется маятникъ докучный,
Да вѣтеръ свищетъ однозвучно,
Да дождь подъ окнами стучить.

14-го августа 1855 г.

СИРОТКА.

На могилѣ твоей, охъ! родная моя,
Напролеть всю-то ночь проплакала я,
И вотъ нынче въ потемкахъ опять,
Какъ въ избѣ улеглись и на небѣ звѣзда
Загорѣлась, бѣгомъ я бѣжала сюда,
Чтобъ меня не могли удержать.

Здѣсь, родная, частенько я вижусь съ тобой
И отсюда теперь (пусть приходятъ за мной!)
Ни за что не пойду... Для чего?
Я лежу въ колыбелькѣ... Такъ сладко надъ ней
Чей-то голосъ поетъ, что и самъ соловей
Не напомнить мнѣ звуковъ его.

И родная такъ тихо ласкаетъ меня...
Разъ заснула она среди бѣлаго дня...
И чужіе стояли кругомъ:
На меня съ сожалѣньемъ смотрѣли они;
А когда меня къ ней на рукахъ поднесли,
Я рыдала, не зная о чемъ.

И одѣли ее, и сюда привезли,
И заплѣли протяжно и глухо дѣячки:
«Со святыми ее упокой!»

Я прижалась отъ страха... не смѣла взглянуть...
И зарыли въ могилу ее... и на грудь
Положили ей камень большой.

И потомъ воротились... Съ тѣхъ поръ веселѣй
Ужъ никто не пѣвалъ надъ постелью моею,
Одинокой осталася я.
А что послѣ,—не помню... Нѣтъ, помню: въ избѣ
Жилъ какой-то старикъ... горевалъ о тебѣ,
Да бивалъ понапрасну меня.

Но потомъ и его ужъ не стало... Тогда
Я сироткой бездомной была названа.
Я живу у чужихъ на бѣду:
И ругаютъ меня, и въ осенніе дни,
Какъ на печкахъ лежать и толкуютъ они,
За гусями я въ поле иду.

Охъ! родная! могила твоя холодна...
Но людского участія теплѣе она:
Здѣсь могу я свободно дышать;
Здѣсь не люди стоятъ, а деревья одни,
И усмѣшкою злой не смѣются они,
Какъ начну о тебѣ тосковать.

Сиротою не будутъ гнушаться, какъ тѣ,
Нѣтъ! они будто стонутъ въ ночной темнотѣ,
Все кругомъ будто плачетъ со мной,
И такъ пасмурно туча на небѣ виситъ,
И такъ жалобно вѣтеръ листьями шумитъ
Да поетъ мнѣ про пѣсни родной.

1-го октября 1855 г.

ЖИЗНЬ.

(п. к. апухиной).

Пѣсня туманная, пѣсня далекая
И безконечная, и заунывная,—
Доля печальная, жизнь одинокая,
Слезъ и страданія цѣпь непрерывная...

Грустнымъ акордомъ она начинается...
Въ звукахъ акорда, простого и длиннаго,
Слышу я: вопль изъ души вырывается,
Вопль за утратою дѣтства невиннаго.

Далѣе звуковъ раскаты широкіе—
Юнаго сердца мечты благородныя:
Вѣра, терпѣнія чувства высокія,
Страсти живыя, желанья свободныя.

Что же находимъ мы? Въ чувствахъ—страданія,
Въ страсти—мученія залогъ безконечнаго,
Въ людяхъ—обманъ... А мечты и желанія?
Боже мой! много ли въ нихъ долговѣчнаго?

Старость подходитъ часамъ невольными,
Тише и тише акорды печальные...

Ждемъ, чтобъ надъ нами, въ гробу безглагольными,
Звуки кругомъ раздались погребальныя...

Послѣ... Но если и есть за могилою
Пѣсни иныя, живыя, веселыя,—
Жаль намъ допѣть нашу пѣсню унылую,
Трудно намъ сбросить оковы тяжелыя!..

29-го февраля 1856 г.

ОТВѢТЪ АНОНИМУ.

О другъ невѣдомый! Предметъ моей мечты,
Мой свѣтлый идеаль въ посланьи безымянномъ
Такъ грубо очертить напрасно хочешь ты:
Я клеветамъ не вѣрю страннымъ.

А если ты и правъ,—я чудный призракъ мой,
Я ту любовь купилъ цѣной такихъ страданій,
Что не отдамъ ее за мертвенный покой,
За жизнь безъ муки и желаній.

Такъ, яркимъ пламенемъ утѣшень и согрѣть,
Младенецъ самый страхъ и горе забываетъ,
И тянется къ огню, и ловить бѣглый свѣтъ,
И крикамъ няни не внимаетъ.

29-го октября 1856 г.

ВЕСЕННІЯ ПѢСНИ.

I.

О, удались теперь, тяжелый духъ сомнѣнья!
О, не тревожь меня печалью старины,
Когда такъ пламенно природы обновленье
И упоительно дыханіе весны;
Когда такъ радостно надъ душными стѣнами,
Надъ снѣгомъ тающимъ, надъ пестрою толпой
Сверкаютъ небеса горячими лучами,
Пророчать ласточки свободу и покой;
Когда во мнѣ самомъ, тоски моей сильнѣе,
Тѣснятъ ее гурьбой веселыя мечты;
Когда я чувствую, дрожа и пламенѣя,
Присутствіе во всемъ знакомой красоты;
Когда мои глаза, объятые дремотой,
Навстрѣчу просятся къ знакомому лучу;
Когда мнѣ хочется прижать къ груди кого-то,
Когда не знаю я, кого обнять хочу;
Когда весь этотъ міръ любви и наслажденья
Съ природой заодно такъ молодъ и хорошъ..
О, удались навѣкъ, тяжелый духъ сомнѣнья,
Печалью старою мнѣ сердца не тревожь!

20-го апрѣля 1857 г.

II.

Опять я очнулся съ природой,
И, кажется, вновь надо мной
Все радостно грезить свободой,
Все вѣть и дышитъ весной.

Опять въ безотчетномъ томленьѣ,
Усталый, предавшись труду,
Я дней безъ труда и волненья
Съ какимъ-то волненіемъ жду.

И слышу, какъ жизнь молодая
Желанія будить въ крови,
Какъ сердце дрожить, изнывая
Тоской безпредметной любви...

Опять эти звуки былого,
И счастья ребяческій бредъ...
И все, что понятно безъ слова,
И все, чему имени нѣтъ.

Спб., 15-го мая 1857 г.

СЕРЕНАДА ШУБЕРГА.

Ночь уносить голосъ страстный,
Близокъ день труда...
О, не медли, другъ прекрасный!
О, приди сюда!

Здѣсь свѣжо росы дыханье,
Звучень плескъ ручья,
Здѣсь такъ полны обаянья
Пѣсни соловья!

И такъ внятны въ этомъ пѣньѣ,
Въ этотъ часъ любви,
Всѣ рыданья, всѣ мученья,
Всѣ мольбы мои!

11-го сентября 1857 г.



Я зналъ его, любилъ прекрасный сонъ,
Съ неясными мечтами вдохновенья...
Какъ плескъ струи, былъ тихъ вначалѣ онъ,
Какъ майскій день, свѣтлы его видѣнья.
Но чѣмъ быстрѣй сгущался мракъ ночной,
Чѣмъ дальше въ глубь видѣнья проникали,
Тѣмъ все блѣднѣй неслись они толпой,
И образы другіе ихъ смѣняли.

Я зналъ его, любви тяжелый бредъ,
Съ неясными порывами страданья,
Со всей горячностью незрѣлыхъ лѣтъ,
Со всей борьбой ревниваго терзанья...
Я изнывалъ. Томителенъ и жгучъ
Онъ съ тьмою росъ и нестерпимо длился...
Но день пришелъ, и первый солнца лучъ
Разсѣялъ мракъ — и призракъ ночи скрылся.

Сентябрь 1857 г.



СЕГОДНЯ МНѢ ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛѢТЪ...

- «Шестнадцать только лѣтъ!—съ улыбкою холодной
Твердили часто мнѣ друзья:—
«И въ эти-то года такой тоской безплодной
«Звучить элегія твоя!
«О, нѣтъ! Напрасно, внявъ ребяческимъ мечтаньямъ,
«О нихъ рассказывалъ ты намъ;
«Не вѣримъ мы твоимъ непризнаннымъ страданьямъ,
«Твоимъ проплаканнымъ ночамъ.
«Взгляни на насъ: толпой безопасно горделивой
«Идемъ мы съ жребіемъ своимъ,
«И жребій нашъ течетъ такъ мирно, такъ счастливо,
«Что мы иного не хотимъ.
«На чувство каждое мы смотримъ безразлично,
«А если и грустимъ порой,
«Смотри, какъ наша грусть спокойна и прилична,
«Какъ вся проникнута собой!
«Пускай же говорятъ, что теплаго участья
«Въ насъ горе ближнихъ не найдетъ,
«Что наша цѣль мелка, что грубо наше счастье,
«Что нами двигаетъ расчетъ;
«Давно прошла пора, когда не для забавы
«Такихъ бы слушали рѣчей:
«Теперь иной ужъ вѣкъ, теперь иные нравы,
«Иныя страсти у людей.

«А ты? Ты жить, какъ мы, не хочешь, не умѣешь.

«И, полонъ гордой суеты,

«Еще, какъ неба даръ, возносясь п лелѣешь

«Свои безумныя мечты...

«Поэтъ, бѣги ты ихъ; какъ гибельной заразы,—

«Ихъ судить строгая молва,

«И всѣ онѣ, повѣрь, одни пустыя фразы

«И заученныя слова!»

Не для судей моихъ въ отвѣтъ на судъ жестокий,

Но для тебя, бывшихъ годовъ

Мой другъ единственный, печальный и далекий,

Я сердце высказать готовъ.

Ты понялъ скорбь души, заглохшей на чужбинѣ,

Но самъ нерѣдко говорилъ,

Что долженъ я беречь и прятать, какъ святыню,

Ея невысказанный пылъ.

Ты музу скромную, не зная оправданья,

Такъ откровенно презиралъ...

О, я тебѣ скажу, какъ часто въ часъ страданья

Ее, забывшицу, я звалъ!

Я расскажу тебѣ, какъ я въ тоскѣ нежданной,

Ища желаніймъ предѣлъ,

Однажды полюбилъ... такой любовью странной,

Что долго вѣрить ей не смѣлъ.

Богъ вѣсть, избытокъ чувствъ рвался ли неотвязно

Излиться вдругъ на комъ-нибудь,

Воображеніе-ль кипѣло силой праздной,

Дышала-ль чувственностью грудь,—

Но только знаю я, что въ жизни одинокой

То были лучшіе года,

Что я такъ пламенно, правдиво и глубоко

Любить не буду никогда.

И что-жъ? Неузнаны, осмѣяны, разбиты,

Къ погамъ вседневной суеты

Попадали кругомъ, внезапной тьмой покрыты,

Мои горячія мечты.

Во тьмѣ глухихъ ночей, глотая молча слезы

(А слезъ какъ счастья я ждалъ!),

Проклятыяи корилъ я дѣвственныя грезы
И понапрасну проклиналъ...
Порой на будущность надежда золотая
Еще свѣтлѣла впереди,
Но скоро и она погасла, умирая,
Въ моей измученной груди...

Тому ужъ годъ прошелъ, то было ночью темной.
Разъ, помню, выбившись изъ силъ,
Покинувъ шумный пиръ, по площади огромной
Я торопливо проходилъ.
Вогъ знаетъ, отчего тогда толпы веселой
Мнѣ жизнь казалась далека,
И на сердцѣ моемъ, какъ камня гнетъ тяжелый,
Лежала черная тоска.
Я помню, мокрый снѣгъ мнѣ хлопьями нещадно
Летѣлъ въ лицо; надъ головой
Холодный вѣтеръ вылъ; пучиной безотрадной
Висѣло небо надо мной.
Я подошелъ къ Невѣ... Изъ-за свинцовой дали
Она глядѣла все темнѣй,
И волны въ полосахъ багровыхъ колебали
Зловѣщій отблескъ фонарей.
Я задрожалъ... И вдругъ, отчаяньемъ томимый,
Съ послѣднимъ ропотомъ любви
На мысль ужасную напалъ... О, мимо, мимо
Воспоминанія мои!

.....
.....

Но образы иныя,
Меня преслѣдуютъ порой:
То дѣтства мирнаго видѣнья золотыя
Встанутъ неожиданно предо мной,
И черезъ длинный рядъ тоски, заботъ, сомнѣнья
Опять мнѣ слышатся въ тиши
И игры шумныя, и тихія моленья,
И смѣхъ неопытной души.
То снова новичкомъ себя я вижу въ школѣ...
Мой громкій смѣхъ замолкъ давно;

жадно рвусь душой къ роднымъ полямъ и къ волѣ,
Мнѣ все такъ дико и темно.
И тутъ-то въ первый разъ, небеснаго напѣва
Кидая звуки по землѣ,
Явилась мнѣ она, божественная дѣва,
Съ сіяньемъ музы на челѣ.
Могучей красотой она не поражала,
Не обнажала скромныхъ плечъ,
Но сладость тихую мнѣ въ душу проливала
Ея замедленная рѣчь.
Съ тѣхъ поръ вездѣ со мной: въ трудахъ, въ часы досуга,
Въ мечтѣ обманчиваго сна,
Съ словами нѣжными заботливаго друга,
Какъ тѣнь, носилася она;
Дрожащій звукъ струны, шумящій въ полѣ колось,
Весь трепеть жизни въ ней кипѣлъ;
Съ рыданіемъ любви ея сливался голосъ
И пѣсни жалобныя пѣлъ.
Но, утомленная моей борьбой печальной,
Моихъ усилій не цѣня,
Уже давно, давно съ усмѣшкою печальной
Она покинула меня;
И для меня съ тѣхъ поръ весь міръ исчезъ, объятый
Какой-то страшной пустотой,
И сердце, сражено послѣднею утратой,
Забилось прежнею тоской.

Вчера еще въ толпѣ, одинъ, ища свободы,
Я, незамѣченный, бродилъ
И тихо вспоминалъ всѣ прожитые годы,
Все, что я въ сердцѣ схоронилъ.
«Семнадцать только лѣтъ! — твердилъ я, изнывая, —
«А сколько горечи и зла,
«И бесполезныхъ мукъ мнѣ эта жизнь пустая
«Уже съ собою принесла!»
Я чувствовалъ, какъ росъ во мнѣ порывъ мятежный,
Какъ желчь кипѣла все сильнѣй,
Какъ мнѣ противенъ былъ и говоръ неизбежный,
И шумъ затверженныхъ рѣчей...

И вдругъ передо мной, небеснаго напѣва
 Кидал звуки по землѣ,
 Явилася она, божественная дѣва,
 Съ сіяньемъ музы на челѣ.
 Какъ я затрепеталъ, проникнуть чуднымъ взоромъ,
 Какъ разомъ сердце распѣло!
 Но строгой важностью и пламеннымъ укоромъ
 Дышало милое чело.
 «Когда взволнованъ ты,—она мнѣ говорила,—
 «Когда съ тяжелою тоской
 «Тебя влечетъ къ добру невѣдомая сила,
 «Тогда зови меня и пой!
 «Я въ голосъ твой пролью живые звуки рая,
 «И пусть не слушаютъ его,
 «Но съ нимъ твоя печаль, какъ пыль, исчезнетъ злая
 «Отъ дуновенья моего!
 «Но въ часъ, когда томимъ ты мыслью безпокойной,
 «Меня, посланницу любви,
 Для желчныхъ выходовъ, для злобы недостойной
 «И не тревожь, и не зови!»...
 Скажи-жъ, о муза, мнѣ: святому обѣщанью
 Теперь ты будешь ли вѣрнѣй?
 Попрежнему-ль къ борьбѣ, къ труду и упованью
 Пойдешь ты спутницей моей?
 И много ли годовъ, тая остатокъ силы,
 Съ тобой мнѣ объ руку идти,
 И доведешь ли ты скитальца до могилы,
 Или покинешь на пути?
 А, можетъ быть, на стонъ едва воскресшей груди
 Ты безотвѣтно замолчишь,
 Ты сердце скорбное обманешь, точно люди,
 И точно радость—улетишь?..
 Быть можетъ, и теперь, какъ смерть неумолима,
 Затѣмъ явилась ты сюда,
 Чтобы въ послѣдній разъ блеснуть неотразимо
 И чтобъ погибнуть навсегда?..

Спб., 15-го ноября 1857 г.

ВЪ АЛЬБОМЪ.

Въ воспоминавье о поэтѣ
Мнѣ для стиховъ листочки эти
Подарены въ былые дни,
Но бредомъ юнымъ и невиннымъ
Донынѣ, въ тлѣніи пустынномъ,
Не наполняются они.

Такъ передъ вами въ умиленіи
Я сердце, чуждое сомнѣнья,
Навѣкъ довѣрчиво открылъ;
Вы-бъ только призракомъ участья
Могли исполнить бредомъ счастья
Его волнующійся пылъ.

Вы не хотѣли... Грустно тлѣя,
Оно то билося слабѣе,
То, задрожавъ, пылало вновь...
О, переполните-жъ сторицей
И эти бѣдныя страницы,
И эту бѣдную любовь!

Спб., зимой 1857 г.

КОМЕТА.

(ИЗЪ БЕРАНЖЕ).

Богъ шлетъ на насъ ужасную комету;
Мы участи своей не избѣжимъ.
Я чувствую: конецъ подходитъ свѣту,
Всѣ компасы исчезнутъ вмѣстѣ съ нимъ.
Съ пирушки прочь вы, пившіе безъ мѣры,
Немногимъ былъ по вкусу этотъ пиръ,—
На исповѣдь скорѣе, лицомѣры!
Довольно съ насъ,—состарѣлся нашъ міръ!..

Да, бѣдный шаръ, тебѣ борьбы отважной
Не выдержать, насталь послѣдній часъ:
Какъ спущенный съ веревки змѣй бумажный,
Ты полетишь, качаясь и крутясь.
Передъ тобою безвѣстная дорога...
Лети туда, въ безоблачный эфиръ...
Погаснетъ онъ,—свѣтилъ еще такъ много!
Довольно съ насъ,—состарѣлся нашъ міръ!..

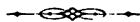
О, мало ли опошленныхъ стремленій,
Прозваньями украшенныхъ глупцовъ,
Грабительствъ, войнъ, обмановъ, заблужденій,
Рабовъ-царей и подданныхъ-рабовъ!

О, мало-ль мы отъ будущаго ждали,
Лелѣяли нашъ мелочной кумиръ!..
Нѣтъ, слишкомъ много желчи и печали.
Довольно съ насъ,—состарѣлся нашъ міръ!..

А молодежь твердитъ мнѣ: «Все въ движеніи,
«Все подѣ шумокъ гнилыя цѣпи рветъ,
«И свѣтитъ газъ, и зрѣетъ просвѣщенье,
«И по морю летаетъ пароходъ...
«Вотъ, подожди, разъ двадцать минетъ лѣто,
«Не мракъ ночной—повѣсть дня зефиръ».
— Я тридцать лѣтъ, друзья, все жду разсвѣта!
Довольно съ насъ,—состарѣлся нашъ міръ!..

Была пора, во мнѣ любовь кипѣла,
Въ груди кипѣлъ запасъ горячихъ силъ...
Не покидать счастливаго предѣла
Тогда я землю пламенно молилъ.
Но я отцвѣлъ; краса бѣжить поэта;
Навѣкъ умолкъ веселыхъ пѣсень клиръ...
Иди-жь скорѣй, нападная комета!
Довольно съ насъ,—состарѣлся нашъ міръ!..

2-го декабря 1857 г.



*
* * *

Гремѣла музыка, горѣли ярко свѣчи...
Вдвоемъ мы слушали, какъ шумный длился балъ.
Твоя дрожала грудь, твои пылали плечи,
Такъ ласковъ голосъ былъ, такъ нѣжны были рѣчи,
Но я въ смущеніи не вѣрилъ и молчалъ.

Въ тяжелый, горькій часъ послѣдняго прощанья
Съ улыбкой на лицѣ я предъ тобой стоялъ,
Рвалась грудь моя отъ боли и страданья,
Печальна и блѣдна, ты жаждала признанья...
Но я въ волненіи томился и молчалъ.

Я ѣхаль. Путь лежалъ предо мной широко...
Я думаль о тебѣ, я все припоминаль.
О, тутъ я поняль все, я полюбилъ глубоко,
Я говорить хотѣль, но ты была далеко,
Но вѣтеръ выль кругомъ... я плакаль и молчалъ.

1857 г.

КЪ УТЕРЯННЫМЪ ПИСЬМАМЪ.

Какъ по товарищу недавней нищеты
Друзья терзаются живые,
Такъ плачу я о васъ, завѣтные листы,
Воспоминанья дорогія!..
Бывало, утомясь страдать и проклинать,
Томимъ безцѣльною тревогой,
Я съ напряженіемъ прочитываль опять
Убогихъ тайнъ запасъ убогій.
Въ однихъ я уловляль участія краткій мигъ,
Въ другихъ—какой-то смѣхъ притворный,
И всѣ благословляль, и всѣ въ мечтахъ моихъ
Храниль я долго и упорно.
Но больше всѣхъ одно мнѣ памятно... Оно
Кругомъ исписано все было,
Намѣсто подписи—чернильное пятно,
Какъ бы стыдился, имя скрыло.
Такъ много было въ немъ раскаянья и слезъ,
Такъ мало словъ и фразы шумной,
Что, помню, я и самъ тоски не перенесъ,
И зарыдалъ надъ нимъ, безумный.
Кому же нужно ты, нескладное письмо,
Зачѣмъ другой тобой владѣть?
Кто разберетъ въ тебѣ страданія клеймо
И оцѣнить тебя сумѣетъ?
Хозяинъ новый твой не скажетъ ли, шутя,
Что чувства въ авторѣ глубоки,

Иль просто осмѣть, какъ глупое дитя,
Твои оплаканныя строки?..
Найду ли я тебя? Какъ знаты! Пройдутъ года,
Тебя вернуть мнѣ добрый геній. .
Но какъ мы встрѣтимся?.. Что буду я тогда,
Затерянный въ глуши сомнѣній?
Быть можетъ, какъ рука, писавшая тебя,
Ты станешь чуждо мнѣ съ годами?
А можетъ быть, опять, страдая и любя,
Я оболую тебя слезами?
Богъ вѣсть! Но та рука еще живетъ, на ней,
Когда-то теплой и любимой,
Всей страсти, всей тоски, всей муки прежнихъ дней
Хранится слѣдъ неизгладимый.
А ты!.. твой слѣдъ пропалъ... Оди́тъ въ тиши ночной
Съ пустой-шкатулкою сажу я,
Сгорѣвшая свѣча дрожитъ передо мной,
И сердце замерло тоскуя.

25-го января 1858 г.



Е. А. ХВОСТОВОЙ.

(ЭКСПРОМТЪ).

Добры къ поэтамъ молодымъ,
Вы каждымъ опытомъ моимъ
Велѣли мнѣ дѣлиться съ вами.
Но я боюсь... Иной поэтъ,
Чудеснымъ пламенемъ согрѣтъ,
Васъ пѣлъ могучими стихами.

Вы были молоды тогда,
Для вдохновеннаго труда
Ему любовь была награда.
Вы отцвѣли,—поэтъ угасъ,
Но онъ поклялся помнить васъ
«И въ небесахъ, и въ мукахъ ада»... *

Я вѣрю клятвѣ роковой,
Я вамъ дрожащею рукой
Пишу свои стихотворенья
И, какъ несмѣлый ученикъ,
У васъ, хотя-бъ на этотъ мигъ,
Прошу его благословенья.

1-го февраля 1858 г.

* «Любовь мертвеца».



МОЕ ОПРАВДАНИЕ.

Не осуждай меня холодной думой,
Не говори, что только тотъ страдалъ,
Кто въ пищетѣ влачилъ свой вѣкъ угрюмый,
Кто жизни адъ до капли выпивалъ.

А тотъ, кого едва не съ колыбели
Тяжелое сомнѣніе гнететъ,
Кто предъ собой не видитъ ясной цѣли
И день за днемъ безрадостно живетъ?

Кто навсегда утратилъ вѣру въ счастье,
Томясь, молилъ отрады у людей
И не нашелъ желаннаго участья,
И потерялъ измѣнчивыхъ друзей?

Чей скорбный стонъ, стѣсненный горькій шопотъ
Въ тиши ночной мучительно звучалъ,—
Ужели въ томъ таиться долженъ ропотъ?
Ужели тотъ, о Боже! не страдалъ?

12-го марта 1858 г.

ВЪ ВАГОНѢ.

Спите, сосѣди мои!
Я не засну, я считаю украдкой
Старыя язвы свои...
Вамъ же вѣдь спится спокойно и сладко,
Спите, сосѣди мои!

Что за сомнѣнья въ груди!
Боже, куда и зачѣмъ я поѣду?
Есть ли хоть цѣль впереди?
Развѣ, чтобъ быть изголовьемъ сосѣду...
Спите, сосѣди мои!

Что за тревоги въ крови!
А, ты опять тутъ, бывшее страданье,
Вѣчная жажда любви...
О, удалитесь, засните, желанья!..
Спите, мученья мои!..

Но ужъ тусклѣй огоньки
Блещутъ за стеклами... Ночь убѣгаетъ,
Сердце болить отъ тоски,
Тихо глаза мнѣ дремота смыкаетъ...
Спите, сосѣди мои!

Москва. 27-го марта 1858 г.

ПОДРАЖАНІЕ ДРЕВНИМЪ.

Онъ прійти обѣщалъ до разсвѣта ко мнѣ,
Я томлюсь въ ожиданіи бурномъ,
Ужъ послѣднія звѣзды горятъ въ вышинѣ,
Погасая на небѣ лазурномъ.
Безъ конца эта ночь, еще долго мнѣ ждать...
Что за шорохъ? не онъ ли, о Боже!
Я встаю, я бѣгу... я упала опять
На мое одинокое ложе.

Близокъ день, надъ водою поднялся туманъ,
Я горю отъ безплодныхъ мученій,
Но вотъ щелкнулъ замокъ,—ужъ теперь не обманъ,—
Вотъ дрожа заскрипѣли ступени...
Это онъ, это онъ, мой избранникъ любви!
Еще мигъ,—онъ войдетъ, торжествуя...
О, какъ пламенны будутъ лобзанья мои!
О, какъ жарко его обниму я!

6-го апрѣля 1858 г.

П Ъ С Н И.

Май на дворѣ... Начались посѣвы,
Пахарь поетъ за сохой,
Снова внемлю вамъ, родные напѣвы,
Съ той же глубокой тоской.

Но не одно гореванье тупое,
Плодь безконечныхъ скорбей,—
Мнѣ уже слышится что-то иное
Въ пѣсняхъ отчизны моей.

Льются смѣлѣй заунывные звуки,
Полные силъ молодыхъ,—
Прежнихъ годовъ пережитыя муки
Грозно скопились въ нихъ.

Такъ вотъ и кажется: съ первымъ призывомъ
Грянуть они изъ оковъ
Къ вольнымъ степямъ, къ нескончаемымъ нивамъ,
Въ глушь необъятныхъ лѣсовъ.

Пусть тебя, Русь, одолѣли невзгоды,
Пусть ты унынья страна...
Нѣтъ! я не вѣрю, что пѣсня свободы
Этимъ полямъ не дана!

10-го мая 1858 г.

КАРТИНА.

Съ невольнымъ трепетомъ я, помню, разъ стоялъ
Передъ картиной безымянной:
Одинъ изъ ангеловъ случайно пролеталъ
У береговъ земли туманной.
И что-жь? На кроткій ликъ нѣмая скорбь легла,
Въ его очахъ недоумѣнье:
Не думалъ онъ найти такъ много слезъ и зла
Среди цвѣтущаго творенья!

Такъ вамъ настанетъ срокъ. На шумный жизни пиръ
Пойдете тихими шагами...
Но онъ вамъ будетъ чуждъ, холодный этотъ міръ,
Съ его безумствомъ и страстями!
Нѣтъ, пусть же лучше вамъ не знать его! пускай
Для васъ вся жизнь пройдетъ въ покоѣ,
Какъ покидаемый навѣки вами рай,
Какъ ваше дѣтство золотое!

11-го іюня 1858 г.

ПЕРВОЙ РОЗѢ.

Что такъ долго и жестоко
Не цвѣла ты, дочь Востока,
Гостя нашей стороны?
Пронеслись они, блистая,
Золотыя ночи мая,
Золотые дни весны.

Знаешь: тутъ, подъ тѣнью сонной,
Ждалъ кого-то и, влюбленный,
Пѣлъ немолчно соловей,
Пѣлъ такъ долго и такъ нѣжно,
Такъ глубоко-безнадежно
Объ измѣнницѣ своей.

Если-бъ ты тогда явилась,
Какъ бы чудно оживилась
Пѣсня, полная тобой!
Какъ бы онъ, пѣвецъ крылатый,
Наслаждениемъ объятый,
Изнывалъ передъ тобой!

Словно перлы дорогіе,
На листы твои живые
Тихо-бъ падала роса,
И сквозь сумрачныя ели
Высоко-бъ на васъ глядѣли
Голубыя небеса.

19-го іюня 1858 года.

ПРОЩАНИЕ СЪ ДЕРЕВНЕЙ.

Прощай, приютъ родной, гдѣ я съ мечтой лѣнливой
Безъ горя проводилъ задумчивые дни!
Благодарю за миръ, за твой покой счастливый,
За вдохновенія твои.

Увы! въ послѣдній разъ, въ тоскливомъ упоеньѣ,
Гляжу на этотъ садъ, на дальніе лѣса:
Меня отсюда мчитъ иное назначенье,
И ждутъ иныя небеса.

А если, жизнью смятъ, обманутый мечтами,
Къ тебѣ, какъ блудный сынъ, я снова возвращусь, —
Кого еще найду межъ старыми друзьями

И такъ ли съ новыми сойдусь?
И ты?.. Что будешь ты, страна моя родная?
Пойметъ ли твой народъ всю тяжесть прежнихъ лѣтъ?
И буду-ль видѣть я, хоть свой закатъ встрѣчая,
Твой полный счастья разсвѣтъ?

26-го іюля 1858 г.

MEMENTO MORI.

Когда о смерти мысль приходит мнѣ случайно,
Я не смущаюсь ея глубокой тайной
И, право, не крушусь, гдѣ сброшу этотъ прахъ,
Напрасно гибнущую силу —
На пышномъ ложѣ ли, въ изгнаньи ли, въ волнахъ;
Для похоронъ друзья сберутся ли уныло,
Напѣются ли они на тѣхъ похоронахъ,
Иль одинокаго свезутъ меня въ могилу, —
Мнѣ это все равно... Но если, Боже мой!
Но если не всего меня разрушить тлѣнье,
И жизнь за гробомъ есть, — услышь мой стонъ больной
Услышь мое тревожное моленье!

Пусть я умру весной. Когда послѣдній снѣгъ
Растаетъ на поляхъ, и радостно для всѣхъ
Пахнетъ дыханье жизни новой;
Когда безсмертія постигну я мечту: —
Дай мнѣ перелетѣть на землю ту,
Гдѣ я страдалъ такъ горько и сурово!
Дай мнѣ хоть разъ еще взглянуть на тѣ поля,
Узнать: все также ли вращается земля
Въ своей красѣ неизмѣненной,
И тѣ же ли тамъ дни, и также ли роса
Слетаетъ по утрамъ на берегъ полусонный,

И также-ль нини небеса,
И также-ль рощи благовонны.
Когда-жь умолкнетъ все, и тихо надъ землей
Зажжется сводъ небесъ далекими огнями, —
Черезъ волны облаковъ, облитыя луной,
И понесусь назадъ, неслышный и нѣмой,
Несмѣтными окутанный крылами.
Навстрѣчу мнѣ деревья, задрожавъ,
Въ послѣдній разъ поплютъ свой ропотъ вѣчный;
Я буду понимать и шумъ глухой дубравъ,
И трели соловья, и тихій шелестъ травъ,
И рѣчки говоръ безконечный.
И тѣмъ, о комъ мечталъ я чувствомъ молодымъ,
Кого любилъ съ такимъ самозабвеньемъ,
Явлюся я... не другомъ ихъ былымъ,
Не призракомъ могилы роковымъ,
Но грезой легкою, но тихимъ сновидѣниемъ.
Я все имъ расскажу. Пускай хоть въ этотъ часъ
Они поймутъ, какой огонь свободный
Въ груди моей горѣлъ, какъ тлѣлъ онъ и угасъ,
Неоцѣненный и безплодный.
Я имъ скажу, какъ я въ былые дни
Изъ душевной темноты напрасно къ свѣту рвался,
Какъ заблуждаются они,
Какъ я до гроба заблуждался.

19-го сентября 1858 г.



ИЗЪ ГЕЙНЕ.

Меня вы терзали, томили,
Измучили сердце хандрой,—
Одни—своей скучной любовью,
Другіе—жестокій враждой.

Вы хлѣбъ отравили мнѣ, ядомъ
Вы кубокъ наполнили мой,—
Одни—своей скучной любовью,
Другіе—жестокій враждой.

Лишь та, что всѣхъ больше терзала
И мучила съ перваго дня,
Какъ мало она враждовала,
Какъ мало любила меня!

29-го ноября 1858 г.

ИЗЪ БАЙРОНА.

Мечтать въ поляхъ, взбѣгать на выси горъ,
Медлительно, среди лѣсовъ дремучихъ,
Переходить, гдѣ никогда топоръ
Не налагалъ слѣдовъ своихъ могучихъ;
Безъ цѣли мчаться по степямъ пустымъ,
И слушать волнъ немолчное журчанье,
И все мечтать—не значить быть однимъ...
То—разговоръ съ природой и сліянье,
То—дѣйственныхъ красоть живое созерцанье!..

Но, посреди заботъ толпы людской,
Все видѣть, слышать, чувствовать глубоко,
И одному бродить въ тоскѣ нѣмой,
И скукою измучиться жестоко—
И никого не встрѣтить межъ людей,
Кому бы рассказать души мученья,
Кто вспомнилъ бы по смерти насъ теплѣй,
Чѣмъ все, что лжетъ, и льститъ, и кроетъ мщенье...
Вотъ—одиночество... вотъ, вотъ—уединенье!

4-го декабря 1853 г.

МОЛОДАЯ УЗНИЦА.

(изъ А. ШЕНЬЕ).

«Неспѣлый колось ждетъ, нетронутый косой,
Все лѣто виноградъ питается росой,
Грозящей осени не чуя;
Я также хороша, я также молода!
Пусть всѣ полны кругомъ и страха, и стыда,—
Холодной смерти не хочу я!

«Лишь стоякъ сгорбленный бѣжитъ навстрѣчу къ ней,
Я плачу грустная... Въ окно тюрьмы моей
Привѣтно смотреть блескъ лазури,
За днемъ безрадостнымъ и радостный придеть:
Увы! кто пилъ всегда безъ пресыщенья медъ?
Кто видѣлъ океанъ безъ бури?

«Широкая мечта живетъ въ моей груди,
Тюрьма гнететъ меня напрасно: впереди
Летить, летить надежда смѣло...
Такъ, чудомъ избѣжавъ охотника сътей,
Въ родныя небеса, счастливѣй и смѣлѣй,
Несется съ пѣсней Филомела.

«О, мнѣ ли умереть? упрекомъ не смущень,
Спокойно и легко проносится мой сонъ
Безъ думъ, безъ призраковъ ужасныхъ;

Явлюсь ли утромъ,—всѣ привѣтствуютъ меня,
И радость тихую въ глазахъ читаю я
У этихъ узниковъ несчастныхъ.

«Жизнь, какъ знакомый путь, передо мной свѣтла,
Еще деревьевъ тѣхъ немного я прошла,
Что смотреть на дорогу нашу;
Пиръ жизни начался, и, кланяясь гостямъ,
Едва-едва поднести успѣла я къ губамъ
Свою наполненную чашу.

«Весна моя цвѣтеть, я жатвы жду съ серпомъ:
Какъ солнце, обойдя вселенную кругомъ,
Я кончить годъ хочу тяжелый;
Какъ зрѣющій цвѣтокъ, краса своихъ полей,
Я свѣтъ увидѣла изъ утреннихъ лучей,—
Я кончить день хочу веселый.

«О, смерти! меня твой ликъ забвеньемъ не манить.
Ступай утѣшить тѣхъ, кого печаль томить,
Иль совѣсть мучить, негодуя...
А у меня въ груди тепло струится кровь,
Мнѣ рощи темныя, мнѣ пѣсни, мнѣ любовь...
Холодной смерти не хочу я!»

Такъ, пробудясь въ тюрьмѣ, печальный узникъ самъ,
Внималъ тревожно я замедленнымъ рѣчамъ
Какой-то узницы... И муки,
И ужасъ, и тюрьму,—я все позабывалъ
И въ стройные стихи, томясь, перелагалъ
Ея плѣнительные звуки.

Тѣ пѣсни, чудные свидѣтели тюрьмы,
Кого-нибудь склонять пѣвицу этой тьмы
Искать, назвать ее своею...
Быль полонъ прелести акордъ звенящихъ нотъ,
И, какъ она, за дни бояться станетъ тотъ,
Кто будетъ проводить ихъ съ нею.

М-ме ВОЛЬНИСЬ.

Искусству все пожертвовать умѣя,
Давно, давно явилася ты къ намъ,
Прелестная, сіяющая «фея»
По имени, по сердцу, по очамъ.*
Я былъ еще тогда ребенкомъ неразумнымъ,
Я лепетать умѣлъ едва,
Но помню: о тебѣ ужъ радостно и шумно
Кричала громкая молва.

Страданія умомъ не постигая,
Я въ первый разъ въ театрѣ былъ. И вотъ
Явилась ты печальная, сѣдая,
Изсохшая подъ бременемъ невзгодъ.**
О дочери стена, ты на полъ вдругъ упала,
Твой голосъ тихо замиралъ...
Тутъ въ первый разъ душа во мнѣ затрепетала,
И, какъ безумный, я рыдалъ.

Томимъ тоской, утративъ смѣхъ и вѣру,
Чтобъ отдохнуть усталою душой,
Недавно я пошелъ внимать Мольеру,
И ты опять явилась предо мной.

* Дебютировала подъ именемъ «Léontine Fée».

** Въ драмѣ «Closerie de genêts».

Схѣясь, упала ты подѣ громъ рукоплесканья,*
Твой голосъ весело звучалъ...
О, въ этотъ мигъ я всё позабывалъ страданья
И, какъ безумный, хохоталъ.

На жизнь давно глядишь ты строгимъ взоромъ,
И много лѣтъ тобой погребено,
Но твой талантъ окрѣпъ подѣ ихъ напоромъ,
Какъ Франціи кипучее вино.
И, между тѣмъ какъ все вокругъ тебя блѣднѣетъ,
Ты—какъ вечерняя звѣзда,
Которая то вдругъ исчезнетъ, то свѣтлѣетъ,
Не угасая никогда.

24-го декабря 1858 г.



* Въ роли Nicole въ «Le bourgeois gentilhomme».

ПРОСЕЛОКЪ.

По Руси великой, безъ конца, безъ края,
Тянется дорожка, узкая, кривая,
Черезъ лѣса да рѣки, по лугамъ, по нивамъ,
Все бѣжить куда-то шагомъ торопливымъ.
И чудесь хоть мало встрѣтишь той дорогой,
Но мнѣ милъ и близокъ видъ ея убогой.
Утро ли займется на небѣ румяномъ,
Вся она россою блещетъ подъ туманомъ;
Вѣтерокъ разноситъ изъ поляны сонной
Скошеннаго сѣна запахъ благовонный;
Все молчить, все дремлетъ,—въ утреннемъ покоѣ
Только ржи мелкаетъ море золотое,
И, куда ни глянешь освѣженнымъ взоромъ,
Отовсюду вѣетъ тишь да просторомъ.
На гору-ль въѣзжаешь, — за горой селенье
Съ церковью зеленой видно въ отдаленьѣ.
Ни садовъ, ни рѣчки; въ роцѣ невысокой
Липа да орѣшникъ разрослись широко,
А вдали, надъ прудомъ, высится плотина...
Бѣдная картина! милая картина!..
Вотъ навстрѣчу бодро мужичокъ шагаетъ,
Съ дикимъ воплемъ стадо путь перебѣгаетъ.
Жарко... День, краснѣя, всходитъ понемногу...
Скоро на большую выѣдемъ дорогу.

Тамъ стоять ракиты, по порядку, чинно,
Тянутся обозы вереницей длинной,
Изъ столицъ идетъ тамъ всякая новинка...
Тамъ ты и заглохнешь, русская тропинка!

По Руси великой, безъ конца, безъ края,
Тянется дорожка, узкая, кривая.
На большую съѣхалъ: впереди—застава,
Сзади—пыль да версты... Смотришь, а направо
Снова вьется путь мой лентою узорной,
Тотъ же прихотливый, тотъ же непокорный!

1858 г.

ГРЕЦІЯ.

(посвящается и. о. щербинѣ).

Поэтъ, ты видѣлъ ихъ развалины святаго,
Селенія бѣдныя и храмы вѣковые,—
Ты видѣлъ Грецію, и на твои глаза
Являлась горькая художника слеза.
Скажи, когда, склоняясь подъ тѣнью сикоморы,
Ты тихо вдаль вперялъ задумчивые взоры,
И море синее плескалось предъ тобой,—
Послушная мечта тебѣ шептала-ль страстно
О временахъ иныхъ, странѣ совсѣмъ иной,—
Странѣ, гдѣ было все такъ юно и прекрасно,
Гдѣ мысль еще жила о вѣкѣ золотомъ
Безъ рабства и безъ слезъ?.. Гдѣ въ блескѣ молодомъ,
Обожествленная преданьями народа,
Цвѣла и нѣжилась могучая природа?..
Гдѣ, набожно внемля оракула словамъ,
Довѣрчивый народъ бѣжалъ къ своимъ богамъ,
Съ веселой шуткою и рѣчью откровенной?..
Гдѣ боги не были страшилищемъ вселенной,
Но идеалами великими толпы?..
Гдѣ за преданіемъ не пряталось чувство,
Гдѣ были красотѣ лампы возжены,
Гдѣ Эросъ самъ былъ богъ, а цѣль была искусство?
Гдѣ выше всѣхъ вѣнковъ стоялъ вѣнокъ пѣвца,

А. Н. АНУХТИНЪ.

Гдѣ предѣ напѣвами Хіосскаго слѣпца
Склонялись мудрецы, и судьи, и гетеры?
Гдѣ въ мысли знали жизнь, въ любви не знали мѣры,
Гдѣ все любило,—все, со страстью, съ полнотой?
Гдѣ наслажденія безсмертный не боялся,
Гдѣ молодой Нарцисъ своею красотою
Въ томительной тоскѣ до смерти любовался?
Гдѣ царь предѣ статуей любовью пламенѣлъ,
Гдѣ даже лебедя плѣнить умѣла Леда,
И, вѣрно, съ трепетомъ зеленый миртъ глядѣлъ
На грудь Аспазіи, на кудри Ганимеда?

13-го января 1859 г.



*
*
*

Волшебныя слова любви и упоенья
Я слышать наконецъ изъ милыхъ устъ твоихъ,
Но, въ странной робости послѣдняго сомнѣнья,
Твой голосъ ласковый затихъ.

Давно, когда въ цвѣтахъ, синѣя и блистая,
Неслася надъ землею счастливая весна,
Я помню, видѣть разъ, какъ глыба снѣговая
На солнцѣ таяла одна.

Одна... Кругомъ и жизнь, и говоръ, и движеніе...
Но солнцу все горитъ, звучный бѣгутъ ручьи...
И въ полдень снѣга нѣтъ, и радость обновленія
До утра пѣли соловьи.

О, дай же доступъ мнѣ, моей любви мятежной!
О, сбрось послѣдній снѣгъ, растай, растай скорѣй!..
И я тогда зальюсь такою пѣсней нѣжной,
Какой не вѣдалъ соловей!

5-го февраля 1859 г.



* * *

Когда такъ радостно въ объятіяхъ твоихъ
Я забывалъ весь міръ съ его волненіемъ шумнымъ,
О будущемъ тогда не думалъ я: въ тотъ мигъ
Я полонъ былъ тобой да счастіемъ безумнымъ.

Но ты ушла. Одинъ, покинутый тобой,
Я посмотрѣлъ кругомъ въ восторгъ опьянѣнья,
И сердце въ первый разъ забилося тоской,
Какъ бы предчувствіемъ далекаго мученья.

Послѣдній поцѣлуй звучалъ въ моихъ ушахъ,
Послѣднія слова носились близко гдѣ-то...
Я звалъ тебя опять, я звалъ тебя въ слезахъ,
Но ночь была глуха, и не было отвѣта.

Съ тѣхъ поръ я все зову... Развѣнчана мечта,
Пошли иные дни, пошли иныя ночи...
О, Боже мой! Какъ лгутъ прекрасныя уста,
Какъ холодны твои плѣнительныя очи!

16-го февраля 1859 г.

НА МОГИЛѢ.

Когда былъ я ребенкомъ, родная моя,
Если дѣтское горе томило меня,
Я къ тебѣ приходилъ, и мой плачъ утихалъ:
На груди у тебя я въ слезахъ засыпалъ.

Я пришелъ къ тебѣ вновь... Ты лежишь тутъ одна,
Твоя келья темна, твоя ночь холодна,
Ни привѣта кругомъ, ни росы, ни огня...
Я пришелъ къ тебѣ... жизнь истомила меня.

О, возьми, обними, уврачуй, успокой
Мое сердце больное рукою родной!
О, скорѣй бы къ тебѣ мнѣ какъ прежде на груди!
О, скорѣй бы мнѣ тамъ задремать и заснуть!

11-го іюня 1859 г.

ПОСВЯЩЕНИЕ.

Еще свѣжа твоя могила,
Еще и вьюга съ высоты
Ни разу снѣгомъ не покрыла
Ея поблѣкшіе цвѣты;
Но я усталъ отъ жизни этой,
И безотрадной, и тупой,
Твоимъ дыханьемъ не согрѣтой,
Съ твоими днями не слитой.

Увы! ребенокъ ослѣпленный,
Иного я отъ жизни ждалъ:
Въ туманѣ берегъ отдаленный
Мнѣ такъ привѣтливо сіялъ.
Я думалъ: счастья, страсти шумной
Мнѣ много будетъ на пути,—
И, Боже, какъ хотѣлъ, безумный,
Я въ дверь закрытую войти!

И я поплыть... Но что я видѣлъ
На томъ желанномъ берегу,
Какъ, запылавъ, возненавидѣлъ,
Пересказать я не могу.
И вотъ, съ разбитою душою,
Мечту отбросивши свою,

Я передъ дверью роковою
Въ недоумѣнїи стою.

Остановлюсь ли у дороги,
Съ пустой смѣшаюсь ли толпой,
Иль, не стерпѣвъ души тревоги,
Отважно кинусь я на бой?
Въ борьбѣ неравной—юный воинъ,
Въ бояхъ—неопытный боецъ,
Какъ ты, я буду-ль твердъ, спокоенъ?
Какъ ты, паду ли, наконецъ?

О, гдѣ-бъ твой духъ, для насъ незримый,
Теперь счастливый ни виталъ,
Услышь мой стонъ, мой стихъ любимый,—
Я ихъ отъ сердца оторвалъ!
А если нѣтъ тебя... О, Боже!
Къ кому-жъ идти? я здѣсь чужой...
Ты и теперь мнѣ всѣхъ дороже,
Въ могилѣ темной и нѣмой.

18-го августа 1859 г.



М А Ю.

Бывало, съ дѣтскими мечтами
Являлся ты, какъ ангелъ дня,
Блестая бѣлыми крылами,
Весеннимъ голосомъ звеня;
Твой взоръ горѣлъ огнемъ надежды,
Ты волновалъ мечтами кровь
И сыпалъ съ радужной одежды
Цвѣты, и ризы, и любовь.

Прошли года... Ты вновь со мною,
Но грустно юное чело,
Глаза подернулись тоскою,
Одежду пылью занесло.
Ты смотришь холодно и строго,
Веселый голосъ твой затихъ,
И бѣлыхъ перьевъ много, много
Изъ крыльевъ выпало твоихъ.

Минуютъ дни, пройдутъ недѣли...
Въ изнеможеніи тупомъ,
Забытый всѣми, на постели
Я буду спать глубокимъ сномъ.
Слетѣвъ подъ брошенную крышу,
Ты скажешь мнѣ: «проснися, братъ!»
Но словъ твоихъ я не услышу,
Могильнымъ холодомъ объять,

1859 г.

* * *

О, Боже! какъ хорошъ прохладный вечеръ лѣта,
Какая тишина!

Всю ночь я просидѣть готовъ бы до разсвѣта
У этого окна.

Какой-то темный ликъ мелькаетъ по аллеѣ,
И воздухъ недвижимъ,
И кажется, что тамъ еще, еще темнѣе
За садомъ молодымъ.

Ужъ поздно... Все сильнѣй цвѣтовъ благоуханье,
Сейчасъ взойдетъ луна...

На небесахъ покой, и на землѣ молчанье,
И всюду тишина.

Давно ли въ этотъ садъ, въ чудесный вечеръ мая,
Входили мы вдвоемъ?

О, сколько, сколько разъ его мы, не смолкая,
Бывало, обойдемъ!

И вотъ, я здѣсь одинъ, съ измученной, усталой,
Разбитою душой.

Мнѣ хочется рыдать, припавши, какъ бывало,
Къ груди твоей родной...

Я жду... но не слышать знакомаго привѣта,
Душа болитъ одна...

О, Боже! какъ хорошъ прохладный вечеръ лѣта,
Какая тишина!

1859 г.

* * *

Я люблю тебя такъ оттого,
Что изъ пошлыхъ и гордыхъ собою
Не напомнишь ты мнѣ никакого
Откровенной и ясной душою;
Что съ участиемъ могла ты понять
Роковую борьбу чловѣка;
Что въ тебѣ уловилъ я печать
Отдаленнаго лучшаго вѣка!
Я люблю тебя такъ потому,
Что не любишь ты мертваго слова,
Что не вѣришь ты слѣпо уму,
Что чужда ты расчета мірскаго,
Что горячее сердце твое
Часто бьется тревожно и шибко...
Что смирятся горе мое
Предъ твоей міротворной улыбкой!

Павлодаръ. 1859 г.

* * *

Ни веселья, ни сладких мечтаній
Ты въ судьбѣ не видала своей:
Твоя жизнь была цѣпью страданій
И тяжелыхъ, томительныхъ дней.
Видно, Господу было такъ нужно:
Тебѣ крестъ Онъ тяжелый судилъ.
Этотъ крестъ мы несли съ тобой дружно, —
Онъ обоихъ насъ жалъ и давилъ.
Помню я, какъ въ минуту разлуки
Ты рыдала, родная моя,
Какъ, дрожа, твои блѣдныя руки
Горячо обнимали меня.
Всю любовь, всѣ мечты, всѣ желанья —
Все въ слова перелить я хотѣлъ,
Но послѣднее слово страданья, —
Оно замерло въ мигъ разставанья,
Я его досказать не успѣлъ!
Это слово сказала могила:
Не состарившись, ты умерла,
Оттого, что ты слишкомъ любила,
Оттого, что ты жить не могла!
Ты спокойна въ могилѣ безгласной,
Но одинъ я въ борьбѣ изнемогъ...
Онъ тяжелъ, этотъ крестъ ежечасный!
Онъ на грудь мнѣ всей тяжестью легъ!
И пока моя кровь не остынетъ,
Пока тлѣть въ груди моей жаръ,
Онъ меня до конца не покинетъ,
Какъ твой лучшій и символъ, и даръ!

Павлодаръ. 24-го мая 1859 г.



ОТРЫВОКЪ.

(изъ А. МЮССЭ).

Что такъ усиленно сердце большое
Бьется, и просить, и жаждать покоя?
Чѣмъ я взволнованъ, испуганъ въ ночи?
Стукнула дверь, застонавъ и заноя,
Гаснущей лампы блеснули лучи...
Боже мой! духъ мнѣ въ груди захватило!
Кто-то зоветъ меня, шепчетъ уныло...
Кто-то вошелъ... Моя келья пуста,
Нѣтъ никого, это полночь пробило...
О одиночество, о нищета!

1859 г.

ИЗЪ ВЕСЕННИХЪ ПѢСЕНЪ.

I.

Весенней ночи сумракъ влажный
Струями льется предо мной,
И что-то шепчетъ гуль протяжный
Надъ обновленною землею.

Зачѣмъ, о звѣзды, вы глядите
Сквозь эти мягкія струи?
О чемъ такъ громко вы журчите,
Неугомонные ручьи?

Вамъ долго слухъ безъ мысли внемлетъ,
Къ вамъ безъ тоски прикованъ взоръ,
И сладко грудь мою объемлетъ
Какой-то тающій просторъ.

II.

Вчера у окна мы сидѣли въ молчаньи...
Мерцаніе звѣздъ, соловья замиранье,
Шумящіе листья въ окно,
И нѣга, и трепеть... Неправда-ль, все это
Давно уже было другими воспѣто
И намъ ужъ знакомо давно?

Но я былъ взволнованъ мечтой невозможной,
Чего-то въ прошедшемъ искалъ я тревожно,
 Забытые спрашивалъ сны...
Въ отвѣтъ только звѣзды свѣтлѣе горѣли,
Да слышались громче далекія трели
 Пѣвца улетающей весны.

III.

Опять весна! Опять какой-то геній
Мнѣ шепчетъ незнакомыя слова,
И сердце жаждетъ новыхъ пѣснопѣній,
И въ забыти кружится голова.
Опять кругомъ зазеленѣли нивы,
Черемуха цвѣтетъ, блеститъ роса,
И надъ землей, свѣтлы и горделивы,
Какъ куполь храма, блещутъ небеса.

Но этой жизни мнѣ теперь ужъ мало,—
Душа моя тоской отравлена...
Не такъ она являлась мнѣ, бывало,
Красавица, волшебница весна!
Сперва ребенка языку природы
Она, смѣясь, учила въ тишинѣ,
И для меня собирала хороводы,
И первый стихъ нашептывала мнѣ.

Потомъ, когда съ тревогой непонятной
Зажглася въ сердцѣ отрока любовь,
Она пришла и рѣчью благодатной
Живила сны и волновала кровь:
Свиданія влюбленнымъ назначала,
Ждала, томилась съ нами заодно,
Мелодіей по клавишамъ звучала,
Врывалася въ раскрытое окно.

Теперь на жизнь гляжу я окомъ мужа,
И къ сердцу моему, какъ въ дверь тюрьмы,
Ужъ начала прокрадываться стужа,

Печальная предвѣстница зимы...
Проходятъ дни безъ страсти и безъ дѣла,
И чья-то тѣнь глядитъ изъ-за угла...
Что-жь? неужели юность улетѣла?
Ужели жизнь прошла и отцвѣла?..

Погибну-ль я въ борьбѣ святой и честной,
Иль просто такъ умру въ объятяхъ сна,
Явися мнѣ въ моей могилѣ тѣсной,
Красавица, волшебница весна!
Покрой меня травой и свѣжимъ дерномъ.
Какъ прежде, разукрась свои черты,
И надъ моимъ забытымъ трупомъ чернымъ
Разсыпь свои любимые цвѣты!..

1860 г.

ИЗЪ ПОЭМЫ «ПОСЛѢДНІЙ РОМАНТИКЪ».

I.

Малыгинъ родился въ глуши степной,
На блѣдный сѣверъ вовсе непохожей,
Разнообразной, пестрой и живой.
Отца не зналъ онъ; матери онъ тоже
Лишился рано, но едва-едва,
Какъ дивный сонъ, какъ звукъ волшебной сказки,
Онъ помнилъ чьи-то пламенные ласки
И нѣжныя любимыя слова.
Онъ помнилъ, что невѣдомая сила
Его къ какой-то женщинѣ влекла,
Что вечеромъ она его крестила,
И голову къ нему на грудь клонила,
И долго оторваться не могла;
И что однажды, въ тихій вечеръ мая,
Когда въ расцвѣтѣ нѣжилась весна,
Она лежала, глазъ не открывая,
Какъ мраморъ неподвижна и блѣдна.
Онъ помнилъ, какъ дьячки псалтырь читали,
Какъ плакалъ онъ, и какъ въ тотъ грозный часъ
Подъ окнами цвѣты благоухали,
Жужжа изъ оконъ пчелы вылетали,
И чья-то пѣсня громкая неслась.

Потомъ онъ жилъ у старой, строгой тетки,
 Предъ образомъ святителя Петра
 Молившейся съ утра и до утра
 И съ важностью перебиравшей четки.
 И мальчикъ сталъ неловокъ, нелюдимъ,
 Акаѳисты читалъ ей ежедневно,
 И, чуть зашнелся, слышитъ, какъ надъ нимъ
 Ужъ раздается тетки голосъ гнѣвный:
 «Да что ты, Миша, все глядишь въ окно?»
 И Миша, точно, глазъ отвести отъ сада
 Не могъ. Въ саду темнѣло ужъ давно,
 Въ окно лилась вечерняя прохлада,
 Послѣднй лучъ заката догоралъ,
 За рѣчкою излучистой краснѣя...
 И, кончивъ чтенье, тотчасъ убѣгалъ
 Онъ изъ дому. Широкая аллея
 Тянулася вдаль. Оттуда старый домъ
 Еще казался старѣй и мрачнѣе;
 Тамъ каждый кустикъ былъ ему знакомъ,
 И длинныя ракиты улыбались
 Еще съ верхушекъ... Онъдохнуть не смѣлъ
 И, весь дрожа отъ радости, глядѣлъ,
 Какъ въ синемъ небѣ звѣзды загорались...

.....

II.

CHANSON À BOIRE.

Если измѣна тебя поразила,
 Если тоскуешь ты, плача, любя,
 Если въ борьбѣ истощается сила,
 Если обида терзаетъ тебя,—
 Сердце ли рвется,
 Ноетъ ли грудь,—
 Пей, пока пьется,
 Все позабуди!

Выпьешь, заискрится сила во взорѣ,
Бури, нужда и борьба нипочемъ...
Старыя раны, вчерашнее горе, —
Все обойдется, зальется виномъ.

Жизнь пронесется
Лучше, скорѣй...
Пей, пока пьется,
Силъ не жалѣй!

Если-жъ любимъ ты и счастливъ мечтою,
Годы безпечности мигомъ пройдутъ,
Въ темной могилѣ, подъ рыхлой землею,
Мысли, и чувства, и ласки замрутъ.

Жизнь пронесется
Счастья быстрѣй...
Пей, пока пьется,
Пей веселѣй!

Что намъ всѣ радости, что наслажденья?
Долго на свѣтѣ имъ жить не дано...
Дай намъ забвенья, о, только забвенья!
Легкой дремой отумань насъ, вино!

Сердце-ль смѣется,
Ноетъ ли грудь, —
Пей, пока пьется,
Все позабуди!

Въ нач. 60-хъ годовъ.



СОЛДАТСКАЯ ПѢСНЯ О СЕВАСТОПОЛѢ

Не веселю, братцы, вамъ пѣсню спою,
Не могучую пѣсню побѣды,
Что пѣвали отцы въ Бородинскомъ бою,
Что пѣвали въ Очаковѣ дѣды.

Я спою вамъ о томъ, какъ отъ южныхъ полей
Поднималось облако пыли,
Какъ сходили враги безъ числа съ кораблей
И пришли къ намъ, и насъ побѣдили.

А и такъ побѣдили, что долго потомъ
Не совались къ намъ съ дерзкимъ вопросомъ;
А и такъ побѣдили, что съ кислымъ лицомъ
И съ разбитымъ отчалили носомъ.

Я спою, какъ, покинувъ и домъ, и семью,
Шелъ въ дружину помѣщикъ богатый,
Какъ мужикъ, обнимая бабенку свою,
Выходилъ ополченцемъ изъ хаты.

Я спою, какъ росла богатырская рать,
Шли бойцы изъ желѣза и стали—
И какъ знали они, что идутъ умирать,
И какъ свято они умирали!

Какъ красавицы наши сидѣлками шли
Къ безотрадному ихъ изголовью;
Какъ за каждый клочокъ нашей русской земли
Намъ платили враги своей кровью;

Какъ подъ грохотъ гранатъ, какъ севозъ пламя и дымъ,
Подъ немолчные, тяжкіе стоны,
Выходили редуты одинъ за другимъ,
Грозной тѣнью росли бастионы.

И одиннадцать мѣсяцевъ длилась рѣзня,
И одиннадцать мѣсяцевъ цѣлыхъ
Чудотворная крѣпость, Россію храня,
Хоронила сыновъ ея смѣлыхъ...

Пусть не радостна пѣсня, что вамъ я пою,
Да не хуже той пѣсни побѣды,
Что пѣвали отцы въ Бородинскомъ бою,
Что пѣвали въ Очаковѣ дѣды.

Въ нач. 60-хъ годовъ.



ГАДАНЬЕ.

Ну, старая, гадай! Тоска мнѣ сердце гложетъ,—
Веселой болтовней меня развесели.
Авось твой разговоръ убить часы поможетъ,
И скучный день пройдетъ, какъ многіе прошли!

«Охъ, не грѣшно-ль въ воскресенье?
Съ нами Господняя сила!
Тяжко мое прегрѣшеніе...
Ну, да ужъ я разложила!

«Ѣдешь въ дорогу ты дальнюю,
Путь твой не весель обратный:
Новость услышишь печальную
И разговоръ непріятный.

Видишь: большая компанія
Вмѣстѣ съ тобой веселится,
Но исполненія желанія
Лучше не жди,—не случится!

«Что-то грозитъ неизвѣстное...
Карты-то, карты какія!
Будетъ письмо интересное,
Хлопоты будутъ большія.

«На сердцѣ дама червонная...
Съ гордой душою такою,
Словно къ тебѣ благосклонная,
Словно играетъ тобою.

«Глядя въ лицо ея строгое,
Грустенъ и робокъ ты будешь:
Хочешь сказать ей про многое,
Свидишься, — все позабудешь.

«Мысли твои все червонныя,
Слезы-то будто изъ лейки,
Думушки, ночи безсонныя, —
Все отъ нея, отъ злодѣйки!

«Волюшка крѣпкая скручена,
Словно дитя ты предъ нею...
Какъ твое сердце замучено,
Я и сказать не сумѣю!

«Тянутся дни нестерпимые,
Мысли сплетаются злыя...
Батюшки, свѣты родимые!
Карты-то карты какія!»...

Умолкла старая. Въ зловѣщей тишинѣ
Насупившись сидить. — Скажи, что это значить?
Старуха, что съ тобой? Ты плачешь обо мнѣ?
Такъ только мать одна о дѣтскомъ горѣ плачетъ.
И стоять ли того? Я знаю напередъ
Все то, что сбудется, и не ропщу на Бога:
Дорога выйдетъ мнѣ, и горе подойдетъ,
Тамъ будутъ хлопоты, а тамъ опять дорога...
Ну, полно же, не плачь! Гадай иль говори!
Пусть голосъ твой звучить мнѣ пѣсней похоронной,
Но только, старая, мнѣ въ сердце не смотри
И не рассказывай о дамѣ, о червонной!

Въ нач. 60-хъ годовъ.

НА БАЛУ.

Влещуть огнями палаты просторныя,
Музыки трохоть не молкнетъ въ ушахъ.
Новаго года ждуть взгляды притворныя,
Новое счастье у всѣхъ на устахъ.

Душу мнѣ давить тоска нестерпимая,
Хочется дальше отъ этихъ людей...
Мной не забытая, вѣчно любимая,
Что-то теперь на могилѣ твоей?

Спятъ ли спокойно въ глубокомъ молчаніи,
Прежнюю радость и горе тая,
Словно застывшія въ лунномъ сіяніи,
Желтая церковь и насыпь твоя?

Или туманъ непривѣтливый стелется,
Или, гонима незримымъ врагомъ,
Съ дикими воплями злая метелица
Плещетъ, и скачетъ, и воетъ кругомъ,

И покрываетъ сугробами снѣжными
Все, что отъ насъ неозвратно ушло:
Очи со взглядами кроткими, нѣжными,
Сердце, что прежде такъ билось тепло?

Въ 60-хъ годахъ.



КЪ МОЛОДОСТИ.

Свѣтлый призракъ, кроткій и любимый,
Что ты дразнишь, вдаль меня маня?
Чуждымъ звукомъ съ высоты незримой
Голосъ твой доходить до меня.

Вкругъ меня все сумракомъ одѣто...
Что же мнѣ, поверженному въ прахъ,
До того, что ты сіяешь гдѣ-то
Въ недоступномъ блескѣ и лучахъ?

Тѣ лучи согрѣть меня не могутъ —
Все ушло, чѣмъ жизнь была тепла,
Только видѣть мнѣ яснѣй помогутъ,
Что за ночь вокругъ меня легла!

Если-жъ въ сердцѣ вострепнется сила,
И оно, какъ прежде, задрожитъ,
Широко раскрытая могила
На меня насмѣшливо глядитъ.

Въ 60-хъ годахъ.

АСТРАМЪ.

Поздніе гости отцвѣтшаго лѣта,
Шепчутся ваши головки понуря,
Словно клянете вы дни безъ просвѣта,
Словно пугаютъ васъ ноченьки хмуря...

Розы,—вотъ тѣ отцвѣли, да хотѣ жили...
Нечего вамъ помянуть предъ кончиною:
Звѣзды весеннія вамъ не свѣтили,
Пѣсней не тѣпились вы соловьиною...

Въ нач. 60-хъ годовъ.

ДВѢ ГРЕЗЫ.

Измученный тревогою дневною,
Я легъ въ постель безъ памяти и силъ,
И голосъ твой, носяся надо мною,
Насмѣшливо и рѣзко говорилъ:

«Что ты глядишь такъ пасмурно, такъ мрачно?
«Ты, говорятъ, влюбленъ въ меня, поэтъ?
«Къ моей душѣ, спокойной и прозрачной,
«И доступа твоимъ мечтаньямъ нѣтъ.
«Какъ чужды мнѣ твои пустыя бредни!

«И что же въ томъ, что любишь ты меня?
«Не первый ты, не будешь и послѣднѣй
«Горѣть и тлѣть отъ этого огня.
«Ты говоришь, что въ шумномъ вихрѣ свѣта
«Меня ты ищешь, дышишь только мной...
«И отъ другихъ давно я слышу это,
«Окружена влюбленною толпой.
«Я поняла души твоей мученье,
«Но отъ тебя, поэтъ, не утаю:
«Не жалость, нѣтъ! а только изумленье,
«Да тайный смѣхъ волнуютъ грудь мою!»

Проснулся я... Враждебная, нѣмая
Вокругъ меня царилъ тишина,
И фонари мнѣ слали, догорая,
Свой тусклый свѣтъ изъ дальняго окна.
Безсильною поникнувъ головою,
Едва дыша, а снова засыпалъ
И голосъ твой, носясь надо мною,
Привѣтливо и ласково звучалъ:

«Люби меня, люби! Какое дѣло,
«Когда любовь въ душѣ заговорить,
«И до того, что въ прошломъ наболѣло,
«И до того, что въ будущемъ грозить?
«Моя душа ужъ свыкла съ твоею;
«Я не люблю, но мысль отрадна мнѣ,
«Что сердце есть; которымъ я владѣю,
«Въ которомъ я господствую вполне.
«Коснется ли меня тупая злоба,
«Подкрадется-ль нежданная тоска,
«Я буду знать, что, вѣрная до гроба,
«Меня поддержитъ крѣпкая рука!
«О, не вѣрайся дѣтскому обману,
«Себя надеждой жалкой не губи:
«Любить тебя я не хочу, не стану,
«Но ты, поэтъ, люби меня, люби!»

Проснулся я... Ужъ день сырой и мгlistый
Глядѣлъ въ окно. Твой голосъ вдругъ затихъ,
Но долго онъ безъ словъ, протяжный, чистый,
Какъ арфы звукъ, звенѣлъ въ ушахъ моихъ.

Въ нач. 60-хъ годовъ.

КЪ ГРЕТХЕНЪ.

(ЭКСПРОМТЪ ПОСЛѢ ПЕРВАГО ПРЕДСТАВЛЕНІЯ ОПЕРЕТКИ «Petit Faust»).

И ты осмѣяна, и твой чередъ насталь...
Но, Боже правый! Гретхенъ, ты ли это?
Ты, чистое созданіе поэта,
Ты, красоты безсмертный идеаль?..
О, если-бъ твой творецъ явился между нами,
Гордяся славою созданья своего,
Какими-бъ жгучими слезами
Сверкнулъ орлиный взоръ его!
О, какъ бы онъ страдалъ, томился поминутно,
Узнавъ дитя своей мечты,
Свой любимыя черты
Въ чертахъ француженки распутной!
Но твой творецъ давно въ землѣ сырой,
Не вспомнила о немъ смѣющаяся зала,
И каждой шуткѣ площадной
Безсмысленно толпа рукоплескала.
Нашъ вѣкъ таковъ! Ему и дѣла нѣтъ,
Что тысячи людей рыдали надъ тобою,
Что нѣкогда твоею красотою
Быль цѣлый край утѣшенъ и согрѣтъ,—
Ему бы только въ храмъ внести слова порока,
Безцѣнный мраморъ грязью забросать,
Да пошлости наклеивать печать
На все, что чисто и высоко!

ПОДРАЖАНІЕ ДРЕВНИМЪ.

Въ грёзахъ сладострастныхъ видѣлъ я тебя;
Грёзъ такихъ не зналъ я никогда, любя.
Мнѣ во снѣ казалось: къ морю я пришелъ,
Полдень былъ такъ зноенъ, воздухъ такъ тяжелъ!
На скалѣ горячей, въ яркомъ свѣтѣ дня,
Ты одна стояла и звала меня.
Но, тебя увидя, я не чуялъ ногъ
И, прикованъ взоромъ, двинуться не могъ.
Волосы, сверкая блескомъ золотымъ,
Падали кудрями по плечамъ твоимъ,
Голова горѣла, солнцемъ облита,
Пощѣлуя ждали сжатые уста,
Тайныя желанья, силясь ускользнуть,
Тяжко колебали поднятую грудь,
Бѣлыя одежды, легки какъ туманъ,
Слабо закрывали твой цвѣтущій станъ,
Такъ что я подъ ними каждый страсти пылъ,
Каждый жизни трепеть трепетно ловилъ...
И я ждалъ, смятенный; мигъ еще—и вотъ
Эта ткань, сорвавшись, въ волны упадетъ...
Но волненьемъ страшнымъ былъ я пробужденъ.
Медленно и грустно уходилъ мой сонъ...
Къ ложу принимая, я не могъ вздохнуть,
Тщетныя желанья колебали грудь,
Слезы вырывались съ ропотомъ глухимъ,
Падали ручьями по щекамъ моимъ,
И, всю ночь рыдая, я молилъ боговъ:
Не тебя хотѣлъ я, а такихъ же сновъ!..

AMONG THEM BUT NOT OF THEM...

(изъ Байрона).

Съ душою для любви открытою широко
Пришелъ довѣрчиво ты къ нимъ.
Зачѣмъ же въ ихъ толпѣ стоишь ты одиноко
И душой горькою томимъ?

Привѣта теплаго душа твоя искала,
Но нѣтъ его въ сухихъ сердцахъ:
Предъ золотымъ тельцомъ они, жрецы Ваала,
Лежать простерты во прахъ...

Не сѣтуй, не ропщи,—хоть часто сердцу больно,
Будь гордъ и твердъ въ лихой борьбѣ,
И вѣрь, что недалекъ тотъ день, когда невольно
Они поклонятся тебѣ!

1864 г.

МИНУТЫ. СЧАСТЬЯ.

Не тамъ отрадно счастье вѣсть,
Гдѣ шумъ и царство суеты:
Тамъ сердце скоро холодѣтъ,
И блекнуть яркія мечты.

Но вечеръ тихій, образъ нѣжный,
И рѣчи долгія въ тиши
О всемъ, что будить умъ мятежный
И струны спящія души,—

О, вотъ онѣ, минуты счастья,
Когда, какъ зорька въ небесахъ,
Блеснетъ внезапно лучъ участія
Въ чужихъ внимательныхъ очахъ;

Когда любви горячей слово
Растетъ на сердцѣ, какъ напѣвъ,
И съ языка слетѣтъ готово—
И замираетъ, не слетѣвъ...

1865 г.



OU' EST LE BONHEUR.

(МИНУТЫ СЧАСТЬЯ).

Ami, ne cherchez pas dans les plaisirs frivoles
Le bonheur éternel, que vous rêvez souvent,
Le bruit lui est odieux, il vous quitte et s'envole,
Comme un bouquet fané emporté par le vent.

Mais quand vous passerez une longue soirée
Dans un modeste coin loin du monde banal,
Cherchez dans les regards d'une image adorée,
Ce rêve poursuivi, ce bonheur idéal.

Ne les pressez donc pas ces doux moments d'ivresse,
Buvez avidement ce langage chéri,
Parlez à votre tour, parlez, parlez sans cesse
De tout ce qui amuse ou tourmente l'esprit.

Et vous serez heureux, lorsque dans sa prunelle,
Attachée sur vous, un éclair incertain
Brillera un moment et comme une étincelle
Dans son regard pensif disparaîtra soudain.

Lorsqu'un sublime mot, plein de feu et de fièvre,
Le mot d'amour divin méconnu ici-bas
Sortira de votre âme et brûlera vos lèvres,
Et que pourtant, ami... vous ne le direz pas.

НИНЪ.

(изъ Л. МЮССЭ).

Что, чернокудрая съ лазурными глазами,
Что, если я скажу вамъ, какъ я васъ люблю?
Любовь, вы знаете, есть кара надъ сердцами,—
Я знаю: любящихъ жалѣете вы сами...
Но, можетъ быть, за то я гнѣвъ вашъ потерплю?

Что, если я скажу, какъ много мукъ и боли
Таится у меня въ душевной глубинѣ?
Вы, Нина, такъ умны, что часто противъ воли
Все видите насквозь: печаль и даже болѣ...
«Я знаю»,—можетъ быть, отвѣтите вы мнѣ.

Что, если я скажу, что вѣчное стремленье
Меня за вами мчить, на зло рассчитаю всѣмъ?
Тѣнь недоверія и легкаго сомнѣнья
Вамъ придаютъ еще ума и выраженья...
Вы не повѣрите мнѣ, можетъ быть, совсѣмъ?

Что, если вспомню я всѣ наши разговоры
Вдвоемъ предъ камелькомъ въ вечерней тишинѣ?
Вы знаете, что гнѣвъ мѣняетъ очень скоро.
Въ двѣ яркихъ молніи привѣтливые взоры...
Быть можетъ, видѣть васъ вы запретите мнѣ?

Что, если я скажу, что ночью, въ часъ тяжелый,
Я плачу и молюсь, забывши цѣлый свѣтъ?
Когда смѣтаете вы,—вы знаете, что пчелы
Въ вашъ ротикъ, какъ въ цвѣтокъ, слетятъ гурьбой веселой...
Вы засмѣтаете мнѣ, можетъ быть, въ отвѣтъ?

Но, нѣтъ! я не скажу. Безъ мысли признаваться—
Я въ вашу комнату иду, какъ вѣрный стражъ;
Могу тамъ слушать васъ, дыханьемъ упиваться,
И будете ли вы отгадывать, смѣяться,—
Мнѣ меньше правиться не можетъ образъ вашъ.

Глубоко я въ душѣ таю любовь и муки,
И вечеромъ, когда къ роялю вы въ мечтахъ
Присядете,—ловлю я пламенные звуки,
А если въ вальсѣ васъ мои обхватятъ руки,
Вы, какъ живой тростникъ, сгибаются въ рукахъ.

Когда-жъ наступитъ ночь, и дома, за замками,
Останусь я одинъ, для міра глухъ и нѣмъ,—
О, все я вспомню, все ревнивыми мечтами,
И сердце гордое, наполненное вами,
Раскрою, какъ скупой, невидимый никѣмъ!

Люблю я, и храню холодное молчанье;
Люблю, и чувствъ своихъ не выдамъ на показъ,
И тайна мнѣ мила, и мило мнѣ страданье,
И мною данъ обѣтъ любить безъ упованья,
Но не безъ счастія: я здѣсь,—я вижу васъ.

Нѣтъ, мнѣ не суждено быть, умирая, съ вами
И жить у вашихъ ногъ, сгорая какъ въ огнѣ...
Но... если бы любовь я высказалъ словами,
Что, чернокудрая съ лазурными глазами,
О, что? о, что тогда отвѣтили-бъ вы мнѣ?

1865 г.

ПЕПИТЪ.

(ИЗЪ А. МЮССО).

Когда на землю ночь спустилась,
И садъ твой охватила мгла;
Когда ты съ матерью простилась
И ужъ молиться начала;

Въ тотъ часъ, когда, въ тревогѣ свѣта
Смотря усталою душой,
У ночи просишь ты отвѣта,
И чепчикъ развязался твой;

Когда кругомъ все тьмой покрыто,
А въ небѣ теплится звѣзда, —
Скажи, мой другъ, моя Пепита,
О чемъ ты думаешь тогда?

Кто знаетъ дѣтскія мечтанья?
Быть можетъ, мысль твоя летитъ
Туда, гдѣ сладки упованья
И гдѣ дѣйствительность молчитъ?

О героинѣ ли романа,
Тобой оставленной въ слезахъ?

Быть можетъ, о дворцахъ султана,
О поцѣлуяхъ, о мужьяхъ?

О той, чья страсть тебѣ открыта
Въ обмѣнѣ мыслей молодомъ?..
Быть можетъ, обо мнѣ, Пепита?..
Быть можетъ, ровно ни о чемъ?

1865 г.



ДОРОЖНАЯ ДУМА.

Позднею ночью равниною снѣжной
Бѣду я. Тихо. Все въ полѣ молчить...
Глухо звучать по дорогѣ безбрежной
Скрипъ отъ полозьевъ и топотъ копытъ.

Все, что, прощаясь, ты мнѣ говорила,
Снова твержу я въ невольной тоскѣ.
Дологъ мой путь, и дорога уныла...
Что-то въ уютномъ твоёмъ уголкѣ?

Слышенъ ли смѣхъ? Догораютъ ли свѣчи?
Такъ же-ль блистаетъ твой взоръ, какъ вчера?
Тѣ же ли смѣлыя, юныя рѣчи
Будутъ немолчно звучать до утра?

Кто тамъ съ тобой? Ты глядишь ли безстрастно,
Или трепещешь, волнуясь, любя?
Только-бъ тебѣ полюбить не напрасно,
Только-бъ другіе любили тебя!

Только бы кончился день безъ печали,
Только бы вечеръ прошелъ веселѣй,
Только бы сны золотые летали
Надъ головою усталой твоей!

Только бы счастье со свѣтлыми днями
Такъ же гналось по пятамъ за тобой,
Какъ наши тѣни бѣгутъ за санями
Снѣжной равниной, порою ночной!

КЪ МОРЮ.

Увы! не въ первый разъ, съ подавленнымъ рыданьемъ,
Я подхожу къ твоимъ волнамъ
И, утомясь безплоднымъ ожиданьемъ,
Всю ночь просиживаю тамъ...

Тому ужъ много лѣтъ: невѣдомая сила
Явилася ко мнѣ и въ мнимо-свѣтлый рай
Меня, какъ глупаго ребенка, заманила,
Шепнула мнѣ — люби, сказала мнѣ — страдай!

И съ той поры, ея велѣнію послушный,
Я съ каждымъ днемъ любилъ сильнѣе и больнѣй...
О, какъ я гналъ любовь, какъ я боролся съ ней,
Какъ покорялся малодушно!..

Но наконецъ, уставъ страдать,
Я думалъ: пронеслась невзгода...
Я думалъ: вотъ моя свобода
Ко мнѣ вернулась опять...

И что-жъ? томимъ тоскою, снова
Сижу на этомъ берегу,
Какъ жалкій рабъ, клянущи свои оковы,
Но сбросить цѣпи не могу.

О, если слышишь ты глаголь, тебѣ понятный,
О, море темное, пріютъ сердецъ больныхъ, —
Пусть исцѣлять меня просторъ твой необъятный
И вѣчный ропотъ волнъ твоихъ!

Пуcкай твердятъ онѣ мнѣ ежечасно
Объ оскорбленіяхъ, измѣнахъ, обо всемъ,
Что вынесъ я въ терпѣніи тупомъ...

.....
Теперь довольно. Ужъ мнѣ прежнихъ дней не видѣть,
Но если суждено мнѣ дальше жизнь влечить,
Дай силы мнѣ, чтобъ могъ я ненавидѣть!
Дай ты безумье мнѣ, чтобъ могъ я позабыть!

1867 г.



* * *

Я ждалъ тебя... Часы ползли уныло,
Какъ старыя, докучныя враги...
Всю ночь меня будилъ твой голосъ милый,
И чьи-то слышались шаги...

Я ждалъ тебя... Прозраченъ, свѣтъ и свѣтель,
Осенній день повѣялъ надъ землей...
Въ нѣмой тоскѣ я день прекрасный встрѣтилъ
Одною жгучею слезой...

• Пойми хоть разъ, что въ этой жизни шумной,
Чтобъ быть съ тобой—я каждый мигъ ловлю,
Что я люблю, люблю тебя безумно!
Какъ жизнь, какъ счастье люблю!..

1867 г.



* * *

Ни отзыва, ни слова, ни привѣта,
Пустынею межъ нами міръ лежитъ,
И мысль моя съ вопросомъ безъ отвѣта
Испуганно надъ сердцемъ тяготить!

Ужель, среди часовъ тоски и гнѣва,
Прошедшее исчезнетъ безъ слѣда,
Какъ легкій звукъ забытаго напѣва,
Какъ въ мракъ ночной упавшая звѣзда?

1867 г.



НІОБЕЯ.

(ЗАИМСТВОВАНО ИЗЪ «МЕТАМОРФОЗЪ» ОВИДІЯ).

Надъ трупами милыхъ своихъ сыновей
Стояла въ слезахъ Ніобей.
Лицо у ней мрамора было бѣлѣй,
И губы шептали, блѣднѣя:
«Насыться, Латона, печалью моею,
Умѣешь ты мстить за обиду!
Не ты ли прислала мнѣ гнѣвныхъ дѣтей:
И Феба, и дочь Артемиду?
Ихъ семеро было вчера у меня,
Могучихъ сыновъ Амфіона.
Сегодня... О, лучше-бъ не видѣть мнѣ дня!..
Насыться, насыться, Латона!
Мой первенецъ милый, Исментъ молодой,
На бурномъ конѣ проносился
И вдругъ, пораженный незримой стрѣлой,
Съ коня бездыханнымъ свалился.
То видя, исполнился страхомъ Сипиль
И въ бѣгствѣ искалъ онъ спасенья,
Но богъ безпощадный его поразилъ,
Бѣгущаго съ поля мученья.
И третій мой сынъ, незабвенный Танталъ,
Могучему дѣду подобный
Не именемъ только, но силой,—онъ палъ
Стрѣлою настигнутый злобой.
Съ нимъ вмѣстѣ погибъ дорогой мой Файдимъ,
Напрасно ища меня взоромъ.

Какъ дубы высокіе, пали за нимъ
И Дамасихтонъ съ Алфеноромъ.
Одинъ оставался лишь Иліоней,
Прекрасный, любимый, счастливый,
Какъ богъ, красотою волшебной своей
Плѣнявшій родимыя Оивы.
Какъ сильно хотѣлося отроку жить,
Какъ полонъ невѣдомой муки,
Онъ началъ боговъ о пощадѣ молить!
Онъ поднялъ безсильныя руки...
Мольба его такъ непритворна была,
Что сжалился богъ лучезарный...
Но поздно! Летитъ роковая стрѣла,—
Стрѣлы не воротишь коварной,—
И тихая смерть, словно сонъ среди дня,
Закрыла прелестныя очи...
Ихъ семеро было вчера у меня...
О, длиться-бъ всегда этой ночи!
Какъ жадно, Латона, ждала ты зари,
Чтобъ тяжкія видѣть утраты...
А все же и нынѣ, богиня, смотри:
Меня побѣдить не могла ты!
А все же къ презрѣннымъ твоимъ алтарямъ
Не придутъ вѣнчанныя жены,
Не будетъ куриться на нихъ оиміамъ
Во слану богини Латоны!
Вы, боги, всесильны надъ нашей судьбой,
Бороться не можемъ мы съ вами:
Вы насъ побиваете камнемъ, стрѣлою,
Болѣзнями или громами...
Но если въ бѣдѣ, въ униженіи тупомъ,
Мы силу души сохранили,
Но если мы, павши, проклятыя вамъ племъ,—
Ужель вы тогда побѣдили?
Гордись же, Латона, побѣдою дня,
Пируй въ ликованьяхъ напрасныхъ!
Но семь дочерей еще есть у меня,
Семь дѣвъ молодыхъ и прекрасныхъ...
Для нихъ буду жить я! Ихъ нѣжно любя,

Любуюсь ихъ лаской привѣтной,
Я, смертная, все же счастливѣй тебя,
 Богини едва не бездѣтной!»
Еще отзвучать не успѣли слова,
 Какъ слышитъ, дрожа, Ниобея,
Что въ воздухѣ знойномъ звенить тетива,
 Все ближе звенить и сильнѣе...
И падаютъ вдругъ ея шесть дочерей
 Безъ жизни одна за другою...
Такъ падаютъ лѣтомъ колосья полей,
 Сраженные жадной косой.
Седьмая еще оставалась одна
 И съ крикомъ: «О, боги, спасите!» —
На грудь Ниобеи припала она,
 Моля свою мать о защитѣ.
Смутилась царица. Страданье, испугъ
 Душой овладѣли сильнѣе,
И гордое сердце растаяло вдругъ
 Въ стѣсненной груди Ниобеи.
«Латона, богиня, прости мнѣ вину, —
 Лепечетъ жена Амфіона, —
Одну хоть оставь мнѣ, одну лишь, одну...
 О, сжапись! о, сжапись, Латона!»
И крѣпко прижала къ груди она дочь,
 Полна безотчетной надежды,
Но нѣтъ ей пощады, — и вѣчная ночь
 Сомкнула ужъ юныя вѣжды.
Стоитъ Ниобея безмолвна, блѣдна,
 Текутъ ея слезы ручьями...
И чудо! Глядятъ: каменѣетъ она
 Съ поднятыми къ небу руками.
Тяжелая глыба влилась въ ея грудь,
 Не видитъ она и не слышитъ,
И воздухъ не смѣетъ въ лицо ей дохнуть,
 И вѣтеръ волосъ не колышетъ.
Затихли отчаянье, гордость и стыдъ,
 Безсильно замолкли угрозы...
Въ красѣ упоительной мраморъ стоитъ
 И точитъ обильныя слезы.

СТРАНСТВУЮЩАЯ МЫСЛЬ.

Съ той поры, какъ прощальный привѣтъ
Горячо прозвучалъ между нами,
Моя мысль за тобою вослѣдъ
Полетѣла, махая крылами.

Цѣлый день неотступно она
Вдоль по рельсамъ чугуннымъ скользила,
Все тобою одною полна,
И ревниво твой сонъ сторожила.

А теперь, среди мрака ночей,
Изнывая заботою нѣжной,
За кибиткой дорожной твоей
Она скачетъ пустынею снѣжной.

Она видитъ, какъ подъ-гору внизъ
Мчатся кони усталые смѣло,
И какъ иней на соснахъ повисъ,
И какъ все кругомъ голо и бѣло.

То съ тобой она вмѣстѣ дрожитъ,
Засыпая въ саняхъ, какъ въ постели,
И тебѣ о быломъ говорить
Подъ суровые звуки метели;

То на станціи бѣдной сидитъ,
Согрѣваясь съ тобой самоваромъ,
И съ безмолвнымъ участіемъ слѣдитъ
За его убѣгающимъ паромъ...

Все на югъ она мчится, на югъ,
Уносимая жаркой любовью,
И войдетъ она въ домъ твой, какъ другъ,
И приникнетъ съ тобой къ изголовью!

1868 г.

МОЛЕНИЕ О ЧАШѢ.

Въ саду Геосиманскомъ стоялъ Онъ одинъ,
Подсмертною мукой томимый, —
Отцу Всеблаговому, въ тоскѣ нестерпимой,
Молился страдающій Сынъ.

«Когда то возможно,
«Пусть, Отче, минуетъ Мя чаша сія,
«Однако, да сбудется воля Твоя!»...
И шель Онъ къ апостоламъ съ думой тревожной,
Но, скованы тяжелой дремой,
Апостолы спали подъ тѣнью оливы.
И тихо сказалъ Онъ имъ: «Какъ не могли вы
«Единаго часа побдѣти со Мной?
«Молитесь! Плоть немощна ваша!»...
И шель онъ молиться опять:
«Но если не можетъ Меня миновать, —
«Не пить чтобъ ее, — эта чаша,
«Пусть будетъ, какъ хочешь Ты, Отче!».. И вновь
Объялъ его ужасъ смертельный.
И потъ Его падалъ на землю, какъ кровь,
И ждалъ Онъ въ тоскѣ безпредѣльной...

И снова къ апостоламъ Онъ подходилъ,
Но спали апостолы сномъ непробуднымъ...
И тѣ же слова Онъ Отцу говорилъ,
И палъ на лицо, и скорбѣлъ, и тужилъ,
Смущаясь въ бореніи трудномъ...

О, если-бъ я могъ
Въ саду Геосиманскомъ явиться съ мольбами
И видѣть слѣды отъ божественныхъ ногъ,
И жгучими плакать слезами!

О, если-бъ я могъ
Упасть на холодный песокъ
И землю любить ту святую,
Гдѣ такъ одиноко страдала любовь,
Гдѣ потъ отъ лица Его падалъ, какъ кровь,
Гдѣ чашу Онъ ждалъ роковую!
О, если-бъ въ ту ночь кто-нибудь,
Въ ту страшную ночь искупленья,
Страдальцу въ изнывшую грудь
Влилъ слово одно утѣшенья!

Но было все тихо во мракѣ ночномъ,
И спали апостолы тягостнымъ сномъ,
Забывъ, что грозить имъ невзгода...
И въ садъ Геосиманскій съ дрекольемъ, съ мечомъ,
Влекомы Іудой, входили тайкомъ
Безумные сонмы народа!

Петергофъ. 1868 г.



НОЧЬ ВЪ МОНПЛЕЗИРЪ.

На берегъ сходить ночь, беззвучна и тепла,
Не видно кораблей изъ-за туманной дали,
И, словно очи, безъ числа
Надъ моремъ звѣзды замигали.
Ни шелеста въ деревьяхъ вѣбовыхъ,
Ни звука голоса людского,
И кажется, что все навѣкъ уснуть готово
Въ объятіяхъ ночныхъ.
Но морю не до сна. Какимъ-то гнѣвомъ полны,
Надменные, нахмуренныя волны
О берегъ бьются и стучать;
Чего-то требуютъ ихъ ропотъ непонятный,
Въ ихъ шумѣ съ ночью благодатной
Какой-то слышится разладъ.
Съ какимъ же ты гигантомъ въ спорѣ?
Чего же хочешь ты, бушующее море,
Отъ бѣдныхъ жителей земныхъ?
Кому ты плешь свои велѣнья?
И въ этотъ часъ, когда весь міръ затихъ,
Кто выдвинулъ мятежное волненье
Изъ нѣдръ невѣдомыхъ твоихъ?
Отвѣта нѣтъ... Громадою нестройной
Кипитъ и пѣнится вода...

Не такъ ли въ сердцѣ иногда,
Когда кругомъ все тихо и спокойно,
И ровно дышитъ грудь, и ясно блещетъ взоръ,
И весело звучитъ знакомый разговоръ, —
Вдругъ поднимается нежданное волненье:
Зачѣмъ весь этотъ блескъ, откуда этотъ шумъ?

Что значить этихъ бурныхъ думъ
Неодолимое стремленье?

Не вспыхнулъ ли любви завѣтный огонекъ?

Предвѣстье-ль это близкаго ненастья,
Воспоминаніе-ль утраченного счастья,
Иль въ сонной совѣсти проснувшійся упрекъ?
Кто можетъ это знать?

Но разумъ понимаетъ,
Что въ сердцѣ есть у насъ такая глубина,

Куда и мысль не проникаетъ, —
Откуда, какъ съ морского дна,
Могучимъ трепетомъ полна,
Невѣдомая сила вылетаетъ
И что-то смутно повторяетъ,
Какъ набѣжавшая волна.

Петергофъ. 1868 г.



*
*
*

Мнѣ снился сонъ... То былъ ужасный сонъ,
Что я стою предъ статуей твоею,
Какъ нѣкогда стоялъ Пигмаліонъ,
Въ тоскѣ моля воскреснуть Галатею.

Высокое, спокойное чело
Античною сіяло красотою,
Глаза смотрѣли кротко и свѣтло,
И всѣ черты дышали добротою...

Вдругъ поблѣднѣлъ я и не могъ вздохнуть
Отъ небывалой, нестерпимой муки:

Неистово за горло и за грудь

Меня схватили мраморныя руки

И начали душить меня и рвать,

Какъ бы дрожа отъ злого нетерпѣнья...

Я вырваться хотѣлъ и убѣжать,

Но, словно трупъ, остался безъ движенья...

Я изнывалъ, я выбился изъ силъ,

Но, въ ужасѣ смертельно холодѣя,

Измученный, я все-жъ тебя любилъ,

Я все твердилъ: «воскресни, Галатея!»...

И на тебя взглянуть я могъ едва

Съ надеждою, мольбою о пощадѣ...

Ни жалости, ни даже торжества

Я не прочелъ въ твоёмъ спокойномъ взглядѣ...

Попрежнему высокое чело

Античною сіяло красотою,

Глаза смотрѣли кротко и свѣтло,

И всѣ черты дышали добротою...

Тутъ холодъ смерти въ грудь мою проникъ,

Въ послѣдній разъ я прошепталъ: «воскресни!»...

И вдругъ, въ отвѣтъ на мой предсмертный крикъ,

Раздался звукъ твоей веселой пѣсни...



СУДЬБА.

(къ V-й симфоніи Бетховена).

Съ своей походною клюкой,
Съ своими мрачными очами—
Судьба, какъ грозный часовой,
Повсюду слѣдуетъ за нами.
Бѣдой лицо ея грозитъ,
Она въ угрозахъ посѣдѣла,
Она ужъ многихъ одолѣла,
И все стучить, и все стучить:

Стукъ, стукъ, стукъ!...

Полно, другъ,

Брось за счастьемъ гоняться!

Стукъ, стукъ, стукъ!..

Бѣднякъ совсѣмъ обжился съ ней:
Рука съ рукой они гуляютъ,
Собираютъ вмѣстѣ хлѣбъ съ полей,
Въ награду вмѣстѣ голодаютъ.
День цѣлый дождь его кропитъ,
По вечерамъ ласкаетъ вьюга,
А ночью, съ горя да съ испуга,
Судьба сквозь сонъ ему стучить:

Стукъ, стукъ, стукъ!..

Глянь-ка, другъ,

Какъ другіе поживаютъ.

Стукъ, стукъ, стукъ!..

Другіе праздновать сошлись
Богатство, молодость и славу.
Ихъ пѣсни радостно неслись,
Вино смѣнилось имъ въ забаву;
Давно ужъ пиръ у нихъ шумить,
Но смолкли вдругъ, блѣднѣя, гости...
Рукой, дрожащею отъ злости,
Судьба въ окошко къ нимъ стучить:

Стукъ, стукъ, стукъ!..

Новый другъ

Къ вамъ пришелъ, — готовьте мѣсто!

Стукъ, стукъ, стукъ!..

Но есть же счастье на землѣ!
Однажды, полный ожиданья,
Съ восторгомъ юнымъ на челѣ,
Пришелъ счастливецъ на свиданье.
Еще одинъ онъ, все молчитъ,
Заря за рощей потухаетъ,
И соловей ужъ затихаетъ,
А сердце бьется и стучить:

Стукъ, стукъ, стукъ!..

Милый другъ,

Ты придешь ли на свиданье?

Стукъ, стукъ, стукъ!..

Но, вотъ, идетъ она, и вмигъ
Любовь, тревога, ожиданье,
Блаженство, — все слилось у нихъ
Въ одно безумное лобзанье!
Нѣмая ночь на нихъ глядитъ,
Все небо залито огнями,
А кто-то тихо, за кустами,
Клюкой докучною стучить:

Стукъ, стукъ, стукъ!..

Старый другъ

Къ вамъ пришелъ, — довольно счастья!

Стукъ, стукъ, стукъ!...

Въ концѣ 60-хъ годовъ.

А. С. ДАРГОМЫЖСКОМУ.

Съ отрадой тайною, съ горячимъ нетерпѣньемъ
Мы пѣсни ждемъ твоей, задумчивый пѣвецъ.

Какъ жадно тысячи сердецъ

Тебѣ откликнутся могучимъ упоеньемъ!

Художники безсмертны: ужъ давно

Покинулъ насъ поэта свѣтлый геній,

И вотъ «волшебной силой пѣснопѣннѣй»

Ты воскрешаешь то, что имъ погребено.

Пускай всю жизнь его терзалъ вѣнецъ терновый,

Пусть и теперь надъ нимъ звучитъ неправый судъ, —

Поэта пѣсни не умрутъ:

Гдѣ замираетъ мысль и умолкаетъ слово,

Тамъ съ новой силою акорды потекутъ...

Пѣвецъ родной, ты — братъ поэта намъ родного...

Его безмолвна ночь, твой ярко блещетъ день:

Такъ вызови-жъ скорѣй, творецъ «Русалки», снова

Его тоскующую тѣнь!

Въ концѣ 60-хъ годовъ.

*
*
*

О, будь моей звѣздой! сіяй мнѣ тихимъ свѣтомъ,

Какъ эта чистая, далекая звѣзда!

На землю темную она глядитъ съ привѣтомъ,

Чужда ея страстямъ, свободна и горда.

И только иногда, услыша въ отдаленьи

Любви безумной стонъ, отчаянный призывъ,

Она вздрогнетъ сама — и въ жалости, въ смятеніи

На землю падаетъ, о небѣ позабывъ!

Въ концѣ 60-хъ годовъ.

РЕКВИЕМЪ.

Requiem aeternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis.

I.

Вѣчный покой отстрадавшему много томительныхъ лѣтъ,
Пусть осіаетъ раба Твоего нескончаемый свѣтъ!
Дай ему, Господи, дай ему, наша защита, покровъ,
Вѣчный покой со святыми Твоими во вѣки вѣковъ!

II.

Dies irae...

О, что за день тогда ужасный встанетъ,
Когда архангела труба
Надъ изумленнымъ міромъ грянетъ
И воскреситъ владыку и раба!

О, какъ они, смутясь, поникнутъ долу,
Цари могучіе земли,
Когда къ Всевышнему Престолу
Они предстанутъ въ прахѣ и въ пыли!

Дѣла и мысли строго разбирая,
Возсядетъ Вѣчный Судія,
Прочтется книга роковая,
Гдѣ вписаны всѣ тайны бытія.

Все, что таилось отъ людского вѣнья,
Наружу выплыветъ со дна,
И не останется безъ мщенья
Забятая обида ни одна!

И добраго, и вреднаго поѣва
Плоды пожнутъ веѣ тогда...
То будетъ день тоски и гнѣва,
То будетъ день унынья и стыда!

III.

Безъ могучей силы знанья
И безъ гордости былой,
Человѣкъ, вѣнецъ созданья,
Робокъ станетъ предъ Тобой.

Если въ день тотъ безутѣшный
Даже праведникъ вздрогнетъ, —
Что же онъ отвѣтитъ — грѣшный?
Гдѣ защитника найдетъ?

Все внезапно прояснится,
Что казалось темно;
Встреппенетъ, разгорится
Совѣсть, спавшая давно.

И когда она укажетъ
На земное бытіе,
Что онъ скажетъ, что онъ скажетъ
Въ оправданіе свое?

IV.

Съ воплемъ безсилія, съ крикомъ печали,
Жалокъ и слабъ онъ явился на свѣтъ,
Въ это мновенье ему не сказали:
Выборъ свободенъ — живи или пѣть.
Съ дѣтства твердили ему ежечасно:

Сколько-бъ ни встрѣтилъ ты горя, потерь,—
Помни, что въ мірѣ все мудро, прекрасно,
Люди всѣ братья,—люби ихъ и вѣрь!
Въ юную душу съ мечтою и думой
Страсти нахлынули мутной волной...
«Надо бороться!»—сказали угрюмо
Тѣ, что царили надъ юной душой.
Были усилія тревожны и жгучи,
Но не по силамъ пришлось борьба:
Кто такъ устроилъ, что страсти могучи?
Кто такъ устроилъ, что воля слаба?
Много любилъ онъ, — любовь измѣнила:
Дружба, — увы! измѣнила и та:
Зависть къ ней тихо подкралась сначала,
Съ завистью вмѣстѣ пришла клевета.
Скрылись друзья, отвернулись братья...
Господи, Господи, видѣлъ Ты Самъ,
Какъ шевельнулись впервые проклятыя
Счастьемъ былому, вчерашнимъ мечтамъ;
Какъ постепенно, въ тоскѣ изнывая,
Видя однѣ лишь неправды земли,
Ожесточалась душа молодая,
Какъ одинокія слезы текли;
Какъ, наконецъ, утомясь борьбою,
Возненавидя себя и людей,
Онъ усомнился скорбящей душою
Въ мудрости міра и въ правдѣ Твоей!
Скучной толпой проносились годы,
Бури стихали, яснѣлъ его путь...
Изрѣдка только, какъ гуль непогоды,
Память стучала въ разбитую грудь.
Только-что тихіе дни засіяли, —
Смерть на порогѣ... откуда? зачѣмъ?
Съ воплемъ безсилія, съ крикомъ печали
Онъ повалился недвижимъ и нѣмъ.
Вотъ онъ, смотрите, лежить безъ дыханья...
Боже! къ чему онъ родился и росъ?
Эти сомнѣнья, измѣны, страданья, —
Боже! зачѣмъ же онъ ихъ перенесъ?

Пусть хоть слеза надъ усопшимъ прольется,
Пусть хоть теперь замолчить клевета!..
Сердце, горячее сердце не бьется,
Вѣжды сомкнуты, безмолвны уста.
Скоро нещадное, грязное тлѣнье
Ляжетъ печатью на немъ роковой...
Дай ему, Боже, грѣховъ отпущенье,
Дай ему вѣчный покой!

V.

Вѣчный покой отстрадавшему много томительныхъ лѣтъ,
Пусть осіяетъ раба Твоего нескончаемый свѣтъ!
Дай ему, Господи, дай ему, наша защита, покровъ,
Вѣчный покой со святыми Твоими во вѣки вѣковъ!..

Въ концѣ 60-хъ годовъ.



ЛЕДЯНАЯ ДѢВА.

(изъ норвежскихъ сказокъ).

Зимняя ночь холодна и темна.
Словно застыла въ морозѣ луна,
Буря то плачетъ, то злобно шипитъ,
Снѣжныя тучи надъ кровлей крутить.
Въ хижинѣ тѣсной, надъ сыномъ больнымъ
Мать наклонилась и шепчется съ нимъ.

СЫНЪ.

Матушка, тяжкимъ забылся я сномъ...
Кто это плачетъ и стонетъ кругомъ?
Матушка, слышишь, какъ буря шумитъ?
Адское пламя мнѣ очи слѣпить.

МАТЬ.

Полно, мой сынъ, то не ада лучи, —
Сучья березы пылаютъ въ печи.
Что намъ за дѣло, что буря грозна?
Въ хижину къ намъ не ворвется она.

СЫНЪ.

Матушка, слушай! недолго мнѣ жить, —
Душу хочу предъ тобою открыть.
Помнишь: ты слышала прошлой зимой,
Какъ заблудился я въ чащѣ лѣсной?
Долго я шель, утихала метель,
Вижу—поляна, знакомая ель;
Юная дѣва подъ елью стоитъ,
Манить рукою и словно дрожать.
«Юноша, — шепчетъ она, — подойди,
«Душу согрѣй у меня на груди»...
Я обомлѣлъ предъ ея красотой, —
Я красоты и не видѣлъ такой:
Стройная, свѣтлая, ласковый взглядъ,
Очи куда-то глубоко глядятъ,
Бѣлыя ризы пушистой волной
Падаютъ, ярко блестя подъ луной...
Дрогнуло сердце, почуя любовь,
Страстью невѣдомой вспыхнула кровь.
Все позабылъ я въ тотъ мигъ роковой,
Даже не вспомнилъ молитвы святой...
Цѣлую зиму, лишь ночь посвѣтлѣй,
Я приходилъ на свиданіе къ ней
И до утра, пока мѣсяцъ сіялъ,
Блѣдныя руки ея цѣловалъ.
Разъ, въ упоеніи, полный огня,
Я говорю ей: «Ты любишь меня?»
— «Нѣтъ, — говоритъ, — я правдива, не лгу:
«Я полюбить не хочу, не могу;
«Тщетной надеждой себя не губи,
«Но, если хочешь, меня полюби».
Жесткое слово кольнуло ножемъ...
Скоро, безумецъ, забылъ я о немъ.
Въ бурю не разъ, весела и грозна,
Странныя пѣсни пѣвала она:
Все о какой-то полярной странѣ,
Гдѣ не мечтаютъ о завтрашнемъ днѣ,
Нѣтъ ни заботъ, ни огня, ни воды, —

Вѣчное счастье и вѣчные льды.
Чѣмъ становилось время теплѣй,
Тѣмъ эта пѣсня звучала грустнѣй;
Въ день, какъ растаялъ на кровлѣ снѣжокъ,
Я ужъ найти моей милой не могъ.
Много тебѣ со мной плакать пришлось!
Лѣто безжизненнымъ сномъ пронеслось;
Съ радостью, вамъ непонятной, смѣшной,
Слушалъ я вѣтра осенняго вой;
Жадно слѣдилъ я, какъ стыла земля,
Рощи желтѣли, пустѣли поля,
Какъ изстрадавшійся листъ отпадалъ,
Какъ его медленно дождь добивалъ,
Какъ нашъ ручей затонулъ во льду...
Разъ на поляну я тихо иду,
Смутно надежду въ душѣ затая...
Вижу: стоитъ дорогая моя,
Стройная, свѣтлая, ласковый взглядъ,
Очи глубоко, глубоко глядятъ...
Съ трепетомъ я на колѣни упалъ,
Все рассказалъ: какъ томился и ждалъ,
Какъ моя жизнь только ею полна...
Но равнодушно смотрѣла она.
«Что мнѣ въ твоихъ безразсудныхъ мечтахъ,
«Въ томъ, что ты блѣденъ, и желтъ, и зачахъ?
«Жалкій безумецъ! Со смертью въ крови
«Все еще ждешь ты какой-то любви!»
— «Ну, — говорю я съ рыданіемъ ей, —
«Ну, не люби, да хотя пожалѣй!»
— «Нѣтъ! — говоритъ, — я правдива, не лгу:
«Я ни любить, ни жалѣть не могу!»
Преобразились черты ея вмгъ:
Холодомъ смерти повѣяло въ нихъ.
Бросивъ мнѣ полный презрѣнія взоръ,
Скрылась со смѣхомъ она... Съ этихъ поръ
Я и не помню, что было со мной!
Помню лишь взоръ безпощадный, нѣмой,
Жегшій меня на яву и во снѣ,
Мучившій душу въ ночной тишинѣ...

Вотъ и теперь, посмотри, оглянись...
Это опа! ея очи впились,
Въ душу вливаютъ смятенъе и страхъ,
Злая усмѣшка скользить на губахъ.

МАТЬ.

Сынъ мой, то призракъ: не бойся его!
Здѣсь, въ этой хижинѣ, нѣтъ никого.
Сядь, какъ бывало, и слезъ не таи,
Я уврачу всѣ раны твои.

СЫНЪ.

Матушка, прежній мой пламень потухъ:
Самъ я сталъ холоденъ, самъ я сталъ сухъ;
Лучше уйди, не ласкай меня, мать!
Ласки тебѣ я не въ силахъ отдать.

МАТЬ.

Сынъ мой, я жесткое слово прощу,
Злобнымъ упрекомъ тебя не смущу, —
Что мнѣ въ объятяхъ и ласкахъ твоихъ?
Матери сердце тепло и безъ нихъ.

СЫНЪ.

Матушка, смерть ужъ въ окошко стучить...
Душу одно лишь желанье томить
Въ этотъ послѣдній и горестный часъ:
Встрѣтить ее хоть одинъ еще разъ,
Чтобы подъ звукъ нашихъ пѣсенъ былыхъ
Таять въ объятяхъ ея ледяныхъ!

Смокла бесѣда... Со стономъ глухимъ
Сынъ повалился. Лежить недвижимъ,
Тихо дыханье, какъ будто заснулъ...

Длинную пѣсню сверчокъ затянулъ...
Молится старая, шепчетъ, не спать...
Буря то плачетъ, то злобно шипитъ,
Воетъ, въ замерзшее рвется стекло...
Словно ей жаль, что въ избушкѣ тепло,
Словно досадно ей, вѣдьмѣ лихой,
Что не кончается долго больной,
Что надъ постелью, гдѣ бѣдный лежитъ,
Матери сердце надеждой дрожить!

Въ концѣ 60-хъ годовъ.



СТАРАЯ ЦЫГАНКА.

Пиръ въ разгарѣ. Случайно сошлись сюда,
Чтобъ виномъ отвести себѣ душу
И послушать красавицу Грушу,
Разношерстные все господа:
Тутъ помѣщикъ разслабленный, старый;
Тамъ усатый полковникъ, безусый корнетъ,
Изучающій нравы поэтъ
И чиновниковъ юныхъ двѣ пары.
Притворяются гости, что весело имъ,
И плохое шампанское льется рѣкою...

Но цыганкѣ одной этотъ пиръ нестерпимъ.
Она сѣла, къ стѣнѣ прислонясь головою,
Вся въ морщинахъ, дырявая шаль на плечахъ,
И суровое, злое презрѣнье
Загорается часто въ потухшихъ глазахъ:
Не по сердцу ей модное пѣнье...
«Да, ужъ пѣсни теперь не услышишь такой,
«Отъ которой захочется плакать самой!
«Да и люди не тѣ: имъ до прежнихъ далече...
«Вотъ хоть этотъ чиновникъ, — плюгавый такой,
«Что, Наташу обнявши рукой,
«Говорить непристойныя рѣчи, —
«Онъ вѣдь шагу не ступить для ней... Въ кошелекѣ

«Вся душа-то у нихъ... Да, не то, что бывало!» —
Такъ шептала цыганка въ безсильной тоскѣ,
И минувшее, сбросивъ на мигъ покрывало,
Передъ нею росло — воскресало. —

Ночь у Яра. Московская знать
Собралась какъ для важнаго дѣла,
Чтобы Маню — такъ звали ее — услыхать.
Да и какъ же въ ту ночь она пѣла!
«Ты почувствуй!» — выводилъ она, наклонясь,
А сама, между тѣмъ, замѣчаетъ,
Что высокій осанистый князь
Съ нея огненныхъ глазъ не спускаетъ.
Полюбила она съ того самаго дня
Первой страстью горячее, невинной,
Больше братьевъ родныхъ, «жарче дня и огня»,
Какъ пѣвалось въ пѣснѣ старинной.
Для него бы снесла она стыдъ и позоръ,
Убѣжала бы съ нимъ безразсудно,
Но такой учредили за нею надзоръ,
Что и видѣться было имъ трудно.
Разъ заснула она среди слезъ.
«Князь пріѣхалъ!» — кричатъ ей... Во снѣ, аль серьезно?
Двадцать тысячъ онъ въ таборъ привезъ
И умчалъ ее ночью морозной.
Прожила она съ княземъ пять лѣтъ,
Много счастья узнала, но много и бѣдъ...
Чего больше? спросите, — она не отвѣтитъ;
Но отъ горя исчезнулъ и слѣдъ,
Только счастье звѣздою далекою свѣтитъ!
Разъ всю ночь она князя ждала.
Воротился онъ блѣдный отъ гнѣва, печали:
Въ этотъ день его мать прокляла,
И въ опеку имѣніе взяли.
И теперь часто видитъ цыганка во снѣ,
Какъ сказалъ онъ тогда ей: «Эхъ, Маша,
«Что намъ думать о завтрашнемъ днѣ?
«А теперь — хоть минута, да наша!»
Довелось ей спознаться и съ «завтрашнимъ днемъ»:

Серебро продала, съ жемчугами разсталась,
 Въ деревянный, заброшенный домъ
 Изъ дворца своего перебралась,
 И подъ этою кровлею вновь
 Она съ бѣдностью встрѣтилась смѣло:
 Тѣ же пѣсни и та же любовь...
 А до прочаго что ей за дѣло?
 Это время сіяетъ цыганкѣ вдали,
 Но другія картины предъ ней пролетѣли.
 Разъ, подъ самый подъ Троицынъ день, къ ней пришли
 И сказали, что князь, моль, убить на дуэли...
 Не забыть никогда ей ту страшную ночь,
 А пойти туда, на домъ, не смѣла.
 Наконецъ, поутру ей ужъ стало не въ мочь:
 Она черное платье надѣла,
 Робкимъ шагомъ вошла она въ княжескій домъ,
 Но какъ князя-голубчика тамъ увидала
 Съ восковымъ, неподвижнымъ лицомъ,
 Такъ на трупъ его съ воплемъ упала...
 Зашептали кругомъ: «Не сошла бы съ ума!»
 «Знать, взаправду цыганка любила»...
 Подошла къ ней старуха-княгиня сама,
 Образокъ ей дала... и простила.
 Еще Маня красива была въ тѣ года,
 Много къ ней молодцовъ подбивалось,
 Но, прожитою долей горда,
 Она вѣрно князю осталась.
 А какъ померъ сынокъ ея, — славный такой,
 На отца былъ похожъ до смѣшного, —
 Воротилась цыганка въ свой таборъ родной
 И заплѣла для хлѣба насущнаго снова!
 И опять забродила по русской землѣ,
 Только Марьей Васильевной стала изъ Мани...
 Пѣла въ Нижнемъ, въ Калугѣ, въ Орлѣ,
 Побывала въ Крыму и въ Казани;
 Въ Курскѣ, помнится, разъ въ Коренной
 Губернаторшѣ голосъ ея полюбился,
 Обласкала она ее пуще родной,
 И потомъ ей весь городъ дивился.

Но теперь ужъ давно праздною тѣнью она
Доживаетъ свой вѣкъ и поетъ только въ хорѣ...

А могла бы пропѣть и одна
Про ушедшія вдаль времена,
Про бродячее старое горе,
Про веселое съ милымъ житье,
Да про жгучія слезы разлуки...
Замечталась цыганка...

Ея забытые
Прерываютъ нахальные звуки.
Груша, какъ-то весь станъ изогнувъ,
Подражая коготкѣ развязной,
Шансонетку поетъ: «Ньюфъ, ньюфъ, ньюфъ!» —
Раздается припѣвъ безобразный.
«Ньюфъ, ньюфъ, ньюфъ!» — шепчетъ старая
вслѣдъ: —
«Что такое? Слова не людскія,
«Въ нихъ ни смысла, ни совѣсти нѣтъ...
«Сгинетъ таборъ подъ пѣсни такія!»
Такъ обидно ей, горько, — хоть плачь!

Пиръ въ разгарѣ. Хвативши трактирной отравы,
Спитъ поэтъ, изучающій нравы,
Пьетъ довольный собою усачъ,
Расходился чиновникъ плюгавый:
Онъ чужую фуражку надѣлъ на-бекрень
И плясать бы готовъ, да стыдится.

Непривѣтливый, пасмурный день
Въ разноцвѣтныя стекла глядится.

Въ концѣ 60-хъ годовъ.



ВСТРѢЧА.

Тропинкой узкою я шель въ ночи нѣмой,
И въ черномъ женщина явилась предо мной.
Остановился я, дрожа, какъ въ лихорадкѣ...
Одежды траурной разсыпанныя складки,
Сѣдые волосы на сгорбленныхъ плечахъ,—
Все въ душу скорбную вливало тайный страхъ.
Хотѣлъ я своротить, но мѣста было мало...
Хотѣлъ бѣжать назадъ, но силы не хватало,
Горѣла голова, дышала тяжело грудь...
И вздумалъ я въ лицо старухи заглянуть;
Но то, что я прочелъ въ ея недвижномъ взорѣ,
Таило новое, невѣдомое горе.
Сомнѣнья, жалости въ немъ не было слѣда,
Не злоба то была, не месть и не вражда,
Но что-то темное, какъ ночи дуновенье,
Неумолимое, какъ времени теченье.
Она сказала мнѣ: «Я — смерть, иди со мной!»
Ужъ чуялъ я ея дыханье надъ собой;
Вдругъ сильная рука, невѣдомо откуда,
Схватила — и меня, какой-то силой чуда,
Перенесла въ мой домъ...

Живу я, но съ тѣхъ поръ
Ничей не радуешь меня волшебный взоръ,
Не могутъ ужъ ничьи привѣтливыя рѣчи
Заставить позабыть слова той страшной встрѣчи.

Въ концѣ 60-хъ годовъ.



Опять въ моей душѣ тревоги и мечты,
И льется скорбный стихъ, безсонницы отрада...
О, рви ихъ поскорѣй — послѣдніе цвѣты

Изъ моего поблѣкнувшаго сада!

Ихъ много сожжено случайною грозой,

Размыто ранними дождями,

А осень близится неслышною стопой,
Съ ночами хмурыми, съ безсолнечными днями.

Ужъ вѣтеръ вылъ холодный по ночамъ,
Сухими листьями дорожки покрывая;

Уже къ далекимъ, теплымъ небесамъ

Промчалась журавлей заботливая стая,

И между липами, изъ-за нагихъ вѣтвей,

Сквозить зловѣщее, чернѣющее поле...

Послѣдніе цвѣты сомкнулися тѣснѣй...

О, рви же, рви же ихъ скорѣй,

Дай имъ хоть день еще прожить въ теплѣ и холѣ!

Въ концѣ 60-хъ годовъ.



КОРОЛЕВА.

Пиръ шумить. Король Филиппъ ликуетъ,
И, его веселіе дѣля,
Вмѣстѣ съ нимъ побѣду торжествуетъ
Пышный дворъ Филиппа короля.

Отчего-жъ огнями блещетъ зала?
Чѣмъ король обрадовалъ страну?
У сосѣда, вѣрнаго вассала,
Онъ увезъ красавицу жену.

И среди рабовъ своихъ покорныхъ
Молодецки, весело глядитъ:
Что ему до толковъ не придворныхъ? —
«Мужъ потерпѣть, папа разрѣшить».

Шуменъ пиръ. Прелестная Бертрада
Оживляетъ, веселитъ гостей,
А внизу, въ дверяхъ, въ аллеяхъ сада
Принцы, графы шепчутся о ней.

Что же тамъ мелькнуло бѣлой тѣнью,
Исчезало въ зелени кустовъ
И опять, подобно привидѣнью,
Двигается безъ шума и безъ словъ?

«Это Берта, Берта королева!» —
Пронеслось мгновенно здѣсь и тамъ,
И, какъ стая гончихъ, справа, слѣва,
Принцы, графы кинулись къ дверямъ.

И была ужасная минута:
Къ нимъ, шатаясь, подошла она,
Горемъ — будто бременемъ согнута,
Страстью — будто зноимъ спалена.

«О, зачѣмъ, зачѣмъ, — она шептала, —
Вы стоите грозною толпой?
Десять лѣтъ я вамъ повелѣвала:
Быль ли кто изъ васъ обиженъ мной?

«О Филиппъ! пускай падутъ проклятья
На жестокий день, въ который ты
Въ первый разъ отвергъ мои объятыя,
Внявъ словамъ безстыдной клеветы!

«Если-бъ ты изгнанникъ былъ бездомный,
Я бы шла безъ устали съ тобой —
По лѣсамъ, осенней ночью темной,
По полямъ, въ палящій лѣтній зной.

«Гнетъ болѣзни, голода страданья
И твои упреки безъ числа —
Я бы все сносила безъ роптанья,
Я бы снова счастлива была!

«Если-бъ въ битвѣ, обагренный кровью,
Ты лежалъ въ предсмертномъ забытѣ, —
Къ твоему склонившись изголовью,
Омывала-бъ раны я твои.

«Я бы знала всѣ твои желанья,
Поняла бы гаснущую рѣчь,
Я-бъ сумѣла каждое дыханье,
Каждый трепеть сердца подстеречь.

«Если-бъ смерти одолѣла сила,—
Въ жгучую печаль погружена,
Я-бъ сама глаза твои закрыла,
Я-бъ съ тобой осталася одна...

«Старцы, жены, юноши и дѣвы,
Всѣ-бъ пришли въ печаль, печаль мою дѣля,
Но никто бы ближе королевы
Не стоялъ ко гробу короля!

«Что со мною? страсть меня туманить,
Жжетъ огонь обманутой любви...
Пусть конецъ твой долго не настанетъ,
О король мой, царствуй и живи!

«За одно привѣтливое слово,
За одинъ волшебный прежній взоръ
Я сносить безропотно готова
Годы ссылки, муку и позоръ.

«Я смущать не стану ликованья:
Я спокойна, ровно дышитъ грудь...
О, пустите! дайте на прощанье
На него хоть разъ еще взглянуть!»

Но напрасно робкою мольбою
Засвѣтился королевы взглядъ:
Неприступной, каменной стѣною
Передъ ней придворные стоятъ...

Пиръ шумитъ. Прелестная Бертрада
Всѣ сердца плѣняетъ и живить,
А въ глуши темнѣющаго сада
Чей-то смѣхъ, безумный смѣхъ звучить.

И, тотъ смѣхъ узнавъ, смѣются тоже
Принцы, графы, баловни судьбы,—
Предъ несчастьемъ — гордые вельможи,
Предъ успѣхомъ — подлые рабы.

Въ концѣ 60-хъ годовъ.



А К Т Е Р Ы.

Минувшей юности своей
Забывъ волненья и измѣны,
Отцы ужъ съ отроческихъ дней
Подготавливаютъ насъ для сцены.
Намъ говорятъ: «Ничтоженъ свѣтъ,
«Въ немъ все злодѣи или дѣти,
«Въ немъ сердца нѣтъ, въ немъ правды нѣтъ,
«Но будь и ты, какъ всѣ на свѣтѣ!»
И вотъ, чтобъ выйти на показъ,
Мы наряжаемся въ уборной.
Пока никто не видитъ насъ,
Мы смотримъ гордо и задорно.
Вотъ вышли молча и дрожимъ,
Но оправляемся мы скоро,
И съ чувствомъ роли говоримъ,
Украдкой глядя на суфлера.
И говоримъ мы о добрѣ,
О жизни честной и свободной,
Что въ первой юности порѣ
Звучить тепло и благородно:
О томъ, что жертва — нашъ девизъ,
О томъ, что всѣ мы люди — братья,
И публикѣ изъ-за кулисъ
Мы шлемъ горячія объятія.

И говоримъ мы о любви,
Къ невѣрной простирая руки,
О томъ, какой огонь въ крови,
О томъ, какія въ сердцѣ муки...
И сами видимъ безъ труда,
Какъ Дездемона наша мило,
Лицо закрывши отъ стыда,
Чтобъ поблѣднѣть, кладетъ бѣлила.
Потомъ, не зная, хороши-ль
Иль дурны были монологи,
За безтолковый водевиль
Ужъ мы беремся безъ тревоги.
И мы смѣемся надо всѣмъ,
Тряся горбомъ и головою,
Не замѣчая, между тѣмъ,
Что мы смѣялись надъ собою!
Но холодъ въ нашу грудь проникъ,
Устали мы — пора съ дороги:
На лбу чуть держится парикъ,
Слѣзаетъ горбъ, слабѣютъ ноги...
Конецъ. Теперь что-жъ дѣлать намъ?
Большая зала опустѣла...
Далеко авторъ гдѣ-то тамъ...
Ему до насъ какое дѣло?
И, снявъ парикъ, умывъ лицо,
Одежды сбросивъ шутовскія,
Мы всѣ, усталые, больные,
Лѣнливо сходимъ на крыльцо.
Намъ тяжело, намъ больно, стыдно,
Пустыя улицы темны,
На черномъ небѣ звѣздъ не видно —
Огни давно погашены...
Мы зябнемъ, стынемъ, изнывая,
А зимній воздухъ недвижимъ,
И обнимаетъ ночь глухая
Насъ мертвымъ холодомъ своимъ.

Въ концѣ 60-хъ годовъ.



БУДУЩЕМУ ЧИТАТЕЛЮ.

(ВЪ АЛЬБОМЪ О. А. К—ОЙ).

Хоть стихъ нашъ устарѣлъ, но преклони свой слухъ
И знай, что ихъ ужъ нѣтъ, когда-то бодро пѣвшихъ:
Ихъ пѣсня замерла, и взоръ у нихъ потухъ,
И перья выпали изъ рукъ окоченѣвшихъ!
Но смерть не все взяла. Средь этихъ урнъ и плитъ
Неизгладимый слѣдъ минувшихъ дней таится:
Всѣ струны порвались, но звукъ еще дрожить,
И жертвенникъ погасъ, но дымъ еще струится...

Въ концѣ 60-хъ годовъ.





Въ дверяхъ покинутаго храма
Съ кадилъ недвижныхъ оиіама
Еще струился синій дымъ,
Когда за юною четою
Пошли мы пестрою толпою,
Подъ небомъ яснымъ, голубымъ.

Покровомъ облаковъ прозрачныхъ
Оно, казалось, новобрачныхъ
Благословляло съ высоты,
И звуки музыки дрожали,
И словно счастье обѣщали
Благоухавшіе цвѣты.

Людское горе забывая,
Душа смягчалася больная
И оживала въ этотъ часъ...
И тихимъ, чистымъ упоеньемъ,
Какъ будто сладкимъ сновидѣньемъ,
Отсюду вѣяло на насъ.

Въ началѣ 70-хъ годовъ.



«ПРАЗДНИКОМЪ ПРАЗДНИКЪ».

Торжественный гуль не смолкаетъ въ Кремлѣ,
Кадила дымятся, проносится стройное пѣнье...
Какъ будто на мертвой землѣ
Свершается вновь Воскресенье!
Народныя волны ликують, куда-то спѣша...
Зачѣмъ въ этотъ часъ меня горькая мысль одолѣла?
Подъ гнетомъ усталаго, слабаго тѣла
Тебѣ не воскреснуть, разбитая жизнью душа!
Напрасно рвалась ты къ свѣту и жаждала воли!
Конецъ недалекъ: ты, какъ прежде, во тьмѣ и въ пыли;
Житейскія дразги тебя искололи,
Тяжелыя думы тебя извели.
И вотъ, утомясь, изстрадавшись безъ мѣры,
Позорно сдалась ты гнетущей судьбѣ...
И нѣтъ въ тебѣ теплаго мѣста для вѣры,
И нѣтъ для безвѣрія силы въ тебѣ!
Въ началѣ 70-хъ годовъ.

СЪ КУРЬЕРСКИМЪ ПОѢЗДОМЪ.

I.

«Ну, какъ мы встрѣтимся?—невольно думалъ онъ,
По снѣгу рыхлому къ вокзалу подъѣзжая.—
«Ужъ я—не юноша и вовсе не влюбленъ...
«Зачѣмъ же я дрожу? Ужели страсть былая
«Опять, какъ ураганъ, ворвется въ грудь мою,
«Иль только разожгли меня воспоминанья?»
И опустился онъ на мерзлую скамью,
Исполненъ жгучаго, нѣмого ожиданья.
Давно, давно, еще студентомъ молодымъ,
Онъ съ нею встрѣтился въ глуши деревни дальней.
О томъ, какъ онъ любилъ и какъ онъ былъ любимъ
Любовью первою, глубокой, идеальной,
Какъ планы смѣлые чертила съ нимъ она,
Идеи и любви всѣмъ жертвовать умѣя,—
Про то никто не зналъ, а знала лишь одна
Высокихъ тополей тѣнистая аллея.
Пришлось разстаться имъ. Прошелъ несносный годъ.
Онъ курсъ уже кончалъ, и новой, лучшей доли
Была близка пора... И вдругъ онъ узнаетъ,
Что замужемъ она, и вышла противъ воли.
Чуть не сошелъ съ ума, едва не умеръ онъ,
Давалъ нелѣпые, безумные обѣты.

Потомъ оправился... Съ прошедшимъ примирень,
Писалъ ей изрѣдка и получалъ отвѣты;
Потомъ въ тупой борьбѣ съ лишениями, съ нуждой,
Прошли безцвѣтные, томительные годы...
Онъ привыкалъ къ цѣпямъ, и образъ дорогой
Лишь изрѣдка блестѣлъ лучомъ былой свободы,
Потомъ блѣднѣлъ, блѣднѣлъ, потомъ совсѣмъ угасъ.
И вотъ, какъ одержалъ надъ сердцемъ онъ побѣду,
Какъ въ тинѣ жизненной по горло онъ погрязъ, —
Вдругъ вѣсть неожиданная: «Мужъ умеръ, и я ѣду».
«Ну, какъ мы встрѣтимся?» А поѣздъ опоздалъ...
Какъ ожиданіе бываетъ нестерпимо!
Толпою пестрою наполнился вокзалъ,
Гурьба артельщиковъ прошла, болтая, мимо,
А поѣзда все нѣтъ: пора-бъ ему прійти!
Вотъ раздался свистокъ, дымъ по дорогѣ взвился,
И, тяжело дыша, какъ бы уставъ въ пути,
Желанный паровозъ предъ нимъ остановился.

II.

«Ну, какъ мы встрѣтимся?» — такъ думала она,
Пока на всѣхъ парахъ курьерскій поѣздъ мчался.
Ужъ зимній день глядѣлъ изъ тусклаго окна,
Но убаюканный вагонъ не просыпался.
Старалась и она заснуть въ ночной тиши,
Но сонъ, упрямый сонъ, бѣжалъ все время мимо:
Со дна глубокаго взволнованной души
Воспоминанія рвались неудержимо.
Курьерскимъ поѣздомъ, спѣша Богъ вѣсть куда,
Промчалась жизнь ея безъ смысла и безъ цѣли...
Когда-то въ лучшіе, забытые года
И въ ней горѣлъ огонь, и въ ней мечты кипѣли!
Но въ обществѣ тупомъ, средь чуждыхъ ей натуръ,
Тотъ огонекъ задуть безжалостной рукою:
Покойный мужъ ея былъ грубый самодуръ,
Онъ каждый сердца звукъ встрѣчалъ насмѣшкой злою.
Былъ человѣкъ одинъ, — тотъ понималъ, тотъ любилъ...
А чѣмъ она ему отвѣтила? — Обманомъ...

Что-жъ дѣлать? Для борьбы ей не хватило силъ,
Да и могла-ль она бороться съ цѣлымъ станомъ?
И вотъ увидѣться имъ снова суждено...
Какъ встрѣтятся они? Онъ находилъ когда-то
Ее красавицей; но это такъ давно...
Измѣнять хоть кого утрата за утратай!
А впрочемъ... Не блестя, какъ прежде, красотой,
Черты остались тѣ-жъ и то же выраженье...
И стало весело ей вдругъ при мысли той,
Все оживилось въ ея воображеньѣ!
Сидѣвшій близъ нея и спавшій пассажиръ
Качался такъ смѣшно, съ осанкой генерала,
Что, глядя на него и на его мундиръ,
Богъ знаетъ отчего, она захохотала.
Но вотъ проснулись всѣ, — теперь ужъ не заснуть...
Кондукторъ отобралъ съ достоинствомъ билеты;
Вотъ фабрики попли, свистокъ — и конченъ путь.
Объяты, возгласы, знакомые привѣты...
Но гдѣ же, гдѣ же онъ? Не видно за толпой,
Но онъ, конечно, здѣсь... О, Боже! неужели
Тотъ, что глядитъ сюда, вонъ этотъ пожилой,
Съ очками синими и въ мѣховой шинели?

III.

И встрѣтились они, и поняли безъ словъ,
Пока слова текли обычной чередой,
Что бремя прожитыхъ безсмысленно годовъ
Межъ ними бездною лежало роковою.
О, никогда еще потраченные дни
Среди чужихъ людей, въ тоскѣ уединенья,
Съ такою ясностью не вспомнили они,
Какъ въ это краткое и горькое мгновенье!
Недаромъ злая жизнь ихъ гнула до земли,
Забрасывая ихъ слоями грязи, пыли...
Заботы на лицѣ морщинами легли,
И думы серебромъ ихъ головы покрыли...
И поняли они, что жалки ихъ мечты,
Что подъ туманами осенняго ненастья

Они — поблекшіе и поздніе цвѣты —
Не возродятся вновь для солнца и для счастья!
И вотъ, рука къ рукѣ и взоры опустивъ,
Они стоятъ въ толпѣ, боясь прервать молчанье...
И въ глубь минувшаго, въ сердечный ихъ архивъ,
Уже уходитъ прочь еще воспоминанье!
Ему припомнилась та мерзлая скамья,
Гдѣ ждалъ онъ поѣзда въ волненіи томящемъ;
Она же думала, тревогу затая:
«Какъ было хорошо, когда въ вагонѣ я
«Смѣялась отъ души надъ пассажиромъ спящимъ!»
Въ началѣ 70-хъ годовъ.



*
*
*

«Честъ имѣю донести Вашему Вы-
сокоблагородію, что въ огородахъ
мѣшанки Ефимовой найдено мерт-
вое тѣло».

(Изъ полицейскаго рапорта).

Въ убогомъ рубищѣ, недвижна и мертва,
Она покоилась среди пустаго поля;
Къ бревну прислонена, лежала голова...
Какая выпала вчера ей злая доля?
Зашибъ ли хмель ее среди вечерней тьмы,
Испуганный ли воръ хватилъ ее въ смятенѣхъ,
Недугъ ли поразилъ,— еще не знали мы
И уловить въ лицѣ старались выраженіе.
Но вѣяло оно покоемъ неземнымъ...
Народъ стоялъ кругомъ, какъ бы дивясь чуду,
И каждый клалъ свой грошъ въ одну большую груду,
И деньги сыпались къ устамъ ея нѣмымъ.
Вчера ихъ вымолить она бы не сумѣла...
Да, эти щедрые и поздніе гроши,
Что, можетъ быть, спасли-бъ нуждавшееся тѣло,
Народъ охотнѣе бросаетъ для души...
Быль чудный вешній день. По кочкамъ зеленѣли
Побѣги свѣжіе рождавшейся травы,
И дѣти бѣгали, и жаворонки пѣли...
Прохладный вѣтерокъ, вокругъ мертвой головы
Космами жидкими волосъ ея играя,
Казалось, лепеталъ о счастьѣ и веснѣ,
И небо синее въ прозрачной вышинѣ
Смѣялось надъ землею, какъ эпитагія злая!

Кіевъ. Въ началѣ 70-хъ годовъ.



А. Н. М—ВУ.

Уставши на пути тернистомъ и далекомъ,
Пріютъ для отдыха волшебный создалъ ты:
На все минувшее давно спокойнымъ окомъ
Ты смотришь съ этой высоты.
Пусть тамъ, внизу, клочечъ жизнь иная
Въ тупой враждѣ томящихся людей,—
Сюда лишь изрѣдка доходить, замирая,
Невнятный гулъ рыданій и страстей.
Здѣсь сладко отдохнуть! Все вѣтъ тишиною
И даль безмѣрно хороша,
И, выше уносясь довѣрчивой мечтою,
Не видитъ ничего межъ небомъ и собою
На мигъ воставшая душа...

Въ началѣ 70-хъ годовъ.



ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ.

Кончалось лѣто. Астры отцвѣтали...
Подъ гнетомъ жгучей, тягостной печали,
Я сѣлъ на старую скамью,
А листья надо мной, склоняясь, шептали
Мнѣ повѣсть грустную свою:

«Давно ли мы цвѣли подъ знойнымъ блескомъ лѣта,
И вотъ ужъ осень намъ грозить,
Немного дней тепла и свѣта
Судьба гнетущая сулитъ.

Ну, что-жь! пускай холодными руками
Зима охватить скоро насъ,—
Мы счастливы теперь: подъ этими лучами
Намъ жизнь милѣй въ прощальный часъ.
Смотри, какъ золотомъ облить нашъ паркъ печальный,
Какъ радостно цвѣты въ послѣдній разъ блестятъ!

Смотри, какъ пышно-погребально
Горить надъ рощами закатъ!
Мы знаемъ, что, какъ сонъ, ненастье пронесется,
Что снѣгу не всегда поляны покрывать,
Что явится весна, что все кругомъ проснется,—
Но мы... проснемся ли опять?

Вотъ здѣсь, подъ кровомъ нашей тѣни,
Гдѣ груди хвороста теперь лежать въ пыли,

Когда-то цвѣлъ роскошный кустъ сирени,
И розы пышныя цвѣли.
Пришла весна. Во славу новымъ розамъ
Зацвѣлъ, какъ прежде, соловей,
Но бѣдная сирень, охвачена морозомъ,
Не подняла своихъ вѣтвей...
А если къ жизни вновь вернутся липы наши,
Не мы увидимъ ихъ возвратъ,
И вмѣсто насъ, быть можетъ, лучше, краше
Другіе листья заблестятъ.
Ну, что-жь! пускай холодными руками
Зима охватить скоро насъ,—
Мы счастливы теперь: подъ блѣдными лучами
Намъ жизнь милѣй въ прощальный часъ.
Помедли, смерти! Еще-бъ хоть день отрады!..
А можетъ быть, сейчасъ, клоня верхушки ивъ,
Сорветъ на землю безъ пощады
Насъ вѣтра буйнаго порывъ...
Желтѣя, ляжемъ мы подъ липами родными...
И даже ты, объ насъ мечтающій съ тоской,
Ты встанешь со скамьи разсѣянный, больной
И, полонъ мыслями своими,
Раздавишь насъ небрежною ногой».

Въ началѣ 70-хъ годовъ.

* * *

ИСХОДЪ, ГЛАВА XIV, СТИХЪ 20.

Когда Израиля въ пустынь врагъ настигъ,
Чтобъ путь ему пресѣчь въ обѣщанныя страны,
Тогда Господь столпъ облачный воздвигъ,
Который раздѣлилъ враждующіе станы:
Однихъ—онъ тьмой объялъ до утреннихъ лучей,
Другимъ—всю ночь онъ лилъ потоки свѣта.

О, какъ душѣ тоскующей моей
Близка святая повѣсть эта!
Въ пустынь жизненной мы встрѣтились давно,
Другъ друга ищемъ мы и сердцемъ, и очами,
Но сблизиться намъ, вѣрь, не суждено:
Столпъ облачный стоитъ и между нами.
Тебѣ онъ свѣтитъ яркою звѣздой,
Какъ солнца лучъ, тебя онъ грѣетъ;
А мой удѣлъ, увы! другой:
Оттуда мнѣ лишь ночью вѣетъ,
И безотрадной, и глухой!

Въ началѣ 70-хъ годовъ.



À LA POINTE.

Недвижно безмолвное море,
По берегу чинно идутъ
Знакомыя лица и въ сборѣ
Весь праздный, гуляющій людъ.

Проходитъ банкиръ бородатый,
Гремитъ офицеръ палашомъ,
Попарно снуютъ дипломаты
Съ серьезнымъ и кислымъ лицомъ.

Какъ муміи, важны и прямы,
Въ коляскахъ своихъ дорогихъ
Болтаютъ нарядныя дамы,
Но рѣчи не клеются ихъ.

— «Вы будете завтра у Зины?»
— «Княгинѣ мой низкій поклонъ».
— «Изъ Бадена пишутъ кузины,
«Что Бисмаркъ испортилъ сезонъ»...

Блондинка съ улыбкой небесной
Лепечеть, поднявши лорнетъ:
«Какъ солнце заходить чудесно!» —
А солнце давно уже нѣтъ.

Гуманное общество тѣша,
Несется пріятная вѣсть, —
Пришла изъ Берлина депеша:
Убитыхъ не могутъ и счесть.

Графиня супруга толкаетъ:
«Однако, мой другъ, посмотри,
«Какъ весело Рейсъ выступаетъ,
«Какъ грустенъ несчастный Флери».

Не слышно веселаго звука,
И гордо на всемъ берегу
Царить величавая скука,
Столь чтимая въ свѣтскомъ кругу.

Темнѣть. Роса набѣжала.
Туманомъ одѣлся заливъ.
Разѣхались дамы сначала,
Запасъ новостей истощивъ.

Наружно смиренны и кротки,
На промыселъ выгодный свой
Отправились въ городъ кокотки
Безпечной и хищной гурьбой.

И слѣдомъ за ними, зѣвая,
Дивя ихъ своей пустотой,
Ушла молодежь золотая
Оканчивать день трудовой.

Разсѣялись всадниковъ кучи,
Коляски исчезли въ пыли,
На западѣ хмурыя тучи,
Какъ пологъ свинцовый, легли.

Одинъ я... Опять надо мною
Вездѣ тишина и просторъ;
Въ лѣсу, далеко за водою,
Какъ молніа, всныхнулъ костеръ.

Какъ рвется душа, изнывая,
На яркое пламя костра!
Кипить здѣсь бѣда живая
И будетъ кипѣть до утра.

Отъ холода, скуки, ненастья
Здѣсь, вѣрно, надежный пріютъ;
Быть можетъ, неожиданное счастье
Свило себѣ гнѣздышко тутъ?

И сердце трепещетъ невольно...
И знаю я: ѣхать пора,
Но какъ-то разстаться мнѣ больно
Съ далекимъ мерцаньемъ костра.

1870 г.



УМИРАЮЩАЯ МАТЬ.

(СЪ ФРАНЦУЗСКАГО).

— — —

«Что? умерла, жива? Потихе говорите,
«Быть можетъ, удалось навремя ей заснуть»...
И кто-то предложилъ: «Ребенка принесите
«И положите ей на грудь!»
И вотъ, на мѣстѣ томъ, гдѣ прежде сердце билось,
Ребенокъ съ плачемъ скрылъ лицо свое...
О, если и теперь она не пробудилась,—
Все кончено: молитесь за нее!

1871 г.



ОГОНЕКЪ.

А

Дрожа отъ холода, измучившись въ пути,
Застигнутый врасплохъ суровою метелью,
Я думалъ: лошадямъ меня не довести,
И будетъ мнѣ сугробъ послѣднею постелью...

Вдругъ яркій огонекъ блеснулъ въ лѣсу глухомъ,
Гостепріимная открылась дверь предъ нами,
Въ уютной комнатѣ, предъ свѣтлымъ камелькомъ,
Сажу, обвѣянный крылатыми мечтами...

Давно молчавшая, опять звучить струна,
Опять трепещетъ грудь волненьями былыми,
И въ сердцѣ ожила старинная весна,—
Весна съ черемухой и липами родными...

Теперь не страшень мнѣ протяжный бури вой,
Грозящій издали бѣдою полуночной,
Здѣсь—пристань мирная, здѣсь—счастье и покой,
Хоть кратокъ тотъ покой и счастье то непрочно...

О, что до этого! Пускай мой путь далекъ,
Пусть завтра вновь меня настигнетъ буря злая,
Теперь мнѣ хорошо... Свѣти, мой огонекъ,
Свѣти и грѣй меня, на подвигъ ободряя!

1871 г.



НЕДОСТРОЕННЫЙ ПАМЯТНИКЪ.

Однажды снилось мнѣ, что площадь русской сцены
Была полна людей. Гудѣли голоса,
Огнями пышными горѣли окна, стѣны,
И съ трескомъ падали ненужные лѣса.
И изъ-за тѣхъ лѣсовъ, въ сіяніи великомъ,
Явилась женщина. Съ высокаго чела
Улыбка свѣтлая на зрителей сошла,
И площадь дрогнула однимъ могучимъ крикомъ.
Волненіе усмиривъ движеніемъ руки,
Промолвила она, склонивъ къ театру взоры:

- «Учитесь у меня, російскіе актеры,
 «Я роль свою сыграла мастерски.
 «Принцессою кочующей и бѣдной,
 «Какъ многія, явилася я къ вамъ,
«И также жизнь моя могла пройти безслѣдно,
«Но было иначе угодно небесамъ!
 «На шаткія тогда ступени трона
 «Ступила я безтрепетной ногой—
 «И заблестала старая корона
 «Надъ новою, вамъ чуждой, головой.
«Зато какъ высоко взлетѣлъ орелъ двуглавый!
«Какъ низко передъ нимъ склонились племена!

«Какой немеркнущею славой
 «Покрылись ваши знамена!
 «Съ дворянства моего оковы были сняты,
 «Безъ пытокъ загремѣлъ святой глаголь суда,
 «Въ столицу Грознаго сзывались депутаты,
 «Изъ нѣдръ степей вставали города...
 «Я женщина была—и много я любила...
 «Но совѣсть шепчетъ мнѣ, что для любви своей
 «Ни разу я отчизны не забыла
 «И счастьемъ подданныхъ не жертвовала ей.
 «Когда Тавриды князь, наскучивъ пыломъ страсти,
 «Надменно отошелъ отъ сердца моего,
 «Не пошатнула я его могучей власти,
 Гигантскихъ замысловъ его.
 «Мой пышный дворъ блисталъ на удивленье свѣту
 «Въ странѣ безлюдья и снѣговъ;
 «Но не былъ онъ похожъ на стертую монету,
 «На скопище безцвѣтное льстецовъ.
 «Отъ смѣлыхъ чудаковъ не отвращая взоровъ,
 «Умѣла я цѣнить, что мудро иль остро:
 «Зато въ дворецъ мой шли скитальцы, какъ Дидро,
 «И чудаки такіе, какъ Суворовъ;
 «Зато и я могла свободно говорить
 «Въ эпоху дикихъ войнъ и казней хладнокровныхъ,
 «Что лучше десять оправдать виновныхъ,
 «Чѣмъ одного невиннаго казнить, —
 «И не было то слово буквой праздною!
 «Однажды пасквиль мнѣ рѣшился подать:
 «Въ немъ я была — какъ женщина, какъ мать —
 «Поругана со злобой безобразной...
 «Заныла грудь моя отъ гнѣва и тоски;
 «Ужъ мнѣ мерещились допросы, приговоры...
 «Учитесь у меня, російскіе актеры!
 «Я роль свою сыграла мастерски:
 «Я пасквиль тотъ взяла — и написала съ краю:
 «Оставить автора, стыдомъ его казня, —
 «Что здѣсь — какъ женщины — касается меня,
 «Я — какъ Царица — презираю!
 «Да, управлять подчасъ бывало не легко!

«Но всюду — дома ли, въ Варшавѣ, въ Византіи —
«Я помнила лишь выгоды Россіи —
«И знамя то держала высоко.
«Хоть не у васъ я свѣтъ увидѣла впервые, —
«Вамъ громко за меня твердятъ мои дѣла:
«Я больше русская была,
«Чѣмъ многіе цари, по крови вамъ родные!
«Но времяшло, печальные слѣды
«Вокругъ себя невольно оставляя...
«Качалася на мнѣ корона золотая
«И ржавѣли въ рукахъ державныя бразды...
«Когда случится вамъ, питомцы Мельпомены,
«Творенье генія со славой разыграть,
«И вами созданныя сцены
«Заставятъ зрителя смѣяться иль рыдать,
«Тогда — скажите ради Бога! —
«Ужель вамъ не простятъ правдивыя сердца
«Неловкость выхода, неровности конца
«И даже скуку эпилога?»

Тутъ гулъ по площади пошелъ со всѣхъ сторонъ,
Гремѣли небеса, людскому хору вторя;
И былъ сначала я, какъ будто ревомъ моря,
Народнымъ воплемъ оглушенъ.
Потомъ всѣ голоса слилися воедино,
И ясно слышалъ я изъ говора того:
«Живи, живи, Екатерина,
«Въ безсмертной памяти народа твоего!»

1871 г.



Я ее побѣдилъ, роковую любовь,
Я убилъ ее, злую змѣю,
Что безъ жалости, жадно пила мою кровь,
Что измучила душу мою!
Я свободенъ, спокоенъ опять,—
Но не радостенъ этотъ покой.
Если ночью начну я въ мечтахъ засыпать,
Ты сидишь, какъ бывало, со мной.
Мнѣ мерещатся снова они,
Эти жаркіе лѣтніе дни,
Эти долгія ночи безсонныя,
Безмятежныя моря струи,
Разговоры и ласки твои,
Тихимъ смѣхомъ твоимъ озаренныя.
А проснуся я: ночь, какъ могила, темна,
И подушка моя холодна,
И мнѣ некому сердце излить,
И напрасно молю я волшебнаго сна,
Чтобъ на мигъ мою жизнь позабыть.
Если-жъ многіе дни безъ свиданья пройдутъ,
Я тоскую, не помня измѣнъ и обидъ.
Если пѣсню, что любишь ты, вдругъ запоютъ,
Если имя твое невзначай назовутъ,—
Мое сердце, какъ прежде, дрожить!

Укажи же мнѣ путь, назови мнѣ страну,
Гдѣ прошедшее я прокляну,
Гдѣ бы могъ не рыдать я съ безумной тоской
Въ одинокій полуночный часъ,—
Гдѣ бы образъ твой, нѣкогда мнѣ дорогой,
Поблѣднѣлъ и погасъ!
Куда скрыться мнѣ? — Дай же отвѣтъ!..
Но отвѣта не слышно, страны такой нѣтъ,
И, какъ перлы въ загадочной безднѣ морей,
Какъ на небѣ вечернемъ звѣзда,
Противъ воли моей, противъ воли твоей,
Ты со мною вездѣ и всегда!

Въ 70-хъ годахъ.

— 000 —

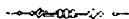
ТВОЯ СЛЕЗА.

Твоя слеза катилась за слезой,
Твоя слеза сжималась молодая,
Внимая рѣчи лживой и чужой...
И я въ тотъ мигъ не могъ упасть, рыдая,
Передъ тобой!

Твоя слеза проникла въ сердце мнѣ,
И все, что было горькаго, больного
Запрятано въ сердечной глубинѣ,—
Подъ этою слезою всплыло снова,
Какъ въ страшномъ снѣ!

Не въ первый разъ собирается гроза,
И страха передъ ней душа не знала!
Теперь дрожу я... Робкіе глаза
Глядятъ куда-то вдаль... куда упала
Твоя слеза!

1872 г.



* * *

(СЪ ФРАНЦУЗСКАГО).

О, смѣйся надо мной за то, что безучастно
Я въ мірѣ не иду пробитою тропой,
За то, что пѣсень даръ и жизнь я сжегъ напрасно,
За то, что гибну я... О, смѣйся надо мной!

Глумись и хохочи съ безжалостнымъ укоромъ,—
Толпа почтитъ твой смѣхъ сочувствіемъ живымъ;
Все будутъ за тебя, проклятыя грянутъ хоромъ,
И камни полетятъ послушно за твоимъ.

И если, совладать съ тоскою не умѣя,
Изнывшая душа застонеть, задрожитъ,
Скорѣй сдavi мнѣ грудь, прерви мнѣ стонъ скорѣе,
А то, быть можетъ, Богъ услышитъ и простить.

1872 г.

ЛЮБОВЬ.

Когда безъ страсти и безъ дѣла
Безцвѣтно дни мои текли,
Она какъ буря налетѣла
И унесла меня съ земли.

Она меня лишила вѣры
И вдохновеніе загла
Дала мнѣ счастье безъ мѣры
И слезы, слезы безъ числа...

Сухими, жесткими словами
Терзала сердце мнѣ порой,
И хохотала надъ слезами,
И издѣвалась надъ тоской.

А иногда горячимъ словомъ
И взоромъ ласковыхъ очей
Гнала печаль — и въ блескѣ новомъ
Въ душѣ свѣтилася моею!

Я все забылъ, дышу лишь ею,
Всю жизнь я отдалъ ей во власть,
Благословить ее не смѣю
И не могу ее проклясть.

1872 г.

ПАДАЮЩЕЙ ЗВѢЗДѢ.

Бывало, тѣша умъ въ мечтаньяхъ суевѣрныхъ,
Когда ты падала огнистой полосой,
Тебѣ ввѣрялъ я рой желаній эфемерныхъ,
Смѣнявшихся въ душѣ нестройною толпой.
Теперь опять ты плешь мнѣ кроткое сіянье,
И взоромъ я прильнуль къ летящему лучу.
Въ душѣ горить одно завѣтное желанье,
Но ввѣрить я его не въ силахъ... и молчу.
Какъ думы долгія, лишивши ихъ покровъ,
Въ одежду чуждую рѣшусь я облечь?
Какъ жизнь всю перелить въ одно пустое слово?
Какъ сердце размѣнять на суетную рѣчь?
О, если можешь ты, сроднясь съ моей душою,
Минуту счастья послать ей хоть одну,
Тогда блесну, какъ ты, огнистой полосой
И радостно въ ночи безвѣстной утону.

Рыбинца, Орл. г.
1873 г.



М. Д. Ж — Ой.

Когда путемъ несноснымъ и суровымъ
Мнѣ стала жизнь въ родимой сторонѣ,
Оазисъ я себѣ нашелъ подъ вашимъ кровомъ,
И отдохнуть отрадно было мнѣ.

Всѣ старыя и новыя печали,
Вчерашній бредъ и горе прежнихъ дней
Въ моей душѣ вы сердцемъ прочитали
И сгладили улыбкою своей.

И понялъ я, смущенъ улыбкой этой,
Что царство зла отсюда далеко;
И понялъ я, чѣмъ все кругомъ согрѣто,
И отчего здѣсь дышится легко.

Но дни летятъ. Съ невольнымъ содроганьемъ
Смотрю на черный, отдаленный путь...
Онъ страшенъ мнѣ, и, словно предъ изгнаньемъ,
Пророческой тоской стѣснилась грудь...

И тщетно умъ теряется въ вопросахъ:
Гдѣ встрѣтимся? Когда? И дастъ ли Богъ
Когда-нибудь мой странническій посохъ
Сложить опять у вашихъ милыхъ ногъ?..

Рыбница, Орл. г.
1873 г.

ВЕНЕЦІЯ.

I.

Въ развалинахъ забытаго дворца
Водили насъ двѣ нищія старухи,
И рѣчи ихъ лилися безъ конца.
«Синьоры, словно дождь среди засухи,
Намъ дорогъ вашъ визитъ: мы стары, глухи
И не плѣнимъ васъ нѣжностью лица,
Но радуйтесь тому, что насъ узнали:
Вѣдь мы съ сестрой—послѣднія Микьяли.

II.

«Вы слышите: Микьяли... Какъ звучить!
Объ насъ не разъ, конечно, вы читали:
Поэтъ о нашихъ предкахъ говорить,
Историкъ ихъ занесъ въ свои скрижали,
И вы по всей Италіи едва ли
Найдете родъ, чтобъ былъ такъ знаменитъ.
Такъ не были богаты и могучи
Ни Цезаро, ни Фоскари, ни Пучи...

III.

«Ну, а теперь нашъ древній блескъ угасъ.
И кто же разорилъ насъ въ пухъ?—ребенокъ!
Племянникъ Гаэтано былъ у насъ,
Онъ поручень былъ намъ почти съ пеленокъ
И выросъ онъ красавцемъ: строень, тонокъ...
Какъ было не прощать его проказы!
А жить онъ началъ уже слишкомъ рано...
Всему виной племянникъ Гаэтано!

IV.

«Анконскія помѣстья онъ спустилъ,
Палаццо продать съ статуями вмѣстѣ,
Картины пропилъ, вазы перебилъ,
Брильянты взялъ, чтобъ подарить невѣстѣ,
А проигралъ ихъ шулерамъ въ Триестѣ.
А впрочемъ, онъ прекрасный малый былъ,
Характера въ немъ только было мало...
Мы плакали, когда его не стало.

V.

«Смотрите, вотъ виситъ его портретъ
Съ задумчивой, кудрявой головою;
А вотъ надъ нимъ—тому ужъ много лѣтъ—
Съ букетами въ рукахъ и мы съ сестрою.
Тогда мы обѣ славились красою,
Теперь, увы! давно пропаль и слѣдъ
Отъ прошлаго... А думается: все же
На насъ теперь хоть нѣсколько похоже.

VI.

«А вотъ Франческо... Съ этимъ не шути,
Въ его глазахъ не сыщешь состраданья:
Онъ засѣдалъ въ «совѣтѣ десяти»,
Ловилъ, казнилъ, вымучивалъ признанья;

Зато и самъ подъ старость, въ наказанье,
Онъ долженъ былъ тяжелый крестъ нести:
Три сына было у него,—всѣ трое
Убиты въ роковомъ Лепантскомъ боѣ.

VII.

«Вотъ въ мантии старикъ, съ лицомъ сухимъ,—
Антонио... Мы имъ гордиться можемъ:
За доброту онъ всѣмъ былъ любимъ,
Сенаторомъ былъ долго, послѣ—дожемъ;
Но ревностью какъ демономъ тревожимъ,
Къ женѣ своей онъ былъ неумолимъ!
Вотъ и она, красавица Тереза:
Портретъ ея—работы Веронеза—

VIII.

«Такъ, кажется, и дышитъ съ полотна...
Она была изъ рода Морозини...
Смотрите: что за плечи, какъ стройна,
Улыбка ангела, глаза богини,
И хотъ молва нещадна,—какъ святыни,
Терезы не касалася она.
Ей о любви никто-бъ не заикнулся,
Но тутъ король, къ несчастью, подвернулся.

IX.

«Король тотъ Генрихъ Третій былъ. О немъ
Въ семействѣ нашемъ памятно преданье,
Его портретъ мы свято бережемъ.
О Франціи храня воспоминанье,
Онъ въ Краковѣ скучалъ какъ бы въ изгнаньѣ
И не хотѣлъ быть польскимъ королемъ.
По смерти брата, чужъ тронъ побольше,
Рѣшился онъ въ Парижъ бѣжать изъ Польши.

X.

«Дорогой къ намъ Господь его привель.
Юльской ночью плылъ онъ межъ дворцами,
Народъ кричалъ изъ тысячи гондолъ,
Сливался пушекъ громъ съ колоколами,
Венеція блистала вся огнями.
Въ палаццо Фоскарини онъ вошелъ...
Всѣ плакали: мужчины, дамы, дѣти...
Великій государь былъ Генрихъ Третій!

XI.

«Республика давала балъ гостямъ...
Король съ Терезой встрѣтился на балѣ.
Что было дальше,—неизвѣстно намъ,
Но только мужу что-то насаказали,
И онъ,—Терезу, утопивъ въ каналѣ,
Вѣнчался снова въ церкви Фрари, тамъ,
Гдѣ памятникъ великаго Кановы...
Но старику былъ бракъ несчастливъ новый»...

XII.

И длился объ Антоніо рассказъ,
О бѣдствіяхъ его второго брака...
Но начало тянуть на воздухъ насъ
Изъ душныхъ стѣнъ, изъ плѣсени и мрака...
Старухи были нищія, однако
Отъ денегъ отказались и не разъ
Намъ на прощанье гордо повторяли:
«Да, да, вѣдь мы—последнія Мик्याли!»

XIII.

Я бросился въ гондолу и велѣлъ
Куда-нибудь подальше плыть. Смеркалось...
Каналъ въ лучахъ заката чуть блестѣлъ,
Дуль вѣтерокъ и туча надвигалась.

Навстрѣчу къ намъ гондола приближалась,
Подъ звукъ гитары звучный теноръ пѣлъ,
И громко раздавались надъ волнами
Завѣтные слова: «Dimmi che m'ami».

XIV.

Венеція! Кто счастливъ и любимъ,
Чья жизнь лучомъ сочувствія согрѣта,
Тотъ, подойдя къ развалинамъ твоимъ,
Въ нихъ не найдетъ желаннаго привѣта.
Ты на призывъ не дашь ему отвѣта,
Ему покой твой слишкомъ недвижимъ,
Твой долгій сонъ безъ жалобъ и безъ шума
Его смутить, какъ тягостная дума.

XV.

Но кто усталъ, кто бурей жизни смятъ,
Кому стремиться и спѣшить напрасно,
Кого вопросы дня не шевелятъ,
Чье сердце спитъ безсильно и безгласно,
Кто въ каждомъ днѣ грядущемъ видитъ ясно
Одинъ безцѣльный повтореній рядъ,—
Того съ тобой обрадуетъ свиданье...
И ты прошла! И ты—воспоминанье!..

XVI.

Когда больная мысль начнетъ вникать
Въ твою судьбу былую глубже, шире,
Она не дожа будетъ представлять,
Плывущаго въ коронѣ и порфирѣ,
А пытки, казни, мостъ Dei Sospiri,—
Все, все, на чемъ страданія печать.
Какія тайны горя и измѣны
Хранятъ безмолвно мраморныя стѣны!..

XVII.

Какъ былъ людьми глубоко оскорбленъ,
Какую долженъ былъ понести потерю,
Кто написалъ, въ темницѣ заключенъ
Безъ оконъ и дверей, подобно звѣрю:
«Спаси Господь отъ тѣхъ, кому я вѣрю,—
Отъ тѣхъ, кому не вѣрю, я спасенъ!»
Онъ, можетъ быть, великимъ былъ поэтомъ,—
Исторія твоя въ двестишъ этомъ!

XVIII.

Страданья чашу выпивши до дна,
Ты снова жить, страдать не захотѣла;
Въ объятяхъ заколдованнаго сна,
Въ минувшемъ блескѣ ты окаменѣла:
Твой дождь пропалъ, твой Маркъ давно безъ дѣла,
Твой левъ не страшень, площадь не нужна,
Въ твоихъ дворцахъ пустынныхъ дышитъ тлѣнье...
Вездѣ покой, могила, разрушенье...

XIX.

Могила!.. да! Но отчего-жъ порой
Такъ хороша, плѣнительна могила?
Зачѣмъ она увядшей красотой
Забытыхъ сновъ такъ много воскресила,
Душѣ напомнивъ, что въ ней прежде жило?
Ужель обманчивъ такъ ея покой?
Ужели сердцу суждено стремиться,
Пока оно не перестанетъ биться?

XX.

Мы долго плыли... Вотъ зажглась звѣзда,
Луна насъ обдала потокомъ свѣта;
Отъ прежней тучи нѣтъ теперь слѣда,
Какъ ризой, небо звѣздами одѣто.

«Джузеппе! Беппо!»—прозвучало гдѣ-то...
Все замерзло: и воздухъ, и вода.
Гондола наша двигалась безъ шума,
Налѣво берегъ Лидо спалъ угрюмо.

XXI.

О, никогда на родинѣ моей
Въ года любви и страстнаго волненья
Не мучили души моей сильнѣй
Тоска по жизни, жажда увлеченья!
Хотѣлося забыться на мгновенье,
Стряхнуть бывшее, высказать скорѣй
Кому-нибудь, что душу наполняло...
Я былъ одинъ, и все кругомъ молчало ..

XXII.

А издали, луной озарена,
Венеція, средь темныхъ водъ бѣлѣя,
Вся въ серебро и мраморъ убрана,
Явилась мнѣ, какъ сказочная фея.
Спускалась ночь, тепломъ и счастьемъ вѣя,
Едва катилась сонная волна,
Дрожало сердце, тайной грустью сжато,
И теноръ пѣлъ вдали: «О, sol beato»...

1873 г.



ШВЕЙЦАРКЪ.

Цѣлую ночь я въ постели метался.
Вѣтеръ осенній, сердитый,
 Вылъ надо мной;
Словно при мнѣ чей-то сонъ продолжался,
Нѣкогда здѣсь позабытый,
 Сонъ мнѣ чужой.

Снились мнѣ дальней Швейцаріи горы...
Скованы вѣчными льдами
 Выси тѣхъ горъ,
И отдыхаютъ смущенные взоры
Въ свѣтлыхъ долинахъ съ садами,
Въ глади озеръ.

Славно жилось бы. Семья-то большая...
Часто подъ старую крышу
 Входитъ нужда.
Надо разстаться... «Прощай, дорогая!
 «Голосъ твой милый услышу
 «Врядъ ли когда!»

Свѣтъ нелюбимаго, блѣднаго неба...
Звуки нарѣчья чужого
 Дразнить, какъ шумъ;

Горькая жизнь для насущнаго хлѣба,
Жизнь воздержанья тупого,
Сдавленныхъ думъ.

Если же сердце зашепчетъ о страсти,
Если съ невѣдомой силой
Вспыхнуть мечты,—
Прочь ихъ гони, не ввѣряйся ихъ власти,
Образъ забудь этотъ милый,
Эти черты!

Жизнь пронесется безцвѣтно-пустая...
Въ бездну забвенья угрюмо
Канетъ она...
Такъ, у подножья скалы отдыхая,
Смоетъ песчинку безъ шума
Моря волна.

Вдругъ пробудился я. День начинался,
Билося сердце, объято
Странной тоской;
Снова заснулъ я, и вновь продолжался
Видѣнный кѣмъ-то, когда-то,
Сонъ мнѣ чужой.

Чья-то улыбка и яркія очи,
Звуки альпійской свирѣли,
Ронотъ судьбѣ,—
Все, что въ безмолвныя, долгія ночи
Въ этой забытой постели
Снилось тебѣ!

1873 г.

О ЦЫГАНАХЪ.

(посв. А. И. Г—ву).

Когда въ Москвѣ первопрестольной
Съ тобой сойдемся мы вдвоемъ,
Ужъ знаю я, куда невольно
Умчитъ насъ тройка вечеркомъ.

Туда весь день, на прибыль зорки,
Стяжаныя жаждою полны,
Толпами лупятъ съ Живодерки
Индѣйца бѣдные сыны.

Имъ чужды ихъ предокъ безобразный,
И, правду надобно сказать,
На нихъ легла изнанкой грязной
Цивилизаціи печать.

Имъ свѣта мало свѣтъ нашъ придалъ,
Онъ только шелкомъ ихъ одѣлъ;
Корысть — единственный ихъ идолъ,
И бѣдность — вѣчный ихъ удѣлъ.

Искусства также тамъ, хотъ тресни,
Ты не найдешь — напрасный трудъ:

Тамъ исказять мотивы пѣсни
И стихъ поэта переврутъ.

Но гнаться-ль намъ за совершенствомъ?
Что намъ за дѣло до того,
Что такъ назойливо съ «блаженствомъ»
У нихъ риѹмуютъ «божество»?

Въ нихъ сила есть пустыни знойной,
И ширь свободная степей,
И страсти пламень безпокойный
Порою брызжетъ изъ очей.

Въ нихъ есть какой-то, хоть и дѣтскій,
Но обольщающій обманъ...
Вотъ почему на раутъ свѣтскій
Не промѣняемъ мы цыганъ.

1873 г.



ПАМЯТИ Н. Д. КАРПОВА.

Съ тѣхъ поръ, какъ помню жизнь, я помню и тебя.
Съ улыбкой слушая младенческой мой лепетъ
И музу дѣтскую навѣки полюбя,
Ты зналъ мой первый стихъ и первый сердца трепеть.
Въ мятежной юности, кипя избыткомъ силъ,
Я гордо въ путь пошелъ съ довѣрчивой душою
И всюду на пути тебя я находилъ,
Въ безоблачный ли день, въ ночи ли подъ грозою.

Какъ часто, утомясь гоненіемъ враговъ,
Предавшись горькому, томящему безсилью,
Къ тебѣ спасался я, какъ подъ родимый кровъ
Спасается бѣглець, покрыть дорожной пылью!

Полвѣка прожилъ ты, но каждый день милѣй
Казалась жизнь тебѣ,—ты до конца былъ молодъ:
Какъ не было сѣдинъ на головѣ твоей,
Такъ сердца твоего не тронулъ жизни холодъ.

Мнѣ такъ дика, чужда твоей кончины вѣсть,
Такъ долго объ-руку съ тобой я шелъ на свѣтъ,
Что, выливъ изъ души невольно строки эти,
Я все еще хочу тебѣ же ихъ прочесть...

1878 г.



*
* * *

Какъ бѣдный пилигримъ, безъ крова и друзей,
Томится жаждою среди нагихъ степей,
Такъ одиночествомъ, усталостью томимый,
Безумно жажду я любви недостижимой.
Не нужны страннику ни жемчугъ, ни алмазь,
На груды золота онъ не подниметь глазъ...
За чистую струю нежданнаго потока
Онъ съ радостью отдастъ сокровища Востока.
Не нужны мнѣ страстей мятежные огни,
Ни ночи бурныя, ни пламенные дни,
Ни пошлой ревности привычныя страданья,
Ни рѣчи страстныя, ни долгія лобзанья...
Мнѣ-бъ только лучъ любви!.. Я жду, зову его...
И если онъ блеснетъ изъ сердца твоего
Въ пожатіи руки, въ нѣмомъ сіяньи взора,
Въ небрежномъ лепетѣ пустого разговора,—
О, какъ я этотъ мигъ душою полюблю,
Съ какою радостью судьбу благословлю!..
И пусть потомъ вся жизнь въ безсиліи угрюмомъ
Терзаетъ и томить меня нестройнымъ шумомъ!

1873 г.



* * *

(м. д. ж—ой).

Въ уютномъ уголкѣ сидѣли мы вдвоемъ,
Въ открытое окно впивались наши очн,
И, напрягая слухъ, въ безмолвіи noctномъ
Чего-то ждали мы отъ этой тихой ночи.

Звонъ колокольчика намъ чудился порой,
Пугалъ насъ лай — перевозилъ листьевъ шорохъ...
О, сколько нѣтъ
Не тратя лип

И сколько, сколько
Свѣтитесь будетъ мнѣ
И ночи тишина, и ярь
И сердца чуткаго обман

24-го августа 1874 г.



* * *

Сухія, рѣдкія, нечаянныя встрѣчи,
Пустой, ничтожный разговоръ,
Твои умышленно-уклончивыя рѣчи
И твой намѣренно-холодный, строгій взоръ,—
Все говорить, что надо намъ разстаться,
Что счастье было и прошло...

Но въ этомъ такъ же горько мнѣ сознаться,
Какъ кончить съ жизнью тяжело.
Такъ въ дѣтствѣ, помню я, когда меня будили
И зимній день глядѣлъ въ замерзшее окно,—
О, какъ остаться тамъ уста молили,
Гдѣ такъ тепло, уютно и темно!
Въ подушки прятался я, плача отъ волненія,
Дневной тревогой оглушенъ,
И засыпалъ, счастливый на мгновенье,
Стараясь на лету поймать недавній сонъ,
Бояся потерять ребяческія бредни...
Такой же дѣтскій страхъ теперь объялъ меня:
Прости мнѣ этотъ сонъ послѣдній
При свѣтѣ тусклаго, грозящаго мнѣ дня!

1874 г.

* * *

Въ темную ночь, непроглядную,
Думы такія несвязныя
Бродятъ въ моей головѣ.
Вижу я степь безотрадную...
Люди и призраки разные
Ходятъ по желтой травѣ.

Вижу селеніе дальнее...
Дѣтской мечтой озаренные,
Годы катились тамъ... по
Комнаты смотрятъ печальнѣе,
Липы стоятъ обнаженныя,
Пѣсни замолкли давно.

Осень... Большою дорогою
Вдуть обозы скрипучіе,
Вѣтеръ шумить по кустамъ.
Станція... Крыша убогая...
Слезы старинныя, жгучія
Снова текутъ по щекамъ.

Вижу я оргію шумную,
Бальныя пары за паромъ,
Влескъ набѣжавшей весны, —

Всю мою юность безумную,
Всѣ увлеченія старья,
Всѣ позабытые сны.

Снится мнѣ счастье прожитое...
Очи недавно любимыя
Ярко горять въ темнотѣ,
Мѣсяцъ... окошко раскрытое...
Рѣчи, украдкой ловимыя...
Рѣчи такъ ласковы тѣ!

Помнишь, какъ съ радостью жадною
Слушаль я рѣчи тѣ праздныя,
Какъ я повѣрилъ тебѣ!..
Въ темную ночь, непроглядную.
Думы такія несвязныя
Бродятъ въ моей головѣ...

1875 г.



*
* * *

Средь смѣха празднаго, среди пустаго гула.
Мнѣ душу за тебя томить невольный страхъ:
Я видѣлъ, какъ слеза украдкою блеснула
Въ твоихъ потупленныхъ очахъ.

Твой беззащитный челнъ сломила злая буря,
На берегъ выброшенъ неопытной пловецъ, —
Откинувши весло и голову понура,
Ты ждешь: наступить ли конецъ?

Не унывай, пловецъ! Какъ сонъ минуетъ горе,
Затихнетъ бури свистъ и ропотъ волнъ сѣдыхъ,
И покоренное, ликующее море
У ногъ уляжется твоихъ.

Въ 70-хъ годахъ.



* * *

Ночи безумныя, ночи безсонныя.
Рѣчи несвязныя, взоры усталые...
Ночи послѣднимъ огнемъ озаренныя,
Осени мертвой цвѣты запоздалые!

Пусть даже время рукой безпощадною
Мнѣ указало, что было въ васъ ложнаго,
Все же лечу я къ вамъ памятью жадною,
Въ прошломъ отвѣта ищу невозможнаго...

Вкрадчивымъ шопотомъ вы заглушаете
Звуки дневные, несносные, шумные...
Въ тихую ночь вы мой сонъ отгоняете,
Ночи безсонныя, ночи безумныя!

1876 г.



НАКАНУНЪ.

Она задумчиво сидѣла межъ гостей,
И въ близкомъ будущемъ мечта ея витала...
Надолго ѣдетъ мужъ... О, только-бъ поскорѣй!
«Я ваша навсегда!» — она на-дняхъ писала.
Вотъ онъ стоитъ предъ ней, — не мужъ, а тотъ, другой, —
И смотритъ на нее такимъ побѣднымъ взглядомъ...
«Нѣтъ! — думаетъ она, — не сладишь ты со мной:
«Тебѣ-ль, мечтателю, идти со мною рядомъ?
«Ползти у ногъ моихъ судьбой ты обреченъ, —
«Я этотъ гордый умъ согну рукою властной;
«Какъ обезсиленный, раздавленный Сампсонъ,
«Признаніе свое забудешь въ нѣгѣ страстной!»
Прочелъ ли юноша ту мысль въ ея глазахъ,
Но взоръ попрежнему сіялъ побѣдной силой...
«Посмотримъ, кто скорѣй измучится въ цѣпяхъ», —
Довольное лицо, казалось, говорило.
Кто побѣдитъ изъ нихъ? Пускай рѣшитъ судьба...
Но любятъ ли они? Что это: страсть слѣпая,
Иль самолюбія безцѣльная борьба? —
Богъ знаетъ.

Ихъ рѣчамъ разсѣяннo внимая,
Сидитъ поодаль мужъ съ нахмуреннымъ лицомъ;
Онъ знаетъ, что его изгнаніе погубитъ...
Но что до этого? Кто думаетъ о немъ?
Онъ жертвой долженъ быть! его вина: онъ любитъ.

П. И. ЧАЙКОВСКОМУ.

Ты помнишь, какъ, забившись въ «музыкальной»,
Забывъ училище и міръ,
Мечтали мы о славѣ идеальной?..

Искусство было нашъ кумиръ,
И жизнь для насъ была обвѣяна мечтами.
Увы! прошли года, и съ ужасомъ въ груди
Мы сознаемъ, что все уже за нами,

Что холодъ смерти впереди.
Мечты твои сбылись. Презрѣвъ тропой избитой,
Ты новый путь себѣ настойчиво пробилъ,
Ты съ бою славу взялъ и жадно пилъ
Изъ этой чаши ядовитой.

О, знаю, знаю я, какъ жестко и давно
Тебѣ за это мстилъ какой-то рокъ суровый,
И сколько въ твой вѣнецъ лавровый
Колючихъ терній вполетено!

Но туча разошлась. Душѣ твоей послушны,
Воскресли звуки дней былыхъ,
И злобы лепетъ малодушный
Предъ ними замеръ и затихъ.

А я, кончая путь «непризнаннымъ» поэтomъ,
Горжусь, что угадалъ я искру божества
Въ тебѣ, тогда мерцавшую едва,
Горящую теперь такимъ могучимъ свѣтомъ.

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.

I.

БРАТЬЯМЪ.

Свѣтаеть... Не въ силахъ тоски превозмочь,
Заснуть я не могъ въ эту бурную ночь.
Чрезъ рѣки, и горы, и степи просторъ
Васъ, братья далекіе, ищетъ мой взоръ.
Что съ вами? Дрожите ли вы подъ дождемъ
Въ убогой палаткѣ, прикрывшись плащемъ?
Вы стонете-ль въ ранахъ, томитесь въ плѣну,
Иль пали въ бою за родную страну,
И жизнь отлетѣла отъ лицъ дорогихъ,
И голосъ вашъ милый навѣки затихъ?..
О, Господи! Лютой пылая враждой,
Два стана давно ужъ стоятъ предъ Тобой;
О помощи молятъ Тебя ихъ уста:
Одинъ—за Аллаха, другой—за Христа...
Безъ устали, дружно, во имя Твое,
Работаютъ пушка, и штыкъ, и ружье...
Но, Боже! одинъ Ты, и вѣра одна,
Крѣпкая жертва Тебѣ не нужна,—

Яви же борцамъ негодующій ликъ,
Скажи имъ, что міръ Твой хорошъ и великъ,
И слово забытое братской любви
Въ сердцахъ, омраченныхъ враждой, оживи!

1877 г.

II.

РАВНОДУШНЫЙ.

Случайно онъ забрелъ въ Господній храмъ,
И все кругомъ ему такъ чуждо было...
Но что-жъ откликнулось въ душѣ его унылой,
Когда къ забытымъ онъ прислушался словамъ?
Уже не смотреть онъ кругомъ холоднымъ взглядомъ,
Насмѣшки голосъ въ немъ затихъ,
И слезы падаютъ изъ глазъ давно сухихъ —
И палъ на землю онъ съ молящимися рядомъ...
Какая же молитва потрясла
Всѣ струны въ сердцѣ горделивомъ? —
О воинствѣ христолюбивомъ
Молитва та была.

1877 г.

ПУБЛИКА.

(ВО ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНІЙ РОССИ).

Артистъ окончилъ актъ. Недружно и несмѣло
Рукоплесканія раздалися въ рядахъ.
Однако вышелъ онъ... Вдругъ что-то заблестѣло
У капельмейстера въ рукахъ.
Что это? — Смотрять всѣ въ тревогѣ жадной...
Подарокъ цѣнный, вотъ другой,
А вслѣдъ за ними и вѣнокъ громадный...
Преобразилось все. Отсюду крики, вой...
Нѣтъ вызовамъ конца! Платками машутъ дамы,
И былъ бы даже вызванъ авторъ драмы,
Когда-бъ былъ живъ... Куда ни глянь,
Успѣхъ вѣнчается всеобщимъ приговоромъ.
Кого же чествуютъ? Кому восторговъ дань?
Артисту? Нѣтъ? — вѣнку съ серебрянымъ приборомъ!

18-го марта 1877 г.



НАДЪ СВЯЗКОЙ ПИСЕМЪ.

Не я одинъ тебя любилъ
И, жизнь отдавъ тебѣ охотно,
Въ очахъ задумчивыхъ ловилъ
Хоть призракъ ласки мимолетной;
Не я одинъ въ тиши ночей
Припоминалъ съ тревогой тайной
И каждый звукъ твоихъ рѣчей,
И взоръ, мнѣ брошенный случайно.

И не во мнѣ одномъ душа,
Смущаясь встрѣчею холодной,
Безумной ревностью дыша,
Томилась горько и бесплодно.
Какъ побѣжденный властелинъ,
Забывъ всю тяжесть униженья,
Не я одинъ, не я одинъ
Молилъ простить мои мученья!

О, кто же онъ, соперникъ мой?
Его не видѣлъ я, не знаю,
Но съ непонятною тоской
Я эти жалобы читаю.
Его любовь во мнѣ жива,
И, весь въ ея волшебной власти,
Твержу горячія слова
Хотя чужой, но близкой страсти.

ГРАФУ Л. Н. ТОЛСТОМУ.

Когда въ грязи и лжи возникшему кумиру
Пожертвованъ вездѣ искусства идеаль,
О вѣчной красотѣ напоминая міру,
Твой мощный голосъ прозвучалъ.

Глубокихъ струнъ души твои коснулись руки,
Ты въ жизни понялъ все и все простилъ, поэтъ!
Ты изъ нея извлекъ чарующіе звуки,
Ты зналъ, что въ правдѣ грязи нѣтъ.

Кто по землѣ ползеть, шипя на все змѣю,
Тотъ видитъ соръ одинъ... и только для орла,
Парящаго легко и вольно надъ землею,
Вся даль безбрежная свѣтла!

Москва. 1877 г.

* * *

Истомилъ меня жизни безрадостный сонъ,
Ненавистна мнѣ память былого,
Я въ прошедшемъ моемъ, какъ въ тюрьмѣ, заключенъ
Подъ надзоромъ тюремщика злого.

Захочу ли уйти, захочу ли шагнуть, —
Роковая стѣна не пускаетъ:
Лишь оковы звучать, да сжимается грудь,
Да бессонная совѣсть терзаетъ.

Но подъ взглядомъ твоимъ распадается цѣпь,
И я весь освѣщаюсь тобою,
Какъ цвѣтами неожиданно одѣтая степь,
Какъ туманъ, серебримый луною...

1878 г.

* * *

Птичкой ты рѣзвой росла,
Клѣтка твоя золоченая
Стала душна и мала.
Старая няня ученая
Пѣсню твою поняла.

Что тебѣ уголь родной,
Матери ласки привѣтныя!
Жизни ты жаждешь иной...
Годы прошли незамѣтные,
Близится день роковой.

Яркимъ дивяся лучамъ,
Крылья расправивъ несмѣлая,
Ты улетишь къ небесамъ...
Тучки гуляютъ тамъ бѣлыя,
Воля и солнышко тамъ!

Въ клѣткѣ забытой твоей
Жизнь потечетъ безотрадная...
О, ты тогда пожалѣй,
Птичка моя ненаглядная,
Тѣхъ, кто останется въ ней!
1878 г.

ДВѢ ВѢТВИ.

Верхнія вѣтви зеленаго, стройнаго клена,
Въ горькомъ раздумьи слѣжу я за вами съ балкона.

Грустно вы смотрите: ваше житѣе не завидно, —
Что на землѣ насъ волнуетъ, того вамъ не видно.

Въ синее небо вы взоръ устремили напрасно:
Небо — безжалостно, небо — такъ гордо-безстрастно!

Бури-ль вы ждете? Быть можетъ, раскрывши объятѣя,
Встрѣтитесь вы, какъ давно разлученные братья?..

Нѣтъ, никогда вамъ не встрѣтиться! Вѣтеръ застонетъ,
Листѣя крутя, онъ дрожащую вѣтку наклонитъ;

Но, неизмѣнный, суровой законъ выполняя,
Тотчасъ отъ вѣтки родной отшатнется другая...

Бѣдныя вѣтви, утѣштесь! Вы слишкомъ высоки:
Вотъ отчего вы такъ грустны и такъ одиноки!

Рыбница, Орл. г. 1878 г.

* * *

Отчалила лодка... Чуть брезжилъ разсвѣтъ...
Въ ушахъ раздавался прощальный привѣтъ,
Дышалъ онъ неожиданно лаской...
Свинцовое море шумѣло кругомъ...
Все это мнѣ кажется сладостнымъ сномъ,
Волшебной, несбыточной сказкой!

О, нѣтъ! то не сонъ былъ! Въ дали голубой
Двѣ бѣлыя чайки неслись надъ водой,
И сѣрыя тучки летѣли, —
И все, что сказать я не могъ, не успѣлъ,
Кипѣло въ душѣ... и востокъ чуть алѣлъ,
И волны шумѣли, шумѣли!..

1879 г.

* * *

Снова одинъ я... Опять безъ значенья
День убѣгаетъ за днемъ,
Сердце испуганно ждетъ заустѣнья,
Словно покинутый домъ.

Заперты ставни, забиты ворота,
Садъ догниваетъ пустой...
Гдѣ же ты свѣтишь и грѣешь кого ты,
Мой огонекъ дорогой?

Видишь: мнѣ жизнь безъ тебя не подъ силу,
Прошрое давить мнѣ грудь,—
Словно въ раскрытую грозно могилу,
Страшно туда заглянуть.

Тянется жизнь, какъ постылая сказка,
Холодомъ вѣетъ отъ ней...
О, мнѣ нужна твоя тихая ласка,
Воздуха, солнца нужнѣй!..

1879 г.

— < > — < > —

* * *

Черная туча виситъ надъ полями,
Шепчутся клены, березы качаются,
Дубы столѣтніе машутъ вѣтвями,
Точно со мной говорить собираются.

«Что тебѣ нужно, пришлецъ безпріютный? —
Голосъ ихъ важный съ вершины мнѣ чудится, —
«Думаешь, отдыхъ вкушая минутный,
«Такъ вотъ и прошлое все позабудется?

«Нѣтъ, ты словами себя не обманешь:
«Спѣта она, твоя пѣсенка скудная!
«Новую пѣсню ужъ ты не затянешь,
«Хоть и звучить она, близкая, чудная!

«Сердце усталое, сердце больное
«Звуковъ волшебныхъ напрасно искало бы;
«Здѣсь, между нами, ницѣ ты покоя,
«Съ жизнью простися безъ стоновъ и жалобы.

«Смерти боишься ты? страхъ малодушный!
«Все, что томило игрой бесполезною:
«Мысли, и чувства, и стихъ имъ послушный, —
«Смерть остановить рукою желѣзною.

«Все клеветавшее тайно незримо,
«Все, угнетавшее съ дикою силою
«Въ мигъ разлетится, какъ облако дыма,
«Надъ неповинною, свѣжей могилою!

«Если же кто-нибудь тишь гробовую
«Вздохомъ нарушить, слезою участія,
«О, за слезу бы ты отдалъ такую
«Всѣ свои призраки прошлаго счастья!

«Тихо, прохладно лежать между нами,
«Тѣнь наша шире и порохъ привѣтнѣе»...
Въ вечеръ ненастный, качая вѣтвями,
Такъ говорили мнѣ дубы столѣтніе.

Въ 70-хъ годахъ.



РАЗБИТАЯ ВАЗА.

(ПОДРАЖАНИЕ СЮДЛИ ПРЮДОМУ).

Ты вазу, гдѣ цвѣтокъ ты сберегала нѣжный,
Ударомъ вѣера толкнула ты небрежно,
И трещина, едва замѣтная, на ней
Осталась... Но съ тѣхъ поръ прошло немного дней,
Небрежность дѣтская твоя давно забыта,
А вазѣ ужъ грозитъ нежданная бѣда!
Увишь ея цвѣтокъ, ушла ея вода...

Не тронь ее: она разбита.

Такъ сердца моего коснулась ты рукой, —
Рукою нѣжной и любимой,
И съ той поры на немъ, какъ отъ обиды злой,
Остался слѣдъ неизгладимый.
Оно, какъ прежде, бьется и живетъ,
Отъ всѣхъ его страданье скрыто,
Но рана глубока и каждый день растеть...
Не тронь его: оно разбито.

Въ 70-хъ годахъ.

МУХИ.

Мухи, какъ черныя мысли, весь день не даютъ мнѣ покою:
Жалить, жужжать и кружатся надъ бѣдной моей головою!
Сгонишь одну со щеки, а на глазъ ужъ усѣлась другая, —
Некуда спрятаться, всюду царить ненавистная стала,
Валится книга изъ рукъ, разговоръ упадаетъ, блѣднѣя...
Эхъ, кабы вечеръ придвинулся! Эхъ, кабы ночь поскорѣе!

Черныя мысли, какъ мухи, всю ночь не даютъ мнѣ покою:
Жалить, язвить и кружатся надъ бѣдной моей головою!
Только прогонишь одну, а ужъ въ сердце впиалась другая, —
Вся вспоминается жизнь, такъ бесплодно въ мечтахъ прожитая!
Хочешь забыть, разлюбить, а все любишь сильнѣй и больнѣе...
Эхъ, кабы ночь настоящая, вѣчная ночь поскорѣе!

Въ 70-хъ годахъ.

СТАРАЯ ЛЮБОВЬ.

«О, не гони меня! — твердить она, вздыхая, —
Не проклинай докучный мой приходъ:
Еще не разъ душа твоя больная
Меня, быть можетъ, призоветъ!
Я — только тѣнь... Зачѣмъ же противъ тѣни
Старинную, враждующую рать
Упрековъ, жалобъ и сомнѣній
Съ невольной злобой вызывать?
Я — только тѣнь; я — призракъ безъ названья;
Мой жертвенникъ упалъ, огонь на немъ погасъ,
Но есть межъ нами связь; та связь — твои страданья:
Они навѣкъ соединили насъ.
Ты можешь позабыть и ласки, и объятъ,
И рѣчи нѣжныя, и тихій блескъ очей,
Но не забудешь жгучія проклятья,
Смущавшія покой твоихъ ночей.
И вѣрь мнѣ: чѣмъ сильнѣй твое волненье,
Чѣмъ больше ты страдалъ, безъ пользы жизнь губя,
Тѣмъ ближе чуялъ ты мое прикосновенье,
Тѣмъ явственнѣй звучалъ мой голосъ для тебя.
Благовари меня за все, — за пылъ мечтаній,
За счастье и обманъ, за солнце и грозу,
За каждый вопль разбитыхъ упованій,
За каждую пролитую слезу!
И если, жизнью смятъ, въ томленіи недуга,
Меня ты призовешь, — къ тебѣ явлюсь я вновь,
Я — лучшихъ дней твоихъ забытая подруга,
Я — старая и вѣрная любовь!»

ПАРА ГНѢДЫХЪ.

(ПЕРЕВОДЪ ИЗЪ ДОНАУРОВА).

Пара гнѣдыхъ, запряженныхъ съ зарею,
Тощихъ, голодныхъ и грустныхъ на видъ,
Вѣчно бредете вы мелкой рысцою,
Вѣчно куда-то вашъ кучеръ спѣшитъ.
Были когда-то и вы рысаками,
И кучеровъ вы имѣли лихихъ,
Ваша хозяйка состарилась съ вами,
Пара гнѣдыхъ.

Ваша хозяйка въ старинные годы
Много имѣла хозяевъ сама,
Опытныхъ въ домъ привлекала изъ моды,
Болѣе нѣжныхъ сводила съ ума;
Таялъ въ объятяхъ любовникъ счастливый,
Таялъ порой капиталъ у иныхъ:
Часто стоять на конюшнѣ могли вы,
Пара гнѣдыхъ.

Грекъ изъ Одессы и жидъ изъ Варшавы,
Юный корнетъ и сѣдой генералъ,
Каждый искалъ въ ней любви и забавы
И на груди у нея засыпалъ.

Гдѣ же они, въ какой новой богинѣ
Ищутъ теперь идеаловъ своихъ?
Вы, только вы и вѣрны ей донинѣ
Пара гнѣдыхъ.

Вотъ отчего, запрягаясь съ зарею
И голодая по нѣскольку дней,
Вы подвигаетесь мелкой рысцою
И возбуждаете смѣхъ у людей.
Старость, какъ ночь, вамъ и ей угрожаетъ,
Говоръ толпы неозвратно затихъ,
И только кнутъ васъ порою ласкаетъ,
Пара гнѣдыхъ.

Въ 70-хъ годахъ.





Привѣтствую васъ, дни труда и вдохновенья!
Опять блестя минувшей красотой,
Являются мнѣ жизни впечатлѣнья
И въ яркихъ образахъ толпятся предо мной.
Но, суетой вседневною объята,
Моя душа порой глуха на этотъ зовъ
И тщетно молить къ прежнему возврата,
И вырваться не можетъ изъ оковъ...
Такъ лебедь, занесенный въ край безводный
И съ жизнью свыкшійся иной,
Порою хочетъ, гордый и свободный,
Летѣть къ странѣ своей родной...
Но взоръ его потухъ, отяжелѣли крылья,
И если удалось ему на мигъ взлетѣть,
То только, чтобъ свое почувствовать безсилье
И пѣснь послѣднюю пропѣть!

Въ 70-хъ годахъ.



ГОЛОСЪ ВЕСНЫ.

Не плачь, мой пѣвецъ одинокій,
Покуда кипить въ тебѣ кровь.
Я знаю: коварно, жестоко
Тебя обманула любовь.

Я знаю: любовь незабвенна...
Но слушай: тебѣ я вѣрна,
Моя красота неизмѣнна,
Мнѣ вѣчная юность дана.

Покроютъ ли небо туманы,
Приблизится-ль осени часъ,
Въ далекія теплыя страны
Надолго я скроюсь отъ васъ.

Какъ часто въ томленьяхъ недуга
Ты будешь меня призывать,
Ты ждать меня будешь, какъ друга,
Какъ нѣжно любимую мать.

Приду я, на душу больную
Навѣю чудесные сны
И язвы легко уврачую
Твоей безразсудной весны.

Когда же по мелочи, скупю,
Растратишь ты жизнь и, старикъ,
Начнешь равнодушно и тупо
Мой ласковый слушать языкъ, —

Тихонько родными руками
Я вѣжды твои опущу,
Твой гробъ увѣнчаю цвѣтами,
Твой темный пріютъ посѣщу.

А тамъ, подъ покровомъ могилы,
Умолкнуть и стоны любви,
И смѣхъ, и кипѣвшія силы,
И скучныя пѣсни твои.

Въ 70-хъ годахъ.



БОГИНЯ И ПѢВЕЦЪ.

(изъ Овидія).

Пѣлъ богиню влюбленный пѣвецъ, и тоской его голосъ звучаль...

Виявъ той пѣснѣ, богиня сошла, красотой лучезарной сіяя,
И къ божественно-юному тѣлу пѣвецъ въ упоеньи припалъ,
Задыхаясь отъ счастья, лобзаніемъ жгучимъ его покрывая.
Говорила богиня пѣвцу: «Не томися, пѣвецъ мой, тоской,
Я когда-нибудь снова сойду на твое одинокое ложе,
Оттого, что ни въ комъ на Олимпѣ не встрѣтить мнѣ страсти
такой,
Оттого, что безумныя ласки твои красоты мнѣ дороже».

Въ 70-хъ годахъ.

*
* *

Когда любовь охватить насъ
Своими крѣпкими когтями;
Когда за взглядомъ гордыхъ глазъ
Слѣдимъ мы робкими глазами;
Когда не въ силахъ превозмочь
Мы сердца мукъ, и, какъ на стражѣ,

Повсюду насъ и день и ночь,
Гнететъ все мысль одна и та же;
Когда въ безмолвіи, какъ тать,
Къ душѣ подкрадется измѣна, —
Мы рвемся, ропщемъ и бѣжать
Хотимъ изъ тягостнаго плѣна.
Мы просимъ воли у судьбы,
Клянемъ любовь — пріютъ обмана,
И, какъ возставшіе рабы,
Кричимъ: «долой, долой тирана!»
Но если боги, внявъ мольбамъ,
Освободятъ насъ отъ неволи, —
Какъ пусть покажется онъ намъ,
Спокойный міръ, безъ мукъ и боли!
О, какъ захочется намъ вновь
Цѣпей, давно проклятыхъ нами,
Ночей съ безумными слезами
И сновъ, сжигающихъ намъ кровь!...
Промчатся дни безъ наслажденій,
Минуютъ годы безъ слѣда,
Пустыней скучной, безъ волненій
Намъ жизнь покажется...

Тогда,
Какъ предки наши, мы съ гонцами
Пошлемъ врагамъ такой привѣтъ:
«Обильно сердце въ насъ страстями,
«Но въ немъ теперь порядка нѣтъ»:
«Придите княжити надъ нами»...

Въ 70-хъ годахъ.

ЦЫГАНСКАЯ ПѢСНЯ.

«Я вновь предъ тобою стою очарованъ».

О, пой, моя милая! пой, не смолкая,
Любимую пѣсню мою
О томъ, какъ тревожно той пѣснѣ внимая,
Я вновь предъ тобою стою!

Та пѣсня напомнить мнѣ время былое,
Которымъ душа такъ полна,
И страхъ, что щемитъ мое сердце больное,
Быть можетъ, разсѣть она.

Боюсь я, что голосъ мой, скорбный и нѣжный,
Тебя своей страстью смутить;
Боюсь, что отъ жизни моей безнадёжной
Улыбка твоя отлетитъ.

Мнѣ жизнь безъ тебя—словно полночь глухая
Въ чужомъ и безвѣстномъ краю...
О, пой, моя милая! пой, не смолкая,
Любимую пѣсню мою!

70-хъ годахъ.

* * *

Прости меня, прости! Когда въ душѣ мятежной
Угасъ безумный пылъ,
Съ укоромъ образъ твой, чарующій и нѣжный,
Передо мною всплыть.

О, я тогда хотѣлъ, тому укору вторя,
Убить слѣпую страсть,
Хотѣлъ въ слезахъ любви, раскаянья и горя
Къ ногамъ твоимъ упасть!

Хотѣлъ всѣ помыслы, желанья, наслажденья...
Все въ жертву принести, —
Я жертвы не принесъ, не стою я прощенья...
Прости меня, прости!

Въ 70-хъ годахъ.



ДВА ГОЛОСА.

(посвящается С. А. и Е. К. З—нымъ).

Два голоса, прелестью тихой полны,
Носились надъ шумомъ салоннымъ,
И двѣ ужъ давно не звучавшихъ струны
Имъ вторили въ сердцѣ смущенномъ.

И матери голосъ раздумьемъ звучалъ
Про счастье, давно прожитое,
Про жизненный путь между мелей и скалъ,
Про тихую радость покоя.

И дочери голосъ надеждой звучалъ
Про слухъ людского участя,
Про блескъ оживленныхъ, сіяющихъ залъ,
Про жажду безвѣстнаго счастья.

Казалось, что, въ небѣ лазурномъ горя,
Съ прекрасной вечерней зарею
Сливается пышная утра заря, —
И блещутъ одной красотою.

Въ 70-хъ годахъ.

* * *

Пусть не любишь стиховъ ты; пусть будетъ чужда
Тебѣ муза моя, безотрадно плакучая,
Но въ тебѣ отразилась, какъ въ морѣ звѣзда,
Вся поэзія жизни кипучая.

И какіе бы образы, краски, черты
Могъ художникъ похитить въ огнѣ вдохновенья,
Предъ которыми образъ твоей красоты
Поблѣднѣлъ бы хотя на мгновенье?

И какая же мысль упоительнѣй той,
Чтобъ любить тебя нѣжно и свято,
Чтобъ отдать тебѣ счастье, и трудъ, и покой,
Чтобы, все позабывши, лишь только тобой

Было вѣрное сердце объято?

И какія же риѣмы звучнѣй

Твоего подѣлуя прощальнаго,

Что и нынѣ, въ безмолвьи ночей,

Не отходить отъ ложа, отъ ложа печальнаго,

И мелодіей будить своей

Всѣ мечты невозвратно утраченныхъ дней,

Все блаженство минувшаго, дальняго?...

Въ 70-хъ годахъ.



В. М—МУ.

Мой другъ, тебя томить невѣрная примѣта.
Безплодную боязнь разсудкомъ укроти:
 Когда твоя душа сочувствіемъ согрѣта,
 Она не можетъ горя принести!
Но, видя рядъ могилъ, о прошлыхъ дняхъ тоскуя,
 Дрожишь ты часто за живыхъ
 И, гибель лучшихъ смутно чуя,
 Съ двойною силою любишь ихъ.
Такъ сердце матери невольно отличаетъ
 Того изъ всѣхъ своихъ дѣтей,
Кому грозитъ бѣда, чья радость увядаетъ,
 Къ немощнѣй, и жалче, и слабѣй...
Пусть тѣмъ, кого ужъ нѣтъ, не нужно сожалѣній,
Но мысли не прогнать: зачѣмъ они ушли?
Увы! ни мощный умъ, ни сердца жаръ, ни геній
 Не созданы надолго для земли,
И только то живетъ безъ горькихъ опасеній,
 Что пресмыкается въ пыли!
Въ 70-хъ годахъ.

ПАМЯТНАЯ НОЧЬ.

Зачѣмъ въ тиши ночной, изъ сумрака былого,
Ты, роковая ночь, являешься мнѣ снова
И смотришь на меня со страхомъ и тоской?

То было ужъ давно, на станціи глухой,
Гдѣ ждалъ я поѣзда... Я помню, какъ сначала
Дымился самоваръ и печь въ углу трещала...
Курилъ и слушалъ я часовъ шипѣвшій бой,
Далекій лай собакъ, да сбоку, за спиной,
Храпѣнье громкое... И вдругъ, среди раздумья —
То было-ль забытье, иль тяжкій мигъ безумья —
Замолкло, замерло, потухло все кругомъ...

Луна, какъ мертвый ликъ, глядѣла въ мертвый домъ,
Сигара выпала изъ рукъ, и мнѣ казалось,
Что жизнь во мнѣ самомъ внезапно оборвалась...
Я все тогда забылъ: кто я, зачѣмъ я тутъ.
Казалось, что не я—другіе люди ждутъ
Другого поѣзда на станціи убогой...
Не могъ я разобрать—ихъ мало, или много...
Мнѣ было все равно, что медлитъ поѣздъ тотъ,
Что опоздаетъ онъ, что вовсе не придетъ...
Не знаю, долго ли то длилось испытанье,
Но тяжело и теперь о немъ воспоминанье!..

Съ тѣхъ поръ прошли года. Въ тиши нѣмыхъ могилъ
Родныхъ людей и чувствъ я много схоронилъ,
Измѣнъ, страстей и зла вседневныя картины
По сердцу провели глубокия морщины;
И съ грузомъ опыта, съ усталою душой,
Я вновь сажу одинъ на станціи глухой.
Я поѣзда не жду,—увы! пройдетъ онъ мимо—
Мнѣ нечего желать и жить мнѣ нестерпимо!..

1880 г.



НА НОВЫИ 1881 ГОДЪ.

Вся зала ожиданія полна,
Партеръ притихъ, сейчасъ начнется пьеса.
Передо мной, безмолвна и грозна,
Волнуется грядущаго завѣса.

Какъ я, бывало, взоръ туда вперялъ,
Какъ смутный каждый звукъ ловилъ оттуда,—
Какихъ-то новыхъ словъ я вѣчно ждалъ,
Какого-то неслыханнаго чуда.

О новый годъ! теперь мнѣ все равно,
Несешь ли ты мнѣ смерть и разрушенье,
Иль прежнихъ лѣтъ мнѣ видѣть суждено
Безцвѣтное, тупое повторенье...

Немного грѣзь—осколки свѣтлыхъ дней —
Какъ вихремъ, онъ безжалостно развѣетъ,
Еще немного отпадетъ друзей,
Еще немного сердце зачерствѣетъ.

ОТРАВЛЕННОЕ СЧАСТЬЕ.

Зачѣмъ загадывать, мечтать о днѣ грядущемъ,
Когда день нынѣшній такъ свѣтелъ и хорошъ?
Зачѣмъ твердить всегда въ уныніи гнетущемъ,
Что счастье вѣтрено, что счастья не вернешь?
Пушай мнѣ суждены мученія разлуки
И одиночества томительные дни,—
Сегодня я съ тобой, твои цѣлую руки,
И ночь тиха, и мы одни.
О, если бы я могъ хоть въ эту ночь нѣмую
Забыться въ грѣзахъ золотыхъ
И все прошедшее, какъ ношу роковую,
Сложить у милыхъ ногъ твоихъ!
Но сердце робкое, привыкшее бояться,
Не оживетъ въ роскошномъ снѣ,
Не вѣритъ счастью, не смѣетъ забываться
И рѣчи скорбныя нашептываетъ мнѣ.
Когда я удалюсь, исполненный смущенья,
И отзвучать шаги мои едва, —
Ты вспомнишь, можетъ быть, съ улыбкою сомнѣнья
Мои тревожныя моленья,
Мои горячія и нѣжныя слова.
Когда враги мои довольною толпою
Начнутъ меня язвить, и ихъ услышишь ты,—
Ты равнодушною поникнешь головою

И замолчишь предъ наглою враждою,
Предъ голосомъ нечѣпой клеветы.
Когда въ сырой землѣ я буду спать глубоко,
Безсиленъ, недвижимъ и всѣмъ позабытъ,—
Моей могилы одинокой
Твоя слеза не оросить.
И, можетъ быть, въ минуту злую,
Когда мечты твои въ прошедшее уйдутъ,
Мою любовь, всю жизнь мою былую
Ты призовешь на строгій судъ.
О, въ этотъ страшный часъ тревоги, заблужденья,
Томившія когда-то эту грудь,
Мои невольныя, безсильныя паденья
Ты мнѣ прости и позабуди!
Пойми тогда, хоть съ позднимъ сожалѣньемъ,
Что въ мірѣ томъ, гдѣ другъ твой жилъ,
Никто тебя съ такимъ самозабвеньемъ,
Съ такимъ страданьемъ не любилъ!

1881 г.



КЪ ПОЭЗИИ.

(ПОСВЯЩАЕТСЯ А. В. П—ВОЙ).

I.

Въ тѣ дни, когда широкими волнами
Катилась жизнь, спокойна и свѣтла,
Нерѣдко ты являлась между нами,
И рѣчь твоя отрадой намъ была;
Надъ пошlostью житейской ты царила,
Свѣтлѣли мы въ лучахъ твоей красоты,
И ты своимъ избранникамъ дарила
Безсонные и сладкіе часы.

Тѣ дни прошли... Надъ родиной любимой,
Надъ бѣдною, померкшею страной
Повѣялъ духъ вражды неумолимой
И жизнь сковалъ корою лединой.
Подземныя, таинственныя силы
Колеблють землю... Въ ужасѣ нѣмомъ
Застыла ты, умолкъ твой голосъ милый,
И день за днемъ уныло мы живемъ...

II.

Въ эти дни ожиданья тупого,
Въ эти тяжкіе, тусклые дни,
О, явись намъ, волшебница, снова
И весною неожиданной дохни!

Отъ насилій, измѣнъ и коварства,
Отъ кровавыхъ раздоровъ людскихъ
Уноси въ свое свѣтлое царство
Ты глашатаевъ вѣрныхъ своихъ!

Позабудь роковыя сомнѣнья
И, безсмертной сіяя красой,
Намъ послѣднюю пѣснь утѣшенья,
Лучезарную пѣсню пропой!

Какъ напѣвы чарующей сказки,
Будетъ пѣсня легка и жива:
Мы услышимъ въ ней матери ласки
И молитвы забытой слова.

Намъ припомнятся юности годы
И пиры золотой старины,
И мечты безкорыстной свободы,
И любви задушевные сны...

Пой съ могучей, неслыханной силой!
Воскреси, воскреси еще разъ
Все, что было намъ свято и мило,
Все, чѣмъ жизнь улыбалась для насъ!

1881 г.

* * *

День ли парить, тишина ли ночная,
Въ снахъ ли тревожныхъ, въ житейской борьбѣ,
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,
Дума все та же, одна, роковая, —
Все о тебѣ!

Съ нею не страшенъ мнѣ призракъ былого,
Сердце воспрянуло, снова любя...
Вѣра, мечты, вдохновенное слово, —
Все, что въ душѣ дорогого, святого,
Все отъ тебя!

Будутъ ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь загубя! —
Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и пѣсни, и силы, —
Все для тебя!

Май 1881 г.



1882 г.

Безотрадныя ночи! Счастливые дни!
Какъ стрѣла, какъ мечта, пронеслися они,
Я не годъ пережилъ, а десятки годовъ:
То томился подъ гнетомъ тяжелыхъ оковъ,
То несбыточнымъ счастьемъ былъ опьяненъ...
Я не знаю: то правда была, или сонъ?

Мчалась тройка по свѣжему снѣгу въ глуши,
И мы были вдвоемъ, и кругомъ — ни души,
Лишь деревья мельками въ серебряной мглѣ;
И казалось, что все — въ небесахъ, на землѣ,
Мнѣ шептало: люби, позабуди обо всемъ...
Я не знаю: что правдою было, что сномъ?..

И теперь меня мысль роковая гнететъ:
Что пошлешь ты мнѣ, новый, невѣдомый годъ?
Ждетъ ли свѣтлое счастье меня впереди,
Иль послѣднее пламя потухнетъ въ груди,
И опять побреду я живымъ мертвецомъ...
Я не знаю: что правдою будетъ, что сномъ?..

Г. КАРЦОВУ.

Настойчиво, прилежно, терпѣливо,
Порой таинственно, какъ тать,
Плоды моей фантазіи лѣнливой
Ты въ эту вписывалъ тетрадь.

Укрой ее отъ любопытныхъ взоровъ,
Не отдавай на судъ людей,
На смѣхъ и гуль пристрастныхъ приговоровъ
Завѣтный міръ души моей!

Когда-жъ улягусь я на днѣ могилы
И, покорясь своей судьбѣ,
Одну лишь память празднаго кутилы
Оставлю въ мірѣ по себѣ,—

Пускай тебѣ тетрадь напомнить эта
Сердечной дружбы нашей дни,
И ты тогда забытаго поэта
Хоть добрымъ словомъ помяни!

6-го октября 1852 г.



ПИСЬМО.

Увидя почеркъ мой, вы вѣрно удивитесь:

Я не писала вамъ давно.

Я думаю, вамъ это все равно.

Тамъ, гдѣ живете вы и, значить, веселитесь,

Въ роскошной южной сторонѣ,

Вы можетъ быть забыли обо мнѣ.

И я про все забыть была готова...

Но встрѣча странная, и вотъ,

Съ волшебной силою изъ сумрака былого

Передо мной вашъ образъ встаетъ.

Сегодня, проѣзжая мимо,

Къ NN случайно я зашла.

Съ княгиней, вами нѣкогда любимой,

Я встрѣтилась у чайнаго стола.

Насъ познакомили, двумя-тремя словами

Мы обмѣнялись, но жадными глазами

Впились мы другъ въ друга. Взоръ нѣмой,

Казалось, проникалъ на дно души другой.

Хотѣлось мнѣ ей броситься на шею

И долго, долго плакать вмѣстѣ съ нею!

Хотѣлось мнѣ сказать ей: «Ты близка

Моей душѣ. У насъ одна тоска,

Насъ одинаково грызеть и мучить совѣсть,
 И, если оттого не станешь ты грустнѣй,
 Я расскажу тебѣ всю повѣсть
 Души истерзанной твоей.
 Ты встрѣтила его впервые въ вихрѣ бала,
 Плѣнительнѣй его до этихъ поръ
 Ты никого еще не знала:
 Онъ былъ красивъ, какъ богъ, и нѣженъ, и остеръ.
 Онъ ѣздить сталъ къ тебѣ, почтительный, влюбленный,
 Но, покорясь его уму,
 Рѣшилась твердо ты остаться непреклонной
 И отдалась безропотно ему.
 Дни счастья прошли, какъ сновидѣнье,
 Другіе наступили дни...
 О. дни ревнивыхъ слезъ, обмановъ, охлажденья,—
 Кому изъ насъ не памяты они?
 Когда его встрѣчала ты покорно,
 Прощала все ему, любя,
 Онъ называлъ твою печаль притворной
 И комедьянскою тебя.
 Когда же приходилъ условный часъ свиданья
 И въ домѣ наступала тишина,
 Въ томительной тревогѣ ожиданья
 Садилась ты у темнаго окна.
 Понуривши головку молодую
 И приподнявъ тяжелыя драпри,
 Не шевелясь, сидѣла до зари,
 Вперя взоры въ улицу пустую.
 Ты съ жадностью ловила каждый звукъ,
 Привыкла различать кареты стукъ
 Отъ стука дрожекъ издалика.
 Но вотъ все ближе, ближе, вотъ
 Остановился кто-то у воротъ...
 Вскочила ты въ одно мгновеніе ока,
 Вѣжишь къ дверямъ... напрасный трудъ:
 Обманъ, опять обманъ! О, что за наказанье!
 И вотъ опять на нѣсколько минутъ
 Царить нѣмое, мертвое молчанье,
 Лишь видно фонарей неровное мерцанье.

И скучные часы убійственно ползуть,
И проходила ночь, кипѣла жизнь дневная...

Тогда ты шла къ себѣ съ огнемъ въ крови

И падала въ подушки, замирая

Отъ бѣшенства и горя, и любви!»

Изъ этого, конечно, я ни слова

Княгинѣ не сказала. Разговоръ

У насъ лѣниво шелъ про разный вздоръ,

И имени для насъ обѣихъ дорогого

Мы не рѣшились назвать.

Настало вдругъ неловкое молчанье;

Княгиня встала. На прощанье

Хотѣлось мнѣ ей крѣпко руку сжать,

И дружбою у насъ окончиться могло бы,

Но въ этотъ мигъ прочла я столько злобы

Въ ея измученныхъ глазахъ,

Что на меня нашель невольный страхъ,

И молча мы разстались: я — съ поклономъ,

Она — съ кивкомъ небрежнымъ головы...

Я начала свое письмо на *вы*,

Но продолжать не въ силахъ этимъ тономъ.

Мнѣ хочется сказать тебѣ, что я

Всегда, вездѣ попрежнему твоя,

Что дорожу я этой тайной,

Что женщина, которую случайно

Любилъ ты хоть на мигъ одинъ,

Ужъ никогда тебя забыть не можеть,

Что день и ночь ее воспоминанье гложеть,

Какъ злой палачъ, какъ милый властелинъ.

Она не задрожитъ предъ свѣтскимъ приговоромъ:

По первому движенью твоему,

Покинетъ свѣтъ, семью, какъ душную тюрьму,

И будетъ счастлива однимъ своимъ позоромъ!

Она отдастъ послѣдній грошъ,

Чтобъ быть твоей рабой, служанкой,

Иль вѣрнымъ псомъ твоимъ — Діанкой,

Которую ласкаешь ты и бьешь!

Р. С.

Тревога, ночь,—вотъ что письмо мнѣ диктовало...

Теперь, при свѣтѣ дня, оно

Мнѣ только кажется смѣшно,

Но изорвать его мнѣ какъ-то жалко стало!

Пусть къ вамъ оно летитъ отъ береговъ Невы,

Хотя бы для того... чтобъ разсердились вы.

Какое дѣло вамъ, что тамъ васъ любятъ гдѣ-то?

Лишь та, что возлѣ васъ, волнуетъ вашу кровь.

И знайте: я не жду отвѣта

Ни на письмо, ни на любовь.

Вамъ чувство каждое всегда казалось рабствомъ,

А отвѣчать на письма... Боже мой!

На вашемъ языкѣ, столь вѣжливымъ порой,

Вы это называли «бабствомъ».

Ноябрь 1882 г.

С О Н Ъ.

О, что за чудный сонъ приснился мнѣ неожиданно!
Въ старинномъ замкѣ я бродилъ въ толпѣ тѣней:
Мелькали рыцари въ своей одеждѣ бранной,
И пудренныхъ маркизъ нарядъ и говоръ странный
Смущали тишину подстриженныхъ аллей.

И вдругъ замолкли всѣ. Съ улыбкой благосклонной
Къ намъ подошелъ король и ласково сказалъ:
«Привѣтствую тебя, пришлецъ неугомонный!
«Ты былъ въ своей странѣ смѣшонъ, поэтъ влюбленный,—
«У насъ достоинъ ты вниманья и похвалъ.

«У насъ не такъ жилось, какъ вы теперь живете!
«Вашъ міръ уныніемъ и завистью томимъ.
«Вы притупили умъ въ безсмысленной работѣ,
«Какъ жалкіе жида, погрязли вы въ расчетъ
«И, сами не живя, гнетете жизнь другимъ!

«Вы сухи, холодны, какъ Сѣвера морозы,
«Вы не умѣете безъ горечи любить,
«Вы рвете тернія тамъ, гдѣ мы рвали розы...
«Какія-то для глазъ невидимыя слезы
«Вамъ даже самый смѣхъ успѣли отравить!

«Поэтъ, я—Счастіе! Меня во всей вселенной
«Теперь ужъ не найти, ко мнѣ не лежокъ путь.
«Гордиться можешь ты передъ толпой надменной,
«Что удалось тебѣ въ мой замокъ сокровенный
«Хоть разъ одинъ войти и сердцемъ отдохнуть.

«И если, надъ землей случайно пролетая,
«Тебѣ я брошу мигъ блаженства и любви,—
«Лови его, лови: люби, не размышляя!..
«Смотри: вотъ гаснетъ день, за рощей утоная...
«Недолго этотъ мигъ — лови его, лови!»...

Такъ говорилъ король, а съ неба мнѣ сіяли
Прощальные лучи блѣднѣющаго дня,
И чинно предо мной маркизы присѣдали,
И рыцари меня мечами покрывали,
И дѣти ласково смотрѣли на меня!

1882 г.



* * *

Изъ отроческихъ лѣтъ онъ выходилъ едва,
Когда она его безумно полюбила
За кудри дѣтскія, за пылкія слова,
Семью и мужа,—все она тогда забыла!

Предъ юношей, роскошна и пышна,
Вся жизнь раскинулась: орелъ расправилъ крылья...
И чуетъ въ воздухѣ недоброе она,
И замираетъ вся отъ гнѣвнаго безсилья.

Въ тревогѣ и тоскѣ ея блуждаетъ взглядъ,
Какъ будто въ немъ застылъ вопросъ и сердце гложетъ:
Гдѣ онъ, что съ нимъ и съ кѣмъ часы его летать?..
Все знать она должна—и знать, увы! не можетъ...

И мечется она, всѣмъ слухамъ и рѣчамъ
Внимая горячо, то вѣря, то не вѣря.
Безцѣльной яростью напоминая намъ
Предсмертные прыжки израненнаго звѣря.

1882 г.



МУЗЪ.

Умолѣни навсегда! Тоску и сердца жаръ
Не выставляй врагамъ для утѣшенья...
Проклятье вамъ, минуты вдохновенья,
Проклятіе тебѣ, ненужный пѣсень даръ!
Мой голосъ прозвучить въ пустынь одиноко,
Участья не найдетъ души изнывшей крикъ...
О смерть, иди теперь! безъ жалобъ, безъ упрека
Я встрѣчу твой суровый ликъ.
Ты все-таки теплѣй, чѣмъ эти люди-братья:
Не жжешь измѣной ты, не дышишь клеветой...
Раскрой же мнѣ свои желѣзные объятія,
Пошли мнѣ наконецъ забвеніе и покой!

Февраль 1883 г.

ССОРА.

Ночь давно ужъ царила надъ міромъ,
А они, чтобъ оканчивать споры,
Всѣ сидѣли за дружескимъ пиромъ,
Но не дружные шли разговоры.
Понемногу словами пустыми
Раздражались они до мученья,
Словно кто-то сидѣлъ между ними
И нашептывалъ имъ оскорбленья.
И сверкали тревожные взгляды,
Искаженные лица горѣли,
Обвиненья росли безъ пощады
И упреки безъ смысла и цѣли.
Все, что прежде въ душѣ накопило,
Все, чѣмъ жизнь ихъ явила пустая,
Они вспомнили, злобно и смѣло
Другъ на другѣ то зло вымещая...

Наступила минута молчанья:
Она вѣчностью имъ показала,
И, при видѣ чужого страданья,
Къ нимъ невольная жалость подкралась.
Имъ хотѣлось чудесною силой
Воротить все, что сказано было,—

И слетѣть уже было готово
Задушевное теплое слово,
И, быть можетъ, сквозь мракъ раздраженья,
Имъ, измученнымъ гнѣвомъ и горемъ,
Уже видѣлся мигъ примиренья,
Какъ маякъ лучезарный надъ моремъ.

Проходили часы за часами,
А друзья все смотрѣли врагами,
Голоса возвышались снова...
Задушевное теплое слово,
Что за мигъ такъ легко имъ казалось,
Не припомнилось имъ, не сказалось,
А слова набѣгали другія,
Безотрадные, жесткія, злыя.
И сверкали тревожные взгляды,
Искаженные лица горѣли,
Обвиненья росли безъ пощады,
И упреки безъ смысла и цѣли...
И ужъ ночь не царила надъ міромъ,
А они неразлучной четою
Все сидѣли за дружескимъ пиромъ,
Словно тѣшась безумной враждою!
Вотъ и утра лучи заблестѣли...
Новый день не принесъ примиренья...
Потухавшія свѣчи тускнѣли,
Какъ сердца безъ любви и прощенья.

Апрѣль 1883 г.

* * *

О, да! повѣрилъ я. Мнѣ вѣрить такъ отрадно...
Зачѣмъ же вновь, въ полночной тишинѣ,
Сомнѣнья злобный червь упрямо, безпощадно
И душу мнѣ грызеть, и спать мѣшаетъ мнѣ?

Зачѣмъ, когда ничтожными словами
Мы обмѣняемся, я чувствую съ тоской,
Что тайна, какъ стѣна, стоитъ межъ нами,
Что въ мірѣ я — одинъ, что я — тебѣ чужой?

И вновь участія мигъ въ твоёмъ ловлю я взглядѣ,
И сердце рвется пополамъ,
И, какъ преступнику, съ мольбою о пощаду,
Мнѣ хочется упасть къ твоимъ ногамъ...

Что сдѣлалъ я тебѣ? Такой безумной муки
Не пожелаешь и врагу...
Онъ близокъ, грозный часъ разлуки —
И вѣрить долженъ я, и вѣрить не могу!..

Май 1888 г.

ГОДЪ ВЪ МОНАСТЫРѢ.

(ОТРЫВКИ ИЗЪ ДНЕВНИКА).

15-10 ноября.

О, наконецъ изъ вражескаго стана
Я убѣжалъ, израненный боецъ!..
Изъ міра лжи, измѣны и обмана,
Полуживой, я спасся наконецъ!
Въ моей душѣ ни злобы нѣтъ, ни мщенья,
На подвиги и жертвы я готовъ...
Обитель мира, смерти и забвенья,
Прими меня подъ твой смиренный кровъ!

16-10 ноября.

Игуменъ призывалъ меня. Онъ важенъ.
Но обходителенъ; радушно заявилъ,
Что я къ монастырю ужъ «пріукаженъ»,
И камилавкою меня благословилъ.
Затѣмъ сказали: «Ты будешь въ послушаньи
У старца Михаила. Онъ стоитъ
Какъ нѣкій столбъ межъ насъ, пмъ нашъ украшенъ скитъ,
И онъ у всѣхъ въ великомъ почитаньи.

съ помыслы ему ты долженъ открывать
И исполнять безропотно велѣнья,
И да обрящешь путь спасенья!»

Итакъ, свершилось: я — монахъ!
И въ первый разъ въ своей одеждѣ новой
Ко всеобщей пошелъ. Въ ребяческихъ мечтахъ
Мнѣ такъ плѣнительно звучало это слово,
И раемъ монастырь казался мнѣ тогда.
Потомъ я въ омутъ жизни окунулся
И вѣру потерялъ... но вотъ прошли года,
И къ дѣтскимъ грезамъ снова я вернулся.

1-10 декабря.

Ужъ двѣ недѣли я живу въ монастырѣ
Среди молчанія и тишины глубокой.
Нашъ монастырь построенъ на горѣ
И обнесенъ оградой высокой.
Изъ башни лѣтомъ видъ чудесный, говорятъ,
На дальнѣйшія лѣса, озера и селенья;
Межъ кельями разбросанными—садъ,
Гдѣ множество цвѣтовъ и рѣдкія растенья
(Цвѣтами монастырь нашъ славился давно).
Весной въ немъ рай земной, но нынѣ
Глубокимъ снѣгомъ все занесено,
Все кажется мнѣ бѣлою пустыней,
И только куполы церквей
Сверкаютъ золотомъ надъ ней.
Направо отъ воротъ, вблизи собора,
Изъ-за деревъ едва видна,
Моя ютится келья въ два окна.
Приманки мало въ ней для суетнаго взора:
Досчатая кровать, покрытая ковромъ,
Два стула кожаныхъ, межъ оконъ столъ дубовый
И полка книгъ церковныхъ надъ столомъ;
Въ кіотѣ ликъ Христа, на Немъ вѣнецъ терновый.

Жизнь монастырская безъ бурь и безъ страстей
Мнѣ кажется какимъ-то сномъ безпечнымъ.
Не слышу свѣтскихъ фразъ, затверженныхъ рѣчей
Съ ихъ вѣчной ложью и злословьемъ вѣчнымъ,
Не вижу пошлыхъ, злобныхъ лицъ...
Одно смущаетъ: недостатокъ вѣры.
Но Богъ поможетъ мнѣ: Его любви нѣтъ мѣры
И милосердію нѣтъ границы!
Проснувшись, каждый день я къ старцу Михаилу
Иду на послушанье въ скитъ.
Ему на видъ лѣтъ сто, онъ ходитъ черезъ силу,
Но взоръ его сверкаетъ и горитъ
Глубокой, крѣпкой вѣрой въ Бога,
И въ душу смотритъ пристально и строго.
Вчера сказалъ онъ съ гнѣвомъ мнѣ,
Что одержимъ я духомъ своеволя
И гордости, подобно сатанѣ;
Потомъ повелъ меня въ подполье
И показалъ мнѣ гробъ, въ которомъ тридцать лѣтъ
Спитъ какъ мертвецъ онъ, саваномъ одѣтъ,
Готовясь къ жизни безконечной...
Я съ умиленіемъ и горестью сердечной
Смотрѣлъ на этотъ одръ унынья и борьбы.
Но старецъ спитъ въ немъ только лѣтомъ,—
Теперь въ гробу суровомъ этомъ
Хранятся овощи, картофель и грибы.

10-ю декабря.

День знаменательный, и какъ бы я его
Могъ описать, когда бы былъ поэтомъ!
По приказанью старца моего,
Поѣхалъ я рубить дрова съ разсвѣтомъ
Въ сосновый боръ. Я помню: въ первый разъ
Я проѣзжалъ его, томишь тяжелой думой;
Октябрьскій сѣрый вечеръ гасъ,
И лѣсъ казался мнѣ могилою угрюмой,—
Такъ былъ тогда онъ мраченъ и унылъ!
Теперь блеснулъ онъ мнѣ красою небывалой.

Въ восторгѣ, какъ ребенокъ малый,
Я вѣжды широко раскрылъ.
Покрыта парчевымъ блестящимъ одѣяньемъ,
Стояла предо мной гигантская сосна;
Кругомъ глубокая такая тишина,
Что нарушать ее боялся я дыханьемъ.
Деревья стройныя, какъ небеса свѣтлы,
Вели, казалось, въ глубь серебрянаго сада,
И хлопья снѣжные, пушисты, тяжелы,
Повисли на вѣтвяхъ, какъ гроздья винограда.
И долго я стоялъ безъ мыслей и безъ словъ...
Когда же топора впервые звукъ раздался,
Весь лѣсъ заговорилъ, затопалъ, засмѣялся
Какъ бы отъ тысячи невидимыхъ шаговъ.
А щеки мнѣ щипалъ морозъ сердитый,
И я рубилъ, рубилъ, одинъ въ глуши лѣсной...
Къ полудню возвратился я домой
Усталый, инеемъ покрытый.
О, никогда, мои друзья,
Такъ не былъ веселъ и доволенъ я
На вашихъ сходкахъ монотонныхъ
И на циническихъ пирахъ,
На вашихъ раутахъ игриво-похоронныхъ,
На вашихъ скучныхъ пикникахъ!

12-10 декабря.

Невѣріе мое меня томить и мучить, —
Я слѣпо вѣрить не могу.
Пусть разумъ — вѣры врагъ и насъ лукаво учить,
Но нехотя внимаю я врагу.
Увы! заблудшая овца я въ Божьемъ стадѣ...
Нашъ ризничій, извѣстный Варлаамъ,
Читалъ сегодня проповѣдь объ адѣ;
Подробно, радостно, какъ будто видѣлъ самъ,
Описывалъ, что дѣлается тамъ:
И стоны грѣшниковъ, молящихъ о пощадѣ,
И совѣсти, и глазъ, и рукъ, и ногъ
Разнообразныя страданья...

Я заглушить въ душѣ не могъ негодованья.
Ужели правосудный Богъ
За краткій мигъ грѣхопаденья
Насъ мукой вѣчною казнить?
И вечеромъ побрелъ я въ скитъ,
Чтобъ эти мысли и сомнѣнья
Повѣдать старцу. Старецъ Михаилъ
Отчасти только мнѣ сомнѣнья разрѣшилъ.
Онъ мнѣ сказалъ, что, вѣрно, съ колыбели
Во мнѣ все мысли грѣшныя живутъ,
Что я—смердящій песъ и дьявольскій сосудъ...
Да, помыслы мои успѣха не имѣли!

20-10 декабря.

Увы! меня открыли! Пишетъ братъ,
Что всюду о моемъ побѣгѣ говорятъ,
Что всѣ смѣются до упаду,
Что басней города я сталъ къ стыду друзей,
И просить прекратить скорѣй
Мою, какъ говорить онъ «эскападу».
Я—басня города! Не все ли мнѣ равно?
Въ далекой, ранней юности, бывало,
Боялся я того, что можетъ быть смѣшно,
Но это чувство скоро миновало.
Теперь, когда съ людьми всѣ связи порваны,
Какъ сами мнѣ они и жалки, и смѣшны!
Мнѣ дѣла нѣтъ до мнѣнья свѣта,
Но мнѣніе одно хотѣлъ бы я узнать:
Что говорить *она*? Впервые слово это
Я заношу въ заветную тетрадь...
Ее не назвалъ я, но что-то
Кольнуло сердце какъ ножомъ.
Ужель ничѣмъ, ничѣмъ—ни трудною работой,
Ни долгою молитвой, ни постомъ
Изъ сердца вырвать не придется
Воспоминаній роковыхъ?
Оно, какъ прежде, ими бьется,
Они и въ снахъ, и въ помыслахъ моихъ.

Смѣшно же лгать передъ самимъ собою...
Но этихъ помысловъ я старцу не открою!

24-10 декабря.

Восторженный канонъ Дамаскина
У всенощной сегодня пѣли,
И умиленіемъ душа была полна,
И чудныя слова мнѣ душу разогрѣли.
«Владыка въ древности чудесно спасъ народъ:
Онъ волны осушилъ морскія»...
О, вѣрю, вѣрю, Онъ и въ наши дни придетъ
И чудеса свершить другія.
О Боже! не народъ,—последній изъ людей
Зоветь Тебя, тоскою смертной полный.
Въ моей душѣ бушуютъ также волны
Воспоминаній и страстей.
О, осуши же ихъ Своей могучей дланью!
Какъ солнцемъ освѣти грѣховныхъ мыслей тьму!
О, снизойди къ ничтожному созданью!
О, помоги невѣрью моему!

31-10 декабря.

На монастырской башнѣ полночь бьетъ,
И въ бездну падаетъ тяжелый, грустный годъ.
Я съ нимъ простился тихо, хладнокровно
Одинъ въ своемъ углу: все спитъ въ монастырѣ.
У насъ и службы нѣтъ церковной:
Здѣсь новый годъ встрѣчаютъ въ сентябрѣ.
Въ міру, бывало, я, въ гостинной шумной стоя,
Вель тихій разговоръ съ судьбой наединѣ.
Молилъ я счастья,—теперь молю покоя...
Чего еще желать, къ чему стремиться мнѣ?
А годъ тому назадъ... Мы были вмѣстѣ съ нею,
Какъ будущее намъ казалось свѣтло,
Какъ сердце жгла она улыбкою своею,
Какъ платьѣ бѣлое къ ней шло!

11-10 января.

Сегодня с пеною печальной
Весь монастырь взволнованъ былъ.
Есть послушникъ у насъ, по имени Кирилль.
Пришелъ онъ изъ Сибири дальней
Еще весной и всѣ привлекъ сердца
Своею кротостью и вѣрой безъ предѣла.
Онъ — сынъ единственный богатаго купца,
Но вѣрой пламенной душа его горѣла
Отъ первыхъ дѣтскихъ лѣтъ. Таилъ онъ мысль свою,
И вотъ однажды бросилъ домъ, семью,
Оставивши письмо, что на служенье Богу
Уходитъ онъ. Отецъ и мать
Чуть не сошли съ ума; потомъ его искать
Отправились въ безвѣстную дорогу.
Семь мѣсяцевъ, влача томительные дни,
По всѣмъ монастырямъ скитались они.
Вчера съ надеждою послѣдней
Пріѣхали сюда, не зная ничего,
И нынче вдругъ за раннею обѣдней
Увидѣли Кириюшу своего...

Вся братія стояла у собора.
Кирилль молчалъ, не поднимая взора.
Отецъ — осанистый, сѣдой, какъ лунь, старикъ —
Степенно началъ рѣчь, но столькихъ впечатлѣній
Не вынесла душа: онъ головой поникъ
И сталъ предъ сыномъ на колѣни.
Онъ заклиналъ его Христомъ
Вернуться снова въ отчій домъ;
Онъ говорилъ, какъ жизнь его постыла...
«На что богатства мнѣ? Кому ихъ передать?
«Кириюша, воротись! Возьметъ меня могила,—
«Опять придешь сюда: тебѣ недолго ждать!»
Игуменъ отвѣчалъ краснорѣчиво, ясно,
Что это благодать, а не напасть,
Что горевать отцу напрасно,
Что сынъ его избралъ благую часть,
Что онъ грѣхи отцовскіе замолитъ,

Что тяжело идти отъ свѣта въ тьму,
Что, впрочемъ, онъ его остаться не неволить:
«Пускай рѣшаетъ самъ по сердцу своему!»

А мать молчала. Робкими глазами
Смотрѣла то на сына, то на храмъ,
И зарыдала вдругъ, припавъ къ его ногамъ,
И таялъ бѣлый снѣгъ подъ жгучими слезами.
Кирилъ блѣднѣлъ, блѣднѣлъ; въ душѣ его опять,
Казалось, переломъ какой-то совершался,
Не выдержалъ и онъ: обнявъ отца и мать,
Заплакалъ горько... но остался.

Такъ наша жизнь идетъ: вездѣ борьба, разладъ...
Кого-жъ Ты осудилъ, о правосудный Боже?
И правы старики, и сынъ не виновать,
И долгу своему игуменъ вѣренъ тоже...
Какъ разрѣшить вопросъ? Что радость для однихъ,
Другимъ — причина для страданья...

Рѣшать я не могу задачъ такихъ...

Но только матери рыданья
Сильнѣй всего звучать въ ушахъ моихъ!

2-го февраля.

Второе февраля... О вечеръ роковой,
Въ который все ушло: моя свобода,
И гордость сердца, и покой...
Богъ знаетъ почему — тому назадъ три года —
Забрелъ я къ ней. Она была больна,
Но приняла меня. До этихъ поръ мы въ свѣтѣ
Встрѣчались часто съ ней, и встрѣчи эти
Меня порой лишали сна
И жгли тревогою минутно,
Какъ бы предчувствіемъ далекимъ... но пока
Въ душѣ то чувство жило смутно,
Какъ подо льдомъ живетъ бурливая рѣка.
Она была больна, ея лицо горѣло,
И въ лихорадочномъ огнѣ
Съ такой рѣшимостью, съ такой отвагой смѣлой
Глубокій взоръ ея скользилъ по мнѣ!

Отъ бѣлой лампы свѣтъ ложился такъ привѣтно;
Часы летѣли. Мы вдвоемъ,
Шутя, смѣясь, болтали обо всемъ,
И тихій вечеръ канулъ незамѣтно.
А въ сердцѣ, какъ девятый валъ,
Могучей страсти пылъ и росъ, и поднимался:
Все поняла *она*, но я не понималъ...

Не помню, какъ я съ ней разстался,
Какъ вышелъ я въ туманъ на крыльцо...
Когда-жъ нѣмая ночь пахнула мнѣ въ лицо,
Я понялъ, что меня влечетъ неудержимо
Къ ея ногамъ... И въ сладкомъ забытѣи
Вернулся я домой... О, мимо, мимо,
Воспоминанія мои!

7-го февраля.

Зачѣмъ былого пылъ тревожный
Ворвался вихремъ въ жизнь мою
И разбудилъ неосторожно
Въ груди дремавшую змѣю?
Она опять вонзила въ сердце жало,
По старымъ ранамъ вьется и ползетъ,
И мучить, мучить, какъ бывало,
И мнѣ молиться не даетъ.
А завтра постъ. Дрожа отъ страха,
Впервые исповѣдь монаха
Я должентъ Богу принести...
Пошли же, Господи, мнѣ силу на пути,
Дай мнѣ источникъ слезъ и чистые восторги,
Вручи мнѣ крѣпкое копье,
Которымъ, какъ святой Георгій,
Я-бъ раздавилъ прошедшее мое!

9-го февраля.

(изъ великаго канона).

Помощникъ, покровитель мой!
Явился Онъ ко мнѣ, и я отъ мукъ избавленъ,
Онъ — Богъ мой, славно Онъ прославленъ,
И вознесу Его я скорбною душой.

Съ чего начну свои оплакивать дѣянья,
Какое положу начало для рыданья
О грѣшномъ пройденномъ пути?
Но, Милосердый, Ты меня прости!

Душа несчастная! Какъ Ева,
Полна ты страха и стыда...
Зачѣмъ, зачѣмъ, коснувшись древа,
Вкусила ты безумнаго плода?

Адамъ достойно изгнанъ былъ изъ рая
За то, что заповѣдь одну не сохранилъ;
А я какую кару заслужилъ,
Твои велѣнья вѣчно нарушая?

Отъ юности моей погрязнулъ я въ страстяхъ,
Богатство растерялъ, какъ жалкій расточитель,
Но не отринь меня, поверженнаго въ прахъ,
Хоть при концѣ спаси меня, Спаситель!

Весь язвами и ранами покрытъ,
Страдаю я невыносимо;
Увидѣвши меня, прошелъ священникъ мимо,
И отвернулся набожный левитъ...

Но Ты, извлекшій мѣръ изъ тьмы могильной,
О, скалься надо мной! — мой близится конецъ...
Какъ сына блуднаго, прими меня, Отецъ!
Спаси, спаси меня, Всесильный!

13-10 февраля.

Труды говѣнія я твердо перенесъ,
Господь послалъ мнѣ много теплыхъ слезъ
И покаянья искреннее слово...
Но нынче, въ день причастія святого,
Когда къ часамъ я шелъ въ соборъ,
Передо мною женщина входила.
Я задрожалъ, какъ листъ, вся кровь во мнѣ застыла.
О, Боже мой! она!... Упорный, долгій взоръ
Ее заставилъ оглянуться.
Нѣтъ! обманулъ я. Какъ могъ я обмануться?
И сходства не было: ея походка, ростъ, —
И только... Но съ тѣхъ поръ я исповѣдь и постъ, —
Все позабылъ, молиться я не смѣю,
Покинула меня святая благодать,
Я снова полонъ только ею,
О ней лишь я могу и думать, и писать!
Два мѣсяца безоблачнаго счастья!
Пусть невозвратно канули они,
Но какъ не вспомнать въ печальный день ненастья
Про теплые, про солнечные дни?
Потомъ пошли язвительные споры,
Пошелъ обидный, мелочной разладъ,
Обмановъ горькихъ длинный рядъ,
Ничѣмъ невызванныя ссоры...
Въ угоду ей, я сталъ рабомъ,
Я поборолъ въ себѣ и ревность, и желанья;
Безропотно сносилъ, когда съ моимъ врагомъ
Она спѣшила на свиданье.
Но этимъ я не могъ ее смягчить...
Съ такимъ рассчитаннымъ стараньемъ
Умѣла мнѣ она всю душу истомить
То жесткимъ словомъ, то молчащемъ!
И часто я хотѣлъ ей въ сердце заглянуть;
Въ недоумѣнны молчаливомъ
Смотрѣлъ я на нее, надѣясь что-нибудь
Прочестъ въ лицѣ ея красивомъ.
Но я не узпавалъ въ безжалостныхъ чертахъ
Черты, что были мнѣ такъ дороги и милы;

Онѣ въ меня вселяли только страхъ...
Два года я терпѣлъ и мучился въ цѣпяхъ,
Но, наконецъ, терпѣть не стало силы...
Я убѣждалъ...

Мнѣ монастырь святой
Казался пристанью надежной, —
Разстаться надо мнѣ и съ этою мечтой!
Напрасно переплыть я океанъ безбрежный,
Напрасно мой челнокъ отъ грозныхъ спасся волнъ, —
На камни острые наткнулся онъ неожиданно,
И хлынула вода, и тонетъ бѣдный челнъ
Въ виду земли обѣтованной.

10-10 марта.

Какъ медленно проходить день за днемъ,
Какъ въ одиночествѣ моемъ
Мнѣ ночи кажутся и долги, и унылы!
Всю душу разсказать хотѣлось бы порой,
Но иноки безмолвны, какъ могилы...
Какъ будто чувствуютъ они, что я — чужой,
И отъ меня невольно сторонятся...

Игуменъ, ризничій боятся,
Что я уйду изъ ихъ монастыря,
И часто мнѣ читаютъ поученья,
О нуждахъ братіи охотно говоря;
Но рѣчи ихъ звучать безъ убѣжденья.

А духовникъ мой, старецъ Михаилъ,
На-дняхъ въ своемъ гробу навѣки опочилъ.
Готовясь отойти къ невѣдомому міру,
Онъ долго говорилъ о вѣрѣ, о крестѣ,
И пѣлъ чуть слышнымъ голосомъ стихиру:

«Не осуди меня, Христе!»

Потомъ, замѣтя наше огорченье,
Онъ намъ сказалъ: «Не страшень смертный часъ!
Чего вы плачете? То глупость плачетъ въ васъ,
Не смерть увижу я, но воскресенье!»
Когда-жъ въ послѣдній разъ онъ сталъ благословлять,
Какой-то радостью чудесной, неземною

Свѣтился взоръ его. Да, съ вѣрою такую
Легко и жить, и умирать!

3-10 апрѣля.

Христось воскресь! Природа воскресаетъ,
Вѣдутъ, шумять весенніе ручьи,
И теплый вѣтерокъ и нѣжить, и ласкаетъ
Глаза усталые мои.
Сегодня къ старцу Михаилу
Пошелъ я въ скитъ на свѣжую могилу.
Чудесный вечеръ былъ. Изъ церкви надо мной
Неслось пасхальное, торжественное пѣнье,
И пахло ладаномъ, разрытою землей,
И все такъ звало жить, сулило воскресенье!
О Боже! — думаль я, — зачѣмъ томлюсь я тутъ?
Мнѣ тридцать лѣтъ, совсѣмъ здоровъ я тѣломъ,
И наслажденіе, и трудъ
Могли бы быть еще моимъ удѣломъ,
А, между тѣмъ, я жалкій трупъ душой,
Мнѣ мѣста въ мірѣ нѣтъ. Давно ли
Я полной жизнью жилъ и гордо жаждалъ воли,
Надѣялся на счастье и покой?
Отъ тѣхъ надеждъ и тѣни не осталось,
И призракъ юности исчезъ...
А въ церкви громко раздавалось:
«Христось воскресь! Христось воскресь!»

2-10 мая.

«Она была твоя!» — шепталъ мнѣ вечеръ май,
Дразнила долго пѣсня соловья.
Теперь онъ замолчалъ, и эта ночь нѣмая
Мнѣ шепчетъ вновь: «она была твоя!»
Какъ листья тополей въ сіяньи серебряномъ,
Мерцаетъ прошлое, погибшее давно;
О немъ мнѣ говорятъ и звѣзды въ небѣ чистомъ,
И запахъ резеды, ворвавшійся въ окно.
И некуда бѣжать, и мучить ночь нѣмая,

Рисуя милыя, знакомыя черты...
О незабвенная, о вѣчно дорогая,
Откликнись, отзовись, скажи мнѣ: гдѣ же ты?
Вотъ видишь: безъ тебя мнѣ жить невыносимо,
Я изнемогъ, я выбился изъ силъ.
Обиды, горе, зло, — я все забылъ, простилъ,
Одна любовь во мнѣ горитъ неугасимо!
Дай подышать съ тобой мнѣ воздухомъ однимъ,
Откликнись, отзовись, явись хоть на мгновенье,
А тамъ пускай опять хоть годы заточенья
Съ могильнымъ холодомъ своимъ!

4-10 мая.

Двѣ ночи страшныя одинъ, въ тоскѣ безгласной,
Не зная отдыха, ни сна,
Я просидѣлъ у этого окна.
И третья ночь прошла... Чуть брезжить день ненастный,
По небу тучи сѣрыя ползуть.
Сейчасъ ударилъ колоколъ соборный,
По всѣмъ дорожкамъ сада, тамъ и тутъ,
Монахи медленно въ своей одеждѣ черной,
Какъ привидѣнія, идутъ.
И я туда пойду, попробую забыться,
Попробую унять бушующую страсть,
Къ ногамъ Спасителя упасть
И долго плакать и молиться!

28-10 мая.

О Ты, Который мнѣ и жизнь, и разумъ далъ.
Котораго я съ дѣтства чтить душою
И милосерднымъ называлъ!
Въ нѣмомъ отчаяннѣ стою я предъ Тобою.
Всѣ наши помыслы и чувства отъ Тебя,
Мы дышимъ, движемся, Твоей покорны власти...
Зачѣмъ же Ты караешь насъ за страсти,
Зачѣмъ же мы такъ мучимся, любя?
И если отъ грѣха намъ убѣжать случится,

Онъ гоится за нами по пятамъ,
Въ убогой кельѣ грёзою гнѣздится,
Мечтой врывается въ Твой храмъ.
Вотъ я пришелъ къ Тебѣ, измученный, усталый,
Всю вѣру дѣтскихъ лѣтъ въ душѣ своей храня...
Но Ты слышалъ ли призывъ мой запоздалый,
Какъ сына блуднаго Ты принять ли меня?
О, нѣтъ! въ дыму кадилъ, при звукахъ пѣснопѣнья,
Молиться я не могъ, и образъ роковой
Преслѣдовалъ, томилъ, смѣялся надо мной...
Теперь я не прошу ни счастья, ни забвенья,
Нѣтъ у меня ни силъ, ни слезъ...
Пошли мнѣ смерть, пошли мнѣ смерть скорѣе!
Чтобъ мой языкъ, въ безумьи цѣпенѣя,
Тебѣ хулы не произнесъ;
Чтобъ дикий стонъ послѣдней муки
Не заглушилъ молитвенный псаломъ;
Чтобъ на себя не наложилъ я руки
Передъ Твоимъ безмолвнымъ алтаремъ!

25-го сентября.

Какъ на стариннаго, покинутаго друга
Смотрю я на тебя, забытая тетрадь!
Четыре мѣсяца въ томленіи недуга
Не могъ тебѣ я душу повѣрять.
За дерзкія слова, за ропотъ мой грѣховный
Господь достойно покаралъ меня.
Разъ лѣтомъ иноки на паперти церковной
Меня нашли съ восходомъ дня
И въ келью принесли. Я помню, что сначала
Болѣзнь меня безжалостно терзала:
То гвоздь нестерпимый, муча по ночамъ,
Въ моемъ мозгу пылавшемъ шевелился;
То мнѣ казалось, что какой-то храмъ
Съ колоннами ко мнѣ на грудь валился,
И горемъ я, и жаждой былъ томимъ.
Потомъ утихла боль, прошли порывы горя,
И я, безгласенъ, недвижимъ,

Лежалъ на днѣ невѣдомаго моря.
 Среди туманной, вѣчной мглы
 Я видѣлъ только волнъ движеніе,
 И были волны тѣ такъ мягки и теплы,
 Такъ нѣжило меня прикосновеніе
 Ихъ тонкихъ струй. Особенно одна
 Была хорошая, горячая волна.
 Я ждалъ ее. Я часто издалека
 Слѣдилъ, какъ шла она высокою стѣной
 И разбивалась надо мной,
 И въ кровь мою вливалась глубоко.
 Нерѣдко пробуждался я отъ сна,
 И жутко было мнѣ, и ночь была черна;
 Тогда, невольнымъ страхомъ полный,
 Спѣшилъ я вновь забыться сномъ,
 И снова я лежалъ на днѣ морскомъ,
 И снова вокругъ меня катились волны, волны...
 Однажды я проснулся, и яснѣй
 Во мнѣ явилось сознаніе,
 Что я еще живу среди людей
 И обреченъ на прежнее страданье.
 Какой тоской заныла грудь,
 Какъ показался мнѣ ужасенъ міръ холодный.
 И жаднымъ взоромъ я искалъ чего-нибудь,
 Чтобъ прекратить мой вѣкъ безплодный...
 Вдругъ образъ матери передо мной предсталъ,
 Давно забытый образъ. Въ колыбели
 Меня, казалось, чьи-то руки грѣли,
 И чей-то голосъ тихо напѣвалъ:
 «Дитя мое, съ тѣхъ поръ, какъ въ гробѣ тѣсномъ
 «Навѣкъ меня зарыли подъ землей,
 «Моя душа, живя въ краю небесномъ,
 «Незримая, вездѣ была съ тобой.
 «Слѣпая-ль страсть твой разумъ омрачала,
 «Обида ли терзала въ тишинѣ,
 «Я знала все, я все тебѣ прощала
 «И плакала съ тобой наединѣ.

«Когда-жъ къ тебѣ толпой неслися грезы
«И міръ дремалъ, въ раздумье погружень,
«Я съ глазъ твоихъ свѣвала молча слезы
«И тихо улыбалася сквозь сонъ.

«И въ этотъ часъ одна я видѣть смѣла,
«Какъ сердце разрывается твое...
«Но я сама любила и терпѣла,
«Сама жила: терпи, дитя мое!»

И я терплю и вяну. Дни, недѣли
Гурьбою скучной пролетѣли.

Умру ли я, иль нѣтъ,—мнѣ все равно,—
Желанья тонуть въ мертвенномъ покоѣ,
И равнодушіе тупое
Въ груди осталось одно.

20-го октября.

Сейчасъ меня игумень посѣтилъ
И объявилъ мнѣ съ видомъ снисхожденія,
Что я болѣзнью грѣхъ свой искупилъ
И рясофорнаго достоинъ постриженія,
Что если я произнесу обѣтъ,
Мнѣ въ міръ возврата больше нѣтъ.
Онъ далъ мнѣ двѣ недѣли срока,
Чтобъ укрѣпиться тѣломъ и умомъ,
Чтобы молитвой и постомъ
Очиститься отъ скверны и порока.
Не зная, что сказать, въ тоскѣ потупя взоръ,
Я молча выслушалъ нежданный приговоръ
И, настоятеля принявъ благословенье,
Шатаясь, проводилъ до сада я его...
Въ саду все было пусто и мертво,
Все было прахъ и разрушенье,
Лежалъ вездѣ туманъ густою пеленой.
Я долго взоромъ, полнымъ муки,
Смотрѣлъ на тополь бѣдный мой.

Какъ бы молящія, безпомощныя руки,
Онъ къ небу вѣтви голыя простеръ,
И листья желтые всю землю покрывали —
Символь забвенья и печали,
Рукою смерти вытканый коверъ!

6-го ноября.

Послѣдній день свободы, колебанья
Ужъ занялся надъ тусклою землею,
Въ послѣдній разъ любви воспоминанья
Насмѣшливо прощаются со мной.

А завтра я дрожащими устами
Произнесу монашества обѣтъ.
Я въ Божій храмъ, сіяющій огнями,
Войду босой и рубищемъ одѣтъ.

И надъ душой, какъ въ гробъ мирно спящей,
Волной неслышной время протечетъ,
И къ смерти той, суровой, настоящей,
Не будетъ мнѣ замѣтенъ переходъ.

По темной, узкой лѣстницѣ шагая,
Съ трудомъ спускался я... Но близокъ день, —
Я встрепенусь и, посохъ свой роняя,
Сойду одну, послѣднюю ступень.

Засни же, сердце! Молодости милой
Не поминай! Окончена борьба...
О, Господи, теперь прости, помилуй
Мятежнаго, безумнаго раба!

Въ тотъ же день, вечеромъ.

Она меня зоветъ! Какъ съ неба громъ нежданный
Среди холоднаго и пасмурнаго дня,
Пять строкъ ея письма упали на меня...
Что это? Бредъ, иль сонъ несбыточный и страшный?

Пять строкъ всего... но сотни умныхъ книгъ
Сказали-бъ меньше мнѣ. Въ груди воскресла сила,
И радость страшная, безумная на мигъ

Всего меня зажгла и охватила!

О, да, безумецъ я! Что ждетъ меня? — позоръ!

Не въ силахъ я обдумывать рѣшенья:

Ей жизнь моя нужна, къ чему же размышленья?

Когда уйдетъ вся братія въ соборъ,

Я, наканунѣ постриженья,

Отсюда убѣгу, какъ воръ,

Погоню слышавшій, дрожащій подъ ударомъ...

А завтра иноки начнутъ меня судить,

И будетъ важно имъ игуменъ говорить:

«Да, вы его чуждались недаромъ!

Какъ хищный волкъ, онъ вторгся къ намъ,

Въ обитель праведную Божию;

Своей кощунственной ложью

Онъ осквернилъ Господній храмъ!»

Нѣтъ, вѣрите: не лгала душа моя больная,

Я оставляю здѣсь правдивый мой дневникъ,

И, можетъ быть, хотя мой грѣхъ великъ,

Меня простите вы, его читая.

А тамъ что ждетъ меня? Собранье палачей,

Ненужныя слова, невольныя ошибки,

Враговъ коварныя улыбки

И шутки плоскія друзей.

Довольно неудачъ и прежде рокъ суровый

Мнѣ сѣялъ на пути: смѣшонъ я въ ихъ глазахъ;

Теперь у нихъ предлогъ насмѣшки новый:

Я — неудавшійся монахъ!

А ты, что скажешь ты, родная, дорогая?

Ты засмѣешься ли, заплачешь надо мной,

Или попрежнему, терзая,

Окутаешь себя корою ледяной?

Быть можетъ, вспомнишь ты о счастьѣ позабытомъ,

И жалость робкимъ, трепетнымъ лучомъ

Проснется въ сердцѣ молодомъ...

Нѣтъ, въ этомъ сердцѣ, для меня закрытомъ,

Не шевельнется ничего...

Но жизнь моя нужна, разгадка въ этомъ словѣ:
Возьми-жь ее съ послѣдней каплей крови,
Съ послѣднимъ стономъ сердца моего!
Какъ вольный мученикъ, иду я на мученье,
Тернистый путь не здѣсь, а тамъ:
Тамъ ждетъ меня иное отреченье,
Тамъ ждетъ меня иной бездушный храмъ!
Прощай же, тихая, смиренная обитель!
По міру странствую, тоскую и любя,
Преступный твой бѣглець, твой мимолетный житель
Не разъ благословить какъ родину тебя!
Прощай, убогая, оплаканная келья,
Гдѣ годъ тому назадъ съ надеждою такой
Справлялъ я праздникъ новоселья,
Гдѣ думалъ отдохнуть усталою душой!
Хотѣлось бы сказать еще мнѣ много, много
Того, что душу жгло сомнѣньемъ и тревогой,
Что въ этотъ вѣчно памятный мнѣ годъ
Обдумалъ я въ тиши уединенья...
Но некогда писать, — мнѣ дороги мгновенья!
Скорѣе въ путь! она меня зоветъ!

Рыбница, Орл. г. Іюль 1883 г.

* * *

Люби, всегда люби! Пускай въ мученьяхъ тайныхъ
Сгорають юные, безпечные года, —
Средь пошлостей людскихъ, среди невзгодъ случайныхъ
Люби, люби всегда!

Пусть жгучая тоска всю ночь тебя терзаетъ,
Минута, — отъ тоски не будетъ и слѣда,
И счастье тебя охватить, засіяетъ...
Люби, люби всегда!

Я думы новыя въ твоёмъ читаю взорѣ,
И жалость свѣтитъ въ немъ, какъ дальняя звѣзда,
И понимаешь ты теплѣй чужое горе...
Люби, люби всегда!

Августъ 1883 г.



«ОГЛАШЕННИИ, ИЗЫДИТЕ»...

Въ пустынь мыкаясь, скиталець безпріютный
Однажды вечеромъ увидѣль свѣтлый храмъ.
Огни горѣли тамъ, курился оиміамъ,
И пѣнье слышалось... Надеждою минутной
Въ немъ оживился духъ.—Давно ужъ онъ блуждалъ,
Иссохло сердце въ немъ, изныла грудь съ дороги;
Колючимъ терніемъ истерзанныя ноги

И дождь давно не освѣжалъ.

Что въ долгихъ странствіяхъ на сердцахъ накопѣло,

О чемъ онъ мыслилъ, что любить,—

Все странникъ въ жаркую молитву перелилъ

И въ храмъ вступилъ походкою несмѣлой.

Но тутъ кругомъ раздался крикъ:

«Кто этотъ новый гость? Зачѣмъ въ обитель Бога

«Пришлецъ незнаемый проникъ?

«Здѣсь мѣста нѣтъ ему, долой его съ порога!»

И былъ изъ храма изгнанъ онъ,

Проклятіями, какъ громомъ, пораженъ.

И вотъ, предъ нимъ опять, безрадостно и ровно,

Дорога стелется... Ужъ поздно. День погасъ.

А онъ? Онъ все стоитъ у паперти церковной,

Чтобы на Божій храмъ взглянуть въ послѣдній разъ.

Не ждетъ онъ отъ него пощады, ни прощенья,

Къ землѣ безсильная склонилась голова,

И, весь дрожа подъ гнетомъ оскорбленья,

Онъ слушаетъ, исполненный смущенья,

Его клянущія слова.

* * *

О, скажи ей, чтобъ страсть роковую мою
Позабыла, простила она,
Что для ней я живу, и дышу, и пою,
Что вся жизнь моя ей отдана;

Что унять не могу я мятежную кровь,
Что надъ этою страстью больной
Засіяла иная, — святая любовь,
Такъ, какъ небо блеститъ надъ землей!

О, сходите ко мнѣ, вдохновенья лучи,
Зажигайтесь ярче, теплѣй!
Задушевная пѣсня, скорѣй прозвучи,
Прозвучи для нея и о ней!

12-го ноября 1883 г.



ПАМЯТИ НЕПТУНА. *

Въ часы безсонницы, подъ тяжкимъ гнетомъ горя,
Я вспомнилъ о тебѣ, возница вѣрный мой,
Нептуномъ прозванный за сходство съ богомъ моря...
Двѣнадцать цѣлыхъ лѣтъ, въ морозъ, и въ дождь, и въ зной,
Ты все меня возилъ, усталости не зная,
И ночи цѣлыя, покуда жизнь я жегъ,
Нерѣдко ждалъ меня, на козлахъ засыпая...
Ты думалъ ли о чемъ? Про это знаетъ Богъ,
Но по чертамъ твоимъ не могъ я догадаться, —
Ты все молчалъ, молчалъ, и помню, только разъ
Сквозь зубы проворчалъ, не поднимая глазъ:
«Что убиваетесь? не нужно убиваться»...
Зачѣмъ же въ эту ночь, чрезъ много, много лѣтъ,
На память мнѣ пришелъ нехитрый твой совѣтъ?..
Миръ праху твоему, покой твоимъ костямъ!
Земля толпы людской теплѣе и привѣтнѣй.
Но жаль, что, измѣнивъ привычкѣ многолѣтней,
Ты не отвезъ меня туда, гдѣ скрылся самъ.

1883 г.

* Кучеръ Василій.

ВО ВРЕМЯ БОЛѢЗНИ.

Мнѣ все равно, что я лежу больной,
Что чай мой горекъ, какъ микстура,
Что голова въ огнѣ, что пульсъ неровень мой,
Что сорокъ градусовъ моя температура.

Болѣзни не страшать меня...
Но признаюсь: меня жестоко
Пугаютъ два несносныхъ дня,
Что проведу отъ васъ далеко.
Я такъ безумно радъ, что я теперь люблю,
Что я дышать могу лишь вами!

Какъ часто я впиваюсь въ васъ глазами,
И взоръ вашъ каждый разъ съ волненіемъ ловлю.
Воспоминаньями я полонъ дорогими,
И хочеть отгадать послушная мечта,
Гдѣ вы теперь, и съ кѣмъ, и мыслями какими
Головка ваша занята...

Нѣмая ночь мнѣ не даетъ отвѣта,
И только чудится мнѣ въ пламенномъ бреду,
Что съ вами объ руку иду
Я посреди завистливаго свѣта.

Когда-жъ очнуся я средь мертвой тишины, —
Какъ голова горить, какъ грудь полна страданья!
И хуже всѣхъ болѣзней мнѣ сознанье,
Что тѣ мечты мечтами быть должны.

9-го января 1884 г.

П Ъ В И Ц А.

Съ хозяйкой подъ руку, спокойно, величаво

Она идетъ къ роялю. Все молчить,
И смотреть на нее съ улыбкою лукавой
Дѣвицъ и дамъ завистливый синклить.

Она — красавица: по приговору свѣта

Давно ей этотъ титуль данъ;
Глубокіе глаза ея полны привѣта,
И строень, и высокъ ея цвѣтуцій станъ.

Она запѣла... какъ-то тихо, вяло,
И къ музыканту обращенный взоръ

Изобразилъ нѣмой укоръ:

Она не въ голосъ, всѣмъ это ясно стало...

Но, вотъ, минута робости прошла,
Вотъ голосъ дрогнулъ отъ волненья,
И словно буря вдохновенья
Ее на крыльяхъ унесла.

И пѣсни полилась, широкая, какъ море:
То страсть намъ слышалась, кипящая въ крови,
То робкія мольбы, разбитой жизни горе,
То жгучая тоска отринутой любви...

О, какъ могла понять такъ вѣрно сердца муки
Она, красавица, безпечная на взглядъ?

Откуда эти тающіе звуки,
Что за душу хватаютъ и щемятъ?..

И вспомнилася мнѣ другая зала,
Большая, темная... Дрожащимъ огонькомъ
Въ углу горѣлъ каминъ, одна свѣча мерцала,
И у рояля были мы вдвоемъ.
Она сидѣла, блѣдная, больная,
Разсѣянна вперя куда-то взоръ,
По клавишамъ рукой перебирая...

Не веселъ былъ нашъ разговоръ:

«Меня не удивять ни злоба, ни измѣна, —

Она сказала голосомъ глухимъ: —

«Увы! я такъ привыкла къ нимъ!»

И, словно вырвавшись изъ плѣна,
Двѣ крупныя слезы скатились по щекамъ
А мнѣ хотѣлося упасть къ ея ногамъ...

И думалъ я въ тоскѣ глубокой:

Зачѣмъ такъ созданъ свѣтъ, что зло царить одно?

Зачѣмъ, зачѣмъ страдать осуждено

Все то, что такъ прекрасно и высоко?..

Мечты мои прервалъ рукоплесканій громъ.

Вскочило все, заволновалось,

И впечатлѣніе глубокимъ мнѣ казалось!

Мгновеніе прошло, — и вновь звучить кругомъ,

Съ обычной пустотой и пошлостью своею,

Рѣчей салонныхъ гулъ. Спокойна и свѣтла,

Она сидитъ у чайнаго стола;

Банальный оиміамъ мужчины жгутъ предъ нею,

И сладкія ей рѣчи говорить

Дѣвицъ и дамъ сіяющій синклить.

Май 1884 г.



ПОЗДНЕЕ МЩЕНИЕ.

Она не может спать... Назойливая, злая
Тоска ее грызетъ. Пылаетъ голова,
И душить мракъ ее, и давить тишь ночная...
Знакомый голосъ, ей по сердцу ударяя,
Лепечетъ страшныя, безумныя слова.

«Когда, потупивъ взоръ, походкою усталой
Сегодня тихо шла за гробомъ ты моимъ,
Ты думала, что все межъ нами миновало...
Но въ комнату твою вошелъ я, какъ бывало,
И снова мы съ тобой о прошломъ говоримъ.

«Ты помнишь, сколько разъ ты вѣрность мнѣ сулила,
А я тебя молилъ о правдѣ лишь одной.
Но ложью ты мнѣ жизнь, какъ ядомъ, отравила,
Всѣ тайны прошлаго сказала мнѣ могила,—
И вся душа твоя открыта предо мной.

«Я все тебѣ прощалъ: обманы, оскорбленья,
Я только для тебя хотѣлъ дышать и жить...
Ты предала меня врагамъ безъ сожалѣнья...
И вотъ теперь она пришла, минута мщенья,
Теперь я силенъ тѣмъ, что не могу простить.

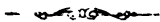
«Я силенъ потому, что трупъ не шевельнется,
Не запылаетъ взоръ отъ блеска красоты,
Что сердце, полное тобою, ужъ не бьется,
Что въ мой свинцовый гробъ твой голосъ не ворвется,
Что нѣтъ въ немъ воздуха, которымъ дышишь ты!

«Я буду мстить тебѣ. Когда, вернувшись съ бала,
Ты, сбросивъ свой нарядъ, останешься одна,
Въ невольномъ забытѣ задремлешь ты сначала,
Но въ комнату твою войду я, какъ бывало,
И ночь твоя пройдетъ тревожно и безъ сна.

«И все забытое среди дневного гула
Тогда припомнишь ты: и день тотъ роковой,
Когда безжалостно меня ты обманула,
И тотъ, когда меня такъ грубо оттолкнула,
И тотъ, когда такъ зло смѣялась надо мной!

«Я мщу тебѣ за то, что жилъ я пресмыкаясь,
Въ безвыходной тоскѣ дары небесъ губя,
За то, что я погибъ, словамъ твоимъ вѣряясь,
За то, что, чуя смерть и съ жизнью разставаясь,
Я проклиналъ эту жизнь, и душу, и тебя!..»

Июль 1884 г.



* * *

О, будьте счастливы! Безъ жалобъ, безъ упрека,
Безъ вопля ревности пустой
Я съ вами расстаюсь... Пускай одинъ далеко
Я буду жить съ безумною тоской,
Съ горячими, хотъ поздними мольбами
Передъ потухшимъ алтаремъ.
О, будьте счастливы! Я лишній между вами,—
О, будьте счастливы вдвоемъ!

Но я-бъ хотѣлъ, — прости мое желанье! —
Чтобы на зло слѣпой судьбѣ
Порою, въ свѣтлый мигъ свиданья,
Мой образъ видѣлся тебѣ,
Чтобъ въ тихомъ уголкѣ иль средъ тревоги бальной
Смутилъ тебя мой стихъ печальный,
Какъ иногда при блескѣ фонарей
Смущаетъ поѣздъ погребальный
На свадьбу вѣдущихъ гостей.

Декабрь 1884 г.



* * *

Какъ пловецъ утомленный, безъ вѣры, безъ силъ,
Я о берегѣ жадно мечталъ и молилъ;
Но мнѣ берегъ несносенъ, тяжелъ мнѣ покой,
Словно пологъ свинцовый висить надо мной...
Уноси-жъ меня снова, безумный мой челнъ,
Въ необъятную ширь расходившихся волнъ!
Не страшать меня тучи, ни буря, ни громъ...
Только-бъ изрѣдка все утихало кругомъ,
И чуть слышный привѣтливый говоръ волны
Навѣвалъ мнѣ на душу волшебные сны,
И въ побѣдной красѣ, выходя изъ-за тучъ,
Согрѣвалъ меня солнца ласкающій лучъ.

1885 г.



ОТВѢТЪ НА ПИСЬМО. *

Увидя почеркъ мой, вы также удивитесь:

Я никогда вамъ не писалъ, —

Я и теперь не заслужу похвалъ,

Но вы за правду не сердитесь.

Письмо мое — упрекъ. Отъ береговъ Невы

Одинъ пріятель пишетъ мнѣ, что вы

Свое письмо распространили въ свѣтѣ...

Скажите — для чего? Ужели толки эти

О томъ, что было такъ давно

На дѣѣ души погребено,

Вамъ кажутся пріятны и приличны?..

На вечерѣ одномъ былъ ужинъ симпатичный.

Тамъ неизвѣстный мнѣ толстякъ

Читалъ его на память, кое-какъ...

И всѣ натѣшились вволю

Надъ вашимъ пламеннымъ письмомъ!..

Потомъ обоихъ насъ подвергнули контролю

(Чему способствовалъ отчасти самый домъ).

Двѣ милыя, плѣнительныя дамы

Хотѣли знать, кто я таковъ, притомъ

Какимъ отвѣчу я письмомъ,

И всѣ подробности интимной нашей драмы...

* См. стр. 203.

Прошу васъ довести до свѣдѣнія ихъ,
Что я — бездушный эгоистъ, пожалуй,
Но въ сущности простой и добрый малый,
Что много глупостей надѣлалъ я большихъ
Изъ одного мгновеннаго порыва...
А что касается до нашего разрыва, —
Его хотѣли вы. Иначе — видить Богъ —
Я былъ бы и теперь у вашихъ милыхъ ногъ.

РС. Прости мнѣ тонъ письма небрежный:

Его я началъ въ шумѣ дня.
Теперь все спитъ кругомъ: чарующій и нѣжный
Твой образъ кротко смотреть на меня...
О, брось твой душный свѣтъ, забудь бывшее горе,
Приди, приди ко мнѣ! Прими бывшую власть!
Здѣсь море ждетъ тебя, широкое, какъ страсть,
И страсть широкая, какъ море!..
Ты здѣсь найдешь все счастье прежнихъ лѣтъ,
И ласки, и любовь, и даже то страданье,
Которое порой гнететъ существованье,
Но безъ котораго вся жизнь — безсвязный бредъ.

1885 г.

5-го ДЕКАБРЯ 1885 г.

И свѣтель, и грустенъ нашъ праздникъ, друзья!
Спѣша въ эти стѣны родныя,
Отвсюду стеклась правовѣдовъ семья
Поминки свершать дорогія.

Помянемъ же перваго принца Петра —
Для насъ это имя священо:
Онъ былъ намъ примѣромъ, онъ жилъ для добра,
Онъ другомъ намъ былъ неизмѣнно.

Помянемъ наставниковъ нашихъ былыхъ,
Завѣтъ свой исполнившихъ строго;
Помянемъ товарищей дней молодыхъ...
Въ полвѣка ушло ихъ такъ много!

И чудится: въ этотъ торжественный часъ
Разверзлась ихъ сѣнь гробовая,
Ихъ милыя тѣни привѣтствуютъ насъ,
Незримо надъ нами витая.

Покой отошедшимъ и счастье живымъ,
И слава ихъ вѣчная вмѣстѣ!
Пусть будетъ союзъ нашъ навѣкъ нерушимъ
Во имя отчизны и чести!

Пусть будетъ училища кровъ дорогой
Разсадникомъ правды и свѣта!
Пусть свѣтитъ онъ намъ путеводной звѣздой
На многія, многія лѣта!

А. Г. РУБИНШТЕЙНУ.

(по поводу «историческихъ концертовъ»).

Увѣнчанный давно всемірной громкой славой,
Ты лавръ историка влетаешь въ свой вѣнокъ,
И съ честью занялъ ты свой скромный уголокъ
Подъ сѣнью новой музы величавой.
Въ былую жизнь людей душою погружень,
Ты не описывалъ ихъ пламенныхъ раздоровъ,
Ни всѣхъ нарушенныхъ, хоть «вѣчныхъ», договоровъ,
Ни бѣдствій безъ числа народовъ и племень...
Ты въ звукахъ воскресилъ съ могучимъ вдохновеньемъ,
Что было дорого отжившимъ поколѣньямъ,
То, что, подобно яркому лучу,
Гнетущій жизни мракъ порою разгоняло,
Что жить съ любовью равной помогало
И бѣдняку, и богачу!

1886 г.

ПАМЯТИ ПРОШЛАГО.

Не стучись ко мнѣ въ ночь безсонную,
Не буди любовь скороненную, —
Мнѣ твой образъ чуждъ и языкъ твой нѣмъ,
Я въ гробу лежу, я затихъ совсѣмъ.
Мысли ясныя мглой окутались,
Нити жизни всѣ перепутались,
И не знаю я, кто играетъ мной,
Кто мнѣ вѣрный другъ, кто мнѣ врагъ лихой.

Съ злой усмѣшкою, съ рѣчью горькою
Ты приснилась мнѣ передъ зорькою...
Не смотри ты такъ, подожди хоть дня,
Я въ гробу лежу, обмани меня...
Вѣдь умершимъ лгутъ, вѣдь удѣлъ живыхъ —
Рядъ измѣнъ, обидъ, оскорбленій злыхъ...

А едва умремъ, — на прощаніе
Намъ надгробное плютъ рыданіе,
Возглашаютъ намъ память вѣчную,
Обѣщаютъ жизнь... безконечную!

1887 г.

СТАРОСТЬ.

Бредеть въ глухомъ лѣсу усталый пѣшеходъ
И слышитъ: кто-то тамъ далеко за кустами
 Неровными и робкими шагами
 За нимъ, какъ воръ подкравшійся, ползеть.
Заныло сердце въ немъ, и онъ остановился.
 «Не врагъ ли тайный гонится за мной?
Нѣтъ, мнѣ почудилось: то вѣрно листь сухой,
 Цѣпляясь за вѣтви, повалился,
Иль заяцъ пробѣжалъ»... Кругомъ не видно зги.
Онъ продолжаетъ путь знакомою тропою.
Но вотъ все явственнѣй онъ слышитъ за собою
Все тѣ же робкіе, неровные шаги.
И только разсвѣло, онъ видитъ близко, рядомъ
 Идетъ старуха-нищая съ клюкой,
Окинула его пытливымъ взглядомъ
И говорить: «Скиталецъ бѣдный мой!
Ужель своей походкою усталой
Ты отъ меня надѣялся уйти?
 На тяжкомъ жизненномъ пути
 Исколесилъ ты версть не мало.
Вѣдь скоро, гордость затаилъ,
Искать начнешь ты спутника иль крова...
Я — старость, я пришла безъ зова,
Подруга новая твоя!

На прежнихъ ты ропталъ, ты проклиналъ измѣну...

О, я не измѣню, щедра я и добра:

Я на глаза очки тебѣ надѣну,

Въ усы и бороду подсыплю серебра,

Смѣшной румянецъ щекъ твоихъ я смою,

Чело почтенными морщинами покрою, —

Все измѣню въ тебѣ: улыбку, поступь, взглядъ...

Чтобъ не скучалъ ты въ праздности со мною,

Къ тебѣ болѣзней цѣлый рядъ

Привью заботливой рукою.

Тебя въ ненастные, сомнительные дни

Я шарфомъ обвяжу, подамъ тебѣ калоши...

А зубы, волосы?.. На что тебѣ они?

Тебя избавлю я отъ этой лишней ноши.

Но есть могучій даръ, онъ только мнѣ знакомъ:

Я опытъ дамъ тебѣ, — въ немъ истина и знанье!

Всю жизнь ты ихъ искалъ и сердцемъ, и умомъ

И воздвигалъ для нихъ причудливое зданье.

Въ немъ, правда, было много красоты,

Но зданье это такъ непрочно!

Я объясню тебѣ, какъ ошибался ты;

Я докажу умно и точно,

Что дружбою всю жизнь ты называлъ расчетъ,

Любовью — крови глупое волненье,

Наукою — безсвязныхъ мыслей сбродъ,

Свободою — залогъ порабощенья,

А славой — болтуновъ измѣнчивое мнѣнье

И клеветы предательскій почетъ»...

— «Старуха, замолчи, остановись, довольно! —

Несчастный молить пѣшеходъ, —

Недаромъ сердце сжалось такъ больно,

Когда я издали почуялъ твой приходъ!

На что мнѣ опытъ твой? Я отъ твоей науки

Отрекся-бъ съ ужасомъ и въ прежніе года.

Покончи разомъ все: бери лопату въ руки,

Могилу вырой мнѣ, столкни меня туда...

Не хочешь? — Такъ уйди! душа еще богата

Воспомяніемъ... надеждами полна.

И если дань тебѣ нужна,

Пожалуй, уноси съ собою безъ возврата
Здоровье, крѣпость силъ, румянецъ прежнихъ дней,
Но вѣру въ жизнь оставь, оставь мнѣ увлеченье,
Дай мнѣ пожить хотя еще мгновенье
Въ святыхъ обманахъ юности моей!>
Увы! не отогнать докучную старуху!
Безъ устали она все движется впередъ,
То шепчетъ и явить, къ его склонившись уху,
То за руку его хватается и ведетъ.
И привыкаетъ онъ къ старухѣ понемногу:
Не сердить ужъ его пустая болтовня,
И, если про давно пройденную дорогу
Она заговорить, глумяся и дразня,
Онъ чувствуетъ въ душѣ одну тупую скуку,
Безропотно бредетъ за спутницей своей,
И, вяло слушая потокъ ея рѣчей,
Самъ опирается на немощную руку.

1887 г.



ИЗЪ БУМАГЪ ПРОКУРОРА.

Классически я жизнь окончу тутъ.
Я номеръ взялъ въ гостинницѣ, извѣстной
Тѣмъ, что она — излюбленный пріютъ
Людей, какъ я, которымъ въ мірѣ тѣсно.

Слегка поужинать, спросилъ
Бутылку хереса, бумаги и чернилъ
И разбудить себя велѣлъ часу въ девятомъ.
Слѣдя прилежно за собой,
Я въ зеркало взглянулъ. Въ лицѣ, слегка помятомъ
Бессонными ночами и тоской,

Слѣдовъ не видно лихорадки.
Револьверъ осмотрѣлъ я: все въ порядкѣ...
Теперь пора мнѣ приступить къ письму.
Такъ принято: предъ смертью на прощанье
Всегда строчать кому-нибудь посланье...

И я писать готовъ, не знаю лишъ кому.
Писать роднымъ... зачѣмъ? Нежданное наслѣдство
Утѣшить скоро ихъ въ утратѣ дорогой.
Писать товарищамъ, друзьямъ любимымъ съ дѣтства...

Да гдѣ они? Насъ жизненной волной
Судьба давно навѣки раздѣлила,
И будетъ имъ, какъ я, чужда моя могила...
Вотъ если написать кому-нибудь изъ нихъ,
Изъ свѣтскихъ болтуновъ, пріятелей моихъ, —

О, Боже мой! какую я услугу
Имъ оказать бы могъ! Пріятель съ тѣмъ письмомъ
Перебѣгать начнетъ изъ дома въ домъ
И расточать хвалы исчезнувшему другу...
Про мой конецъ онъ выдумаетъ самъ
Какой-нибудь романъ въ игривомъ родѣ
И, забавляя имъ отъ скуки мрущихъ дамъ,
Недѣлю цѣлую, пожалуй, будетъ въ модѣ.
Есть у меня знакомый прокуроръ
Съ болѣзненнымъ лицомъ и умными глазами...
Случайность странная: нерѣдко между нами
Самоубійца касался разговоръ.
Онъ этимъ дѣломъ занятъ специально;
Чуть гдѣ-нибудь случилась бѣда,
Ужъ онъ сейчасъ бѣжитъ туда
Съ своей улыбкою печальной
И все изслѣдуетъ: какъ, что и почему.
Съ научной цѣлью напишу ему
О собственномъ концѣ отчетъ подробный...
Въ статистику его пошлю мой вкладъ загробный!

«Любезный прокуроръ, вамъ интересно знать,
Зачѣмъ я кончилъ жизнь такъ неприлично?
Сказать по правдѣ, я логично
Вамъ правоту свою не могъ бы доказать,
Но снисхожденія достоинъ я. Когда бы
Вы поручились мнѣ, что я умру,
Ну, хоть, положимъ, завтра въ вечеру
Отъ воспаления или острой жабы, —
Я-бъ терпѣливо ждалъ. Но я совсѣмъ здоровъ
И вовсе не смотрю въ могилу;
Могу еще прожить я множество годовъ,
А жизнь переносить мнѣ больше не подъ силу,
И, какъ бы я ее ни жегъ и ни ломалъ,
Боюсь: не сузятся мой пищевой каналъ
И не расширится аорта...
А потому я смерть избралъ иного сорта.

Я жилъ, какъ многіе, какъ всё почти живутъ
Изъ круга нашего, — я жилъ для наслажденья;
Работника здоровый, бодрый трудъ
Мнѣ незнакомъ былъ съ самаго рожденья.
Но съ отроческихъ лѣтъ я началъ въ жизнь вникать,
Въ людскія дѣйствія, ихъ цѣли и причины,
И стерлась дѣтской вѣры благодать,
Какъ блѣдной краски слѣдъ съ неконченной картины.
Когда-жъ, при свѣтѣ разума и книгъ,
Мнѣ вдаль вѣковъ пришлось углубиться,
Я человѣчество столь гордое постигъ,
Но не постигъ того, чѣмъ такъ ему гордиться.

Близъ солнца, на одной изъ маленькихъ планетъ,
Живетъ двуногій звѣрь некрупнаго сложенья,
Живетъ сравнительно еще немного лѣтъ

И думаетъ, что онъ — вѣнецъ творенья,
Что всё сокровища еще безвѣстныхъ странъ
Для прихоти его природа сотворила,
Что для него реветъ въ часъ бури океанъ.
И борется звѣрекъ съ судьбой насколько можно,
Хлопочетъ день и ночь о счастья своемъ,
Съ расчетомъ на вѣка устраиваетъ домъ...
Но вѣтеръ на него пахнулъ неосторожно, —

И нѣтъ его... пропалъ и слѣдъ...

И, умирая, онъ не знаетъ,

Зачѣмъ явился онъ на свѣтъ,

Къ чему онъ жилъ, куда онъ исчезаетъ.

При этой краткости житейскаго пути,
Въ такомъ убожествѣ невѣдѣнья, безсилья
Должны бы спутники соединить усилья

И дружно общій крестъ нести...

Нѣтъ, люди — эти бѣдныя микробы —

Другъ съ другомъ борятся, полны
Нелѣпой зависти и злобы.

Имъ слезы ближняго нужны,

Чтобъ жизнью наслаждаться вдвое,
Имъ больше горя нѣтъ, какъ счастье чужое!
Властители, рабы, народы, племена, —

Всѣ дышать лишь враждой, и всѣ стоять на-стражѣ...
Куда ни посмотри, вездѣ одна и та же
Упорная, безумная война!
Невыносимо жить!

Я вижу: съ нетерпѣньемъ
Посланіе мое вы прочитали вновь,
И прокурорскій взоръ туманится сомнѣньемъ...
«Нѣтъ, это все не то, тутъ вѣрно есть любовь»...

Такъ режиссеръ въ молчаньи строгомъ
За ролью новичка слѣдить изъ-за кулисъ...
«Ищите женщину», — вѣдь это вашъ девизъ?
Вы правы, вы нашли. А я — клянуса Богомъ! —
Я не искалъ ее. Нежданная, она
Явилась предо мной, и такъ же, какъ начало,
Негаданъ былъ конецъ... Но вамъ сознанья мало,
Вамъ исповѣдь подробная нужна.
Хотите имя знать? Хотите нумеръ дома,
Иль цвѣтъ ея волосъ? Не все ли вамъ равно?..

Повѣрьте мнѣ: она вамъ незнакома,
И нашъ угрюмый край покинула давно.
О, гдѣ теперь она? Въ какой странѣ далекой
Красуется ея спокойное чело?
Гдѣ ты, мой грозный бичъ, каравшій такъ жестоко?
Гдѣ ты, мой свѣтлый лучъ, ласкавшій такъ тепло?

Давно потухъ огонь, давно угасли страсти,
Какъ сонъ, пропали дни страданій и тревогъ...
Но выйти изъ твоей неотразимой власти,
Но позабыть тебя я все-таки не могъ!

И если-бъ ты сюда вошла въ мой часъ послѣдній,
Какъ прежде, гордая, безъ рѣчи о любви,
И прошептала мнѣ: «оставь пустыя бредни,
Забудемъ прошлое, я такъ хочу, живи!» —

О, даже и теперь я счастья слезами
Отвѣтилъ бы на зовъ души твоей родной

И, какъ послушный рабъ, опять, гремя цѣпями,
Не зная самъ куда, побрелъ бы за тобой...

Но, нѣтъ! ты не войдешь. Изъ мрака ледяного
Въ меня не брызнетъ свѣтъ отъ взора твоего,
И звуки голоса когда-то дорогого
Не вырвутъ, не спасутъ, не скажутъ ничего.

Однако я вдался въ лиризмъ... Некстати!
Смѣшно элегію писать передъ концомъ...

А впрочемъ, я пишу не для печати,
И лучше кончить дни стихомъ,
Чѣмъ жизни подводить печальные итоги...
Да, если-бъ вспомнилъ я обидъ безцѣльныхъ рядъ
И тайной клеветы всегда могучій адъ,
Всѣ дни, прожитые въ мучительной тревогѣ,
Всѣ ночи, проведенныя въ слезахъ,
Все то, чѣмъ я обязанъ людямъ-братьямъ,—
Я разразился бы на жизнь такимъ проклятьемъ,
Что содрогнуться-бъ могъ Создатель въ небесахъ!
Но я не такъ воспитанъ: уваженъ
Привыкъ имѣть къ предметамъ я святымъ,
И, не ропща на Провидѣнье,
Почтительно склоняюсь предъ Нимъ.

Въ какую рубрику меня вы помѣстите? ,
Кто виноватъ: любовь, наука или сплинъ?
Но если-бъ не нашли разумныхъ вы причинъ,
То все же моего поступка не сочтите
За легкомысленный порывъ.
Я даже помню день, когда, весь міръ забывъ,
Читалъ и жегъ я строки дорогія,
И мысль покончить жизнь явилась мнѣ впервые.
Тогда во мнѣ самомъ все было сожжено,
Разбито, попрано... И, смутная сначала,
Та мысль въ больное сердце, какъ зерно
На почву благодарную, упала.
Она таилась на самомъ днѣ души,
Подъ грудой тлѣющаго пепла;

Среди тяжелыхъ думъ она въ ночной тиши
Сознательно сложилась и окрѣпла...

О, посмотрите же кругомъ:
Не я одинъ ищу спасенія въ покоѣ!
Въ эпоху общаго унынья мы живемъ,
Какое-то повѣтріе больное —

Зараза нравственной чумы —
Надъ нами носится, и ловить, и тревожить
Порабощенные умы.

И въ этой самой комнатѣ, быть можетъ,
Такіе же, какъ я, изгнанники земли
Послѣдніе часы раздумья провели.
Ихъ лица блѣдныя, дрожа отъ смертной муки,
Мелькаютъ предо мной въ зловѣщей тишинѣ,
Окровавленные, блуждающіе руки
Они изъ нѣдръ земли протягиваютъ мнѣ...
Они — преступники. Они безъ позволенія
Ушли въ безвѣстный путь отъ пристани земной...
Но обвинять ли ихъ? Винить ли жизни строй,
Безсмысленный и злой, не знающій прощенья?

Какъ опытный и свѣдущій юристъ,
Всѣ степени вины обсудите вы здраво.

Вотъ застрѣлился гимназистъ,
Не выдержавъ экзамена... Онъ, право,
Не меньше виноватъ. Съ платформы подъ вагонъ
Прыгнулъ сѣдой банкиръ, сыгравшій неудачно;
Повѣсилъ бѣднякъ затѣмъ, что жилъ невзрачно,
Что жизни благами не пользовался онъ...

О, эти блага жизни!... Съ наслажденьемъ
Я-бъ отдалъ ихъ за жизнь лишеній и труда...
Но только-бъ мнѣ забыть прожитые года,
Но только бы я могъ смотрѣть не съ отвращеньемъ,

А съ теплой вѣрой дѣтскихъ дней
На лица злобныя людей.

Не думайте, чтобъ я, судя ихъ строго,
Себя считалъ умнѣй и лучше много,—

Чтобъ я несчастный мой конецъ
Другимъ хотѣлъ поставить въ образецъ.
Я не ряжуся въ мантию героя,

И вѣрьте, что мучительно весь вѣкъ
Я презиралъ себя. Что я такое?
Я просто жалкій, слабый человѣкъ,
И, можетъ быть, слегка больной — душевно.
Вамъ это лучше знать. Вы часто, ежедневно
Субъектовъ видите такихъ;
Сравните, что у васъ написано о нихъ,
И, къ свѣдѣнью принявъ науки указанья,
Постановите приговоръ.
Прощайте же, любезный прокуроръ...
Жаль, не могу сказать вамъ: «до свиданья».
Письмо окончено, и выпита до дна
Бутылка сквернаго вина.
Я отворилъ окно. На улицы пустыя
Громадой черною смотрѣли облака.
Осенній вѣтеръ дулъ, и капли дождевыя
Лѣниво падали, какъ слезы старика.
Потухли фонари. Казалось, поневолѣ
Веселый городъ нашъ въ холодной мглѣ уснулъ,
И замеръ вдаль послѣднихъ дрожекъ гулъ.
Такъ часъ прошелъ, иль два, а можетъ быть и болѣ,—
Не знаю. Вдругъ въ безмолвіи nocturno,
Отчетливо, протяжно и тоскливо
Раздался дальній свистъ локомотива...
О, этотъ звукъ давно ужъ мнѣ знакомъ!
Въ часы безсонницы до бѣшенства, до злости,
Бывало, онъ терзалъ меня,
Напоминая близость дня...
Кто съ этимъ поѣздомъ къ намъ ѣдетъ? Что за гости?
Рабочіе, конечно, бѣдный людъ...
Изъ дальнихъ деревень они сюда везутъ
Здоровье, бодрость, силы молодыя,
И все оставляютъ здѣсь...

Поля мои родныя!
И я,—увы! не въ добрый часъ,—
Для призраковъ пустыхъ когда-то бросилъ васъ.
Мнѣ кажется, что тамъ, въ далекомъ старомъ домѣ,
Я могъ бы жить еще...

Іюльскій день затихъ.

Избавившись отъ всѣхъ трудовъ дневныхъ,
Я вышелъ въ радостной истомѣ
На покривившійся балконъ.
Передъ балкономъ старый кленъ
Раскинулъ вѣтви, ярко зеленѣя,
И пышныхъ липъ широкая аллея
Ведетъ въ заглохшій садъ. Въ вечерней тишинѣ
Не шелохнется листь, цвѣты блестятъ росой,
И запахъ сѣна съ пѣсней удалою
Изъ-за рѣки доносится ко мнѣ.
Вотъ легкій шумъ шаговъ. Вдали, платкомъ махая,
Идетъ ко мнѣ жена... О, нѣтъ! не та, — другая:
Простая, кроткая, и дѣти жмутся къ ней...
Дѣтей побольше, маленькихъ дѣтей!
За липы спрятался послѣдній лучъ заката,
Тепла нѣмая ночь. Вотъ ужинъ, а потомъ
Весѣда тихая, Бетховена соната,
Прогулка по саду вдвоемъ,
И крѣпкій сонъ до новаго разсвѣта...
И такъ вдали отъ суетнаго свѣта
Летѣли-бъ дни и годы безъ числа...
О Боже мой! Стучать... Ужели ночь прошла?
Да, тусклый, мокрый день сурово
Глядитъ въ окно. Что-жъ, развѣ открыть?
Попробовать еще по-новому пожить?
Нѣтъ, тяжело! Увидѣть снова
Толпу противныхъ лицъ со злобою въ глазахъ,
И уши длинныя на плоскихъ головахъ,
И этотъ наглый взглядъ, предательскій и лживый...
Услышать снова хоръ фальшивый
Тупыхъ затверженныхъ рѣчей...
Нѣтъ, ни за что! Опять стучать... Скорѣй!
Пусть мой послѣдній стихъ, какъ я, бобыль ненужный,
Останется безъ приемы...

Октябрь 1888 г.

ПЕРЕДЪ ОПЕРАЦІЕЙ.

«Вы говорите, докторъ, что исходъ
Сомнителенъ? Ну, что-жъ, Господня воля.

Вѣдь мнѣ пошелъ пятидесятый годъ,
Довольно я жила. Вотъ только бѣдный Коля
Меня смущаетъ: слишкомъ пылкій нравъ,
Идеямъ новымъ преданъ онъ такъ страстно;
Мнѣ трудно спорить съ нимъ; онъ, можетъ быть, и правъ. .
Боюсь, что жизнь свою загубить онъ напрасно.
О, если-бъ мнѣ дожить до радостнаго дня,
Когда онъ кончитъ курсъ и выберетъ дорогу.

Мнѣ хлороформъ не нуженъ: слава Богу,
Привыкла къ мукамъ я... А около меня
Портреты всѣхъ дѣтей поставьте, докторъ милый:
Пока могу смотрѣть, хочу я видѣть ихъ.

Повѣрьте: въ лицахъ дорогихъ
Я больше почерпну терпѣнія и силы.

Вы видите: вонъ тамъ, на той стѣнѣ,
Въ дубовой рамкѣ—Коля, въ черной—Митя...
Вы помните, когда онъ умеръ въ дифтеритѣ
Здѣсь на моихъ рукахъ, вы все твердили мнѣ,

Что заражусь я непременно тоже.
Не заразилась я, прошло пятнадцать лѣтъ...
Что вытерпѣла я болѣзней, горя, Боже!..

Вы, докторъ, знаете... А гдѣ же Сапа? Нѣтъ,
Тутъ онъ съ своей женой... Богъ съ нею...

Снимите тотъ портретъ, въ мундирѣ, подлѣ васъ.

Невольно духомъ я слабѣю,

Какъ только встрѣчу взгляды ея холодныхъ глазъ.

Все Сашу мучить въ ней: безцѣльное кокетство,

Характеръ адскій, дикая вражда

Къ семейству нашему... Вы знали Сашу съ дѣтства;

Не жаловался онъ ребенкомъ никогда,

А тутъ, въ послѣдній разъ,—но это между нами,—

Онъ началъ говорить мнѣ о женѣ,

Потомъ вдругъ замолчалъ, упалъ на грудь ко мнѣ

И плакалъ дѣтскими безсильными слезами.

Я людямъ все теперь простить должна,

Но каюсь: этихъ слезъ я не простила...

А прежде какъ она любила,

Какимъ казалась ангеломъ она!

Вотъ Оля съ дѣтками. За этихъ, умирая,

Спокойна я. Наташа, ангелъ мой,

Уставила въ меня глазенки, какъ живая,

И хочетъ выскочить изъ рамки золотой.

Мнѣ больно шевельнуть рукой. Перекрестите

Хоть вы меня... Смѣшно вамъ, старый атеистъ!

Что-жъ дѣлать!—Богъ простить. Вотъ такъ, да отворите

Окно. Какъ воздухъ свѣжъ и чистъ,

Какъ быстро тучки бѣлыя несутся

По неразгаданнымъ, жестокимъ небесамъ...

Да, вотъ еще: къ моимъ похоронамъ,

Конечно, дѣти соберутся.

Скажите имъ, что, умирая, мать

Благословила ихъ и любить,—но ни слова;

Что я такъ мучилась... зачѣмъ ихъ огорчать?

Ну докторъ, а теперь начните: я готова».

Октябрь 1888 г.

* * *

Мнѣ не жаль, что тобою я не былъ любимъ, —
Я любви недостойнъ твоей!

Мнѣ не жаль, что теперь я разлукой томимъ, —
Я въ разлукѣ люблю горячѣй.

Мнѣ не жаль, что и налилъ, и выпилъ я самъ
Униженія чашу до дна,
Что къ проклятыямъ моимъ, и къ слезамъ, и къ мольбамъ
Оставалася ты холодна.

Мнѣ не жаль, что огонь, закипѣвшій въ крови,
Мое сердце сжигалъ и томилъ, —
Но мнѣ жаль, что когда-то я жилъ безъ любви,
Но мнѣ жаль, что я мало любилъ!

Въ 80-хъ годахъ.



ПАМЯТИ О. И. ТЮТЧЕВА.

Ни у домашняго простаго камелька,
Ни въ шумѣ свѣтскихъ фразъ и суеты салонной
Намъ не забыть его, сѣдого старика,
Съ улыбкой ѣдкою, съ душою благосклонной!

Лѣнивой поступью прошелъ онъ жизни путь,
Но мыслью обнялъ все, что на пути замѣтилъ,
И передъ тѣмъ, чтобъ сномъ могильнымъ отдохнуть,
Онъ былъ какъ голубь чистъ и какъ младенецъ свѣтелъ.

Искусства, знанія, событія нашихъ дней, —
Все откликъ вѣрный въ немъ будило неизбежно,
И словомъ, брошеннымъ на факты и людей,
Онъ клейма вѣчныя накладывалъ небрежно...

Вы помните его въ кругу друзей?
Какъ мысли сыпались неожиданныя, живыя,
Какъ забывали мы подъ звукъ его рѣчей
И вечеръ длившійся, и годы прожитые!

Въ немъ злобы не было. Когда-жъ онъ говорилъ,
Язвительно смѣясь надъ жизнью или нѣкомъ,
То самый смѣхъ его насъ съ жизнію мирилъ,
А свѣтлый ликъ его мирилъ насъ съ человѣкомъ!

Въ 80-хъ годахъ.

*
* * *

Въ житейскомъ холодѣ, дрожа и изнывая,
Я думалъ, что любви въ усталомъ сердцѣ нѣтъ,
И вдругъ въ меня пахнулъ тепломъ и солнцемъ мая
Нежданный твой привѣтъ.

И снова образъ твой, задумчивый и милый
И неразгаданный царить въ душѣ моей,—
Царить съ сознаниемъ могущества и силы,
Но съ лаской прежнихъ дней.

Какъ разгадать тебя? Когда любви томленье
Съ мольбами и тоской я несъ къ твоимъ ногамъ
И говорилъ тебѣ: «я жизнь и вдохновенье,
И все тебѣ отдамъ»,—

Твой безпощадный взоръ сулилъ мнѣ смерть и муку;
Когда же мертвецомъ, безъ вѣры и любви,
На землю я упалъ,—ты подаешь мнѣ руку
И говоришь: «живи».

Въ 80-хъ годахъ.

* * *

«Прощай!»—твержу тебѣ съ невольными слезами;
Ты говоришь: «разлука недолга»...
Но видишь ли: ручей пробился между нами,
Потокъ сердить и круты берега.

Прощай! Мой путь унылъ. Кругомъ нависли тучи.
Ручей уже растеть и рѣчкой побѣжить.
Чѣмъ дальше я пойду, тѣмъ берегъ будетъ круче,
И скоро голосъ мой къ тебѣ не долетить.

Тогда... забуду-ль я о дняхъ когда-то милыхъ,
Забуду-ль все, что, вѣрно, помнишь ты,
Иль съ горечью пойму, что я забыть не въ силахъ,
И въ бездну брошусь съ высоты?

Въ 80-хъ годахъ.



* * *

О, не сердись за то, что въ часъ тревожной муки
Проклятья, жалобы лепечетъ мой языкъ:
То жизнью прошлою навѣянные звуки,
То сдавленной души неудержимый крикъ!

Ты слушаешь меня,—и стынет злое горе;
Ты тихо скажешь: «вѣрь» — и вѣрю я, любя...
Вся жизнь моя въ твоёмъ глубокомъ, кроткомъ взорѣ,—
Я все могу проклясть, но только не тебя.
Дрожать листы березъ отъ холода ночного...
Но имъ ли сѣтовать на яркій солнца лучъ,
Когда, разсѣявъ тьму, онъ съ неба голубого
Тепломъ ихъ обольеть, прекрасенъ и могучъ?

Въ 80-хъ годахъ.

К. Д. НИЛОВУ.

Ты насъ покидаешь, пловецъ безпокойный,
Для дальней Камчатки, для Африки знойной...

Но нашему ты не завидуй покою:
Увы! надъ несчастной померкшей страной

Скопилось такъ много тревоги и горя,
Что вѣрная пристань—въ бушующемъ морѣ!

Тамъ волны и звѣзды,—ввѣряйся ихъ власти!..
Здѣсь бури страшнѣе: здѣсь люди и страсти!

Въ 80-хъ годахъ.

А. Н. ОСТРОВСКОМУ.

Лѣтъ двадцать пять назадъ спала родная сцена,
И сонъ ея былъ тяжекъ и глубокъ...
Но вы сказали ей: «Что-жъ, «Бѣдность не порокъ».
И съ ней произошла благая переменѣна.
Безцѣнныхъ перловъ рядъ театру подаря,
За нимъ «Доходное» вы утвердили «мѣсто»,
И наша сцена, вамъ благодаря,
Уже не «Бѣдная невѣста».
Заслуги ваши гордо вознеслись,
А кто не видитъ ихъ, иль понимаетъ ложно,
Тому сказать съ успѣхомъ можно:
«Не въ свои сани не садись!»

Въ 80-хъ годахъ.

* * *

Проложенъ жизни путь безплодными степями,
И глушь, и мракъ... ни хаты, ни куста...
Спать сердце; скованы цѣпями
И разумъ, и уста,
И даль предъ нами
Пуста.

И вдругъ покажется не такъ тяжка дорога,
Захочется и пѣть, и мыслить вновь.
На небѣ звѣздъ горитъ такъ много,
Такъ бурно льется кровь...
Мечты, тревога,
Любовь!

О, гдѣ же тѣ мечты? Гдѣ радости, печали,
Свѣтившія намъ ярко столько лѣтъ?
Отъ ихъ огней въ туманной дали
Чуть виденъ слабый свѣтъ...
И тѣ пропали...
Ихъ нѣтъ.

1890 г.

СУМАСШЕДШІЙ.

Садитесь, я вамъ радъ. Откиньте всякій страхъ

И можете держать себя свободно, —

Я разрѣшаю вамъ. Вы знаете, на-дняхъ

Я королемъ былъ избранъ всенародно,

Но это все равно. Смущаютъ мысль мою

Всѣ эти почести, привѣтствія, поклоны...

Я день и ночь пишу законы

Для счастья подданныхъ и очень устаю.

Какъ вамъ моя понравилась столица?

Вы изъ далекихъ странъ? А, впрочемъ, ваши лица

Напоминаютъ мнѣ знакомыя черты;

Какъ будто я встрѣчалъ, именъ еще не зная,

Васъ гдѣ-то тамъ, давно...

Ахъ, Маша, это ты?

О милая моя, родная, дорогая!

Ну, обними меня, какъ счастливъ я, какъ радъ!

И Коля!.. здравствуй, милый братъ!

Вы не повѣрите, какъ хорошо мнѣ съ вами,

Какъ мнѣ легко теперь! Но что съ тобой, Мари?

Какъ ты осунулась... страдаешь все глазами?

Садись ко мнѣ поближе, говори,

Что наша Оля? все растеть? здорова?

О Господи! Что далъ бы я, чтобъ снова

Расцѣловать ее, прижать къ моей груди!..

Ты приведешь ее?.. Нѣтъ, нѣтъ, не приводи!
Расплатится, пожалуй, не узнаешь,
Какъ, помнишь, было разъ... А ты теперь о чемъ
Рыдаешь? Перестань! Ты видишь: молодцомъ
Я сталъ совсѣмъ, и докторъ увѣряетъ,
Что это — легкій рецидивъ,
Что скоро все пройдетъ, что нужно лишь терпѣнье...
О да, я терпѣливъ, я очень терпѣливъ!
Но все-таки... за что? Въ чемъ наше преступленье?..
Что дѣдъ мой боленъ былъ, что боленъ былъ отецъ?
Что этимъ призракомъ меня пугали съ дѣтства?
Такъ что-жъ изъ этого? Я могъ же, наконецъ,
Не получить проклятаго наслѣдства!..
Такъ много лѣтъ прошло, и жили мы съ тобой
Такъ дружно, хорошо, и все намъ улыбалось...
Какъ это началось? Да, лѣтомъ, въ сильный зной,
Мы рвали васильки, и вдругъ мнѣ показалось...

.

Да, васильки, васильки...
Много мелькало ихъ въ полѣ...
Помнишь, до самой рѣки
Мы ихъ собирали для Оли.

Оличка бросить цвѣтокъ
Въ рѣку, головку наклонить...
«Папа, — кричить, — василекъ
Мой поплыветъ, не утонетъ?»

Я ее на руки бралъ,
Въ глазки смотрѣлъ голубые,
Ножки ея цѣловалъ,
Блѣдныя ножки, худыя.

Какъ эти дни далеки...
Долго-ль томиться я буду?
Все васильки, васильки,
Красные, желтые всюду...

Видишь, торчатъ на стѣнѣ;
Слышишь, сбѣгаютъ по крышѣ,
Вотъ, подползаютъ ко мнѣ,
Лѣзутъ все выше и выше...

Слышишь, смѣются они...
Боже, за что эти муки?
Маша, спаси, отгони,
Крѣпче сожми мои руки!

Поздно! Вошли, ворвались,
Стали стѣной между нами,
Въ голову такъ и впились,
Колютъ ее лепестками.

Рвется вся грудь отъ тоски...
Боже! Куда мнѣ дѣваться?
Все васильки, васильки...
Какъ они смѣютъ смѣяться?

.
Однако, что же вы сидите предо мной?
Какъ смѣете смотрѣть вы дерзкими глазами?
Вы избалованы моею добротой,
Но все же я—король и я расправлюсь съ вами!
Довольно вамъ держать меня въ плѣну, въ тюрьмѣ!
Для этого меня безумнымъ вы признали...
Такъ я вамъ докажу, что я въ своемъ умѣ;
Ты мнѣ жена, а ты—ты братъ ея... Что взяли?
Я справедливъ, но строгъ. Ты будешь казнена.
Что? не понравилось? Влѣднѣешь отъ боязни?
Что дѣлать, милая, не даромъ вся страна
Давно ужъ требуетъ твоей позорной казни!
Но впрочемъ, можетъ быть, смягчу я приговоръ
И благиости примѣръ подамъ родному краю.
Я не за казни, нѣтъ! всѣ эти казни—вздоръ.
Я взвѣшу, посмотрю, подумаю... не знаю...

Эй, стража, люди, кто-нибудь!

Гони ихъ въ шею всѣхъ, мнѣ падо
Быть одному... Впередъ же не забудь:
Сюда никто не входить безъ доклада!

29-Е АПРѢЛЯ 1891 г.

Ночь опустилась... Все тихо: ни криковъ, ни шума.
Дремлетъ царевичъ, гнететъ его горькая дума:
«Боже, за что посылаешь мнѣ эти страданья?..
Въ путь я пустился съ горячею жаждою знанья,
Новыя страны увидѣть и нравы чужіе.
О, неужели въ поля не вернусь я родныя?
Въ родину милую вѣсть роковая дошла ли?
Бѣдная мать убивается въ жгучей печали,
Выдержать твердо отца, но, подъ строгой личиной,
Все его сердце изнаеетъ безмолвной кручиной...
Ты мои помыслы видишь, о праведный Боже!
Зла никому я не сдѣлалъ... За что же, за что же?>...
Вотъ засыпаетъ царевичъ въ тревогѣ и горѣ,
Сонъ его сладко баюкаетъ темное море...
Снится царевичу: тихо къ его изголовью
Ангель склонился и шепчетъ съ любовью:
«Юноша, Богомъ хранимый въ далекой чужбинѣ!
Больше, чѣмъ новыя страны, увидѣлъ ты нынѣ:
Ты свою душу увидѣлъ въ минуту невзгоды,
Мощью съ судьбой ты помѣрялся въ юные годы!
Ты увидаль безпричинную злобу людскую...
Спи безмятежно! Я раны твои уврачую.
Все, что ты въ жизни имѣлъ дорогого, святого,
Родину, счастье, семью—возвращу тебѣ снова.

А. П. АПУТКИНЪ.

Жизнь предъ тобой разстиается въ свѣтломъ просторѣ,
Ты поплывешь чрезъ иное—житейское море;
Много въ немъ мѣста для подвиговъ смѣлыхъ, свободныхъ,
Много и мелей опасныхъ, и камней подводныхъ...
Я—твой хранитель, я буду незримо съ тобою,
Бѣлыми крыльями черныя думы покрою».

Май 1891 г.

ГОЛОСЪ ИЗДАЛЕКА.

О, не тоскуй по мнѣ! Я тамъ, гдѣ нѣтъ страданья...
Забуди былыхъ скорбей мучительные сны.
Пусть будутъ обо мнѣ твои воспоминанья
Свѣтлыя, чѣмъ первый день весны.
О, не тоскуй по мнѣ! Межь нами нѣтъ разлуки:
Я такъ же, какъ и встарь, душѣ твоей близка,
Меня попрежнему твои терзаютъ муки,
Меня гнететъ твоя тоска.
Живи! Ты долженъ жить. И если силой чуда
Ты снова здѣсь найдешь отраду и покой,
То знай, что это я откликнулась оттуда
На зовъ души твоей больной.

Октябрь 1891 г.



Давно-ль, вашъ городъ проѣзжая,
Вошелъ я въ старый, тихій домъ
И, словно гость случайный рая,
Душою ожилъ въ домѣ томъ!

Давно ли, кажется? А годы
Съ тѣхъ поръ подерались и прошли,
И часто, часто, въ дни невзгоды,
Мнѣ свѣтлымъ призракомъ вдали
Являлась милая картина.

Я помню: сѣренькій денекъ,
По краснымъ угольямъ камина
Перебѣгавшій огонекъ

И ваши пальцы и узоры,
Рояль, рисунки и цвѣты,
И разговоры, разговоры —
Плоды довѣрчивой мечты...

И вотъ опять подъ вашимъ кровомъ
Сижу — случайный пилигримъ...

Но тѣмъ живымъ, горячимъ словомъ
Мы обмѣняться не спѣшимъ.

Мы, долго странствуя безъ цѣли,
Забывъ, куда и какъ идти, —
Сказать не смѣю, — постарѣли,
Но... утомились на пути.

А гдѣ же тѣ, что жили вами,
Бѣмъ ваша жизнь была полна?

Съ улыбкой горькою вы сами
Ихъ перебрали имена:

Тотъ умеръ, вышла замужъ эта
И умерла тому ужъ годъ;
Тотъ измѣнилъ вамъ въ вихрѣ свѣта,
Та заграницею живетъ...

Какой-то бурей дикой, жадной
Ихъ уносило безпощадно,
И длинный рядъ нѣмыхъ могилъ
Ихъ милый образъ замѣнилъ...
А наши думы и стремленья,
Надежды, чувства прежнихъ лѣтъ?
Увы! отъ нихъ пропаль и слѣдъ,
Какъ отъ миражей сновидѣнья...
Одни судьбой въ архивъ сданы
И тамъ гниютъ подъ слоемъ пыли,
Другія горемъ сожжены,
Тѣ — намъ, какъ люди, измѣнили...

И мы задумались, молчимъ...
Но намъ — не тягостно молчанье,
И изрѣдка годамъ былымъ
Роняемъ мы воспоминанье.
Такъ иногда докучный гость,
Чтобъ разговоръ не замеръ сонный,
Передъ хозяйкой утомленной
Роняетъ пошлость или злость.

И самый домъ глядитъ построже,
Хоть измѣнился мало онъ:
Диваны, кресла — все въ немъ то же,
Но запертъ нѣ-глухо балконъ...
Тафтой задернута картина
И, какъ живой для насъ упрекъ,
По краснымъ угольямъ камина
Бѣжитъ и блещетъ огонекъ...

1891 г.

* * *

Опять пишу тебѣ, но этихъ горькихъ строкъ
Читать не будешь ты... Насъ жизненный потокъ
Навѣки разлучилъ. Чужіе мы отнынѣ,
Но я тебѣ пишу затѣмъ, что я привыкъ
Все повѣрять тебѣ; что шепчетъ мой языкъ,
Безъ цѣли, нехотя, твои бывлыя рѣчи;
Что я считаю жизнь отъ нашей первой встрѣчи;
Что милый образъ твой мнѣ каждый день милѣй;
Что нѣтъ покоя мнѣ безъ бурь минувшихъ дней;
Что муки ревности и ссоръ безумныхъ муки
Мнѣ счастьемъ кажутся предъ ужасомъ разлуки.

1892 г.



* * *

О, что за облако надъ Русью пролетѣло,
Какой тяжелый сонъ въ пустыющихъ поляхъ!
Но жалость мощная проснулась въ сердцахъ
И черезъ черный годъ проходить нитью бѣлой.
Къ чему-жъ уныніе? Зачѣмъ бесплодный страхъ?
И хату бѣдняка, и царскія палаты
Однимъ святымъ узломъ связала эта нить:

И труженика дань, и креза даръ богатый,
И тихій звукъ стиха, и музыки раскаты,
И лепту юношей, едва начавшихъ жить.
Родникъ любви течетъ на днѣ души глубокоу,
Какъ пылю, засоренъ житейской суетой...
Но туча пронеслась ненастьемъ и грозой, —
Родникъ бѣжить ручьемъ. Онъ вырвется потокомъ,
Онъ смоетъ соръ и пыль широкою волной.

1892 г.



*
*
*

Передъ судомъ толпы коварной и кичливой
Съ поникшей головой меня увидишь ты
И суетныхъ похвалъ услышишь лепетъ лживый,
Пропитанный враждой и ядомъ клеветы.
Но твой безмолвный взоръ, довѣрчивый и милый,
На помощь мнѣ придетъ съ участіемъ живымъ...
Такъ гибнущій пловецъ, уже теряя силы,
Все смотритъ на маякъ, горящій передъ нимъ.
Свѣти же, мой маякъ! Пусть буря, завывая,
Качаетъ бѣдный челнъ, пусть высится волна,
Пускай вокругъ меня и мракъ, и ночь глухая...
Ты свѣтишь, мой маякъ, — мнѣ гибель не страшна!

1892 г.



*
*
*

Все, чѣмъ я жилъ, въ чемъ ждалъ отрады,
Слова развѣяли твои...
Тамъ снѣгъ послѣдній, безъ пощады,
Уносятся вѣтны ручьи...
И цѣлый день, съ насмѣшкой злою,
Другія рѣчи заглушивъ,
Они носились надо мною,
Какъ неотвязчивый мотивъ.

Одинъ я... Длится ночь нѣмая.
Покоя нѣтъ душѣ моей.
О, какъ томить меня, пугая,
Холодный мракъ грядущихъ дней!
Ты не оогрѣешь этотъ холодъ,
Ты не освѣтишь эту тьму...
Твои слова, какъ тяжкій молотъ,
Стучать по сердцу моему.

1892 г.





КНЯЗЬ ТАВРИЧЕСКІЙ

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СЦЕНА.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Князь Таврическій.

Графиня Браницкая, рожденная Энгельгардтъ, его племянница.

Бауеръ, полковникъ.

Юзевичъ, секретарь графини Браницкой.



Дѣйствіе происходитъ въ Яссахъ, въ квартирѣ князя Таврическаго.



СЦЕНА ПЕРВАЯ.

БАУЕРЪ И ЮЗЕВИЧЪ.

ЮЗЕВИЧЪ.

Ну, наконецъ, вы съ нами, панъ полковникъ,
А мы васъ ждали, ждали...

БАУЕРЪ.

Въ Петербургѣ
Меня князь Зубовъ задержалъ.

ЮЗЕВИЧЪ.

Безъ васъ
Такъ было скучно, мы васъ всѣ такъ любимъ.

БАУЕРЪ.

Спасибо, панъ Юзевичъ. Комплименты
Оставимъ, времени у насъ немного,
Да и застать насъ могутъ. [Осматриваетъ дверь].
Вотъ въ чемъ дѣло:
Князь Зубовъ васъ велѣлъ благодарить
За ваши донесенія, онъ ихъ
Внимательно прочелъ. Изъ этихъ писемъ
Съ прискорбіемъ онъ видитъ, что свѣтлѣйшій
Къ нему не такъ расположенъ, какъ прежде,

И, чтобы вновь его приворожить,
Онъ плетъ вамъ это зелье. Вы его
Когда-нибудь въ удобную минуту
Подсыпете свѣтлѣйшему въ питье.
Вы тронуты такимъ довѣрьемъ князя?
Возьмите-жъ пузырькъ.

ЮЗЕВИЧЪ.

Какъ? всыпать, мнѣ?
Да гдѣ же мнѣ? Клянусь, я не посмѣю.

БАУЕРЪ.

Чтобъ смѣлости придать вамъ и умѣнья,
Князь посылаетъ этотъ кошелекъ:
Исполнивши, какъ слѣдуетъ, приказъ,
Получите вы втрое...

ЮЗЕВИЧЪ.

Свентъ Антоній!
За что ко мнѣ такъ добръ ясновельможный?

БАУЕРЪ.

Людей онъ знаетъ и заслуги цѣнитъ.

ЮЗЕВИЧЪ.

Такъ, панъ полковникъ, по еще скажите,
Не будетъ ли свѣтлѣйшему вреда
Отъ зелья этого!

БАУЕРЪ.

Вреда не будетъ.

ЮЗЕВИЧЪ.

О, если такъ, исполню я охотно.

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Ночь.—Глухая степь.—Шалашъ изъ дровиковъ. Рядомъ съ шалашомъ отпряженный дормезъ и повозка. Внутри шалаша куча содомы, на которой лежитъ князь Таврическій. Возлѣ него на колѣняхъ стоитъ графиня Враницкая. Поодаль стоятъ Бауеръ и Юзевичъ.

КН. ТАВРИЧЕСКІЙ.

Все кончено. Пора, давно пора
Съ усталыхъ плечъ нарядъ негодный сбросить.
Онъ для меня былъ ветхъ уже и тѣсенъ...
Ты, Саша, здѣсь?

ГР. ВРАНИЦКАЯ.

Здѣсь, дядюшка. Напрасно
Ты мыслями печальными томишься.
За докторомъ уѣхалъ верховой,
И къ утру ты поправишься.

КН. ТАВРИЧЕСКІЙ.

Нѣтъ, поздно...

Я чую смерть, мнѣ холодно и жутко.
Послушай, Саша, сядь ко мнѣ поближе,
Вотъ такъ, и руку дай въ послѣдній разъ.
Всю жизнь ты другомъ вѣрнымъ мнѣ была,
И отъ тебя я тайны не имѣю.
Да, жаль, что не могу я годъ одинъ
Еще прожить, одинъ лишь годъ, и — баста!
Всю зиму я готовилъ бы солдатъ
Безъ маршировокъ, безъ косичекъ, пудры,
Безъ всѣхъ нелѣпыхъ гатчинскихъ затѣй, —
Я въ нихъ вселилъ бы духъ героевъ древнихъ,
И съ первою весеннею зарею
Пошелъ бы съ ними прямо на Царьградъ.

Великое-бъ тогда свершилось дѣло!
Подумаешь — кружится голова.
Какой триумфъ, какая колесница!
Султанъ въ плѣну, враги мои во-прахѣ.
А можетъ быть, и скипетръ, и корона...

ГР. ВРАНИЦКАЯ [съ испугомъ].

Довольно, князь! [Обращаясь къ Бауеру и Юзовичу].
Не слушайте: онъ бредить. [Къ князю].
Мы не одни, опомнися, свѣтлѣйшій!

КН. ТАВРИЧЕСКІЙ

Да, бредилъ я, и бредъ тотъ былъ мнѣ сладокъ,
А впрочемъ, я могу свободно бредить.
Ужъ я — не князь, я больше не свѣтлѣйшій,
Я — персть, я — прахъ, я — только человекъ.
О Господи, зачѣмъ Ты далъ мнѣ разумъ,
Ты въ душу мнѣ вложилъ любовь и гордость,
Ты далъ мнѣ власть и упоенье властью,
Ты все мнѣ далъ, чтобъ разомъ все отнять.
Вотъ я теперь могу дышать, молиться,
И чувствую, и мыслю, и ропщу,
А завтра то, что мыслило, роптало,
Безжизненнымъ, негоднымъ трупомъ будетъ!
О Господи! Почто-жъ мятемся всуе?
Зачѣмъ мы жизнь, столь полную невзгодъ,
Столь краткую и немощную жизнь,
Еще враждой пятнаемъ безразсудной?
О, сколько крови пролилъ я невинной!
Изъ-за чего? Изъ-за пустого блеска,
Похвалъ мишурныхъ, славы мимолетной!
Вотъ, вотъ онѣ, очаковскія тѣни!
Ихъ раны вновь раскрылися, ихъ лица
Предсмертною тоской искажены!
«Отдай намъ жизнь! — кричатъ онѣ мнѣ въ ухо, —
Когда-бъ не ты, мы и теперь бы жили!»
О Господи! прости мнѣ ропотъ грѣшный,

Ты въ благости могилу намъ послалъ,
Гоненьямъ злобы, совѣсти упрекамъ —
Всему конецъ въ могилѣ этой темной!
Гдѣ Бауеръ? здѣсь ты, зубовскій клеветръ?

БАУЕРЪ.

Я счастье имѣю состоять
При вашей свѣтлости.

КН. ТАВРИЧЕСКІЙ.

Да, знаю, знаю:
При мнѣ ты состоишь, ему ты служишь.
Изъ гордости тебя не раздавилъ я.
Не въ этомъ дѣло. Милостивецъ твой,
Узнавъ, что я въ могилѣ, возликуеть.
Скажи ему, что радость недолга,
Что близокъ день, — день черный для Россіи:
Безсмертная умретъ Екатерина!
Когда въ столицу вступитъ новый царь,
И гатчинцы съ косичками смѣшными
Затопчутъ грязью залы Эрмитажа,
Тогда что скажешь, жалкій фаворитъ?
Какъ поблѣднѣешь ты въ своихъ чертогахъ,
Какъ выпадутъ изъ рукъ твоихъ румяны,
Какимъ безумнымъ страхомъ исказится
Красивое и пошлое лицо,
И какъ въ тотъ часъ я буду спать глубоко,
Для поздней злобы ихъ недосыгаемъ!

[Минута молчанія].

Мнѣ холодно, покройте ноги шубой...
Еще, еще кругомъ... Родная, гдѣ ты?
Согрѣй меня, согрѣй своимъ дыханьемъ,
Какъ нѣкогда, давно, когда въ Смоленскѣ
Баюкала ты Гришу своего!
Что это? Ружей залпъ? Въ атаку, братцы!

[Приподнимается]

Но гдѣ же я? Вотъ Царское Село,
Вотъ лебеди по озеру плывутъ,

И ты опять со мной, моя царица!
Но ты въ слезахъ? Тебя гнѣвить Мамоновъ?
Ахъ, матушка, да плюнь ты на него!
Долой ихъ всѣхъ, ласкателей негодныхъ,
Изнѣженныхъ, бездушныхъ фаворитовъ!
Они тебѣ измѣнять, продадутъ,
Они и полюбить-то не умѣютъ,
Чины имъ любы, да кресты, да деньги;
Ты и безъ нихъ счастливо проживешь.
Ну, стоить ли тебя вся эта сволочь —
Душонки дѣвокъ въ золотыхъ мундирахъ?
А если въ сердцѣ есть любви избытокъ —
Вотъ предъ тобой отечество твое.
Люби его всѣмъ пыломъ женской страсти,
Отдай ему всѣ помыслы и чувства;
Ты не одна, рука моя съ тобою.
Она крѣпка, не дрогнетъ, не измѣнитъ,
Я за тебя всю кровь свою пролью,
Я окружу престолъ твой громкой славой,
Такою славой, что въ вѣкахъ позднѣйшихъ
Тебя потомство чтить не перестанетъ.
Я покажу... [Схватывается за грудь и падаетъ].

ГР. ВРАНИЦКАЯ.

Онъ въ забытѣ, не дышитъ.
Проснись, очнись! Все кончено! О Боже!

[Бросается съ рыданьями на трупъ].

БАУЕРЪ [въ глубокой задумчивости].

Das war ein Mensch!

ЮЗЕВИЧЪ [съ испугомъ смотря на трупъ].

О, барзо велькій панъ!

Въ 70-хъ годахъ.

ЮМОРИСТИЧЕСКІЯ
СТИХОТВОРЕНІЯ

ПАРОДІЯ.

Пьяные уланы
Спятъ передъ столомъ;
Мягкіе диваны
Запиты виномъ.

Лишь не спить влюбленный,
Погруженъ въ мечты.
Подожди немного:
Захрапишь и ты!

Орелъ, 6-го августа 1854 г.

ПЕРВОЕ АПРѢЛЯ.

Денекъ веселый! Съ давнихъ поръ
Обычай есть патріархальный
У насъ: и лгать, и всякій вздоръ
Сегодня всѣмъ пороть нахально;
Хоть ложь-то, впрочемъ, привилась
Такъ хорошо къ намъ въ самомъ дѣлѣ,
Что каждый день въ году у насъ
Отчасти — первое апрѣля.

Ну, вотъ NN, пріятель мой,
Онъ вѣчно лжетъ и мраченъ вѣчно;
Не мудрено: его порой
Бранять за то... теперь безопасно
Смѣется, шутить... Какъ понять?
А! понимаю: пустомеля
Всѣмъ безопасно можетъ врать:
Сегодня — первое апрѣля.

Приносятъ мнѣ письмо. Его
Я чуть не рву отъ нетерпѣнья, —
Оно отъ друга моего.
Однако, что за удивленье?
Въ немъ столько чувства, даже честь

Во всемъ: и въ мысляхъ, и на дѣлѣ.
Смотрю на подпись: такъ и есть!
Читаю: первое апрѣля.

Знакомыхъ встрѣтите... на васъ
Всѣ смотреть съ подозрѣньемъ тоже.
«Скажите мнѣ, который часъ?» —
Вдругъ спросить какъ-то злѣй и строже.
— Такой-то. — «Ахъ, неправда, нѣтъ:
Вы съ нами пошутить хотѣли».
Что-жъ, нынче шутить цѣлый свѣтъ:
Сегодня — первое апрѣля.

А я теперь, наоборотъ,
Способенъ даже больше вѣрить:
Сегодня всякій, правда, лжетъ,
Зато не нужно лицемерить...
Сегодня можно говорить
Всѣмъ правду, мѣтко въ друга цѣля,
Потомъ все въ шутку обратить:
«Сегодня — первое апрѣля».

Сегодня мнѣ скажите вы,
Что не берутъ въ Россіи взятокъ,
Что городъ есть сквернѣй Москвы,
Что въ «Пчелкѣ» мало опечатокъ,
Что въ свѣтѣ мало дураковъ...
Вполнѣ достигнете вы цѣли,
Всему повѣрить я готовъ:
Сегодня — первое апрѣля.

5-го апрѣля 1857 г.

ПАРОДИЯ.

Боже! въ какомъ я теперь упоеніи
Съ «Вѣстникомъ Русскимъ» въ рукахъ.
Что за прелестныя стихотворенія,
Ахъ!

Тамъ Данилевскій, Плещеевъ таинственный,
М....въ — нашъ флюгеръ-поэтъ,
Лучше же всѣхъ несравненный, единственный —
Фетъ!

Много безсмыслицъ прочтешь патетическихъ,
Множество фразъ посреди,
Много и риѣмъ, а картинъ поэтическихъ —
Жди!

Въ лазаретѣ.
18-го февраля 1858 г.

СОВѢТЪ МОЛОДОМУ КОМПОЗИТОРУ.

(по поводу оперы СѢРОВА «НЕ ТАКЪ ЖИВИ, КАКЪ ХОЧЕТСЯ»).

Чтобъ въ музыкѣ упрочиться,
О юный неофитъ,
Не такъ пиши, какъ хочется,
А какъ Сѣровъ велить!

29-го ноября 1869 г.

ДИЛЕТАНТЪ.

Была пора: что было честно,
Талантливо въ родномъ краю, —
Сходилось дружески и тѣсно
Въ литературную семью;
Назваться «авторомъ» рѣшался
Тогда не всякій спекулянтъ...
И какъ смѣшонъ для всѣхъ казался
Уединенный дилетантъ!

Потомъ пришла пора иная:
Россія встала ото сна, —
Литература молодая
Ей оставалася вѣрна;
Добру, отчизнѣ, мыслямъ чистымъ
Служилъ писателя талантъ,
И передъ смѣлымъ публицистомъ
Краснѣлъ ненужный дилетантъ.

Но все непрочно въ нашемъ вѣкѣ...
Съ тѣхъ поръ какъ въ номерѣ любомъ
Я могъ прочесть о Львѣ Камбекѣ
И не прочесть о Львѣ Толстомъ,
Я пересталъ сѣдлатъ Пегаса:
Милѣй мнѣ скромный Россинантъ.
Что мнѣ до Русскаго Парнаса!
Я — неизвѣстный дилетантъ...

Родился я въ семьѣ дворянской,
Чѣмъ буду мучиться по гробъ.
Моя фамилья — не Виванскій,
Отецъ мой не былъ протопопъ;
О фрѣяхъ, жупелѣ и пеклѣ
Мнѣ чуждъ бурсацкій фоліантъ,
Меня подъ праздники не сѣкли...
Я — дилетантъ, я — дилетантъ...

На площадяхъ передъ народомъ
Я въ пьяномъ видѣ не лежалъ,
«Стрижомъ», «лукошкомъ», «бутербродомъ»
Своихъ противниковъ не звалъ;
Болѣзнью, брюхомъ или носомъ
Ихъ не корилъ, какъ пасквилянтъ,
И не входилъ о нихъ съ доносомъ...
Я — дилетантъ, я — дилетантъ.

Я нахожу, и въ томъ виновенъ,
Что Пушкинъ былъ не идіотъ,
Что выше сапоговъ — Бетховенъ

И что искусство не умреть;
Чту имена, — не знаю, кстати-ль? —
Какъ, напримѣръ, Шекспиръ и Дантъ...
Ну, такъ какой же я писатель!
Я — дилетантъ, я — дилетантъ.

Въ грѣхѣ я каюся сугубомъ,
Хоть не легко признаться въ томъ:
Знакомъ я съ графомъ Сологубомъ
И съ княземъ Вяземскимъ знакомъ!..
Не подражая нравамъ скифовъ,
Вѣдь я мѣняю, хоть не франтъ...
Мнѣ — не родня Гіероглифовъ...
Я — дилетантъ, я — дилетантъ...

Я не ищу похвалъ минувшихъ,
Я не гонюсь за славой дня,
И Лонгиновъ — вѣковъ грядущихъ —
Пропустить, можетъ быть, меня.
Зато и въ списокъ негодяевъ
Не помѣстить меня педантъ:
Я — не Булгаринъ, не М—аевъ...
Я — дилетантъ, я — дилетантъ.

Въ 60-хъ годахъ.



* * *

Когда будете, дѣти, студентами,
Не ломайте головъ надъ моментами,
Надъ Гамлетами, Лирами, Кентами,
Надъ царями и надъ президентами,
Надъ морями и надъ континентами...
Не якшайтесь тамъ съ оппонентами,
Поступайте хитро съ конкурентами.
А какъ кончите курсъ эминентами
И на службу пойдете съ патентами, —

Не глядите на службѣ доцентами
И не брезгайте, дѣти, презентами!
Окружайте себя контрагентами,
Говорите всегда комплиментами,
У начальниковъ — будьте кліентами,
Утѣшайте ихъ женъ инструментами,
Угощайте старухъ пеперментами, —
Воздадутъ вамъ за это съ процентами:
Обошьютъ вамъ мундиръ позументами,
Грудь украсятъ звѣздами и лентами!..
А когда доктора съ орнаментами
Назовутъ васъ, увы! паціентами
И умдрятъ васъ медикаментами, —
Отпоетъ іерей васъ съ регентами,
Хоронить понесутъ съ ассистентами,
Обеспечатъ дѣтей вашихъ рентами,
Чтобъ имъ въ оперѣ быть абонементами,
И прикроютъ вашъ прахъ монументами.

Въ 60-хъ годахъ.

В. А. ВИЛЛАМОВУ.

(ОТВѢТЪ НА ПОСЛАНИЕ).

Напрасно дружескимъ обухомъ
Меня ты думаешь поднять...
Ну, можно ли съ подобнымъ брюхомъ
Стихи безъ усталости писать?
Мнѣ жить пріятнѣй неизвѣстнымъ,
Я свой покой цѣню, какъ рай...
Не называй меня небеснымъ
И у земли не отнимай!

Апрѣль 1870 г.

* * *

Напрасно молокомъ лѣчиться ты желаешь, —
Повѣрь, лѣченье не легко:
Покуда ты себѣ питье приготовляешь,
Отъ взгляда твоего прокиснетъ молоко...

1872 г.

ПРОПОВѢДНИКУ.

По всевышней волѣ Бога
Былъ твой спичъ довольно пустъ.
Говорилъ хотя ты много, —
Все же ты — не Златоустъ.

Карлсбадъ, 30-го мая 1872 г.

ЭПИГРАММА.

Т—въ мнѣ—ni froid, ni chaud,—
Я въ умъ его не вѣрю слѣпо:
Онъ, правда, *лѣтитъ* хорошо,
Но министерствуетъ *нелѣпо*.

Въ 70-хъ годахъ.

ПѢВЕЦЪ ВО СТАНѢ РУССКИХЪ КОМПОЗИТОРОВЪ.

Антрактъ. Въ театрѣ тишина:
Ни вызововъ, ни гула,
Вся зала въ сонъ погружена,
И часть пѣвцовъ заснула.
Вотъ я затѣмъ спѣшилъ домой,
Покинувъ Римъ счастливый!
На что тутъ годенъ голосъ мой:
Одни речитативы!
Но пѣть въ отчизнѣ долѣ вѣлеть...
О, Шашина родная!
Какое сердце не дрожить,
Тебя вспоминая!

Хвала вамъ, чада новыхъ лѣтъ,
Родной страны Орфеи,
Что мните черезъ менуэтъ
Распространять идеи!
Кого я вижу? Это ты-ль,
О мужъ великій, Стасовъ,
Постигшій византійскій стиль,
Знатокъ иконостасовъ?

Ты — музыкальный генералъ,
Мужъ слова и совѣта,
Но самъ отнюдь не сочинялъ...
Хвала тебѣ за это!

Ты, Корсаковъ, въ вѣдомостяхъ
Прославленный маэстро,
Ты — впрямь Садко: во всѣхъ садкахъ
Начальникъ ты оркестра! *
Ты, Мусоргскій, посредствомъ нотъ
Разскажешь все на свѣтѣ:
Какъ петли шьютъ, какъ грибъ растетъ,
Какъ въ дѣтской плачутъ дѣти.
Ты «Годунова» доконалъ,
И подѣломъ злодѣю!
Зачѣмъ младенца умерщвлялъ?
Винить тебя не смѣю!

Но кто сей Цезарь, сей Кюи?
Онъ сталъ фельетонистомъ,
Онъ мечетъ грозныя статьи
На радость гимназистамъ.
Онъ, какъ Ратклифъ, наводитъ страхъ:
Ничто ему Бетховенъ,
И даже престарѣлый Бахъ
Бывалъ предъ нимъ виновенъ.
И къ русскимъ мало въ немъ любви:
О, сколько имъ побитыхъ!
Зачѣмъ, Эдвардсъ, твой мечъ въ крови
Согражданъ знаменитыхъ?

Ты, Аванасьевъ молодецъ,
И Кашперовъ нашъ «грозный»,
И Фитингофъ, «Мазепы» льстецъ, —
Вамъ данъ хвалы серьезной.
О Сантисъ, ты попалъ впросакъ:
Здѣсь опера не чудо,

* Намекъ на то, что Н. А. Римскій-Корсаковъ былъ назначенъ начальникомъ всѣхъ морскихъ оркестровъ.

Въ страну, гдѣ дѣйствовалъ Ермакъ,
Тебѣ-бѣ уйти не худо!
О Бородинѣ, тебя страна
Внесла въ свои скрижали:
Недаромъ день Бородина
Мы тризной поминали!

О, Рубинштейнъ! Ты подчасъ
Задать способенъ жару.
Боюсь, твой «Демонъ» сгубить насъ,
Какъ ужъ сгубилъ Тамару!
Не голосъ будетъ нашъ страдать,
А больше поясница:
Легко-ль по воздуху летать? *
Вѣдь баритонъ не птица!
Но ты вѣка переживешь,
Враги твои дубины;
Намъ это доказать Ларошъ,
Создатель «Кармозины»!

И ты, Чайковскій! говорятъ,
Что оперу ты ставишь,
Въ которой вовсе не попадѣ
Насъ въ кузнѣ пѣть заставишь!
Погибнетъ въ ней пѣвца талантъ,
Оглухнемъ мы отъ гула:
Добро-бѣ «кузнечикъ-музыкантъ»,
А то «Кузнецъ Вакула»!
Не обездоли насъ, Петръ Ильичъ,
Вѣдь насъ прогонять въ зашей:
Дохода нѣтъ у насъ «опричь»
Того, что въ глоткѣ нашей!

Пока же, други, исполать
Воскликнемъ дружно снова,
И снова будемъ мирно спать
Подъ звуки «Годунова».

* При постановкѣ «Демона» говорили, что А. Г. Рубинштейнъ хотѣлъ, чтобы Демонъ все время леталъ на воздухѣ.

Одинъ ты бодрствуешь за всѣхъ,
Нашъ капитанъ-исправникъ,
По темпу нѣмецъ, родомъ чехъ,
Душою россъ — Направникъ!
Подвластны всѣ тебѣ, герой:
Контральто, басъ, сопрано,
Смычокъ, рожокъ, труба, гобой.
Ура, опоковано!


1875 г.



ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ИПОХОНДРИКА.

«Жизнь пережить — не поле перейти!»
Да, точно: жизнь скучна, и каждый день скучнѣе;
Но грустно до того сознанія дойти,
Что поле перейти мнѣ все-таки труднѣе.

Въ концѣ 70-хъ годовъ.



НАДПИСЬ НА СВОЕМЪ ПОРТРЕТѢ.

Взглянувъ на этотъ отощавшій профиль,
Ты можешь съ гордостью сказать:
«Недаромъ я водилъ его гулять
«И отнималъ за завтракомъ картофель»».

22-го марта 1884 г.



КУМУШКАМЪ.

— Иванъ Ивановичъ фанъ-деръ-Флитъ
Женатъ на теткѣ Воронцова, —
Изъ нихъ который-то убить
Въ отрядѣ славнаго Слѣпцова.
— Иванъ Ивановичъ фанъ-деръ-Флитъ
Былъ только раненъ — я то знаю —
А Воронцовъ? — Тотъ былъ убить...
— Ахъ, нѣтъ! Не то! Припоминаю:
Ни Воронцовъ, ни фанъ-деръ-Флитъ,
Изъ нихъ никто не былъ убить,
Ни даже тетка Воронцова...
Одно извѣстно: люди эти
И вовсе не были на свѣтѣ,
И даже, кажется, наврядъ
Была и тетка Воронцова?
Но былъ дѣйствительно отрядъ,
Да только вовсе не Слѣпцова...
— Затѣмъ пронесся слухъ таковъ,
Что вовсе не было отряда,
А былъ поручикъ Пироговъ...
— Да былъ ли? Справиться бы надо.
И справками, въ концѣ концовъ,
Одна лишь истина добыта:
Иванъ Ивановичъ Воронцовъ
Женатъ на теткѣ фанъ-деръ-Флита.

1888 г.

П. И. ЧАЙКОВСКОМУ.

Къ отъѣзду музыканта-друга
Мой стихъ минорный тонъ беретъ,
И нашей старой дружбы фуга,
Все развиваясь, растетъ...

Мы увертюру жизни бурной
Сыграли вмѣстѣ до конца,
Грядущей славы маршь бравурный
Намъ рано волновалъ сердца.

Въ свои мы вѣрили таланты,
Дѣлились массой чувствъ, идей...
И былъ ты въ родѣ доминанты
Въ аккордахъ юности моей.

Увы! та пѣсня отзвучала,
Инымъ я звукамъ отдался.
Я детонировалъ не мало
И съ диссонансами сжился;

Давно безъ счастья и безъ дѣла
Дары небесъ я растерялъ,
Мнѣ жизнь, какъ гамма, надоѣла,
И близокъ, близокъ мой финалъ...

Но ты, когда для жизни вѣчной
Меня зароютъ подъ землей, —
Ты въ нотахъ памяти сердечной
Не ставь бекара предо мной.

Въ 80-хъ годахъ.

ПОСЛАНИЕ.

ГРАФУ А. Н. ГРАББЕ ВО ВРЕМЯ ЕГО КРУГОСВѢТНАГО ПЛАВАНІЯ
НА ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ ЯХТѢ «ТАМАРА».

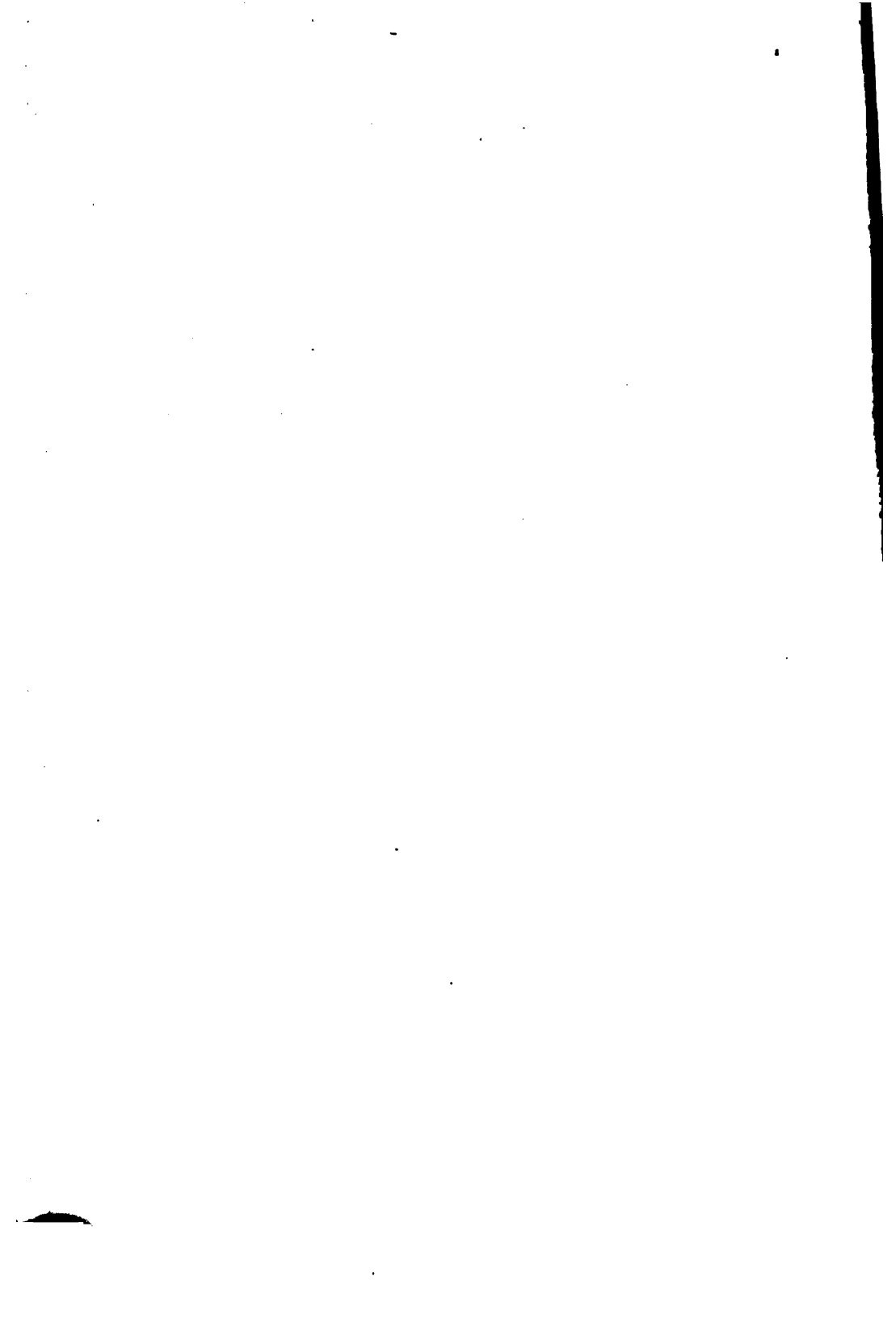
Княжна Тамара, дочь Гудала,
Лишившись рано жениха,
Простой монахиней стала,
Но не спаслася отъ грѣха.
Къ ней, по причинѣ неизвѣстной,
Явился демонъ, врагъ небесъ,
И предъ грузинкою прелестной
Разсыпался, какъ мелкій бѣсъ.
Она боролась, уступая,
И пала, выбившись изъ силъ...
За это ангелъ двери рая
Предъ ней любезно растворилъ.

Не такова твоя «Тамара»:
Съ запасомъ воли и труда,
Она вокругъ земного шара
Идетъ безстрастна и горда;
Живетъ средъ бурь, среди тумана,
И, русской чести вѣрный стражъ,
Несетъ чрезъ бездны океана
Свой симпатичный экипажъ.

Британскій демонъ злобой черной
Не нанесетъ ущерба ей
И рѣчью льстивой и притворной
Не усыпить ея очей.
Ей рай отчизны часто снится,
И въ этой рай, душой свѣтла,
Она по праву возвратится
И непорочна, и цѣла.

12-го декабря 1898 г.

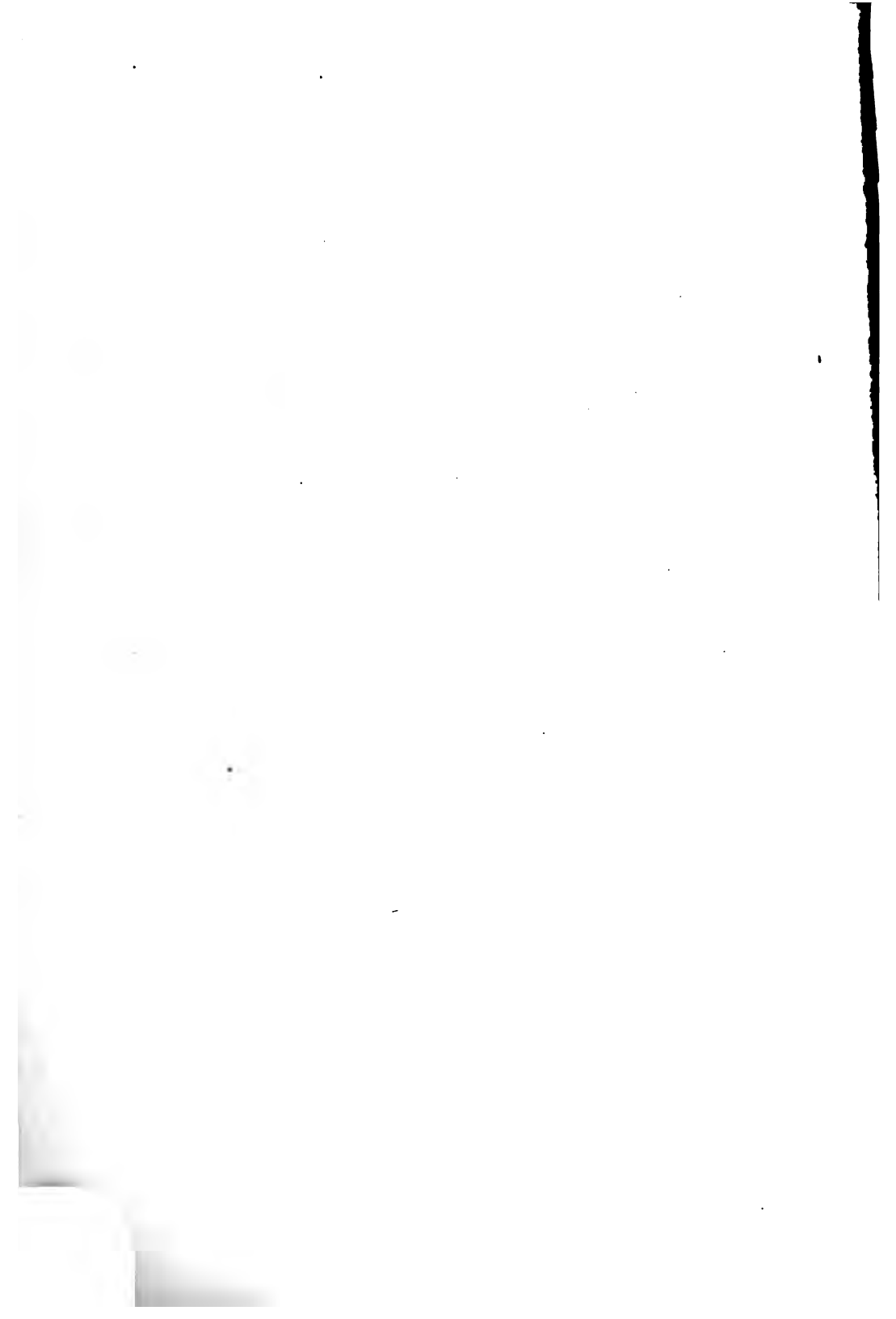
— — — — —



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

—

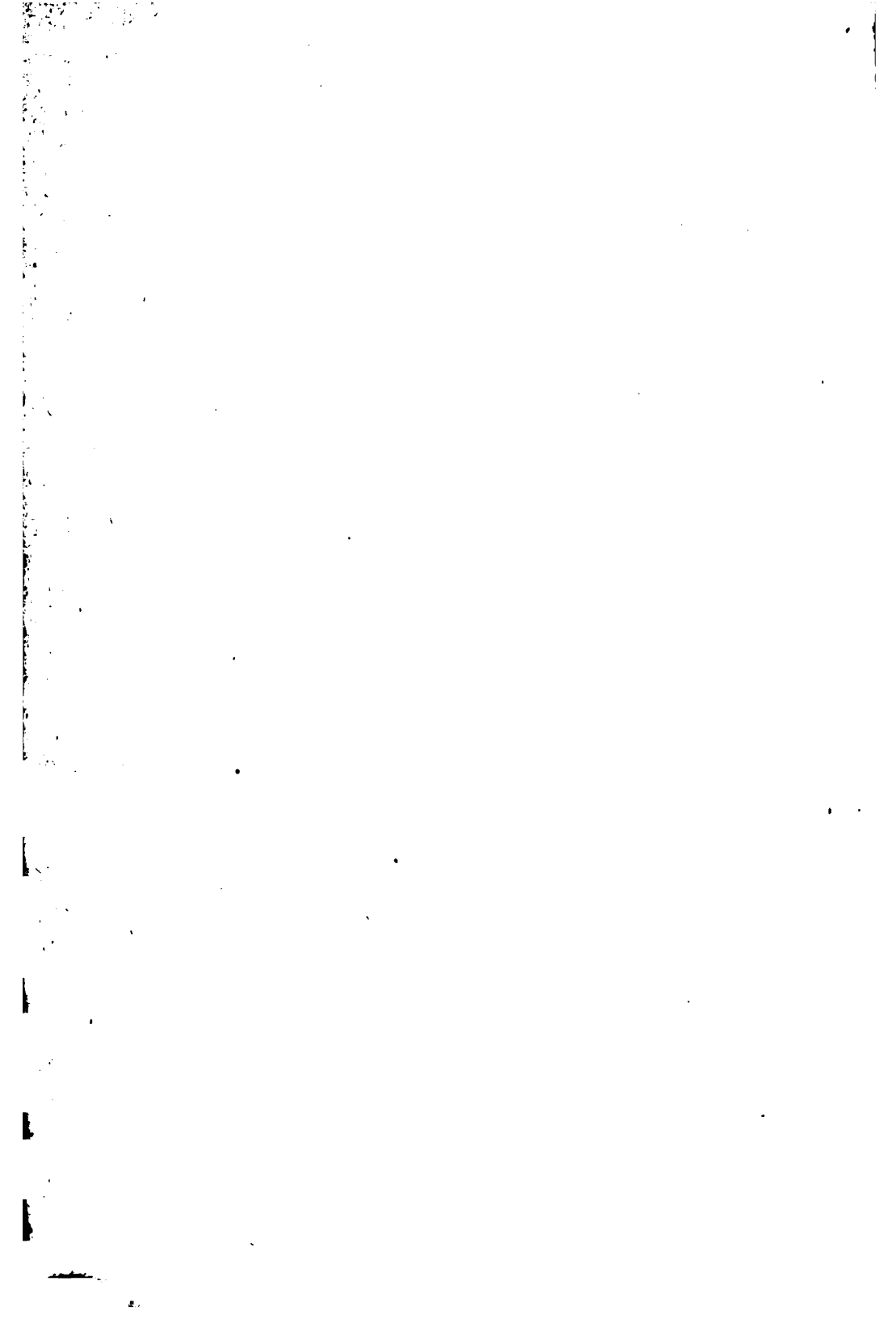
ПРОЗА



АРХИВЪ

ГРАФИНИ Д**

ПОВѢСТЬ ВЪ ПИСЬМАХЪ.



1. Отъ Александра Васильевича Можайскаго.

(Получ. въ Петербургъ 25 марта 18..).

Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна. Согласно данному мной обѣщанію, спѣшу написать Вамъ тотчасъ по приѣздѣ въ мое старое, давно повинутое гнѣздо. Я увѣренъ, что мои письма не могутъ интересовать Васъ и что Ваше приказаніе писать было только любезной фразой; но я хочу доказать Вамъ, что всякое Ваше желаніе для меня законъ, хотя бы оно было высказано въ шутку.

Прежде всего отвѣчу на вопросъ, съ котораго начался нашъ послѣдній разговоръ у Марьи Ивановны, т.-е. почему и для чего я покидаю Петербургъ? Я тогда отвѣчалъ уклончиво; теперь скажу Вамъ всю правду. Я уѣхалъ, потому что разорился; я уѣхалъ для того, чтобы спасти остатки моего когда-то большого состоянія. Петербургъ затягиваетъ, какъ болото, и, пока живешь въ немъ, нѣтъ никакой возможности что-нибудь поправить. Вотъ я и рѣшился на радикальную мѣру, которая, по правдѣ сказать, не стоила мнѣ большихъ усилій, потому что петербургская жизнь порядочно мнѣ надоѣла.

Но по какой-то непонятной ироніи судьбы послѣдній день, проведенный мною въ Петербургѣ, заставилъ меня глубоко раскаяться въ моемъ рѣшеніи. Утромъ я заѣхалъ въ англійскій магазинъ, чтобы купить дорожную сумку, и встрѣтилъ тамъ Марью Ивановну, которая пригласила меня пріѣхать къ ней вечеромъ. На этомъ вечерѣ Вы были со мной такъ очаровательно любезны,

Вы выказали мнѣ столько вниманія, столько сердечнаго участія, что едва не поколебали мою рѣшимость. И вспомнилъ я, какъ два года тому назадъ, на вечерѣ у той же Марьи Ивановны, Вы также ласково разговаривали съ Кудряшинымъ, и какъ я мучительно ему завидовалъ. «Дмитрій Кудряшинъ,—думалъ я тогда,—мой товарищъ, онъ столь же мало аристократъ, какъ и я... За что же ему такое исключительное вниманіе отъ царицы петербургскихъ красавицъ? Неужели никогда не пробьетъ и мой часъ?» Увы! мой часъ пробилъ слишкомъ поздно, но, во всякомъ случаѣ, я отъ души благодарю ту, которая этимъ часомъ вознаградила меня за годы петербургскаго холода и скуки.

Я не смѣю надѣяться, многоуважаемая графиня, что Вы захотите отвѣтить на это письмо, но на всякій случай прилагаю мой адресъ: губернской городъ Слободскъ. Мое имѣніе въ двадцати верстахъ отъ Слободска, и почту я получаю ежедневно.

Съ глубокимъ уваженіемъ имѣю честь быть искренно Вамъ преданнымъ

А. Можайскій.

2. Отъ него же.

(Получ. 3-го апрѣля).

Какъ мнѣ благодарить Васъ, многоуважаемая графиня, за Ваши теплыя, дружескія строки? Не зная Вашего почерка, я равнодушно разорвалъ конвертъ, но, посмотрѣвъ на подпись, вскопчилъ съ мѣста отъ восторга. Вы удивляетесь тому, что, живя такъ долго въ одномъ городѣ, я до сихъ поръ не замѣчалъ Васъ... О, какъ жестоко Вы ошибаетесь! Каждая встрѣча съ Вами оставляла въ моемъ сердцѣ глубокій слѣдъ, какую-то смѣсь восхищенія и горечи... Да и какъ можно не замѣтить этой строгой античной красоты, этой царственной поступи, этого задумчиваго взгляда, до того проникающаго въ душу, что, когда Вы опускаете глаза въ землю, Вашему собесѣднику кажется, что Вы продолжаете смотрѣть на него сквозь закрытыя вѣки... Но что же я могъ сдѣлать, чтобы высказать мои восторги? Вы казались такъ недоступны, такъ мало обращали на меня вниманія... Разъ я преодолѣлъ свою робость, сдѣлалъ Вамъ визитъ, конечно, не за-

сталъ дома и черезъ три дня нашелъ у себя карточку графа. На этомъ наше знакомство остановилось.

Вы спрашиваете, почему я заговорилъ о Кудряшинѣ, и желаете знать мое мнѣніе о немъ. Кудряшина я знаю съ дѣтства, мы воспитывались вмѣстѣ въ лицѣ. Онъ былъ тогда очень красивымъ и добрымъ малымъ и безшабашнымъ кутилой; такимъ же онъ былъ послѣ въ гусарахъ, такимъ же остается и теперь, въ отставкѣ. Въ немъ нѣтъ ничего возвышеннаго, онъ слишкомъ *terre-à-terre*,—вотъ почему я удивленъ былъ Вашимъ вниманіемъ къ нему, и вотъ почему я заговорилъ о немъ. Никакой другой цѣли у меня при этомъ не было.

Теперь всѣ мои помыслы устремлены на то, чтобы поскорѣе кончить устройство или даже разстройство моихъ дѣлъ и имѣть возможность пріѣхать зимой въ Петербургъ. Вмѣстѣ съ Вашимъ письмомъ пришло ко мнѣ письмо отъ извѣстнаго одесскаго богача Сапунопуло. Онъ на-дняхъ проѣздомъ былъ у меня, подробно осматривалъ мое имѣніе и теперь вызываетъ меня въ Одессу, предлагая какую-то очень хитрую комбинацію. Завтра я уѣзжаю, а дней черезъ десять надѣюсь вернуться, и—кто знаетъ?—можетъ быть, на своемъ письменномъ столѣ найду маленький конвертъ съ графской короной. Повѣрьте, что при распечатываніи этого конверта я особеннаго равнодушія испытывать не буду.

А что значить загадочная фраза: «Можетъ быть, увидимся раньше, чѣмъ вы ожидаете!» Припоминаю, что Вы говорили мнѣ о какой-то старой, больной тетукѣ, живущей въ Слободской губерніи. Не собираетесь ли Вы посѣтить ее? Вотъ было бы счастье! Какая досада, что я не спросилъ у Васъ фамилію этой тетухи, я бы, конечно, разыскалъ ее и съ блаженствомъ покрылъ поцѣлуями ея сморщенные руки, потому что она Ваша тетуха, потому что она такъ стара и больна и потому что я чувствую себя опять молодымъ и способнымъ жить и наслаждаться.

А пока, за неимѣніемъ сморщенныхъ тетухиныхъ рукъ, позвольте мнѣ мысленно приложиться почтительно къ той бѣлоснѣжной ручкѣ, которая будетъ держать это письмо.

Безконечно Вамъ преданный
А. Можайскій.

3. Отъ него же.

(Получ. 15-го апрѣля).

Ура! милая, дорогая графиня,—я не въ силахъ называть Васъ только многоуважаемой»,—ура! я отгадалъ: Вы собираетесь навѣстить тетушку. Лучшее этого Вы ничего не могли придумать. Еслибъ я зналъ, что тетушку зовутъ Анной Ивановной Кречетовой, я давно могъ бы дать Вамъ о ней самыя точныя свѣдѣнія. Правда, я никогда ея не видалъ, но съ ранняго дѣтства много о ней слышалъ, потому что она имѣла какой-то процессъ съ моимъ отцомъ. Она живетъ все въ той же деревнѣ, въ которой протекла часть Вашего дѣтства, т. е. въ Красныхъ Хрящахъ (какое ужасное названіе!). Эти Хрящи въ тридцати верстахъ отъ Слободска, но въ другую сторону отъ моей Гнѣздиловки. Впрочемъ, если, минуя городъ, ѣхать проселкомъ, между нами будетъ не болѣе тридцати двухъ или тридцати трехъ верстъ.

Вчера, получивъ Ваше письмо, я, конечно, сейчасъ поскакалъ въ городъ исполнять Ваше порученіе. Отыскать Вашу подругу дѣтства мнѣ было очень легко, такъ какъ я съ Надеждой Васильевной хорошо знакомъ; ея мужъ управляетъ у насъ палатой Государственныхъ Имуществъ. Надежда Васильевна была очень тронута Вашимъ воспоминаніемъ; сегодня я снарядилъ ее въ Хрящи, чтобы зондировать тетушку. О результатахъ этой поѣздки имѣю честь почтительнѣйше донести.

Тетушка, узнавъ, что Вы собираетесь къ ней пріѣхать, выпустила безумную радость. Она сказала, что Вы ея ближайшая родственница, что она любила Васъ, какъ дочь, что ссора съ Вами была самымъ сильнымъ горемъ ея жизни, но что теперь, если Вы рѣшились забыть прошлое, она приметъ Васъ съ распростертыми объятіями. Она сама напишетъ Вамъ объ этомъ, если хватитъ силы. Она дѣйствительно очень стара и больна. У нея живутъ двѣ ея двоюродныя племянницы, княжны Пышечкія, на которыхъ, по замѣчанію Надежды Васильевны, извѣстіе о Вашемъ пріѣздѣ произвело не особенно пріятное впечатлѣніе. Эти княжны, вѣроятно, боятся потерять тетушкино наслѣдство,—очень оно Вамъ нужно! Кромѣ того, при тетушкѣ живетъ давно,—

Вы, можетъ быть, видали ее въ дѣтствѣ,—какая-то Василиса Ивановна Мѣдяшкина. Это простая приживалка, но забрала такую власть надъ тетушкой, что распоряжается рѣшительно всѣмъ.

Мнѣ остается отвѣтить на два пункта Вашего письма. Поѣздка моя въ Одессу была не безплодна. Операція заключается въ томъ, что Сапунопуло сразу уплачиваетъ всѣ мои долги и за это беретъ меня, т. е. все мое имущество, въ кабалу на неопредѣленное число лѣтъ. Мы споримъ о подробностяхъ, но, вѣроятно, придемъ къ соглашенію. Ликвидация усложняется тѣмъ, что у него есть дочь Соничка, которая очень со мною кокетничаетъ. Мнѣ кажется, что во мнѣ ей нравится не столько наружность, сколько придворное званіе. Эта дѣвица немногимъ моложе меня, дурна, какъ смертный грѣхъ, и имѣетъ всевозможныя претензіи: говорить на пяти языкахъ, играетъ на фортепiano и на арфѣ; кромѣ того, поетъ и даже пишетъ стихи. Въ такую энциклопедическую кабалу я, конечно, не пойду.

Затѣмъ Вы непремѣнно хотите знать, отъ кого и что я слышалъ о Вашей дружбѣ съ Кудряшинымъ. Клянусь же Вамъ, что я рѣшительно ничего не слышалъ, а упомянулъ о Кудряшинѣ потому, что разъ дѣйствительно ему завидовалъ, видя, какъ Вы были съ нимъ любезны. Да и что такое я могъ слышать? Вы не только царица по красотѣ,—Вы и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ стоите на-такой недосыгаемой высотѣ, что никакая злая клевета не можетъ дотянуть до Васъ своего змѣинаго жала.

А теперь позвольте мнѣ на-время забыть и Кудряшина, и Сапунопуло съ дочерью, и все остальное, чтобы предаться одному занятію: считать дни и часы до того счастливаго мгновенія, когда пріѣздъ Вашъ окончательно сведетъ съ ума и безъ того уже безумнаго, но искренно Вамъ преданнаго

А. Можайскаго.

4. Отъ Василисы Ивановны Мѣдяшкиной.

(Получ. 17-10 апрѣля).

Ваше Сіятельство. Тетушка Ваша и моя благодѣтельница Анна Ивановна приказали мнѣ написать Вамъ, что онѣ будутъ ждать Васъ съ радостью и нетерпѣніемъ; сами же онѣ писать

не могутъ по причинѣ большого ослабѣнія. А я то какъ буду рада повидать Васъ! Вы, конечно, меня забыли, а я хорошо помню, какъ Вы здѣсь бѣгали такой миленькой крошкой и своими невинными рученочками били меня по щекамъ и приговаривали: «вотъ тебѣ, Силися!» А еще просятъ Васъ Анна Ивановна привезти имъ черносливу французскаго въ синихъ коробкахъ. Здѣсь этого чернослива ни за какія деньги достать нельзя, а тетушка очень его любитъ, и онъ помогаетъ ихнему пищеваренію.

Цѣлую ручки Вашего Сіятельства и остаюсь рабски Вамъ преданная Василиса Мѣдяшкіна.

Пріѣзжай скорѣе, другъ мой Катя.

Твоя Анна Кречетова.

5. Делеша отъ А. В. Можайскаго.

(Получ. въ Москвѣ 22-10 апрѣля).

Умоляю не телеграфировать тетускѣ о пріѣздѣ; встрѣчу на станціи съ дормезомъ и лошадьми, которыя помчатъ Васъ, куда прикажете.

Можайскій.

6. Отъ него же.

(Получ. въ Красныхъ Хрящахъ 29-10 апрѣля).

Нужно ли говорить Вамъ, милая, дорогая графиня, что день, проведенный съ Вами, никогда не изгладится изъ моей памяти, что тяжелыя яства Надежды Васильевны показались мнѣ самымъ тонкимъ обѣдомъ, что тѣ три часа, которые я провелъ потомъ съ Вами въ ожиданіи лошадей, были счастливѣйшими часами моей жизни? Вы спросили меня на прощанье, отчего я не предложилъ Вамъ провести этотъ день въ Гнѣздиловкѣ? Боже мой! отчего... отчего... Да, конечно, оттого, что не посмѣлъ! Неужели же Вы думаете, что я не желалъ этого? Неужели Вы не ви-

дите, что вся моя жизнь принадлежит безповоротно Вамъ? Я ничего у Васъ не прошу, ни на что не надѣюсь, мое счастье—чувствовать себя Вашимъ рабомъ и знать, что у меня есть какая-нибудь цѣль въ жизни.

Вы, конечно, не забыли, милая графиня, своего обѣщанія обѣдать у меня завтра съ Надеждой Васильевной. Представьте себѣ, что этотъ обѣдъ приходится отложить, потому что Ваша подруга заявила, что она ѣхать ко мнѣ безъ мужа не можетъ (какая провинціальная чопорность!), а мужъ встрѣчаетъ какого-то сановника, который въ 6 часовъ проѣзжаетъ черезъ Слободскъ. Надежда Васильевна проситъ перенести обѣдъ на послѣзавтра, и я надѣюсь, что Вы противъ этого ничего не имѣете, но тутъ является слѣдующая complicatio. Вы сговорились ѣхать на лошадахъ Надежды Васильевны, а тетушкины одры должны были отдыхать въ городѣ, но такъ какъ Надежда Васильевна ѣдетъ съ мужемъ въ двухмѣстномъ фаэтонѣ и для Васъ мѣста нѣтъ, то не согласитесь ли Вы, не заѣзжая въ городъ, пріѣхать ко мнѣ прямо проселкомъ? Маршрутъ Вашъ будетъ слѣдующій: до парома Вы доѣдете по извѣстной Вамъ дорогѣ, послѣ переправы Вы повернете нѣко на Селихово и Огарково, потомъ свернете на большую дорогу и на седьмой верстѣ увидите направо отъ дороги старый гнѣздиловскій домъ, который весь расцвѣтеть, когда Вы переступите его порогъ, какъ расцвѣло мое еще не старое, но уже помятое жизнью сердце. Выѣзжайте пораньше, часовъ въ девять. Мы позавтракаемъ въ той бесѣдкѣ, въ глубинѣ сада, о которой я Вамъ говорилъ, и терпѣливо будемъ ждать добрую, но скучную Надежду Васильевну и ея столь необходимаго для нея мужа.

Это письмо я рѣшаюсь послать со своимъ приказчикомъ. Жду на колѣняхъ милостиваго отвѣта.

А. Можайскій.

7. Отъ него же.

(Получ. 4-го мая).

Милая моя Китти, ради Бога позволю мнѣ прїѣхать въ Хрящи и представь меня тетушкѣ; а это ужасно—жить отъ тебя такъ близко и въ то же время такъ далеко. Будь спокойна, я буду вести себя примѣрно, не выдамъ ни себя, ни тебя.

Твой А. М.

8. Отъ графа Д.

(Получ. 6-го мая).

Наконецъ-то, милая Китти, получилъ я твое извѣщеніе о благополучномъ прибытіи въ тетушкины Хрящи. Рѣшительно не понимаю, что ты могла такъ долго дѣлать въ Москвѣ. Впрочемъ, Москва, какъ говорилъ мой прїятель, тѣмъ отличается отъ Петербурга, что въ Петербургѣ живемъ мы, а въ Москвѣ живутъ наши родственники. А отъ московскихъ родственниковъ обѣдовъ отбояриться трудно. Какъ странно, что тетушка не получила твоей депеши изъ Москвы, и какое счастье, что ты встрѣтила на станціи этого Можайскаго, который досталъ тебѣ карету и лошадей. Какой это Можайскій? Камергеръ, бывшій лицеистъ? Я его встрѣчалъ на выходахъ во дворцѣ и кое-гдѣ въ обществѣ, но рѣшительно не помню, чтобы онъ когда-нибудь былъ у насъ и чтобы мнѣ приходилось отдавать ему визитъ. Впрочемъ, тотъ ли это Можайскій или какой-нибудь другой,—во всякомъ случаѣ, большое ему спасибо!

Очень радъ, что твои первыя впечатлѣнія прїятны и что черносливъ понравился тетушкѣ. Я велѣлъ Смурову высылать ей каждую недѣлю по двѣ коробки. Какъ Генрихъ IV сказалъ: «Paris vaut bien une messe», такъ и я скажу: тетушкины Хрящи стоятъ нѣсколькихъ коробокъ чернослива. Положимъ, мы съ тобой имѣемъ довольно и своего, но сорокъ лишнихъ тысячъ дохода никогда не мѣшаютъ. А у нея, я думаю, не меньше.

Черезъ часъ послѣ твоего отъѣзда ко мнѣ вбѣжала Марья Ивановна, или, по-твоему, Мери, вся растрепанная, въ сильномъ

волненія, и начала шарить въ твоихъ ящикахъ, ища какую-то очень важную записку. Напрасно я ей объяснялъ, что твой архивъ ведется въ такомъ порядкѣ, какого можно пожелать любому государственному архиву, что онъ подъ семью замками, такъ что и мнѣ невозможно въ него «запустить глазеналы», какъ говорятъ моветоны у насъ въ клубѣ,—она все продолжала шарить, ничего не нашла и уѣхала въ большомъ горѣ. Я воображаю, какая это важная записка!

У насъ никакихъ особенныхъ новостей нѣтъ. Во вторникъ, возвратясь изъ клуба, я былъ очень удивленъ, увидя въ швейцарской цѣлую гору карточекъ; я совсѣмъ забылъ, что это былъ твой приѣмный день. Швейцаръ по твоему приказу говорилъ просто: сегодня приѣма нѣтъ. Я не совсѣмъ понимаю, отчего ты пожелала окружить свою поѣздку какой-то тайной. Если бы ты уѣзжала на пять дней, это бы еще можно было скрыть, но какъ ты скроешь, если тебя не будутъ видѣть двѣ-три недѣли? Да и теперь уже кое-кто знаетъ, и вчера баронесса Визенъ,—эта вѣстница Европы, какъ я ее называю,—спрашивала меня: правда ли, что ты поѣхала получать большое наслѣдство? На завтра мы приглашены обѣдать въ австрійское посольство. О тебѣ я написалъ, что ты нездорова, а самому придется ѣхать, какъ это ни скучно. Въ городѣ опять усиленно заговорили объ Обществѣ спасенія погибающихъ дѣвицъ. Хотятъ выбрать председательницей княгиню Кривобокую, но она, говорятъ, колеблется, потому что еще не знаетъ, какъ на это Общество смотрятъ en haut lieu. Игра моя въ клубѣ идетъ хорошо; вчера встрѣтилъ на Морской Софью Александровну, которая пригласила меня завтра играть у нея въ винтъ запросто, въ сюртукѣ.

Прощай, милая Китти, пріѣзжай поскорѣе, но, конечно, если увидишь, что полезно еще пожить у тетушки, не стѣсняйся. Впрочемъ, не мнѣ тебя учить, при твоемъ умѣ и тактѣ. Съ такой женой, какъ ты, можно спокойно спать во всѣхъ отношеніяхъ. Дѣти здоровы и цѣлуютъ тебя.

Твой мужъ и другъ Д.

Если встрѣтишь Можайскаго, поблагодари его отъ моего имени за все, что онъ сдѣлалъ для тебя.

9. Отъ Марьи Ивановны Бояровой.

(Получ. 7-10 мая).

Я такъ обрадовалась письму твоему, милая Китти, что у насъ вышла цѣлая семейная драма. Мы сидѣли за завтракомъ, когда принесли письмо. Узнавъ твой почеркъ, я вскрикнула и покраснѣла отъ радости. Ипполитъ Николаичъ сейчасъ же «возымѣлъ нѣкоторое подозрѣніе», какъ онъ выражается, и, когда дѣти ушли, началъ приставать, чтобы я показала ему письмо. Я разсердилась и промучила его цѣлый часъ, онъ все время читалъ наставленія и говорилъ колкости. Наконецъ, когда онъ сравнилъ меня съ Клеопатрой, съ женой Пентефрія и еще съ кѣмъ-то, я показала ему твою подпись. Онъ былъ очень сконфуженъ, *et à mon tour je lui ai dit des choses pénibles*. Я сказала, что такого тупого, подозрительнаго человѣка и съ такимъ кислымъ лицомъ никогда не назначать министромъ, и что онъ всю жизнь останется товарищемъ. Это его самое большое мѣсто.

Въ день твоего отъѣзда у меня случился цѣлый переполохъ съ запиской Кости Невѣрова, которую я привозила показать тебѣ утромъ. Я вообразила, что забыла эту записку у тебя и перерыла всѣ твои ящики. Графъ увѣрялъ меня, что твой архивъ подъ семью замками, но это меня нисколько не успокоило: не могла же ты помѣстить въ свой архивъ письмо ко мнѣ! *Je ne puis pas te cacher, qu'à cette occasion ton mari m'a fait un brin de cour*. Я была въ отчаяніи, что Костина записка могла попасть въ чужія руки, *car ce billet compromettrait tout autant son maître d'orthographe que moi*, и представь себѣ, что на слѣдующее утро нашла ее на полу у себя въ спальнѣ.

Ну, что ты подѣлываешь у своей тетушки? Я отсюда вижу, какъ ты спрятала *tes airs de reine* и вошла съ опущенными глазками, съ видомъ Мадонны, и какъ тетушка и всѣ ея приживалки были къ вечеру плѣнены и околдованы тобою. Что Можайскій? Отчего ты не пишешь мнѣ никакихъ подробностей? Кто лучше: онъ или Кудряшинъ? Если-бъ мнѣ велѣли выбрать одного изъ нихъ, я бы выбрала Кудряшина. Можайскій *n'est qu'un roseur* и все время рисуется, а у Кудряшина вся душа на распахку. Впрочемъ, тебѣ это лучше знать, а мнѣ не надо

никого, кромѣ моего Кости. Я никакъ не думала, что полюблю его такъ сильно. Онъ проводитъ у меня цѣлые дни, и Ипполитъ Николаичъ avec la perspicacité qui le caractérise n'en est nullement jaloux. Новый учитель нашъ, Василій Степанычъ, котораго, кажется, ты видѣла, начинаетъ немного въ меня влюбляться, и у Кости происходятъ съ нимъ каждый день презабавныя стычки. Василій Степанычъ большой либераль, а Костя страшный консерваторъ, и оба говорятъ такія глупости, что просто уши вянутъ. Мнѣ стыдно сознаться,—но вѣдь я ничего отъ тебя не скрываю,—что никогда я не люблю Костю такъ сильно, какъ въ то время, когда онъ говоритъ свои глупости. Лицо его разгорится, глаза блестятъ, онъ смотритъ на своего противника такъ грозно и съ такой отвагой, что я уже не слушаю, а только люблюсь имъ. Я нисколько не ослѣплена насчетъ Кости. Я знаю, что онъ не особенно уменъ, son éducation laisse à désirer; я знаю, что глупо такъ привязаться къ нему, но что же дѣлать, c'est plus fort, que moi. Вчера онъ привозилъ ко мнѣ своего брата Мишу, камеръ-пажа, который черезъ два мѣсяца будетъ также офицеромъ. Этотъ Миша тоже очень красивъ, но ни лицомъ, ни манерами нисколько не напоминаетъ брата: il est très doux, très blond et très distingué. Я пари держу, что они отъ разныхъ отцовъ. On dit que la vieille madame Невѣровъ ne se refusait rien dans le temps, и только подъ старость сдѣлалась святой женщиной.

У насъ ничего новаго нѣтъ, все идетъ по-старому. Много говорятъ о Нинѣ Карской, которая все живетъ за границей и выдѣлываетъ Богъ знаетъ что. Тотъ парижскій скандалъ, которому ты еще не хотѣла вѣрить, оказывается совершенной правдой; баронесса Визенъ рассказываетъ его со всѣми подробностями... Только отъ кого она могла узнать все это? Не сама же Нина ей написала!

Ну, прощай, милая Китти, надо кончить письмо, а то я буду болтать съ тобой до завтра. Пиши мнѣ почаще и продолжай соединять полезное съ пріятнымъ. Я всегда считала тебя необыкновенной женщиной, но то, что ты сдѣлала теперь, это—сoble ловкости. Исполнить свой минутный капризъ и за это получить сорокъ тысячъ дохода—c'est un trait de génie, ou je ne m'y connais pas.

Твоя Мери.

10. Отъ графа Д.

(Получ. 15-10 мая).

Ну, ты, кажется, совсѣмъ застряла у тетушки, моя милая бѣг-лянка. Я не смѣю роптать, потому что, если ты тамъ остаешься, значить такъ нужно, но все же тяжело переносить разлуку съ такой красивой и милой женой. Да и ты, я думаю, соскучилась по мнѣ... Кто тамъ тебя, бѣдную, приласкаетъ.

Все, что ты мнѣ пишешь о тетушкѣ, заставляетъ меня надѣяться, что разлука наша, по крайней мѣрѣ, не будетъ безплодна. Особенно знаменательны слова тетушки: «все, что твое,—мое», но только мнѣ кажется, что она должна была сказать наоборотъ. Теперь позволь мнѣ дать тебѣ совѣтъ относительно распредѣленія подарковъ при твоёмъ отъѣздѣ. Княжны Пышечкія—наши враги, ихъ все равно ничѣмъ не купишь, а потому я думаю, что имъ можно не давать никакихъ подарковъ. Василиса—дѣло другое, ее можно и должно купить, но только такимъ людямъ давать сразу много не слѣдуетъ, имъ нужно больше показывать перспективу будущихъ благовъ. Платье отдай ей теперь, а шаль можно будетъ прислать къ празднику, да, если можно, сунь ей что-нибудь деньгами.

Я, кажется, писалъ тебѣ, что Софья Александровна пригласила меня на партію винта, запросто, въ сюртукѣ. Оказалось, что она говорила это всѣмъ своимъ знакомымъ, которыхъ встрѣчала въ теченіе трехъ дней. Я пріѣхалъ въ одиннадцатомъ часу и нашелъ человекъ пятьдесятъ, которые барахтались въ ея маленькой квартирѣ, однимъ словомъ, вечеръ en forme. Къ счастью, я въ тотъ день обѣдалъ въ австрійскомъ посольствѣ, а потому одѣтъ былъ не запросто, а какъ слѣдуетъ. Видѣлъ тамъ твою Мери и съ большимъ удовольствіемъ поговорилъ съ ней, потому что она косвенно напомнила мнѣ тебя. Только зачѣмъ при ней неотлучно состоитъ эта громадная каланча Невѣровъ? Мери слишкомъ умная женщина, чтобы находить удовольствіе въ его обществѣ.

Третьяго дня я былъ очень встревоженъ тѣмъ, что твоя москка цѣлый день ничего не ѣла и какъ-то странно стонала. Я сейчасъ же послалъ за ветеринаромъ; онъ ее чѣмъ-то вымазалъ и далъ лѣкарство; сегодня она, слава Богу, совсѣмъ здорова. Дѣти здоровы и цѣлуютъ тебя.

Твой мужъ и другъ Д.

11. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 16-го мая).

Спасибо, милая Китти, за твое большое дружеское письмо. Даже такая непроницаемая для всѣхъ женщина, какъ ты,—и та чувствуетъ потребность имѣть кого-нибудь, съ кѣмъ можно говорить à coeur ouvert. Кого же тебѣ и выбрать, какъ не меня, которая обожаетъ тебя съ дѣтства? Mais pourquoi me recomman-des-tu la discrétion? Про себя я разболтаю все, что хочешь, но если дѣло касается тебя, то умѣю молчать. Архива у меня нѣтъ и всѣ твои письма я какъ прочту, такъ сейчасъ же рву. Мнѣ также надо рассказать тебѣ много смѣшного и много грустнаго. Во-первыхъ, у насъ опять произошла семейная драма. Ипполитъ Николаичъ, просматривая учебныя тетради Мити, вѣроятно, заглянулъ въ ящикъ учителя и открылъ посланіе въ стихахъ, въ которомъ Василій Степанычъ объяснялся мнѣ въ любви. Я думаю, что онъ никогда не рѣшился бы поднести мнѣ эти стихи, а писалъ ихъ для своего собственнаго удовольствія, mais il a eu la sottise de placer mes initiales à la tête. Ипполитъ Николаичъ, конечно, сейчасъ же возымѣлъ подозрѣніе, рассчиталъ учителя и велѣлъ ему черезъ часъ покинуть нашъ домъ, потомъ пришелъ дѣлать сцену мнѣ. Я была еще въ постели и съ просонья испугалась, думая, что онъ узналъ что-нибудь про Костю, но когда онъ началъ читать преступное стихотвореніе, я не могла удержаться отъ хохота. Каковы эти стихи, можешь судить по послѣднему куплету:

Сбрось этотъ бархатъ, эти блонды,
Услышь, услышь любовь мою
И предъ могуществомъ природы
Склони головку ты свою.

Какъ я ни уговаривала Ипполита Николаича примириться съ учителемъ, онъ остался непреклоненъ, увѣряя, что поэзія имѣетъ страшное вліяніе на слабое сердце женщины. Я думаю, во всемъ мірѣ не было еще такого примѣра, чтобы какая-нибудь женщина измѣнила мужу изъ-за стиховъ, особенно такихъ, въ которыхъ блонды рѣмуютъ съ природой. И зачѣмъ ему понадобились эти блонды? Я ихъ отъ роду не носила. Боясь, что по своимъ «принципамъ благоразумной экономіи» Ипполитъ

Николаичъ обсчиталъ учителя, я послала ему черезъ Митю пакетъ съ деньгами, но онъ деньги сейчасъ же прислалъ обратно, при чемъ написалъ мнѣ, что сохранить обо мнѣ самое свѣтлое воспоминаніе на всю жизнь. Мнѣ жаль Василя Степаныча: онъ говорилъ иногда много глупостей и писалъ плохіе стихи, но человѣкъ былъ хорошій. Костя также его жалѣетъ, потому что ему теперь некого громить и уничтожать послѣ обѣда. Впрочемъ, Костя такой консерваторъ, что даже моего мужа считаетъ либераломъ, и какъ-то заявилъ мнѣ, что не мѣшало бы Иполита Николаича согнуть въ бараній рогъ. Этотъ *бараній рогъ* такъ ему понравился, что онъ повторилъ его разъ пять, прибавляя, что это отличный каламбуръ. Я вовсе не раздѣляла этого мнѣнія; разныя грубыя выходки Кости въ подобномъ родѣ давно меня коробили, но на этотъ разъ я опять промолчала. Наконецъ, я потеряла терпѣніе, и мы поссорились серьезно. Надо тебѣ сказать, что на вечерѣ у Софьи Александровны я встрѣтила твоего мужа. Онъ пріѣхалъ съ какого-то обѣда *très élégant et très rajeuni*, онъ остригся подъ гребенку, и это къ нему очень идетъ, потому что уменьшаетъ сѣдину. Онъ сейчасъ же подсѣлъ ко мнѣ и началъ самымъ настоящимъ образомъ за мной ухаживать. Меня это забавляло, но Костя вдругъ такъ насупилъ брови и началъ смотрѣть такими звѣрскими глазами, что я, боясь какого-нибудь скандала, поспѣшила уѣхать. На другой день я шутя распекала Костю за такую мимику, но онъ совершенно серьезно началъ обвинять меня въ кокетствѣ и кончилъ тѣмъ, что я такая женщина, «которая готова вѣшаться на шею всякому штатскому». Я не вытерпѣла и высказала ему все, что у меня въ послѣднее время накопило на душѣ. Онъ разсердился и уѣхалъ, не простившись, а я всю ночь думала о томъ, какія мы женщины жалкія существа. Въ самомъ дѣлѣ, вѣмъ мы увлекаемся, для кого мы жертвуемъ всѣмъ на свѣтѣ!? Къ утру я твердо рѣшилась прекратить мою связь съ Костей, и, если бы онъ пріѣхалъ на другой день въ свой обычный часъ, клинусь тебѣ, что теперь все было бы кончено между нами. Но его что-то задержало, онъ не пріѣхалъ ни утромъ, ни къ обѣду. Тогда я вообразила, что онъ бросилъ меня и никогда больше не пріѣдетъ. Эта мысль показалась мнѣ такъ обидна, что тотчасъ послѣ обѣда я написала ему, прося пріѣхать для рѣшительнаго объясненія, но его нигдѣ не нашли, и записка вернулась

ко мнѣ въ девять часовъ. Мнѣ нужно было ѣхать къ княгинѣ Кривобокой, но я не имѣла силы пойти одѣваться и просидѣла весь вечеръ въ маленькой гостиной въ какомъ-то оупѣніи. Всѣ мои обиды, всѣ рѣшительные планы разлетѣлись, какъ дымъ. У меня было одно желаніе: увидѣть его на секунду, убѣдиться, что мы не въ ссорѣ. Наконецъ, въ двѣнадцатомъ часу раздался сильный звонокъ. Это могъ быть или онъ, или Ипполитъ Николаичъ, который иногда дѣлаетъ мнѣ эти сюрпризы и пріѣзжаетъ изъ клуба раньше двухъ часовъ. Я вся замерла въ ожиданіи, но—что было со мной, когда раздались Костины шаги въ залѣ, когда я увидѣла это милое лицо, улыбавшееся какой-то виноватой улыбкой!.. Вотъ видишь, Китти, за такія минуты можно много перестрадать и все простить! Не брани, а пожалѣй

Твою бѣдную Мери.

Р. S. Петербургъ пустѣетъ, почти всѣ разъѣхались. Послѣ-завтра мы переѣзжаемъ въ Петергофъ. Я все надѣялась, что Ипполитъ Николаичъ сдѣлается расточителемъ и возьметъ большую дачу возлѣ твоей; но, увы! пока онъ размышлялъ и взвѣшивалъ, ее наняли. Кончилось тѣмъ, что я буду жить очень далеко отъ тебя—въ Старомъ Петергофѣ, а платить мы будемъ тремястами рублей дороже. Вотъ что значать принципы благо-разумной экономіи!

12. Отъ графа Д.

(Получ. 18-го мая).

Милая Китти. Сейчасъ за мной прислала княгиня Кривобокая и объявила, что она соглашается быть предсѣдательницей Общества спасанія погибающихъ дѣвицъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ она предлагаетъ тебѣ быть вице-предсѣдательницей. Я отвѣчалъ, что напишу тебѣ объ этомъ и что, вѣроятно, ты не откажешься. Впрочемъ, я далъ ей твой адресъ, и она сама тебѣ напишетъ завтра, послѣ выборовъ. По моему мнѣнію, отказываться тебѣ нельзя. Ужъ если княгиня согласилась быть предсѣдательницей, значить, на это Общество смотреть благосклонно. Хотя княгиня и слыветъ придурковатой, но на этотъ счетъ, не безпокойся, не ошибется. Положимъ, это вовлечетъ тебя въ кое-какія издержки,

но мы эти расходы вернемъ съ избыткомъ. Въ нашемъ большомъ домѣ бель-этажъ всю зиму стоялъ пустой, я уже ввернулъ княгинѣ словечко: нельзя ли взять для Общества эту квартиру? Она отвѣчала: «отчего же не взять, особенно если ваша жена будетъ моей помощницей».

Надѣюсь, милая Китти, что это мое послѣднее письмо въ Красные Хрящи. Будетъ съ тебя этихъ Хрящей, лучше поѣхать какъ-нибудь въ другой разъ. Дѣти здоровы и цѣлуютъ тебя.

Твой мужъ и другъ Д.

13. Отъ княгини Кривобокой.

(Получ. 19-10 мая).

Милая графиня. Извѣщаю Васъ, что сегодня въ засѣданіи Общества спасенія погибающихъ дѣвицъ я предложила Васъ въ вице-предсѣдательницы, и Вы были выбраны черезъ восклицаніе, безъ всякой баллотировки. Я люблю думать, что послѣ такого лестнаго избранія Вы отказываться не будете. А я одна съ этимъ дѣломъ никакъ справиться не могу; у меня отъ однихъ домашнихъ заботъ голова кругомъ идетъ.

Какъ Вы счастливы, милая графиня, что у Васъ только двое дѣтей, да и тѣ сыновья, а меня Богъ наградилъ пятью дочерьми, съ которыми приходится всю жизнь возиться. Есть такая старинная сказка о пяти дурахъ; я думаю, что она про меня написана. Вы скажете, что мнѣ роптать—грѣхъ, потому что четверыхъ я размѣстила по хорошимъ людямъ, но повѣрьте, что съ Наденькой хлопотъ у меня больше, чѣмъ со всѣми остальными. Вѣдь ей пошелъ уже двадцать четвертый годъ... Кажется, отчего бы ей не найти жениха? И невѣста богатая, и собой недурна, а вотъ, подите же, не выходитъ, да и только! Я думаю, это оттого, что воспитана она слишкомъ хорошо, а нынѣшніе молодые люди этого не любятъ. Вотъ графиня Анна Михайловна это очень понимаетъ. Устроила она въ позапрошломъ году у себя живыя картины и поставила свою Катю изображать Орлеанскую Дѣву. Поднимается занавѣсъ, и вижу я Катю почти что совсѣмъ раздѣтую. Ну, думаю себѣ, какая же это Орлеанская дѣва? Это, напротивъ того, прекрасная Елена! А

Анна Михайловна при этомъ еще поясняетъ мнѣ: «Костюмъ Катинъ—вполнѣ историческій, вы видите: и шлемъ, и латы лежатъ на землѣ; но только моя Катя выбрала такой моментъ, когда Орлеанская Дѣва хочетъ прилечь и отдохнуть». Вотъ и не удивительно, что послѣ этого ея Катя оставалась недолго Орлеанской Дѣвой, и въ тотъ же вечеръ за ужиномъ этотъ дурачокъ Одея Вараксинъ, который до того ухаживалъ за Наденькой, сдѣлалъ предложеніе Катѣ. Что значить удачно выбрать моментъ.

До свиданія, милая графиня, я черезъ недѣлю ѣду въ деревню, а мнѣ хотѣлось бы до отъѣзда лично переговорить съ Вами обо многомъ. Пріѣзжайте поскорѣе, а пока заставьте играть телеграфъ о Вашемъ согласіи.

Преданная Вамъ
Е. Кривобокая.

14. Делеша отъ Дмитрія Дмитріевича Кудряшина.

(Получ. 21-го мая).

Буду ждать въ Москвѣ; гдѣ остановлюсь—не знаю; объ адресѣ справиться у цыганъ въ Стрѣльнѣ.

Кудряшинъ.

15. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. въ Петербургъ 1-го іюня).

Я только что узнала отъ твоего мужа, что ты пріѣзжаешь завтра. Наконецъ-то! Я надѣюсь, что ты завтра же переѣдешь въ Петергофъ,—теперь въ городѣ дѣлать нечего. Вели людямъ все перевозить, а сама съ мужемъ и дѣтьми пріѣзжай обѣдать къ намъ. Какъ я счастлива, что ты пріѣзжаешь,—сколько мнѣ нужно рассказать тебѣ.

Твоя Мери.

16. Отъ княгини Кривобоккой.

(Получ. 1-10 июня).

Милая графиня. Къ сожалѣнiю, я никакъ не могу дожидаться Васъ и уѣзжаю въ деревню. Къ Вамъ въ Петергофъ явится нѣкто Иванъ Ивановичъ Оптинъ, мой бывшiй управляющiй, котораго я назначила секретаремъ нашего Общества. Церемонiй съ нимъ никакихъ соблюдать не нужно. Я его сажаю, но руки не даю. Онъ передастъ Вамъ всѣ бумаги и расскажетъ, что нужно. До моего возвращенiя Вы будете предсѣдательницей; впрочемъ, особенныхъ хлопотъ Вамъ не будетъ. Лѣтомъ общихъ собранiй не будетъ, а къ концу августа я уже возвращусь въ Петербургъ, потому что Оля должна родить. Вотъ посудите изъ этого, милая графиня, какой крестъ я несу изъ-за моихъ дочерей. Покидать деревню въ самое лучшее время,—и для чего? Кажется, не хитрое дѣло—рожать, а безъ меня и этого сдѣлать не могутъ. Но это бы все ничего, если-бъ только Наденька вышла замужъ поскорѣе. Воспитанiя она, дѣйствительно, прекраснаго, но характеръ у нея самый несносный. Вотъ теперь надо укладываться, голова кругомъ идетъ, а она такъ и жужжить надо мной! Напишите мнѣ въ Знаменское, милая графиня; ни съ кѣмъ я такъ не люблю говорить, какъ съ Вами. По крайней мѣрѣ, душу отводишь.

Преданная Вамъ

Е. Кривобоккая.

Р. S. Вчера я получила очень радостное извѣстiе: мой старiй духовникъ и другъ, преосвященный Никодимъ, вызванъ въ Синодъ и проведетъ зиму въ Петербургѣ. Это человекъ такого ума и такой святой жизни, что Вамъ непременно нужно съ нимъ познакомиться. Подъ его руководствомъ наше Общество пойдетъ хорошо, я ничего не буду дѣлать безъ его благословенiя.

17. Отъ А. В. Можайскаго.

(Получ. въ Петербургъ 6-го июня).

Сейчасъ только получилъ я, милая Китти, твою депешу съ извѣщеніемъ о благополучномъ прибытіи въ Петербургъ. Рѣшительно не понимаю, что ты могла такъ долго дѣлать въ Москвѣ. Ужъ не заболѣла ли ты тамъ? Еще менѣе я могу понять, почему ты такъ рѣшительно запретила мнѣ проводить тебя до Москвы. Какъ бы я ухаживалъ за тобой, если ты была больна, и какъ бы мы повеселились, если ты была здорова! Но что дѣлать! этого теперь не вернешь, какъ не вернешь и тѣхъ чудныхъ майскихъ дней, которые промелькнули, какъ сонъ, и о которыхъ я могу повторить стихи Жуковскаго:

Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ,
Но съ благодарностію были.

Проводивъ тебя, я вернулся въ Гнѣздиловку и просидѣлъ тамъ безвыѣздно все это время. Каждый день ходилъ я въ нашу бесѣдку. Та сирень, которая охватывала ее со всѣхъ сторонъ, врывалась въ ея окна и всю ее наполняла своимъ благоуханіемъ, теперь отцвѣла. Да и все кругомъ отцвѣло и поблекло для меня. Мою одинокую, темную жизнь неожиданно озарилъ лучъ яркаго солнца, но прошло мгновеніе, — и это солнце гдѣ-то далеко, освѣщаетъ и грѣетъ другихъ.

Вотъ проза жизни, — та не проходить, не даетъ отдохнуть. Вчера я получилъ ультиматумъ отъ Сапунопуло: или я долженъ сдать на всѣ его предложенія, другими словами, сдѣлаться его рабомъ, или онъ отказывается совершенно, и тогда все мое состояніе улетаетъ въ трубу. Придется поѣхать въ Одессу и сдать. Выговорю только одно условіе, чтобы мнѣ можно было сейчасъ же ѣхать въ Петербургъ и пробыть тамъ хоть одинъ послѣдній годъ, а тамъ — будь что будетъ!

До свиданія же, до скорого свиданія, моя богиня, мое солнце, моя милая, несравненная Китти.

Твой до послѣдняго дыханія А. М.

18. Отъ В. И. Мѣдяшкиной.

(Получ. 15-10 іюня).

Ваше Сіятельство матушка Графиня Екатерина Александровна. Сейчасъ Ваша Тетушка и моя благодѣтельница получили Ваше письмо, въ которомъ Вы Ихъ благодарите за оказанное Вамъ гостепріимство. Анна Ивановна приказали Вамъ отвѣтить, что не Вамъ Ихъ, и Имъ Васъ благодарить слѣдуетъ за то, что Вы почти цѣлый мѣсяцъ Имъ пожертвовали и, можно сказать, уладили Ихъ послѣдніе дни. А еще Тетушка приказали Вамъ написать, что Вы въ этомъ добромъ дѣлѣ не раскаетесь.

А какое уныніе началось у насъ послѣ Вашего отъѣзда,—Вы себѣ и представить не можете! Если я какъ-нибудь нечаянно загляну въ ту комнату, которую Вы занимали, слезы такъ и текутъ сами собою. Взгляну на платье, которое Вы мнѣ подарили,—и опять плачу, и не знаю, когда я эту прелесть надѣну. Развѣ въ Свѣтлый праздникъ. А Вы еще по своему великодушію обѣщали мнѣ прислать шаль къ Новому году. Не надо мнѣ этого, ей-Богу, не надо! Я до Новаго года, можетъ быть, и не доживу, а вотъ если бы Вы теперь прислали мнѣ что-нибудь, что Сами носили, это былъ бы мнѣ настоящій подарокъ.

И весь домъ по Васъ тоскуетъ. Ужъ на что наши княжны дѣвицы язвительныя и тугія, даже и тѣ отъ Васъ въ восхищеніи. Недавно я подслушала, какъ старшая княжна хвалила Васъ сестрѣ: «это, говорить, такой бонтонъ, какого и за границей не во всякое время встрѣтить можно. Она, говорить, вся состоитъ только изъ одного бонтона». И это правда, матушка Графиня, сущая правда!

Припадая къ стопамъ Вашего Сіятельства, цѣлую ручки Ваши и остаюсь по гробъ жизни преданная

Василиса Мѣдяшкина.

19. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 20-10 іюня).

Милая Китти. Ради Бога, пригласи Ипполита Николаича къ себѣ пить чай послѣ музыки и устрой ему партію въ винтъ.

Твоя Мери.

20. Отъ княгини Кривобоккой.

(Получ. 29-10 іюня).

Отъ души благодарю Васъ, милая графиня, за Ваше милое письмо. Вы пишете, что Оптинъ кажется Вамъ человѣкомъ сомнительнымъ. Меня это нисколько не удивляетъ, а только доказываетъ Ваше большое познаніе людей и вещей. Я должна Вамъ сознаться, что прогнала его изъ управляющихъ за воровство, но у него семь человѣкъ дѣтей, и я черезъ жалость назначила его секретаремъ Общества, пока онъ не найдетъ себѣ мѣсто. Но мы его долго держать не будемъ, и я хочу его рекомендовать графинѣ Аннѣ Михайловнѣ, которая, говорятъ, ищетъ управляющаго.

У насъ въ Знаменскомъ большое оживленіе: съѣхались всѣ дочери, кромѣ Оли, съ дѣтьми и мужьями. Дочерямъ, а особенно внучатамъ, я очень рада, но мужей, конечно, лучше бы имъ оставить дома. Даже Петръ Ивановичъ, который два года меня будировалъ и не клалъ ко мнѣ ногу, пожаловалъ сюда, но продолжаетъ будировать и почти не говорить со мною. Я не обращаю на это никакого вниманія, и только два раза въ день, когда онъ очень продолжительно цѣлуетъ мою руку, я отворачиваюсь и стараюсь цѣловать воздухъ вмѣсто его лба, потому что отъ него такъ и разить смазными сапогами. Представьте, что теперь выдумали новые духи cuir de Russie, и Петръ Ивановичъ нарочно обливается ими, чтобы сдѣлать мнѣ непріятность. Я очень большая патріотка, иначе не говорю и не пишу какъ по-русски, согласна даже любить дымъ отечества, но вонь переносить не могу.

Объясните мнѣ, милая графиня, отчего теща считается такимъ отверженнымъ существомъ, которое всѣ должны ненави-

дѣтъ? Но въ другихъ семьяхъ тещу, по крайней мѣрѣ, признають человекомъ, а для моихъ зятевъ я даже не человекъ, а просто индѣйка, начиненная деньгами, — вотъ, какъ знаете, бывають индѣйки съ трюфелями. И, право, мнѣ иногда кажется, что они стоятъ вокругъ меня съ вилками и ковыряють меня со всѣхъ сторонъ, чтобы достать трюфель покрупнѣе. А вѣдь всѣ они порядочные люди, и, если-бъ они мнѣ были чужіе, все шло бы прекрасно: и я съ удовольствіемъ принимала бы ихъ въ Знаменскомъ, а Петръ Ивановичъ не носилъ бы въ карманѣ коженнаго завода. Только бы далъ Богъ поскорѣе выдать замужъ Наденьку, — отдамъ имъ все, а себѣ оставлю какія-нибудь тридцать тысячъ дохода, чтобы только не умереть съ голода, и поселюсь во Флоренціи или въ Римѣ. А кстати: что Вы скажете о римскихъ дѣлахъ? Бѣдный папа! Хочу ему вышить туфли и послать «отъ неизвѣстной изъ Россіи». Прощайте, милая графиня, пишите мнѣ почаще.

Искренно Вамъ преданная

Е. Кривобокая.

Р. S. Сегодня за обѣдомъ Петръ Ивановичъ на зло мнѣ называлъ папу идіотомъ за его непрактичность. Я на это сказала: «не всѣмъ же быть такими практическими людьми, какъ статскій совѣтникъ Бубновскій». А надо Вамъ сказать, что Бубновскій — ростовщикъ, которому Петръ Ивановичъ много долженъ. За это онъ наказалъ меня тѣмъ, что ушелъ спать не простившись, а я этимъ воспользовалась и написала Вамъ письмо, потому что мои руки не пахнутъ сапогами.

21. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 10-10 іюля).

Милая Китти, мнѣ необходимо ѣхать въ городъ; я оставила Ипполиту Николаичу записку, что ты просила меня съѣздить по дѣламъ нашего Общества. Si tu le vois, invente quelque chose.

Mery.

22. Отъ А. В. Можайскаго.

(Получ. 16-го іюля).

Милая Китти. Я, можетъ быть, очень виноватъ передъ тобою. Вѣроятно, у меня въ деревнѣ лежитъ твое письмо, а я все не могу выбраться изъ Одессы. Ликвидация моихъ дѣлъ подходитъ къ концу, я на все согласился, поступить иначе было невозможно. Недѣли черезъ три надѣюсь появиться на твоей петергофской дачѣ, а пока меня перевезли на великолѣпную дачу Сапуноуло на берегу моря и всякими способами даютъ мнѣ понять, что мнѣ слѣдуетъ жениться на греческой дѣвицѣ. Ея тетка — отвратительнѣйшее существо, которую я прозвалъ «дѣвой Евменидой», разъ даже прямо посовѣтовала мнѣ попытаться, обнадеживая, что, можетъ быть, отказа не будетъ. Еще бы былъ отказъ! Я пока не высказываюсь, не говорю ни да, ни нѣтъ, но когда все будетъ закрѣплено нотаріальнымъ порядкомъ, немедленно улечу съ такимъ увлеченіемъ, что напому имъ знаменитаго ихъ земляка «быстроногаго Ахиллеса».

До скорого свиданія, моя дорогая Китти. Пиши мнѣ въ Одессу.

Твой А. М.

23. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 19-го іюля).

Милая Китти, ради Бога, удержи у себя Ипполита Николаича до послѣдняго поѣзда. Если онъ не играетъ въ карты, предложи ему прокатиться въ Монплезиръ. Часовъ въ двѣнадцать я приѣду туда и готова сидѣть до восхода солнца.

Твоя Мери.

24. Отъ княгини Кривобоккой.

(Получ. 15-10 августа).

Милая графиня. Я только что ввалилась въ Петербургъ и не чувствую своихъ ногъ отъ усталости. Я нашла Олю въ хорошемъ положеніи, но она страшно боится родовъ, а потому я никакъ не могу уѣхать на нѣсколько часовъ и навѣстить Васъ въ Петергофъ. Будьте любезны, какъ всегда, и пріѣзжайте ко мнѣ завтра обѣдать. Вы сдадите мнѣ дѣла, и мы наговоримся вдоволь.

Не можете ли Вы, милая графиня, взять отъ меня Наденьку на недѣлю или на двѣ, чтобы она погостила у васъ въ Петергофъ до Олиныхъ родовъ? Вы меня очень этимъ обяжете, а характера ея не бойтесь: она несносна только со мной, а у Васъ будетъ прекроткая. Это сущій ангелъ, когда захочетъ.

Искренно Вамъ преданная Е. Кривобоккая.

Р. S. Если Вы услышите, что кто-нибудь изъ вашихъ петергофскихъ знакомыхъ собирается похитить Наденьку, чтобы съ ней обвѣнчаться, прошу Васъ дѣлать глухое ухо. Пускай себѣ вѣнчается, я заранѣе прощаю и благословляю.

25. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 29-10 августа).

Милая Китти. Мы такъ быстро собрались переѣхать въ городъ, что я не успѣла заѣхать къ тебѣ проститься. Костя неожиданно объявилъ мнѣ, что черезъ недѣлю отправляется на два мѣсяца въ деревню. Его братъ Миша вышелъ въ тотъ же полкъ, и старуха Невѣрова потребовала, чтобы они пріѣхали къ ней для раздѣла имѣнія. Ты понимаешь, что, разставаясь надолго съ Костей, мнѣ въ эти послѣдніе дни хотѣлось видѣть его почаще. А Ипполиту Николанчу такъ надоѣло ѣздить каждое утро изъ Петергофа въ министерство, что онъ очень обрадовался моему предложенію переѣхать. Да и тебѣ пора перебраться; въ такую погоду, какъ теперь, Петергофъ нестерпимъ.

Неужели эта несносная Наденька все еще гостить у тебя? Когда мы въ послѣдній разъ обѣдали у тебя, она такъ кокетничала съ Костей, что совѣстно было смотрѣть. Костя съ тѣхъ поръ увѣряетъ, что она ему очень нравится. Конечно, онъ говорить это, чтобы дразнить меня... Что же въ ней хорошаго?

Твоя Мери.

26. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 2-го сентября).

Милая Китти. Сейчасъ княгиня Кривобокая сказала мнѣ, что завтра ты привозишь къ ней Наденьку, а потому прошу тебя непремѣнно обѣдать у меня. Кстати, ты увидишь Мишу Невѣрова. По-моему, онъ пріятельскій офицерикъ, но мнѣ интересно знать твое мнѣніе. Угадай, кто у меня былъ вчера? Нина Карская! Я думала, что послѣ ея парижскихъ скандаловъ она не посмѣетъ появиться въ обществѣ. Я, конечно, ее не приняла; надѣюсь, что и ты не примешь. Она пріѣхала въ Петербургъ такъ рано для того, чтобы отдѣлываться совсѣмъ заново свой домъ. Она собирается много принимать зимой, но кто же къ ней поѣдетъ? Надо же, наконецъ, дѣлать различіе между развратными женщинами и... другими.

Твоя Мери.

27. Отъ А. В. Можайскаго.

(Получ. 4-го сентября).

Милая Китти. Греки перехитрили. Недаромъ въ лѣтописи Нестора сказано: «Суть бо греци лъстиви даже до сего дне». Я все еще не могу напомнить имъ быстроногаго Ахиллеса, а Сапунопуло уже напомнилъ мнѣ хитроумнаго Одиссея. Онъ такъ опуталъ, оплелъ меня своими сдѣлками и комбинаціями, что я совершенно въ его рукахъ.

Съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждалъ я твоего письма, надѣясь найти въ тебѣ нравственную поддержку, и—что же?

Ты совѣтуешь мнѣ жениться! Совершенно справедливо, что браковъ по любви у насъ въ свѣтѣ почти не бываетъ, и что во всякомъ бракѣ есть какой-нибудь расчетъ... Но вѣдь ты не знаешь, Китти, что такое дѣвица Софья Сапунопуло. Оставайся она такъ же дурна и желта, но будь при этомъ существомъ симпатичнымъ, а главное—спокойнымъ, я бы еще могъ примириться съ необходимостью, но вѣдь она на секунду не можетъ остаться въ покоѣ. Это не женщина, а какая-то ходячая желтая лихорадка. Вотъ тебѣ для примѣра наше препровождение времени послѣднихъ трехъ дней. Въ среду былъ на дачѣ спектакль, на который съѣхался весь одесскій grand-monde (и тутъ есть свой grand-monde—безъ этого нельзя). Давали, между прочимъ, *proverbe* ея собственнаго сочиненія: «*Ce que femme veut, le mari le voudra*». Само собой разумѣется, что я игралъ роль мужа, что десять разъ я долженъ былъ цѣловать ея руку, и что эта невыносимая дребедень имѣла колоссальный успѣхъ. Третьяго дня было сдѣлано распоряженіе—гостей не принимать, и вечеръ былъ посвященъ чтенію Эсхила въ подлинникѣ. Понимаешь ли ты весь ужасъ этихъ трехъ словъ: Эсхиль въ подлинникѣ! Въ теченіе пяти часовъ она съ паэосомъ читала трагедію на незнакомомъ мнѣ языкѣ, переводя каждую фразу на французскій; и я долженъ былъ этому вѣрить, хотя убѣжденъ, что древне-греческій языкъ она понимаетъ немного больше, чѣмъ я. А когда выходило ужъ очень хорошо, она протягивала мнѣ руку, которую я пожималъ, при чемъ тетушка Евменида закрывала глаза и одобрительно качала головой. Вчера опять наѣхало множество гостей, и мы катались по морю въ костюмахъ. Я изображалъ турецкаго пашу и сидѣлъ въ лодкѣ съ чалмой на головѣ и съ кальяномъ въ рукѣ!!! Я все это переношу терпѣливо, потому что Сапунопуло далъ мнѣ «свое честное греческое слово», что 15-го сентября все будетъ кончено, и онъ отпустить меня въ Петербургъ съ пятью тысячами... А если онъ надуетъ опять, назначить новый срокъ и снова надуетъ? Неужели же мнѣ въ самомъ дѣлѣ жениться?

Нѣтъ, Китти, нѣтъ! это невозможно, этому не бывать! Никогда я не продамъ себя такъ безславно, никогда этотъ золоченый грецкій орѣхъ не будетъ привить къ старому родословному дереву Можайскихъ! Лучше надѣть суму нищаго и идти просить подаенія или пустить пулю въ лобъ, чѣмъ исполнить

эту жалкую роль, которую она начертила мнѣ въ своемъ гнусномъ провербѣ.

Прощай, моя милая Китти, или ты увидишь меня черезъ двѣ недѣли счастливымъ и забывающимъ около тебя объ одесской Элладѣ, или не увидишь вовсе, потому что меня не будетъ на свѣтѣ. Въ такомъ случаѣ, не поминай лихомъ горячо тебя любившаго

А. М.

28. Отъ княгини Кривобоккой.

(Получ. 26-го сентября).

Что вы можете до сихъ поръ дѣлать въ Петергофѣ, милая графиня! Я по Васѣ соскучилась, да и засѣданія наши идутъ безъ Васѣ какъ-то вяло. Эти дамы ничего не рѣшаютъ и по-немножку ссорятся между собою. Отъ графини Анны Михайловны житья нѣтъ. Ея зятя Вараксина не сдѣлали камеръ-юнкеромъ къ 30-му августа, и она ходитъ злющая-презлющая. А тутъ еще на бѣду этотъ дуракъ Оптинъ въ одномъ протоколѣ назвалъ ее Анной Ѳедоровной, такъ вѣдь она такъ обидѣлась, что мнѣ пришлось къ ней ѣхать извиниться. Но самая большая исторія случилась изъ-за Нины Карской. Меня увѣрили, что ее не слѣдуетъ принимать, но она начала съ того, что прислала мнѣ въ пользу нашего Общества 500 рублей, а на другой день пріѣхала съ визитомъ. Ну, какъ же было ее не принять? Конечно, она захотѣла быть членомъ Общества, но когда я на первомъ засѣданіи заикнулась объ этомъ,—Анна Михайловна такъ на меня накричала, что я должна была замолчать. Что мнѣ было дѣлать? Отсылать деньги назадъ не хотѣлось: Оптинъ представляетъ мнѣ счета, какъ отъ аптекаря, и наша касса всегда пуста. А оставить деньги и не выбрать въ члены—тоже неловко. Вотъ я и пустилась на хитрость и назначила вчера засѣданіе въ 8 часовъ; я знала, что такъ рано Анна Михайловна не пріѣдетъ. Какъ только баронесса Визенъ и Вѣра Бѣлевская вошли, я объявила, что засѣданіе открыто, и прямо предложила Нину. Эти дамы согласились: Вѣра черезъ доброту, а баронесса, чтобы разозлить Анну Михайловну, и я велѣла

Оптину сейчас же внести въ протоколъ. Въ девять прѣехала Анна Михайловна, и, когда ей прочли про баллотировку, она позеленѣла отъ злости. Интересно, какъ она встрѣтится съ Ниной послѣзавтра; прѣзжайте, милая графиня, на засѣданіе.

Ваша Е. Кривобокал.

Р. С. Баронесса Визенъ сказала мнѣ по секрету, что Петръ Иванычъ называетъ наше общество «Обществомъ спасенія на нѣсколько часовъ отъ тещи». Можно подумать, что я такъ часто надоѣдаю ему своими посѣщеніями!

29. Денежа отъ Д. Д. Кудряшина.

(Получ. въ Петербургъ 10-го октября).

Прѣзжаю завтра на одинъ день; остановлюсь—гдѣ всегда; буду ждать извѣстій съ десяти часовъ вечера.

Кудряшинъ.

30. Отъ А. В. Можайскаго.

(Получ. 16-го октября).

Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна. Имѣю честь извѣстить Васъ, что вчера я сочетался законнымъ бракомъ съ дѣвицей Софьей Сократовной Сапунопуло. Это оповѣщеніе я дѣлаю по настоятельной просьбѣ моей жены.

Неизмѣнно Вамъ преданный

А. Можайскій.

Madame la Comtesse.

L'admiration tout-à-fait exceptionnelle que professe pour Vous mon mari et l'amitié, dont Vous l'honorez, me donnent le courage de me recommander à Vos bontés. Comme nous avons le projet de passer une partie de l'hiver à S.-Petersbourg, permettez

moi d'espérer que Vous voudrez bien guider mes premiers pas dans le monde qui, dit-on, est si sévère et si froid pour les nouveaux-arrivés. Une rose alpestre supporte difficilement le souffle glacial du Nord.

En attendant veuillez agréer, Madame la Comtesse, l'assurance de ma haute considération. Sophie de Mojaisky, née de Sapounopoula.

Я разрываю конвертъ, чтобы исправить редакцію моего извѣщенія. Надо читать такъ: «Александръ Васильевичъ Можайскій съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаетъ о кончинѣ всѣхъ своихъ дорогихъ и заветныхъ идеаловъ, послѣдовавшей 10-го октября въ городѣ Одессѣ, послѣ тяжелой и продолжительной борьбы».

А. М.

31. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 3-го ноября).

Милая Китти, сейчасъ я получила приглашеніе на вечеръ Нины Карской, хотя до сихъ поръ не отдала ей визита. Она проситъ отвѣта, и я не знаю, что мнѣ дѣлать. Напиши мнѣ, поѣдешь ли ты къ ней; я поступлю, какъ ты. Après tout, я не знаю, отчего бы намъ не ѣхать. Мнѣ говорили, что княгиня Кривобокая, ея дочери и вся ея coterie тамъ будетъ. А главное — у меня есть прелестное, платье отъ Ворта, которое мнѣ хочется поскорѣе надѣть. Когда еще дождешься большихъ пріемовъ?

Твоя Мери.

Р. С. Костя пріѣзжаетъ послѣзавтра; онъ пишетъ, что его братъ Миша все время бредитъ тобою. А вѣдь видѣлъ тебя всего одинъ разъ. En voilà une charmeuse! Какое счастье, что Костя тебѣ не правится, а то давно бы ты его отбила у меня.

32. Денежа отъ В. И. Мѣдяшкиной.

(Получ. 10-10 ноября).

Анна Ивановна скончалась вчера въ десять часовъ вечера; похороны въ пятницу.

Мѣдяшкина.

33. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 10-10 ноября.)

Въ какомъ я отчаяніи, милая Китти, что ты уѣзжаешь и что наша *partie de plaisir* разстроилась! Такъ какъ вчера выпать снѣгъ, мы съ Костей рѣшили просить тебя ѣхать вчетверомъ не въ театръ, а на острова на тройкѣ, и тамъ гдѣ-нибудь поужинать. Вотъ было бы наслажденіе! Костя увѣряетъ, что его братъ ждалъ этого дня съ такимъ же нетерпѣніемъ, какъ производства въ офицеры. И вдругъ все это разстроилось изъ-за какихъ-то пустяковъ! Я не понимаю, что тебѣ за охота ѣхать на похороны такъ далеко. Вѣдь тетушка твоя уже умерла и ничего перемѣнить не можетъ. Кромѣ того, у Нины Карской на будущей недѣлѣ большой обѣдъ, вечеромъ будутъ пѣть итальянцы. Ея первый вечеръ былъ, какъ увѣряетъ баронесса Визенъ, *une colombe d'essai*, она хотѣла знать, на кого можетъ разсчитывать. Теперь на концертъ она приглашаетъ только самыхъ избранныхъ, а большой балъ дастъ въ январѣ. Нельзя не сказать, что она все это устраиваетъ очень ловко. Кто могъ думать, что она опять всплыветъ? Больше всего помогъ ей Николай, который, по извѣстной причинѣ, имѣетъ такое громадное вліяніе. Ну, да и Нина тоже не мало пожертвовала денегъ въ его больницу! Вездѣ и всюду деньги, съ ними можно все себѣ позволить. Это грустно, но это такъ!

Баронесса говорить, что ты въ списокѣ приглашенныхъ, а ты еще уѣзжаешь отъ такого интереснаго вечера. Отправь лучше на похороны твоего мужа: графу провѣтриться будетъ недурно, онъ сто лѣтъ не выѣзжалъ изъ Петербурга. Дай отвѣтъ.

Твоя Мери.

34. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 10-10 ноября).

Такъ какъ твой мужъ уѣзжаетъ, то не лучше ли намъ послѣ катанья въ тройкѣ вернуться къ тебѣ? Закажи ужинъ дома, это гораздо пріятнѣе, чѣмъ въ ресторанѣ.

Мери.

35. Отъ графа Д.

(Получ. 18-10 ноября).

Милая Китти, я пишу тебѣ сутками позже, чѣмъ обѣщалъ, потому что вчера вечеромъ, придя въ свою комнату, буквально свалился отъ усталости и заснулъ какъ убитый. Доѣхалъ я вполне благополучно. Отъ Москвы ѣхалъ съ Бубликомъ-Вѣлевскимъ, и мы всю дорогу играли въ пикетъ. Въ Слободскѣ пріѣхалъ въ 11 часовъ вечера, лошади ждали меня на станціи, но ѣхать было невозможно по причинѣ сильнѣйшей метели. Пришлось подождать и только въ 9 часовъ утра я пріѣхалъ въ Красные Хрящи. Похороны назначены были въ 10, но начались гораздо позже, потому что ждали архіерея, который опоздалъ по случаю метели. Все было въ высшей степени торжественно, собралось множество сосѣдей и Слободскихъ чиновниковъ; видно, что покойницу очень уважали. Въ три часа начался утомительнѣйшій поминальный обѣдъ въ двухъ залахъ. Сосѣдкой моей была госпожа Можайская, которая съ утра впиалась въ меня, какъ пѣвка, и не отпускала отъ себя ни на минуту. Вотъ удивительный субъектъ! Если-бъ она не была такъ желта, ее бы можно было назвать вполне синимъ чулкомъ. Она забросала меня именами сочиненій и авторовъ, о которыхъ я слышалъ въ первый разъ въ жизни, и очень приставала ко мнѣ, нѣтъ ли въ Петербургѣ какого-нибудь египтолога, такъ какъ она теперь специально занимается изученіемъ египетскихъ древностей. Она черезъ мѣсяцъ ѣдетъ въ Петербургъ и, кажется, очень рассчитываетъ на тебя, чтобы пролѣзть въ общество, но, вѣроятно, ошибется въ своихъ надеждахъ. Ce n'est pas une

femme à orner le salon comme le tien. Ея мужъ произвелъ на меня также очень странное впечатлѣніе: онъ ходитъ какъ потеряннѣйшій; а когда я поблагодарилъ его за любезность, которую онъ сдѣлалъ тебѣ весной, онъ въ отвѣтъ началъ бормотать какія-то несвязныя слова. Впрочемъ, я изъ этихъ Можайскихъ извлекъ-таки пользу: они наняли въ нашемъ большомъ домѣ бель-этажъ, который вторую зиму стоитъ пустой, а такъ какъ цѣну они дали очень хорошую (по тысячѣ рублей въ мѣсяцъ), то прошу тебя сейчасъ же призвать управляющаго и велѣть ему квартиру почистить, оклеить новыми обоями и т. д. Сколько мнѣ помнится, во второй комнатѣ мебель слишкомъ стара, вели ея убрать, а вмѣсто нея перевезти съ дачи голубую атласную. Къ Новому году все должно быть готово, они прѣзжаютъ въ самомъ началѣ января. Представь себѣ, что обѣдъ тянулся почти до шести часовъ; послѣ жаркого архіерей и попы встали и съ бокалами шампанскаго въ рукахъ заплѣли: «Со святыми упокой». Я испугался, думалъ, что они перепились, но оказывается, что это старинный русскій обычай, сохранившійся въ этихъ мѣстахъ до сихъ поръ. Сосѣдка моя увѣряла, что и въ Египтѣ было что-то въ этомъ родѣ. Гости оставались еще долго послѣ обѣда, и только въ 10 часовъ меня привели въ ту самую комнату, которую ты занимала весной.

Я надѣялся, что сегодня вскрыютъ завѣщаніе, но это произойдетъ завтра или послѣзавтра. Мнѣ неловко объ этомъ разспрашивать, но, кажется, что ждутъ какого-то душеприказчика. Родственниковъ покойной собралось здѣсь видимо-невидимо; все это люди простые, но довольно пріятные. *Tout le monde est charmant pour moi, on m'entoure de petits soins*, по всему видно, что на меня уже смотрять, какъ на хозяина. Княжны Пышечкія показались мнѣ очень симпатичны, особенно вторая. Если тетушка ничего имъ не оставила, надо будетъ что-нибудь для нихъ сдѣлать, сыскать имъ какое-нибудь мѣсто въ Петербургѣ. *La fameuse Василиса est d'un ridicule achevé, mais bonne femme au fond, elle a une véritable adoration pour toi.*

Сегодня утромъ я пошелъ осмотрѣть кое-что по хозяйству. Конюшни, флигеля, каретный сарай, — все это очень ветхо, и все это придется перенести куда-нибудь подальше отъ дома. Къ сожалѣнію, о паркѣ я не могу составить себѣ никакого понятія. Хотѣлъ посмотрѣть оранжереи, но вчера навалило столько

снѣга, что пройти туда невозможно. Въ домѣ много прекрасной старой мебели. Одна этажерка красного дерева такъ мнѣ понравилась, что я хочу взять ее съ собой и поставить въ твоёмъ будуарѣ.

Я замѣчаю однако, что мысленно уже распоряжаюсь въ Красныхъ Хрищахъ, какъ хозяинъ, а между тѣмъ, они, можетъ быть, достанутся кому-нибудь другому. Впрочемъ, кому же? Во всякомъ случаѣ, оставила ли намъ тетушка все, или даже ничего не оставила,—на это была ея полная воля,—я отъ души радъ, что не полѣнился пріѣхать на похороны этой святой, достойной женщины,—и, конечно, пробуду здѣсь до девятаго дня. Вѣдь Анна Ивановна была тебѣ одно время вмѣсто матери, а въ нашей ссорѣ,—надо сказать правду,—мы были виноваты больше, чѣмъ она. Конечно, были у старушки свои странности и причуды, но мы должны были отнестись къ нимъ иначе. Какое счастье, что мы загладили нашу вину въ послѣдній годъ ея жизни, и какъ я тебѣ благодаренъ за то, что ты вздумала съѣздить къ ней весной. Пріобрѣтемъ ли мы что-нибудь отъ твоего путешествія,—еще неизвѣстно, но то, что мы уже пріобрѣли, т.-е. спокойствіе совѣсти, гораздо дороже всякаго наслѣдства. Вѣдь и мы когда-нибудь умремъ; это, конечно, истина избитая, но какъ часто мы ее забываемъ!

Девятый день приходится 18-го ноября. Отдавъ послѣдній долгъ усопшей, я выѣду въ тотъ же день вечеромъ, проведу денекъ у брата въ подмосковной, а къ твоимъ именинамъ, во всякомъ случаѣ, буду дома. Прощай, милая Китти, дѣти здоровы и цѣлуютъ тебя.

Твой мужъ и другъ Д.

P. S. Ты собиралась сдѣлать вечеръ въ Екатерининъ день, но только ловко ли это будетъ? Положимъ, что эту тетушку никто въ Петербургѣ не зналъ, но когда мы получимъ большое наслѣдство, тогда всѣ про нее узнаютъ. По-моему, тебѣ даже не мѣшаетъ надѣть трауръ мѣсяца на два, тѣмъ болѣе, что интересные балы начнутся только въ январѣ.

Перечитывая письмо, я замѣтилъ, что въ разсѣянности передалъ тебѣ поклонъ отъ дѣтей. Это доказываетъ, какъ я о нихъ постоянно думаю. Расцѣлуй ихъ за меня.

36. Отъ графа Д.

(Получ. 20-го ноября).

Сегодня, въ 9 часовъ утра, вскрыли завѣщаніе. Красные Хрящи достались старшей княжнѣ, Пензенское имѣніе—второй княжнѣ. Деньгами: Василисѣ 30 тысячъ, разнымъ родственникамъ, на прислугу и на похороны всего около восьмидесяти, остальные деньги (больше 300 тысячъ!) на монастыри и богоугодныя заведенія. Тебѣ—брилліанты и другія драгоцѣнныя вещи. Это могло быть недурно, потому что къ Аннѣ Ивановнѣ перешли всѣ кречетовскіе брилліанты, да и сама она всю жизнь покупала хорошія вещи, но представь себѣ, что все это исчезло. Когда сняли печати, въ наличности оказалась одна паршивая брошка, да еще въ огромномъ количествѣ всякія бусы, четки и тому подобная гадость. Я глубоко убѣжденъ, что грабежъ совершенъ Василисой, потому что все это было на ея рукахъ. Я—не наслѣдникъ, мое дѣло сторона, а потому я не выразилъ никакой претензіи, но ты, какъ наслѣдница, можешь написать Василисѣ и припугнуть ее судомъ: авось она хоть что-нибудь изъ награбленнаго отдастъ. Я старался *faire bonne mine à mauvais jeu*, быть веселымъ и любезнымъ со всѣми, и это сначала мнѣ удавалось, но во время завтрака привезли почту, и представь себѣ, что первая вещь, которую я увидѣлъ, были Смуровскія коробки съ черносливомъ. При видѣ этого чернослива такое бѣшенство меня охватило, что я убѣждалъ въ свою комнату, чтобы скрыть досаду, и пишу тебѣ это письмо. Пожалуйста, пошли немедленно сказать Смурову, чтобы онъ пересталъ высылать туда черносливъ, я вовсе не желаю улучшать пищевареніе этой подлой Василисы!

Конечно, я никакого девятаго дня ждать здѣсь не буду, *j'ai assez de tout ce monde à interlope!* Да, по правдѣ сказать, глупо было пріѣзжать на похороны. Мы съ тобой слишкомъ большіе идеалисты и о другихъ людяхъ судимъ по-себѣ. Избави меня Богъ осуждать покойницу, но надо же сказать правду: чудачкой прожила весь вѣкъ, чудачкой и померла. И замѣть, что всѣ эти старыя дѣвы таковы. При каждой изъ нихъ непременно состоитъ какая-нибудь Василиса, которая дѣлаетъ съ ними, что хочетъ, потому что знаетъ хорошо приключенія ихъ

молодости. А у тетушки было въ молодости, какъ тебѣ извѣстно, походовъ не мало. Я, конечно, вспоминать о нихъ не буду и, какъ христіанинъ, отъ души желаю, чтобы Господь простилъ ей все, между прочимъ, и ея неблагодарность относительно насъ.

Я уѣзжаю сегодня въ ночь, проведу дня три въ подмосковной у брата и наканунѣ твоихъ именинъ буду въ Петербургѣ. Я въ прошломъ письмѣ писалъ тебѣ о траурѣ, но теперь онъ кажется мнѣ совсѣмъ лишнимъ. Разсылай приглашенія на 24-е, если тебѣ хочется устроить вечеръ.

Твой мужъ и другъ Д.

37. Отъ княгини Кривобоккой.

(Получ. 3-го декабря).

Милая графиня. Если Вы ѣдете сегодня на балъ къ англичанамъ, то не возьмете ли подъ свою протекцію Наденьку? Вы знаете, я не люблю отпускать ее даже съ замужними сестрами. Вы единственная женщина, которой я рѣшаюсь ввѣрить это сокровище. А сама я не ѣду, во-первыхъ, потому, что утромъ у меня былъ Петръ Ивановичъ, и, значить, я разстроена на цѣлый день, а во-вторыхъ, изъ патріотизма, потому что англичане, гдѣ могутъ, вездѣ кладутъ палки въ наши колеса. Вообще политическое положеніе Европы мнѣ не нравится. Хотя никакихъ особенныхъ извѣстій нѣтъ, но я убѣждена, что Бисмаркъ опять что-то замышляетъ. Что именно,—я еще не знаю, и это меня беспокоитъ.

Искренно Вамъ преданная

Е. Кривобоккая.

38. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 7-го декабря).

Милая Китти, постарайся, пожалуйста, вывѣдать у Миши Невѣрова, гдѣ былъ Костя вчера отъ восьми до двѣнадцати. Онъ меня увѣрялъ, что ѣдетъ съ братомъ въ оперу, а баро-

41. *Отъ княгини Кривобоккой.*

(Получ. 31-го декабря).

Милая графиня, представьте себѣ, какой я получила сюр-призъ къ Новому году! Оптинь мнѣ объявилъ, что не только нѣтъ ни копѣйки въ кассѣ, но еще я должна около четырехъ тысячъ. Какъ это могло случиться,—я рѣшительно понять не могу. Правда, я подписывала какія-то бумаги, которыя онъ мнѣ подсовывалъ, но я дѣлала это вовсе не съ той цѣлью, чтобы потомъ платить по нимъ. Какъ Вы были правы, предупреждая меня насчетъ Оптина, и какъ онъ смѣетъ называться Оптинымъ, когда есть такой монастырь, который я очень чту и гдѣ похороненъ мой дядя Василій. Конечно, во всемъ этомъ отчасти виновата я сама, но и тутъ насолила мнѣ графиня Анна Михайловна: возьми она Оптина въ управляющіе, ничего бы не случилось.

Пріѣзжайте ко мнѣ, милая графиня, и помогите мнѣ разобраться въ этихъ бумагахъ. Голова моя уходитъ, я рѣшительно ничего не понимаю, а тутъ опять эта Наденька жуужить надо мною. Жду Васъ съ большимъ нетерпѣніемъ.

Е. Кривобоккая.

P. S. Нечего сказать—хорошо Общество! Ни одной погибающей дѣвицы не спасли, а четыре тысячи съ меня стянули.

42. *Отъ А. В. Можайскаго.*

(Получ. 4-го января).

Милая графиня. Мы сегодня пріѣхали въ Петербургъ, и швейцаръ, по Вашему приказанію, встрѣтилъ насъ хлѣбомъ-солью. Не знаю, какъ благодарить Васъ за это вниманіе. Квартира на мой взглядъ превосходна во всѣхъ отношеніяхъ, но жена пожелала прибавить еще кое-какія украшенія, и мы отправились дѣлать покупки. Шляніе по магазинамъ продолжалось до шести часовъ, и я не могъ найти минутку, чтобы урваться къ Вамъ. Теперь она переодѣвается къ обѣду, а мнѣ поручила просить

Васъ назначить день и часъ, когда Вы можете принять насъ. **Убейте** ее великодушіемъ и пріѣзжайте къ намъ просто вечеромъ; я знаю, что Вы не придаете никакого значенія всѣмъ этимъ глупостямъ. По первоначальной программѣ первый нашъ петербургскій вечеръ мы должны были провести въ театрѣ, но, по счастью, нигдѣ не нашли ложи. Еслибъ Вы знали, какую я чувствую безумную жажду услышать звукъ Вашего голоса, увидѣть на одну секунду Вашу улыбку!

А. М.

43. Отъ М. И. Боярвой.

(Получ. 5-ю января).

Милая Китти, я всѣ эти дни была нездорова, а потому не поѣхала сегодня въ общее собраніе. Сейчасъ прямо оттуда поѣхала ко мнѣ баронесса Визенъ и рассказала во всѣхъ подробностяхъ, какъ княгиня Кривобокая отказывалась отъ предсѣдательства и какъ тебя единогласно выбрали на ея мѣсто. Еслибъ я могла предвидѣть эти событія, я бы, конечно, преодолѣла свою болѣзнь и поѣхала посмотрѣть на твое торжество. Отъ души поздравляю тебя съ этимъ новымъ успѣхомъ.

Я забыла спросить у баронессы, была ли ты вчера на балу у Нины Карской. La baronne m'a dit, qu'en général c'était très brillant. Я собиралась ѣхать, но вдругъ почувствовала себя хуже, да и, по правдѣ сказать, у меня слишкомъ тяжело на душѣ, чтобы таскаться по баламъ. Костя въ свѣтѣ теперь почти не говоритъ со мной, онъ увѣряетъ, что не хочетъ меня компрометировать. Какъ странно, что прежде онъ вовсе не думалъ объ этомъ, а теперь, когда мнѣ все равно, что будутъ обо мнѣ говорить, и когда я готова все отдать за каждое его ласковое слово, онъ началъ заботиться о моей репутаціи. Да и ко мнѣ онъ ѣздитъ все рѣже и рѣже. Ты говорила мнѣ, что я сама въ этомъ виновата, что я слишкомъ надоѣдаю ему своими приставаніями, ревностью и шпионствомъ, что я должна быть всегда спокойной и веселой, если хочу удержать его... Но откуда же мнѣ взять это спокойствіе, какъ мнѣ притворяться веселой, когда кошки скребутся въ сердцахъ? Ты говоришь: ревность, но я рѣшительно

ни къ кому его не ревную. Онъ, кажется, ни за кѣмъ не ухаживаетъ въ сѣтѣ, а на балахъ танцуетъ все съ такими барышнями (какъ, напримѣръ, Наденька Кривобокая), что ревновать было бы смѣшно. Еслибъ я узнала, что онъ любитъ другую женщину, я бы скорѣе примирилась съ этимъ, но видѣть, что онъ бросаетъ меня такъ, безъ всякой причины,—вотъ что ужасно!

Баронесса рассказала мнѣ очень интересную вещь про графиню Анну Михайловну. При тебѣ, кажется, былъ въ застѣданіи Общества скандалъ, что она отвернулася отъ Нины Карской, не отвѣтила на ея поклонъ и торжественно вышла изъ залы. Послѣ этого, мѣсяца два, онѣ встрѣчались и не кланялись. Потомъ, quand Nina a repris sa place dans le monde avec plus d'éclat que jamais,—Анна Михайловна начала въ ней заискивать, передъ Новымъ годомъ сдѣлала ей визитъ и чрезъ разныхъ лицъ стала хлопотать, чтобы получить приглашеніе на ея балъ. Нина поступила очень умно: визита ей не отдала, но приглашеніе ей послала, et pour l'humilier davantage, послала накупунъ бала. И представъ себѣ, что она поѣхала съ обѣими дочерьми и уѣхала съ бала послѣдняя. Voilà ce qui s'appelle avoir du toupet!

Твоя Мери.

44. Отъ княгини Кривобокой.

(Получ. 17-10 января).

Сейчасъ получила я, милая графиня, записку о перемѣнахъ, которыя Вы думаете сдѣлать въ Обществѣ, и очень цѣню то, что Вы считаете нужнымъ совѣтоваться съ такой глупой старухой, какъ я. Все, что Вы предлагаете, прекрасно, и я только жалѣю, что мнѣ раньше это не пришло въ голову. Впрочемъ, я и сама думала, что секретарь долженъ служить безъ жалованья и быть изъ нашего круга, но, на бѣду, тогда мнѣ подвернулся этотъ Оптинъ съ семьєю человѣками дѣтей, и я черезъ жалость назначила ему полторы тысячи жалованья въ годъ. Вотъ и показалъ онъ мнѣ жалость!

Моя закадычная пріятельница, графиня Анна Михайловна, къ концу зимы непременно сойдетъ съ ума, каждый день слы-

пишъ про нее что-нибудь новое. Вчера баронесса Визенъ за-
ѣхала къ ней утромъ и еще на лѣстницѣ услышала какія-то
рыданія. Вбѣгаетъ она по своему обычаю безъ доклада въ го-
стиную и видитъ, что Анна Михайловна катается по ковру и
въ истерикѣ воетъ. Въ это время входитъ Варя—тоже вся въ
слезахъ—и объясняетъ: «Представьте себѣ, что мы сегодня не
приглашены на маленькій балъ. На маму это такъ подѣйствовало
оттого, что это случается съ ней въ первый разъ въ жизни». Но
лучше всего то, что всѣ эти слезы лились понапрасну. Просто
вышла какая-то ошибка; передъ самымъ обѣдомъ при-
несли приглашеніе, и черезъ нѣсколько часовъ этихъ всѣхъ
скорбящихъ повезли на балъ съ опухшими глазами. Зная хо-
рошо графиню Анну Михайловну, я вполне вѣрю этой исторіи,
но тоже не могу не сказать: какая счастливая эта баронесса! Вѣдь
попадетъ же она всегда на такую сцену, о которой потомъ мо-
жетъ трубить цѣлую надѣлю. Отчего это со мной никогда не
случается?

Ваша Е. Кривобокая.

45. *Отъ А. В. Можайскаго.*

(Получ. 20-го января).

Милая графиня. Сейчасъ, воротясь изъ театра, мы нашли у
себя официальную бумагу, въ которой Вы увѣдомляете жену
объ избраніи ее въ члены вашего Общества и предлагаете мнѣ
исполнять «безвозмездно» должность секретаря. Жена моя въ
восторгѣ, и завтра мы поѣдемъ вмѣстѣ Васъ благодарить, а
пока не могу не выразить Вамъ моего восхищенія передъ ге-
ніальностью этой мысли. До сихъ поръ я буквально не могъ
вырваться изъ дома, но теперь поневолѣ придется возить къ
предсѣдательницѣ всякіе доклады и смѣты. Обѣщаю служить
хотя и безвозмездно, но очень усердно. Очень также хорошо,
что Вы наняли помѣщеніе для Общества на Васильевскомъ
островѣ—подальше отъ нескромныхъ взоровъ. Будемъ надѣ-
яться, что въ эти частныя засѣданія не проникнутъ даже все-
видящія очи баронессы Визенъ.

Вы вчера спросили у жены, откуда у нея это жемчужное

ожерелье, которое произвело такой фуроръ на большомъ балу, и она отвѣтила, что получила его отъ бабки. Это неправда. Она купила его въ Слободскѣ почти даромъ (за 3,500 р.) у Мѣдяшкиной, приживалки Вашей покойной тетюшки. Мѣдяшкина увѣряла, что только крайность заставляетъ ее разстаться съ подаркомъ ея благодѣтельницы, и обязала жену клятвой, что она никому не скажетъ объ этой покупкѣ. Но я не клялся, а потому могу сказать правду.

Какъ низкопоклонный секретарь, лобзаю подобострастно руку моего новаго начальства. А. М.

Р. S. Если бы мнѣ теперь посчастливилось еще найти ка-кого-нибудь египтолога, который согласился бы разбирать съ женой іероглифы, тогда моя семейная жизнь устроилась бы со-всѣмъ хорошо.

46. Отъ М. И. Бояровой.

(Получ. 2-го февраля).

Вотъ ужъ почти двѣ недѣли, что я тебя не видала, моя милая Китти. Я, конечно, не могу упрекать тебя, потому что знаю, какъ ты занята выѣздами и дѣлами Общества, которое подъ твоимъ управленіемъ начинаетъ, кажется, приносить пользу. Но все-таки, если ты найдешь свободную минуту и прійдешь навѣстить больную, это будетъ настоящее доброе дѣло. Я все еще очень слаба.

Костю я почти не вижу. Я попробовала послѣдовать твоему совѣту и въ послѣдній разъ, что онъ былъ у меня, не разспрашивала его ни о чемъ, не сказала ни одного упрека, стараясь казаться веселой,—ну, и что же? Онъ уѣхалъ, съ тѣхъ поръ прошла недѣля, и я не имѣю о немъ никакого извѣстія. Даже въ полковомъ приказѣ не упоминалось ни разу его имя.

Нѣтъ, Китти, во всемъ этомъ никакой моей вины нѣтъ. Прежде я и приставала къ нему, и ссорились мы до слезъ, и все-таки онъ пріѣзжалъ на другой день. Тутъ произошло что-то такое, чего я не знаю, и что постепенно каждый день уно-сить мое счастье. Я это почувствовала уже давно,—въ первые

дни послѣ его возвращенія изъ деревни. Ты будешь смѣяться надъ моимъ поэтическимъ сравненіемъ и опять назовешь меня русской madame Girardin, но мнѣ это счастье представляется какой-то большой, очень красивой птицей, которая когда-то высоко летала надъ землей и у которой каждый день кто-то вырываетъ перо изъ крыльевъ. Она взлетаетъ все ниже и ниже, и скоро совсѣмъ перестанетъ летать.

Черезъ два дня начнется масленица, у меня куча приглашеній, но я никуда не поѣду и буду беречь силы для folle-journées. Надѣюсь, что меня пригласятъ, какъ въ прежніе годы. Не знаю—отчего, но мнѣ ужасно хочется быть на folle-journées. Можетъ быть, оттого, что это послѣдній балъ сезона; а до слѣдующаго сезона мнѣ дожить не суждено. Въ послѣдній разъ посмотрю на этотъ блескъ, на эту суету, которую я такъ любила когда-то, а потомъ... Что будетъ потомъ? Какъ-то страшно и думать. Близкой смерти я не жду,—вѣдь никакой серьезной болѣзни у меня нѣтъ,—но все-таки у меня такое чувство, что вотъ-вотъ что-то оборвется, и послѣ ничего не будетъ. Можетъ быть, жизнь моя тоже въ родѣ той птицы, о которой я говорила; кажется, и у нея перьевъ остается немного.

Сегодня я проснулась здоровая и веселая, какою была годъ тому назадъ. Первая мысль, какъ всегда, о Костѣ; посмотрѣла на часы: десять часовъ,—значить, онъ пріѣдетъ черезъ два часа съ четвертью. Это состояніе длилось съ минуту, потомъ я опомнилась, мнѣ сдѣлалось невыносимо горько, я упала опять на подушки и долго лежала съ закрытыми глазами. Мнѣ хотѣлось остаться такъ на цѣлый день и никого не видѣть, однако пріѣхалъ докторъ, пришлось встать, потомъ было еще нѣсколько неинтересныхъ гостей. Передъ обѣдомъ заѣхала баронесса Визенъ и привезла цѣлый коробъ всякихъ сплетенъ. Она очень смѣшно разсказывала, какъ наши дамы осаждаютъ преосвященнаго Никодима, который не знаетъ, куда отъ нихъ спрятаться, какъ Анна Михайловна совѣщалась съ нимъ о туалетахъ своихъ дочерей, а Катя Вараксина назвала его «преждеосвященный владыко», какъ княгиня Кривобокая спрашивала, нѣтъ ли у него особой молитвы о скорѣйшемъ замужествѣ дочери, какъ Нина Карская пригласила его на обѣдъ, за которымъ преосвященный ничего не ѣлъ, потому что всѣ блюда были мясные,

и т. д.—все въ этомъ родѣ. Меня эти глупости немного развлекли; потомъ былъ обѣдъ, во время котораго Ипполитъ Николаичъ нѣсколько разъ бросалъ на меня строгій, испытующій взглядъ. Онъ не знаетъ въ чемъ дѣло, но на всякій случай смотреть строго. Потомъ прошелъ долгій томительный вечеръ. Я почему-то имѣла слабую надежду, что сегодня прійдетъ Костя, но никто не пріѣхалъ. Наконецъ, дѣти улеглись спать, Ипполитъ Николаичъ уѣхалъ въ клубъ, я осталась одна и нашла себѣ утѣшеніе—поболтать съ тобой. Я бы еще долго писала тебѣ, но меня опять начинается знобить, и вся голова въ огнѣ. Забъжай ко мнѣ завтра, если можешь. Я не смѣю звать тебя обѣдать, но какъ бы я была этому рада! *Ne m'abandonne pas, ma chère, ma bien bonne Kitty! Si tu savais à quel point je suis seule et misérable!*

A toi comme toujours Mery.

47. Отъ княгини Кривобоккой.

(Получ. 12-го февраля).

Милая графиня. Отъ большой радости я не могу спать; встала съ постели, зажгла свѣчи и хочу этой радостью подѣлиться съ Вами. Сейчасъ, возвращаясь съ *folle-journée*, Наденька мнѣ объявила, что она невѣста Кости Невѣрова. Завтра въ часъ онъ прійдетъ ко мнѣ дѣлать предложеніе, а до тѣхъ поръ я не засну отъ нетерпѣнія. Еще сегодня, когда я Вамъ указала на нихъ во время мазурки, Вы пожали плечами и сказали: «Ну, здѣсь ничего не выйдетъ». Вотъ видите, милая графиня, Вы гораздо умнѣ меня, а въ иныхъ случаяхъ сердце бываетъ пронизательнѣе ума, особливо сердце матери, изнывшее отъ долгаго ожиданія.

Конечно, если взглянуть на все это безпристрастно, нельзя сказать, чтобы партія для Наденьки вышла очень блестящая. Имя онъ несетъ хотя и старое дворянское, но совсѣмъ незнакомое, родства тоже никакого нѣтъ. Съ его матерью я была знакома въ молодости, она и тогда уже начинала пошаливать; но когда она бросила свой чепецъ черезъ мельницу, я перестала ее видѣть. Теперь она женщина благочестивая и почтенная,

преосвященный Никодимъ знаетъ ее хорошо. Состояніе у нея очень большое, но неизвѣстно, что она дастъ сыну. Осенью она вызывала сыновей для раздѣла имѣнія, но потомъ передумала и отложила. По правдѣ сказать, я въ своемъ зятѣ вижу два достоинства: сложеніе у него богатырское и танцуетъ отлично. Объ остальномъ лучше не будемъ говорить, хотя Наденька и жужжала мнѣ въ каретѣ: «Онъ очень, очень уменъ, только онъ отъ всѣхъ скрываетъ это нарочно, а мнѣ открытъ». Ну, и слава Богу, что открылъ! Будь Невѣровъ постарше и начини онъ ухаживать за одной изъ моихъ первыхъ дочерей, я бы затворила ему свою дверь, а для Наденьки и этотъ хорошъ: вѣдь ей—теперь можно сказать правду—не двадцать-четвертый годъ, а двадцать шесть съ хвостикомъ. Опять и то правда, что всякій бракъ—лотерея. Ужъ, кажется, завидные были женихи мои четыре зятя, а никакъ съ ними ладить не могу: авось, полагаю съ тѣмъ, который поплоче.

Хотя у насъ уже начался постъ, но откладывать объявленіе о такой радости я не въ силахъ, а потому прошу Васъ пожаловать ко мнѣ вмѣстѣ съ графомъ во вторникъ, въ 7 часовъ, на постный обѣдъ, чтобы выпить здоровье жениха и невесты. Вѣдь шампанское—не скоромное. За этимъ обѣдомъ вы увидите, до какой степени будетъ милъ и обворожителенъ Петръ Ивановичъ, и, вѣроятно, удивитесь этой загадкѣ, а разгадка въ томъ, что я дала обѣщаніе заплатить всѣ его долги (въ третій разъ), какъ только Наденька будетъ объявлена невестой.

Итакъ, до свиданія, моя милая графиня, искренно Вамъ преданная

Е. Кривобокая.

Р. S. Ваша пріятельница Марья Ивановна будетъ, можетъ быть, недовольна этой свадьбой, ну, да что дѣлать: на всѣхъ не угодишь.

48. Отъ Ипполита Николаевича Боярова.

(Получ. 12-го февраля).

Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна. Простите, что беспокою Васъ въ столь ранній часъ. Жена моя,

не выѣзжавшая около мѣсяца, вдругъ собралась вчера на folle-journéе, но когда она одѣлась, ее начала бить такая лихорадка, что я почти силой удержалъ ее дома. Вечеромъ у нея былъ бредъ, но часамъ къ пяти утра она успокоилась и заснула. Сегодня въ десять часовъ пріѣхала эта несносная баронесса Визень, ворвалась въ спальню жены, разбудила ее и, вѣроятно, чѣмъ-нибудь разстроила, потому что послѣ ея отъѣзда Мери пришла въ такое ужасное нервное состояніе, что я совсѣмъ потерялъ голову. Она рѣшительно не желаетъ видѣть доктора и неотступно требуетъ Васъ. Ради Бога, пріѣзжайте сейчасъ. Вы одинъ можете ее успокоить. Для скорости посылаю Вамъ карету, которая была заложена для меня.

Глубоко Вамъ преданный
И. Бояровъ.

49. Отъ баронессы Визень.

(Получ. 12-10 февраля).

Милая графиня, теперь только первый часъ, а Вы уже усаkali изъ дома! Я заѣхала, чтобы сообщить Вамъ очень интересную новость: старшій Невѣровъ женится на Наденькѣ Кривобокой; это рѣшилось вчера на folle-journéе. Онъ въ этомъ году непременно долженъ былъ на комъ-нибудь жениться, потому что иначе его мать не соглашалась выдѣлать ему курское имѣніе. Il parait, que ce vieux renard de Никодимъ а aussi manigancé dans cette affaire, недаромъ княгиня Кривобокая ѣздила къ нему каждое воскресенье. Excusez mon griffonage: пишу у Васъ въ швейцарской, на клочкѣ бумаги, и очень тороплюсь, j'ai encore une masse de courses à faire.

Bien à Vous Cathérine Wiesen.

P. S. Нина Карская послѣ своей триумфальной зимы уѣзжаетъ завтра за границу, но скрываетъ это отъ всѣхъ, чтобы избѣжать разспросовъ: куда, зачѣмъ и т. д. Съ графиней Анной Михайловной произошелъ опять смѣшной случай. На-дняхъ она написала князю Борису Ивановичу письмо, въ которомъ проситъ представить ея зятя Вараксина въ камеръ-юнкеры непременно

къ Пасхѣ, но отъ сильнаго волненія ошиблась и вмѣсто камеръ-юнкера написала: въ камеръ-пажи. Князь, которому она смертельно надобла, отвѣтилъ ей, что съ этимъ прошеніемъ она должна обратиться въ Пажескій корпусъ. Vous voyez d'ici sa fureur!

50. Отъ И. Н. Боярова.

(Получ. 25-10 февраля).

Многоуважаемая и добрѣйшая графиня Екатерина Александровна. Согласно моему обѣщанію, спѣшу написать Вамъ о нашей бѣдной больной. Ея душевное состояніе въ продолженіе всей дороги внушало мнѣ самыя серьезныя опасенія. Она упорно молчала, а если ей случалось отвѣтить на какой-нибудь обращенный къ ней вопросъ, то каждая ея ничтожная фраза переходила въ истерическое рыданіе. Отъѣздъ нашъ произошелъ такъ внезапно, что я не успѣлъ послать нужныя распоряженія въ деревню, гдѣ мы не были пять лѣтъ. Управляющій получилъ мою депешу за нѣсколько часовъ до нашего пріѣзда и долженъ былъ уступить намъ свой флигель, потому что остановиться въ нетопленномъ домѣ было немыслимо. Первые три дня мы жили всѣ съ дѣтьми, гувернанткой и учителемъ въ четырехъ маленькихъ клѣтушкахъ и очень бѣдствовали; теперь понемногу все пришло въ порядокъ. По счастью, въ десяти верстахъ отъ насъ, въ уѣздномъ городѣ живетъ нашъ старый другъ докторъ Флешеръ, котораго Мери знаетъ съ дѣтства и у котораго согласилась лѣчиться. Главное лѣкарство, которое онъ прописалъ,—моціонъ на чистомъ воздухѣ, и Мери исполняетъ это охотно. Погода у насъ чудесная: все время 2—3 градуса мороза, безъ вѣтра. Сегодня ровно недѣля, что мы здѣсь, и женѣ видимо лучше. У нея появился аппетитъ, спать она больше, разговариваетъ о разныхъ предметахъ, и хотя всѣ ея сужденія отзываются крайнимъ пессимизмомъ, но это легко объяснить долгимъ напряженіемъ нервовъ. Примѣчательно, что съ самаго выѣзда изъ Петербурга у нея не было ни одного приступа лихорадки.

Теперь я не знаю, какими словами благодарить Васъ, добрѣйшая графиня, за то горячее участіе, которое Вы приняли въ Мери, и за ту энергію, съ которой Вы убѣдили и ее, и

меня немедленно уѣхать изъ Петербурга. Флешеръ говоритъ что это ее спасло, и что каждый лишній часъ, проведенный въ Петербургѣ, могъ повести къ большимъ усложненіямъ. Жена сознаетъ всю цѣну Вашей услуги и нѣсколько разъ порывалась Вамъ писать. Вчера она даже принялась за письмо, но, написавъ двѣ-три фразы, не могла удержаться отъ рыданій, такъ что я уговорилъ ее отложить это до другого дня и принялъ на себя отвѣтственность за ея молчаніе, которое при другихъ обстоятельствахъ было бы непростительно.

По мнѣнію Флешера, которое я вполне раздѣляю, болѣзнь Мери произошла оттого, что ея слабый организмъ не могъ выдержать нелѣпаго свѣтскаго образа жизни и сопряженныхъ съ этою жизнью бессонныхъ ночей. Надо надѣяться, что съ будущей зимы моя жена, умудренная горькимъ опытомъ, поведетъ свою жизнь иначе.

Если ея выздоровленіе будетъ идти такими же вѣрными шагами впередъ, я предполагаю дней черезъ десять ѣхать въ Петербургъ, куда меня призываютъ служебныя обязанности, а въ концѣ апрѣля взять отпускъ и пріѣхать сюда на все лѣто. Само собой разумѣется, что въ день пріѣзда я явлюсь къ Вамъ и сообщу Вамъ всѣ подробности на словахъ.

Безмѣрно Вамъ преданный

И. Бояровъ.

51. Отъ графа Д.

(Получ. 10-10 марта).

Милая Китти, посылаю тебѣ ключъ отъ моего письменнаго стола. Вынь, пожалуйста, двѣ тысячи и пришли ихъ мнѣ въ клубъ. Я въ большомъ проигрышѣ и не хочу оставаться долженъ. Но такъ какъ Григорій боленъ, а съ другими людьми посылать опасно, то попроси Мишу Невѣрова—онъ, вѣроятно, торчитъ у тебя—свезти пакетъ въ клубъ и вызвать меня въ швейцарскую. Деньги лежатъ налѣво, подъ большимъ синимъ конвертомъ.

52. Денежа отъ Д. Д. Кудряшина.

(Получ. 11-го марта).

Стеша, Маня, Пиша, Паша, весь хоръ и всѣ чавалы, а въ числѣ ихъ и я, Митька, пьемъ здоровье нашей обожаемой графини и напоминаемъ ей обѣщаніе посѣтить опять нашу матушку-Москву бѣлокаменную.

Кудряшинъ.

53. Отъ преосвященнаго Никодима.

(Получ. 11-го марта).

Любезнѣйшая сестра о Господѣ и Сіятельная Графиня. Щедрый Вашъ даръ въ пользу страждущихъ, попеченію моему ввѣренныхъ, я получилъ и шлю Вамъ мое усердное благодареніе, хотя не безызвѣстно мнѣ, что скромность Ваша чуждается благодарности... Что я говорю? Не только чуждается, но еще всемѣрно оную умаляетъ и отвергаетъ.

Но если бы и дозволено было скромности скрыть вовсе подъ своей завѣсой тьму темъ благотвореній Вашихъ, то самая Ваша жизнь къ счастью и назиданію человечества подъ симъ желаемымъ Вами спудомъ оставаться не можетъ. Вѣрная и добродѣтельная супруга, чадолюбивая и нѣжная мать, послушная и усердная дочь единой истинной Церкви, Вы, какъ нѣкій свѣтильникъ, стоите на мѣстѣ горнемъ, для всѣхъ взоровъ открытомъ, и мимоидущіе люди недоумѣваютъ, чему болѣе имъ дивиться надлежитъ: красотѣ ли внѣшней сего безцѣннаго сосуда, или же его внутреннему негасимому свѣту.

О пожертвованной Вашимъ Сіятельствомъ суммѣ будетъ завтра доложено мною извѣстной Вамъ Высокой Особѣ.

Посылая Вамъ мое пастырское благословеніе, остаюсь Вашъ смиренный слуга и богомолецъ

Никодимъ.

54. Отъ М. И. Боярвой.

(Получ. 25-10 марта).

Болѣе мѣсяца собиралась я писать тебѣ, мой милый, дорогой другъ Китти, и всякій разъ перо вываливалось изъ рукъ. Я столько передумала и перечувствовала за это послѣднее время, мнѣ хочется все передать тебѣ, и я не знаю, съ чего начать. Сегодня я, наконецъ, собралась съ силами и начну съ того, что отъ всего сердца благодарю тебя. Ты положительно спасла меня тѣмъ, что уговорила моего мужа немедленно увести меня въ деревню. Это доказываетъ, какъ хорошо ты знаешь меня, и какъ глубоко ты понимаешь тотъ свѣтъ, въ которомъ мы живемъ. Въ самомъ дѣлѣ, что бы было со мной, если-бъ я осталась въ Петербургѣ? Запереться отъ всѣхъ было невозможно, а принимать пріятельницъ, которыя пріѣзжали бы ко мнѣ, чтобы узнать о моемъ здоровьѣ, но въ сущности для того, чтобы посмотрѣть, какъ я страдаю и мучусь, выслушивать ихъ притворныя соболѣзнованія и ядовитые намеки...

Знаешь, трехъ дней такой жизни было бы довольно, чтобы сойти съ ума! Я не буду тебѣ писать о нашемъ путешествіи и деревенской жизни, а также и о моемъ здоровьѣ. Ипполитъ Николаичъ навѣрное былъ у тебя и все рассказалъ подробно. Я должна отдать справедливость Ипполиту Николаичу, онъ все время былъ очень деликатенъ и добръ со мной, *il me soignait comme une véritable soeur de charité*, и хотя, вѣроятно, догадался обо всемъ, но не сдѣлать даже никакого намека. Только въ день своего отъѣзда, онъ сказалъ мнѣ, какъ будто мимоходомъ: «Не напишете ли Вы нѣсколько словъ княгинѣ Кривобокой? Вамъ слѣдуетъ поздравить ее съ замужествомъ дочери, я самъ отвезу ей ваше письмо». И я покорно усѣлась за письменный столъ и поздравила эту вѣдьму и написала: «*Je fais des vœux bien sincères pour le bonheur de Nadine*»... Клянусь тебѣ, Китти, что солгала въ послѣдній разъ!

Но развѣ можно жить въ свѣтѣ и не лгать? Я даже не могу себѣ представить вполнѣ честной, правдивой жизни въ этомъ омутѣ лицемѣрія и лжи. Мнѣ и прежде приходили въ голову такія мысли, но постоянный шумъ свѣтской суеты заглушалъ голосъ совѣсти, а теперь я вижу это сознательно и

ясно. Не думай, что я нападаю на свѣтъ, чтобы оправдать себя. Я не ищу никакихъ оправданій, и даже прежде, когда моя жизнь проходила въ какомъ-то туманѣ, я не считала себя правой. Въ Екатерининъ день, послѣ твоего большого обѣда, я поѣхала на вечеръ къ другой именинницѣ—баронессѣ Визенъ. Когда я вошла, меня поразили составъ общества; конечно, это произошло случайно. Насъ было семь или восемь женщинъ, изъ которыхъ у каждой была связь въ свѣтѣ, и каждая знала, что другія это знаютъ. Мужчины, бывшіе на вечерѣ, конечно, знали также; развѣ какой-нибудь иностранецъ изъ дипломатовъ могъ не знать, да и то врядъ ли. Дипломаты, посѣщающіе баронессу, знаютъ все. Ну, кажется, что бы ужъ тутъ гордиться? А между тѣмъ, какъ величаво мы кланялись и переходили съ мѣста на мѣсто, какой былъ высокоподнятый тонъ разговора, какъ строго мы судили о лицахъ нашего круга и съ какимъ высокомернымъ презрѣніемъ относились ко всему остальному человечеству. Между прочимъ, рѣчь зашла объ этой бѣдной дѣвушкѣ... ну знаешь, которая была лектрисой у графини Анны Михайловны и погибла изъ-за любви къ ея сыну... Боже мой, какіе громы негодованія посыпались на эту несчастную! И странно, что больше всѣхъ негодовала и кричала Нина Карская, которую три мѣсяца передъ тѣмъ никто не хотѣлъ принимать въ Петербургѣ. Я также сказала какую-то фразу осужденія въ общемъ тонѣ, но тотчасъ почувствовала, что не имѣла права такъ говорить. И долго потомъ эта вырвавшаяся у меня фраза тяготила мою совѣсть, и я всякій разъ краснѣла, когда вспоминала о ней. Когда я на-дняхъ сообщила часть этихъ мыслей Ипполиту Николаичу, онъ сказалъ мнѣ: «Вы напрасно считаете ложь и лицемеріе исключительной принадлежностью нашего общества; эти пороки присущи всѣмъ обществамъ и народамъ». Очень можетъ быть, что присущи, но я другихъ обществъ не знаю, я говорю о нашемъ, которое знаю хорошо. А если это дѣйствительно такъ, то все-таки какое право имѣемъ мы презирать другихъ людей за то, что они такъ же дурны, какъ и мы?

Но свѣтъ не только лицемеренъ и лживъ, онъ еще жестокъ и безжалостенъ. Нашъ прежній учитель Василій Степанычъ объяснялъ мнѣ теорію какого-то извѣстнаго ученаго, по которой выходитъ, что все въ природѣ должно бороться, чтобы суще-

ствовать. Мы въ свѣтѣ ведемъ такую же ожесточенную борьбу, но только съ той разницей, что для нашего существованія она вовсе не нужна. Каждый твой успѣхъ, каждый маленькій проблескъ счастья уже мѣшаетъ жить другимъ, но пока еще тебѣ везетъ,—всѣ за тебя. Зато ты чуть пошатнулась, чуть счастье тебѣ измѣнило,—тогда ужъ пощады не жди! А наши наряды и всѣ эти украшения, на которыя мы тратимъ такіа сумасшедшія деньги,—какая ихъ цѣль, какой *raison d'être*? Говорятъ, что все это дѣлается для соблазна мужчинъ, но это не правда. Большинство ихъ даже не замѣчаетъ, что на насъ надѣто. Конечно, имъ нравится, когда мы одѣты къ лицу, но вѣдь одѣваться къ лицу мы бы сумѣли и на гроши. Нѣтъ, эти наряды—наши орудія борьбы другъ съ другомъ, это наши ружья и пушки. Побѣда наша въ томъ, чтобы пріятельница А. покраснѣла отъ досады, чтобы пріятельница Б. поблѣднѣла отъ злости... Вотъ видишь, Китти, когда я подумаю, что всю жизнь я прожила въ этомъ крошечномъ аду и опять должна въ него вернуться, холодныя мурашки пробѣгаютъ у меня по спинѣ. Я сказала Ипполиту Николаичу, что хочу навсегда остаться въ деревнѣ; онъ отвѣчалъ, что это—фантазія выздоравливающей женщины, что я должна, ради воспитанія дѣтей и его служебной карьеры, жить зимой въ Петербургѣ. Но подумай только, съ какимъ лицомъ я появлюсь въ обществѣ, подумай, что будетъ со мной, когда я встрѣчу Костю... Я не могу больше писать, окончу письмо завтра.

Третьяго дня, когда я начала это письмо, была ужасная погода: шелъ мокрый снѣгъ и дулъ такой страшный вѣтеръ, что нельзя было выйти на балконъ. Вчера взомло горячее яркое солнце, и у насъ началась весна. Если-бъ ты знала, какой восторгъ—начало весны въ деревнѣ! Это какое-то особенное чувство, я испытывала его въ дѣтствѣ, потомъ забыла. Только обыкновенно весна приходитъ понемногу, вчера же все какъ-то сразу зашевелилось и зашло кругомъ. *Le printemps est entré sans s'annoncer, comme la baronne Wiesen*. Третьяго дня гора была совсѣмъ бѣлая, а сегодня верхушка ея уже почернѣла, и кое-гдѣ маленькіе голубые цвѣточки пріютились между голыми деревьями. Вчера мы провели цѣлый день на воздухѣ. Вечеромъ,

когда всё улеглись спать, я хотѣла продолжать это письмо, но меня неудержимо потянуло опять на воздухъ. Я закуталась въ большой пледъ и нѣсколько часовъ просидѣла въ какомъ-то чадѣ на ступенькахъ балкона. Давно у меня не было такъ легко на душѣ. Такъ приятно было вдыхать этотъ воздухъ и свѣжій, и сильный, и въ то же время какой-то ласковый, такъ загадочно мигали мнѣ сверху яркія звѣзды, такъ отчетливо раздавался въ глубокой тишинѣ ночи немолчный говоръ безчисленныхъ ручейковъ! Ручьи тихо журчали и справа, и слѣва отъ балкона, и падали съ шумомъ гдѣ-то тамъ внизу въ глубинѣ сада. И всё они, казалось, говорили мнѣ: «Слышишь, какъ мы бѣжимъ, словно дѣло дѣлаемъ и спѣшимъ куда-то, а завтра отъ насъ и слѣда не останется. Повѣрь, точно также утечетъ и исчезнетъ все, что теперь тебя такъ волнуетъ и мучитъ. Да и самая жизнь также уйдетъ и не оставитъ слѣда. Стоить ли вспоминать и загадывать, стоитъ ли роптать и томиться? Не жалѣй о томъ, что прошло, не бойся того, что будетъ... Успокойся, прости, забудь!»

Не смѣйся надо мной, Китти; не думай, что я стараюсь писать высокимъ слогомъ; право, я тебѣ пишу все, что чувствую на самомъ дѣлѣ. Это не то, что въ Петербургѣ, гдѣ мы, бывало, такъ восхищались природой на словахъ, а думали въ это время совсѣмъ о другомъ. Есть и другое чувство, о которомъ я много говорила прежде, но которое испытала въ полномъ объемѣ только теперь, это—любовь къ дѣтямъ. Конечно, я и прежде любила дѣтей, но много думать о нихъ мнѣ просто было некогда. Моему Митѣ идетъ одиннадцатый годъ, и я только теперь узнала, какъ онъ уменъ и милъ. Каждый день онъ или поражаетъ меня какимъ-нибудь мѣткимъ замѣчаніемъ, или дѣлаетъ мнѣ такой вопросъ, который ставитъ меня втупикъ, и я потомъ роюсь въ книгахъ, чтобы отвѣтить ему. Одно меня удивляетъ и мучитъ: перебирая со мной всѣхъ нашихъ знакомыхъ, онъ ни разу не произнесъ имени Кости. Неужели и онъ что-нибудь понимаетъ? Нѣсколько разъ я хотѣла прекратить эту пеловкость и сама заговорить о немъ, но какая-то непреодолимая сила меня удерживала. А что, если я покраснѣю, назвавъ его? А что, если покраснѣетъ Митя? Пытливый взглядъ этихъ десятилѣтнихъ глазъ смущаетъ меня больше, чѣмъ насупленные брови и важная осанка Ипполита Николаича.

Но довольно говорить о себѣ, позволь мнѣ сказать нѣсколько

словъ о тебѣ. Я всегда считала тебя необыкновенной женщиной во всѣхъ отношеніяхъ. Всѣ успѣхи и почести, которыхъ другія добиваются всю жизнь, приходятъ къ тебѣ какъ-то сами собою. Всякій свой капризъ ты приводишь немедленно въ исполненіе и безъ колебанія переходишь ту черту, передъ которой другая остановилась бы въ страхѣ. Въ тебѣ живетъ какое-то убѣжденіе, что никто и подозрѣвать тебя не можетъ. До сихъ поръ это тебѣ удавалось, но вѣдь ты знаешь, милая Китти, *les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas*. Помнишь, что ты мнѣ отвѣтила разъ ночью въ Монплеизрѣ, когда я спросила, что тебѣ за охота беречь всѣ эти письма, которыя могутъ тебя скомпрометировать? Ты мнѣ сказала: «мой мужъ такъ во мнѣ увѣренъ, что если-бъ даже онъ увидѣлъ меня въ чьихъ-нибудь объятіяхъ, онъ не повѣрилъ бы глазамъ своимъ». Но вѣдь это — большое преувеличеніе, Китти, *au fond, ce n'est qu'une phrase*. Какая-нибудь неосторожность, какой-нибудь пустякъ можетъ тебя выдать и тогда все зданіе рухнетъ, и мужъ возненавидитъ тебя тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше тебѣ вѣрилъ, и свѣтъ накинется на тебя съ ожесточеніемъ, чтобы отомстить за то поклоненіе, которымъ онъ такъ долго окружалъ тебя. Свѣтъ не любитъ тѣхъ, кому поклоняется добровольно. Послушайся меня, мой милый, добрый другъ Китти, сожги свой знаменитый архивъ, а съ нимъ вмѣстѣ и все то, что дѣлаетъ этотъ архивъ интереснымъ для тебя; однимъ словомъ, будь дѣйствительно такою, какою считаютъ тебя другіе. Тебѣ это не будетъ стоить особенныхъ усилій: я вѣдь знаю, что у тебя не было ни одного серьезнаго увлеченія. Разставаясь со своими «капризами», ты вѣдь не испытываешь и сотой доли того, что выстрадала я изъ-за моего перваго и послѣдняго увлеченія. Оно длилось около двухъ лѣтъ, но на него ушло у меня столько силъ и чувства, что эти два года казались мнѣ цѣлой жизнью, и я сначала не понимала, какъ все это могло кончиться. Теперь я не понимаю, какъ оно могло начаться, и, конечно, отдала бы половину того, что мнѣ осталось прожить, только за то, чтобы оно никогда не начиналось.

Не сердись, дорогая моя Китти, что твоя взыбаломшная, безумная Мери даетъ тебѣ совѣты, но повѣрь, что совѣты эти идутъ изъ глубины сердца, полного любви и благодарности къ тебѣ. Ты докажешь, что не сердишься, если напишешь мнѣ

такое же длинное письмо, какъ мое. Напиши мнѣ, что дѣлается у васъ въ свѣтѣ. Когда Ипполитъ Николаичъ сердится на своего министра, онъ цѣлый день повторяетъ: «я уйду въ частную жизнь». Вотъ и я ушла въ частную жизнь, но всѣ эти свѣтскія мелочи интересуютъ меня, какъ актера, который кончилъ свою роль, пришелъ въ зрительную залу и съ любопытствомъ слѣдить за тѣмъ, какъ доигрываютъ его товарищи. Напиши, много ли говорятъ обо мнѣ въ обществѣ? *On me déchire à belles dents, n'est-ce pas?* Я воображаю, какъ старается баронесса Визенъ! Ты, конечно, будешь на свадьбѣ Кости, опиши мнѣ все, все до мельчайшихъ подробностей. Я нисколько не сержусь на него, Богъ съ нимъ,—можетъ быть, все къ лучшему, но только мнѣ отъ души жаль его: онъ не будетъ счастливъ. Гдѣ же это глупой Наденькѣ любить, какъ я любила когда-то! Я написала: когда-то... А давно ли это было? Крѣпко тебя цѣлую.

Твоя Мери.

Р. S. Поклонись отъ меня очень Мишѣ Невѣрову, онъ славный, добрый мальчикъ. Неужели и его испортить свѣтъ? Я никогда не забуду выраженія его лица, когда онъ пріѣхалъ проводить меня на желѣзную дорогу и передавалъ мнѣ извиненія брата. Онъ сказалъ: «Мой братъ сегодня дежурный», и при этомъ покраснѣлъ до ушей. Онъ даже еще не умѣетъ лгать не краснѣя! А что это была ложь,—я знала очень хорошо, потому что наканунѣ прочла въ приказѣ, что дежурнымъ на этотъ день назначенъ Сироткинъ 1-й. Эти братья Сироткины ужасно меня интересовали, потому что безпрестанно дежурили всю зиму—то одинъ, то другой. Увижу ли я когда-нибудь этихъ Сироткиныхъ, и будутъ ли они опять также дежурить въ будущемъ году? Да и вообще, что будетъ со мной зимою? Придется ли мнѣ играть какую-нибудь роль въ комедіи вашего свѣта, или я останусь безучастной зрительницей этой безцѣльной суеты, этой вѣчной борьбы всевозможныхъ самолюбіи и интересовъ? Кто знаетъ? *Qui vivra—verra.*



ДНЕВНИКЪ
ПАВЛИКА ДОЛЬСКАГО

6-го ноября.

Вчера я пережилъ очень странное впечатлѣніе. Мнѣ уже съ недѣлю нездоровится. Не то, чтобы начиналась серьезная болѣзнь, а такъ, чувствую себя какъ-то не по-себѣ: то головная боль, то кашель, по ночамъ бессонница, днемъ какая-то непонятная слабость. Вчера я рѣшился пригласить доктора, котораго часто встрѣчаю у Марьи Петровны. Докторъ продолжалъ все, что въ подобныхъ случаяхъ продольвають доктора. Онъ осмотрѣлъ и прослушалъ меня вдоль и поперекъ, опредѣлили температуру тѣла, постучали грудь какими-то палочками, полюбозытствовало насчетъ языка и пульса, нашелъ, что все въ порядкѣ, и усѣлся въ раздумьи за письменный столъ. Не дописавъ рецепта, онъ вскочилъ и началъ опять прикладывать голову къ моему сердцу, при чемъ неодобрительно качалъ головой. Я попросилъ объясненія.

— Видите ли,—началъ онъ, запинаясь и ища выраженій,—положимъ, что сердце у васъ въ порядкѣ, но—какъ вамъ сказать?.. посмотрите на ваши туфли: вы ихъ давно носите и можете еще долго проносить, а между тѣмъ кончики у нихъ побѣлѣли. Износились. То же и съ сердцемъ, вѣдь и оно можетъ износиться. Вамъ который годъ?

— Который годъ? Мнѣ?

— Ну, да, вамъ. Отчего мой вопросъ васъ такъ удивляетъ?

— Да потому, что онъ мнѣ никогда не приходилъ въ голову. Мнѣ за сорокъ.

Докторъ засмѣялся.

— Я не сомнѣваюсь въ томъ, что вамъ за сорокъ, но сколько именно? Не ближе ли къ пятидесяти?

— Пожалуй, что и такъ.

— Ну, вотъ, видите! Человѣкъ въ пятьдесятъ лѣтъ долженъ сказать, что онъ старикъ, и не удивляться тому, что его сердце работаетъ слабѣй, чѣмъ въ молодые годы.

И, съ увѣренностью подойдя къ письменному столу, докторъ навалилъ цѣлыхъ три рецепта.

— Можно ли мнѣ, по крайней мѣрѣ, выѣхать сегодня?— спросилъ я съ робкой мольбой.

— Ни подъ какимъ видомъ! Завтра принимайте каждый часъ обѣ микстуры поочередно, на ночь втирайте мазь, а послѣ-завтра я заѣду.

— Но я обѣщала непремѣнно обѣдать у Марьи Петровны. Вы знаете, что сегодня прїѣзжаетъ къ ней племянница...

— Это ничего не значитъ! Я отъ васъ ѣду къ Марьѣ Петровнѣ и скажу ей, что запретилъ вамъ выѣзжать... А племянницу посмотрѣть успѣете: она прогоститъ у Марьи Петровны всю зиму.

И, небрежно сунувъ въ карманъ бумажку, которую я вручилъ ему какъ-то крадучись,—точно совершалъ какое-нибудь постыдное дѣло,—докторъ важно удалился.

Этотъ докторскій визитъ навелъ меня на самыя грустныя размышленія. Какъ же это такъ? Съ тѣхъ поръ, какъ я себя помню, я всегда чувствовалъ себя молодымъ, и вдругъ оказывается, что я старикъ! Еще вчера я пилъ, ѣлъ, спалъ и волочился за женщинами, какъ молодой человѣкъ, теперь все должно пойти иначе.

Сейчасъ, роясь въ своемъ письменномъ столѣ, я нашелъ старую, порывѣвшую отъ времени тетрадь съ заголовкомъ: «Записки о моей жизни. Дрезденъ». Я началъ писать эту тетрадь много лѣтъ тому назадъ, живя за границей, въ самомъ тревожномъ настроеніи духа. Выписываю отсюда послѣднія строки: «Пора кончить. Я вижу, что не понимаю ни себя, ни окружающей меня жизни. Придетъ время, когда все уляжется въ душѣ, наступитъ эпоха грустной старости,—тогда, можетъ быть, примусь опять за эти записки».

Повидимому, эта эпоха наступила. Давно все улеглось въ душѣ, жизненный путь почти пройденъ, пора подводить итоги.

Я вѣдь не только ѣлъ, спать и волочился; я еще всю жизнь наблюдалъ и размышлялъ, мнѣ хочется уяснить себѣ результаты этихъ

Ума холодныхъ наблюдений
И сердца горестныхъ замѣтъ...

Не знаю, выйдетъ ли что-нибудь изъ этихъ записокъ; во всякомъ случаѣ, я радъ, что нашелъ для себя подходящее занятіе.

Но, все-таки, почему же я старикъ? Это чистѣйшій вздоръ! Лицо у меня молодое, нѣтъ ни одного сѣдого волоса, на балахъ я танцую, маменьки смотрятъ на меня, какъ на жениха, а главное—всѣ зовутъ меня Павликомъ Дольскимъ. Только люди совсѣмъ мало знакомые называютъ меня Павломъ Матвѣичемъ, а то все Павликъ, да Павликъ... Не станутъ же звать Павликомъ старика! Еще на-дняхъ въ клубѣ я слышалъ, какъ одинъ господинъ говорилъ старичку, искавшему партію въ вистъ: <да вотъ, у васъ есть Павликъ Дольскій>... Меня тогда эта фамильярность даже нѣсколько покорибила, потому что этого господина я почти не знаю, но теперь вижу, что онъ былъ совершенно правъ. Что же ему дѣлать, когда всѣ меня такъ называютъ? А этотъ противный докторъ, который самъ молодится и бросаетъ нѣжные взгляды на Марью Петровну, увѣряетъ, что я старикъ. Вздоръ, вздоръ и вздоръ!

8-10 ноября.

Сегодня я вынулъ изъ письменнаго стола коллекцію моихъ портретовъ, которую я вывезъ изъ деревни послѣ смерти матушки, и началъ ее разсматривать. Первый портретъ—дагерротипъ, сдѣланный въ тотъ годъ, какъ меня привезли въ Петербургъ. Онъ уже совершенно выцвѣлъ, вмѣсто лица какое-то блѣлое пятно. Второй портретъ уже фотографія, я изображенъ въ камеръ-пажескомъ мундирѣ. Какой, однако, я былъ молодецъ тогда! Потомъ я въ гусарскомъ ментикѣ, потомъ во фракѣ съ цѣпью мирового посредника, потомъ въ камергерскомъ мундирѣ и еще въ нѣсколькихъ группахъ. Одна группа съ Алешей Оконцевымъ и его женой — вызвала въ моей душѣ самыя тяжелыя воспоминанія и разбудила мою давно заснувшую совѣсть. Долго я не могъ оторваться отъ этого нѣмого свидѣтеля минувшихъ

бурь, потомъ сѣлъ передъ зеркаломъ и началъ сравнивать свое лицо съ портретами. По моему мнѣнію, больше всего у меня сходства съ пажескимъ портретомъ. Почти то же лицо, только у меня теперь большіе усы, которыхъ тогда не было, да, по правдѣ сказать, волосъ стало меньше. Зато взглядъ, выраженіе—все то же самое. За этимъ занятіемъ засталъ меня докторъ.

— Ну, скажите, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ,—спросилъ я его,—похожъ я на этого пажа? Неправда ли, что почти нѣтъ разницы?

— Ну, кое-какая разница есть. Во-первыхъ, у пажа нѣтъ морщинъ...

Этого докторъ рѣшительно сведеть меня съ ума. Конечно, слово «морщины» давно мнѣ знакомо, и я не разъ употреблялъ его въ разговорѣ, но никогда не отдавалъ себѣ яснаго отчета, что это собственно такое.

— Гдѣ же у меня морщины?—воскликнулъ я съ отчаяніемъ. Докторъ указалъ гдѣ.

— Да какія же это морщины? Это просто случайныя углубленія кожи.

— Положимъ, но когда вы были пажомъ, этихъ случайностей у васъ не было, а теперь есть.

— Это плоды размышлений, долгихъ думъ...

— Да, долгихъ думъ, а главное—долгихъ лѣтъ. Ну, не волнуйтесь, успокойтесь и дайте мнѣ послушать ваше юное сердце.

У покойной матушки, которая была женщина больная, и у Марьи Петровны, которая постоянно здорова и всю жизнь лѣчится, я насмотрѣлся на разные типы докторовъ. Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ принадлежитъ къ самому противному типу: это докторъ острящій и пронизирующій. Я всегда боюсь, что въ реценціи онъ пропишетъ какой-нибудь латинскій каламбуръ, отъ котораго потомъ не поздоровится.

19-10 ноября.

Сегодня посѣтила меня Марья Петровна въ сопровожденіи доктора.

Марья Петровна весьма курьезная женщина; какой-то сѣрой ниткой прошла она чрезъ всю мою жизнь. Я, вѣдается, былъ

влюбленъ въ нее въ дѣтствѣ. Это обстоятельство я, можетъ быть, давно бы забылъ, если бы она сама повременамъ не напоминала о немъ, начиная свою фразу такъ: «Vous qui m'avez tant aimée»... Мы съ ней одного возраста, но въ прошломъ году изъ ея словъ оказалось, что я старше ея на пять лѣтъ. Я былъ ея шаферомъ, когда она выходила замужъ за пожилого генерала Кунищева, умершаго шесть лѣтъ послѣ свадьбы и оставившаго ей на Сергіевской домъ, въ которомъ она живетъ зимой, и большое имѣніе около Рязани, куда она уѣзжаетъ на лѣто. Теперь это довольно полная, свѣжая блондинка, прекрасно сохранившаяся не только для настоящихъ, но даже для своихъ фиктивныхъ лѣтъ. Она женщина неглупая, но казалась бы много умнѣе, еслибъ не была такъ разсѣяна. Она внимательно слѣдитъ за литературой, а «Revue des deux Mondes» читаетъ: отъ доски до доски и долго думаетъ о прочитанномъ, такъ что изъ ея разговора я всегда безошибочно могу заключить, на какой статьѣ она остановилась. Разъ за обѣдомъ, когда рѣчь шла о новой французской актрисѣ, она вдругъ прервала разговоръ, обратясь ко мнѣ съ неожиданнымъ вопросомъ: «Неправда ли, Paul, какая странная женщина была эта византійская императрица Зоя?» Въ другой разъ она спросила у одного дальняго родственника ея покойнаго мужа, Коли Кунищева, ходившаго къ ней въ отпускъ изъ юнкерской школы: «Что вы думаете, Nicolas, о положеніи феллаховъ въ Египтѣ?» Тотъ въ отвѣтъ только звякнулъ шпорой.

Я вижу съ Марьей Петровной почти ежедневно. Мнѣ съ ней большею частью скучно, но меня тянетъ къ ней, какъ въ тихую, надежную и привычную пристань. Мы просиживаемъ съ ней иногда цѣлые вечера, говоря о поэзіи и любви и слегка перебирая городскія сплетни. Она любитъ музыку и охотно играетъ ноктюрны Шопена, но исполняетъ ихъ съ такимъ чувствомъ и такъ замедляетъ темпъ, что ихъ узнать нельзя, а иногда отъ разсѣянности настукиваетъ всякую дребедень. Я замѣтилъ, что когда ей особенно грустно, она начинаетъ играть «Les cloches du monastère». При первыхъ звукахъ этой плачевной пьесы меня немедленно клонить ко сну.

Любовь Марья Петровна допускаетъ только платоническую. Съ упомянутымъ выше Колей Кунищевымъ случился въ прошломъ году у нея характерный эпизодъ. Когда онъ вышелъ въ

офицеры, съ нимъ началась необычайная возня. Марья Петровна безпрестанно его приглашала и даже устраивала для него вечера, несмотря на свою нелюбовь къ большимъ приемамъ. Я тогда даже порадовался за нее, думая, что, проговоривъ всю жизнь о любви, она наконецъ сама влюбилась какъ слѣдуетъ. Кончилось это тѣмъ, что однажды рано утромъ подали мнѣ лаконическую записку: *Mon cher Paul, venez me voir, j'ai à vous parler*. Я засталъ Марью Петровну въ слезахъ, окруженную микстурами и примочками.

— Я просила васъ пріѣхать,—начала она слабымъ голосомъ,—потому что считаю васъ истиннымъ другомъ. Вы не повѣрите, какъ тяжело разочаровываться въ людяхъ. Я совсѣмъ разочаровалась въ Nicolas—онъ меня не понималъ...

— Но что же такое онъ сдѣлалъ?

— Я не могу вамъ сказать, что онъ сдѣлалъ, но скажу одно: онъ совсѣмъ, совсѣмъ меня не понималъ...

Не добившись толку, я поѣхалъ къ Колѣ. Тотъ принялъ сначала мои разспросы довольно сурово.

— Да поймите, Коля,—сказалъ я ему,—что я вовсе не пріѣхалъ производить слѣдствіе; въ сущности, дѣло это вовсе меня не касается. Я просто, какъ другъ Марьи Петровны и... вашъ, хочу прекратить недоразумѣніе, возникшее между вами. Что такое у васъ произошло?

— Да, право же, ничего не произошло,—отвѣчалъ онъ, засмѣявшись чему-то.—Я просидѣлъ у тетушки весь вечеръ, она все играла ноктюрны, потомъ подали ужинъ, потомъ не знаю, почему... ну, однимъ словомъ, я, можетъ быть, лишній разъ поцѣловалъ у нея ручку... Она разсердилась и ушла.

— Вполнѣ вѣрю, что вы не хотѣли оскорбить Марью Петровну, но такъ какъ ее все-таки оскорбили, то что вамъ стоитъ извиниться передъ ней?

— Помилуйте, да я готовъ сто, тысячу разъ извиниться.

Я сейчасъ же повезъ виноватаго къ Марьѣ Петровнѣ. Онъ почтительно извинился, получилъ прощенье, но съ тѣхъ поръ почти прекратилъ свои визиты къ тетушкѣ. На этотъ разъ онъ ее понималъ совсѣмъ хорошо.

Сегодня Марья Петровна вошла ко мнѣ вся въ черномъ и съ лицомъ, съ которымъ входятъ на панихиду. Осмотрѣвъ меня, она нѣсколько просіяла.

— Я нахожу, Paul, что вы не такъ плохи, какъ говорилъ мнѣ Оедоръ Оедоровичъ.

Докторъ сдѣлалъ ей выразительный знакъ, который совсѣмъ не исполнилъ своего назначенія, потому что она его не замѣтила, а я замѣтилъ.

— Правда, Paul немного осунулся, но посмотрите: у него даже есть румянецъ... И знаете, Оедоръ Оедоровичъ, мнѣ кажется, что его совсѣмъ не надо лѣчить этими вашими сильными средствами... Ему бы можно дать *pulsatilla* или *mercurius solubilis*. Какъ вы думаете?

— Вы знаете, Марья Петровна, — отчеканилъ рѣзко докторъ, — мое мнѣніе о гомеопатіи...

— Ахъ, да, *pardon*, я забыла, что вы здѣсь, но все-таки я думаю, что *pulsatilla* не можетъ повредить.

— Если не можетъ повредить, то не можетъ и помочь, а если можетъ помочь, то можетъ и повредить... это *cercle vicieux*, изъ которой вы не выйдете...

— Сколько разъ я вамъ говорила, Оедоръ Оедоровичъ, — замѣтила тономъ нѣжнаго упрека Марья Петровна, — что *cercle* мужескаго рода, и что надо говорить: *cercle vicieux*, а не *vicieuse*...

Докторъ, раздосадованный поправкой во французскомъ языкѣ, къ которому имѣеть непобѣдимое пристрастіе, а главное — упоминаніемъ о гомеопатіи, объявилъ, что у него есть опасно больной, къ которому онъ долженъ немедленно ѣхать. Марья Петровна, несмотря на мои просьбы, не рѣшилась остаться одна и также уѣхала. Вѣроятно, она ожидала и отъ меня какой-нибудь выходки въ родѣ Коли Кунищева.

Впрочемъ, у нея нашелся для этого отличный предлогъ — племянница. Объ этой племянницѣ, только что вышедшей изъ института, она протрубила мнѣ уши съ самаго приѣзда изъ деревни. Она вообразила, что она ужасно ее любить, хотя видѣла ее въ послѣдній разъ, когда той было три года. Теперь она увѣряетъ, что племянница ея очаровательна, называетъ ее «*l'enfant de mon soeur*» и очень жальветъ, что мнѣ еще не удалось ее видѣть. А я объ этомъ не сожалѣю нисколько. Это, вѣроятно, какая-нибудь сантиментальная бѣлобрысая институтка, въ родѣ нея самой.

Вотъ ужъ и три недѣли прошли съ начала моей болѣзни. Я испробоваль множество всякихъ микстуръ и мазей; послѣ каждаго новаго средства докторъ увѣряеть, что оно подѣйствовало, а между тѣмъ все не выпускаеть меня изъ-подъ домашняго ареста. По вечерамъ меня посѣщали кое-какіе пріатели, сегодня не пришелъ никто, и я съ радостью принимаюсь за эти записки.

Чтобы подводить итоги прошлой жизни, прежде всего надо рѣшить, какой я собственно былъ человѣкъ: хорошій или дурной, умный или глупый, счастливый или несчастный. Я закурилъ сигару, усѣлся на диванъ и часа два размышлялъ о первомъ вопросѣ. Я пришелъ къ заключенію, что это вопросъ неразрѣшимый даже для правдивѣйшаго изъ людей. Когда человѣкъ старается припомнить свою прежнюю жизнь, ему сейчасъ же необычайно ярко представляются его хорошіе поступки: тому-то сдѣлалъ добро, того-то спасъ, тогда-то могъ сдѣлать гадость и воздержался. Воспоминанія о дурныхъ поступкахъ несравненно блѣднѣе. Если же на вашей совѣсти вдругъ встанеть какой-нибудь несомнѣнно скверный поступокъ, то та же услужливая совѣсть дѣлается немедленно вашимъ собственнымъ присяжнымъ повѣреннымъ и спѣшитъ придумать всевозможныя оправданія, какъ будто боится, что въ случаѣ, если вы признаете себя виновнымъ, васъ немедленно сошлють въ мѣста хотя и не столь отдаленныя, но все же недостаточно центральныя. Такое чувство испыталь я сейчасъ, и испытываю всякій разъ, когда вспоминаю объ Алешѣ Оконцевѣ... Но объ этомъ когда-нибудь послѣ.

Оцѣнить свои свойства еще труднѣе, чѣмъ поступки. Когда мы судимъ другихъ людей, у насъ и тогда въ запасѣ цѣлый лексиконъ отгѣнковъ, изъ которыхъ мы выбираемъ любой, смотря по надобности. Вотъ три человѣка, одинаково блюдущихъ свою собственность. Изъ нихъ первый—намъ симпатиченъ, мы его называемъ бережливымъ, благоразумнымъ; второго мы не любимъ,—онъ на нашемъ языкѣ скупой; третьяго мы терпѣть не можемъ,—онъ скряга. Историки въ своихъ приговорахъ большею частью руководствуются подобной симпатіей, или, лучше сказать, капризомъ. Не погрѣшая противъ истины, они всегда

могут выбрать оттѣнокъ, могутъ назвать извѣстное историческое лицо строгимъ или жестокимъ, добрымъ или слабымъ. Само собою разумѣется, что при сужденіи о своихъ собственныхъ свойствахъ человѣкъ, наиболѣе желающій остаться правдивымъ, будетъ выбирать наиболѣе нѣжные оттѣнки. Впрочемъ, бывали примѣры, что люди изображали въ самыхъ черныхъ, умышленно сгущенныхъ краскахъ свое прошедшее. Для такихъ публичныхъ покаяній нельзя лучше выбрать эпитафію, какъ извѣстное изреченіе: «смиреніе паче гордости». Изъ глубины этихъ авторскихъ исповѣдей выглядываетъ горделивая мысль: «вотъ вы видите, читатели, до какой степени я строгъ къ своему прошедшему; изъ этого посудите, какимъ совершенствомъ я сталъ теперь». До завтра.

2-10 декабря.

Умень я, или глупъ? Если бы мнѣ врасплохъ предложили подобный вопросъ о любомъ изъ моихъ знакомыхъ, я бы затруднился на него отвѣтить сейчасъ же, безъ размышленія. Я не говорю о геніяхъ или объ идиотахъ, но вѣдь и тѣхъ и другихъ немного. Тѣмъ болѣе, мнѣ трудно произнести приговоръ о себѣ. Вообще, понятія объ умѣ весьма разнообразны. Въ обществѣ большею частью называютъ умнымъ того, кто знаетъ наизусть много французскихъ каламбуровъ, или того, кто всѣхъ ругаетъ. Въ ученомъ мірѣ считается умнымъ тотъ, кто имѣлъ терпѣніе или досугъ прочесть наибольшее количество ненужныхъ книгъ; въ дѣловыхъ сферахъ тотъ, кто надулъ наибольшее количество людей. Назвать кого-нибудь умнымъ или глупымъ—рѣшительно ничего не стоитъ; это часто зависитъ отъ расположенія духа. Вотъ я назвалъ Марью Петровну неглупой, хотя и разсѣянной женщиной, но когда я это писалъ, я былъ въ благодушномъ настроеніи. Будь я тогда на что-нибудь золъ, я бы смѣло могъ назвать ее глупой,—и, право, былъ бы недалекъ отъ истины. Вчера она-таки прислала мнѣ гомеопатическія крупинки со строжайшимъ приказомъ не говорить объ этомъ доктору. Сегодня Ѳедоръ Ѳедоровичъ вошелъ ко мнѣ съ вопросомъ:

— Ну, что, помогла ли вамъ *pulsatilla*?

— Отъ кого вы это знаете?

— Конечно, отъ Марьи Петровны.

По моему мнѣнію, логика—единственное мѣрило ума, и съ этой точки зрѣнія я не могу себя признать умнымъ. Часто я дѣлалъ не то, что говорилъ, что думалъ. А между тѣмъ, могу поклясться, что никогда не лгалъ умышленно, съ расчетомъ. Моя старая тетушка Авдотья Марковна, распекая меня однажды за какую-то отроческую шалость, сказала: «Самъ-то ты умный, да башка у тебя глупая». Мнѣ кажется, что она была права.

Я родился въ дворянской, строго-консервативной семьѣ. Воспитаніе въ корпусѣ и служба въ полку еще болѣе укрѣпили это направленіе. Вслѣдствіе главнаго и единственнаго романа моей жизни, о которомъ рѣчь впереди, я вышелъ въ отставку, поселился въ деревнѣ и попалъ въ мировые посредники. Наша губернія отличалась необыкновенно либеральными посредниками, и въ числѣ ихъ я былъ однимъ изъ самыхъ либеральныхъ. Какъ это случилось, я теперь объяснить не могу. Впрочемъ, въ то время всѣ эти понятія перепутались до смѣшнаго; каждый могъ считать себя чѣмъ угодно. Съ дѣтства мнѣ внушали, что консерваторъ долженъ слѣдовать правительственному направленію, а тутъ случилось, что правительство было либеральнѣе общества. Нашъ губернаторъ—когда-то одинъ изъ самыхъ жестокихъ помѣщиковъ—теперь плакалъ отъ умиленія присловъ «освобожденіе». Конечно, если бы правительство задумало опять закрѣпостить крестьянъ, его слезы умиленія текли бы еще обильнѣе. Подобно этому губернатору я громилъ и каралъ гнусныхъ плантаторовъ и крѣпостниковъ во имя либеральнаго направленія, которое для сокращенія тогда называлось просто «честнымъ». Былъ ли я вполнѣ искрененъ? И да, и нѣтъ, какъ говорить одна моя знакомая дама, желающая дать понять, что она все знаетъ, и боящая попасть впросакъ. Иногда на меня находили минуты тяжелатаго раздумья. Вотъ, думалъ я, дядя Платонъ Марковичъ... до семидесяти лѣтъ прожилъ онъ рыцаремъ чести; доброты онъ необычайной, крестьяне въ немъ души не чаютъ. Но онъ чловѣкъ стараго закала, ему съ новыми идеями освоиться трудно, онъ боится для своихъ дѣтей полнаго разоренія. Что же мудренаго, если онъ отстаиваетъ, сколько можетъ, свои интересы? Неужели и его слѣдуетъ признавать нечестнымъ. Но эти минуты раздумья заглушались шумомъ общихъ совѣщаній, газетныхъ

статей, а главное—моды, и мы громили и карали и терроризировали губернію, не дѣлая никакого различія между людьми въ родѣ Платона Марковича и настоящими корифеями и виртуозами крѣпостного права. Очень можетъ быть, что такое страстное, а слѣдовательно, несправедливое отношеніе къ дѣлу было необходимо для той исторической роли, которую намъ пришлось сыграть. Когда эта роль кончилась, мы сошли со сцены, и я всѣмъ естественно возвратился въ прежній кругъ людей и понятій. Въ прошломъ году нѣсколько бывшихъ террористовъ сошлись въ Петербургѣ. Я сохранилъ съ ними дружескія отношенія, и мы сговорились вмѣстѣ обѣдать въ ресторанѣ. Сначала мы чувствовали какую-то неловкость, но, подъ влияніемъ вина и старыхъ воспоминаній, это ощущеніе прошло, и къ концу обѣда пошли опять «крѣпостники», «честное направленіе», «борьба съ плантаторами»—весь этотъ арсеналъ когда-то страшныхъ, теперь ненужныхъ словъ. Мы вообразили себя опять калифами на нѣсколько часовъ. Былъ ли я искрененъ на этотъ разъ? Опять отвѣчу словами знакомой дамы: и да, и нѣтъ. Понятія, сопряженныя съ этими словами, давно отошли въ область анахронизма. Прежде эти слова представляли собой наплывъ новыхъ идей, ломку всей жизни; теперь это вопросъ терминологіи.

6-го декабря.

На очереди стоитъ вопросъ: былъ ли я человѣкомъ счастливымъ, или несчастнымъ? Съ общей точки зрѣнія, я, безъ сомнѣнія, былъ очень счастливъ, потому что имѣю независимое состояніе и то, что очень неопредѣленно называютъ положеніемъ въ обществѣ. Но вѣдь деньги—благо отрицательное; о нихъ, какъ о здоровьѣ, думаешь только тогда, когда ихъ нѣтъ. Въ достиженіи именно того, чего нѣтъ, и заключается, по моему мнѣнію, счастье, а потому оно длится одну минуту. Едва человѣкъ достигъ того, чего добивался, онъ уже желаетъ большаго. Да и эта минута бываетъ обыкновенно отравлена вмѣшательствомъ въ жизнь друзей или враговъ, что почти одно и то же.

Что такое друзья и что такое враги? Настоящая дружба, основанная на долговременномъ знакомствѣ, на взаимной любви и уваженіи, встрѣчается въ жизни каждаго человѣка крайне рѣдко,

а для тѣхъ отношеній, при которыхъ людей называютъ **пріятелями**, не требуется ни уваженія, ни любви. По-французски и друзья, и пріатели называются *les amis*, по-русски **отгѣнокъ** имѣетъ большое значеніе. Пріатели—такіе люди, которые считаютъ обязанностью рыться въ вашей душѣ и жизни, которые при каждой встрѣчѣ съ вами выражаютъ большую радость и которые весьма мало печалются, если васъ постигнетъ неудача или даже горе. Я замѣтилъ, что пріятельскія отношенія возникаютъ гораздо чаще вслѣдствіе общихъ пороковъ, чѣмъ вслѣдствіе общихъ добродѣтелей. Общіе добродѣтели, или таланты, возбуждаютъ соревнованіе, а слѣдовательно и зависть. Человѣку же, сознающему въ себѣ какой-нибудь порокъ, пріятно встрѣтить этотъ порокъ въ другихъ людяхъ и свойственно находить этихъ людей прекрасными, чтобы оправдать самого себя.

Вражда иногда возникаетъ между людьми при столкновеніи ихъ взаимныхъ интересовъ. Это вражда естественная, это вражда двухъ собакъ изъ-за брошенной между ними кости. Но часто причины вражды такъ же эфемерны и случайны, какъ и причины дружбы. Вы въ первый разъ встрѣчаете въ знакомомъ домѣ господина NN и говорите при немъ, что пѣвица Сольфеджіо поетъ фальшиво. Если бы NN промолчалъ или согласился съ вами, вы, можетъ быть, были бы съ нимъ всю жизнь въ пріятельскихъ отношеніяхъ. Но NN влюбленъ въ пѣвицу Сольфеджіо и возражаетъ вамъ довольно рѣзко. Вы удивлены тономъ возраженія и со своей стороны говорите какую-нибудь колкость, не выходящую изъ предѣловъ вѣжливости. Этого довольно: NN вашъ врагъ до гроба, онъ слѣдитъ за каждымъ вашимъ словомъ, подмѣчаетъ ваши слабыя стороны, не остановится, можетъ быть, и передъ клеветой.

Какъ часто такая эфемерная вражда позорить болѣе высокія умственныя сферы. Вотъ извѣстный, уважаемый литераторъ Иксъ напечаталъ статью объ общинѣ. Другой не менѣе уважаемый литераторъ Зетъ не любитъ общины и возражаетъ на статью Иксъ, выражая, впрочемъ, полное уваженіе къ таланту автора. Иксъ, тѣмъ не менѣе, недоволенъ и въ своемъ отвѣтѣ заявляетъ, что Зетъ недостаточно знакомъ съ предметомъ, о которомъ взялся писать. Зетъ со своей стороны уличаетъ Икса въ невѣрности приведенной имъ цитаты. Полемика разгорается все болѣе и болѣе; въ концѣ концовъ, обмѣнъ мыслей приво-

дѣтъ Икса къ тому, что онъ намекаетъ на двусмысленное положеніе жены Зета, а Зетъ весьма прозрачно рассказываетъ о томъ, какъ Икса побили при открытіи какого-то увеселительнаго заведенія. Объ общинѣ въ этихъ статьяхъ, въ удивленію и негодованію публики, не упоминается вовсе.

Но въ томъ-то и дѣло, что публика нисколько не удивляется и не чувствуетъ негодованія. Большинство публики гораздо менѣе интересуется вопросомъ объ общинѣ, чѣмъ вопросомъ о побитіи Икса и о шапняхъ Зетовой жены.

Однако я отдалился отъ предмета моихъ разсужденій не хуже Икса и Зета. Возвращаясь къ вопросу о счастіи, я опять невольно припоминаю ту эпоху моей жизни, о которой не разъ упоминалъ здѣсь,—эпоху лихорадочной дѣятельности и такъ-называемаго безумнаго счастья, отравившаго всю мою послѣдующую жизнь. Постараюсь завтра правдиво рассказать эту исторію, которая можетъ дать отвѣтъ на многіе предложенные мной вопросы.

7-10 декабря.

Алеша Оконцевъ былъ мой ближайшій сосѣдь, дальній родственникъ и самый близкій другъ моихъ дѣтскихъ и отроческихъ лѣтъ. Я никогда не встрѣчалъ человѣка болѣе симпатичнаго. Оригинальный умъ соединялся у него съ самымъ нѣжнымъ, отзывчивымъ и младенчески довѣрчивымъ сердцемъ. Ему было двадцать три года, когда онъ женился на московской барышнѣ изъ богатой и знатной семьи. Никогда не забуду я моей первой встрѣчи съ Еленой Павловной. Я взялъ въ полку трехмѣсячный отпускъ и ѣхалъ въ свою Васильевку устраивать дѣла по случаю «эмансипаціи», какъ тогда выражались. Проѣздомъ въ Москвѣ я зашелъ въ Троицкій трактиръ и увидѣлъ въ глубинѣ залы, почти возлѣ органа, Алешу съ молодой и стройной женщиной. Онъ бросился мнѣ на шею и представилъ меня женѣ.

— Вѣдь вотъ, Ляля, — сказалъ онъ въ непритворной радости, — у тебя, должно быть, было какое-нибудь предчувствіе, что мы его встрѣтимъ здѣсь. Недаромъ ты такъ интересовалась имъ по моимъ рассказамъ! Представь себѣ, Павликъ, цѣлый день вчера она приставала ко мнѣ, чтобы непременно се-

годня завтракать въ трактирѣ. Я понять не могъ, отчего ей взбрела въ голову такая фантазія...

— Никакого предчувствія у меня не было,—отвѣчала, улыбаясь, Лилия.—Я просто никогда не слыхала органа и уже давно рѣшила, что какъ только выйду замужъ, непремѣнно поѣду завтракать въ трактиръ.

Завтракъ прошелъ очень весело. Помню, что съ перваго раза красота Елены Павловны не произвела на меня особеннаго впечатлѣнія. Меня только поразили ея взглядъ, странный, загадочный, устремленный вдаль. Казалось, что въ этихъ зеленыхъ глазахъ застылъ какой-то вопросъ, на который никто не могъ дать отвѣта. Послѣ завтрака ей пришла въ голову новая фантазія: ѣхать въ фотографію и снять группу въ память завтрака. Мы, конечно, исполнили ея желаніе, и эта группа, которую я потомъ назвалъ пророческой, остается у меня единственнымъ памятникомъ прошлаго. Въ тотъ же день вечеромъ мы выѣхали вмѣстѣ изъ Москвы въ деревню. Между нашими усадьбами было не болѣе четырехъ верстъ, и мы, конечно, видѣлись ежедневно. Мѣсяца черезъ два я сталъ замѣчать, что загадочный взглядъ останавливается подолгу на мнѣ... Что я влюбился въ Елену Павловну, въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, но почему она меня полюбила, это до сихъ поръ остается для меня загадкой. Алеппа былъ гораздо красивѣе меня, а во всѣхъ другихъ отношеніяхъ я даже не смѣю сравнивать себя съ нимъ... И романъ нашъ начался, когда еще полугода не прошло съ ихъ свадьбы.

Послѣ, когда я обсуждалъ мое тогдашнее поведеніе, меня утѣшала мысль, что я долго боролся со своимъ чувствомъ. Увы! долженъ сознаться, что если я и боролся, то борьба была не особенно упорна. Будь я вполне честнымъ человѣкомъ, я бы уѣхалъ, не дождавшись конца отпуска. Но я не уѣхалъ, потому взялъ отсрочку, потомъ вышелъ изъ полка, принялъ должность мирового посредника и два года прожилъ въ деревнѣ. Эти два года—самая интересная и самая позорная эпоха всего моего существованія. Я жилъ полной жизнью, я не всего себя отдалъ Еленѣ Павловнѣ; обязанности мирового посредника занимали болѣе половины моего времени, любовь была мнѣ скорѣе отдыхомъ и развлеченіемъ, слѣдовательно, я даже не имѣю оправданія въ силѣ и могуществѣ увлеченія. Зимѣ Оконцевы прово-

дили въ губернскомъ городѣ, я нанялъ флигель во дворѣ того дома, который они занимали, и ѣздилъ къ нимъ, пользуясь каждой свободной минутой. Не могу сказать, чтобы совѣсть моя оставалась все время спокойна. Иногда я безъ ужаса не могъ смотрѣть на доброе, довѣрчивое лицо Алеши, но самое это сознаніе глубины моего преступленія, вмѣстѣ съ постояннымъ страхомъ быть пойманнымъ, придавала всему роману какую-то особенную, скверную прелесть.

Въ концѣ второй зимы Алеша простудился и заболѣлъ очень серьезно. Елена Павловна не отходила отъ его постели и съ замѣчательнымъ самоотверженіемъ исполняла обязанности сидѣлки; но когда Алеша сталъ выздоравливать, она не могла скрыть своей тяжелой, постоянно возрастающей тоски. Дѣло въ томъ, что доктора потребовали, чтобы Алеша непременно уѣхалъ на годъ въ теплый климатъ. Отправить его одного Елена Павловна не могла, а перенести разлуку со мной ей казалось невозможно. Напрасно я увѣрялъ ее, что пріѣду лѣтомъ за границу,—она была неутѣшна. Наконецъ, въ концѣ апрѣля Алеша былъ признанъ окрѣпшимъ для путешествія, и отъѣздъ былъ назначенъ черезъ два дня. Въ этотъ день я засидѣлся у Оконцевыхъ очень поздно. Вечеръ былъ такой теплый, что дверь на балконъ была отворена, и Алеша съ наслажденіемъ вдыхалъ въ себя свѣжій весенній воздухъ. На этотъ разъ Елена Павловна оживилась, весело болтала о предстоявшемъ путешествіи, потомъ приготовила мужу лѣкарство и съ улыбкой сказала мнѣ, что пора и честь знать. Я былъ уже за дверью, когда Алеша опять позвалъ меня.

— Вотъ, видишь, Павликъ,—сказалъ онъ, крѣпко сжимая мою руку,—я хотѣлъ сказать тебѣ... Ты не можешь себѣ представить, какъ я счастливъ тѣмъ, что могу ѣхать, но мнѣ очень тяжело расстаться съ тобой. Дай мнѣ слово непременно пріѣхать къ намъ лѣтомъ.

Никакіе горькіе упреки Алеши не перевернули бы такъ мою душу, какъ эти простыя, дружескія слова. Какой-то камень всю ночь давилъ мнѣ сердце смутное предчувствіе неизвѣстной и неизбѣжной бѣды не давало мнѣ спать. Только къ утру я забылъ тяжелымъ, тревожнымъ сномъ.

Я былъ разбуженъ извѣстіемъ, что Алеша умеръ. Доктора совсѣмъ потеряли голову при этомъ неожиданномъ исходѣ болѣзни; потомъ рѣшили, что это произошло отъ остраго реци-

дива, и успокоились. Главной виновницей рецидива была признана отворенная дверь балкона. На панихидахъ бывалъ весь городъ, и всѣ были поражены глубокой, доходившей до отчаянія, скорбью Елены Павловны. Мнѣ и въ голову не приходило усомниться въ ея искренности, потому что я самъ буквально изнемогалъ подъ тяжестью стыда и горя. На похоронахъ она билась головой о стѣнки гроба и грохнулась въ обморокъ со ступеней катафалка. Я не зналъ, удобно ли мнѣ ее посѣтить въ этотъ день, но она вывела меня изъ затрудненія, написавъ, что будетъ ждать меня въ девять часовъ. Я засталъ ее блѣдной, но спокойной, въ новомъ бѣломъ капотѣ съ кружевами. Она встрѣтила меня словами:

— Какое счастье, что все это, наконецъ, кончилось!

И съ улыбкой протянула мнѣ руку.

Я такъ былъ ошеломленъ этими словами, и улыбкой, и жестомъ, что не могъ произнести ни слова. Мнѣ казалось, что я стою въ темномъ-темномъ мѣстѣ, и что какая-то бездна шевелится у меня подъ ногами. Вдругъ яркій, зловѣщій свѣтъ освѣтилъ этотъ мракъ и эту бездну. Въ мою отуманенную голову съ необычайной ясностью ворвалась мысль, что Елена Павловна отравила Алешу. Въ ту самую минуту, какъ я это подумалъ, она произнесла французскую фразу, смыслъ которой заключался въ томъ, что женщина, когда полюбитъ, то не остановится ни передъ какой жертвой, а мужчины (я помню, что она сказала: «vous autres») даже не умѣютъ оцѣнить такую жертву...

Теперь, если бы Елену Павловну судили за убійство мужа и я бы былъ присяжнымъ, я по совѣсти не рѣшился бы признать ее виновной. Но въ тотъ ужасный день сказанная ею фраза такъ совпала съ моей мыслью, что у меня не оставалось и тѣни сомнѣнія. Я хотѣлъ броситься на нее и вынудить сознание, хотѣлъ бѣжать и потребовать, чтобы немедленно вырыли и вскрыли тѣло Алеши... Ничего этого я не сдѣлалъ. Я совладалъ съ собою, извинился головной болью и ушелъ, общая Еленѣ Павловнѣ прійти къ ней на слѣдующее утро. Кажется, я даже поцѣловалъ ее въ лобъ на прощанье. На слѣдующее утро я съ разсвѣтомъ усакалъ въ Васильевку, наскоро сдалъ дѣла и уѣхалъ за границу. Четыре года я слонялся по Европѣ, переѣзжая съ мѣста на мѣсто и нигдѣ не находя покоя. Мысль, что я хотя косвенный, но настоящій убійца Алеши, преслѣдо-

вала меня всюду. Елена Павловна пробовала мнѣ писать, сначала умоляя меня вернуться, а потомъ осыпая меня упреками,—я не отвѣчалъ ей. Я думаю, что если бы она гдѣ-нибудь неожиданно явилась передо мною со своей загадочной улыбкой, я бы опять бросился къ ея ногамъ и повѣрилъ бы каждому ея слову; но письма ея были желчны и черствы,—и только укрѣпляли мои подозрѣнія. Объ этихъ подозрѣніяхъ она не упоминала ни разу; можетъ быть, она ничего не знаетъ до сихъ поръ...

Наконецъ, время взяло свое. Я вернулся въ Россію, поселился въ Петербургѣ, поступилъ вновь на службу, записался въ клубъ и началъ ту праздную, свѣтскую жизнь, при которой день проходитъ за днемъ, не принося съ собой ни радости, ни горя убаюкивая разумъ и совѣсть однообразнымъ шумомъ и по временамъ волнуя сердце самой мелкой борьбой самыхъ крохотныхъ самолюбіи. Въ Васильевку я ѣздилъ только разъ, когда получилъ извѣстіе о тяжелой болѣзни матушки. Елену Павловну я тамъ не засталъ. Мнѣ сказали, что года черезъ два послѣ смерти Алеши она вступила въ новый бракъ съ какимъ-то польскимъ графомъ, вскорѣ овдовѣла снова и жила въ своихъ новыхъ польскихъ помѣстьяхъ. Потомъ, въ теченіе пятнадцати лѣтъ я не имѣлъ о ней никакихъ извѣстій. Въ началѣ прошлой зимы я сидѣлъ на утреннемъ приѣмѣ у княгини Козельской и уже собирался уѣзжать, когда возвѣстили графиню Заводскую.

— Эта моя старая московская пріятельница,—пояснила намъ хозяйка дома.—Мы вмѣстѣ выѣзжали, *elle était bien belle alors*. Теперь она пріѣхала сюда, чтобы вывозить дочерей.

Вошла дама въ черномъ платьѣ, съ желтымъ лицомъ и потухшими глазами, безъ всякихъ признаковъ красоты. За ней шли двѣ очень изящно одѣтыя барышни.

— *Chère Hélène, quel bonheur de vous voir enfin*,—произнесла княгиня, шумно поднимаясь своимъ грузнымъ тѣломъ навстрѣчу гостьѣ.

При первыхъ звукахъ голоса черной дамы я невольно вздрогнулъ. Это была Елена Павловна. Княгиня представила ей гостей, между прочимъ, и меня.

Елена Павловна смѣрила меня быстрымъ и пристальнымъ взглядомъ и, не подавая мнѣ руки, сказала, обращаясь къ княгинѣ:

— Nous nous connaissons de longue date. Monsiur a été très lié avec mon premier mari.

Съ тѣхъ поръ я часто встрѣчалъ Елену Павловну въ свѣтѣ. Обращеніе ея со мною было сухо почти до невѣжливости. Разъ на вечерѣ у той же княгини Козельской я нечаянно попалъ въ ея партію. Первый роберъ прошелъ благополучно, но когда ей пришлось играть со мною, она подозвала старичка-генерала и передала ему свои карты, говоря, что очень устала. Ея младшая дочь, отъ второго брака, некрасива, хотя нѣсколько напоминаетъ Елену Павловну въ молодости; зато старшая — прелестна. И лицомъ, и манерами она совершенный портретъ Алеши: часто мнѣ хотѣлось подойти къ ней и узнать ее покороче, но, вѣроятно, въ силу инструкцій, полученныхъ отъ матери, она смотритъ на меня такъ, какъ будто передъ ней вмѣсто меня было пустое пространство.

Ну, вотъ, я вкратцѣ рассказалъ мой романъ... Неужели его можно назвать счастьемъ? Мое поведеніе во всей этой исторіи было и не честно, и не умно. Могу оправдываться тѣмъ, что многіе на моемъ мѣстѣ поступили бы такъ же. Но развѣ это оправданіе?

25-10 декабря.

Вчера, послѣ пятидесятидневнаго заключенія, меня, наконецъ, выпустили на свободу. Первый мой выѣздъ былъ на елку къ Марьѣ Петровнѣ. Объ этой елкѣ шли разговоры цѣлый мѣсяцъ. Какъ я уже говорилъ, Марья Петровна терпѣть не можетъ устраивать большіе приемы, потому что думаетъ, что у нея всѣ скучаютъ. Судить она по себѣ: занимая малознакомыхъ гостей, она никакъ не можетъ преодолѣть нервной зѣвоты и даже лечится отъ этого гомеопатіей, но безуспѣшно. Говорятъ, что однажды, занимая въ маленькой гостиной трехъ маменекъ, дочери которыхъ танцевали въ залѣ, она самымъ настоящимъ образомъ заснула. Этѹ елку она рѣшилась устроить для своей племянницы, что одно уже доказываетъ, какъ она ее любитъ.

Въ послѣднее время я такъ привыкъ къ одиночеству и къ моей лампѣ съ темнымъ абажуромъ, что, войдя къ Марьѣ Петровнѣ, былъ совсѣмъ огорошенъ блескомъ свѣчей и многолюд-

ствомъ. Было множество дѣтей всякаго возраста, но еще больше взрослыхъ. Въ дверяхъ залы, какъ *memento mori*, стоялъ мой докторъ. Онъ былъ въ самомъ модномъ фракѣ съ какими-то крылышками, въ бѣломъ атласномъ галстукѣ, и на груди его сіяла запонка съ огромнымъ брилліантомъ, вѣроятно, фальшивымъ. Онъ осмотрѣлъ меня съ ногъ до головы, покровительственно потрепалъ по плечу и сказалъ:

— Ну, ничего, хорошо, только не ѣшьте мороженого.

До Марьи Петровны я насилу добрался. Она была въ настроеніи не то, чтобы скучающемъ, но скорѣе меланхолическомъ. Я спросилъ о причинѣ.

— Ахъ, вы знаете, Paul, какъ я люблю дѣтей, и Богъ не далъ мнѣ этого счастья. Что бы я дала, чтобы всѣ эти дѣти были мои!

— Тогда было бы очень для васъ нехорошо, Марья Петровна, вамъ не могло бы быть меньше полутора ста лѣтъ...

— Vous avez toujours le mēt pour rire... Какъ вамъ понравилась моя племянница?

— Я ее не видалъ.

— Неужели? Я васъ сейчасъ познакомлю. Миша, пожалуйста, найдите Лиду и позовите ее ко мнѣ.

Миша Козельскій, высокій, красивый камеръ-пажъ съ веселымъ, улыбающимся лицомъ, отправился на поиски. Черезъ минуту подбѣжала къ намъ прехорошенькая дѣвочка съ вздернутымъ носомъ и черными задорными глазками. Ей уже семнадцать лѣтъ, но на видъ не больше пятнадцати. Это былъ мнѣ большой сюрпризъ, въ родѣ подарка на елку: я почему-то никакъ не могъ себя представить, чтобы у Марьи Петровны была такая очаровательная племянница. Отъ ея раскраснѣвагося лица такъ и вѣяло непритворнымъ весельемъ. Она сдѣлала серьезную мину и церемонно присѣла передо мной, но не могла долго выдержать и черезъ секунду разсмѣялась.

— Я васъ давно знаю, у тети много вашихъ портретовъ, и вы очень похожи на Костю.

— Кто этотъ Костя?

— Это мой дядя. Я его зову Костей, потому что очень его люблю. Хотите конфетку? Эга не хороша, я вамъ принесу шоколадную.

— Лидія Львовна, — сказалъ, подбѣгая, Миша Козельскій, — баронесса съ дочерьми пріѣхала, идите ихъ встрѣчать.

Лида сдѣлала опять серьезное лицо, какое подобаетъ дѣлать хозяйкѣ дома, и степенно пошла къ баронессѣ, но по дорогѣ схватила толстаго мальчугана въ бѣлой курточкѣ и нахлобучила ему на голову зеленый колпакъ изъ бумаги.

А меня докторъ повелъ знакомить со своей супругой. Вообще докторъ былъ страшно развязенъ и всѣми способами хотѣлъ показать, что онъ близкій другъ дома. Онъ говорилъ очень громко и, конечно, по-французски. Въ послѣднее время онъ лѣчилъ какую-то французскую кокотку и изучалъ у нея отборный парижскій жаргонъ. Во всѣхъ углахъ залы безпрестанно раздавался его голосъ: «Consi-consi, madame», en voilà une gaffe, par exemple» и т. д. Но это не мѣшало ему ошибаться въ артикляхъ, напр., онъ говорилъ: «l'arbre est très belle». Что дѣлать, съ артиклями онъ совладать не можетъ, это его Ахиллесова пята. Жена его—маленькая безцвѣтная женщина, очень просто одѣтая и, вѣроятно, забытая. Къ ней безпрестанно подбѣгали двѣ дочери съ длинными бѣлокурыми волосами и приносили конфеты, апельсины и разные бездѣлушки съ елки. Все это она аккуратно укладывала въ большой сафьяновый ридикюль.

Не успѣлъ я разговориться съ моей новой знакомой, какъ передо мной очутилась Лида, держа въ рукѣ розовый бумажный колпачокъ. Цѣлая ватага молодежи остановилась шагахъ въ двухъ за ней.

— Вотъ Соня Козельская,—начала она, опустивъ голову и бросая на меня исподлобья лукавый взоръ,—Соня Козельская говоритъ, что я не посмѣю надѣть на васъ эту шапочку, а я говорю, что посмѣю. Вы не разсердитесь?

— Нисколько, если это вамъ доставить удовольствіе.

— Вотъ какой вы добрый, тетя правду говорила... Только лучше этого не дѣлать: это будетъ неприлично, и миссъ Тэкъ меня разбранить.

— Кто это миссъ Тэкъ?

— Какъ? вы не знаете миссъ Тэкъ? Это моя гувернантка, она очень строгая. Лучше я вамъ принесу мороженого.

— Благодарю васъ, докторъ запретилъ мнѣ ѣсть мороженое. Докторъ подумалъ глубокомысленно и сказалъ:

— Ничего, при мнѣ можно.

Лида побѣжала за мороженымъ, а розовый колпакъ, кото-

рый она изъ вѣжливости называла шапочкой, надѣла себѣ на голову къ великой радости молодежи.

— Лидія Львовна,—сказаль я, получивъ отъ нея блюдечко съ красной жидкостью, которая когда-то была мороженымъ,—вы такъ меня угощаете сегодня, что я тоже считаю себя въ правѣ привести вамъ конфетъ. Какія вы больше любите?

— Розовыя тянушки.

Въ розовомъ платьѣ, съ розовымъ колпакомъ на головѣ, съ раскраснѣвшимися щечками, она сама казалась не то розовымъ цвѣткомъ, не то розовой конфеткой.

Къ одиннадцати часамъ елку разорили, маленькихъ дѣтей увезли спать, а взрослые дѣти начали танцовать. Танцы не прекращались ни на минуту и велись съ такимъ оживленіемъ, что даже и Марья Петровна на этотъ разъ не могла бы сказать, что у нея скучаютъ. Я сдѣлалъ съ Лидой два тура вальса, послѣ чего она мнѣ сказала:

— Знаете, вы танцуете очень хорошо, гораздо лучше, чѣмъ всѣ молодые... кромѣ Миши.

— Лидія Львовна, за что вы меня обижаете? Развѣ я старикъ?

— Нѣтъ, вы не старикъ, но все-таки въ лѣтахъ...

— Докажите, что вы не считаете меня старикомъ, и протанцуйте со мной мазурку.

Лидя не успѣла отвѣтить, какъ несносный докторъ счелъ нужнымъ вмѣшаться въ нашъ разговоръ.

— Ну, нѣтъ, батенька, это вы ужъ, ахъ! оставьте. Извольте-ка отправляться домой, на первый разъ довольно. Ни танцовать мазурку, ни ужинать вамъ нельзя.

Я робко протестоваль, но докторъ былъ неумолимъ.

— Посмотрите на себя въ зеркало... На кого вы похожи?

Пришлось повиноваться. Проходя черезъ столовую, въ которой никого не было, я остановился передъ зеркаломъ,—ну, и что же я увидѣлъ? Увидѣлъ очень оживленное молодежавое лицо, не похожее ни на кого, кромѣ Павлика Дольскаго, который всю жизнь ужиналъ и танцоваль мазурку.

Вернулся я домой очень довольный своимъ вечеромъ, но, вѣроятно, отъ усталости, отъ которой въ послѣднее время отвыкъ, долго не могъ заснуть. Подъ утро мнѣ приснилось, что я ѣмъ розовыя тянушки.

Просидѣвъ два дня дома, я сегодня поѣхалъ обѣдать въ клубъ. Меня очень интересовало, найдутъ ли во мнѣ какую-нибудь перемену. Первое впечатлѣніе было пріятно. Въ швейцарской я столкнулся съ толстымъ Васькой Туземцовымъ, на котораго напояливали шубу.

— А! здравствуй, Павликъ... Что давно не былъ?

— Былъ боленъ почти два мѣсяца.

— Ну, да, такъ тебѣ и повѣримъ. Чѣмъ ты могъ быть боленъ? Посмотри на себя—кровь съ молокомъ! А вотъ за бабенками волочиться—это твое дѣло! Гдѣ обѣдаешь?

— Въ клубѣ, а ты?

— Мнѣ жена велѣла дома обѣдать, у насъ гости. Садись-ка и ты со мной въ карету и пообѣдай съ нами. Жена будетъ рада... Что тебѣ здѣсь киснуть?

— Нѣтъ, спасибо, сегодня мнѣ нельзя.

— Ну, какъ знаешь.

Оба швейцара побѣжали втискивать Ваську въ карету, а я, ободренный его словами, быстро взбѣжалъ на первую половину лѣстницы и едва не задохся отъ одышки. Пришлось сѣсть на площадкѣ и перевести духъ. Въ это время изъ читальной поднимался наверхъ старый и уважаемый старшина Андрей Ивановичъ. Онъ также спросилъ, отчего я давно не былъ въ клубѣ, и я долженъ былъ подробно рассказать ему весь ходъ своей болѣзни. Андрей Ивановичъ слушалъ меня съ большимъ участіемъ, потомъ покачалъ головой и произнесъ какъ будто въ сторону:

— Да, вотъ тоже удивительно, Степанъ Степанычъ до сихъ поръ живъ...

Этого я уже никакъ ожидать не могъ. Степану Степанычу за восемьдесятъ лѣтъ, и онъ второй годъ лежитъ безъ ногъ. Что же у меня съ нимъ общаго? Угнетенное состояніе духа, въ которое я впалъ, вслѣдствіе этого милаго сравненія, понемногу разсѣялось за обѣдомъ. Всѣ встрѣтили меня очень радушно, обѣдъ былъ отличный и разговоръ очень оживленный. Старички вспоминали прошлое, а такъ какъ мнѣ въ жизни случайно приходилось сталкиваться съ очень интересными людьми, я также воодушевился и много рассказывалъ. Андрей Ивановичъ

и тут испортилъ мнѣ все дѣло. Въ концѣ обѣда онъ обратился ко мнѣ съ самой любезной улыбкой:

— Вотъ вы, Павелъ Матвѣичъ, знали столько замѣчательныхъ людей. Скажите, пожалуйста, случалось ли вамъ встрѣчаться съ нашимъ знаменитымъ историкомъ Карамзинымъ?

Я хотѣлъ было отвѣтить: «нѣтъ, съ Карамзинымъ я не встрѣчался, а вотъ съ Ломоносовымъ былъ на ты», но воздержался, потому что моя иронія пропала бы даромъ. Карамзинъ умеръ лѣтъ двадцать до того, что я родился. Какъ же я могъ съ нимъ встрѣчаться? Удивительно, какъ это люди отъ старости теряютъ самыя элементарныя понятія о хронологіи!

Вечеромъ, играя въ вистъ, я сдѣлалъ нѣсколько крупныхъ ошибокъ. Отчего это? Вѣроятно, оттого, что давно не игралъ, а можетъ быть, я и въ самомъ дѣлѣ дѣлаюсь похожъ на Степана Степаныча, который десять лѣтъ тому назадъ былъ уже такъ старъ, что ему прощали ренонсы.

3-го января.

Домъ Марьи Петровны неузнаваемъ. Прежде это была тихая пристань; теперь, благодаря присутствію Лиды, это какой-то непрерывный свѣтскій базаръ. Три княжны Козельскія: Соня, Вѣра и Надя, Соня вторая Зыбкина, Соня третья (забылъ фамилію), кузина Катя, кузина Лиза, еще нѣсколько барышень «ихъ же имена Ты веши, Господи», разные пажи, лицеисты и молодые офицеры,—все это кишмя-кишитъ въ гостепріимномъ домѣ на Сергіевской. Во главѣ всей молодежи стоитъ Миша Козельскій, повидимому, влюбленный въ Лиду и называющійся ея адъютантомъ. Марья Петровна окончательно перестала думать, что у нея всѣ скучаютъ, и разъ даже въ разсѣянности проговорила, сказавъ мнѣ:

— Il paraît pourtant, que cette jeunesse s'amuse chez moi.

Лида очень мила со мною и очень мила вообще. Я заказалъ нѣсколько фунтовъ розовыхъ тянущекъ, уложилъ ихъ въ розовую бонбоньерку въ формѣ колпачка и привезъ ей въ Новый годъ. Сначала она очень обрадовалась подарку и побѣжала показать его миссъ Тэкъ, но вернулась съ лицомъ, нѣсколько отуманеннымъ.

— Я считала васъ такимъ добрымъ, а теперь вижу, что вы очень хитрый... Вы нарочно привезли мнѣ эту бонбоньерку, чтобы напомнить мнѣ глупый поступокъ на елкѣ... Вѣдь правда?

— Правда, но только я совсѣмъ не хотѣлъ васъ обидѣть. Шутка за шутку,—вотъ и все. А если вы разсердились, Лидія Львовна, простите меня...

— Нѣтъ, я не разсердилась, а только впередъ буду знать, что вы хитрый... Можно васъ называть Павликомъ!

— Конечно, можно, а я буду васъ называть Лидой.

— Отлично, я очень рада. А теперь хотите протанцовать со мной туръ вальса?

— Что съ тобой, Лида?—виѣшалась Марья Петровна.— Какъ же можно танцовать по ковру и безъ музыки?

— Ничего, тетя, Павликъ отлично танцуетъ.

— Нѣтъ, вздоръ, вздоръ! Да и вообще ты себѣ много позволяешь. Вѣдь Paul не мальчишка, чтобы исполнять всѣ твои капризы...

Увы! хотя я и не мальчишка, однако я положилъ шляпу, всталъ съ мѣста и, вѣроятно, исполнилъ бы капризъ Лиды, но въ эту минуту въ гостиную ворвались Соня Зыбкина и кузина Катя съ двумя гувернантками и тремя юнкерами. Вся эта ватага наскоро поздоровалась съ нами и стремительно убѣжала въ залу.

— Quelle bonne et charmante enfant, — сказала вслѣдъ Лидѣ Марья Петровна,—но только вы, Paul, напрасно ее такъ балуете. Ее и такъ всѣ избаловали.

22-10 февраля.

Вопреки опасеніямъ и предсказаніямъ моего остроумнаго эскулапа, я такъ бодръ и здоровъ, какъ давно не былъ. Я провожу цѣлые дни у Марьи Петровны и чувствую себя такимъ же молодымъ, какъ Миша Козельскій. Иногда мнѣ кажется, что я попрежнему камеръ-пажъ, что я никогда не былъ ни офицеромъ, ни мировымъ посредникомъ, ни камергеромъ, что все это было какимъ-то глупымъ сномъ, отъ котораго я только что очнулся. Лида съ каждымъ днемъ дѣлается все очарова-

тельнѣе и милѣе. Она назначила меня вторымъ адъютантомъ, и я съ блаженствомъ исполняю всѣ ея порученія. На мнѣ лежитъ обязанность доставать логи, устраивать разныя поѣздки и уговаривать Марью Петровну, когда она чего-нибудь не позволяетъ. Кругъ моего знакомства совсѣмъ измѣнился. Я сдѣлалъ визиты матери Сони Зыбкиной и отцу кузины Кати. Въ особенно тѣсной дружбѣ я состою со всѣми гувернантками. Благодаря гувернанткѣ кузины Лизы, я записался въ члены благотворительнаго общества въ Лозаннѣ, а для гувернантки Сони третьей (всегда забываю фамилію) я началъ собирать почтовые марки. Сама ледяная и длиннозубая миссъ Тэкъ немного оттаяла для меня и повѣряетъ мнѣ свои семейныя тайны. Правда, я собираю для нея окурки отъ сигаръ, которые она ежемѣсячно черезъ посольство отправляетъ въ Англію.

Изъ моихъ прежнихъ знакомыхъ я посѣщаю только княгиню Козельскую. Вчера я танцевалъ у нея на балу.

Это былъ прелестный *bal d'adolescents*. Нечего и говорить о томъ, что Лида была царицей бала и распоряжалась всѣмъ. По ея приказанію я дирижировалъ танцами и—могу сказать безъ хвастовства—дирижировалъ хорошо, по преданіямъ добраго стараго времени. Въ былые годы это была моя спеціальность. Такъ какъ кузина Лиза очень некрасива и часто остается безъ кавалеровъ, я долженъ былъ протанцевать съ ней подъ-рядъ двѣ кадрили; зато мазурку я танцевалъ съ Лидой. Ее безпрестанно выбирали, и мнѣ мало пришлось говорить съ нею. Но какъ было весело слѣдить за ея движеніями и знать, что она все-таки сейчасъ вернется ко мнѣ!

Очень, очень хорошій былъ вечеръ, но на прощаніе княгиня Козельская удивила меня слишкомъ большою дозой благодарности, отпущенной на мой пай.

— *Merci, merci*, милый Павликъ,—повторила она нѣсколько разъ—*vous avez dansé comme un ange*, дайте, я васъ за это поцѣлую.

И она коснулась моего лба своими жирными губами. Положимъ, это любезно, но слишкомъ признательно. Что же особеннаго въ томъ, что я танцевалъ на балу? Вмѣстѣ со мной уходили два кавалергарда, и она ихъ не благодарила вовсе. Вообще у княгини странныя понятія. «*Vous avez dansé comme un ange*». Гдѣ она вычитала, что ангелы танцуютъ?

4-10 марта.

Всего десять дней прошло съ того дня, какъ я написать послѣднюю страницу моихъ записокъ,—и все перемѣнилось. Я опять началъ каплять и не сплю по ночамъ, желчь разливается, бодрость моя исчезла и на душѣ скверно. Почему все это произошло—не знаю... Развѣ потому, что

Le chagrin est tenace et long,
Mais la joie est volage et brève!

какъ написалъ какой-то нѣмецкій дипломатъ въ альбомѣ Марьи Петровны.

Особенно скверно спать я послѣднюю ночь, да и немудрено. Вчера было рѣшено ѣхать вечеромъ на тройкахъ за городъ, а потомъ пить чай у Зыбкиныхъ. Я пріѣхалъ къ восьми часамъ, всѣ были въ сборѣ, три тройки стояли у подъѣзда.

— Какъ? и вы ѣдете, Paul?—спросила у меня Марья Петровна.—Повѣрьте, что это будетъ неблагоразумно при вашемъ каплѣ. Посидите лучше со мной. Dans la dernière «Revue» il y a un article très intéressant sur les ducs de Bourgogne... Почитайте мнѣ эту статью», вы такъ хорошо читаете.

Я, конечно, не послушался бы ни совѣтовъ благоразумія, ни просьбы Марьи Петровны, но Лида отозвала меня въ сторону и сказала почти шопотомъ:

— Павликъ, милый, посидите съ тетей, она такъ скучаетъ одна! Мы скоро вернемся.

Я молча усадилъ въ сани Лицу и вернулся въ маленькую гостиную, гдѣ передъ лампой уже лежали двѣ тощія розовыя книжки. Я сдѣлалъ рекогносцировку. Исторія Бургундскихъ герцоговъ занимала въ одной книжкѣ пятьдесятъ страницъ, въ другой около шестидесяти.

— Марья Петровна!—воскликнулъ я въ ужасѣ,—мы не успѣемъ сегодня прочитать и первую статью.

— Нѣтъ, Paul, мы прочитаемъ обѣ. Я хочу дожидаться Лиды, а у Зыбкиныхъ, кажется, танцуютъ!

Это былъ мнѣ новый ударъ. Зачѣмъ Лида отъ меня скрыла, что у Зыбкиныхъ будутъ танцы? И еще обѣщала скоро вернуться!

Началось чтеніе. Съ тѣхъ поръ, какъ я живу на свѣтѣ, я ничего не читалъ скучнѣе этой статьи. Въ сравненіи съ ней,

годовой отчетъ Вольно-Экономическаго общества показался бы самымъ игривымъ романомъ. Два часа пытки я вынесъ, больше не могъ. Я пустился на хитрость и началъ пропускать по нѣскольکو строкъ, а потомъ по полстраницѣ. Увидя, что это проходитъ безнаказанно, я сразу перевернулъ восемнадцать страницъ, такъ что изъ всѣхъ подвиговъ Карла Смѣлаго Марья Петровна узнала только то, что онъ умеръ. Впрочемъ, врядъ ли она вообще что-нибудь слышала. Сначала она прерывала чтеніе одобрительными восклицаніями, потомъ закрыла глаза и, кажется, задремала. Наконецъ, наступила минута, когда я почувствовалъ, что вотъ-вотъ сейчасъ книга вывалится у меня изъ рукъ; мнѣ почудилось, что Марья Петровна играетъ «*Les cloches du monastère*». Я остановился. Она открыла глаза.

— *Décidément on danse chez les Zibkines ce soir.* Знаете, не отложить ли намъ чтеніе до завтрашняго вечера?

Я не заставилъ себя просить и выскочилъ на улицу. Кареты моей еще не было, я побѣжалъ домой пѣшкомъ. Мокрый снѣгъ валилъ хлопьями; я промочилъ ноги и продрогъ до костей.

5-го марта.

Вчера я написалъ, что не знаю, отчего все перемѣнилось, но я слухавилъ,—я знаю. Постараюсь выяснитъ свое положеніе и привести въ порядокъ свои мысли.

Для этого я прежде всего долженъ высказать то, въ чемъ до сихъ поръ не рѣшался сознаться передъ самимъ собою. Я безумно влюбленъ въ Лиду.

Но во всѣхъ другихъ вопросахъ я еще не вполне сумасшедшій, а потому я очень хорошо знаю, что не могу рассчитывать на взаимность. У меня просто была потребность видѣть ее ежедневно, я радовался тому, что она такъ дружески относилась ко мнѣ; съ меня было довольно и этого. Отчего же все перемѣнилось?

Говорятъ, что уроки исторіи никогда нейдутъ впрокъ государствамъ и народамъ. То же самое можно сказать объ опытѣ жизни по отношенію къ отдѣльнымъ лицамъ. Этотъ опытъ жизни очень полезенъ въ теоріи, но поступаютъ люди почти всегда вопреки тому, чему ихъ учить опытъ. Такъ случилось и со

мною. Опыт жизни говорилъ мнѣ, что если я хочу сохранить хорошія, дружескія отношенія съ Лидой, то ни въ какомъ случаѣ я не долженъ выдавать секрета моей любви. Пусть Лида будетъ увѣрена въ моей безусловной преданности, но элементъ влюбленности долженъ быть глубоко затаенъ въ душѣ,—иначе я пропалъ. Долго я не выдавалъ себя, наконецъ выдалъ.

Случилось это дня черезъ два послѣ бала Козельскихъ. По необыкновенному стеченію обстоятельствъ, мы очутились наединѣ съ Лидой; разговоръ у насъ шелъ объ этомъ балѣ, и Лида сказала, что всѣ очень были довольны тѣмъ, какъ я дирижировалъ мазуркой.

— Ну, не всѣ,—замѣтилъ я, смѣясь:—вашъ первый адъютантъ былъ несовсѣмъ доволенъ мазуркой.

— Кто? Миша? Вотъ пустяки! Мы и безъ того видимся довольно часто.

— Не слишкомъ ли часто, Лида!

При этомъ я долженъ замѣтить, что ненавижу этого Мишу всѣми силами души моей. Мнѣ въ немъ противно все: его голосъ, манеры, ухаживанье за Лидой, даже его красота. Особенно красота: онъ какъ-то слишкомъ картинно красивъ и слишкомъ это знаетъ. Когда я заговорилъ о Мишѣ, какой-то внутренній голосъ опыта жизни напомнилъ мнѣ: «перестань, остановись!» Я не послушался этого голоса, я старался выставить своего соперника въ смѣшномъ видѣ, говорилъ о его неразвитости и безсердечіи, предостерегалъ, совѣтовалъ, умолялъ,—однимъ словомъ, сыгралъ будто по суфлеру роль влюбленнаго ревнивца. Когда я взглянулъ на Лиду, лицо ея выражало такой испугъ и такое страданіе, что я самъ испугался.

— Если вы меня хоть немного любите,—сказала она, вставая съ мѣста,—никогда не говорите мнѣ дурно про Мишу. Это мой другъ.

И тихо вышла изъ комнаты.

Вотъ съ этого-то дня все перемѣнилось. Прежде Лида любила, чтобы я участвовалъ во всѣхъ удовольствіяхъ молодежи, теперь ей, видимо, стало непріятно видѣть меня вмѣстѣ съ Мишей. Меня это мучило, я потерялъ свое оживленіе, сдѣлался раздражителенъ и мраченъ, а вслѣдствіе этого Лида положительно начала избѣгать меня. Если изрѣдка она и принимаетъ со мной прежній дружескій тонъ, какъ, напримѣръ, было вчера,

это дѣлается съ какой-нибудь цѣлью. Вчера эта позолоченная пилюля была отпущена мнѣ для того, чтобы я не поѣхалъ съ ней на тройкѣ, а остался у Марьи Петровны.

Сегодня я, вѣроятно, не поѣхалъ бы на Сергіевскую, но мнѣ нужно было кончить чтеніе Бургундской исторіи. Впрочемъ, въ душѣ я, кажется, былъ радъ этому предлогу. У подъѣзда стояло много экипажей, и еще съ лѣстницы я услышалъ громкое пѣніе. Мною вдругъ овладѣла такая непонятная робость, что я, не входя въ залу, пошелъ окольнымъ путемъ къ Марѣ Петровнѣ. Идя по столовой, я явственно разслышалъ пѣсню, которую пѣлъ за фортепіано своимъ противнымъ баритономъ Миша Козельскій. Это былъ извѣстный цыганскій мотивъ, а слова онъ, вѣроятно, сочинилъ самъ:

Лидія Львовна
Слишкомъ хладнокровна,
А Мельхиседекъ
Прекрасный человекъ.

Хоръ барышень визгливо повторялъ: «прекрасный человекъ».

Чтеніе не состоялось, потому что у Марьи Петровны тоже были гости, и мнѣ сейчасъ же вручили карту для винта. Но передъ тѣмъ, чтобы начать игру, я рѣшился войти въ залу. При моемъ появленіи шумъ и крики не то, чтобы совсѣмъ утихли, а какъ-то притихли. Я шутливо упрекнулъ Лиду за то, что она наканунѣ меня обманула, но моя шутка не удалась: слишкомъ въ ней много сквозило обиды и горя. Лида что-то пробормотала въ отвѣтъ; я ничего не понялъ и отошелъ въ уголь гувернантокъ. Въ это время Миша Козельскій, какъ-то особенно раскачиваясь и выпячивая грудь, подошелъ къ Лидѣ и громко спросилъ у нея:

— Лидія Львовна, вы очень любите Мельхиседека?

Кругомъ раздалось громкое хихиканье барышень. Отвѣта Лидіи я не разслышалъ, но мнѣ показалось, что она разсердилась. — «Кто же этотъ Мельхиседекъ? — спрашивалъ я про себя, — вѣроятно, какой-нибудь новый поклонникъ... Какъ, однако, я отсталъ! Прежде я всѣхъ поклонниковъ зналъ наизусть. По сходству именъ, это, можетъ быть, конногвардеецъ Мельховскій, но вѣдь Мельховскій до сихъ поръ ухаживалъ за Надей Козельской». Меня такъ заинтересовалъ этотъ вопросъ, что я уже

хотѣлъ за разрѣшеніемъ его обратиться къ Лидѣ, но меня по-
звали играть въ винтъ.

Никогда въ жизни я не игралъ такъ скверно, какъ сегодня;
партнеры на меня страшно сердились, и я былъ этому радъ,
потому что смотрѣлъ на нихъ какъ на враговъ. За стѣной въ залѣ
раздавались громкіе, веселые голоса молодежи, которая еще не-
давно мнѣ казалась такъ симпатична. Теперь я имъ совсѣмъ
чужой, а можетъ быть, такъ же непріятенъ, какъ своимъ партне-
рамъ въ винтъ. И вдругъ мнѣ пришла въ голову странная мысль,
что я теперь уже не могу сравнивать, гдѣ мнѣ лучше, а могу
только думать о томъ, гдѣ мнѣ хуже. Здѣсь, за винтомъ, мнѣ
очень не хорошо, въ залѣ хуже... А дома, вдали отъ Лиды, мо-
жетъ быть, еще хуже... Нѣтъ, дома, пожалуй, все-таки легче.
Едва кончилась партія, я убѣжалъ тѣмъ же окольнымъ путемъ,
ни съ кѣмъ не простившись. Въ залѣ раздавался опять тотъ же
цыганскій мотивъ, но куплетъ былъ съ легкимъ вариантомъ.

Лидія Львовна
Любить всѣхъ ровно,
А Мельхиседекъ
Несносный человѣкъ.

«Несносный человѣкъ!»—подхватилъ хоръ.

Боже мой, какая это идиотская пѣсня, и какъ мнѣ было
обидно слышать серебристый голосокъ Лиды, выдѣлявшійся изъ
этого визгливаго хора!

6-10 марта.

Одинъ древній мудрецъ сказалъ, что самый большой врагъ
человѣка—онъ самъ. Я доказалъ это вчера, написавъ въ сво-
емъ дневникѣ, что я влюбленъ въ Лиду. Пока это чувство су-
ществуетъ только въ сознаніи человѣка, съ нимъ еще можно
бороться, но разъ оно ясно сформулировано и высказано на сло-
вахъ или на бумагѣ, тогда борьба дѣлается немыслима. Это
то же, что закрѣпить актъ нотаріальнымъ порядкомъ. Человѣкъ
уже не владѣетъ собой, а дѣйствуетъ подъ вліяніемъ какихъ-то
темныхъ, невѣдомыхъ силъ. Сегодня я, напр., рѣшился твердо
не ѣхать къ Марѣ Петровнѣ и отправился обѣдать въ клубъ.
Этотъ клубъ, который я прежде такъ любилъ, показался мнѣ

теперь какой-то безлюдной пустыней: все тѣ же лица, тѣ же разговоры, тотъ же обѣдъ. Прежде это традиціонное повтореніе изо-дня въ-день мнѣ даже нравилось, сегодня я скучалъ невыносимо. Послѣ обѣда, проходя черезъ бильярдную, я увидѣлъ старичка Трутнева, игравшаго съ маркеромъ. Прежде я этого Трутнева почти и не замѣчалъ, но сегодня я обрадовался ему, какъ самому близкому человѣку. Дѣло въ томъ, что Трутневъ — родственникъ Зыбкиныхъ и часто у нихъ бываетъ, а потому я могъ въ разговорѣ съ нимъ два раза назвать Лидію Львовну. Пока я разговаривалъ съ Трутневымъ, нѣсколько удивленнымъ моею усиленною любезностью, въ дверяхъ бильярдной показался уважаемый старшина Андрей Ивановичъ. У меня мгновенно явилось предчувствіе, что онъ мнѣ скажетъ что-нибудь непріятное. Я не ошибся.

— Что съ вами, батюшка Павелъ Матвѣичъ, — спросилъ онъ съ какимъ-то соболѣзнованіемъ, потрясая мою руку. — Навасъ лица нѣтъ. Какъ вы осунулись!

— Что дѣлать, Андрей Ивановичъ, старость.

— Нечего сказать, хороша старость! — воскликнулъ Трутневъ. — Надняхъ Павелъ Матвѣичъ такъ отплясывалъ, что всѣхъ молодыхъ за поясъ заткнулъ. Да и лѣтъ-то Павлу Матвѣичу немного ..

— Ну, лѣтъ довольно, — возразилъ неумолимый Андрей Ивановичъ, — я такихъ примѣровъ знаю много. Человѣкъ бодрится, бодрится и все себя молодымъ считаетъ, а въ одно прекрасное утро проснулся, глядь — старикъ. Вѣдь вотъ, и въ пикетъ то же бываетъ: считаешь двадцать восемь, двадцать девять, а потомъ вдругъ шестьдесятъ!

И, очень довольный своей остротой, Андрей Ивановичъ пошелъ разносить ее по клубу.

Въ это время на большихъ клубныхъ часахъ пробило девять. Я вскочилъ и побѣжалъ внизъ съ такой послѣшностью, какъ будто боялся опоздать на желѣзную дорогу. «На Сергіевскую, и скорѣе!» — закричалъ я, бросаясь въ санн. Отчего это такъ случилось, — я не знаю. Мнѣ вдругъ неудержимо захотѣлось увидѣть Лиду. Только увидѣть, — больше ничего. Я и говорить съ ней не буду, а посижу съ Марьей Петровной. Въ самомъ дѣлѣ, какое удовольствіе смотрѣть на мое осунувшееся, измученное лицо? Вокругъ нея все такія молодыя, веселыя

лица... Но вѣдь взглянуть на нее можно. Никому не запрещается смотрѣть на солнце, на звѣзды, на куполь Исаакіевскаго собора.

Такъ размышлялъ я въ саняхъ, но и этому скромному желанію не суждено было осуществиться. Швейцаръ объявилъ мнѣ, что молодые господа вотъ-вотъ сейчасъ,—еще и трехъ минутъ не будетъ,—какъ уѣхали на тройкѣ, а Марья Петровна дома. Судьба словно хотѣла доказать мнѣ, что и на куполь Исаакіевскаго собора не всегда можно смотрѣть.

Марья Петровна была въ грустномъ настроеніи, разговоръ у насъ совсѣмъ не клеился.

— А Лидія Львовна, повидимому, уже никогда не бываетъ дома?—спросилъ я не безъ ехидства.

— Какъ никогда? Вчера она весь день оставалась дома.

— А, вы это называете быть дома, когда у васъ сто чело-вѣкъ гостей! Знаете, Марья Петровна, вы меня удивляете. Вы вѣдь очень любите вашу племянницу, а между тѣмъ съ этими ежедневными тройками, вечерами, балаганами, вы ее почти не видите...

— Да, это правда, я вижу ее очень мало, но что же дѣлать, Paul, il faut que jeunesse se passe...

— Да, jeunesse, jeunesse... Это все прекрасно, но вѣдь есть предѣлъ всему. Мнѣ кажется, что такой образъ жизни, какой ведетъ Лидія Львовна, не особенно полезенъ для развитія ума и сердца, да, пожалуй, и не совсѣмъ приличенъ.

— Нѣтъ, Paul, если кто-нибудь изъ насъ долженъ удивляться, то это, конечно, я! Я всегда говорила то, что вы говорите теперь, и вы же всегда со мной спорили. Я была противъ троекъ, вы меня убѣдили, что это ничего. Общество, которое собирается у Зыбкиныхъ, мнѣ очень, очень не нравится, и я хотѣла, чтобы Лида бывала тамъ какъ можно рѣже, вы доказывали мнѣ, что это невозможно, потому что Соня Зыбкина была съ Лидой въ институтѣ. Наконецъ, балаганы... Вы помните, мы чуть не поссорились съ вами за то, что я не хотѣла пускать туда Лиду... Я такъ вѣрю въ вашу тактъ и въ ваше знаніе свѣта, а теперь вы меня упрекаете въ томъ, что я васъ слушалась. Право, Paul, это несправедливо.

Марья Петровна была совершенно права, но это еще болѣе меня раздражило.

— Ну, хорошо, положимъ, что это такъ. Разъ вы хотите, чтобы я былъ виноватъ во всемъ, охотно беру вину на себя. Ну, скажите, Марья Петровна, развѣ я когда-нибудь совѣтовалъ вамъ, чтобы вы позволяли вашей племянницѣ быть на такой короткой, фамиллярной ногѣ съ молодыми людьми, называть ихъ уменьшительными именами, проводить съ ними цѣлые дни...

— Вы намекаете на Мишу Козельскаго? Но вѣдь онъ родственникъ...

— Ахъ, да, виноватъ, я забылъ это знаменитое родство! Мать княгини Козельской была троюродной сестрой Лидиной бабушкѣ... Родство, конечно, близкое, но только, видите ли, оно ни отъ чего не спасаетъ.

«Перестань, остановись!» — робко напомнилъ мнѣ внутренній голосъ, но я уже несся на всѣхъ парахъ и вылилъ всю желчь, которая накипѣла у меня въ душѣ за послѣдній мѣсяцъ. Марья Петровна только обмахивалась вѣеромъ.

— Нѣтъ, Paul, на этотъ разъ я рѣшительно не согласна съ вами. Миша est un enfant de bonne maison и не позволить себѣ ничего лишняго. Mais vous avez une dent contre lui, я давно это замѣтила, и онъ самъ это знаетъ. Еще вчера онъ говорилъ: «не знаю, за что Мельхиседекъ на меня дуется»...

Я вскочилъ, какъ ужаленный.

— Какъ онъ сказалъ? Кто это Мельхиседекъ? Я, что ли?

— Oui, c'est un sobriquet que cette jeunesse vous a donné, je ne sais pas trop pourquoi...

— Этого только не доставало! — закричалъ я, бѣгая по комнатѣ и едва не сваливъ чайный столикъ, стоявшій на моей дорогѣ. — Благодарю васъ, Марья Петровна! Вамъ мало того, что вы изъ своего дома сдѣлали притонъ какой-то буйной молодежи, вы еще позволяете ей оскорблять вашихъ гостей, да и кого же? Человека, который знаетъ васъ съ дѣтства... который... который былъ шаферомъ на вашей свадьбѣ, который...

— Да что съ вами, Paul? Успокойтесь, — лепетала Марья Петровна, бѣгая за мной по комнатѣ и усаживая меня наконецъ на диванъ. — Я рѣшительно не понимаю, почему это васъ такъ обижаетъ. Если бы еще Мельхиседекъ былъ какой-нибудь злодѣй или извѣстный разбойникъ, тогда я поняла бы. Mais je vous assure, que c'était un homme tout-à-fait respectable, même une espèce de saint, je crois... Я была бы очень польщена, если

бы меня называли Мельхиседекомъ... Въ прошломъ году въ «Revue des deux Mondes» была о немъ статья, я вамъ сейчасъ отыщу...

— Нѣтъ, хоть отъ этого увольте!—заревѣлъ я въ изступленіи,—влянусь, что этой статьи я читать не стану! Довольно съ меня Бургундскихъ герцоговъ... И знайте, Марья Петровна, что я вашъ «Revue des deux Mondes» презираю и ненавижу отъ всей души! Это даже вовсе не журналъ, это просто какая-то сонная артерія... что-то въ родѣ «Les cloches du monastère», которыя вы такъ любите...

— Да опомнитесь, Paul, что съ вами? Вы начинаете говорить мнѣ дерзости...

Я опомнился.

— Простите меня, Марья Петровна, я дѣйствительно говорю Богъ знаетъ что. Но, видите ли, я чувствую себя очень дурно... Голова у меня не въ порядкѣ.

— Ахъ, да, да, вы блѣдны, какъ мертвецъ. И я принесу вамъ *ignatium*—это сейчасъ поможетъ.

Я проглотилъ пять крупинокъ игнатія, потомъ еще нѣсколько какихъ-то другихъ крупинокъ, но это не помогло. Лихорадка меня била. Марья Петровна велѣла заложить карету и послала за докторомъ. Меня привезли домой, уложили въ постель, напоили горячимъ чаемъ. Часа черезъ два я согрѣлся, но заснуть не могъ. Я всталъ съ постели и, чтобы наказать себя, записалъ подробно мой разговоръ съ Марьей Петровной. Пусть это послужитъ мнѣ вѣчнымъ напоминаніемъ того, какъ я былъ глупъ и грубъ, и безтактенъ.

Ну, хорошъ же и ты, дрянной мальчишка, выдумывающій прозвища для людей, которые втрое старше тебя, и сочиняющій на нихъ глупые куплеты. Оттого, что ты раскачиваешься и выпячиваешь грудь, ты думаешь, что все тебѣ позволено... Но вѣдь и я когда-то былъ камеръ-пажомъ, и также качался и выпячивалъ грудь, и былъ не хуже тебя, а ужъ умнѣе былъ навѣрное. А вотъ теперь и я безпомощенъ, и хилъ, и смѣшонъ. То же будетъ и съ тобою. Незамѣтно пройдутъ года, и, когда ты будешь шамкать беззубымъ ртомъ, другой, новый камеръ-пажъ, который теперь еще не родился, будетъ выпячивать грудь и писать про тебя бессмысленныя вирши... Теперь ты попираешь меня ногами, а я и отомстить тебѣ ничѣмъ не могу, но, не без-

покойся, за мной стоитъ великій мститель — время. Тебѣ, вѣроятно, не разъ говорили, п ты, какъ глупый попугай, повторялъ, что время — деньги. Но, доживъ до моихъ лѣтъ, и ты узнаешь, что время гораздо больше, чѣмъ деньги. Время самый неподкупный судья и самый безпощадный палачъ!

17-го марта.

Нѣсколько дней я пролежалъ въ постели. Въ первый же день Марья Петровна прислала узнать о моемъ здоровьѣ, что доказываетъ ея необычайную доброту, потому что она была въ правѣ вмѣсто этого предписать своему швейцару, чтобы онъ никогда не пускалъ меня въ домъ. А на второй день я получилъ записку отъ Лиды. Я столько разъ перечитывалъ эту записку, что выписываю ее на память.

«Вы напрасно разсердились на Мишу. Мельхиседекомъ прозвала васъ экономка, которая живетъ у Зыбкиныхъ. Соня намъ рассказала, и намъ показалось смѣшно, но теперь, когда это васъ обидѣло, никто никогда не будетъ васъ такъ называть. Вы не повѣрите, какъ мнѣ жаль, что вы больны, и какъ мнѣ хочется поскорѣе васъ увидѣть. Вашъ другъ Лида».

Получивъ эту записку, я совсѣмъ успокоился и проводилъ въ постели самые счастливые дни. Я забылъ про свою болѣзнь и про все окружающее, я видѣлъ передъ собой одну Лиду и все время повторялъ про себя «Послѣднюю любовь» — одно изъ самыхъ моихъ любимыхъ стихотвореній Тютчева:

О, какъ на склонѣ нашихъ лѣтъ
Нѣжнѣй мы любимъ, суевѣрнѣй!..

Именно — суевѣрнѣй. Лучшаго эпитета нельзя было придумать. Я внимательно разсматривалъ нетвердый, почти дѣтскій почеркъ Лиды и въ очертаніи этихъ буквъ хотѣлъ прочесть ея характеръ и мою будущую судьбу. Если-бъ я былъ молодъ, я бы жаждалъ имѣть ея портретъ; теперь мнѣ это не нужно, я и безъ того ее вижу. Букву к она пишетъ съ какой-то завитушкой вверхъ — вся, какъ живая, смотреть она на меня изъ этой завитушки.

О ты, послѣдняя любовь, —
Ты и блаженство, и безнадежность!

23-го марта.

Если бы действительно существовало царство любви, какое бы это было странное и жестокое царство! Какими бы законами оно управлялось, да и могут ли быть какие-нибудь законы для такой капризной царицы? Сотни красивых женщин проходят мимо вас, и вы остаетесь равнодушны. Вдруг вы увидели где-нибудь смазливенькое личико и сразу чувствуете, что жизнь ваша наполнилась, и что вид этого лица во всем мире нить для вас ничего. Отчего это происходит? Может быть, ваш прадед любил подобную женщину, и образ ее родился вместе с вами, вошел в вашу кровь, в ваши нервы. И благо вам, если вы встретите эту женщину, когда вы молоды! Она может откликнуться на ваш зов, и тогда царица любви примет вас обоих в свои светлые чертоги.

Увы! моя молодость прошла без такой желанной встречи. Но почему же я не могу сделать ее теперь? «Вы не старик, но все-таки вы в летах»,—сказала мне Лида в первый день нашего знакомства. Ну, что-ж такое, что в летах? Чем же я виноват, что она родилась слишком поздно, или что я родился слишком рано? Разве лета составляют преступление? Напротив того, во всех других сферах жизни человек с летами приобретает уважение и почет. За чем же его лишать самого святого права,—права любить? Если так, лучше уж прямо убивать всякого, кому перевалить за сорок лет.

«Нить,—говорит мне жестокая царица,—убивать тебя не стану, и не лишать тебя права любить. Если хочешь, иди ко мне, но только не сладка тебе будет жизнь в моем царстве. Стой у ограды моих чертогов и любуйся, как я буду расточать другим свои улыбки и ласки, и слезы счастья. А ты стой у ограды и молчи. Никакого уважения, ни почта ты здесь не дождешься, но не смей и вида показывать, что ты этим не доволен, иначе я и возле ограды стоять тебе не позволю. Вся твоя кровь закипит и заклокочет от обиды, а ты улыбайся заискивающей, гадкой улыбкой; все сердце перевернется от горя, а ты смейся и семеню ослабевшими ножками и пляши в присядку... А главное, молчи, молчи и молчи!»

Так вот нить же, не стану молчать! Будь что будет, а я войду в эту заколдованную ограду и заговорю гордым язы-

комъ свободаго человека. Авось, и не выгонять оттуда. Вѣдь не всегда же женщины любили однихъ молокососовъ. Вотъ, чтобы не далеко ходить за примѣрами, Мазепа... Онъ былъ гораздо старше меня, а вѣдь полюбила же его Марія... Да и не старикъ же я въ самомъ дѣлѣ, не Степанъ Степанычъ, который два года лежитъ безъ ногъ.

26-го марта.

Третьяго дня докторъ позволилъ мнѣ встать съ постели, но отнюдь не выѣзжать, и съ этого дня въ голову мою засѣлъ планъ рѣшительнаго объясненія съ Лидой. По правдѣ сказать, мои надежды на успѣхъ основались отчасти на ея запискѣ, — но что же доказываетъ эта записка? Она была вызвана исключительно желаніемъ выгородить Мишу; теперь мнѣ это ясно, какъ день, но тогда я видѣлъ въ ней совсѣмъ другое. Я ходилъ по своей квартирѣ въ какомъ-то опьянѣніи. Изъ послѣднихъ стиховъ Тютчева я безнадежность какъ-то забылъ, а думалъ только о блаженствѣ быть мужемъ Лиды, посвятить ей весь остатокъ силъ и жизни. Вчера мой планъ окончательно созрѣлъ, а сейчасъ я привелъ его въ исполненіе. Я просилъ доктора пріѣхать сегодня пораньше, чтобы посмотрѣть на дѣйствіе новой укрѣпляющей микстуры. Онъ явился въ десять часовъ, остался очень доволенъ и микстурой, и моимъ вниманіемъ къ его лѣченію и выразилъ надежду, что дней черезъ десять онъ, вѣроятно, позволитъ мнѣ выѣхать. Только что онъ вышелъ за дверь, я одѣлся и полетѣлъ на Сергіевскую. Планъ мой основывался на томъ, что Марья Петровна встаетъ очень поздно, и что въ такой ранній часъ гостей я не застаю. Расчетъ удался вполнѣ. Лида сидѣла одна въ залѣ за фортепіано и разучивала какую-то сонату. Она мнѣ очень обрадовалась и хотѣла сейчасъ же бѣжать будить Марью Петровну; я насилу убѣдилъ ее этого не дѣлать. Мы начали болтать о разныхъ пустякахъ, время уходило; я зналъ, что такой удобной минуты мнѣ долго не дождаться, а между тѣмъ непреодолимая робость сковывала мой языкъ. Наконецъ, я рѣшился. Я началъ очень издалека; заговорилъ о своемъ горькомъ одиночествѣ, о томъ, что Лида одна могла бы сразу прекратить всѣ мои печали и бо-

лѣзни, но все-таки ничего не выходило: гордый языкъ свободаго челоуѣка, которымъ я собирался говорить съ Лидой, понизился на нѣсколько тоновъ. Лида съ самаго начала моей речи смотрѣла какъ-то особенно лукаво и все хотѣла что-то сказать, но не рѣшалась. Она не выдержала, какъ всегда.

— Павликъ, говорите яснѣе. Вы мнѣ дѣлаете предложеніе? Да? Ахъ, какой вы милый, какъ я рада!

Она вскочила съ мѣста и схватила меня за руки.

— Это не сонъ, Лида? — вскричалъ я, внѣ себя отъ восторга, стискивая ея пальцы, — вы соглашаетесь быть моей женой?

Лида отшатнулась и сѣла на прежнее мѣсто.

— Ахъ, нѣтъ, Павликъ, этого я не могу, а все-таки мнѣ очень пріятно, что вы мнѣ сдѣлали предложеніе.

— Что же это значитъ, Лида? За что вы меня такъ мучите?

— Это большой секретъ, но, такъ и быть, я вамъ скажу все. Я общалась выйти за Мишу.

— Какъ за Мишу? Вѣдь онъ еще въ корпусѣ.

— Черезъ четыре мѣсяца онъ будетъ офицеромъ и тогда мы сейчасъ же поженимся, а если по молодости лѣтъ ему не позволятъ, онъ возьметъ медицинское свидѣтельство и сейчасъ выйдетъ въ отставку, а послѣ опять вернется въ полкъ. Мы это давно рѣшили. Когда я еще была въ институтѣ, мы уже любили другъ друга. Видите, какъ я васъ люблю, какой я вамъ секретъ открыла. Этого никто, никто не знаетъ. Мнѣ такъ стало васъ жалко, когда вы заговорили про ваше это... одиночество, что если-бъ я не общалась Мишѣ, я бы непременно вышла за васъ. Знаете что? Женитесь на тетѣ! Мы бы тогда всѣ жили вмѣстѣ... Вотъ было бы весело! Не хотите? Ну, пожалуйста, женитесь хоть для меня... А я могу рассказывать, что вы мнѣ сдѣлали предложеніе?

Я молчалъ.

— Ну, хорошо, я не буду рассказывать, я вижу, что вы этого не хотите. Я только расскажу Мишѣ... Мишѣ можно?

— О, конечно, Мишѣ можно! — воскликнулъ я въ порывѣ отчаянія. — Не только можно, но и должно. Еще бы не рассказать Мишѣ! Онъ будетъ вашимъ мужемъ, для всякаго другого челоуѣка было бы довольно такого счастья, но для Миши мало. Ему для полнаго торжества нужно еще вдоволь насмѣяться и

наглумиться надъ бѣднымъ старикомъ, у котораго ничего не осталось въ жизни...

Лида опять вскочила съ мѣста и обвила руками мою шею.

— Павликъ, милый, простите меня, я сказала большую глупость. Нѣтъ, нѣтъ, повѣрьте, я никому не расскажу: ни тетѣ, ни Мишѣ, никому, никому. Пусть это останется тайной между нами. Вы вѣдь будете любить меня попрежнему. Мы останемся друзьями?

Я почувствовалъ, что могу разрыдаться, какъ ребенокъ, и убѣжать домой.

Ну, вотъ, и конецъ «моей послѣдней любви», изъ которой ушло только блаженство, а безнадежность осталась вполнѣ. Долженъ сознаться, что сейчасъ, вернувшись домой, я почувствовалъ какое-то облегченіе. По крайней мѣрѣ, все опредѣлилось, не будетъ больше тревогъ и волненій. Теперь безъ помѣхи стану продолжать эти записки. Я началъ ихъ съ цѣлью подвести итоги прошлой жизни, но увлекся текущими событіями. Теперь со всѣмъ не будетъ текущихъ событий, останутся одни итоги.

Но что мнѣ больше всего понравилось въ объясненіяхъ Лиды, это то медицинское свидѣтельство, которое собирается взять Миша Козельскій. Хотѣлъ бы я посмотреть на того доктора, который выдастъ ему свидѣтельство! Онъ здоровъ, какъ бревно. Если бы медицинскіе факультеты всего земного шара собрались въ Петербургѣ, они не могли бы, я думаю, найти въ немъ никакой болѣзни. Вѣдь для того, чтобы быть больнымъ, надо все-таки быть человекомъ мыслящимъ, просвѣщеннымъ... А развѣ у бревенъ бываютъ болѣзни?

27-10 марта.

Вопреки тому, что я написалъ вчера, приходится настроить еще страничку текущихъ событий. Вчера, едва я успѣлъ записать мой разговоръ съ Лидой, мнѣ подали записку отъ Марьи Петровны.

«Mon cher Paul, я очень обрадовалась, узнавъ, что вы были у меня утромъ; я не знала, что вамъ позволено выѣзжать. Приѣзжайте ко мнѣ обѣдать; Лида уѣхала на цѣлый день, я остаюсь одна».

Мнѣ было все равно, я поѣхалъ.

Утромъ я перенесъ свое положеніе довольно бодро, но когда я вошелъ къ Марьѣ Петровнѣ, когда я увидѣлъ эти стѣны, въ которыхъ родились и погибли мои послѣднія надежды, мнѣ сдѣлалось невыразимо горько. Вся душа моя заняла, какъ больной зубъ. При такомъ настроеніи нельзя найти лѣкарства болѣе успокоительнаго, какъ общество Марьи Петровны. Она такъ ужасалась моей блѣдности, лѣчила и жалѣла, что я почувствовалъ къ ней какую-то благодарную нѣжность. Въ порывѣ этой нѣжности я рѣшился повѣдать ей мое горе.

— Марья Петровна,—сказалъ я, когда мы усѣлись послѣ обѣда въ маленькой гостиной,—мы съ вами такіе старые друзья, что я считаю долгомъ покаяться передъ вами. Вы, можете быть, разсердитесь, но я все-таки скажу.

— Да, это правда, Paul, мы очень старые друзья.

— Знаете ли, зачѣмъ я пріѣзжалъ къ вамъ сегодня утромъ? Я сдѣлалъ предложеніе Лидіи Львовнѣ...

Другая женщина при такомъ извѣстіи, по крайней мѣрѣ, вскрикнула бы отъ удивленія, но Марью Петровну ничѣмъ не удивишь. Она только спросила очень флегматично:

— Да, въ самомъ дѣлѣ? Ну, и что же?

— Конечно, получилъ отказъ. Впрочемъ, иного и нельзя было ожидать.

— О, нѣтъ, вы напрасно такъ говорите. Если бы Лида спросила у меня, какъ поступить, я бы ей посовѣтовала принять ваше предложеніе. Вы были бы прекраснымъ мужемъ.

— Благодарю васъ, Марья Петровна, хотя, конечно, вы это говорите только для того, чтобы утѣшить меня.

— Нѣтъ, вы знаете, что я никогда вамъ не лъщу. Будь я на мѣстѣ Лиды, я согласилась бы непременно. Правда, у васъ большая разница въ годахъ, но что же изъ этого? Теперь такъ часто случается, что дѣвушки выходятъ по любви за молодыхъ людей, а потомъ бываютъ несчастны всю жизнь!

Нѣжность моя къ Марьѣ Петровнѣ усиливалась все болѣе и болѣе. За послѣднюю фразу я готовъ былъ расцѣловать ее. «Вотъ женщина, думалъ я про себя, которая меня дѣйствительно любить и цѣнить, она не насмѣется надо мной, какъ та». А между тѣмъ, я самъ не умѣлъ цѣнить ее,—какъ всегда бываетъ въ жизни. И вотъ я долженъ лишиться этого послѣдняго утѣшенія, этой послѣдней пристани: послѣ того, что произошло съ

Лидой, мнѣ невозможно часто бывать здѣсь. И вдругъ мнѣ сдѣлалось страшно при мысли, что я долженъ буду возвратиться домой. Я никогда не тяготился одиночествомъ, но прежде дѣло другое: прежде были надежды. А теперь вернуться въ эту пустую, холодную квартиру для того, чтобы проводить безконечные часы одному въ страданіяхъ болѣзни и съ постояннымъ чувствомъ невыносимой, горькой обиды... Нѣтъ, это слишкомъ тяжело!

Я взглянулъ на Марью Петровну. Глаза ея сіяли такой добротой и такимъ участіемъ, что она показалась мнѣ красавицей.

— Марья Петровна, — брякнулъ я вдругъ совершенно неожиданно для самого себя, — если бы вы такъ поступили на мѣстѣ Лиды, сдѣлайте это на своемъ мѣстѣ. Будьте моей женой!

Марья Петровна не удивилась и этому. Она помолчала съ минуту, потомъ сказала:

— Нѣтъ, Paul, на моемъ мѣстѣ это совершенно невозможно.

— Почему же невозможно?

— По многимъ причинамъ. Во-первыхъ, я не хочу потерять свою свободу.

— Да на какой чортъ нужна вамъ эта свобода? — вскрикнулъ я, уже не выбирая выраженій. — Право, можно подумать, что вы широко пользовались своей свободой. Помилуйте, вы живете, какъ какая-нибудь игуменья, только вмѣсто требника читаете «Revue des deux Mondes», что почти одно и то же... Не пугайтесь, я не буду нападать на вашъ любимый журналъ. Повѣрьте, что этой свободы я у васъ не отниму. Ну, а другихъ причинъ нѣтъ?

— Нѣтъ, есть и другія; главное, что теперь это слишкомъ поздно. Зачѣмъ вы не сдѣлали мнѣ предложеніе тогда... помните, когда вы меня такъ любили?

— Побойтесь Бога, Марья Петровна, намъ тогда было по десяти лѣтъ... Развѣ въ такіе годы можно жениться?

— Нѣтъ, Paul, вы ошибаетесь, вы были тогда на семь лѣтъ старше меня.

— Ну, положимъ, что такъ, не спору. Но если я былъ на семь лѣтъ старше васъ, то и теперь остается та же разница. Почему же это можетъ служить препятствіемъ?

— Нѣтъ, вы меня не такъ поняли. Я хотѣла сказать, что въ мои годы страшно вступать въ новую жизнь, въ эту область неизвѣстнаго...

— Какая же это область неизвѣстнаго? Вы забываете, кажется, что уже были замужемъ и прожили довольно счастливо съ вашимъ покойнымъ мужемъ...

— Это правда, я очень любила и уважала Осипа Васильевича, но все-таки въ этихъ супружескихъ отношеніяхъ есть много неприятнаго. Et puis je vous dirai que dans tout cela il y a un côté ridicule qui n'est pas tout comme il faut...

Слѣдовало начинать отступленіе, но въ эту минуту потерять Марью Петровну уже казалось мнѣ несчастіемъ. Я продолжалъ настаивать.

— Марья Петровна, послушайте меня. Мы такъ давно знаемъ другъ друга, что съ помощью взаимныхъ уступокъ намъ будетъ не трудно сгладить всѣ эти шероховатости супружеской жизни. Мы и безъ того видимся съ вами ежедневно... Что же будетъ удивительнаго въ томъ, что мы, наконецъ, вступимъ въ бракъ? Это не будетъ бракъ по страсти, потому что въ наши годы смѣшно же влюбляться безумно... по крайней мѣрѣ, другъ въ друга. Это не будетъ бракъ по расчету, потому что у каждаго изъ насъ есть и обезпеченное состояніе, и прочное положеніе въ обществѣ. Это будетъ, если можно такъ выразиться, бракъ по удобству и по старой дружбѣ. Наконецъ, мы приближаемся къ такимъ годамъ, когда насъ поневолѣ будутъ посѣщать разныя немощи и болѣзни. Вмѣсто того, чтобы каждый день посылать узнавать о здоровьѣ, не лучше ли намъ ухаживать другъ за другомъ, помогать другъ другу доживать послѣдніе дни? До сихъ поръ мы весь нашъ жизненный путь прошли рядомъ, а теперь мы пойдемъ рука объ руку... Вотъ и все,—другой разницы не будетъ.

Краснорѣчіе мое пропало даромъ; Марья Петровна меня не слушала. Она, видимо, была вся погружена въ свои брачныя воспоминанія.

— Представьте себѣ,—прервала она мои аргументы,—что Осипъ Васильевичъ приходилъ иногда ко мнѣ въ старомъ грязномъ мѣховомъ халатѣ и курилъ трубку. Mon Dieu, rien qu'à se souvenir j'ai des pausées... А послѣ, когда онъ уходилъ, его этотъ мѣхъ оставался на моемъ диванѣ. А одинъ разъ онъ при мнѣ вынулъ свою челюсть и теръ ее какимъ-то порошкомъ... Это ужасно, ужасно!

— Но вѣдь со мной ничего подобнаго не можетъ случиться.

Челюсть я при васъ вынимать не буду, потому что всѣ мои зубы сохранились, трубку я не курилъ никогда и могу вамъ поклясться, если вы этого потребуете, что вы никогда меня не увидите въ халатѣ, по крайней мѣрѣ, въ мѣховомъ.

— Et puis il était jaloux, horriblement jaloux, хотя я и не подавала никакого повода. Иногда онъ говорилъ, что уѣзжаетъ, и неожиданно возвращался, думая застать кого-нибудь. Конечно, онъ никого не заставлялъ, но согласитесь, что такіа подозрѣнія очень обидны, тѣмъ болѣе, что въ провинціи, гдѣ мы тогда жили, это извѣстно всѣмъ. Особенно онъ ревновалъ меня лѣтомъ, когда долженъ былъ ѣздить на разные смотры. Alors pour m'effrayer, il inventait chaque fois de nouvelles sottises. Одинъ разъ адъютантъ, по его приказанію, утѣрялъ меня, что есть такой законъ, по которому Осипъ Васильевичъ, какъ только войска выступаютъ въ лагерь, имѣетъ право разстрѣлять меня безъ всякаго суда. Je me souviens très bien qu'il appelait cette stupide loi военный регламентъ... Конечно, я этому не повѣрила, но согласитесь, Paul, что это обидно.

— Охотно соглашаюсь, но клянусь вамъ, Марья Петровна, что я не буду ревновать васъ ни въ какомъ случаѣ, даже если застану васъ наединѣ съ Колей Кунищевымъ, котораго вы такъ любите.

— En voilà encore un ingrat! Это правда, что я его очень любила, а чѣмъ же онъ отплатилъ мнѣ? Онъ не былъ у меня цѣлую вѣчность и только въ Новый годъ забросилъ карточку. En général, les hommes ne savent pas apprécier un sentiment pur... У нихъ у всѣхъ такіе грубые инстинкты, такое желаніе показывать свою грубую силу! Au fond Nicolas a tout-à-fait le caractère de son oncle. Осипъ Васильевичъ былъ совсѣмъ, совсѣмъ такой же.

— Но вѣдь во мнѣ вы не замѣчали этихъ грубыхъ инстинктовъ? Скажите по правдѣ.

Марья Петровна внимательно посмотрѣла на меня.

— Да, это правда, у васъ я не замѣчала... Можетъ быть, и вы были бы такой же... Нѣтъ, Paul, повѣрьте, я васъ очень люблю, считаю васъ своимъ лучшимъ другомъ, но выйти замужъ не могу, не могу, не могу!

Я взялся за шляпу.

— Куда же вы уходите! Неужели мы не можемъ остаться друзьями безъ этого?

Я уѣлся на прежнее мѣсто и мы начали молчать. Есть люди, съ которыми даже молчать удобно, и Марья Петровна принадлежит именно къ категоріи такихъ людей, но послѣ разговора, который былъ между нами, намъ было неловко, и мы оба вздрогнули отъ удовольствія, когда на лѣстницѣ раздался звонокъ.

Это былъ докторъ. При видѣ меня, лицо его выразило сначала неподдѣльный ужасъ, потомъ приобрѣло выраженіе обиды и сарказма.

— Ну-съ, батюшка Павелъ Матвѣевичъ, благодарю — не ожидалъ. Это выходитъ bonjour за вниманіе. Я, конечно, вамъ не отецъ и не опекунъ, и не могу вамъ запретить уморить себя, если вамъ пришла такая фантазія, но тоже получать даромъ деньги за визиты не желаю. Поищите себѣ другого доктора, а затѣмъ танцуйте, наливайтесь, кутите, катайтесь на тройкахъ, дѣлайте все, что хотите. Однимъ словомъ, какъ говорятъ французы—*vogue le galère!*

— *La galère*,—кратко поправила Марья Петровна.

— Ну, ужъ я тамъ не знаю: *le* или *la*, но только лѣчить я васъ больше не могу.

— О, пѣтъ, можете, докторъ!—воскликнулъ я съ убѣжденіемъ,—можете больше чѣмъ когда-нибудь! Везите меня домой и дѣлайте со мной все, что хотите. Даю вамъ честное слово, что не выѣду изъ дома хоть цѣлый годъ, если нужно. Теперь мнѣ и выѣзжать некуда!

5-го февраля.

Кажется, на этотъ разъ я заболѣлъ не на шутку. Докторъ морщится, прописываетъ все болѣе и болѣе укрѣпляющія микстуры и каждый разъ попрекаетъ меня выѣздами изъ дому на прошлой недѣлѣ. Онъ называетъ этотъ выѣздъ «шалостью, за которую дѣтей сѣкутъ».

Докторъ правъ. Это дѣйствительно была шалость не только въ медицинскомъ, но и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Какъ я могъ надѣяться на какой-нибудь успѣхъ? А если бы Лида согласилась,—какая жизнь меня ожидала? Положимъ, она очаровательный ребенокъ. Но мнѣ ли нянчиться съ этимъ ребенкомъ?

Всю жизнь я говорилъ и думалъ, что нѣтъ счастья внѣ семейной жизни. Много встрѣчалось на моемъ жизненномъ пути милыхъ и привлекательныхъ дѣвушекъ, съ которыми это счастье казалось возможнымъ, и, однако, я не дѣлалъ никакихъ серьезныхъ попытокъ, чтобы создать его. Я все откладывалъ, все ждалъ чего-то необыкновеннаго... Ну, вотъ и дождался! Причина такой медлительности кроется въ томъ, что старость никогда не входила въ мои расчеты о будущей моей жизни. Когда въ прошломъ году кто-то назвалъ меня старымъ холостякомъ, я разсмѣялся самымъ искреннимъ смѣхомъ. Холостякъ,—да, но почему же старый?

И вотъ, проживъ около полувѣка въ платоническихъ мечтаніяхъ о семейномъ счастьѣ, я вдругъ въ одинъ и тотъ же день сдѣлалъ два предложенія. Если мою исторію съ Лидой по суммѣ страданій, которыя я изъ-за нея вынесъ, можно назвать драмой, то инцидентъ съ Марьей Петровной я смѣло назову волевымъ для развѣзда. Я долго потомъ размышлялъ о томъ, что именно побудило меня сдѣлать этотъ неожиданный комическій шагъ, и пришелъ къ убѣжденію, что я безсознательно для самого себя исполнилъ послѣднее порученіе Лиды: «женись на тетѣ, сдѣлайте это хоть для меня», говорила наивная дѣвочка. Она привыкла къ тому, что я у нея на посылкахъ, и посылала меня къ тетѣ. Я привыкъ исполнять ея капризы и сунулся къ тетѣ, а тетя, вѣроятно, склонилась бы на мои доводы,—какъ это всегда бывало до сихъ поръ, если бы я самъ не испортилъ дѣла, вызвавъ передъ ея воображеніемъ образъ Осипа Васильевича съ трубкой, вставной челюстью и грубыми инстинктами.

Какъ бы то ни было, но если уже Марья Петровна мнѣ отказала, то кто же пойдетъ за меня? Приходится признать себя вѣчнымъ холостякомъ и влечить въ горькомъ одиночествѣ опредѣленные мнѣ судьбою дни. Есть люди, которые мирятся съ полнымъ одиночествомъ и находятъ въ немъ даже какую-то отраду, но эти люди слишкомъ любятъ себя, а я себя любить не могу, потому что довольно жалкаго о себѣ мнѣнія.

Какъ же, однако, жить, если некого любить и не на что надѣяться? Въ моей Дрезденской тетради я когда-то высказалъ мысль, что каждый человѣкъ взаимнѣ личнаго счастья можетъ найти утѣшеніе въ любви къ человѣчеству вообще. Теперь объ этомъ предметѣ я думаю нѣсколько иначе.

Изъ всѣхъ фразъ, которыми себя убаюкиваютъ люди, нѣтъ фразы болѣе безсодержательной и фальшивой, какъ фраза о любви къ человѣчеству. Я понимаю, что можно любить жену, дѣтей, отца, мать, братьевъ, сестеръ, друзей, знакомыхъ. Я понимаю, что можно любить страну, въ которой мы родились, и, когда отечество въ опасности, пожертвовать для него жизнью. Я понимаю, что можно не только цѣнить умомъ, но до нѣкоторой степени любить и сердцемъ людей незнакомыхъ, чужеземцевъ, если они расширили нашъ умственный горизонтъ, дали намъ художественныя наслажденія или поразили наше воображеніе какими-нибудь подвигами въ различныхъ сферахъ жизни. Но любить всю массу людей только потому, что они люди,—сомнѣваюсь, чтобы кто-нибудь дѣйствительно испыталъ такое чувство. Почему китайцы ближе къ моему сердцу, чѣмъ тѣ минералы, которые лежатъ въ дѣвственныхъ лѣсахъ Америки? Если бы проповѣдывали любовь отрицательную, состоящую въ томъ, чтобы не дѣлать и даже не желать зла китайцамъ, такую любовь я допустить готовъ. Но вѣдь я и минераламъ не желаю ничего худого: пускай себѣ лежатъ спокойно въ нѣдрахъ американской земли, пускай и китайцы наслаждаются жизнью въ предѣлахъ своей Небесной имперіи. Выходить изъ этихъ предѣловъ я имъ, во всякомъ случаѣ, не желаю, потому что если-бъ они захотѣли въ большомъ количествѣ посѣтить Европу, то бороться съ ними было бы не легко.

Я не знаю, отчего люди съ широкимъ и вѣдущимъ сердцемъ ограничиваются любовью къ человѣчеству. Можно расширить сферу любви еще больше. Можно приходить въ восторгъ отъ любви ко всему животному царству, потомъ отъ любви къ земной планетѣ, потомъ отъ любви къ солнечной системѣ, наконецъ, отъ любви ко всей вселенной. Я не понимаю такой всеобъемлющей любви. Пусть любятъ вселенную тотъ, кому въ ней хорошо живется.

9-10 апрѣля.

Мнѣ все хуже и хуже. Теперь вмѣсто одного доктора ко мнѣ ѣздятъ два. Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ привезъ ко мнѣ своего пріятеля Антона Антоныча, «спеціалиста». Этотъ Антонъ Анто-

нычѣ настолько сухощавѣ и мраченѣ, насколько Ѳедоръ Ѳедоровичѣ игривѣ и развязенѣ. Какаѣ у меня собственно болѣзнь, они мнѣ не сказали, но цѣлый часъ говорили обо мнѣ по-латыни, безцеремонно тыкая въ меня пальцами. Я нахожу это крайне неделикатнымъ и съ ихъ точки зрѣнія неосторожнымъ. Они, конечно, убѣждены въ томъ, что изъ всего латинскаго языка мнѣ извѣстны только два слова: *омнибусъ* и *каптенармусъ*; между тѣмъ, я знаю нѣсколько побольше, а одинъ мой товарищъ по корпусу считается теперь однимъ изъ лучшихъ латинистовъ въ Европѣ.

Прямымъ послѣдствіемъ появленія Антона Антонича была четвертая микстура, самая что ни на есть укрѣпляющая. На первый разъ она подѣйствовала хорошо, и, благодаря ей, я могу приняться за свои записки, чего не могъ дѣлать въ послѣдніе дни по причинѣ чрезмѣрной слабости. Эти записки составляютъ единственную радость моей жизни, все остальное мнѣ запрещено. Хорошо, что Ѳедоръ Ѳедоровичъ ничего не знаетъ объ этомъ; иначе онъ, конечно, запретилъ бы мнѣ писать.

Запретилъ онъ мнѣ дѣйствительно все. Я не могу ни пить, ни ѣсть, ни курить, ни читать, ни принимать знакомыхъ. Второй докторъ даже сказалъ мнѣ съ грустью:

— Постарайтесь поменьше думать... Впрочемъ, это, конечно, трудно при бессонницѣ.

Марья Петровна допускается ко мнѣ по особой протекціи доктора. Увы! вчера она увидѣла меня въ халатѣ и, вѣроятно, опять вспомнила своего Осипа Васильевича *d'impérissable mémoire*.

Странно, что вопросъ о смерти интересовалъ меня съ первыхъ дѣтскихъ лѣтъ. Я ощущалъ тогда самый суевѣрный страхъ при этой мысли. Смерть мало-мальски знакомаго мнѣ чловѣка лишала меня на нѣсколько дней аппетита и сна. Потомъ этотъ страхъ исчезъ, но прошло много лѣтъ прежде, чѣмъ я освоился съ мыслью, впрочемъ, довольно распространенною, что всѣ люди умрутъ: и злые и добрые, и бѣдные и богатые, и старые и молодые. Это единственное равенство, котораго могли достигнуть люди. Отъ мысли, что всѣ люди умрутъ, до мысли: «и я умру» — еще большое разстояніе. До этой послѣдней мысли я додумался только вчера.

Не могу сказать, чтобы я очень боялся смерти. Да и стоитъ ли бояться, когда и боящихся, и небоящихся ожидаетъ одинаковая

участь? У меня был товарищ, очень боявшийся и доведший регулярность своей жизни до послѣднихъ предѣловъ. Никогда онъ, бывало, не съѣсть лишняго куска за обѣдомъ, никогда не просидитъ лишнихъ пяти минутъ передъ отходомъ ко сну. Разстояніе разныхъ уголковъ его сада было измѣрено очень точно, и, совершая свою утреннюю прогулку, онъ даже тыкать ногой въ старую липу, стоявшую на краю аллеи, въ доказательство того, что имъ пройдено опредѣленное число шаговъ. Несмотря на всѣ эти предосторожности, онъ умеръ, не доживъ до сорока лѣтъ. Моя тетушка Авдотья Марковна очень смѣялась надъ его постояннымъ страхомъ.

— Ну, не глупо ли такъ бояться?— говорила она ему своимъ безцеремоннымъ языкомъ.— Вѣдь когда ты ѣдешь изъ Москвы въ Петербургъ, ты раздѣваешься и ложишься спать въ вагонѣ, а просыпаешься въ Петербургѣ. То же самое и смерть: тутъ заснешь, а гдѣ-нибудь проснешься.

Сама Авдотья Марковна ничего не боялась, не принимала никакихъ предосторожностей и дожила до восьмидесяти пяти лѣтъ. Но и она умерла какъ-то нечаянно.

Люди, желающіе скрыть, что они боятся смерти, говорятъ, что не смерть ихъ пугаетъ, а предсмертныя страданія. Они любятъ повторять извѣстное изреченіе: *«ce n'est pas la mort, qui m'effraie, c'est le mourir»*. Это совсѣмъ неосновательная уловка. Страданія происходятъ не отъ смерти, а отъ болѣзней, которыя иногда вовсе не оканчиваются смертью. Объ этомъ говорили мнѣ многіе доктора, это видѣлъ я и самъ, присутствуя при смерти моего единственнаго и нѣжно-любимаго брата. За нѣсколько часовъ до смерти дыханіе его стало ровнѣе, лицо спокойнѣе, такъ что лучъ надежды, я помню, воскресъ во мнѣ. А въ самую минуту смерти онъ остановилъ на мнѣ удивленный, вопрошающій взглядъ. Лицо его и послѣ смерти сохраняло то же выраженіе, пока я не закрылъ ему глаза. Мнѣ хотѣлось спросить у него: «Чему ты удивляешься, мой бѣдный Сама? Удивило ли тебя то, что ты увидѣлъ, или ты удивляешься тому, что ничего не увидѣлъ?»

Я человѣкъ вѣрующій, но недостаточно вѣрующій. Я прочиталъ важнѣйшія сочиненія матеріалистовъ, но недостаточно увѣровалъ и въ нихъ. Я убѣдился въ томъ, что помимо всякихъ ученій и книгъ, въ глубинѣ каждой человѣческой души таится

мысль, что наше существованіе прекратиться не можетъ. Это какой-то внутренній голосъ, нерѣшимый и тихій, но живучій: его легко заглушить доводами разума и науки, но уничтожить нельзя. Иногда онъ дѣлается громче, и люди повинуются ему безсознательно, почти противъ воли. Для чего мы ѣздимъ на похороны и панихиды? Я не говорю о тѣхъ свѣтскихъ панихидахъ, куда ѣздить для родныхъ покойника, а иногда просто для развлечения. Однажды Марья Петровна очень огорчалась тѣмъ, что несвоевременно узнала о смерти какой-то своей пріятельницы, а потому не могла быть на панихидѣ. Я старался ее успокоить, что она успѣетъ это сдѣлать на слѣдующій день.

— Oh, c'est bien autre chose, — наивно созналась Марья Петровна, — la première панихида est toujours plus animée.

Но каждому изъ насъ случалось ѣздить на панихиды въ домъ челоѣка одинокаго, у котораго не было родныхъ, и гдѣ мы не могли надѣяться кого-нибудь встрѣтить. На такіа панихиды я преимущественно заставлялъ себя ѣздить, говоря себѣ, что я обязанъ отдать послѣдній долгъ... кому? Отдавать послѣдній долгъ покойнику нелѣпо, потому что онъ этого не увидитъ... Но въ томъ-то и дѣло, что внутренній голосъ говорилъ мнѣ, что покойникъ увидитъ и оцѣнитъ.

Еще громче говорить этотъ голосъ, когда я думаю о своей собственной панихидѣ. Я живо представляю себѣ всю картину панихиды, вижу входящихъ людей, слышу ихъ разговоры, замѣчаю оттѣнки искренности или равнодушія на томъ или другомъ лицѣ. Одного только я придумать не могу: откуда я это все буду видѣть?

Это «откуда» составляетъ ту загадку, надъ разгадкой которой мучились и вѣчно будутъ мучиться люди: и высоко-развитые, и неразвитые вовсе. Гамлетъ говоритъ:

Умереть — уснуть.

Уснуть... быть можетъ, видѣть сны... какіе? Вотъ въ чемъ вопросъ!

Авдотья Марковна, вѣроятно, никогда не читавшая Шекспира, употребила то же сравненіе, но сформулировала свою мысль яснѣе.

Замѣчательно, что наука, рѣшившая разъ навсегда, что послѣ смерти ничего не будетъ, все-таки силится по-време-

намъ приподнять хоть край завѣсы, которая покрываетъ великую тайну. Почему многіе извѣстные ученые такъ увлекаются спиритизмомъ? Что ихъ интересуетъ на спиритическихъ сеансахъ? Неужели одни фокусы?

Отъ спиритизма моя мысль естественно перешла къ умершимъ. Я долго перебиралъ мысленно всѣхъ близкихъ мнѣ людей и оказалось, что огромное большинство ихъ въ могилахъ. Ну, что-жъ, пора и мнѣ къ нимъ.

Но только мнѣ бы хотѣлось умереть въ полномъ сознаніи, хотѣлось бы знать, что я умираю, и въ послѣдній разъ внимательно слѣдить за собой. Врядъ ли это желаніе исполнится. Я, вѣроятно, умру въ то время, когда меня будутъ увѣрять, что я почти здоровъ. Для чего нужна эта жалкая комедія, эта послѣдняя, безцѣльная ложь?

12-10 апрѣля.

Дѣло, повидимому, близится къ развязкѣ. Голова моя еще довольно свѣжа, но силы падаютъ каждый день, страданія по ночамъ дѣлаются невыносимы. Я едва дотащился до письменнаго стола, и рука съ трудомъ удерживаетъ перо. Сегодня утромъ Марья Петровна совѣтовала мнѣ исповѣдаться и причаститься, а Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ предложилъ собрать завтра нѣсколько докторовъ для консультаціи. Я, конечно, согласился на то и на другое. Оба при этомъ увѣрили меня, что я внѣ опасности, и что они предлагаютъ эти мѣры только для моего личнаго успокоенія. Послѣ ихъ отъѣзда мнѣ подали нѣсколько карточекъ. На одной изъ нихъ я прочиталъ: «Графиня Елена Павловна Завольская». Уже одна эта карточка—мой смертный приговоръ. Елена Павловна ни за что не пріѣхала бы ко мнѣ, если бы существовала хоть малѣйшая надежда на выздоровленіе. Ея визитъ есть не что иное, какъ примиреніе *in extremis*.

Теперь своевременно приступимъ къ некрологу.

Жилъ-былъ на свѣтѣ человѣкъ, котораго знакомые звали Павликомъ Дольскимъ. Онъ не сдѣлалъ въ жизни особеннаго зла, но и добра у него было немного. Былъ онъ, по правдѣ сказать, довольно пустой человѣкъ. Но все-таки онъ занималъ, какъ человѣкъ, свое опредѣленное мѣсто, мозгъ его работалъ,

сердце горячо и усиленно билось. Онъ много передумалъ и перечувствовалъ, часто желалъ и надѣялся, еще чаще страдалъ и ошибался. Главная бѣда его состояла въ томъ, что онъ ничего не дѣлалъ и слишкомъ долго считалъ себя молодымъ. И вотъ, когда онъ въ этомъ разубѣдился и захотѣлъ хоть немного осмыслить свою жизнь, ему сказали: «Нѣтъ, теперь поздно. Ты уже не будешь больше ни любить, ни думать, ни надѣяться, ни желать, ни ошибаться. Изъ того, что ты дѣлалъ прежде, можешь пожалуй, еще пострадать въ заключеніе, но и то недолго. А затѣмъ ты исчезнешь».

Не знаю, какъ другимъ, а мнѣ жаль этого бѣднаго Павлика, котораго, не спросясь его согласія, пустили на свѣтъ Божій и котораго безъ всякой вины высылаютъ обратно.

5-10 іюля.

Вотъ уже болѣе мѣсяца прошло съ тѣхъ поръ, какъ меня, еще слабого и какимъ-то чудомъ спасеннаго отъ смерти, привезли въ Васильевку. Тотъ день, въ который я написалъ послѣднюю страницу моихъ записокъ, былъ и послѣднимъ днемъ моего сознанія. Я помню въ какомъ-то туманѣ, какъ ко мнѣ вошелъ мой духовникъ, отецъ Василій, и какъ я горячо молился. Еще я помню, какъ вошли какіе-то незнакомые мнѣ люди, какъ меня раздѣли до-нага, какъ эти люди спорили надо мной, и какъ одинъ изъ нихъ, самый сѣдой и лысый, сердился и кричалъ на Ѳедора Ѳедоровича. Потомъ я уже ничего не помню. Изрѣдка я приходилъ въ себя и при свѣтѣ лампы съ темнымъ абажуромъ всегда видѣлъ передъ собой Марью Петровну, подававшую мнѣ лѣкарство. Только эта была не та Марья Петровна которую я зналъ, а какая-то другая. Я все хотѣлъ у нея спросить, отчего она такъ поблѣднѣла и похудѣла, но не успѣвалъ этого сдѣлать. Едва я кончалъ приемъ лѣкарства, она исчезала, только шумъ ея легкихъ шаговъ раздавался по ковру, и я опять забывался. Теперь мнѣ трудно даже сообразить, сколько времени продолжалось такое состояніе. Очнулся я утромъ, лампы съ абажуромъ не было, яркое солнце смотрѣло черезъ шторы моихъ оконъ. Я приподнялся, легкіе шаги зашуршали по ковру.

— Марья Петровна, это вы?—спросилъ я, протирая глаза.

— Нѣтъ, я не Марья Петровна,—сказала, подходя къ моей постели, маленькая, худенькая женщина съ кроткимъ и симпатичнымъ лицомъ,—я сестра милосердія, но вы постоянно называли меня Марьей Петровной—продолжайте также, это все равно.

— Но какъ же васъ зовутъ?

— Я скажу вамъ это послѣ, вамъ теперь не слѣдуетъ разговаривать. Примите лѣкарство и усните.

Въ то же время маленькая женщина очень ловко сняла верхнюю подушку, положила на ея мѣсто другую, и я до сихъ поръ помню, какъ сладко я заснулъ, повалившись на эту подушку.

Съ этого дня началось мое выздоровленіе. Въ тѣ рѣдкія минуты, когда я могъ думать во время моей болѣзни, я ясно сознавалъ, что я умираю, и эта мысль не особенно меня огорчала, но каждый новый фазисъ моего выздоровленія наполнять мое сердце неизъяснимой радостью. Первый разговоръ съ Анной Дмитріевной,—такъ звали сестру милосердія,—первая чашка чая, которую мнѣ позволили выпить, первая струя свѣжаго весенняго воздуха, когда мнѣ позволили открыть окно,—все это было для меня цѣлымъ рядомъ праздниковъ. Въ числѣ другихъ нераспечатанныхъ писемъ, лежавшихъ на моемъ письменномъ столѣ, я нашелъ письмо отъ Елены Павловны, объяснившее мнѣ ея визитъ. Она писала, что свято почитая память своего перваго мужа, она проситъ прислать ей для прочтенія письма Алеши, а также его портреты. Къ этому она прибавила въ концѣ, что если бы, паче чаянія, у меня нашлись и ея письма, она проситъ присоединить ихъ къ письмамъ ея мужа. На эту хотя сухую, но очень вѣжливую записку, я отвѣчалъ самымъ сердечнымъ письмомъ. Я просилъ Елену Павловну простить меня, если мое поведеніе въ прошломъ заслужило ея гнѣвъ, далъ ей честное слово,—что и правда,—что никакихъ ея писемъ у меня не сохранилось, и вложилъ въ конвертъ «пророческую группу», какъ единственный памятникъ прошлаго. Черезъ два часа мнѣ принесли лоскутокъ сѣрой бумаги, на которомъ я прочиталъ слѣдующія строки, написанныя крупнымъ безобразнымъ шрифтомъ: «Письмо и посылку отъ господина Дольскаго графиня Елена Павловна Завольская получила, въ чемъ по приказанію ея сіятельства и росписуюсь. Дворецкій Яковъ».

Если Елена Павловна невинна въ смерти своего мужа,—а я всякій разъ все болѣе и болѣе сомнѣваюсь въ ея виновности,—то, конечно, я страшно виноватъ передъ нею. Гнѣвъ ея понятенъ, но только мнѣ кажется, что по прошествіи четверти вѣка онъ могъ бы нѣсколько остыть и смягчиться. Во всякомъ случаѣ, я радъ, что съ отсылкой пророческой группы исчезло все, или почти все, что осталось у меня отъ этой тяжелой эпохи моей жизни. Остались угрызенія совѣсти, которыхъ никуда отослать нельзя.

Переписка съ Еленой Павловной была единственнымъ темнымъ пятномъ на свѣтломъ фонѣ послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ. Мое радостное настроеніе возростало съ каждымъ днемъ и дошло до апогея, когда меня привезли въ Васильевку. Отъ этого стараго дома, потонувшаго въ зелени липъ и тополей, отъ этого громаднаго заглухшаго сада, изъ котораго можно бы выкроить нѣсколько парковъ, на меня такъ и пахнуло незабвенной порой свѣтлаго, чистаго дѣтства. Я пріѣхалъ въ Васильевку ночью. Когда я на другой день проснулся и вышелъ на балконъ, передъ которымъ цвѣла и благоухала цѣлая роща розовыхъ кустовъ, и когда моя старая Пелагея Ивановна принесла мнѣ на балконъ кофе въ большой голубой чашкѣ съ нарисованными пастушками, я почувствовалъ, что грузъ тяжелыхъ годовъ свалился съ моихъ плечъ. Дорогой я еще повременамъ ощущалъ большую слабость; родной уголь сразу возвращалъ мнѣ прежнія силы. Я обошелъ домъ и легкой походкой взбѣжалъ наверхъ, въ ту комнату, которую мы дѣтьми занимали съ братомъ. Эта комната почти не измѣнилась съ тѣхъ поръ. Большой черный столъ, весь изрѣзанный перочиннымъ ножикомъ, занимаетъ по-прежнему уголь между окнами и печкой; напіи дѣтскія кровати стоятъ, какъ прежде, рядомъ. Только обои потрескались, да гардины выцвѣли на окнахъ. Я отворилъ большое окно, у котораго просиживалъ, бывало, долгіе часы, задумчиво всматриваясь въ опушку стараго дремучаго лѣса, синѣвшую направо, за большой дорогой. Теперь лѣсъ вырубленъ, и вмѣсто него синей лентой извивается рѣка, которая прежде не была видна за деревьями. Видъ сдѣлался, пожалуй, красивѣе, но мнѣ стало жаль стараго вырубленнаго лѣса, и я съ радостью обратилъ взоръ нѣтъ-но при видѣ знакомыхъ развалинъ старой кухни. Мнѣ было десять лѣтъ, когда выстроили новую, каменную; но

возлѣ нея полусгнившая деревянная кухня остается почему-то неприкосновенной до сихъ поръ. Я обрадовался и тому, что уцѣлѣлъ колодезь, давно засыпанный землею, что существуетъ большой шестъ при входѣ въ огородъ. На него сажалось чучело въ черномъ платьѣ, чтобы пугать воронъ, но мы съ Сашей боялись его больше, чѣмъ воронъ...

Цѣлый мѣсяцъ прошелъ незамѣтно. Я собирался посѣтить кое-кого изъ сосѣдей, но всякій разъ откладывалъ эти визиты до слѣдующаго дня. Мнѣ просто жаль нарушить мою тихую жизнь,—жизнь воспоминаній и одинокихъ думъ. Я весь живу въ прошедшемъ. Я отыскалъ здѣсь мои старыя письма, которыя я писалъ матушкѣ въ теченіе тридцати лѣтъ; въ чтенія этихъ писемъ проходить у меня обыкновенно все утро. Надъ каждымъ письмомъ я задумываюсь подолгу, я читаю не только тѣ слова, которыя написаны, но вижу между строками и то, о чемъ молчалъ. Цѣлыя эпохи прошлой жизни воскресаютъ въ моей памяти, цѣлыя вереницы людей проходятъ опять передо мной со своими свѣтлыми и темными сторонами. Эти темныя пятна на близкихъ мнѣ людяхъ не мало мучили мою душу въ юношескіе годы; теперь я смотрю на нихъ спокойнѣе, потому что лучше ихъ понимаю, а понять, по великому слову Шекспира, то же, что простить.

Мое единственное развлеченіе—безконечные разговоры съ Пелагеей Ивановной, но и эти разговоры исключительно принадлежать прошлому. Ей далеко за восемьдесятъ лѣтъ, она была взята изъ деревни въ кормилицы къ матушкѣ и съ тѣхъ поръ осталась въ домѣ. Она всегда считалась членомъ семьи, близко знала моихъ обоихъ дѣдовъ, и рассказы ея выясняютъ мнѣ многое въ моемъ собственномъ характерѣ и жизни. Изъ многочисленной когда-то семьи я остался одинъ въ живыхъ.

— Только о твоёмъ здравіи и молюсь теперь, — сказала какъ-то мнѣ Пелагея Ивановна, — а про всѣхъ остальныхъ — какъ вспомню кого, такъ и приходится говорить: «упокой, Господи, душу раба Твоего».

Вчера мнѣ попалась въ руки эта тетрадь; я перечиталъ свои записки, и странно, что письма мои, писанныя тридцать лѣтъ тому назадъ, ближе къ моей душѣ, чѣмъ эти записки, начатыя въ прошломъ году. Цѣлое нравственное перерожденіе произошло со мной въ послѣдніе два мѣсяца. Между прочимъ, въ началѣ этихъ записокъ я спрашивалъ себя: былъ ли я человѣкомъ счаст-

ливѣмъ или несчастнымъ? и не могъ отвѣтить на этотъ вопросъ. Теперь отвѣчу прямо: я былъ несчастливъ много лѣтъ, зато теперь счастливъ вполне! Можетъ быть, мои разсужденія о любви къ человѣчеству были логичны, но не всегда вѣрно то, что логично. Я не могу опредѣлить точно, что именно я люблю: человѣчество, планету или солнечную систему... Я знаю только одно, что люблю жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, люблю самую мысль, что я живу на свѣтѣ.

Сегодня очень жаркій день, такой жаркій, какого еще не было въ этомъ году. Меня обуряла лѣнь, мнѣ не хотѣлось ни читать, ни думать, я сошелъ въ садъ и улегся подъ тѣнью широкаго клена. Сверху сквозь кленовые листья просвѣчивало самое безоблачное небо, вокругъ меня была невозмутимая тишина; все, что только могло, поспряталось отъ зноя, все заснуло: и люди, и собаки, и деревья. Только ласточки безшумно разсѣкали воздухъ, надъ головой моей кружились молчаливыя мошки, да изрѣдка доносились до меня всплески воды и крики ребятишекъ, купавшихся въ рѣкѣ. Потомъ и они затихли. Увлеченный общимъ примѣромъ, я и самъ началъ дремать, но былъ разбуженъ появленіемъ новаго лица. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня стоялъ большой пѣтухъ и внимательно разсматривалъ меня. Онъ крикнулъ два раза повелительно и рѣзко, остался чѣмъ-то недоволенъ, сердито отвернулся и пошелъ назадъ, осторожно ступая по травѣ своими тоненькими ножками, точно какой-нибудь столичный франтикъ, который случайно попалъ въ деревню и боится выпачкать свои лакированныя ботинки... Этотъ пѣтухъ какъ будто нарочно появился, чтобы отогнать мой неуѣстный сонъ и возвратить меня къ наслажденію, т. е. къ жизни. «Боже мой!—думалъ я, приходя въ какое-то восторженное состояніе,—какъ мнѣ не благодарить Тебя? Я уже былъ приговоренъ къ смерти, и если бы чудо не совершилось надо мной, я лежалъ бы въ могилѣ, не наслаждаясь ни этимъ солнцемъ, ни этой тѣнью, ни этой тишиной. Пѣтухъ такъ же громко прокричалъ бы у моей могилы, и я не услышалъ бы его крика. Конечно, я знаю, что часъ недалекъ, но долженъ быть благодаренъ за эту отсрочку и пользоваться ею! Что бы теперь ни случилось со мной, я не могу ничего бояться. Если бы я разорился и былъ осужденъ на самыя тяжелыя работы, если бы мнѣ пришлось влачить существованіе нищаго безъ крова, я бы и

тогда не сталъ роптать. Спать на голой землѣ все-таки лучше, чѣмъ спать подъ землею. Враговъ у меня не можетъ быть никакихъ; нѣтъ такой обиды, которую я бы не простилъ. Кажется, никого я такъ сильно ни ненавидѣлъ въ жизни, какъ Мишу Козельскаго, но и о немъ я думаю теперь безъ всякой горечи. Недѣли черезъ три я поѣду въ деревню къ Марѣ Петровнѣ и проведу у нея остальную часть лѣта. Тамъ въ концѣ августа состоится свадьба Лиды, я общалъ быть у нея шаферомъ. Объ этомъ миломъ ребенкѣ я не могу вспомнить безъ умиленія, хотя звѣрь влюбленности совсѣмъ заснулъ во мнѣ. Надѣюсь, что онъ и не проснется. Надняхъ Лида писала мнѣ: «Я все-таки поставлю на своемъ и послѣ моей свадьбы непременно уговорю тетю выйти за Васъ замужъ...» Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ уговорить... Не все ли мнѣ равно?

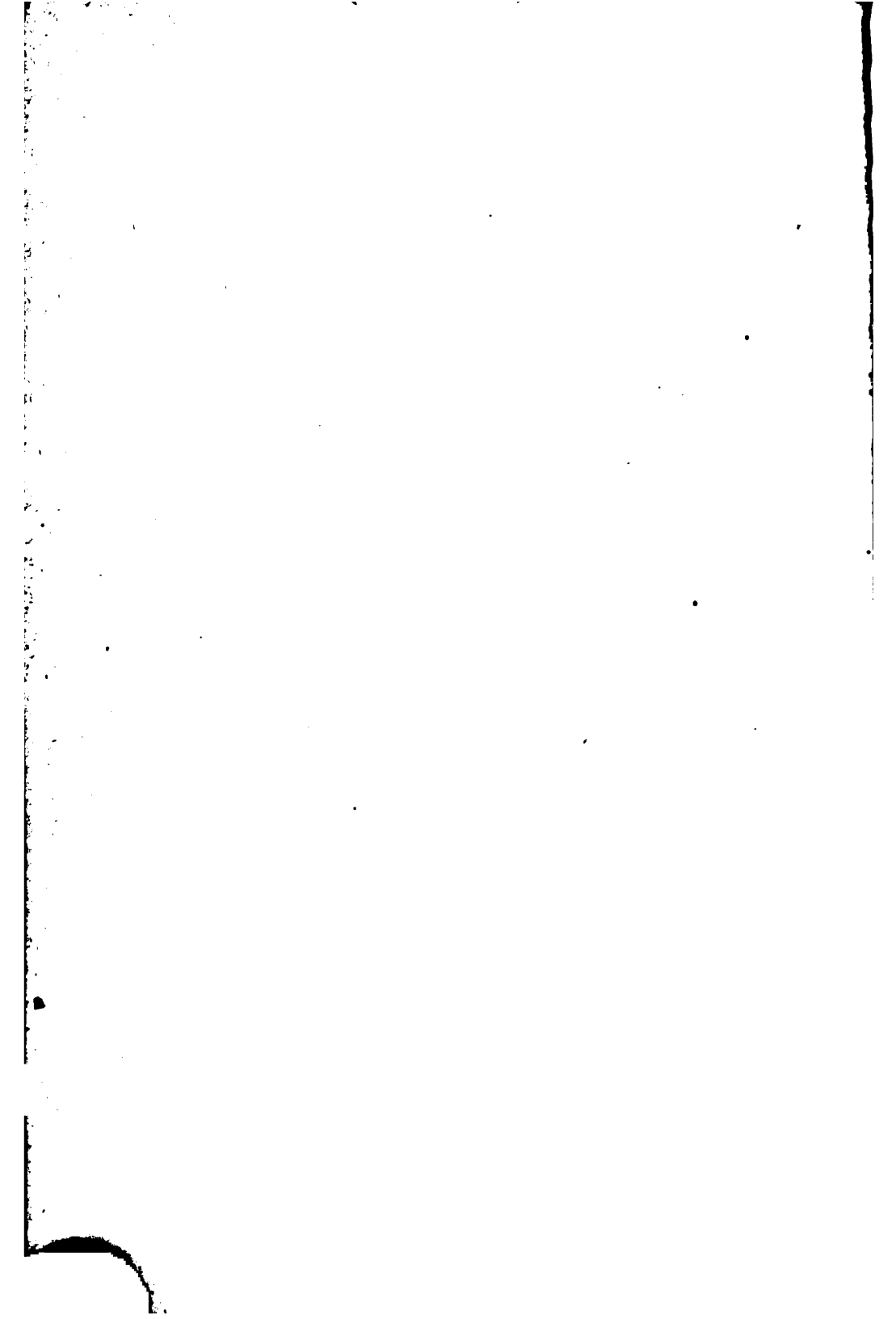
Если бы каждый человекъ хоть разъ въ жизни испыталъ то же, что и я, т.-е. ясно почувствовалъ, что одна его нога была уже въ могилѣ, то вражда совсѣмъ прекратилась бы между людьми. Человѣческая жизнь заключена въ такихъ тѣсныхъ рамкахъ невѣдѣнія и безсилія, она такъ случайна, шатка и недолговѣчна, что человѣку смѣшно еще отравлять ее бессмысленной враждой... Какая непостижимая глупость—война! Какъ рѣшаются люди истреблять другъ друга? Только одинъ и есть настоящий врагъ у человека—смерть. Бороться съ этимъ врагомъ нельзя, но и помогать ему не слѣдуетъ.

А что если этотъ отказъ отъ борьбы и эти любвеобильные порывы сердца вовсе не доказательства моего нравственнаго перерожденія, а только несомнѣнные признаки близкаго старческаго размягченія? Что-жъ, надо примириться и съ этимъ. Пора перестать быть Павликомъ, сдѣлаться Павломъ Матвѣичемъ и спокойно принять старость со всѣми ея послѣдствіями... Эхъ ты, старикъ, старикъ!



МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ЖИЗНЬЮ

ФАНТАСТИЧЕСКІЙ РАЗСКАЗЪ



C'est un samedi, à six heures
du matin que je suis mort.

Emile Zola.

I.

Быль восьмой часъ вечера, когда докторъ приложилъ ухо къ моему сердцу, поднесъ мнѣ къ губамъ маленькое зеркало и, обратясь къ моей женѣ, сказалъ торжественно и тихо:

— Все кончено.

По этимъ словамъ я догадался, что я умеръ.

Собственно говоря, я умеръ гораздо раньше. Болѣе тысячи часовъ я лежалъ безъ движенія и не могъ произнести ни слова, но изрѣдка продолжалъ еще дышать. Въ продолженіе всей моей болѣзни мнѣ казалось, что я прикованъ безчисленными цѣпями къ какой-то глухой стѣнѣ, которая меня мучила. Мало-по-малу стѣна меня отпускала, страданія уменьшались, цѣпи ослабѣвали и распадались. Въ теченіе двухъ послѣднихъ дней меня держала какая-то узенькая тесемка; теперь она оборвалась, и я почувствовалъ такую легкость, какой никогда не испытывалъ въ жизни.

Вокругъ меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинетъ, въ который меня перенесли съ начала болѣзни, наполнился людьми, которые всѣ сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила какимъ-то не своимъ голосомъ. Жена моя съ громкимъ воплемъ упала мнѣ на грудь; она столько плакала во время моей болѣзни, что я удивлялся, откуда у нея еще берутся слезы. Изъ всѣхъ голосовъ выдѣлялся старческій дребезжащій голосъ моего камерди-

нера Савелія. Еще въ дѣтствѣ моемъ былъ онъ приставленъ ко мнѣ дядькой и не покидалъ меня всю жизнь, но теперь **былъ** уже такъ старъ, что жилъ почти безъ занятій. Утромъ онъ подавалъ мнѣ халатъ и туфли, а затѣмъ цѣлый день попивалъ «для здоровья» березовку и ссорился съ остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вмѣстѣ съ тѣмъ придала ему небывалую важность. Я слышалъ, какъ онъ кому-то приказывалъ съѣздить за моимъ братомъ, кого-то упрекалъ и чѣмъ-то распоряжался.

Глаза мои были закрыты, но я все видѣлъ и слышалъ, что происходило вокругъ меня.

Вошелъ мой братъ — сосредоточенный и надменный, какъ всегда. Жена моя терпѣть его не могла, однако бросилась къ нему на шею, и рыданія ея удвоились.

— Полно, Зоя, перестань, вѣдь слезами ты не поможешь, — говорилъ братъ безстрастнымъ и словно заученнымъ тономъ, — побереги себя для дѣтей, повѣрь, что ему лучше тамъ.

Онъ съ трудомъ высвободилъ себя отъ ея объятій и усадилъ ее на диванъ.

— Надо сейчасъ же сдѣлать кое-какія распоряженія... Ты мнѣ позволишь помочь тебѣ, Зоя?

— Ахъ, André, ради Бога, распоряжайтесь всѣмъ... Развѣ я могу о чемъ-нибудь думать?

Она опять заплакала, а братъ усылся за письменный столъ и подозвалъ къ себѣ молодого расторопнаго буфетчика Семена.

— Это объявленіе ты отправишь въ «Новое Время», а затѣмъ пошлешь за гробовщикомъ; да надо спросить у него, не знаетъ ли онъ хорошаго псаломщика?

— Ваше сіятельство, — отвѣчалъ, нагибаясь, Семенъ, — за гробовщикомъ посылать нечего, ихъ тутъ четверо съ утра толкуются у подъѣзда. Ужъ мы ихъ гнали, гнали, — нейдутъ да и только. Прикажете ихъ сюда позвать?

— Нѣтъ, я выйду на лѣстницу.

И братъ громко прочелъ написанное имъ объявленіе:

«Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаетъ о кончинѣ своего мужа, князя Дмитрія Александровича Трубчевскаго, послѣдовавшей 20-го февраля, въ 8 часовъ вечера, послѣ тяжелой и продолжительной болѣзни. Панихиды въ 2 часа дня и въ 9 часовъ вечера».

— Больше ничего не надо, Зоя?

— Да, конечно, ничего. Только зачѣмъ вы написали это ужасное слово: «прискорбіе!» Je ne puis pas souffrir ce mot. Mettez: съ глубокой скорбью.

Братъ поправилъ.

— Я посылаю въ «Новое Время». Этого довольно.

— Да, конечно, довольно. Можно еще въ «Journal de S.-Pétersbourg».

— Хорошо, я напишу по-французски.

— Все равно, тамъ переведутъ.

Братъ вышелъ. Жена подошла ко мнѣ, опустилась на кресло, стоявшее возлѣ кровати, и долго смотрѣла на меня какимъ-то молящимъ, вопрошающимъ взглядомъ. Въ этомъ молчаливомъ взглядѣ я прочелъ гораздо больше любви и горя, чѣмъ въ рыданіяхъ и вопляхъ. Она вспоминала нашу общую жизнь, въ которой не мало было всякихъ тревоженій и бурь. Теперь она во всемъ винила себя и думала о томъ, какъ ей слѣдовало поступать тогда. Она такъ задумалась, что не замѣтила моего брата, который вернулся съ гробовщикомъ и уже нѣсколько минутъ стоялъ возлѣ нея, не желая нарушить ея раздумья. Увидѣвъ гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувствъ. Ее унесли въ спальню.

— Будьте спокойны, ваше сіятельство, — говорилъ гробовщикъ, снимая съ меня мѣрку такъ же безцеремонно, какъ нѣкогда дѣлали это портные, — у насъ все припасено: и покровъ, и паникадилы. Черезъ часъ ихъ можно переносить въ залу. И насчетъ гроба не извольте сомнѣваться: такой будетъ покойный гробъ, что хоть живому въ него ложиться.

Кабинетъ опять началъ наполняться. Гувернантка привела дѣтей.

Соня бросалась на меня и рыдала совершенно какъ мать, но маленькій Коля уперся, ни за что не хотѣлъ подойти ко мнѣ и ревѣлъ отъ страха. Приплелась Настасья — любимая горячая жены, вышедшая замужъ въ прошломъ году за буфетчика Семена и находившаяся въ послѣднемъ періодѣ беременности. Она размашисто крестилась, все хотѣла стать на колѣни, но животъ ей мѣшалъ и она лѣниво всхлипывала.

— Слушай, Настя, — сказалъ ей тихо Семенъ, — не нагибайся, какъ бы чего не случилось. Шла бы лучше къ себѣ; помолилась, и довольно.

— Да какъ же мнѣ за него не молиться?—отвѣчала Настасья слегка нараспѣвъ и нарочно громко, чтобъ всѣ ее слышали. — Это не человѣкъ былъ, а ангелъ Божій. Еще нынче передъ самой смертью обо мнѣ вспомнилъ и приказалъ, чтобы Софья Францовна неотлучно при мнѣ находилась.

Настасья говорила правду. Произошло это такъ. Всю послѣднюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило въ конецъ. Рано утромъ, чтобы дать другое направленіе ея мыслямъ, а главное чтобы попросить, могу ли я явственно говорить, я сдѣлалъ первый пришедшій мнѣ въ голову вопросъ: родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францовной. Я отвѣчалъ: «Да, пошли». Послѣ этого, я, кажется, дѣйствительно уже ничего не говорилъ, и Настасья наивно думала, что мои послѣднія мысли были о ней.

Ключница Юдишна перестала, наконецъ, голосить и начала что-то разсматривать на моемъ письменномъ столѣ. Савелій набросился на нее съ ожесточеніемъ.

— Нѣтъ, ужъ вы, Прасковья Юдишна, княжескій столъ оставьте,—сказалъ онъ раздраженнымъ шопотомъ,—здѣсь вамъ не мѣсто.

— Да что съ вами, Савелій Петровичъ!—прошипѣла обиженная Юдишна.—Я вѣдь не красть собираюсь.

— Что вы тамъ собираетесь дѣлать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены,—я къ столу никого не допущу. Я недаромъ сорокъ лѣтъ князю-покойнику служилъ.

— Да что вы мнѣ вашими сорока годами въ глаза тычете? Я сама больше сорока лѣтъ въ этомъ домѣ живу, а теперь выходитъ, что я и помолиться за княжескую душу не могу...

— Молиться можете, а до стола не прикасайтесь.

Люди эти изъ уваженія ко мнѣ ругались шопотомъ, а между тѣмъ я явственно слышалъ каждое ихъ слово. Это меня страшно удивило. «Неужели я въ летаргіи?»—подумалъ я съ ужасомъ. Года два тому назадъ я прочиталъ какую-то французскую повѣсть, въ которой подробно описывались впечатлѣнія заживо погребеннаго человѣка. И я усиливался возстановить въ памяти этотъ рассказъ, но никакъ не могъ вспомнить главнаго, т.-е. что именно онъ сдѣлалъ, чтобы выйти изъ гроба.

Въ столовой начали бить стѣнные часы; я сосчиталъ одиннадцатъ. Васютка, дѣвочка, жившая въ домѣ «на побѣгущкахъ», вбѣжала съ извѣстіемъ, что пришелъ священникъ и что въ залѣ все готово. Принесли большой тазъ съ водой, меня раздѣли и начали тереть мокрой губкой, но я не почувствовалъ ея прикосновенія; мнѣ казалось, что моютъ чью-то чужую грудь, чьи-то чужія ноги.

«Ну, значитъ, это не летаргія, — соображалъ я, пока меня облекали въ чистое бѣлье, — но что же это такое?»

Докторъ сказалъ: «все кончено», обо мнѣ плачутъ, сейчасъ меня положить въ гробъ и дня черезъ два похоронять. Тѣло, повиновавшееся мнѣ столько лѣтъ, теперь не мое, я несомнѣнно умеръ, а между тѣмъ я продолжаю видѣть, слышать и понимать. Можетъ быть, въ мозгу жизнь продолжается дольше, но вѣдь мозгъ тоже тѣло. Это тѣло было похоже на квартиру, въ которой я долго жилъ и съ которой рѣшился съѣхать. Всѣ окна и двери открыты настежь, всѣ вещи вывезены, всѣ домашніе вышли, и только хозяинъ застоялся передъ выходомъ и бросаетъ прощальный взглядъ на рядъ комнатъ, въ которыхъ прежде кипѣла жизнь и которыя теперь дивятся его своей пустотой.

И тутъ въ первый разъ въ окружавшихъ меня потемкахъ блеснулъ какой-то маленькій, слабый огонекъ, — не то ощущение, не то воспоминаніе. Мнѣ показалось, что то, что происходитъ со мной теперь, что это состояніе мнѣ знакомо, что я его уже переживалъ когда-то, но только давно, очень давно...

II.

Наступила ночь. Я лежалъ въ большой залѣ на столѣ, обитомъ чернымъ сукномъ. Мебель была вынесена, шторы спущены, картины завѣшаны черной тафтой. Покровъ изъ золотой парчи закрывалъ мои ноги, въ высокихъ серебряныхъ паникадилахъ ярко горѣли восковыя свѣчи. Направо отъ меня, прислонясь къ стѣнѣ, недвижно стоялъ Савелій съ желтыми, рѣзко выдававшимися скулами, съ голымъ черепомъ, съ беззубымъ ртомъ и съ пучками морщинъ вокругъ полузакрытыхъ глазъ; онъ болѣе, чѣмъ я, напоминалъ скелетъ мертвеца. Налѣво отъ меня стоялъ передъ налосомъ высокій, блѣдный человѣкъ въ длиннополомъ скор-

тукъ и монотоннымъ, груднымъ голосомъ, гулко раздававшимся въ пустой залъ, читаль:

«Онѣмѣхъ и не отверзохъ устъ моихъ, яко Ты сотворишь еси».

«Отстави отъ мене раны Твоя, отъ крѣпости бо руки Твоя азъ исчезохъ».

Ровно два мѣсяца тому назадъ въ этой залѣ гремѣла музыка, кружились веселыя пары, и разные люди, молодые и старыя, то радостно привѣтствовали, то злословили другъ друга. Я всегда ненавидѣлъ балы и, сверхъ того, съ середины ноября чувствовалъ себя нехорошо, а потому всѣми силами протестовалъ противъ этого бала, но жена непремѣнно хотѣла дать его, потому что имѣла основаніе надѣяться, что насъ посѣтятъ весьма высокопоставленныя лица. Мы чуть не поссорились, но она настояла. Балъ вышелъ блестящій и невыносимый для меня. Въ этотъ вечеръ я впервые почувствовалъ утомленіе жизнью и ясно созналъ, что жить мнѣ осталось недолго.

Вся моя жизнь была цѣлымъ рядомъ баловъ, и въ этомъ заключается трагизмъ моего существованія. Я любилъ деревню, чтеніе, охоту, любилъ тихую семейную жизнь, а между тѣмъ весь свой вѣкъ провелъ въ свѣтѣ, сначала въ угоду своимъ родителямъ, потомъ въ угоду женѣ. Я всегда думалъ, что человѣкъ рождается съ весьма опредѣленными вкусами и со всѣми задатками своего будущаго характера. Задача его заключается именно въ томъ, чтобы осуществить этотъ характеръ; все зло происходитъ оттого, что обстоятельства ставятъ иногда преграды для такого существованія. И я началъ припоминать всѣ мои дурныя поступки, всѣ тѣ поступки, которые нѣкогда тревожили мою совѣсть. Оказалось, что всѣ они произошли отъ несогласія моего характера съ той жизнью, которую я велъ.

Воспоминанія мои были прерваны легкимъ шумомъ справа. Савелій, который давно начиналъ дремать, вдругъ зашатался и едва не грохнулся на полъ. Онъ перекрестился, вышелъ въ переднюю и, принеся оттуда стулъ, откровенно заснулъ въ дальнемъ углу залы. Псаломщикъ читалъ все лѣнивѣе и тише, потомъ умолкъ совсѣмъ и послѣдовалъ примѣру Савелія. Настала мертвая тишина.

Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась предо мной, какъ одно неизбежное цѣлое, страшное по своей строгой логичности. Я видѣлъ уже не отрывочные факты, а одну

прямую линію, которая начиналась со дня моего рожденія и кончалась нынѣшнимъ вечеромъ. Дальше она идти не могла, мнѣ это было ясно, какъ день. Впрочемъ, я уже сказалъ, что близость смерти я созналъ два мѣсяца тому назадъ.

Да и всѣ люди сознають это непремѣнно. Предчувствіе—одно изъ тѣхъ таинственныхъ міровыхъ явленій, которыя доступны человѣку и которыми человѣкъ не умѣетъ пользоваться. Великій поэтъ удивительно мѣтко изобразилъ это явленіе, сказавъ, что «грядущія событія бросаютъ передъ собой тѣнь». Если же люди иногда жалуются, что предчувствіе ихъ обмануло, это происходитъ отъ того, что они не умѣютъ разобраться въ своихъ ощущеніяхъ. Они всегда чего-нибудь сильно желаютъ, или чего-нибудь сильно боятся и принимаютъ за предчувствіе свой страхъ или свои надежды.

Я, конечно, не могъ опредѣлить точно день и часъ своей смерти, но зналъ ихъ приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошимъ здоровьемъ и вдругъ съ начала ноября безъ всякой причины началъ недомогать. Никакой болѣзни еще не было, но я чувствовалъ, что меня «клонить къ смерти», такъ же ясно, какъ чувствовалъ, бывало, что меня клонить ко сну. Обыкновенно съ начала зимы мы съ женой составляли планъ того, какъ мы будемъ проводить лѣто. На этотъ разъ я ничего не могъ придумать, картины лѣта не складывались; казалось, что вообще никакого лѣта не будетъ. Болѣзнь, между тѣмъ, не приходила: ей, какъ церемонной гостьѣ, нуженъ былъ какой-нибудь предлогъ. И вотъ со всѣхъ стороны стали подкрадываться предлоги. Въ концѣ декабря я долженъ былъ ѣхать на медвѣжью охоту. Время стояло очень холодное, и жена моя, которая безъ всякой причины начала беспокоиться о моемъ здоровьи (вѣроятно, и ее посѣтило предчувствіе), умоляла меня не ѣздить. Я былъ страстный охотникъ и потому рѣшилъ все-таки ѣхать, но почти въ минуту отъѣзда получилъ депешу, что медвѣди ушли и что охота отмѣняется. На этотъ разъ церемонная гостья не вошла въ мой домъ. Черезъ недѣлю одна дама, за которой я слегка ухаживалъ, устроила пикникъ-monstre съ тройками, цыганами и катаньемъ съ горъ. Простуда была неизбежна, но жена моя вдругъ заболѣла очень серьезно и упросила меня провести вечеръ дома. Можетъ быть, она даже притворилась больной, потому что на слѣдующій день уже была въ театрѣ. Какъ бы то

ни было, но церемонная гостя опять прошла мимо. Черезъ два дня послѣ этого умеръ мой дядя Василій Ивановичъ. Это былъ старѣйшій изъ князей Трубчевскихъ; мой братъ, очень гордящійся своимъ происхожденіемъ, иногда говорилъ о немъ: «вѣдь это нашъ графъ Шамборъ». Независимо отъ этого я очень любилъ дядю: не поѣхать на похороны было немыслимо. Я шелъ за гробомъ пѣшкомъ, была страшная вьюга, я продрогъ до костей. Церемонная гостя не стала медлить и такъ обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мнѣ въ тотъ же вечеръ. На третій день доктора нашли у меня воспаленіе въ легкихъ со всевозможными осложненіями и объявили, что больше двухъ дней я не проживу. Но до 28-го февраля было еще далеко, а раньше я умереть не могъ. И вотъ началась та утомительная агонія, которая сбивала толку столько ученыхъ мужей. Я то поправлялся, то заболѣвалъ съ новой силой, то мучился, то переставалъ вовсе страдать, пока, наконецъ, не умеръ сегодня по всѣмъ правиламъ науки въ тотъ самый день и часъ, которые мнѣ были назначены для смерти съ минуты рожденія. Какъ добросовѣстный актеръ, я доигралъ свою роль, не прибавивъ, не убавивъ ни одного слова изъ того, что мнѣ было предписано авторомъ пьесы.

Это болѣе чѣмъ избитое сравненіе жизни съ ролью актера пріобрѣтало для меня глубокій смыслъ. Вѣдь если я исполнилъ, какъ добросовѣстный актеръ, свою роль, то, вѣроятно, я игралъ и другія роли, участвовалъ и въ другихъ пьесахъ. Вѣдь если я не умеръ послѣ своей видимой смерти, то, вѣроятно, я никогда не умиралъ и жилъ столько же времени, сколько существуетъ міръ. То, что вчера являлось мнѣ, какъ смутное ощущеніе, превращалось теперь въ увѣренность. Но какія же это были роли, какія пьесы?

Я началъ искать въ моей протекшей жизни какого-нибудь ключа къ этой загадкѣ. Я сталъ припоминать поражавшіе меня въ свое время сны, полные невѣдомыхъ мнѣ странъ и лицъ, вспоминалъ разныя встрѣчи, производившія на меня непонятное, почти мистическое впечатлѣніе. И вдругъ я вспомнилъ про замокъ Ларошъ-Модень.

III.

Это былъ одинъ изъ самыхъ интересныхъ и загадочныхъ эпизодовъ моей жизни. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мы, ради

здоровья моей жены, провели почти полгода на югѣ Франціи. Тамъ мы, между прочимъ, познакомились съ очень симпатичнымъ семействомъ графа Ларошъ-Модена, который однажды пригласилъ насъ въ свой замокъ.

Помню, что въ тотъ день и жена, и я были какъ-то особенно веселы. Мы ѣхали въ открытой коляскѣ; былъ одинъ изъ тѣхъ теплыхъ октябрьскихъ дней, которые особенно очаровательны въ томъ краю. Опустѣлыя поля, разоренные виноградники, разноцвѣтные листья деревь,—все это подъ ласковыми лучами еще горячаго солнца пріобрѣтало какой-то праздничный видъ. Свѣжій бодрящій воздухъ располагалъ невольно къ веселью, и мы болтали безъ умолку всю дорогу. Но вотъ мы въѣхали во владѣнія графа Модена и веселость моя мгновенно исчезла. Мнѣ вдругъ показалось, что это мѣсто мнѣ знакомо, даже близко, что я когда-то жилъ здѣсь... Это ощущеніе, какое-то странное, ощущеніе непріятное и щемящее душу, росло съ каждой минутой. Наконецъ, когда мы въѣхали въ широкую авеню, которая вела къ воротамъ замка, я сказалъ объ этомъ женѣ.

— Какой вздоръ!—воскликнула жена.—Еще вчера ты говорилъ, что даже въ дѣтствѣ, когда ты съ покойной матушкой жилъ въ Парижѣ, вы никогда сюда не заѣзжали.

Я не возражалъ, мнѣ было не до возраженій. Воображеніе, словно курьеръ, скакавшій впереди, докладывало мнѣ обо всемъ, что я увижу. Вотъ широкій дворъ (la cour d'honneur), посыпанный краснымъ пескомъ; вотъ подъѣздъ, увѣнчанный гербомъ графовъ Ларошъ-Моденовъ; вотъ зала въ два свѣта, вотъ большая гостиная, увѣшанная семейными портретами. Даже особенный, специфическій запахъ этой гостиной—какой-то смѣшанный запахъ мускуса, пльсени и розоваго дерева—поразилъ меня, какъ что-то слишкомъ знакомое.

Я впалъ въ глубокую задумчивость, которая еще болѣе усилилась, когда графъ Ларошъ-Моденъ предложилъ мнѣ сдѣлать прогулку по парку. Здѣсь со всѣхъ сторонъ нахлынули на меня такія живучія, хотя и смутныя воспоминанія, что я едва слушалъ хозяина дома, который расточалъ весь запасъ своей любви, чтобы заставить меня разговориться. Наконецъ, когда я на какой-то его вопросъ отвѣтилъ уже слишкомъ невпопадъ, онъ посмотрѣлъ на меня сбоку съ выраженіемъ удивленнаго состраданія.

— Не удивляйтесь моей разсѣянности, графъ,—сказалъ я, поймавъ этотъ взглядъ,—я переживаю очень странное ощуще-
ніе. Я, безъ сомнѣнія, въ первый разъ въ вашемъ замкѣ, а
между тѣмъ мнѣ кажется, что я здѣсь прожилъ цѣлые года.

— Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго: всѣ наши старые замки
похожи одинъ на другой.

— Да, но я именно жилъ въ этомъ замкѣ... Вы вѣрите въ
переселеніе душъ?

— Какъ вамъ сказать... Жена моя вѣритъ, а я не очень...
А, впрочемъ, все возможно.

— Вотъ вы сами говорите, что это возможно, а я каждую
минуту убѣждаюсь въ этомъ болѣе и болѣе.

Графъ отвѣтилъ мнѣ какой-то шутливо-любезной фразой,
выражая сожалѣніе, что онъ не жилъ здѣсь сто лѣтъ тому
назадъ, потому что и тогда онъ принималъ бы меня въ этомъ
замкѣ съ такимъ же удовольствіемъ, съ какимъ принимаетъ
теперь.

— Можетъ быть, вы перестанете смѣяться,—сказалъ я, дѣ-
лая неимовѣрныя усилія памяти,—если я скажу вамъ, что сей-
часъ мы пойдемъ къ широкой каштановой аллеѣ.

— Вы совершенно правы, вотъ она, налѣво.

— А пройди эту аллею, мы увидимъ озеро.

— Вы слишкомъ любезны, называя эту массу воды (*cette*
pièce d'eau) озеромъ. Мы просто увидимъ прудъ.

— Хорошо, я сдѣлаю вамъ уступку, но это будетъ очень
большой прудъ.

— Въ такомъ случаѣ, позвольте и мнѣ быть уступчивымъ.
Это маленькое озеро.

Я не шелъ, а бѣжалъ по каштановой аллеѣ. Когда она
кончилась, я увидѣлъ во всѣхъ подробностяхъ картину, ко-
торая уже нѣсколько минутъ рисовалась въ моемъ воображеніи.
Какіе-то красивые цвѣты причудливой формы окаймляли довольно
широкій прудъ, у плота была привязана лодка, на противопо-
ложномъ берегу пруда виднѣлись группы старыхъ плакучихъ
ивъ... Боже мой! Да, конечно, я здѣсь жилъ когда-то, катался
въ такой же лодкѣ, я сидѣлъ подъ тѣми плакучими ивами, я
рвалъ эти красные цвѣты... Мы молча шли по берегу.

— Но позвольте, сказалъ я, съ недоумѣніемъ смотря на-
право,—тутъ долженъ быть еще второй прудъ, потомъ третій...

— Нѣтъ, дорогой князь, на этотъ разъ память или воображеніе вамъ измѣняются. Другого пруда нѣтъ.

— Но онъ былъ навѣрное. Посмотрите на эти красные цвѣты! Они также окаймляютъ эту лужайку, какъ и первый прудъ. Второй прудъ былъ и его засыпали, это очевидно.

— При всемъ желаніи моемъ согласиться съ вами, дорогой князь, я не могу этого сдѣлать. Мнѣ скоро пятьдесятъ лѣтъ, я родился въ этомъ замкѣ и увѣрю васъ, что здѣсь никогда не было второго пруда.

— Но, можетъ быть, у васъ живетъ кто-нибудь изъ старожиловъ?

— Управляющій мой, Жозефъ, гораздо старше меня... мы спросимъ его, вернувшись домой.

Въ словахъ графа Модена, сквозь его изысканную вѣжливость, уже ясно проглядывало опасеніе, что онъ имѣетъ дѣло съ какимъ-то маньякомъ, которому не слѣдуетъ перечить.

Когда мы передъ обѣдомъ вошли въ его уборную, чтобы привести себя въ порядокъ, я напомнилъ о Жозефѣ. Графъ сейчасъ же велѣлъ позвать его.

Вошелъ бодрый семидесятилѣтній старикъ и на всѣ мои разспросы отвѣчалъ положительно, что въ паркѣ никогда второго пруда не было.

— Впрочемъ, у меня сохраняются всѣ старые планы, и если графъ позволитъ ихъ принести...

— О, да, принесите ихъ,—и поскорѣе. Надо, чтобы этотъ вопросъ быть исчерпанъ теперь, а то нашъ дорогой гость ничего не будетъ ѣсть за обѣдомъ.

Жозефъ принесъ планы, графъ началъ ихъ лѣниво разсматривать и вдругъ вскрикнулъ отъ удивленія. На одномъ ветхомъ планѣ неизвѣстныхъ годовъ были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть этого парка носила названіе: *les étangs*.

— *Je baisse pavillon devant le vainqueur*,—произнесъ графъ съ напускной веселостью и слегка блѣднѣя.

Но я далеко не смотрѣлъ побѣдителемъ. Я былъ какъ-то подавленъ этимъ открытіемъ,—словно случилось несчастье, котораго я давно боялся.

Сходя въ столовую, графъ Моденъ просилъ меня ничего не говорить по этому поводу его женѣ, говоря, что она женщина очень нервная и наклонная къ мистицизму.

Къ обѣду съѣхалось много гостей, но хозяинъ дома и я—мы были оба такъ молчаливы за обѣдомъ, что получили отъ нашихъ женъ коллективный выговоръ за нелюбезность.

Послѣ этого жена моя часто бывала въ замкѣ Ларошъ-Моденъ, но я никогда не могъ рѣшиться туда поѣхать. Я очень близко сошелся съ графомъ, онъ часто посѣщалъ меня, но не настаивалъ на своихъ приглашеніяхъ, потому что понималъ меня хорошо.

Время понемногу изгладило впечатлѣніе, произведенное на меня этимъ страннымъ эпизодомъ моей жизни; я даже старался не думать о немъ, какъ о чемъ-то очень тяжеломъ. Теперь, лежа въ гробу, я старался припомнить его со всѣми подробностями и безпристрастно обсудить. Такъ какъ теперь я зналъ навѣрное, что жилъ на свѣтѣ раньше, чѣмъ назывался княземъ Дмитріемъ Трубчевскимъ, то для меня не было сомнѣнія и въ томъ, что я когда-нибудь былъ въ замкѣ Ларошъ-Моденъ. Но въ качествѣ кого? Жилъ ли я тамъ постоянно, или попалъ туда случайно, былъ ли я хозяиномъ, гостемъ, конюхомъ или крестьяниномъ? На эти вопросы я не могъ дать отвѣта, одно казалось мнѣ несомнѣннымъ: я былъ тамъ очень несчастливъ; иначе я не могъ бы объяснить себѣ того щемящаго чувства тоски, которое охватило меня при въѣздѣ въ замокъ, которое томить меня и теперь, когда я вспоминаю о немъ.

Иногда эти воспоминанія дѣлались нѣсколько опредѣленнѣе, что-то въ родѣ общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпѣніе Савелія и псаломщика развлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.

Савелій и псаломщикъ спали долго. Ярko горѣвшія въ паникадилахъ восковыя свѣчи уже потускнѣли и первые лучи яснаго, морознаго дня давно смотрѣли на меня сквозь опущенныя шторы большихъ оконъ.

IV.

Савелій вскочилъ со стула, перекрестился, протеръ глаза и, увидя спавшаго псаломщика, разбудилъ его, причемъ не упустилъ случая осыпать его самыми горькими упреками. Потому

онъ ушелъ, вымылся, пріодѣлся, вѣроятно, выпилъ здоровую порцію березовки и вернулся окончательно ожесточенный.

«Бая польза въ крови моей, вѣгда сходити ми во истѣніе», — началъ заунывнымъ голосомъ псаломщикъ.

Домъ проснулся. Въ разныхъ углахъ его послышалась суетливая возня. Опять гувернантка привела дѣтей. Соня на этотъ разъ была спокойнѣе, а Колѣ очень понравился парчевый покровъ, и онъ уже безъ всякаго страха началъ играть кистями. Потомъ пришла акушерка Софья Францовна и сдѣлала какое-то замѣчаніе Савелію, причѣмъ выказала такіа тонкіа познанія въ погребальномъ дѣлѣ, какихъ никакъ нельзя было ождать отъ ея специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсѣмъ незнакомые люди: какія-то невѣдомыя старухи, швейцары и дворники сосѣднихъ домовъ. Всѣ они очень усердно молились; старухи горько плакали. При этомъ я сдѣлалъ замѣчаніе, что всѣ прощавшіеся со мной, если это были люди простые, изъ народа, не только цѣловали меня въ губы, но даже дѣлали это съ какимъ-то удовольствіемъ; лица же моего круга — даже самые близкіе мнѣ люди — относились ко мнѣ съ безразличіемъ, которая очень бы меня обидѣла, если-бъ я могъ смотрѣть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья въ широкомъ голубомъ капотѣ съ розовыми цвѣточками. Костюмъ этотъ не понравился Савелію, и онъ сдѣлалъ ей строгое замѣчаніе.

— Да что же мнѣ дѣлать, Савелій Петровичъ? — оправдывалась Настасья, — ужъ я пробовала темное платье надѣть, ни одно не сходится.

— Ну, а не сходится, такъ и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоемъ мѣстѣ постыдилась бы и къ княжескому гробу подходить съ такимъ брюхомъ.

— За что же вы ее обижаете, Савелій Петровичъ? — вступился Семень. — Вѣдь она мнѣ законная жена, тутъ грѣха никакого нѣтъ.

— Знаю я этихъ шлюхъ, законныхъ, — проворчалъ Савелій и отошелъ въ свой уголъ.

Настасья страшно смутилась и хотѣла отвѣтить какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила словъ; только губы ея перекозились отъ гнѣва и въ глазахъ показались слезы.

«На аспида и василиска наступиши,—читаль псаломщикъ,—и попиреши льва и змія».

Настасья подошла совсѣмъ вплотную къ Савелію и сказала ему тихо:

— Вотъ вы этотъ аспидъ и есть.

— Кто это аспидъ? Ахъ, ты...

Савелій не окончилъ фразы, потому что на лѣстницѣ раздался сильный звонокъ, и Васютка вбѣжала съ извѣстіемъ, что пріѣхала графиня Марья Михайловна. Зала мгновенно опустѣла.

Марья Михайловна — тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мнѣ, величественно помолилась и хотѣла приложиться ко мнѣ, но передумала и нѣсколько минутъ трясла надо мной своей сѣдой головой, покрытой чернымъ уборомъ на подобіе монашескаго, послѣ чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась въ комнату жены. Черезъ четверть часа она воротилась, ведя въ свою очередь мою жену. Жена была въ бѣломъ ночномъ капотѣ, волосы у нея были распущены, а вѣки такъ распухли отъ слезъ, что она едва могла открывать глаза.

— *Voyons, Zoé, mon enfant,*—уговаривала ее графиня,—*soyez ferme.* Вспомни, сколько я перенесла горя, возьми на себя.

— *Oui, ma tante, je serai ferme,*—отвѣчала жена и рѣшительными шагами подошла ко мнѣ, но, вѣроятно, я сильно измѣнился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавшихъ ее женщинъ. Ее увели.

Жена моя, несомнѣнно, была очень огорчена моей смертью, но при всякомъ публичномъ выраженіи печали есть непремѣнно извѣстная доля театральности, которой рѣдко кто можетъ избѣжать. Самый искренно огорченный человѣкъ не можетъ отогнать отъ себя мысль, что другіе на него смотреть.

Во второмъ часу стали сѣзжаться гости. Первымъ вошелъ высокій, еще не старый генералъ, съ сѣдыми закрученными усами и множествомъ орденовъ на груди. Онъ подошелъ ко мнѣ и тоже хотѣлъ приложиться, но раздумалъ и долго крестился, не прикладывая пальцевъ ко лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потомъ онъ обратился къ Савелію:

— Ну, что, братъ Савелій, потеряли мы нашего князя?

— Да-съ, ваше превосходительство, сорокъ лѣтъ служилъ князю и могъ ли я думать...

— Ничего, ничего, княгиня тебя не оставитъ.

И, потрепавъ по плечу Савелія, генераль пошелъ навстрѣчу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мнѣ, прямо опустился на тотъ стулъ, на которомъ ночью спалъ Савелій. Кашель душилъ его.

— Ну, вотъ, Иванъ Ефимычъ,—сказаль генераль,—еще у насъ однимъ членомъ стало меньше.

— Да, съ Новаго года это ужъ четвертый.

— Какъ четвертый? Не можетъ быть?

— Какъ же «не можетъ быть»? Въ самый день Новаго года умеръ Ползиковъ, потомъ Борисъ Антонычъ, потомъ князь Василій Иванычъ...

— Ну, князя Василя Иваныча считать нечего, онъ два года не ѣздилъ въ клубъ.

— Однако онъ все-таки возобновляль билетъ.

— Ползиковъ тоже былъ старъ, но князь Дмитрій Александрычъ... Помилуйте, въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ, человекъ здоровый, полный жизни...

— Что дѣлать! «Не вѣсте бо ни дне, ни часа...»

— Да, это все отлично! Не вѣсте, не вѣсте,—это такъ, а все-таки обидно уѣзжать вечеромъ изъ клуба и не быть увѣреннымъ, что на другой день опять тамъ будешь! А еще обиднѣе то, что никакъ не угадаете, гдѣ тебя эта шельма подстережетъ. Вѣдь вотъ князь Дмитрій Александрычъ поѣхаль на похороны Василя Иваныча и простудился на похоронахъ, а мы съ вами тоже были и не простудились.

Сенатора опять схватилъ припадокъ кашля, послѣ чего онъ обыкновенно дѣлался еще злѣе.

— Да-съ, удивительная судьба была этого князя Василя Иваныча. Всю жизнь онъ дѣлалъ всякія гадости, такъ ему и подобало. Но вотъ онъ умираетъ; казалось бы, что всѣмъ этимъ гадостямъ конецъ. Такъ вотъ нѣтъ же, на своихъ собственныхъ похоронахъ сумѣлъ-таки уморить родного племянника.

— Ну, и язычокъ же у васъ, Иванъ Ефимычъ! Ругали бы живыхъ, а то отъ васъ и покойникамъ достается. Есть такая пословица: *de mortis, de mortibus...*

— Вы хотите сказать: «*De mortuis aut bene, aut nihil*»? Но эта пословица нелѣпая, я ее нѣсколько поправлю; я говорю: *de mortuis aut bene, aut male*. Иначе вѣдь исчезла бы

исторія, ни объ одномъ историческомъ злодѣѣ нельзя было бы произнести справедливаго приговора, потому что всѣ они перемерли. А князь Василій былъ въ своемъ родѣ лицо историческое, недаромъ у него было столько скверныхъ исторій...

— Перестаньте, перестаньте, Иванъ Ефимычъ, будетъ вамъ на томъ свѣтѣ за язычокъ вашъ... По крайней мѣрѣ, о нашемъ дорогомъ Дмитріи Александровичѣ вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это былъ прекрасный человѣкъ...

— Къ чему преувеличивать, генералъ? Если мы скажемъ, что онъ былъ любезный и обходительный человѣкъ, этого будетъ совершенно достаточно. Да повѣрьте, что и это со стороны князя Трубчевскаго большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевскіе любезностью не отличаются. Возьмемъ, чтобы не далеко ходить, его брата Андрея...

— Ну, объ этомъ я съ вами спорить не буду: Андрей мнѣ совсѣмъ не симпатиченъ. И чѣмъ онъ такъ важничаетъ?

— Важничать ему рѣшительно нечѣмъ, но не въ этомъ дѣло-сь. Если такой человѣкъ, какъ князь Андрей Александрычъ, терпится въ обществѣ, это доказываетъ только нашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему, такому человѣку не слѣдуетъ и руки подавать. Вотъ что я узналъ о немъ недавно изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ...

Въ эту минуту появился мой братъ, и оба собесѣдника бросились къ нему съ выраженіемъ живѣйшаго сочувствія.

Затѣмъ робкими шагами вошелъ мой старый товарищъ Миша Звягинъ. Это былъ очень добрый и очень заматавшійся человѣкъ. Въ началѣ октября онъ пріѣхалъ ко мнѣ, объяснилъ свое безвыходное положеніе и попросилъ у меня на два мѣсяца пять тысячъ, которыя могли его спасти. Послѣ нѣкоторой борьбы, я написалъ ему чекъ; онъ предложилъ мнѣ вексель, но я отвѣчалъ, что этого не нужно. Черезъ два мѣсяца онъ, конечно, уплатить не могъ и началъ отъ меня скрываться. Во время моей болѣзни онъ нѣсколько разъ присылалъ узнавать о здоровьѣ, но самъ не заходилъ ни разу. Когда онъ подошелъ къ моему гробу, я прочелъ въ его глазахъ самыя разнообразныя чувства: и сожалѣніе, и стыдъ, и страхъ, и даже гдѣ-то тамъ, въ глубинѣ зрачковъ, — маленькую радость при мысли, что у него однимъ кредиторомъ стало меньше. Впрочемъ, поймавъ себя на этой мысли, онъ очень ея устыдился и началъ усердно молиться.

Въ его сердцѣ происходила борьба. Ему слѣдовало заявить сейчасъ же о долгѣ, но, съ другой стороны, зачѣмъ же заявлять, если онъ не можетъ заплатить! Долгъ этотъ онъ отдастъ современемъ, а теперь... извѣстно ли кому-нибудь объ этомъ долгѣ, записанъ ли онъ мною въ какую-нибудь книжку? Нѣтъ, необходимо заявить сейчасъ же.

Миша Звягинъ съ рѣшительнымъ видомъ подошелъ къ брату и началъ спрашивать его о моей болѣзни. Братъ отвѣчалъ неохотно и смотрѣлъ въ другую сторону: моя смерть давала ему законное право быть невнимательнымъ и надменнымъ.

— Видите ли, князь, — началъ, запинаясь, Звягинъ, — я былъ долженъ покойному...

Братъ началъ прислушиваться и вопросительно посмотрѣлъ на него.

— Я хотѣлъ сказать, что я слишкомъ обязанъ покойному Дмитрію Александровичу. Наша долголѣтняя служба...

Братъ опять отвернулся, и бѣдный Миша Звягинъ отошелъ на прежнее мѣсто. Его красныя щеки прыгали, глаза безпокойно бѣгали по залѣ. Тутъ въ первый разъ послѣ смерти я пожалѣлъ о томъ, что не могу говорить. Мнѣ такъ хотѣлось сказать ему: «да оставь себѣ эти пять тысячъ, у дѣтей моихъ и безъ этого денегъ довольно».

Зала быстро наполнялась. Дамы входили большей частью попарно и становились вдоль стѣны. Ко мнѣ почти никто не подходилъ, меня какъ-то стыдились. Болѣе близкія къ намъ дамы спрашивали у брата, могутъ ли онѣ видѣть жену; братъ съ молчаливымъ поклономъ указывалъ имъ на двери гостиной. Дамы въ минутномъ раздумѣ останавливались въ дверяхъ, послѣ чего, опустивъ головы, какъ-то ныряли въ гостиную, словно купальщики, которые послѣ маленькаго колебанія рѣшительно бросаются головой внизъ въ холодную воду.

Къ двумъ часамъ собрался весь знатный Петербургъ, такъ что, будь я тщеславенъ, видъ залы доставилъ бы мнѣ большое удовольствіе. Появились даже такія лица, о прїѣздѣ которыхъ тихонько докладывали брату, и онъ ходилъ встрѣчать ихъ на лѣстницу.

Я всегда съ особеннымъ умиленіемъ слушалъ панихиду, хотя многое въ ней казалось мнѣ непонятнымъ. Особенно всегда смущала меня «жизнь безконечная»; выраженіе это на панихидѣ

казалось мнѣ горькой ироніей. Теперь всѣ эти слова получали для меня глубокій смыслъ. Я самъ жилъ этой «безконечной жизнью», я именно находился въ томъ мѣстѣ, «идѣ же нѣсть болѣзни, печали и воздыханія».

Напротивъ того, земныя, доходившія до меня, воздыханія казались мнѣ чѣмъ-то чуждымъ и непонятнымъ. Когда пѣвчіе заплѣли о надгробномъ рыданіи, словно въ отвѣтъ имъ раздались сдержанныя всхлипыванія въ разныхъ углахъ залы. Съ женой моей сдѣлалось дурно, ее опять увели.

Панихида кончилась. Дьяконъ густымъ басомъ произнесъ: «Во блаженномъ успеніи...» но въ это время произошло нѣчто странное. Въ залѣ вдругъ потемнѣло, точно сумерки сразу опустились на землю. Я пересталъ различать лица, а видѣлъ одни черныя фигуры. Голосъ дьякона ослабѣлъ и постепенно отдалялся куда-то. Наконецъ, онъ замолкъ совсѣмъ, свѣчи потухли, все для меня исчезло. Я сразу пересталъ видѣть и слышать.

V.

Я очутился въ какомъ-то темномъ, непонятномъ для меня мѣстѣ. Впрочемъ, я упомянулъ о мѣстѣ только по старой привычкѣ: никакого понятія о пространствѣ для меня не существовало. Времени также не было, такъ что я не могу опредѣлить, сколько длилось то состояніе, въ которомъ я находился. Я ничего не видѣлъ, ничего не слышалъ, я только думалъ,—настоячиво, усиленно думалъ.

Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрѣшена. Смерти нѣтъ, есть одна жизнь безконечная. Я всегда былъ убѣжденъ въ этомъ и прежде, но только не могъ ясно сформулировать своего убѣжденія. Основывалось это убѣжденіе на томъ, что въ противномъ случаѣ вся жизнь была бы вопіющей нелѣпостью. Человѣкъ мыслить, чувствуетъ, сознаетъ все окружающее, наслаждается и страдаетъ,—и онъ исчезаетъ. Его тѣло разлагается и служитъ къ образованію новыхъ тѣлъ,—это всѣ могутъ видѣть ежедневно. Но куда же дѣвается то, что сознавало и себя, и весь окружающій міръ? Если матерія бессмертна, отчего сознанію суждено исчезать безслѣдно? Если же оно исчезаетъ, откуда оно появляется, и какая цѣль такого

эфемернаго появленія? Я считалъ это нелѣпостью и потому допустить не могъ.

Теперь я на собственномъ опытѣ видѣлъ, что сознание не умираетъ, что я никогда не переставалъ и, вѣроятно, никогда не перестану жить. Но въ то же время назойливо возставали передо мной новые «проклятые вопросы». Если я никогда не умиралъ и всегда буду вновь воплощаться на землѣ, то какая цѣль этихъ послѣдовательныхъ существованій? По какому закону они происходятъ и къ чему, въ концѣ-концовъ, приведутъ меня? Вѣроятно, я бы могъ уловить этотъ законъ и понять его, если бы вспомнилъ всѣ или хоть нѣкоторые минувшія существованія, но отчего же именно этого воспоминанія лишенъ человѣкъ? За что онъ осужденъ быть вѣчнымъ невѣждой, что даже понятие о безсмертіи является ему только въ видѣ догадки? А если какой-нибудь неизвѣстный законъ требуетъ забвенія и мрака, зачѣмъ въ этомъ мракѣ являются странные просвѣты, какъ это случилось, напримѣръ, со мной, когда я пріѣхалъ въ замокъ Ларошъ-Моденъ?

И я всей душой схватился за это воспоминаніе, какъ утопающій хватается за соломенку. Мнѣ казалось, что если я вспомню ясно и точно свою жизнь въ этомъ замкѣ, это прольетъ свѣтъ на все остальное. Никакое внѣшнее впечатлѣніе меня не развлекало, я могъ безпренятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вотъ, съ какого-то глубокаго душевнаго дна, точно туманъ со дна рѣки, начали подниматься неясные, блѣдные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какія-то странныя, едва понятныя слова, но во всякомъ воспоминаніи были пробѣлы, которыхъ я не могъ наполнить: лица людей были окутаны туманомъ, въ словахъ не было связи, все состояло изъ какихъ-то обрывковъ. Вотъ семейное кладбище графовъ Ларошъ-Моденовъ. На бѣлой мраморной плитѣ я явственно читаю черныя буквы: *Ci-git très haute et recommandable dame...* Дальше идетъ имя, но я разобрать его не могу. Рядомъ саркофагъ съ мраморной урной, на которомъ я читаю: *Ci-git le coeur du marquis...* Вотъ раздается въ моихъ ушахъ крикливый, нетерпѣливый голосъ, зовущій кого-то: *Zo... Zo...* Я напрягаю память и къ великой радости явственно слышу имя: *Zorobabell Zorobabell!* Это имя, столь мнѣ знакомое, внезапно вызываетъ цѣлый рядъ картинъ. Я—на дворѣ замка, въ боль-

шой толпѣ народа. «A la chambre du roi! A la chambre du roi!...»—повелительно кричить тотъ же рѣзкій, нетерпѣливый голосъ. Въ каждомъ старинномъ французскомъ замкѣ была комната короля, т.-е. комната, которую занималъ бы король, если бы онъ когда-нибудь посѣтилъ замокъ. И вотъ, я до мельчайшихъ подробностей вижу эту комнату въ замкѣ Ларошъ-Моденъ. Потолокъ разрисованъ розовыми амурами съ гирляндами въ рукахъ, стѣны покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогаго оленя, въ отчаянной позѣ остановившагося надъ ручьемъ, и трехъ настигающихъ его охотниковъ. Въ глубинѣ комнаты — альковъ, увѣнчанный золотой короной; по синему штофному балдахину вышиты бѣлыя лиліи. На противоположной сторонѣ большой портретъ короля во весь ростъ. Я вижу грудь въ латахъ, вижу длинные, немного кривыя ноги въ лосинахъ и ботфортахъ, но лица никакъ разглядѣть не могу. Если бы я разглядѣлъ лицо, я бы узналъ, можетъ быть, въ какое время я жилъ въ этомъ замкѣ, но именно этого я не вижу, какой-то тугой, упрямый клапанъ въ моей памяти не хочетъ открыться. «Zorobabell! Zorobabell!»—кричить повелительный голосъ. Я напрягаю всѣ силы, и вдругъ въ капризной памяти открывается совсѣмъ другой клапанъ. Замокъ Ларошъ-Моденъ исчезаетъ, и новая, неожиданная картина развертывается предо мною.

VI.

Я увидѣлъ большое русское село. Бревенчатыя избы, крытыя соломой, тянулись подъ гору по обѣимъ сторонамъ широкой улицы. Былъ сѣрый, осенній день, а можетъ быть и вечеръ. Холодный дождь падалъ мелкими и частыми каплями съ одноцвѣтнаго неба, вѣтеръ гудѣлъ и свисталъ по широкой улицѣ и, поднимая солому съ полуразобранныхъ крышъ, крутилъ ее въ воздухѣ. Внизу маленькая рѣченка быстро катила свои свинцовыя вздувшіяся волны. Я перешелъ на ту сторону рѣки, горбатый мостъ безъ перилъ задрожалъ подъ моими ногами. Съ моста были двѣ дороги: налѣво, въ гору, продолжалось село, направо, словно нагнувшись надъ оврагомъ, стояла старая деревянная церковъ съ зеленымъ куполомъ. Я пошелъ направо. За церковью виднѣлось нѣсколько насыпей съ почернѣвшими

Отъ времени крестами, между могилами качались по вѣтру мокрыя, почти обнаженные, вѣтви молодыхъ березъ; вся земля, словно ковромъ, была покрыта желто-бурыми листьями. Дальше шло черное, совсѣмъ голое поле. И, несмотря на эту безотрадную картину, чѣмъ-то роднымъ и хорошимъ повѣяло на меня изъ далекой протекшей тамъ жизни. Но отчего же такой мракъ и такое безлюдье кругомъ? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего всѣ избы растворены настѣжъ? Въ какое время жилъ я въ этомъ селѣ? Было ли это во времена нашествій татарскихъ или позже? Иноземный ли разорилъ это гнѣздо, или свои внутренніе воры выгнали жителей въ лѣса и степи?

Я вернулся къ мостику и пошелъ налѣво въ гору. И тамъ же безлюдье, тѣ же слѣды разрушенія. Около обваливагося колодца я увидѣлъ, наконецъ, живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вѣроятно, умиравшая отъ голода. Вся шерсть ея вылѣзла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидѣвъ меня, она съ невѣроятными усилиями поднялась на ноги, но двинуться не могла и, упавъ въ грязь, жалобно завывала.

Всѣми силами души своей я старался представить себѣ это родное село при какой-нибудь другой обстановкѣ. Вѣдь и здѣсь вставали румяныя зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и рѣчка замерзала, и вся гора искрилась серебромъ въ морозныя лунныя ночи... Но какъ ни напрягалъ я свою память, я не могъ вспомнить ничего подобнаго. Словно круглый годъ сѣрое небо поливало несчастное село мелкимъ дождемъ, да вѣтеръ свободно входилъ въ раскрытыя избы и вырывался на просторъ черезъ праздныя, никому ненужныя трубы.

Но вотъ среди мертваго безмолвія раздается колокольный звонъ. Звукъ колокола такой надтреснутый и жалкій, что кажется не звономъ, а голосомъ, выходящимъ изъ какой-то наболевшей мѣдной груди. Я иду на этотъ звонъ и вхожу въ церковь. Церковь полна молящимися, простымъ, сѣрымъ людемъ. Служба идетъ какая-то необычайная, настроеніе также не такое, какъ всегда бываетъ въ церкви. Повременамъ слышатся стоны въ разныхъ углахъ храма; слезы текутъ по загорѣлымъ, грубымъ лицамъ. Я пробираюсь черезъ толпу по неровному, продавленному полу направо, гдѣ горитъ множество свѣчей передъ

чудотворной иконой Божіей Матери. Икона черная, безъ ризы, только золотой вѣнчикъ окаймляетъ голову Богоматери; глаза Ея смотрять не то строго, не то съ какимъ-то недоумѣвающимъ сожалѣніемъ. Передъ иконой развѣшано множество рукъ, ногъ и глазъ изъ серебра и слоновой кости,—приношенія больныхъ, жаждущихъ исцѣленія. Съ амвона раздается старческій, неотчетливый голосъ священника, читающаго новую для меня молитву:

«Боже милосердый, воззри на рабовъ Твоихъ, здѣсь предстоящихъ, и помилуй насъ.

«По беззаконіямъ нашимъ караешь Ты насъ, но слишкомъ тяжелъ для насъ гнѣвъ Твой.

«Господи, останови карающую руку Твою и смилуйся надъ нами.

«Лютый врагъ одолеваетъ насъ, у насъ нѣтъ ни вождей, ни жилищъ, ни хлѣба.

«За грѣхи наши гибнемъ мы, но за что должны гибнуть наши неповинныя дѣти?

«Мы терпѣливы, мы покорны волѣ Твоей, но все же мы люди и терпѣть намъ не хватаетъ силы.

«Бороться мы не можемъ, помощь не придетъ ни откуда, и вотъ мы въ послѣдній разъ пришли къ Тебѣ и молимъ: спаси насъ.

«Господи, не доводи насъ до ропота, не доводи насъ до отчаянія. Ты далъ намъ жизнь, не отнимай ее до срока».

Но вотъ посреди молящихся послышалось движеніе. Толпа разступилась, и священникъ быстрыми шагами подошелъ къ чудотворной иконѣ. Священникъ былъ маленькій, старенькій, съ сѣдой, всклокоченной бородкой. Старая, полинявшая риза была сшита не на его ростъ и волочилась по полу.

«Владычица Небесная,—воскликнулъ онъ громкимъ, взволнованнымъ голосомъ,—Ты ближе къ нашимъ людскимъ страданіямъ. Ты знала, что такое мучиться и терпѣть.

«Любимаго и неповиннаго Сына Своего Ты видѣла распятымъ на крестѣ. Ты видѣла Его мучителей, издѣвавшихся надъ Нимъ въ Его послѣдній, смертный часъ.

«Какая скорбь можетъ сравниться съ такой скорбью?

«Скажи же Ему, Сыну Твоему, Сыну Твоему...»

Священникъ не могъ продолжать,—голосъ его задрожалъ, и онъ съ рыданіемъ повалился на землю. Вслѣдъ за нимъ вся

тысячная толпа упала на колѣни. Теперь стонъ уже не раздавался по угламъ церкви, онъ стоялъ сплошной массой, какъ стоитъ иногда дымный столбъ отъ ладана среди храма. Сердце мое переполнилось умиленіемъ и братскимъ чувствомъ общей народной скорби; я также бросился на колѣни и забылся.

Когда я очнулся, церковь была пуста. Всѣ свѣчи въ паникадилахъ были потушены, только маленькая лампадка горѣла передъ темнымъ ликомъ Богоматери. При тускломъ освѣщеніи, выраженіе лица Ея измѣнилось. Сожалѣнія въ немъ не было, глаза Ея смотрѣли безучастно и строго.

Я вышелъ изъ церкви съ смутной надеждой кого-нибудь увидѣть, встрѣтить... Увы! вокругъ меня то же безмолвіе и та же пустота. Попрежнему одноцвѣтно-сѣрое небо, попрежнему мелкій дождь добиваетъ желто-бурые листья, и опять этотъ вѣтеръ, ужасный, несносный вѣтеръ, клонить до земли обнаженные вѣтви березокъ и надрываетъ душу своимъ однообразнымъ свистомъ.

VII.

Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Предомной проходили далекія, давно забытыя и, какъ мнѣ казалось, никогда невиданныя страны, дикіе лѣса, какіе-то гигантскіе бои, въ которыхъ къ людямъ примѣшивались и звѣри. Но это были туманныя очертанія, изъ которыхъ еще не складывалось никакого опредѣленнаго образа. Среди этихъ картинъ промелькнула дѣвочка въ голубомъ платьѣ. Эта дѣвочка была мнѣ давно знакома; во время моего послѣдняго существованія она изрѣдка являлась мнѣ во снѣ, и я всегда считалъ такой сонъ дурнымъ предзнаменованіемъ. Это была дѣвочка лѣтъ десяти, худая, блѣдная и некрасивая, только глаза у нея были чудесные: черные, глубокіе, съ серьезнымъ, совсѣмъ не дѣтскимъ выраженіемъ. Иногда эти глаза выражали такое страданіе и такой испугъ, что, встрѣтившись съ ея взглядомъ, я немедленно просыпался съ біеніемъ сердца и съ каплями холоднаго пота на лбу. Послѣ этого я бывалъ уже не въ силахъ заснуть и нѣсколько дней находился въ раздраженномъ, нервномъ состояніи. Теперь я убѣдился въ томъ, что дѣвочка эта дѣйствительно существовала и что я ее зналъ когда-то... Но кто была она? Была ли она мнѣ

дочь, или сестра, или совсѣмъ посторонняя? И отчего въ ея испуганныхъ глазахъ выражалось такое нечеловѣческое страданіе? Какой извергъ мучилъ этого ребенка? А можетъ быть я самъ мучилъ ее когда-то, и она являлась мнѣ во снѣ, какъ наказаніе и упрекъ.

Странно, что среди моихъ воспоминаній не было вовсе веселыхъ, радостныхъ, что мои внутреннія очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали въ моихъ существованіяхъ и радостные дни, но, вѣроятно, ихъ было немного, потому что они забылись и потонули въ морѣ всякихъ страданій. А если это такъ, то къ чему же самая жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страданія. Есть ли у нея какая-нибудь другая конечная цѣль? Вѣроятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь?

Въ виду этого незнанія, мое теперешнее положеніе, т.-е. состояніе безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мнѣ казаться верховъ блаженства. А между тѣмъ изъ всего этого хаоса неясныхъ воспоминаній и отрывочныхъ мыслей начало у меня выдѣляться одно странное чувство: меня потянуло опять въ ту юдоль мрака и скорби, изъ которой я только что вышелъ. Я старался заглушить въ себѣ это ошущеніе, но оно росло, крѣпло, побѣждало всѣ доводы,—и, наконецъ, перешло въ страстную, неудержимую жажду жизни.

VII.

О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолженія моего прежняго существованія, мнѣ все равно, чѣмъ родиться: княземъ или мужикомъ, богачомъ или нищимъ. Люди говорятъ: «не въ деньгахъ счастье», и однако считаютъ счастьемъ именно тѣ блага жизни, которыя пріобрѣтаются за деньги. Между тѣмъ счастье не въ этихъ благахъ, а во внутреннемъ довольствѣ чловѣка. Гдѣ начинается и гдѣ кончается это довольство? Все сравнительно, все зависитъ отъ горизонта и отъ масштаба. Нищій, протягивающій руку за грошомъ и получающій отъ неизвѣстнаго благодѣтеля рубль, испытываетъ, быть можетъ, большее удовольствіе, нежели банкиръ, выигрывающій неожиданно двѣсти тысячъ. Я и прежде такъ думалъ, но утвердился въ этихъ мысляхъ мѣшали мнѣ предразсудки, внушенные съ дѣт-

ства и признававшіеся мной за аксіомы. Теперь эти миражи разсѣялись, и я вижу все гораздо яснѣе. Я, напримѣръ, страстно любилъ искусство и думалъ, что чувство красоты доступно только людямъ культурнымъ, богатымъ, а безъ этого элемента вся жизнь казалась мнѣ слишкомъ скудной. Но что такое искусство? Понятія объ искусствѣ такъ же условны, какъ понятія о добрѣ и злѣ. Каждый вѣкъ, каждая страна смотрять на добро и зло различно; что считается доблестью въ одной странѣ, то въ другой признается преступленіемъ. Къ вопросу объ искусствѣ, кромѣ этихъ различій времени и мѣста, примѣшивается еще безконечное разнообразіе индивидуальных вкусовъ. Во Франціи, считающей себя самой культурной страной міра, до нынѣшняго столѣтія не понимали и не признавали Шекспира: такихъ примѣровъ можно вспомнить много. И мнѣ кажется, что нѣтъ такого бѣдняка, такого дикаря, въ которыхъ не вспыхивало бы подчасъ чувство красоты, только ихъ художественное пониманіе иное. Весьма вѣроятно, что деревенскіе мужики, усѣвшіеся въ теплый весенній вечеръ на травѣ вокругъ доморощенного балалаечника или гитариста, наслаждаются не менѣе профессоровъ консерваторіи, слушающихъ въ душной залѣ фуги Баха.

О, только бы жить! Только бы видѣть человѣческія лица, слышать звуки человѣческаго голоса, войти опять въ общеніе съ людьми... со всякими людьми: хорошими и дурными! Да и есть ли на свѣтѣ безусловно дурные люди? И если вспомнить тѣ ужасныя условія безсилія и невѣдѣнія, среди которыхъ осужденъ жить и вращаться человѣкъ, то скорѣй можно удивляться тому, что есть на свѣтѣ безусловно хорошіе люди. Человѣкъ не знаетъ ничего изъ того, что ему больше всего нужно знать. Онъ не знаетъ, зачѣмъ онъ родился, для чего живетъ, почему умираетъ. Онъ забываетъ всѣ свои прежнія существованія и не можетъ даже догадываться о будущихъ. Онъ не понимаетъ цѣли всѣхъ этихъ послѣдовательныхъ существованій и совершаетъ непонятный для него обрядъ жизни среди мрака и разнородныхъ страданій. А какъ ему хочется вырваться изъ этого мрака, какъ онъ силится понять, какъ хлопочетъ устроить и улучшить свой бытъ, какъ напрягаетъ онъ свой бѣдный ограниченный разумъ! И всѣ его усилія пропадаютъ даромъ, всѣ изобрѣтенія—часто гениальныя—не разрѣшаютъ ни одного изъ волнующихъ его вопросовъ. Во всѣхъ своихъ стремленіяхъ онъ встрѣ-

часть предѣль, дальше котораго идти не можеть. Онъ, напри-
мѣръ, знаетъ, что, кромѣ земли, существуютъ другіе міры, дру-
гія планеты; съ помощью математическихъ выкладокъ онъ зна-
етъ, какъ эти планеты движутся, когда онѣ приближаются къ
землѣ и когда отъ нея удаляются; но что происходитъ на этихъ
планетахъ и есть ли тамъ подобныя ему существа, — объ этомъ
онъ можеть догадываться, но навѣрное не узнаетъ никогда. А
онъ все-таки надѣется и ищетъ. Въ Америкѣ, на одной изъ
самыхъ высокихъ горъ, собираются зажечь электрическій костеръ,
чтобы подать сигналъ обитателямъ Марса. Развѣ не трогате-
ленъ этотъ костеръ по своей дѣтской наивности?

О, я хочу вернуться къ этимъ несчастнымъ, жалкимъ, тер-
пѣливымъ и дорогимъ существамъ! Я хочу жить общей съ ними
жизнью, хочу опять вмѣшаться въ ихъ мелкіе интересы и дразни,
которымъ они придаютъ такое важное значеніе. Многихъ изъ
нихъ я буду любить, съ другими бороться, третьихъ ненавидѣть, —
но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы!

О, только бы жить! Я хочу видѣть, какъ солнце опускается
за горой, и синее небо покрывается яркими звѣздами, какъ на
зеркальной поверхности моря появляются бѣлые барашки, и цѣ-
лыя скалы волнъ разбиваются другъ о друга подъ голосъ не-
ожиданной бури. Я хочу броситься въ челнокъ навстрѣчу этой
бурѣ, хочу скакать на бѣшеной тройкѣ по снѣжной степи, хочу
идти съ кинжалами на разъяреннаго медвѣдя, хочу испытать
всѣ тревоги и всѣ мелочи жизни. Я хочу видѣть, какъ молнія
разрѣзываетъ небо и какъ зеленый жукъ переползаетъ съ одной
вѣтки на другую. Я хочу обонять запахъ скошеннаго сѣна и
запахъ дегтя, хочу слышать пѣніе соловья въ кустахъ сирени
и кваканье лягушекъ у пруда, звонъ колокола въ деревенской
церкви и стукъ дрожекъ по мостовой, хочу слышать торже-
ственные акорды героической симфоніи и лихіе звуки хоровой цы-
ганской пѣсни.

О, только бы жить! Только бы имѣть возможностьдохнуть
земнымъ воздухомъ и произнести одно человѣческое слово, только
бы крикнуть, крикнуть!..

IX.

И вдругъ я вскрикнулъ, всей грудью, изо всей силы вскрикнулъ. Безумная радость охватила меня при этомъ крикѣ, но звукъ моего голоса поразилъ меня. Это не былъ мой обыкновенный голосъ: это былъ какой-то слабый, тщедушной крикъ. Я раскрылъ глаза; яркій свѣтъ морознаго яснаго утра едва не ослѣпилъ меня. Я находился въ комнатѣ Настасьи. Софья Францовна держала меня на рукахъ. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала.

— Слушай, Васютка,—раздался голосъ Софьи Францовны,—продерись какъ-нибудь въ залу и вызови Семена на минутку.

— Да какъ же я туда продерусь, тетенька?—отвѣчала Васютка.—Сейчасъ князя выносить будутъ, гостей собралось тамъ видимо-невидимо.

— Ну, какъ-нибудь продерись, на минутку всего вызови, вѣдь все-таки отецъ.

Васютка исчезла и черезъ минуту воротилась съ Семеномъ. Онъ былъ въ черномъ фракѣ, обшитомъ плерезами, и держалъ въ рукъ какое-то огромное полотенце.

— Ну, что?—спросилъ онъ, вбѣгая.

— Все благополучно, поздравляю,—произнесла торжественно Софья Францовна.

— Ну, слава тебѣ, Господи,—сказалъ Семень и, даже не посмотрѣвъ на меня, побѣжалъ обратно.

— Мальчикъ или дѣвочка?—спросилъ онъ уже изъ коридора.

— Мальчикъ, мальчикъ!

— Ну, слава тебѣ, Господи,—повторилъ Семень и скрылся.

Въ это время Юдишна оканчивала свой туалетъ передъ комодомъ, на которомъ стояло старое кривое зеркало въ мѣдной оправѣ. Повязавъ голову чернымъ шерстянымъ платкомъ, чтобы идти на выносъ, она обратила негодующій взглядъ на Настасью.

— Нашла тоже время,—нечего сказать. Князя выносить, а она въ это время рожать вздумала. О, чтобъ тебя!..

Юдишна съ ожесточеніемъ плюнула и, набожно крестясь, поплыла по коридору. Настасья ничего ей не отвѣтила, только улыбнулась ей вслѣдъ какой-то блаженной улыбкой.

А меня выкупали въ корытѣ, спеленали и уложили въ люльку. Я немедленно заснулъ, какъ странникъ, уставшій послѣ долгаго, утомительнаго пути, и во время этого глубокаго сна забыть все, что происходило со мной до этой минуты.

Черезъ нѣсколько часовъ я проснулся существомъ безпомощнымъ, безсмысленнымъ и хилымъ, обреченнымъ на непрерывное страданіе.

Я вступалъ въ новую жизнь...



НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВѢСТЬ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *.

I.

Въ тѣ времена, когда изъ Петербурга по желѣзной дорогѣ можно было доѣхать только до Москвы, а отъ Москвы, извиваясь желтой лентой среди зеленыхъ полей, шли по разнымъ направленіямъ шоссе вглубь Россіи, — къ маленькой бѣлой станціи, стоящей у вѣзда въ уѣздный городъ Буяльскъ, съ шумомъ и грохотомъ подкатила большая четырехмѣстная коляска шестерной съ фореиторомъ. Вѣроятно, эта коляска была когда-то очень красива, но теперь являла полный видъ разрушенія. Лиловый штофъ, которымъ были обиты подушки, со всѣмъ вылинялъ и мѣстами порвался; изъ княжескаго герба, нарисованнаго на дверцахъ, осталось такъ мало, что самый искусный геральдикъ затруднился бы назвать тотъ княжескій родъ, къ прославленію котораго былъ изображенъ гербъ. Старый, осанистый кучеръ былъ одѣтъ, несмотря на лѣто, въ армякъ зимняго покроя, а въ должности фореитора состоялъ дюжій парень въ красной рубахѣ и лаптяхъ. Лошади были разнокалиберныя, сбруя сборная, кое-гдѣ торчали веревки. Лакей

* «Неоконченная повѣсть» покойнаго А. Н. Апухтина сдѣлалась извѣстною по тѣмъ двумъ небольшимъ главамъ (ч. I, гл. 9, и ч. II, гл. 1), которыя были помѣщены въ посмертномъ изданіи «Сочиненій А. Н. Апухтина» (т. I), стр. 257—276; стр. 277 — 297). Первые двѣ части, состоящія изъ 20 главъ, совершенно окончены; третья часть останавливается на первой, недоконченной главѣ. Время повѣствованія обнимаетъ 1856—58 гг., эпоху Крымской войны; судя по отмѣткѣ на оригиналѣ, повѣсть была начата въ 1888 году.

въ ливреѣ и картузѣ сидѣлъ на мѣстечкѣ, прицѣлennomъ сзади коляски. На крыльцѣ станціи черноволосый человѣкъ, въ бѣломъ нанковомъ сюртукѣ, приложивъ руки ко лбу въ видѣ зонтика, всматривался въ подъѣзжавшій экипажъ. Это былъ смотритель, обрусѣлый еврей, извѣстный всей округѣ своимъ искусствомъ дѣлать кулебяки и какіе-то необыкновенные битки въ сметанѣ.

— Матушка, ваше сіятельство, по какому случаю пожаловать изволили? — подобострастно залепеталъ онъ, сбѣгая съ крыльца и помогая лакею отворить коляску.

Не безъ труда оттащили они общими усиліями разбухшую дверцу и вынули изъ коляски пожилую тощую даму съ усталымъ и недовольнымъ видомъ. Впрочемъ, съ перваго взгляда никакъ нельзя было опредѣлить ея лѣтъ. И лицо, и прическа, и платье — все въ ней какъ-то вылиняло и потерялось. Только большіе черные глаза говорили о прежней красотѣ.

— Здравствуй, здравствуй, Абрамычъ, — отвѣчала она, съ трудомъ попадая ногами на ступеньки коляски, — сына встрѣтить пріѣхала. Вѣдь мальпость еще не пришелъ?

— Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство, съ минуты на минуту ожидаемъ; пожалуйте на станцію.

Вслѣдъ за пожилой дамой легко и граціозно выскочила изъ коляски молодая дѣвушка въ розовомъ ситцевомъ платьѣ. Ей было лѣтъ шестнадцать; она, видимо, еще не вполне сложилась, черты лица были неправильны, румяный загаръ покрывалъ ея смуглыя щеки. Глаза — большіе и черные, такіе же, какъ у пожилой дамы, смотрѣли далеко не по-дѣтски.

Было жаркое іюльское утро. Комната, въ которую вошли путешественницы, украшалась двумя жесткими диванами, обитыми черной кожей; передъ каждымъ диваномъ стоялъ столъ изъ корельской березы; въ простѣнкѣ висѣло большое зеркало, сверху до-низу испарапанное проѣзжающими. Несмотря на отворенныя окна, было невыносимо душно; цѣлыя міриады мухъ жужжали кругомъ и нисколько не смущались тѣмъ, что на каждомъ окнѣ стояла тарелка съ мухоморами.

— Охъ, устала же я! — говорила княгиня, опускаясь на диванъ, — ты, Соня, какъ хочешь, а я подремлю немножко. Да вотъ что, Абрамычъ: ты намъ къ пріѣзду мальпостъ биточковъ приготовь, да побольше, а то Сережа съ дороги проголодается.

Ты моего Сережу не узнаешь—совсѣмъ большой сталъ. Шутка ли, зимой ужъ выйдетъ изъ лица, чиновникъ будетъ.

— Будьте покойны, ваше сіятельство, голодными не отпустимъ.

Абрамычъ пошелъ распоряжаться; княгиня задремала. Соня вышла на крылечко и, усѣвшись подъ тѣнью навѣса, вынула изъ кармана маленькую книжку. Это былъ одинъ изъ французскихъ романовъ, которые Соня систематически выкрадывала изъ отцовской библіотеки. Съ жадностью начала она читать; нѣкоторыя страницы такъ ей нравились, что она останавливалась и перечитывала ихъ снова. Время отъ времени она сходила съ крылечка и пытливо всматривалась въ дорогу. Она съ нетерпѣніемъ ждала брата: онъ былъ ея единственнымъ другомъ и повѣреннымъ всѣхъ ея тайнъ. Они ничего не таили другъ отъ друга и даже переписывались особеннымъ условнымъ языкомъ... Жаръ усиливался. Кругомъ все окончательно замерло и заснуло. Только нѣсколько бѣлесоватыхъ куръ неугомонно клевали что-то посреди дороги; между ними важно прогуливался большой пѣтухъ и повременамъ пронзительно выкрикивалъ.

Прошло болѣе часа. Старый ямщикъ, съ кнутомъ въ рукѣ, подошелъ къ Сонѣ.

— Взгляните-ка, барышня, на «сопу»: кажись дилижанецъ идетъ. У меня глаза плохи стали, не разберу.

Съ горы медленно спускалась какая-то черная масса.

— Онъ, онъ и есть! — повторилъ ямщикъ, — надо ребятъ будить.

Станція запумѣла. Соня, осторожно спрятавъ книгу въ карманъ, разбудила мать, которая, жалуясь на усталость, выплыла на крылечко. Черезъ нѣсколько минутъ раздался трубный звукъ, и совсѣмъ заморенныя лошади подвезли тяжелую почтовую карету.

— А вотъ и Сережа! — вскрикнула Соня, выбѣгая на дорогу.

Изъ наружныхъ мѣстъ мальпоста вылѣзала лицейская фуражка. Лица нельзя было разглядѣть — до того оно было покрыто густымъ слоемъ пыли. Въ два прыжка Соня очутилась около лицейста, обвила его шею руками и звонко поцѣловала въ губы. Потомъ она отшатнулась, едва не упала съ приступки и, прошептавъ: «мамочка, это не онъ!» — убѣжала на

станцію. Лицеистъ, вытирая почти чернымъ платкомъ **лицо**, остановился на полдорогѣ въ величайшемъ смущеніи. **Замѣшательство** его было такъ велико, что онъ уже занесъ одну **ногу** назадъ, чтобы спрятаться на прежнее мѣсто. Княгиня **остановила** его.

— Молодой человѣкъ, простите мою вѣтреницу: она **васъ** приняла за брата. Ну, что же вы стоите на приступкѣ? *Descendez donc à la fin!* Развѣ мой сынъ, князь Брянскій, не **пріѣхалъ** съ вами?

— Извините меня, княгиня,—забормоталъ бѣдный лицеистъ, рѣшившійся, наконецъ, спуститься на землю: —я такъ запыленъ... Сережа, т.-е., виноватъ, Брянскій, не досталъ **мѣста** въ мальпостѣ и рѣшилъ съ однимъ товарищемъ ѣхать на **перекладной**...

— А! это вѣрно съ Горичемъ? Сережа писалъ, что **привезетъ** его въ деревню. А ваша какъ фамилія?

— Угаровъ, я товарищъ вашего сына и Горича.

Между тѣмъ они вошли въ станціонный домъ.

— Соня, рекомендую тебѣ: Угаровъ, товарищъ Сережи... Какъ имя и отчество?

— Владиміръ Николаевичъ.

Соня, еще не оправившаяся стъ постигшей ее катастрофы, церемонно присѣла, но въ то же время пытливо всматривалась въ вошедшаго. Средняго роста и довольно плотный лицеистъ былъ очень некрасивъ собой. Непричесанные бѣлокурые волосы торчали на головѣ какими-то вихрами; липкая пыль лежала пластами на лицѣ, глаза — добрые, но красивые, выраженіе лица было симпатично и въ ту минуту глубоко несчастно. Княгиня не переставала допекать его.

— Позвольте, молодой человѣкъ, вы говорите, что сынъ мой рѣшилъ ѣхать на перекладной, но въ такомъ случаѣ онъ былъ бы здѣсь раньше васъ. Отчего же его нѣтъ?

— Вотъ видите, княгиня,—оправдывался Угаровъ,—Сережа и Горичъ встрѣтили въ Москвѣ одну знакомую, т.-е., виноватъ, одного знакомаго, и согласились вмѣстѣ обѣдать, а изъ Москвы выѣхать въ ночь...

— Да, знаю я этихъ знакомыхъ!—процѣдила сквозь зубы княгиня,—теперь застрянетъ въ Москвѣ на нѣсколько дней.

Разговоръ замолкъ. Всѣмъ было неловко.

Въ это время появился въ дверяхъ Абрамычъ съ блюдомъ битковъ.

— Съ прїѣздомъ честь имѣю поздравить,—громко пробасилъ онъ и, обратясь къ Сонѣ, прибавилъ:—ну, и молодецъ же вашъ братецъ—весь въ васъ.—Сонѣ показалась такъ смѣшна мысль, что этотъ безобразный лицеистъ похожъ на нее, что она не выдержала и громко расхохоталась. Княгиня такъ же кисло засмѣялась и предложила Угарову позавтракать. При этомъ она спросила его, не сынъ ли онъ бывшаго медлянскаго предводителя, и заявила, что съ матушкой его встрѣчалась когда-то на выборахъ, а съ отцомъ была хорошо знакома.

Вообще съ прїѣздомъ мальпоста княгиня оживилась. Она подозвала къ окну сѣденькаго старичка-кондуктора съ сумкой черезъ плечо и потребовала у него списокъ пассажировъ. Всѣ внутреннія мѣста кареты были взяты «подъ генеральшу Кублицеву», которая ѣхала вдвоемъ съ компаньонкой. Компаньонка эта — толстая, красная дѣвица, изнемогавшая подъ тяжестью голубого шерстяного платья, не замедлила появиться на станціи и заказала лимонадъ для генеральши. Княгиня поговорила и съ ней, назвала себя и даже выразила желаніе повидаться съ почтеннѣйшей Анной Ивановной Кублицевой, съ которой она была давно знакома. На это предложеніе компаньонка только замахала руками.

— Нѣтъ, ваше сіятельство, это никакъ, никакъ невозможно: вотъ ужъ четвертую станцію Анна Ивановна находятся въ очень нервномъ состояніи; я даже доложить не смѣю.

И, подтвердивъ распоряженіе о лимонадѣ, она торопливо направилась къ спущеннымъ шторамъ кареты. Въ наружныхъ мѣстахъ, рядомъ съ Угаровымъ, значился надворный совѣтникъ Прідошенскій.

— Ахъ, Боже мой!—воскликнула княгиня,—да это Тимофейчъ... Гдѣ же онъ?

Оказалось, что Прідошенскій спалъ въ мальпостѣ, и княгиня приказала немедленно разбудить его.

Между тѣмъ биточки стыли на столѣ, и никто до нихъ не дотрогивался.

— Вашъ товарищъ Горичъ...—заговорила Соня,—скажите, какой онъ человекъ?

— Мнѣ трудно отвѣтить на этотъ вопросъ, княжна, — о

пемъ самыя различныя мнѣнія. Во всякомъ случаѣ, онъ очень, очень уменъ.

— А онъ красивъ собой? Кто лучше: онъ или Сережа?

— Красивѣе Сережи у насъ никого нѣтъ. Сережа очень похожъ на васъ.

— Вотъ какъ! вы уже говорите мнѣ комплименты.

Угаровъ покраснѣлъ, какъ ракъ. Онъ и не воображалъ, что говорить комплиментъ. Замѣчаніе это вырвалось у него совершенно искренно.

На выручку ему явился Придошенскій. Заспанный и грязный, съ заплаканнымъ лицомъ и сизымъ носомъ, онъ былъ вѣрнымъ снимкомъ приказнаго допотопныхъ временъ. Когда-то онъ былъ засѣдателемъ змѣвской гражданской палаты, сколотилъ на этомъ мѣстѣ порядочный капитадецъ, вышелъ въ отставку и былъ извѣстенъ по всей Змѣвской губерніи, какъ искусный ходатай и нужный человекъ по всевозможнымъ дѣламъ.

— Хорошъ Тимофеичъ!—говорила смѣясь княгиня,—чуть не проспалъ насъ.

— Могъ ли я ожидать встрѣтить здѣсь мою повелительницу?—завопилъ сильнымъ басомъ Тимофеичъ и подошелъ къ ручкѣ къ княгинѣ, потомъ къ Сонѣ.

— А мнѣ какъ разъ нужно дать тебѣ маленькое порученіе въ Змѣевъ.

Но оказалось, что у княгини былъ для Тимофеича цѣлый ворохъ порученій. Онъ долженъ былъ поговорить съ купцомъ Лаптевымъ о процентахъ, взыскать съ купца Авилова деньги за овесъ, передать преосвященному Никанору жалобу княгини на благочиннаго, вывѣдать въ губернаторской канцеляріи, когда губернаторъ поѣдетъ на ревизію въ Буяльскъ, и не заѣдетъ ли онъ къ ней, въ Троицкое, зайти въ кондитерскую къ Мальвиншѣ и заказать ей десять фунтовъ конфетъ къ Ольгину дню, да чтобъ Мальвинша туда побольше помадки положила, и т. д., и т. д. Придошенскій только пыхтѣлъ и завязывалъ узелки на своемъ огромномъ клѣтчатымъ платкѣ, отъ котораго такъ и разило табакомъ и спиртомъ.

За другимъ столомъ разговоръ, видимо, оживился.

— Какъ странно мы съ вами познакомились, Владиміръ Николаевичъ!—говорила Соня, щури глаза.—Но это, можетъ быть,

къ лучшему. Такъ скучно все, что обыкновенно. Вѣдь вы на меня не разсердились?

— Помилюте, княжна, могу ли я за это сердиться?

— Ну, а если не сердитесь, исполните одну мою просьбу. Оставайтесь здѣсь и поѣдьте съ нами въ Троицкое.

— Этого я никакъ не могу сдѣлать.

— Отчего?

— Оттого что матушка ждетъ меня и, вѣроятно, выѣдетъ навстрѣчу ко мнѣ въ Медлянскъ.

— А гдѣ это Медлянскъ? Далеко отсюда?

— Около ста верстъ, это за Змѣевымъ.

— Ну, такъ вотъ чтó: въ Ольгинъ день мамины именины, и у насъ бываетъ много гостей. Общайтесь, что къ этому дню вы непременно къ намъ прїѣдете.

— О, это съ величайшимъ удовольствіемъ, если только княгиня мнѣ позволить...

— А вы очень любите вашу матушку?

— Да, очень: я никого не любилъ такъ, какъ ее.

— И вы увѣрены, что это всегда такъ будетъ, что вы никого не полюбите больше ея?

Угаровъ подумалъ немного и сказалъ:

— Да, совершенно увѣренъ.

Соня хотѣла еще что-то сказать, но въ это время подъ окнами раздался гнѣвный голосъ голубой компаньонки.

— Генеральша приказала спросить, — приставала она къ кому-то, — чтó это значить? Лошади давно заложены, а мы не двигаемся... Анна Ивановна очень, очень сердятся и непременно будутъ жаловаться...

Пришлось разставаться. Княгиня проводила Угарова до кареты и подтвердила ему приглашеніе побывать у нихъ въ Троицкомъ. Когда кондукторъ уже прилаживалъ свою трубу, чтобы дать сигналъ къ отъѣзду, княгиня вдругъ неожиданно вскринула: «Стой, стой!» Оказалось, что она забыла дать Придошенскому какое-то очень важное порученіе къ губернскому землемѣру. Княжна смотрѣла изъ окна на отъѣзжавшую карету и думала, что этотъ Угаровъ совсѣмъ не такъ дурень, какъ показалось ей въ первую минуту. Княгиня вернулась въ комнату совсѣмъ усталая и очень недовольная тѣмъ, что даже из-

дали ей не удалось увидѣть «эту дурицу Кублицеву, которая Богъ знаетъ что о себѣ воображаетъ»...

Черезъ четверть часа послѣ отъѣзда мальпоста, къ подъѣзду подкатила лихая тройка съ колокольчикомъ и бубенцами. Соня не успѣла подбѣжать къ окну, чтобы посмотреть, кто пріѣхалъ, какъ уже очутилась въ объятіяхъ брата. Вслѣдъ за Сережей вошелъ другой лицеистъ, небольшого роста брюнетъ, съ изящными, хотя слишкомъ самоувѣренными манерами и насмѣшливымъ взглядомъ. Обнимая брата, Соня успѣла шепнуть ему: «представь себѣ, Сережа, я сегодня поцѣловала Угарова». Сережа не выразилъ никакого изумленія, но, представивъ матери своего товарища, выскочилъ съ сестрой на крылечко, гдѣ долго шептался съ ней. Они, видимо, спѣшили наскоро сообщить другъ другу важнѣйшіе секреты. Княгиня тѣмъ временемъ разспросила Горича о всѣхъ его родныхъ. Съ отцомъ его—лицейскимъ профессоромъ—она познакомилась, когда отдавала Сережу въ лицей. Опять появился Абрамычъ со свѣжими биточками, которые на этотъ разъ имѣли полный успѣхъ. Сейчасъ же приказано было закладывать лошадей, но кучеръ куда-то скрылся, и его долго не могли найти. Потомъ явилась необходимость двухъ лошадей подковать, потомъ вздумалось княгинѣ пить чай въ городскомъ саду, потомъ послали фореитора верхомъ на почту узнать, нѣтъ ли писемъ. Наконецъ, коляска была подана. Подсаживая княгиню, Абрамычъ шепнулъ ей:

— А за кушанье и за кормъ лошадей прикажете въ счетъ записать?

— Конечно, въ счетъ,—отвѣчала княгиня совсѣмъ усталымъ голосомъ,—когда приплешь въ Троицкое за масломъ и мукой, когда сосчитаемся.

Въ заключеніе произошла долгая борьба съ дверцей. Несмотря на соединенныя усилія всего общества, она ни за что не хотѣла захлопнуться, такъ что пришлось привязывать ее веревками. Почти уже стемнѣло, когда знаменитый рыдванъ съѣхалъ съ шоссе на проселочную дорогу, по направленію къ селу Троицкому, до котораго отъ станціи было, по мнѣнію княгини, «верстъ пятнадцать и никакъ не больше восемнадцати», а по мнѣнію Абрамыча—«двадцать пять съ хвостикомъ».

II.

Угаровъ уѣлся на свое мѣсто, совсѣмъ ошеломленный встрѣчей съ Соней. Влюбчивый отъ природы, онъ уже въ теченіе трехъ лѣтъ любилъ свою сосѣдку, Наташу Дорожинскую, дочь медянскаго предводителя. Слова: въ теченіе трехъ лѣтъ—надо понимать буквально, т.-е. онъ влюблялся въ нее только лѣтомъ, а зимой онъ какъ-то забывалъ ее и усердно ухаживалъ за разными петербургскими барышнями, съ которыми ему приходилось встрѣчаться. Въ послѣднюю зиму онъ особенно часто бывалъ у своего товарища Миллера, и сестра его, голубоглазая и сентиментальная Эмилія, сразу ему приглянулась. Они вмѣстѣ читали стихи, играли въ четыре руки на фортепіано и говорили о любви. Весной, готовясь къ экзамену вмѣстѣ съ Миллеромъ, Угаровъ раза три украдкой поцѣловалъ пухленькую ручку Эмиліи, вслѣдствіе чего рѣшилъ, что онъ дѣйствительно влюбленъ. На прощаніе Эмилія подарила ему закладку для книгъ: по черному фону она разными шелками вышила слово «Souffrance». Эту закладку Угаровъ не рѣшался уложить въ чемоданъ, а держалъ въ карманѣ куртки и на желѣзной дорогѣ нѣсколько разъ прижималъ ее къ сердцу. Въ Москвѣ, пересѣвъ въ мальпостъ, онъ невольно вспомнилъ свое прошлогоднее путешествіе, и Наташа Дорожинская начала понемногу чередоваться въ его воображеніи съ Эмиліей. Встрѣча съ Соней вытѣснила обѣихъ, и Угаровъ, глядя на спящаго Придошенскаго, старался вспомнить и шепталъ всѣ слова, сказанныя княжной. Онъ чувствовалъ ея горячій поцѣлуй на своихъ губахъ, хотя и повторялъ про себя, что поцѣлуй этотъ былъ предназначенъ для другого, и никогда не повторяется.

Придошенскій, проснувшись, конечно, сейчасъ же заговорилъ о семействѣ Брянскихъ. Онъ осыпалъ ихъ всѣхъ большими похвалами, но похвалы его какъ-то болѣе относились къ прошедшему. Князь Борисъ Сергѣевичъ Брянскій былъ когда-то очень умный человѣкъ и хорошій генералъ, но лѣтъ шесть тому назадъ его разбилъ параличъ, и онъ теперь живетъ только въ тягость и себѣ, и другимъ. Княгиня Брянская, изъ рода Карбановыхъ, когда-то была первой красавицей въ губерніи, но такъ какъ Господь одарилъ ее хорошей памятью, то она «этой своей прежней красоты никакъ забыть не можетъ». Состояніе у нихъ когда-то было огромное, но со времени болѣзни князя

сильно поразстроилось. «Ну, что бы имъ дать мнѣ полную довѣренность!—прибавилъ онъ съ наивной откровенностью.—Я бы, конечно, поживился, но и у нихъ дохода было бы не меньше прежняго». Кромѣ Сережи и Сони, у Брянскихъ была еще старшая замужняя дочь, Ольга, красавица и любимица князя. Мужъ ея, гусаръ Маковецкій, былъ «прекрасный человекъ, даромъ что полякъ», но въ послѣдніе годы, получая меньше содержанія отъ князя, пустился въ игру и разныя аферы. О Сережѣ Тимофеичъ сказалъ: «Ну, этого вы знаете лучше меня!»—а о Сонѣ выразился такъ: «Вотъ съ княжной Софьей Борисовной попробуйте сто лѣтъ въ одномъ домѣ прожить, и то не раскусите. Въ древней Греціи дѣвицъ такихъ сфинксами называли». И очень довольный высказанной имъ эрудиціей, Придошенскій вынулъ изъ табакерки огромную щепотку «цареградскаго».

Верстъ за десять не доѣзжая до Змѣева, мальпость остановился у маленькаго мостика, соединявшаго шоссе съ широкой проселочной дорогой, обсаженной раkitами. За мостомъ стояла карета генеральши Кублицевой, и громадный домъ ея, съ зеленымъ куполомъ, видѣлся на горѣ. Ея сынъ, молодой, но уже почти лысый полковникъ, въ флигель-адъютантскомъ сюртукѣ, почтительно держа въ рукѣ фуражку, отворилъ дверцу кареты. Анна Ивановна поздоровалась съ нимъ сухо и, подозвавъ стоявшаго поодаль приказчика, начала распекать ихъ такимъ зычнымъ голосомъ, котораго никакъ нельзя было ожидать отъ слабой и нервной дамы. «Вотъ какъ вы меня бережете и почете!—кричала она,—въ самый день отъѣзда я узнаю, что dormireт сломанъ, и мнѣ пришлось прожить лишнихъ два дня въ Москвѣ, а потомъ ѣхать въ этомъ мерзкомъ ковчегѣ и еще чортъ знаетъ съ кѣмъ». При этомъ ея гнѣвный взоръ скользнулъ по наружнымъ мѣстамъ, а Придошенскій, толкнувъ Угарова въ бокъ, прошепталъ ему: «Вотъ и намъ съ вами перепало». Наконецъ, безчисленные сундучки и узлы были вынесены изъ кареты, и Анна Ивановна, нѣсколько успокоившись, начала вылѣзать изъ мерзкаго ковчега. Въ это время голубая компаньонка сочла нужнымъ вмѣшаться въ разговоръ, и хотя рѣчь ея клонилась какъ бы въ пользу приказчика, но красное приказничье лицо при первыхъ звукахъ ея голоса выразило сильнѣйшее безпокойство.

— Осмѣлюсь доложить вамъ, Анна Ивановна, что Проко-

фій въ дормезѣ не виновать, онъ еще осенью объ этомъ писалъ. Тоже вотъ насчетъ того архитектора...

— Ахъ, да, я забыла объ архитекторѣ. Какъ ты смѣлъ...

Снова разразилась буря, но мальпость въ это время тронулся, а Придошенскій, высунувшись изъ своего мѣста, произнесъ вполголоса: «Прощай, матушка, спасибо тебѣ, что ты и насъ, бѣдныхъ странниковъ, внесла въ свое поминаньице».

Въ Змѣевѣ Придошенскій вышелъ, обѣщавъ навѣстить своего спутника въ теченіе лѣта. Оставшись единственнымъ путешественникомъ, Угаровъ, по предложенію кондуктора, перешелъ въ карету, всю пропитанную запахомъ одеколона и разныхъ лекарьствъ, отворилъ окна и заснулъ богатырскимъ сномъ.

Когда онъ проснулся, солнце уже зашло. Въмѣсто лекарственнаго воспоминанія о генеральшѣ Кублицевой, въ окна кареты врывался свѣжій вечерній вѣтерокъ, внося съ собою сильный запахъ смолы. Карета ѣхала между двумя стѣнами густого лѣса. Угаровъ зналъ, что только что этотъ лѣсъ кончится, до Медлянска останется не болѣе двухъ верстъ. Теперь никакихъ любовныхъ мечтаній у него не было,—всѣ мысли были заняты предстоящимъ свиданіемъ съ нѣжно любимой имъ матерью. Подъѣзжая къ станціи, онъ высунулся изъ окна, надѣясь, какъ всегда, увидѣть ее на крыльчкѣ. Но ея не было, только старый его слуга, Андрей, съ письмомъ въ рукѣ торопливо подходилъ къ мальпосту.

— Что матушка? здорова?—закричалъ Угаровъ, выскакивая изъ кареты.

— Не такъ-то здоровы, батюшка Владиміръ Николаевичъ, съ прїѣздомъ имѣю честь поздравить,—говорилъ Андрей, подавая ему письмо и цѣлуя на лету его руку.

Письмо было отъ тетки Угарова—Варвары Петровны, жившей съ его матерью. Она писала:

«Милый Володя, прежде всего не пугайся. Мари не совсѣмъ здорова, и я уговорила ее не ѣхать на станцію. Пожалуйста, если найдешь въ ней какую-нибудь перемину, не говори этого при ней. Твоя Варя».

Тарантасъ, запряженный тройкой, стоялъ у подъѣзда. Угаровъ быстро перенесъ въ него, съ помощью Андрея, свой чемоданъ и, усѣвшись въ тарантасъ, велѣлъ ѣхать какъ можно скорѣе. Лошади помчались. Страшная тоска сжимала ему сердце.

Въ первый разъ случилось, что мать не выѣхала къ нему навстрѣчу; онъ зналъ, что только серьезная болѣзнь могла остановить ее. Больше же всего пугали его слова записки: «не пугайся». — «Вѣрно, меня готовятъ къ большому несчастію», — думалъ онъ. — «Что, если ея уже нѣтъ въ живыхъ?» Воображеніе его разыгрывалось, и, проѣхавъ версть шесть, онъ уже представлялъ себѣ, какъ найдетъ ее въ залѣ на столѣ. Нѣсколько разъ пытался онъ допрашивать Андрея, но отъ этого выжившаго изъ ума, хотя и преданнаго человѣка не могъ добиться никакого толка: «больны-то, больны, только не совсѣмъ», — твердилъ онъ. Подѣхавъ къ «капитанскому» мосту, тарантасъ остановился.

— Извольте выходить, Владиміръ Николаевичъ! Я Марья Петровна передъ образомъ побожился, что не повезу васъ въ тарантасѣ черезъ мостъ.

Угаровъ нѣхотя повиновался. Мостъ этотъ назывался «капитанскимъ», потому что лѣтъ сорокъ тому назадъ на немъ провалился и утонулъ какой-то капитанъ; съ тѣхъ поръ его много разъ строили вновь, но никакъ не могли построить порядочно: онъ дрожалъ даже подъ ногами пѣшехода. Божба передъ образомъ, о которой разсказалъ Андрей, нѣсколько успокоила Угарова. «Значить, матушка жива», — подумалъ онъ. Отъ капитанскаго моста оставалось пять верстъ. Вотъ миновали они безконечно тянувшееся казенное село Городище, казавшееся очень красивымъ при лунномъ освѣщеніи; вотъ и дубовая роща, послѣ которой начинались владѣнія Угарова. Теперь каждый кустъ, каждая извилина дороги были ему знакомы, но на всемъ лежалъ, какъ ему казалось, зловѣщій отпечатокъ. Большія деревья сада бросали на свѣтлую дорогу какія-то исполинскія, причудливыя тѣни; окна большого дома какъ-то вопросительно взглянули на него съ крутой горы. Едва отвѣчая на привѣты встрѣчавшей его дворни, Угаровъ быстрыми шагами вбѣжалъ въ залу, въ которую изъ противоположныхъ дверей входила высокая женщина въ бѣломъ ночномъ капотѣ. Угаровъ едва не вскрикнулъ — до того осунулись и измѣнились черты его матери.

— Ну, что, Володя? Очень я перемѣнилась? — говорила она, судорожно сжимая его въ объятіяхъ.

— Нѣтъ, мама, ничего, очень мало! — лепеталъ онъ, едва удерживая рыданія.

— Ну, а теперь, Мари, спать! — властнымъ голосомъ заговорила тетя Варя, на руку которой опиралась больная. — Петръ Богданычъ позволилъ тебѣ встрѣтить Володю съ условіемъ, чтобы ты сейчасъ же шла спать; завтра вдоволь наговоритесь.

— Да, да, я пойду, а ты, дружокъ мой, скушай что-нибудь, ты, вѣрно, проголодался въ дорогѣ.

Въ столовой былъ приготовленъ цѣлый ужинъ, но Угаровъ не могъ ѣсть. Уложивъ больную, тетя Варя пришла къ нему и рассказала ему подробно о болѣзни Марьи Петровны. Она заболѣла довольно серьезно съ мѣсяцъ тому назадъ, но запретила писать объ этомъ Володѣ, «чтобы не помѣшать его экзаменамъ». Потомъ она начала выздоравливать, но въ послѣдніе дни ей опять сдѣлалось хуже. По ночамъ она не могла спать и не переставала говорить о томъ, что съ Володей во время дороги должно случиться какое-нибудь несчастіе; особенно беспокоилась она въ этотъ послѣдній день. Послѣ получасового разговора тетя Варя вышла и, вернувшись съ извѣстіемъ, что больная спитъ совсѣмъ хорошо, убѣдила Володю съѣсть пыленка и выпить чаю. Долго еще бесѣдовала она съ племянникомъ, потомъ проводила его въ «дѣтскую», заново отдѣланную къ его прїѣзду. Оставшись одинъ, Угаровъ бросился на колѣни и началъ горячо молиться. Очень набожный въ дѣтствѣ, онъ теперь считалъ себя невѣрующимъ и давно уже не молился: онъ и теперь не зналъ, кого и о чемъ онъ молить, но какое-то неизъяснимо-отрадное чувство проникло въ его душу послѣ молитвы. Угаровъ самъ удивился этому чувству, котораго онъ бы не могъ испытать въ Петербургѣ, которое было возможно и умѣстно только здѣсь, въ этомъ старомъ домѣ, въ этой комнатѣ, гдѣ онъ такъ много и горячо молился ребенкомъ, гдѣ изъ каждаго угла на него смотрѣло его чистое невозвратно-минувшее дѣтство...

III.

Марья Петровна Угарова была очень счастливая и въ то же время очень несчастная женщина. Обстоятельства ея жизни складывались довольно удачно. Дочь небогатаго, хотя и заслуженнаго генерала Дорожинскаго, она одна изъ сестеръ попала въ Смольный монастырь, гдѣ окончила курсъ съ шифромъ. Не будучи красивой, она имѣла необычайный даръ всѣмъ нравиться .

и уже не въ первой молодости сдѣлала, какъ говорится, «блестящую партію». Мужъ ея, Николай Владиміровичъ Угаровъ, былъ очень добрый и очень богатый человѣкъ, любившій ее безъ памяти. Несчастье же ея заключалось въ томъ, что она жила не дѣйствительной, а какой-то эфемерной мечтательной жизнью. Дни ея катились свѣтло и ровно, но она всегда умѣла выдумать какое-нибудь горе и терзаться имъ. Такъ, напримѣръ, она была увѣрена въ безграничной любви мужа, а между тѣмъ измучила въ конецъ и его, и себя нелѣпой ревностью. Однажды она чуть не сошла съ ума отъ горя, найдя случайно въ бумагахъ мужа какое-то любовное письмо, полученное имъ за десять лѣтъ до женитьбы. Люди, ее знавшіе, думали, что смерть Николая Владиміровича убьетъ ее навѣрное, но, къ ихъ удивленію, Марья Петровна перенесла этотъ ударъ сравнительно спокойно. Тѣ, которые живутъ постоянно въ воображаемомъ горѣ, легче переносятъ настоящее. Марья Петровна столько разъ представляла себѣ болѣзнь и смерть мужа въ то время, какъ онъ былъ совсѣмъ здоровъ, что грозная дѣйствительность не удивила ее, а только еще болѣе убѣдила въ несомнѣнности ея предчувствій. Угаровъ еще при жизни перевелъ на имя жены все свое огромное состояніе, а потому, послѣ его смерти, Марья Петровна очутилась въ очень затруднительномъ положеніи, ничего не понимая ни въ хозяйствѣ, ни въ веденіи дѣлъ, но тутъ Провидѣніе послало ей неожиданную помощь въ лицѣ сестры ея, Варвары Петровны. Очень схожія между собою лицомъ, сестры представляли, по своимъ внутреннимъ свойствамъ, совершенную противоположность. Насколько одна парила въ небѣ, настолько другая твердо жалась къ землѣ. Привыкнувъ съ дѣтства управлять домомъ и небольшимъ имѣніемъ отца, Варвара Петровна осталась старой дѣвой и по смерти Угарова переѣхала жить къ сестрѣ. Мало-по-малу она забирала въ руки бразды правленія, и черезъ годъ неограниченно властвовала надъ сестрой и всѣмъ ея имуществомъ. Она сама объѣзжала многочисленныя Угаровскія помѣстья, разсѣяныя по разнымъ губерніямъ, входила во всѣ мелочи, смѣняла приказчиковъ, быстро понявшихъ, съ кѣмъ они имѣютъ дѣло, и въ нѣсколько лѣтъ настолько увеличила доходы сестры, что могла безъ угрызеній совѣсти принять отъ нея въ подарокъ небольшую деревушку Жохово, которую та купила ей въ семи верстахъ отъ Угаровки.

Варвара Петровна переименовала Жохово—въ Марьяинъ-Даръ и дѣлательно занималась постройкой въ немъ дома и разведеніемъ сада.

Сдавъ всѣ заботы по имѣнію сестрѣ, Марья Петровна исключительно занялась воспитаніемъ своего единственного семилѣтняго сына. Она любила его такой страстной и безпокойной любовью, что чувство это сдѣлалось для нея новымъ источникомъ непрерывнаго горя. Каждый его шагъ казался ей рискованнымъ, въ его будущемъ она видѣла одинъ длинный рядъ опасностей всякаго рода. Эта постоянная нервность невольно сообщалась мальчику, но и тутъ помогло благотѣльное, отрезвляющее вліяніе Варвары Петровны. По ея настояніямъ и послѣ долгой борьбы, Марья Петровна рѣшилась помѣстить сына въ лицей. Поѣздка ея для этого въ Петербургъ и разлука съ сыномъ составляли самую яркую и грустную эпопею ея жизни. При ея больномъ состояніи, ей, конечно, было легко переселиться въ Петербургъ, но странно, что мысль покинуть свое насиженное гнѣздо даже ни разу не пришла ей въ голову. Чуть не обезумѣвъ отъ горя и страха за Володю, вернулась она въ свою Угаровку и посвятила себя самой широкой деревенской благотворительности. Два раза въ недѣлю она получала письма отъ сына, и вся внутренняя жизнь ея проходила въ ожиданіи и перечитываніи этихъ писемъ. Въ теченіе шести лѣтъ она привыкла къ разлукѣ съ Володей, но опасенія за его будущее усиливались съ каждымъ годомъ.

На другой день послѣ пріѣзда Угаровъ былъ разбуженъ громкимъ голосомъ уѣзднаго доктора, стараго друга ихъ дома.

— Ну, молодецъ Володька, нечего сказать!—кричалъ Петръ Богданычъ, стаскивая съ него одѣяло.—Пріѣхалъ на каникулы, чтобы у меня хлѣбъ отбивать. Да ты съ одного визита такъ помогъ матери, что мнѣ и ѣздить къ ней не нужно... Она и ночь проспала отлично, и теперь чай пить на балконѣ. Этакъ ты у меня всю практику отобьешь!

Пока Угаровъ умывался и одѣвался, докторъ рассказывалъ ему весь ходъ болѣзни Марьи Петровны.

— Я всегда говорилъ, что ничего серьезнаго не было. Правда, около печенки есть кое-какіе безпорядки, но главное дѣло въ нервахъ и воображеніи. Старайся только, чтобы она чѣмъ-нибудь не разстроилась—другого леченія не нужно.

Марья Петровна сидѣла на балконѣ, въ большомъ креслѣ, обложенномъ подушками. Лицо ея было блѣдно, но выражало счастливое настроеніе людей, чувствующихъ, что они выздоравливаютъ. Докторъ представилъ Володю, какъ своего ассистента, которому онъ сдаетъ больную, и, объявивъ, что у него есть болѣе серьезные больные, уѣхалъ. Среди разсказа объ экзаменахъ и путешествіи, Володя вспомнилъ о встрѣчѣ въ Буяльскѣ, а при этомъ воспоминаніи вдругъ что-то жгучее кольнуло его въ сердце. Онъ передалъ матери поклонъ княгини Брянской и спросилъ, что это за женщина.

— Ну, что, Богъ съ ней!—сказала Марья Петровна.

Володя зналъ, что въ устахъ его матери эта фраза была самымъ сильнымъ осужденіемъ, и потому промолчалъ о своемъ намѣреніи ѣхать въ Троицкое. Зато онъ очень распространился объ Эмилии, о которой его мать уже знала по его письмамъ. Онъ даже показалъ «Souffrance». При видѣ этого вышитаго шелками страданія, Варвара Петровна разразилась гомерическимъ хохотомъ, а Марья Петровна, невольно улыбаясь, замѣтила:

— Ты всегда, Варя, смѣешься надъ чувствами, а эта бѣдная дѣвушка, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ страдаетъ.

Марья Петровна была всегда повѣреннымъ сердечныхъ тайнъ своего сына и до нѣкоторой степени имъ сочувствовала. Конечно, какое-нибудь серьезное увлеченіе преисполнило бы ея сердце ревностью, а когда ей приходила мысль о его женитьбѣ, это казалось ей хотя отдаленнымъ, но чудовищнымъ горемъ. Аванасій Ивановичъ Дорожневскій былъ ея двоюроднымъ братомъ, а потому любовь Володи къ его дочери, Наталѣ, не беспокоила Марью Петровну: бракъ между родственниками она признавала совершенной невозможностью.

Тихо и радостно катились дни для Угарова.

Вставалъ онъ поздно; Марья Петровна все утро бывала занята больными, стекавшимися къ ней въ огромномъ количествѣ изъ окрестныхъ селъ и деревень. Она не только лечила ихъ, но снабжала иногда бѣльемъ и деньгами, что больше всего способствовало ея медицинской популярности. Варвара Петровна ежедневно ѣздила въ свой Маринтъ-Даръ и возвращалась къ обѣду. Вечеръ всѣ проводили вмѣстѣ на балконѣ, откуда открывался широкій видъ на окрестные лѣса и усадьбы; а если было сыро на воздухѣ, они усаживались въ уютной диванной,

любимой комнатѣ Марьи Петровны, въ которой она зимой привыкла коротать у камина свои длинные одинокіе вечера. Варвара Петровна читала вслухъ какой-нибудь романъ; только когда въ трогательныхъ мѣстахъ она замѣчала, что въ голосѣ ея прорывается слезливая нотка, она передавала книгу Володѣ, жалуясь на усталость. Болѣе всего на свѣтѣ она боялась, чтобы ее не заподозрили въ чувствительности. А когда всѣ въ домѣ укладывались спать, Володя приказывалъ осѣдлать своего Фортунчика и уѣзжалъ на нѣсколько часовъ далеко-далеко въ поле. Эти часы онъ всецѣло посвящалъ Сонѣ. Иногда она представлялась ему въ привлекательныхъ, но неясныхъ чертахъ; но бывали минуты, когда онъ сознавалъ себя безповоротно подъ властью этого новаго, сильнаго чувства. Онъ былъ убѣжденъ, что все рѣшится 11-го іюля, но—какъ устроить эту поѣздку? Сначала, во время болѣзни матери, онъ не рѣшался говорить о предстоящемъ ему путешествіи, чтобы не разстроить ее; но вотъ Марья Петровна совсѣмъ выздоровѣла, а Володя все не могъ рѣшиться. Случай помогъ ему.

Нѣсколько разъ Марья Петровна, гуляя по саду съ сыномъ, начинала говорить: «А у меня къ тебѣ, Володя, большая, большая просьба»... потомъ останавливалась и прибавляла: «нѣтъ, объ этомъ какъ-нибудь послѣ поговоримъ». Однажды,—это было уже въ началѣ іюля,—они сидѣли на балконѣ, въ ожиданіи обѣда. Тетя Варя, только что вернувшаяся изъ Марьяна-Дара, взглянувъ на сестру, сказала:

— А у тебя, Мари, глаза не хороши, ты опять дурно спала. Да скажи же ему наконецъ, что тебя беспокоитъ. Что за охота мучиться и молчать?

Володя воспользовался этимъ случаемъ и сказалъ, что у него также большая просьба къ матери.

Тогда Марья Петровна рѣшилась высказать опасеніе, мучившее ее нѣсколько мѣсяцевъ и, вѣроятно, бывшее одной изъ причинъ ея болѣзни.

Большая грозная туча войны со всѣхъ сторонъ надвигалась на Россію; весной былъ объявленъ новый рекрутскій набѣръ. Въ одномъ изъ писемъ Володя, говоря о патріотическомъ настроеніи, охватившемъ лицей, сказалъ, что всѣ его товарищи, при первой возможности, полетятъ на защиту отечества. Изъ этихъ строкъ Марья Петровна заключила, что сынъ ея рѣшился

выйти въ военную службу. Цѣлый мѣсяцъ она тщательно ждала, что Володя заговорить объ этомъ, и, наконецъ, рѣшилась сама просить его, чтобы онъ не губилъ ея старости, идя на вѣрную смерть.

Володя сознался, что дѣйствительно у него было это намереніе, что его уговаривали нѣкоторые товарищи, особенно братья Константиновы—славные ребята, любимые всѣмъ классомъ, но что, во всякомъ случаѣ, онъ не сдѣлалъ бы такого важнаго шага безъ позволенія матери. Кончилось тѣмъ, что онъ далъ торжественное обѣщаніе выйти изъ лицея въ гражданскую службу. Марья Петровна горячо обняла сына, говоря, что онъ цѣлую гору свалилъ съ ея души, и просила его поскорѣй сказать, въ чемъ заключается его просьба, которая, конечно, будетъ исполнена.

— Видишь, мама,—началъ Володя, чувствуя, что краснѣетъ, а оттого еще болѣе смущаясь,—мой товарищъ и другъ Брянскій нѣсколько лѣтъ уже приглашаетъ меня пріѣхать къ нему въ деревню, а теперь и княгиня пригласила меня на 11-е іюля. Я знаю, что ты меня не будешь удерживать, но, понимаешь, я поѣду только тогда, когда ты мнѣ скажешь, что рѣшительно ничего, ничего противъ этого не имѣешь...

При этихъ неожиданныхъ словахъ что-то тревожное зашевелилось въ сердцѣ у Марьи Петровны, но она превозмогла это ощущеніе и спокойно отвѣчала:

— Конечно, поѣзжай, мой дружокъ; я даже рада, что ты разсѣнешся... Только вернись ко дню твоего ангела.

— Еще бы, мама, я вернусь 12-го,—самое позднее: 13-го утромъ...

— Ну, и отлично, что объяснилось! — воскликнула Варвара Петровна.—Теперь пойдемте обѣдать.

Но въ это время раздался стукъ подъѣзжавшаго экипажа, и на балконъ, семеня ножками, вбѣжала Наташа Дорожинская. Высокая, рыжая англичанка шла, едва поспѣвая за ней.

— Bonjour, ma tante — лепетала Наташа, цѣлуя руку у Марьи Петровны.—Хотя папѣ еще не вернулся изъ Петербурга, но мнѣ такъ хотѣлось узнать о вашемъ здоровьѣ, что я уговорила миссъ Рэгъ пріѣхать къ вамъ сегодня. Вы намъ позволите остаться?

— Какой смѣшной вопросъ, Наташа, вѣдь мы не чужіе! —

обиженнымъ голосомъ отвѣчала Марья Петровна, очень строгая въ вопросѣ родственныхъ отношеній.

— Bonjour, ma tante!—продолжала Наташа, обращаясь къ Варварѣ Петровнѣ нѣсколько холодноѣ, потому что знала, что та ее недолюбливаетъ.—Bonjour, mon cousin!—сказала она уже совсѣмъ холодно Володѣ и протянула ему одинъ палецъ.

Холодность къ Володѣ была наказаніемъ за то, что онъ въ цѣлый мѣсяцъ не собрался пріѣхать къ Дорожинскимъ.

Наташа была небольшого роста, довольно полная блондинка и съ перваго взгляда могла показаться хорошенькой, но, проведя съ ней цѣлыя сутки, вы на другой день могли не узнать ее: до того всѣ черты лица ея были неопредѣленны и безцвѣтны. Маленькіе глазки, которые она то щурила, то вскидывала вверхъ, уже начали заплывать легкимъ жиромъ. Ея рѣчь, походка, выраженіе лица,—все состояло изъ какихъ-то недомолвокъ и намековъ.

Обѣдъ прошелъ вяло. Миссъ Рэгъ, видимо, на что-то негодовала, и хотя она умѣла съ грѣхомъ пополамъ говорить по-французски, но на всѣ обращенныя къ ней вопросы отвѣчала какими-то односложными междометіями. Наташа продолжала убивать Володю холодностью, безпрестанно вскидывала на него своими маленькими глазками, а встрѣтивъ его взоръ, немедленно отворачивалась. Тѣмъ не менѣе, тотчасъ послѣ обѣда, она предложила ему пойти вмѣстѣ къ пруду, чтобы посмотреть, какъ принялись молодые липки. На полдорогѣ, у большого клена, она остановилась и, сѣвъ на скамью, сочла своевременнымъ начать объясненіе.

— Вотъ и правду говорятъ, mon cousin, что времена переменчивы. Прежде, бывало, вы на другой день пріѣзда были у насъ, а теперь...

Угаровъ стоялъ передъ ней и въ душѣ совершенно соглашался съ ея мнѣніемъ о переменчивости времени. Сколько разъ на этой самой скамейкѣ онъ клялся ей въ вѣчной любви, а теперь онъ смотрѣлъ на нее и никакъ не могъ понять, что ему могло въ ней нравиться. Онъ, конечно, началъ оправдываться болѣзнью матери.

— Это правда, но теперь ma tante здорова, пріѣзжайте къ намъ въ день именинъ моей крестницы Ольги; къ этому дню и папа вернется...

— Я бы съ удовольствіемъ пріѣхалъ, но какъ разъ въ этотъ день я обѣщалъ быть на именинахъ у одного товарища по лицею...

— Вотъ какъ! Я и не знала, что у насъ по сосѣдству завелись лиценсты, да еще такіе, которые бываютъ именинниками въ Ольгинъ день. Кто же этотъ товарищъ?

— Товарищъ этотъ—Брянскій, т.-е. не онъ именинникъ, а его мать—княгиня Брянская.

— Вы какъ-то путаетесь въ отвѣтахъ; но все это вы мнѣ объясните дорогой. Вѣдь мы поѣдемъ верхомъ въ дубовую рощу? Я привезла амазонку. Велите осѣдлать лошадей.

Угаровъ съ грустью пошелъ дѣлать распоряженіе о лошадяхъ, но миссъ Рэгъ выручила его, рѣшительно запретивъ прогулку верхомъ. Наташа пробовала взять ее кротостью, потомъ начала возвышать голосъ, но англичанка вдругъ разразилась такимъ потокомъ шипящихъ и свистящихъ словъ, что амазонка притихла и смирилась. Послѣ этого прошло еще нѣсколько томительныхъ часовъ. Миссъ Рэгъ окончательно вознегодовала, не произносила никакихъ междометій и съ упорнымъ презрѣніемъ смотрѣла на клумбу георгинъ и душистаго горошка. Наташа безъ умолку рассказывала о томъ, какъ ея отецъ богатѣетъ ежегодно, и какія онъ изобрѣтаетъ улучшенія по хозяйству. Тетя Варя изрѣдка ее останавливала и слегка язвила. Марья Петровна и Володя почти не принимали участія въ разговорѣ, но они такъ были счастливы своими утренними разговорами, что даже и не испытывали скуки. А все-таки, когда они, проводивъ Наташу до экипажа, усѣлись въ диванной, вздохъ облегченія вырвался у нихъ одновременно.

— Ахъ, какъ хорошо безъ гостей!—воскликнула Варвара Петровна и, придвинувъ къ себѣ лампу, вынула изъ своего объемистаго кармана небольшой томикъ «Давида Копперфильда» во французскомъ переводѣ.

IV.

Десятаго іюля, въ десятомъ часу вечера, Угаровъ подъѣзжалъ къ ярко-освѣщенному дому села Троицкаго. Молодой, проворный казачокъ, встрѣтившій его у подъѣзда, повелъ его въ отдѣльный флигель, гдѣ помѣщался Сережа. Угаровъ тщательно

вымылся, причесался, надѣлъ мундиръ и чистыя перчатки и съ замираніемъ сердца отправился въ большой домъ. Онъ попросилъ доложить о немъ княгинѣ или вызвать Сережу, но казачокъ объяснилъ ему, что всѣ молодые господа уѣхали кататься, а княгинѣ докладывать нечего. «Пожалуйте!—Угаровъ вошелъ въ огромную залу, въ два свѣта съ хорами. Голоса слышались справа изъ гостиной и слѣва съ большого балкона, выходящаго въ садъ. Угаровъ пошелъ направо. Княгиня сидѣла спиной къ дверп и играла въ карты съ двумя стариками. На другомъ концѣ большой гостиной у раскрытаго окна сидѣлъ флигель-адъютантъ Кублищевъ и также игралъ съ какимъ-то гусаромъ. Угаровъ нѣсколько разъ расшаркивался передъ княгиней, но та была такъ погружена въ игру, что даже не замѣчала его. Угаровъ хотѣлъ уже удалиться, но гусаръ—красивый блондинъ, съ пязично расчесанными бакенбардами, замѣтивъ эту сцену, пришелъ ему на помощь.

— Вы, вѣроятно, къ Сережѣ,—сказалъ онъ, любезно протягивая ему руку,—его дома нѣтъ. Позвольте мнѣ представить васъ хозяйкѣ дома.

И, спросивъ его фамилію, гусаръ подвелъ его къ княгинѣ.

— Маман, m-g Угаровъ...

Княгиня устремила на него усталый взоръ.

— Ахъ, Боже мой, да мы знакомы! Очень мило, что вы къ намъ пріѣхали... Вотъ, если бы вы пошли въ черви,—немедленно обратилась она къ одному изъ старичковъ,—то Иванъ Ефимычъ былъ бы безъ двухъ.

— Ну, княгинѣ теперь не до насъ,—сказалъ гусаръ съ улыбкой,—Сережа сейчасъ вернется, а пока позвольте познакомить васъ съ его старшей сестрой. Я ея мужъ—Маковецкій.

Балконъ, на который они вошли, былъ весь заставленъ цвѣтами и разнокалиберной мебелью. По серединѣ длиннаго стола, покрытаго всякими яствами, стояла большая карсельская лампа съ бѣлымъ матовымъ колпакомъ. Яркій свѣтъ падалъ отъ этой лампы на усыпанную пескомъ дорожку сада и захватывалъ часть газона, разстилавашагося зеленымъ ковромъ передъ балкономъ. Изъ-за чайнаго стола поднялась молодая, стройная женщина.

Ольга Борисовна Маковецкая была на шесть лѣтъ старше Сережи. По нѣкоторымъ, едва уловимымъ очертаніямъ губъ и по складу лица она напоминала мать и сестру, но она была

блондинка, да и по общему впечатлѣнію, производимому всей ея изящной фигурой, принадлежала къ другому типу. Ни въ одномъ ея движеніи не было и тѣни кокетства; голубые глаза смотрѣли прямо и ласково.

— Сережа очень будетъ радъ васъ видѣть, — сказала она, привѣтливо протягивая руку Угарову, онъ васъ ждалъ. Саша, — обратилась она къ мужу, — когда же вы кончите съ Simon вашъ несносный пикетъ? У насъ гораздо веселѣе.

— Мы сейчасъ придемъ, — отвѣтилъ Маковецкій и исчезъ за дверью.

Общество, которое Угаровъ засталъ на балконѣ, состояло изъ четырехъ лицъ. Вовлѣ Ольга Борисовны сидѣлъ небольшого роста, довольно полный господинъ, котораго она назвала Иваномъ Петровичемъ Самсоновымъ, — съ мягкими, почти рыхлыми чертами лица, съ добродушной улыбкой и подслѣповатыми глазками. Впрочемъ, ни на него, ни на его жену — пожилую даму съ лицомъ, покрытымъ веснушками, Угаровъ не обратилъ особеннаго вниманія, потому что оно было всецѣло поглощено человѣкомъ очень большого роста съ умнымъ, энергическимъ лицомъ. Онъ задумчиво смотрѣлъ въ садъ. Огромная голова его оканчивалась цѣлой гривой черныхъ съ просѣдью волосъ, не особенно тщательно причесанныхъ, длинная борода была почти сѣдая. Звали его Николаемъ Николаевичемъ Камневымъ; одѣтъ онъ былъ въ плисовые шаровары и армякъ изъ тонкаго синяго сукна.

— Присутствіе молодого лицеиста не будетъ здѣсь лишнимъ, — заговорилъ онъ громкимъ, звучнымъ басомъ, когда всѣ опять усѣлись, — такъ какъ я только что хотѣлъ прочесть вамъ стихотвореніе, принадлежащее перу одного лицеиста.

И эффектно откинувшись на спинку кресла, онъ, понизивъ голосъ, началъ:

Въ глубинѣ сибирскихъ рудъ
Храните гордое терпѣнье...

Когда онъ кончилъ, Угаровъ робко спросилъ, какой лицеистъ былъ авторомъ этихъ стиховъ. Камневъ задумчиво облокотился на столъ и отвѣчалъ глухимъ голосомъ:

— Лицеистъ этотъ плохо учился, плохо служилъ, плохо же-

нили и даже, какъ утверждали подъ конецъ его жизни иные критики, плохо писаль... Лицейскъ этотъ былъ Пушкинъ.

При послѣднихъ словахъ Камневъ побѣдоносно и строго вскинулъ глазами на Угарова.

Угаровъ, знавшій наизусть Пушкина, сознался, что это стихотвореніе онъ слышалъ въ первый разъ.

— Мало ли чего еще вы не знаете и не можете знать!— воскликнулъ Камневъ и прочиталъ нѣсколько стихотвореній Пушкина, бывшихъ тогда подъ строгимъ запретомъ цензуры.

— Иванъ Петровичъ, теперь ваша очередь,—сказала Ольга Борисовна,—вы намъ давно ничего не читали.

Самсоновъ заволновался и закачался на своемъ стулѣ.

— Право, не знаю, что бы вамъ такое прочитать; вотъ развѣ...

Но Камневъ, любившій больше говорить, чѣмъ слушать, поспѣшилъ прервать его:

— Не знаю, рассказывалъ ли я вамъ, Иванъ Петровичъ, о моей послѣдней встрѣчѣ съ Пушкинымъ у Чаадаева...

Въ это время въ залѣ послышался цѣлый хоръ молодыхъ голосовъ, и Соня первая, запыхавшись, съ соломенной шляпой въ рукѣ, вбѣжала на балконъ.

— Выиграла, выиграла пари!—закричала она, увидѣвъ Угарова.— Представьте себѣ, мы подъѣзжаемъ къ дому и видимъ возлѣ конюшни неизвѣстный экипажъ, я прямо говорю: вы!—Горичъ говоритъ: не вы! Яковъ Ивановичъ, я съ васъ выиграла пари.

— Что дѣлать, княжна, я теперь въ вашемъ распоряженіи, можете приказать мнѣ, что хотите,—говорилъ Горичъ, входя на балконъ съ одной изъ дочерей Самсонова.

— И прикажу, будьте спокойны.

Вслѣдъ за ними вошли еще двѣ барышни Самсоновыхъ, хорошенькая Варя Спицына, дочь одного изъ старичковъ, игравшихъ въ карты, Сережа и два молодыхъ артиллериста изъ батареи, стоявшей въ Бульскѣ. Шествіе замыкалось Христиной Осиповной, старой гувернанткой, съ незапамятныхъ временъ жившей въ домѣ Брянскихъ.

Ольга Борисовна спросила, не хочетъ ли кто чаю, но Соня отвѣтила за всѣхъ, что и безъ того жарко, и предложила молодежи идти на гигантскіе шаги, устроенные на небольшой полянѣ, среди большихъ столѣтнихъ дубовъ. Она называла это мѣсто

своимъ царствомъ. Тамъ она тайно читала недозволенные книги, совѣщалась съ Сережей, мечтала и иногда плакала.

Угаровъ шелъ подъ-руку съ Соней и рѣшительно не зналъ, о чемъ говорить съ ней. Цѣлый мѣсяцъ онъ жилъ мечтой объ этомъ свиданіи, и вотъ свиданіе состоялось, но какъ-то совсѣмъ не такъ, какъ онъ себѣ представлялъ его. Соня болтала безъ умолку, но тоже не находя предмета разговора, и нѣсколько разъ благодарила его за то, что онъ пріѣхалъ.

Угаровъ отказался занять лямку, потому что отъ гигантскихъ шаговъ у него кружилась голова но не могъ оторвать глазъ отъ Сони и воображалъ себя дѣйствительно въ какомъ-то царствѣ, никогда невиданномъ и волшебномъ. Огромные дубы, какъ сказочные великаны, неподвижно стояли кругомъ, луна ударила прямо въ бѣлый столбъ и придавала летающимъ людямъ какой-то совсѣмъ фантастическій оттѣнокъ. Вдоволь налетавшихъ, всѣ успѣли на скамьи и начали пѣть хоровую пѣсню, но Соня вдругъ остановила пѣніе и объявила Горичу, что онъ сейчасъ долженъ будетъ выполнить пари. Она отозвала его въ сторону и что-то приказывала ему; онъ отпѣкивался; наконецъ, призвали судьей Сережу, и торжествующая Соня скомандовала возвращаться домой, говоря, что всѣмъ будетъ большой сюрпризъ. Когда молодая ватага подошла къ балкону, на немъ попрежнему раздавался густой басъ Камнева:

— Вотъ что сказалъ мнѣ великій Гумбольдтъ, когда онъ посѣтилъ меня въ Москвѣ...

Но на этотъ разъ слушатели не узнали того, что сказалъ Гумбольдтъ, потому что произошло нѣчто неожиданное. Горичъ подошелъ къ Самсонову, сталъ передъ нимъ на колѣни и съ комической торжественностью произнесъ:

— Вы слышали, Иванъ Петровичъ, что я проигралъ княжнѣ пари à discrétion. Поэтому она приказала мнѣ стать передъ вами на колѣни и просить васъ отъ имени всего общества прочесть намъ «Скупого рыцаря».

Самсоновъ совсѣмъ заволновался и запатался на стулѣ.

— Помилуйте, какъ же это «Скупого рыцаря»? Я сто лѣтъ его не читалъ, я вѣрно забылъ...

— Это какъ вамъ будетъ угодно, — продолжалъ спокойно Горичъ, — но только я долженъ стоять на колѣняхъ до тѣхъ поръ, пока вы не пообщаете...

— Ну, что же, если это общее желаніе, я попробую...

Соня въ два прыжка очутилась въ гостиной.

— Мама, Александръ Викентьевичъ, Семень Семенычъ, идите всѣ на террасу: Иванъ Петровичъ будетъ читать «Скупого рыцаря».

Всѣ повиновались. Княгиня по разсѣянности вышла даже съ картами въ рукахъ. Задвигались стулья, всѣ обступили Ивана Петровича. Соня сбѣжала въ садъ и, ставъ на скамью, прислоненную къ балкону, впилась глазами въ Самсонова. Угаровъ смотрѣлъ на этого робкаго, пухлаго отца трехъ некрасивыхъ дочерей и не понималъ причины общаго оживленія.

Между тѣмъ, это оживленіе, видимо, доставляло Ивану Петровичу большое удовольствіе, потому что онъ радостно улыбался. Потомъ онъ облокотился на столъ и на минуту закрылъ лицо руками, какъ бы собираясь съ силами и входя въ роль. Когда онъ поднялъ голову, Угаровъ не узналъ его. Добродушная улыбка исчезла, все лицо исказилось какимъ-то страстно-хищническимъ выраженіемъ:

Какъ молодой повѣса ждетъ свиданья...

началъ онъ разбитымъ старческимъ голосомъ, но, по мѣрѣ чтенія, этотъ голосъ все росъ и возвышался, и безповоротно овладѣлъ слушателями, то доходя до какой-то дикой силы, то превращаясь въ слабый отчаянный шопотъ... Скоро Угаровъ совсѣмъ пересталъ видѣть Ивана Петровича. Онъ видѣлъ только мрачный подвалъ, раскрытые сундуки съ грудями золота и страшнаго старика, который тѣмъ страшнѣе, чѣмъ тише говорить. Когда этотъ старикъ, съ воплемъ отчаянія въ голосѣ, заговорилъ про совѣсть:

...совѣсть,

Когтистый звѣрь, скребищій сердце...

невольный стонъ вырвался у кого-то изъ слушателей, но никто на это не обратилъ вниманія. Когда монологъ кончился, въ теченіе секунды длилось мертвое молчаніе, уступившее мѣсто шумнымъ восторгамъ. Камневъ съ чувствомъ потрясалъ руку Ивана Петровича, повторяя:

— Превосходно, дѣйствительно превосходно, вы давно такъ не читали.

Отъ этихъ восторговъ первая опомнилась княгиня и предложила своимъ старичкамъ пойти покончить пульку. Маковецкій и Кублицевъ объявили, что послѣ этого чтенія они въ пиветъ играть не могутъ, и остались. Начался настоящій турниръ. Камневъ и Самсоновъ поочередно читали и старались превзойти другъ друга. Чувствуя себя побѣжденнымъ, Камневъ перешелъ въ область французской поэзіи, болѣе удобной для его декламации, и воспроизводилъ цѣлыя сцены изъ драмъ Виктора Гюго. Самсоновъ не остался въ долгу и съ большимъ блескомъ прочелъ монологъ изъ «Сида». Общее настроеніе достигло, наконецъ, такой высоты, что всѣ почувствовали потребность спуститься на землю. По просьбѣ Ольги Борисовны, Кублицевъ прочелъ нѣсколько отрывковъ изъ путешествій госпожи Курдюковой. Послѣ столькихъ серьезныхъ впечатлѣній, это чтеніе, какъ контрастъ, имѣло большой успѣхъ. Только Камневъ, нагнувшись къ Ивану Петровичу, сказалъ ему вполголоса:

— Никогда не понималъ я этого юмора, это не юморъ, а буфонство.

Время летѣло такъ незамѣтно, что всѣ были очень удивлены, когда въ дверяхъ появился степенный дворецкій и соннымъ голосомъ проговорилъ:

— Купать пожалуйста.

Во время ужина раздался колокольчикъ, и въ столовую ввалился Придошенскій, встрѣченный общимъ, дружнымъ смѣхомъ. Но Придошенскій былъ серьезенъ; онъ привезъ важное извѣстіе. Князь Холмскій, змѣевскій губернаторъ, долженъ былъ производить ревизію въ Буяльскѣ, въ срединѣ августа; но утромъ, 10-го іюля, онъ получилъ какую-то эстафету изъ Петербурга, послѣ чего призвалъ правителя канцеляріи и велѣлъ ему немедленно готовиться въ путь. Завтра онъ пріѣдетъ къ обѣду въ Троицкое, а съ 12-го начнется ревизія.

Княгиня притворилась равнодушной къ этому извѣстію, однако сейчасъ же велѣла позвать въ переднюю повара Антона и долго совѣщалась съ нимъ о завтрашнемъ обѣдѣ. Камневъ заявилъ, что извѣстіе, привезенное Придошенскимъ, вѣроятно, помѣшаетъ ему пріѣхать, такъ какъ въ прошломъ году проконсулъ сдѣлалъ ему выговоръ черезъ предводителя за то, что встрѣтилъ его однажды въ русскомъ платьѣ. Впрочемъ, послѣ всеобщихъ протестовъ, онъ обѣщалъ порыться въ сундукахъ — и

прѣхать, если найдетъ какую-нибудь «старую, глупую европейскую хламиду». Послѣ ужина княгиня пошла оканчивать свою пульку, которую все еще не успѣла доиграть. Изъ гостей уѣхалъ одинъ Камневъ, жившій въ пяти верстахъ отъ Троицкаго; остальные гости были свободно размѣщены по разнымъ комнатамъ громаднаго княжескаго дома. Когда Угаровъ и Горичъ пришли въ свой флигель, они, къ удивленію, увидѣли Сережу, только что вертѣвшагося къ залѣ, уже лежащимъ въ постели и укутаннымъ съ головой въ бѣлое одѣяло. Едва они улеглись и потушили огонь, въ комнату вошелъ казачокъ Филька съ письмомъ и карандашомъ въ рукѣ. Расстолкавъ барина, онъ зажегъ свѣчу и сказалъ:

— Сергѣй Борисовичъ, княжна ждетъ отвѣта.

Сережа лѣниво поднялся, прочиталъ записку, потомъ тщательно сжегъ ее на свѣчѣ и началъ писать отвѣтъ.

— Ну, опять началась «почта духовъ», — сердито проворчалъ Горичъ, — точно мало вамъ цѣлый день шептаться.

П, повернувшись лицомъ къ стѣнѣ, онъ захрапѣлъ.

А Угаровъ, несмотря на усталость, долго не могъ заснуть. Стихи, дорога, луна, летающіе люди, Соня, «Скупой рыцарь», — всѣ разнообразныя впечатлѣнія дня путались въ его головѣ и заставляли сердце его биться какой-то сладкой тревогой.

V.

Въ Троицкомъ жилось беспорядочно и весело. Не было ни опредѣленныхъ занятій, ни опредѣленныхъ часовъ для какихъ бы то ни было занятій. Единственная аккуратная женщина въ домѣ—Христина Осиповна—ежедневно въ 9 часовъ утра являлась въ столовую и до самаго завтрака разсылала чай и кофе по разнымъ комнатамъ и флигелямъ. Завтракали—кто гдѣ хотѣлъ. Когда у знаменитаго Антона, сорокъ лѣтъ исполнявшаго въ Троицкомъ должность повара, спросили, въ которомъ часу его господа обѣдаютъ, онъ совершенно серьезно отвѣчалъ: «въ три—въ шестомъ», но Антонъ былъ артистъ, и никакой безпорядокъ не могъ его смутить.

На одиннадцатое іюля ему былъ отданъ такой приказъ: завтракъ—когда вернутся отъ обѣдни; обѣдъ—тотчасъ по пріѣздѣ губернатора.

Къ обѣднѣ, въ назначенный часъ, пришла одна Ольга Борисовна; княгиня прислала сказать священнику, что у нея разболѣлась голова, и чтобъ ея не ждали. Къ концу обѣдни пришелъ Кублицевъ и, выходя изъ церкви, поздравилъ Ольгу Борисовну.

— Я, надѣюсь, первый...

— Нѣтъ, милый Семенъ Семенычъ, — прервала она съ усмѣшкой, — мужъ уже поздравилъ меня.

Утро было неособенно жаркое, и Ольга Борисовна предложила идти домой дальней дорогой, т.-е. черезъ паркъ.

— Боже мой, сколько хорошихъ и тяжелыхъ дней напоминаетъ мнѣ это мѣсто! — говорилъ Кублицевъ, входя въ тѣнистую липовую аллею — вотъ, если у васъ хорошая память, Ольга Борисовна, — скажите мнѣ, что было въ этотъ день пять лѣтъ тому назадъ.

— Пять лѣтъ тому назадъ въ этотъ день были мои именины.

— И только?

— Какой вы смѣшной, Семенъ Семенычъ, неужели вы думаете, что я могу забыть хоть одну подробность этого дня? Все помню, повѣрьте. Помню, какъ вы вошли съ незнакомымъ гусаромъ, какъ Саша покраснѣлъ, когда вы его мнѣ представили. Помню, что вы его пути называли молодымъ послѣдователемъ Костюшки; помню, что послѣ обѣда онъ игралъ полонезъ и два ноктюрна Шопена. Вы видите, я ничего не забыла.

— Да, хорошая у васъ память, Ольга Борисовна, но размы коснулись прошедшаго, отвѣтите мнѣ откровенно на одинъ вопросъ. Если бы вы... однимъ словомъ, если бы я не привезъ къ вамъ тогда Александра Викентьевича, были бы вы теперь моею женой?

Ольга Борисовна отвѣтила не сразу.

— Видите ли, на этотъ вопросъ отвѣтить очень легко, если хочешь отвѣтить что-нибудь, что попало, но я не могу говорить такъ съ вами. Была ли бы я вашей женой? Право, не знаю. Отецъ сердился за то, что наша свадьба была отсрочена на нѣсколько мѣсяцевъ, что ваша матушка соглашалась на нее какъ-то нехотя... Да и зачѣмъ теперь раздумывать объ этомъ? Вѣдь мы съ вами друзья, настоящіе друзья, не правда ли? Повѣрьте, это чувство нельзя промѣнять ни на какое другое. Въ томъ, дру-

гомъ чувствѣ,—и голосъ Ольги Борисовны слегка дрогнулъ, когда она произносила это слово,—всегда бываетъ столько недосказаннаго, столько лишняго и мучительнаго, а въ дружбѣ все такъ хорошо и ясно.

Ольга Борисовна остановилась.

— Ну, а теперь, мой милый Simon,—сказала она, протягивая ему руку, — поставимте точку и не будемъ никогда говорить о прошломъ.

Кублицевъ потупилъ голову и молча поцѣловалъ протянутую ему руку.

Проходя мимо гигантскихъ шаговъ, они услышали какой-то монотонный голосъ и сквозь просвѣты между деревьями увидѣли на скамейкѣ Соню съ работой въ рукахъ. Горичъ сидѣлъ на пескѣ у ея ногъ и читалъ ей вслухъ французскій романъ. Ольга Борисовна слегка нахмурила брови и задумалась.

— Боюсь я за Соню,—сказала она, подходя къ дому.

— Мнѣ кажется, вы преувеличиваете, Ольга Борисовна: княжна такой еще ребенокъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, Simon, вся бѣда въ томъ, что она слишкомъ мало ребенокъ.

Въ домѣ въ это время еще не всѣ поднялись. Сережа только что проснулся и предложилъ Угарову пойти выкупаться въ рѣкѣ. Послали казачка Фильку за Горичемъ, но тотъ его не нашелъ, а взамѣнъ его привелъ артиллеристовъ, вставшихъ, по привычкѣ, въ семь часовъ и не знавшихъ, куда имъ дѣваться. Послѣ купанья Сережа потребовалъ завтракъ во флигель, потомъ пошелъ показывать гостямъ паркъ, а также конюшни и другія постройки. Все было грандіозно и запущено. Придя послѣ продолжительной прогулки на балконъ, они застали тамъ все общество, кромѣ барышень, которыя ушли одѣваться къ обѣду. Черезъ нѣсколько минутъ раздался въ залѣ мѣрный и сухой деревянный стукъ.

— Вотъ и князь Борисъ Сергѣевичъ идетъ,—сказалъ Кублицевъ.

При этихъ словахъ Угаровъ вспомнилъ, что въ Троицкомъ живетъ хозяинъ, котораго онъ еще не видалъ, а Горичъ однимъ прыжкомъ перескочилъ четыре ступеньки и исчезъ въ зелени сада.

Стукъ медленно приближался и, наконецъ, въ дверяхъ показалась высокая, сгорбленная фигура князя Брянскаго въ сѣ-

ромъ пальто и военной фуражкѣ. Угарова прежде всего поразили темный, почти земляной цвѣтъ лица и сѣдыя брови, повисшія надъ впалыми потухшими глазами. Лѣвая, отнявшаяся рука была безпомощно уложена въ карманъ пальто, одной ногой князь также владѣлъ плохо, но, видимо, желалъ это скрыть, а потому шелъ очень тихо, опираясь на большой черный костыль. Въ это утро онъ былъ не въ духѣ, довольно холодно поздоровался со всѣми и очень сухо поздравилъ княгиню съ днемъ ангела. Усѣвшись въ большомъ креслѣ и увидавъ незнакомаго лицейста, онъ спросилъ вполголоса у Сережи:

— Это еще кто?

Сережа подозвалъ Угарова и представилъ его отцу.

— Говори громче, не слышу.

Сережа повторилъ. Князь уставилъ на Угарова тусклый и пристальный взглядъ.

— Не родственникъ ли вы покойному Николаю Владиміровичу Угарову.

— Какъ же, князь, я его сынъ.

— Прекрасный, достойный былъ человекъ вашъ батюшка, и съ вами я очень радъ познакомиться.

Князь ласково протянулъ руку Угарову, лицо его какъ-то просвѣтлѣло. Онъ началъ рассказывать о своей молодости, которую провелъ съ отцомъ Угарова, шутилъ съ гостями и даже—что было признакомъ совсѣмъ хорошаго расположенія духа—передавалъ свои разговоры съ маленькимъ Борей, трехлѣтнимъ сыномъ Ольги Борисовны, котораго онъ любилъ безъ памяти. Постѣ получасового разговора онъ объявилъ, что ему пора домой, «а то, пожалуй, адораторы и поздравители княгини Ольги Михайловны начнутъ съѣзжаться». Онъ хотѣлъ встать молодцомъ и слабо оперся на костыль, который вслѣдствіе этого скользнулъ по полу. Князь едва не упалъ, все лицо его исказилось молчаливымъ страданіемъ. Ольга Борисовна быстрымъ движеніемъ поддержала отца и, совершенно спокойно сказавъ ему: «мы съ тобой вмѣстѣ зайдемъ разбудить Бору», незамѣтно поправила ему костыль.

Когда ихъ шаги затихли, княгиня начала благодарить Угарова.

— Только благодаря вамъ сеансъ сегодня прошелъ благополучно. Вы не повѣрите, какъ мой бѣдный мужъ сдѣлался раз-

дражителенъ. Напримѣръ, онъ такъ не взлюбилъ Горича, не знаю за что, что тотъ долженъ прятаться при его появленіи.

Поздравители дѣйствительно начали скоро стѣзжаться. Сосѣди пріѣзжали—молодые и старые, съ дѣтьми и безъ оныхъ. Изъ Буяльска явился баронъ Кнопфъ, высокій, рыжій командиръ батареи, съ миловидной женой и молодымъ адъютантомъ, тоже барономъ. Однимъ изъ послѣднихъ пріѣхалъ Камневъ. Ему не удалось отыскать въ своихъ сундукахъ старой хламиды, но зато онъ нашелъ очень изящный фракъ, причесался, подстригъ бороду, даже повѣсилъ на жилетку золотой лорнетъ,—однимъ словомъ, явился тѣмъ элегантнымъ Камневымъ, который былъ украшеніемъ всѣхъ «умныхъ» московскихъ салоновъ тридцатыхъ годовъ. Въ пятомъ часу вбѣжалъ взволнованный исправникъ и объявилъ, что черезъ нѣсколько минутъ прибудетъ губернаторъ. Княгиня, бывшая въ залѣ, при этомъ извѣстіи ушла въ гостиную для сохраненія своего достоинства. Наконецъ, высокая губернаторская коляска остановилась у подъѣзда и изъ нея бодро вышелъ очень толстый генералъ съ одутловатыми щеками и крашеными щетинистыми усами. Сережа встрѣтилъ его на крыльцѣ и повелъ въ гостиную.

— *Quelle charmante surprise, cher prince!*—сказала княгиня, поднимаясь съ дивана.

Губернаторъ поцѣловалъ руку княгини и объявилъ, что привезъ ей въ видѣ подарка очень пріятную новость, но скажетъ ее за обѣдомъ, выпивъ ея здоровье. Князь Холмскій былъ змѣевскимъ губернаторомъ уже болѣе десяти лѣтъ, а потому зналъ почти все общество. Увидѣвъ Камнева, онъ покосился на его бороду, но, успокоенный видомъ фрака, подаль этому безпокойному человѣку два пальца. Угарова и Горича, тотчасъ же ему представленныхъ, онъ удостоилъ легкимъ кивкомъ. Вскорѣ послѣ его пріѣзда дворецкій своимъ обычнымъ тономъ возвѣстилъ: «кушать пожалуйте»,—и княгиня, подавъ руку губернатору, отправилась съ нимъ въ первой парѣ въ большую залу, гдѣ былъ накрытъ столъ на пятьдесятъ человѣкъ.

Обѣдъ начался очень чопорно и скучно. Князь Холмскій много ѣлъ и пилъ, а потому говорилъ мало; другіе нѣсколько стѣснялись его присутствіемъ и разговаривали сдержанно. Самый обѣдъ удался на славу и въ кулинарномъ, и въ архитектурномъ отношеніи; Антонъ превзошелъ себя по части орнаментовъ. Рост-

бифъ былъ поданъ подѣ какимъ-то величественнымъ балдахиномъ изъ тѣста, овощи были сервированы въ видѣ звѣздъ и разныхъ звѣрьковъ, даже изъ моркови было надѣлано нѣсколько человѣческихъ фигурокъ. Когда разлили шампанское, губернаторъ предложилъ тостъ за здоровье дорогихъ именинницъ, послѣ чего торжественнымъ голосомъ произнесъ:

— Ну, а теперь, милая княгиня, самое время поднести вамъ мой подарокъ.

При этомъ онъ вынулъ изъ кармана письмо, полученное имъ наканунѣ эстафетой изъ Петербурга и, еще возвысивъ голосъ, прочиталъ, что графъ Василій Васильевичъ Хотынцевъ назначенъ министромъ.

Извѣстiе это произвело потрясающій эффектъ. Графъ Хотынцевъ былъ женатъ на Олимпiадѣ Михайловнѣ, родной сестрѣ княгини Брянской. Онъ давно уже былъ кандидатомъ на этотъ высокiй постъ, но считался либераломъ, и его всякiй разъ «обходили». Всѣ гости вскочили съ мѣстъ и подходили съ бокалами въ рукахъ поздравлять княгиню. Внѣ себя отъ радости, она закричала, указывая на лицейство:

— Вотъ кого надо поздравлять! Теперь ихъ карьера обезпечена, они всѣ трое поступятъ къ Базилю.

Когда всѣ вернулись по мѣстамъ, поднялся Камневъ, котораго княгиня заранѣе упросила сказать маленькiй спичъ въ честь губернатора. Спичъ этотъ былъ бы очень хорошъ, если бы оратора не погубила страсть къ историческимъ справкамъ, вслѣдствiе чего онъ счелъ умѣстнымъ вспомнить, что когда-то, въ тяжелую эпоху Руси, она была раздѣлена на опричнину и земщину. Воспоминанiе объ опричникахъ почему-то обидѣло князя Холмскаго, и онъ захотѣлъ отплатить оратору колкостью. Поблагодаривъ за тостъ, которымъ заканчивался спичъ Камнева, онъ прибавилъ:

— Еще радуюсь и тому, что вижу земщину одѣтой какъ слѣдуетъ.

Камневъ, можетъ быть, проглотилъ бы молча эту проконсульскую выходку, но на бѣду одна изъ барышень Самсоновыхъ громко хихикнула, а этого ораторъ простить не могъ. Переждавъ нѣсколько секундъ, онъ обратился къ губернатору:

— Скажите мнѣ, князь, вѣдь князя Холмскаго происходятъ отъ Рюрика?

— Ну, да, отъ Рюрика,—отвѣтилъ неохотно тотъ, почувявъ что-то недоброе,—что за вопросъ?

— Вопросъ мой вызываетъ другой вопросъ. Почему присутствіе князя Рюрикова дома заставляетъ другого столбового дворянина промѣнять одежду, полученную имъ въ преемство отъ своихъ предковъ, на одежду по шутовскому образцу, какъ выразился нашъ гениальный Грибоѣдовъ?

Князь Холмскій побагровѣлъ отъ гнѣва и не зналъ, что отвѣтить. Только глаза его усиленно моргали и толстые пальцы барабанили по тарелкѣ. Неловкое молчаніе, воцарившееся въ залѣ, было прервано Кублищевымъ.

— Позвольте мнѣ, многууважаемый Николай Николаевичъ,—началъ онъ своимъ мягкимъ голосомъ,—высказать по этому поводу свое мнѣніе, т.-е. даже не мнѣніе, а мое личное ощущеніе. Я, какъ вамъ извѣстно, всю жизнь носилъ военный мундиръ; теперь матушка требуетъ, чтобы я вышелъ въ отставку и поселился съ нею. Я долженъ буду исполнить ея желаніе... конечно, если не будетъ войны, — прибавилъ онъ въ сторону князя Холмскаго. — И вотъ я себя спрашиваю: какую одежду слѣдуетъ мнѣ носить въ отставку? Вы изволили употребить выраженіе: по преемству. Мнѣ кажется, что именно въ силу этого самаго преемства я долженъ носить ту одежду, которую носилъ мой отецъ, а не ту, которую носили мои отдаленные предки.

— Прекрасно сказано! прекрасно сказано! — закричалъ обрадованный губернаторъ, — совершенно согласенъ!

Камневъ откинулся на спинку стула и началъ гладить свою бороду, что доказывало, что онъ готовитъ громовый отвѣтъ. Ольга Борисовна, бывшая его сосѣдкой, наклонилась къ нему и прошептала:

— Николай Николаевичъ, прошу васъ, прекратите этотъ споръ. Послѣ обѣда мы пойдемъ на балконъ и вмѣстѣ отдѣлаемъ Simon, а теперь не возражайте, — сдѣлайте это для меня.

Слова ея смягчили суроваго оратора.

— Такъ и быть, откладываю на нѣсколько часовъ казнь этого преторіанца. Чего только не сдѣлаю я для васъ, моя Мадонна—

Чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ!

Послѣдній стихъ онъ продекламировалъ уже громко.

Остальная часть обѣда прошла благополучно. Съ края, гдѣ

сидѣла молодежь, слышался непрерывный смѣхъ; скоро всѣ разговоры слились въ одинъ нестройный и оживленный гулъ. Антонъ къ концу обѣда поберегъ свою затѣйливую «штучку». Мороженое было подано въ видѣ огромнаго зеленого холма, увѣнчаннаго княжеской короной. Этотъ каламбурный комплиментъ по адресу князя Холмскаго былъ встрѣченъ шумными знаками одобренія. По общему желанію, Антонъ былъ вытребованъ въ залу, и губернаторъ ласково потрепалъ его по плечу.

Тотчасъ послѣ обѣда губернаторъ ушелъ на пять минутъ, «чтобы засвидѣтельствовать свое почтеніе князю Борису Сергѣевичу», но пробылъ у него болѣе часа. Оказалось, что князь Брянскій показывалъ и объяснялъ гостю планы предстоящей войны, которая очень его занимала.

— Все шло хорошо, — рассказывалъ потомъ губернаторъ княгинѣ, опорожняа большую рюмку коньяку, — только я самъ испортилъ дѣло. Надо вамъ сказать, что князь Борисъ Сергѣевичъ расписалъ на своемъ планѣ не только корпусныхъ командировъ но даже роздалъ дивизіи и полки тѣмъ, кого по старой памяти считалъ способными. Не помню, какой корпусъ онъ далъ Звягину, Николаю Иванычу; тутъ чортъ меня и дернулъ сказать ему, что Николай Иванычъ умеръ. «Когда?» — Да ужъ третій годъ! — Ну, что тутъ произошло, вы и представить себѣ не можете. Закричалъ, затопалъ ногами... «Вы, говорить, видите, что у меня за семейка: такіе люди, какъ Звягинъ 2-й, умираютъ, а мнѣ два года объ этомъ никто не скажетъ!»... Вы понимаете, что послѣ этого всѣ назначенія надо было начинать сызнова, — вотъ я и засидѣлся.

Княгиня предложила князю Холмскому партію въ вистъ, но тотъ отказался, говоря, что долженъ поспѣшить въ Буяльскъ, «чтобы всѣхъ тамъ застать врасплохъ». Развеселившійся и слегка подвыпившій, губернаторъ, видимо, хотѣлъ быть пріятнымъ и каждому обласкать на прощаніе.

— Sans rancune, n'est-ce pas? — говорилъ онъ, добродушно пожимая руку Камнева. — Ну, такъ какъ же, по преемству, а? По преемству? Хорошо преемство!

И онъ залился громкимъ смѣхомъ.

— Хорошо преемство, нечего сказать! — повторялъ онъ уже въ передней, потрясая смѣхомъ свои густые эполеты. — По-нашему это — кучерской армякъ, а по-ихнему это называется преемство.

Почти вся молодежь вышла на крыльцо провожать князя. Усѣвшись въ коляскѣ, онъ снялъ фуражку, послалъ общій воздушный поцѣлуй, и губернаторская четверка помчалась, нагоняя исправника, который сломя голову летѣлъ въ Буяльскъ вѣстникомъ приближающейся грозы.

Вечеръ начался музыкой. Маковецкій сѣлъ за фортепіано и сыгралъ ритурнель. Всѣ взоры обратились къ Фелицатѣ Ивановнѣ, старшей изъ дѣвицъ Самсоновыхъ. Она начала-было отговариваться, но мать довольно грозно прикрикнула на нее, и Фелицата спѣла безконечный французскій романсъ, состоявшій изъ спряженія во всѣхъ временахъ и наклоненіяхъ глаголовъ *aimer* и *souffrir*.

Потомъ Маковецкій сыгралъ сонату «*Quasi una fantasia*». Княгиня объявила, что отъ серьезной музыки у нея голова болитъ, и увела своихъ старичковъ играть въ преферансъ. Четвертымъ они взяли барона Кнопфа. Едва только баронъ скрылся за дверь, Сережа подсѣлъ къ баронессѣ и началъ ей что-то нашептывать. Сережа вообще говорилъ мало, но, вѣроятно, рѣчь его была убѣдительна, потому что баронесса слушала его съ улыбкой, а передъ концомъ сонаты незамѣтно встала и перешла на балконъ. Сережа послѣдовалъ за нею.

Послѣ сонаты раздался голосъ Сони, пѣвшей романсъ Глинки: «Уймись, волненія страсти». Она никогда не училась пѣть, но ея густыя, бархатныя, контральтовые ноты имѣли чарующую прелесть, и пѣла она съ такимъ выраженіемъ, какого никакъ нельзя было ожидать отъ шестнадцатилѣтней дѣвушки, почти ребенка. Видѣ себя отъ восторга, Угаровъ подбѣжалъ къ ней и просилъ ее спѣть еще что-нибудь.

— Нѣтъ, пожалуйста, княжна, не пойте ему больше!—сказалъ Горичъ, вертѣвшійся возлѣ фортепіано,—а то вы и второе пари выиграете съ меня...

— Я и безъ того выиграю... если захочу!—отвѣчала Соня, побѣдно взглянувъ на Угарова.

Угаровъ началъ спрашивать, въ чемъ состояло пари, но Маковецкій перебилъ его.

— Ну, Соня, ты сегодня такъ пѣла, что мнѣ хочется поцѣловать тебя. Можно?

Соня быстрымъ взглядомъ окинула залу и, сказавъ: «да, теперь можно», кокетливо подставила ему лобъ для поцѣлуя.

Угаровъ тоже оглянулся и увидѣлъ, что въ эту минуту Ольга Борисовна входила изъ гостиной въ залу. Эта маленькая сцена почему-то уколола его.

Между тѣмъ, Александръ Викентьевичъ уже игралъ вальсъ, и Кублицевъ, подойдя къ Сонѣ, открылъ съ нею балъ. Угаровъ не любилъ танцовать, и при видѣ танцевъ ему всегда дѣлалось немного грустно. Теперь же у него еще кружилась голова отъ вина, выпитаго за обѣдомъ, — онъ пошелъ въ садъ. Въ лѣвомъ, темномъ углу балкона Сережа тихо, но оживленно разговаривалъ съ баронессой. Направо, около лампы, Камневъ громко говорилъ Самсонову:

— Позвольте замѣтить вамъ, милѣйшій Иванъ Петровичъ, что вы это мѣсто не такъ читаете. Вѣдь вы знаете, что стихъ: «И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ» — не принадлежитъ Грибоѣдову. Чацкій произноситъ его какъ цитату, а потому его нельзя говорить просто, а надо именно декламировать...

— «Боже мой, сколько новаго узналъ я въ эти сутки, и какіе тутъ все умные люди!» — думалъ Угаровъ, подходя къ гигантскимъ пагамъ и усаживаясь на скамейкѣ. Но свѣжесть и красота тихой лѣтней ночи невольно перевели его мысли на Соню.

— Какъ это странно, — думалъ онъ, — что въ теченіе дѣлхъ сутокъ я почти не думалъ о Сонѣ и только сейчасъ почувствовалъ, до какой степени люблю ее. Что это за чудное созданіе... только зачѣмъ она такъ кокетничаетъ со всѣми и даже съ Маковецкимъ, и какое пари держала она обо мнѣ съ Горичемъ?

Вдругъ Угарову послышались какіе-то шаги. Онъ всталъ со скамьи. Двѣ тѣни появились у входа. Тихій голосъ прошепталъ: «здѣсь кто-то есть», потомъ все скрылось, и Угарову показалось, что при блѣдномъ свѣтѣ луны онъ узналъ стройную фигуру Сони. Сердце его застучало, почти бѣгомъ вернулся онъ въ домъ. На балконѣ попрежнему раздавались сдержанный голосъ Сережи и густой басъ Камнева. Въ домѣ всѣ были на лицѣ, кромѣ Сони и Горича. Черезъ нѣсколько минутъ они вошли изъ разныхъ дверей. Угарову сдѣлалось невыразимо тяжело. Онъ ушелъ во флигель, раздѣлся и бросился въ постель. Напрасно онъ повторялъ себѣ, что онъ не имѣлъ никакого права ни ревновать, ни сердиться на Соню, что онъ для

нея совсѣмъ чужой человѣкъ. «Нѣтъ, не чужой», — шепталъ ему какой-то другой, внутренній голосъ, и все, что съ нимъ случилось, казалось ему невыносимой обидой. Угаровъ слышалъ, какъ черезъ нѣсколько часовъ пришли Сережа и Горичъ, но, не желая разговаривать съ ними, притворился спящимъ. Въ эту минуту онъ глубоко ихъ ненавидѣлъ. Онъ ненавидѣлъ еще и Соню, и всѣхъ этихъ барышень Самсоновыхъ, и всѣхъ этихъ умныхъ людей, говорящихъ такъ хорошо, и даже барона Кнопфа, голоса котораго онъ не слыхалъ, но о рыжихъ бакахъ котораго не могъ вспомнить безъ отвращенія.

VI.

Семейство Самсоновыхъ, гостившее въ Троицкомъ болѣе двухъ недѣль, должно было уѣхать 12-го іюля, а потому все общество собралось къ прощальному завтраку. Угаровъ долженъ былъ выѣхать вечеромъ вмѣстѣ съ Придошенскимъ, у котораго было дѣло въ Медянскѣ и который былъ очень радъ найти попутчика. Только что всѣ усѣлись за столъ, въ столовую вошелъ Дементій, старый камердинеръ князя Бориса Сергѣевича, бывшій нѣкогда его денщикомъ. Дементій никогда почти не выходилъ изъ половины князя и на остальные комнаты дома смотрѣлъ съ отѣнкомъ презрѣнія. Княгиня его не любила и слегка боялась, потому что онъ зналъ многое, что было тайной для всѣхъ. Подойдя къ Угарову, Дементій громкимъ голосомъ произнесъ:

— Его сіятельство проситъ васъ пожаловать фрыштыкать къ нимъ въ кабинетъ.

Если бы въ эту минуту пошелъ снѣгъ, это менѣе удивило бы присутствующихъ, чѣмъ слова Дементія. Завтракать съ княземъ — было постоянной прерогативой Ольги Борисовны. Иногда въ старину приглашался туда Маковецкій, но въ этомъ году и онъ ни разу не былъ удостоенъ этой чести.

Войдя въ кабинетъ, Угаровъ увидѣлъ князя сидящимъ въ большомъ креслѣ передъ круглымъ столикомъ, накрытымъ на четыре прибора. Возлѣ князя помѣщалась Ольга Борисовна, а напротивъ его на высокомъ стулѣ сидѣлъ Боря. Старая няня стояла за нимъ и разрѣзывала для него на мелкіе куски куриную котлетку. Лицо у князя было спокойное и довольное.

— Садись, — сказалъ онъ ласково Угарову, указывая на пу-

стое мѣсто. Я не хотѣлъ, чтобы сынъ моего друга уѣхалъ, не побывавъ у меня. Вѣдь тамъ ты не у меня; только здѣсь ты видишь мою, настоящую мою семью.

Ольга Борисовна при этихъ словахъ нахмурила брови, но промолчала.

Выпивъ шампанскаго за здоровье вчерашней именинницы, князь еще повеселѣлъ и велѣлъ Дементію снять со стѣны большую картину въ старинной рамѣ краснаго дерева. Картина изображала группу офицеровъ, и князь предложилъ Угарову найти между ними его отца. Угаровъ, видѣвшій множество портретовъ отца въ молодости, сейчасъ нашелъ его.

— Молодецы!—воскликнулъ князь,—ну, а теперь найди меня!

Угаровъ всмотрѣлся въ лицо и указалъ на молодого стройнаго офицера въ разстегнутомъ сюртукѣ и со стаканомъ въ рукѣ.

— Правда, это я; но неужели же я похожъ теперь на этотъ портретъ?

— Я узналъ васъ, князь, по сходству съ Ольгой Борисовной.

— Видишь, Оля, видишь!—закричалъ обрадованный князь,—вотъ чужой человѣкъ,—и тотъ прямо по сходству узнаетъ насъ. Да, мой милый, и по сходству, и по душѣ это единственная моя дочь. Она меня любитъ, она не холодна ко мнѣ, какъ тѣ другіе...

Ольга Борисовна не выдержала, лицо ея покрылось яркимъ румянцемъ.

— Послушай, папа, ты сейчасъ назвалъ Владиміра Николаевича чужимъ человѣкомъ... Зачѣмъ же ты при чужомъ человѣкѣ заставляешь меня сказать тебѣ, что ты говоришь неправду? И Сережа, и Соня любятъ тебя такъ же, какъ я; не они къ тебѣ, а ты къ нимъ и холоденъ, и несправедливъ.

— Ну, довольно, довольно, Оля, прости меня, если я тебя огорчилъ, но мнѣнія моего ты не перемѣнишь... Борька!—вскрикнулъ онъ вдругъ, чтобы перемѣнить разговоръ,—на кого ты похожъ?

— Я похосъ на маму, — отвѣчалъ Боря, отрываясь отъ котлетки.

— А мама на кого похожа?

— Мама похожа на дѣдуску.

— А дѣдушка на кого похожъ?

Два первые вопроса, вѣроятно, предлагались Борѣ не разъ, а потому онъ отвѣчалъ на нихъ бойко. Но третій вопросъ засталъ его врасплохъ. Внимательно посмотрѣвъ на князя, онъ послѣ нѣкотораго раздумья отвѣчалъ:

— Дѣдуска похосъ на обезьяну.

— Ахъ, какой стыдъ! ахъ, какой срамъ!—закричала няня, всплеснувъ руками.—Развѣ можно такъ говорить? Ты долженъ сказать: я дѣдушку люблю и почитаю больше отца родного, а ты вдругъ: на обезьяну! Ну, осрамилъ ты меня, Боренька, на старости лѣтъ!

Но дѣдушка заливался громкимъ веселымъ смѣхомъ.

— Молодецъ Борька, правду сказалъ, не слушай няню! Ты великій сердцевѣдецъ: дѣдушка твой именно обезьяна, старая, негодная обезьяна.

Боря обратилъ къ нянѣ свои серьезные глаза.

— Видись, няня, я сказалъ тебѣ, дѣдуска похосъ на обезьяну.

Въ новомъ порывѣ негодованія няня схватила на руки великаго сердцевѣдца и унесла изъ кабинета.

Въ это время въ спальнѣ княгини, куда она послѣ завтрака увела Придошенскаго, происходилъ слѣдующій разговоръ.

— Какъ же, благодѣтельница, съ Лаптевымъ? Онъ мнѣ прямо сказалъ, что подастъ ко взысканію, если я не привезу процентовъ.

— Да откуда же я возьму денегъ? Къ мужу приступить нельзя. Если бы третьяго дня Христина Осиповна не выкланчила у него триста рублей, я бы не знала, какъ и обернуться.

— Да вы, благодѣтельница, рассчитывали на симбирское имѣніе.

— Пріѣзжалъ приказчикъ на прошлой недѣлѣ, привезъ, говорятъ, восемь тысячъ, да я на грѣхъ въ тотъ день поздно встала. А князь, какъ узналъ, что приказчикъ тутъ, потребовалъ его въ кабинетъ, отобралъ всѣ деньги и велѣлъ сейчасъ же ѣхать обратно въ Симбирскъ. Когда я проснулась, его и слѣдъ простылъ.

— Да-съ, это штука. Что же князь Борисъ Сергѣевичъ дѣлаетъ съ деньгами?

— Прячетъ, все прячетъ въ свой письменный столъ; тамъ у него десятки тысячъ лежатъ, а тутъ плати проценты...

— Не отдаетъ ли онъ денежки Ольгѣ Борисовнѣ?

— Нѣтъ, Оля сказала бы, она не такая. Да, Тимофеичъ, каждый день съ нимъ все труднѣе и труднѣе жить. Какіе-то капризы, странности. Сегодня, ты слышалъ, зачѣмъ-то Угарова потребоваль...

— А вотъ, благодѣтельница, къ слову сказать: не прозѣвайте этого женишка для княжны, какъ прозѣвали Кублицева для Ольги Борисовны...

— Какого женишка? Угарова? Да онъ, кажется, и не богатъ совсѣмъ.

— Ну, нѣтъ, матушка, у Марьи Петровны Угаровой денегъ куры не клюютъ, да и имѣніе богатѣйшее, и сынъ одинъ. Владиміръ Николаичъ, пожалуй, будетъ современемъ самый богатый женихъ въ губерніи.

Княгиня задумалась.

— Какъ же, благодѣтельница, насчетъ Лаптева?

Переговоры насчетъ Лаптева кончились тѣмъ, что Придошенскій обязался внести проценты и, сверхъ того, далъ княгинѣ нѣсколько пятидесятирублевыхъ серій, а княгиня подписала «заемное письмо», которое у Тимофеича было заготовлено на всякій случай.

Когда Угаровъ ушелъ отъ князя, онъ засталъ въ гостиной цѣлую баталію. Дѣвицы Самсоновы, подкрѣпляемые всѣмъ остальнымъ обществомъ, уговаривали мать пробить еще нѣсколько дней въ Троицкомъ. Иванъ Петровичъ соблюдалъ нейтралитетъ, но супруга его была непреклонна; наконецъ, у нея вырвалось согласіе пробить еще одинъ лишній день, а такъ какъ слѣдующій день приходился на тринадцатое число, то было рѣшено, что они уѣдутъ непременно 14-го іюля утромъ. Потомъ всѣ приступили съ такой же просьбой къ Угарову, который сопротивлялся слабо и скоро сдался. Княгиня пошла писать къ Марьѣ Петровнѣ извинительное письмо, которое Придошенскій взялся завезти самъ на слѣдующій день въ Угаровку. Со своей стороны, и Угаровъ написалъ матери коротенькую записку.

Теперь всѣ помыслы Угарова были устремлены на то, чтобы объясниться съ Соней. Онъ не зналъ, въ чемъ именно будетъ состоять объясненіе, но чувствовалъ его необходимость. Какъ нарочно, случая не представлялось. Съ утра накрапывалъ дождь, гулять было немислимо, все общество поневолѣ находилось вмѣстѣ. Соня вовсе не говорила съ Угаровымъ и не обращала

на него никакого вниманія. Княгиня, напротивъ того, была съ нимъ любезна. За обѣдомъ она посадила его около себя и тихонько допрашивала его, что онъ дѣлалъ у князя и зачѣмъ тотъ приглашалъ его. Къ концу обѣда княгинѣ понадобилось спросить что-то у Сережи, но, ко всеобщему удивленію, его за обѣдомъ не оказалось. Никто изъ прислуги не могъ сказать, куда дѣлся молодой князь, котораго послѣ завтрака нѣто не видѣлъ. Соня также, повидимому, ничего не знала; но, когда княгиня выразила опасеніе, не утонулъ ли Сережа, купаясь, и хотѣла посылать людей на рѣку, Соня успокоила мать, сказавъ, что братъ, *кажется*, уѣхалъ въ Буяльскъ къ барону Кнопфу, и что, *вѣроятно*, онъ часамъ къ десяти вернется. Дѣйствительно около этого времени Сережа вернулся и привезъ съ собой артиллеристовъ. Опять начались танцы. Угаровъ совсѣмъ упалъ духомъ и смотрѣлъ на танцующихъ съ такимъ мрачнымъ лицомъ, что Соня, *вѣроятно*, сжалилась надъ нимъ. Когда въ антрактъ между кадрилими ее попросили пѣть, она, проходя мимо Угарова, сказала ему:

— Видите, я не забыла вашу вчерашнюю просьбу, я спою для васъ.

Этого слова было достаточно, чтобы Угаровъ воскресъ. Онъ неистово аплодировалъ поющимъ, танцевалъ безъ устали и остальную часть вечера провелъ чрезвычайно весело, отложивъ объясненіе до слѣдующаго дня.

На слѣдующее утро погода прояснилась, а потому было рѣшено не завтракать, а обѣдать въ два часа, и послѣ обѣда ѣхать всѣмъ обществомъ къ Камневу. Къ тремъ часамъ у подъѣзда стояли: знаменитый рыдванъ, долгуша, кабриолетъ и нѣсколько верховыхъ лошадей. Княгиня, выйдя на крыльцо, почувствовала внезапную усталость и рѣшила остаться дома. Соня первая вскочила въ кабриолетъ и взяла въ руки вожжи. Горитъ, вертѣвшійся около кабриолетъ, хотѣлъ послѣдовать ея примѣру, но княгиня скомандовала съ крыльца:

— Владиміръ Николаичъ, садитесь съ Соней; вы еще не видали, какъ она хорошо править.

Соня сдѣлала недовольную гримасу, убившую мгновенно Угарова. Впрочемъ, она скоро повеселѣла. Благодаря вчерашнему дождю, пыли не было, кабриолетъ катился быстро по гладкой дорогѣ и далеко оставилъ за собою остальные экипажи.

Соня болтала, очень вѣрно передразнивала все общество, особенно хорошо подражала пѣнію Фелицаты Самсоновой. Въѣхавъ на небольшой пригорокъ, она заявила, что половина дороги уже сдѣлана. «Какъ только спустимся съ пригорка,—подумаль Угаровъ,—начну объясненіе». Но они проѣхали еще съ версту, прежде чѣмъ онъ рѣшился. Наконецъ, онъ началъ очень запутанной и неуклюжей фразой.

— Знаете, княжна, когда кто-нибудь кѣмъ-нибудь интересуется, онъ дѣлается очень наблюдателенъ и проникателенъ. Вотъ я замѣтилъ, что вы были недовольны, что я сѣлъ въ кабриолетъ, потому что хотѣли ѣхать съ кѣмъ-нибудь другимъ.

— Что я была недовольна, это правда, — отвѣчала Соня, сдерживая лошадь,—но вовсе не оттого, что хотѣла ѣхать съ другимъ. Я вообще не люблю, чтобы мной распоряжались, какъ вещью. Я, можетъ быть, хотѣла сама пригласить васъ...

Эта фраза совсѣмъ воскресила Угарова, и послѣ нѣсколькихъ подходовъ онъ рѣшился спросить, какое пари Соня держала о немъ съ Горичемъ.

— Вы слишкомъ любопытны, а впрочемъ я, пожалуй, скажу. Я держала пари, что вы уѣдете отсюда влюбленнымъ... въ кого—это все равно... хотя бы въ Фелицату.

Кабриолетъ ѣхалъ шагомъ. Увидѣвъ, что экипажъ приближается, Соня ударила лошадь вожжей и спросила:

— Ну, что же, я выиграю или проиграю?

— Право, не знаю. Можетъ быть, я уже пріѣхалъ сюда влюбленнымъ.

— Это невозможно: вы съ Фелицатой не были знакомы.

— Зачѣмъ вы смѣтаетесь, княжна, надъ чувствомъ, котораго вы не знаете? Впрочемъ, смѣйтесь, сколько хотите, но теперь я выскажу все, что накопилось у меня въ душѣ...

Кабриолетъ повернулъ налѣво и остановился у одноэтажнаго бѣлаго дома съ крыльцомъ изъ рѣзного дуба.

— Ну, вотъ мы и пріѣхали!—воскликнула Соня, выскакивая изъ экипажа.—*Suite au prochain numéro.*

Камневъ, обѣдавшій по обычаю предковъ очень рано, пилъ кофе на балконѣ съ m-lle Léontine, смазливой швейцаркой, жившей у него en qualité de lectrice. Хотя гости не извѣщали его о пріѣздѣ, но были встрѣчены у подъѣзда пзяцнымъ ла-

кеемъ въ штиблетахъ и ливреѣ. Когда молодая ватага съ шумомъ и крикомъ ворвалась на балконъ, m-lle Léontine встала, скромно поклонилась и немедленно исчезла. Камневъ встрѣтилъ гостей съ большою радостью и пошелъ показывать тѣмъ изъ нихъ, которые были у него въ первый разъ, свой домъ. Домъ былъ небольшой, но уютный, и казался перенесеннымъ изъ города. Во всѣхъ комнатахъ стояла дорогая мебель, вездѣ были мягкіе ковры, бронза, статуи. Двѣ большія комнаты были заняты библіотекой, которую хозяинъ собиралъ неутомимо съ самыхъ молодыхъ лѣтъ. Въ простѣнкахъ между окнами висѣли портреты всевозможныхъ знаменитостей — древнихъ и новыхъ; послѣдніе были большею частью съ собственноручными подписями. Пока гости осматривали домъ, Иванъ Петровичъ Самсоновъ увидѣлъ на балконѣ новую, только-что полученную съ почты книжку «Современника». Разрѣзавъ прежде всего страницы, на которыхъ были напечатаны стихотворенія, онъ остался ими недоволенъ, принялся за критическій отдѣлъ и сразу попалъ на очень мѣткую и злую статью противъ славянофиловъ. Когда онъ прочиталъ ее Камневу, тотъ вознегодовалъ, и у нихъ начался ожесточенный споръ, а Соня объявила себя хозяйкой дома и повела всѣхъ гостей въ садъ. Садъ, какъ и домъ, свидѣтельствовалъ объ изящномъ вкусѣ и сибаритскихъ наклонностяхъ его обладателя. Услышавъ невдалекѣ отъ дома какую-то веселую хоровую пѣсню, гости пошли на эти голоса и при входѣ въ большую аллею серебристыхъ тополей увидѣли нѣсколько красивыхъ бабъ въ пестрыхъ понёвахъ и съ большими кичками на головахъ; на ихъ обязанности было чистить дорожки, и онѣ составляли садовый штатъ подъ начальствомъ стараго садовника-нѣмца, выписаннаго Камневымъ изъ Риги. Старичокъ-садовникъ не замедлил тоже появиться и предложилъ гостямъ зайти въ грунтовый сарай и заняться вишнями. Потомъ онъ повелъ ихъ въ оранжерею, гдѣ показали нѣсколько рѣдкихъ экземпляровъ камелій. Цѣлыя сотни деревьевъ ломились подъ тяжестью золотыхъ, еще не дозрѣвшихъ сливъ и зеленыхъ, слегка зарумянившихся персиковъ. Потомъ были осмотрѣны парники, огородъ и дальній фруктовый садъ за рѣкой, которую надо было переѣзжать на паромѣ. Подходя къ дому послѣ двухчасовой прогулки, гости слышали чей-то громкій, декламировавшій голосъ.

— Не стихи ли опять читают?—спросилъ одинъ изъ артиллеристовъ.

— Ну, нѣтъ, вы ихъ не знаете,—отвѣчала Фелицата,—теперь имъ не до стиховъ. Ужъ если они заспорятъ, этому конца не будетъ. Вотъ увидите, что Николай Николаичъ поѣдетъ съ нами въ Троицкое, чтобы переспорить отца.

Спорщики сидѣли на балконѣ съ красными, воспаленными лицами, потъ лилъ съ нихъ градомъ.

— Подобный вздоръ, — кричалъ Камневъ, — могъ сказать только такой неисправимый западникъ, какъ вы...

— Да позвольте!—кричалъ также обозлившійся Иванъ Петровичъ,—вы гораздо болѣе западникъ, чѣмъ я. Пріѣзжайте ко мнѣ въ деревню, и вы увидите чисто русскую усадьбу—почти въ томъ же видѣ, въ какомъ она стояла полтора-два года тому назадъ. А какъ назвать то мѣсто, гдѣ мы теперь находимся? Это вилла—безспорно красивая, но все-таки вилла, это—*chalet*, все что угодно, но не русская усадьба. У меня прислуга вся русская, а у васъ садовникъ—нѣмецъ, поваръ—французъ, чтица—швейцарка. Правда, платье на васъ русское, да и то, я думаю, потому, что оно въ родѣ халата, и вамъ въ немъ просторнѣе.

— Вотъ, вотъ она, привычка западниковъ останавливаться на поверхности вещей!—перебилъ Камневъ.—Я дѣйствительно заимствую у Европы удобства жизни, но поймите, что суть дѣла не въ этомъ, а въ міросозерцаніи, въ воззрѣніяхъ,—однимъ словомъ, въ духовной жизни человѣка...

— А армякъ и плисовые шаровары—это что такое: поверхность или внутренняя жизнь?

Обязанности хозяина помѣшали Камневу отвѣтить на этотъ вопросъ. Онъ пригласилъ гостей перейти въ столовую, гдѣ уже былъ накрытъ столъ съ чаемъ, фруктами, мороженымъ и всевозможными вареньями. Тамъ, однако, споръ возобновился и уже не прерывался вплоть до отъѣзда. Предсказаніе Фелицаты не сбылось, т. - е. Камневъ не поѣхалъ въ Троицкое, но зато Иванъ Петровичъ остался у Камнева и вернулся одинъ только къ утру.

Угаровъ безпрестанно смотрѣлъ на часы и съ нетерпѣніемъ ждалъ минуты отъѣзда. Теперь онъ обдумывалъ всѣ фразы своего объясненія и былъ увѣренъ, что не смутится, произнося ихъ.

Но его ждалъ неожиданный ударъ. Выйдя на крыльцо, Соня предложила Фелицатѣ сѣсть въ кабриолетъ и посадила съ ней артиллериста, къ которому та была равнодушна, а сама схватила за руку Кублицева и повлекла его въ рыдванъ, гдѣ уже сидѣла мать Фелицаты съ Маковецкимъ. Угаровъ поневолѣ очутился въ долгушѣ кавалеромъ Ольги Борисовны. Онъ не умѣлъ владѣть собой и лицо его выразило такое страданіе, что Ольга Борисовна, пристально взглянувъ на него, улыбнулась своей доброй, полной участія улыбкой. Угаровъ поблагодарилъ ее въ душѣ за эту улыбку и съ восторгомъ проговорилъ съ нею всю дорогу, повторяя про себя, что она красивѣе и добрѣе своей сестры и что съ этого вечера онъ непремѣнно полюбитъ ее.

— Пожалуйста, Владиміръ Николаевичъ,—сказала она ему, между прочимъ,—не придавайте значенія тѣмъ словамъ, которыми отецъ говорилъ вчера при васъ. Это не онъ говорилъ, а его болѣзнь.

Въ Троицкомъ, въ передней висѣла военная шинель. Соня тотчасъ угадала, что это шинель барона Кнопфа. Дѣйствительно, баронъ сидѣлъ въ гостиной и игралъ въ преферансъ съ княгиней и Христиной Осиповной. Приѣхалъ же онъ въ Троицкое для того, чтобы пригласить все общество на балъ, который онъ устраивалъ въ честь губернатора на слѣдующій день въ буяльскомъ городскомъ саду. Опять начались приставанія къ госпожѣ Самсоновой, чтобы она отложила свой отъѣздъ. Она не соглашалась, ссылаясь на отсутствіе мужа, безъ котораго она будто бы ничего не можетъ рѣшить; но когда Кнопфъ ей заявилъ, что, въ случаѣ ея отказа, онъ долженъ будетъ отмѣнить балъ, этотъ аргументъ такъ на нее подѣйствовалъ, что она положила остаться еще два дня, но уже безъ дальнѣйшихъ проволочекъ, въ послѣдній разъ. Угаровъ на приглашеніе Кнопфа отвѣчалъ рѣшительнымъ отказомъ.

— Однако, я не вижу, что вы выиграли пари,—говорилъ черезъ часъ послѣ этого Горичъ, ходя съ Соней по бальной залѣ.—Если бы онъ былъ влюбленъ, онъ исполнилъ бы вашу просьбу.

— Во-первыхъ,—отвѣчала Соня, покраснѣвъ отъ досады,—я его не просила. А, во-вторыхъ, если я его попрошу, то онъ, конечно, согласится.

— Ну, хорошо, мы такъ и рѣшимъ. Если Угаровъ будетъ завтра на балу, я проигралъ; если не будетъ, проиграли вы.

Горичъ зналъ отношенія, существовавшія между Угаровымъ и его матерью, и думалъ, что онъ играетъ навѣрняка.

Угаровъ въ это время стоялъ въ дверяхъ балкона и инстинктивно слѣдилъ за Соней.

— Владиміръ Николаевичъ, мнѣ нужно поговорить съ вами, — сказала ему мимоходомъ Соня, сходя въ садъ.

Они направились къ гигантскимъ шагамъ.

— Вы, кажется, на меня обидѣлись? — спросила ласковымъ голосомъ Соня, когда они усѣлись на скамьѣ, — но, право, я не виновата. Фелицата просила меня уступить ей кабріолетъ. Не могла же я отказать ей.

— Я не могу обижаться на васъ, — отвѣчалъ Угаровъ голосомъ полнымъ обиды. — Но мнѣ больно, что вы даже не хотѣли выслушать все то, что меня мучило эти дни, что вы, видимо, смѣтаете надо мною... Когда я пріѣхалъ къ вамъ, вы были такъ со мной любезны, но потомъ все перемѣнилось. Чѣмъ я провинился передъ вами?

— Я буду съ вами откровенна, Владиміръ Николаевичъ. У васъ иногда такое мрачное лицо, что мнѣ, право, страшно подойти къ вамъ. Неужели, когда любишь, надо сейчасъ принимать похоронный видъ? неужели любовь всегда драма?

— Значить, вы поняли, что я люблю васъ, и не сердитесь за это? — воскликнулъ Угаровъ въ полномъ блаженствѣ.

— Да, я поняла и не сержусь, и даже считаю себя въ правѣ поэтому обратиться къ вамъ съ большой просьбой. Вы ее исполните?

— Если вы потребуете мою жизнь, и та въ вашемъ распоряженіи.

— Нѣтъ, я ея не потребую, а только прошу васъ потанцевать со мною мазурку завтра у Кнопфа.

Угаровъ поблѣднѣлъ.

— Это совершенно невозможно. Вы вѣдь знаете, что я уже просрочилъ два дня. Будетъ непростительно гадко, если я не проведу съ матушкой день моихъ именинъ.

— Вы поспѣете, вѣдь балъ въ Буяльскѣ. Тотчасъ послѣ бала Абрамычъ дастъ вамъ свою лучшую тройку...

— Не мучьте меня, княжна; это совершенно невозможно.

— Ну, а если...—начала Соня и замялась.

То, что она собиралась сказать, показалось ей и страшно, и стыдно. Она хотѣла встать и уйти, но послѣ непродолжительной борьбы съ собою осталась. Очень ужъ ей было обидно понести поражение передъ Горичемъ.

— Ну, а если,—сказала она почти шопотомъ,—если повторится то, что было на станціи въ Буяльскѣ, тогда вы останетесь?

Угаровъ задрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и ничего не отвѣтилъ.

Соня схватила его голову обѣими руками, поцѣловала его въ лобъ и убѣждала прежде, чѣмъ онъ пришелъ въ себя.

Черезъ минуту она тихими, беззвучными шагами взшла на балконъ и, проходя мимо Горича, сказала совершенно спокойно:

— Яковъ Ивановичъ, вы проиграли пари.

VII.

Марья Петровна весело простилась съ сыномъ и старалась сохранить наружное спокойствіе при сестрѣ, но, оставшись одна, она заперлась въ спальнѣ, усѣлась въ красное сафьяновое кресло, долго служившее ея покойному мужу, и дала полную волю слезамъ и горькимъ думамъ. Имя Брянскихъ напоминало ей очень тяжелую эпоху жизни. Князь Брянскій былъ другомъ Николая Владиміровича, нерѣдко посѣщалъ его въ Угаровѣ, и Марья Петровна питала къ нему большое расположеніе; но все это измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ на выборахъ въ Змѣевѣ она встрѣтилась съ княгиней Брянской—первой красавицей и кокеткой въ губерніи. Ей показалось, что мужъ ея равнодушенъ къ княгинѣ, и чувство ревности—самое сильное, какое она когда-либо испытала въ жизни—отравило ей цѣлый годъ существованія. Самая крупная ссора съ мужемъ произошла какъ разъ въ этотъ день, 10-го іюля—семнадцать лѣтъ тому назадъ. Онъ собирался ѣхать на балъ въ Троицкое, несмотря на слезы, мольбы и упреки Марьи Петровны, длившіеся цѣлую недѣлю. Кончилось тѣмъ, что она, какъ и всегда, побѣдила. Николай Владиміровичъ не поѣхалъ, но съ тѣхъ поръ всѣ отношенія между Угаровыми и Брянскими прекратились. До Марьи Петровны доходили, правда, темные слухи о похожденияхъ княгини; говорили, что и болѣзнь князя

была послѣдствіемъ семейныхъ огорченій, но Марья Петровна не любила слушать сплетни. «Ну, что, Богъ съ ней»,—говорила она о княгинѣ и старалась забыть о ней.

И вотъ, черезъ восемнадцать лѣтъ, опять это ненавистное имя врывается въ ея жизнь, благодаря Володѣ. Къ ея великому огорченію, она даже не знала, изъ кого состоитъ семейство Брянскихъ. Она не могла допустить, чтобы Володя поѣхалъ за сто верстъ изъ дружбы къ товарищу, о которомъ прежде никогда не упоминалъ ни въ разсказахъ, ни въ письмахъ. Очевидно, кто-нибудь помимо товарища интересуется его въ этой семьѣ,—но кто именно? Она не хотѣла допрашивать сына передъ отъѣздомъ, и теперь этотъ вопросъ не давалъ ей покоя. Когда на другой день она сообщила свои волненія Варварѣ Петровнѣ, та очень спокойно отвѣтила ей:

— О чемъ же тутъ беспокоиться, Мари? Завтра Володя вернется и самъ разскажетъ намъ.

— Какъ завтра?—воскликнула Марья Петровна.—Володя сказалъ, что вернется 12-го или 13-го. Надо всегда предполагать худшее...

— Ну, въ такомъ случаѣ узнаемъ послѣзавтра.

Тринадцатаго іюля, во время вечерняго чая раздался у подъѣзда звонъ колокольчика. Марья Петровна бросилась встрѣчать Володю и къ великому разочарованію увидѣла Придошенскаго. Тимофейчъ принадлежалъ также къ категоріи лицъ, о которыхъ Марья Петровна говорила: «Богъ съ нимъ». Онъ самъ инстинктивно чувствовалъ это и, чтобы обезпечить себѣ хорошій пріемъ, поспѣшилъ заявить, что пріѣхалъ «съ добрыми вѣстями отъ Владиміра Николаевича», при чемъ подалъ два письма. Володя писалъ, что ему очень весело и что онъ пріѣдетъ непременно 14-го къ вечеру. Письмо княгини, написанное крупнымъ корявымъ почеркомъ, было пространно и безграмотно. Она напоминала Марьѣ Петровнѣ объ ихъ старомъ знакомствѣ и извинялась въ томъ, что насильно удержала Володю на два лишнихъ дня. Къ этому она прибавляла: «Впрочемъ, это ваша вина, что вы воспитали такого милаго и прекраснаго молодого человѣка во всѣхъ отношеніяхъ. Мой бѣдный мужъ по своей болѣзни никого не любить видѣть, но и онъ проводитъ цѣлые часы въ разговорахъ съ Владиміромъ Николаевичемъ, и мнѣ было жаль отнять у моего страдальца это утѣшеніе». Послѣдняя

фраза нѣсколько примирила Марью Петровну съ княгиней, а похвалы Володѣ невольно тѣшили ея материнское самолюбіе. Придошенскій весь вечеръ расхваливалъ семейство Брянскихъ, особенно распространялся о красотѣ и другихъ качествахъ Сони, которая, по его наблюденіямъ, очень приглянулась Володѣ. Марья Петровна была любезна какъ никогда съ Тимофенчемъ накормила его ужиномъ и даже предложила ему ночевать въ Утаровкѣ, но онъ отказался, и, уѣзжая, получилъ приглашеніе отпраздновать вмѣстѣ Володины именины.

На слѣдующій день Володя, по расчету Марьи Петровны, долженъ былъ пріѣхать часамъ къ восьми вечера, но уже десять часовъ пробило, и чай былъ отпить, а его не было. Марья Петровна сидѣла съ сестрой въ диванной на своемъ любимомъ мѣстѣ и раскладывала пасьянсъ. Ночь была такъ тиха, что пламя свѣчей стояло неподвижно, несмотря на широко открытыя окна. Пасьянсъ все не удавался; выходило, что Володя сегодня не пріѣдетъ. Марья Петровна загадала, пріѣдетъ ли онъ завтра—опять не вышло. Тогда она пустилась на хитрость и загадала, проведетъ ли онъ завтрашній день у Брянскихъ,—и пасьянсъ, несмотря на умышленную разсѣянность, вышелъ блистательно. Марья Петровна съ негодованіемъ бросила карты.

— Не понимаю я, Мари, изъ-за чего ты убиваешься, — сказала Варвара Петровна. — Ну, положимъ, что Володя не пріѣдетъ, что онъ влюбился въ эту княжну Брянскую, даже женится на ней—какое же въ этомъ несчастіе? Вѣдь долженъ же онъ когда-нибудь жениться, вѣдь Володѣ двадцать лѣтъ...

— Нѣтъ, Варя, нѣтъ, не говори этого. Ты слышала вчера, она, говорятъ, похожа на свою мать, а когда я вспомню эти черные глаза, эту вызывающую улыбку... нѣтъ, пусть бы онъ лучше женился на первой горничной. Двадцать лѣтъ проводила я вмѣстѣ съ Володей день его ангела, и вдругъ изъ-за этой дѣвчонки...

— Да онъ, вѣроятно, еще пріѣдетъ, зачѣмъ горевать заранее?

Марья Петровна передвинула кресло къ окну. Двѣ липы и нѣсколько кустовъ сирени отдѣляли окно отъ забора, за которымъ виднѣлась широкая проѣзжая дорога. Каждый далекій звукъ явственно выдѣлялся среди глубокой тишины ночи. Вотъ гдѣ-то далеко-далеко прозвенѣло что-то въ родѣ колокольчика,

прозвенѣло и замолкло. Вотъ зашелестѣли листья, и какая-то большая птица точно свалилась съ дерева, сдѣлала передъ самымъ окномъ кругъ по воздуху, потомъ высоко взвилась и исчезла. Какал-то собака хрипло завывала въ полѣ; цѣлый хоръ собакъ отвѣчалъ ей со стороны деревни долгимъ пронзительнымъ лаемъ. Разбуженный собаками сторожъ ударилъ два раза въ чугунную доску. Потомъ опять все замолкло...

— Однако, Мари, пойдѣмъ спать, — сказала, зѣвая, Варвара Петровна. — Вѣдь оттого, что мы проведемъ ночь безъ сна, Володя не прійдетъ.

— Погоди, Варя, вотъ теперь навѣрное кто-то ѣдетъ. Слышишь?

Хотя очень далеко, но явственно раздавался звонъ колокольчика, который то замолкалъ, то приближался: это продолжалось минутъ десять. Потомъ послышался спускъ экипажа, переѣзжавшаго мостокъ внизу, потомъ экипажъ медленно сталъ подниматься на крутую гору. Марья Петровна уже ясно слышала храпъ лошадей, мѣшавшійся съ побрякиваніемъ колокольчика, и скоро увидѣла высокую фигуру ямщика, курившаго трубку, а потомъ поднятый верхъ экипажа — не то коляски, не то тарантаса. «Эй, вы, любезныя!» — крикнулъ ямщикъ, стегнувъ кнутомъ лошадей, и тройка пронеслась мимо воротъ по свѣтлой и ровной дорогѣ.

Марья Петровна рѣшила наконецъ, что Володя не прійдетъ, и ушла въ спальню, но долго не могла заснуть. Ей безпрестанно чудился звонъ колокольчика и слышались какіе-то голоса. Только къ утру забылась она тяжелымъ, тревожнымъ сномъ.

Первая мысль ея при пробужденіи была: не пріѣхалъ ли Володя, но, увидѣвъ грустное лицо своей старой и вѣрной горничной Лукерьи, она даже не рѣшилась спросить объ этомъ. Марья Петровна немедленно одѣлась и пошла въ церковь, построенную ея мужемъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома. Когда она подошла къ кресту, отецъ Василій нанесъ ей первый ударъ, спросивъ ее о причинѣ отсутствія дорогого именинника. Второй подобный же ударъ былъ нанесенъ ей Пріидошенскимъ, пріѣхавшимъ очень рано. Потомъ пріѣхалъ съ дочерью Аванасій Ивановичъ Дорожинскій, только что вернувшійся изъ Петербурга. Это былъ очень видный и представительный господинъ большого роста, съ пышными бѣлокурыми усами, въ которыхъ уже

пробивалась сѣдина. Онъ держалъ голову высоко, манеры имѣлъ серьезные, иногда величавыя. Варвара Петровна увѣряла, что прежде, когда онъ былъ простымъ Аеоной Дорожинскимъ, въ котораго она была влюблена въ дѣтствѣ, манеры этихъ у него не было; но, женившись на дочери откупщика Кабанова, которая скоро умерла, оставивъ ему большее состояніе, Аѳанасій Ивановичъ началъ поднимать голову все выше и выше. «Дайте ему еще немного разбогатѣть,—прибавляла Варвара Петровна,—и вы увидите, что глаза у него совсѣмъ переѣдутъ на затылокъ». Специальностью Аѳанасія Ивановича была выгодная покупка имѣній; увидѣвъ Придошенскаго, онъ сейчасъ же повелъ его въ садъ, чтобы узнать отъ него кое-какія нужныя ему свѣдѣнія по этой части.

— Какъ это странно, ma tante,—говорила тѣмъ временемъ Наташа,—какъ это странно, что Володя не пріѣхалъ. Вѣдь онъ знаетъ, какъ вы его любите, какъ этотъ день дорогъ для васъ... Нѣтъ, это просто непростительно.

Каждое слово Наташи точно ножомъ рѣзало сердце Марьи Петровны, но она отвѣчала спокойно:

— Вѣроятно, что-нибудь важное задержало его. Я не могу и мысли допустить, что Володя сдѣлалъ это по невниманію или равнодушію...

— Но позвольте, ma tante, что же могло быть для него важнѣе вашего спокойствія? Онъ этихъ Брянскихъ почти не знаетъ. Вѣдь онъ долженъ знать, какъ вы его ждали, какъ...

— Послушай, Наташа,—заговорила вдругъ Варвара Петровна, потерявшая терпѣніе. — Отчего ты такъ безпокоишься объ отсутствіи Володи? Если это оттого, что тебѣ некому закатывать глазки, то успокой себя, пойдѣ въ садъ, пококетничай съ Придошенскимъ. Чѣмъ онъ не мужчина?

Наташа собиралась отвѣтить на это какою-то убійственной дерзостью, и лицо ея уже приняло соответствующее выраженіе, но, взглянувъ на Варвару Петровну, она струсилла и промолчала.

Послѣднимъ пріѣхалъ ближайшій сосѣдъ Угаровыхъ, Степанъ Степановичъ Брылковъ, плотный, коренастый человѣкъ, съ ярко-краснымъ лицомъ, одѣтый въ синюю венгерку съ черными жгутами. Брылковъ считался родствомъ съ цѣлой губерніей; Марью Петровну онъ называлъ кумой, Дорожинскаго — братцемъ. Съ

Придошенскимъ ему было невозможно найти какую-нибудь степень родства,—онъ называлъ его землякомъ. Брылковъ былъ очень веселый и добродушный человѣкъ, но и онъ какъ-то чувствовалъ себя не въ своей тарелкѣ. Словно какая-то темная туча висѣла надъ всѣмъ обществомъ.

Прошло четыре часа, и Марья Петровна пригласила гостей перейти въ столовую, какъ вдругъ раздался стукъ подъѣхавшаго экипажа, и на балконъ вбѣжалъ Володя съ запыленнымъ, но сіяющимъ и радостнымъ лицомъ.

— Слава Богу, поспѣлъ къ обѣду!—воскликнулъ онъ, бросаясь на шею къ матери.

Перецѣловавшись со всѣми, Володя ушелъ переодѣться, а Марья Петровна бросилась въ спальню. Цѣлый день она дѣлала невѣроятныя усилія, чтобы казаться спокойной и скрывать свое горе, но внезапной радости нервы ея вынести не могли: въ судорожныхъ рыданіяхъ упала она на кровать. Черезъ минуту Варвара Петровна стояла уже около нея со стаканомъ воды и какими-то каплями.

— Полно, Мари, успокойся, выпей это, сейчасъ пройдетъ. Будь же молодцомъ до конца,—уговаривала она ее, какъ ребенка.

Съ прїѣздомъ Володи туча разсѣялась, и обѣдъ прошелъ весело. Аонасій Ивановичъ Дорожинскій, питавшій въ душѣ разные честолюбивые планы, ежегодно ѣздилъ въ Петербургъ, чтобы «нюхать воздухъ», какъ онъ выражался. Теперь онъ тономъ снисхожденія сообщалъ свои петербургскія впечатлѣнія. Тамъ всѣ разговоры были полны близкой войной и посольствомъ князя Меншикова въ Константинополь. Манифестъ о занятіи княжествъ нашими войсками уже вышелъ, и война была неизбежна. Что Англія и Франція подстрекали Турцію не исполнять нашихъ предписаній, это казалось всѣмъ очень естественнымъ; сердились только на Австрію за ея неблагодарность и двусмысленный образъ дѣйствій.

— Выборъ Меншикова очень удаченъ,—говорилъ важно Аонасій Ивановичъ.—Это человѣкъ чрезвычайно проницательный, его никто не проведетъ. Уже послѣ венгерской кампаніи онъ предложилъ выбить медаль крайне остроумную: съ одной стороны изобразить портретъ государя и надпись: «Съ нами Богъ», а съ другой стороны—портретъ австрійскаго императора и надпись: «Богъ съ ними».

— Bravo! bravo!—закричалъ Брылковъ,—да это онъ, братецъ, укралъ у Марьи Петровны. Кума у насъ тоже, когда ей кто-нибудь не по нраву, только и говорить: «Богъ съ нимъ!»

— Оно и лучше,—отозвалась Марья Петровна. — Не судите, да не судимы будете.

— Ну, это вы, кума, напрасно. Судите или не судите,—это ваше дѣло, а васъ другіе все-таки пересуживать будутъ. На томъ свѣтъ стоять.

Остальную часть обѣда Брылковъ посвятилъ пристававаніямъ къ Придошенскому.

— Ну, насмѣшилъ меня сейчасъ Тимофейчъ,—разсказывалъ онъ съ громкимъ хохотомъ.—Надо вамъ сказать, что когда я еще мальчишкой былъ, онъ, бывало, все кланчилъ у покойнаго батюшки: «Дайте мнѣ, Степанъ Петровичъ, четверичокъ яблочковъ для моихъ ребятишекъ». Только представьте себѣ, сегодня предъ обѣдомъ проситъ онъ меня, чтобы я ему позволилъ прислать къ Успеньеву дню работника за яблоками. Я его спрашиваю: «зачѣмъ тебѣ яблоки?» А онъ мнѣ опять: «для ребятишекъ, Степанъ Степанычъ!» Ну, объясни ты теперь намъ всѣмъ, землячокъ: какіе такіе ребятишки у тебя могутъ быть? Сорокалѣтніе, что ли?

— Что дѣлать, Степанъ Степанычъ, одарилъ Богъ плодородіемъ,—отшучивался Придошенскій, порядочно выпившій къ концу обѣда.

Когда гости разѣхались, а Варвара Петровна ушла въ свою комнату, чтобы не мѣшать «влюбленнымъ», какъ она называла мать и сына, Угаровъ далъ Марьѣ Петровнѣ подробный отчетъ о своемъ путешествіи. Онъ разсказалъ ей все, рѣшительно все... кромѣ своей любви къ Сонѣ. Почему это такъ случилось, онъ и самъ не понималъ; какая-то непреодолимая сила удерживала его всякій разъ, какъ онъ хотѣлъ коснуться того, что составляло главный интересъ его жизни. Разъ онъ едва не выговорилъ страшнаго слова, но какъ нарочно въ эту минуту Марья Петровна остановила его.

— Ну, завтра еще наговоримся, дружокъ мой Володя, а теперь ступай спать, ты вѣдь двое сутокъ не спалъ...

Володя дѣйствительно чувствовалъ сильное утомленіе, но спать ему не хотѣлось, и, когда онъ пришелъ въ свою комнату, ему показалось тамъ такъ тѣсно и душно, что онъ сошелъ въ

садъ и незамѣтно дошелъ до своего любимаго мѣста, около пруда. Онъ улегся на траву, прислонилъ голову къ стволу старой липы и долго лежалъ такъ, съ жадностью вдыхая свѣжесть ночи, слушающая неугомонное, безпокойное кваканье лягушекъ и глядя на усыпанное звѣздами небо. Онъ былъ въ томъ особенномъ состояніи полусна и полубдѣнія, когда физическая усталость одолеваетъ человѣка и когда въ то же время ему жаль заснуть, жаль потерять нить пріятныхъ мыслей и воспоминаній. Но и воспоминанія Угарова были также чѣмъ-то въ родѣ сладкаго пятидневнаго сна. Самой свѣтлой точкой этого сна былъ послѣдній, вчерашній день. И все утро въ Троицкомъ, и вечеромъ въ Буяльскѣ, Соня была съ нимъ очаровательно ласкова. Она, видимо, оцѣнила жертву, которую онъ ей принесть, и хотѣла показать ему это. И какъ она была красива въ бѣломъ бальномъ платьѣ! Ободренный ея лаской, Угаровъ вполне «объяснился», сказалъ, что безумно ее любить, что вся жизнь его принадлежитъ ей. Теперь ему казалось непостижимымъ, какъ онъ рѣшился произнести эти слова. По окончаніи мазурки, она сама напомнила ему о томъ, что пора ѣхать, и оказалось, что у Абрамыча, по просьбѣ Сони, была уже приготовлена для него тройка. За это теперь онъ былъ ей особенно благодаренъ, потому что въ Буяльскѣ онъ былъ въ такомъ сердечномъ опьяненіи, что могъ совсѣмъ не ѣхать. Послѣднія слова ея были: «До свиданія! нѣтъ, лучше—до многихъ свиданій!»

Правда, были въ этомъ свѣтломъ сновидѣніи кое-какія черныя точки. Самой черной точкой былъ Горичъ. Вообще и въ лицѣ у Угарова были странныя отношенія съ Горичемъ: онъ то былъ съ нимъ друженъ и откровененъ, какъ ни съ кѣмъ, то чувствовалъ къ нему охлажденіе, граничившее съ ненавистью. Теперь онъ испытывалъ къ нему страшную, безумную ревность; болѣе всего обидно ему было то, что Соня говорила съ Горичемъ какимъ-то условнымъ, для нихъ однихъ понятнымъ языкомъ. Что она переговаривалась такъ съ Сереей, это Угаровъ допускалъ; но какіе намеки, какія тайны могли существовать между нею и Горичемъ? Второй черной точкой была княгиня; въ послѣдніе дни она вела себя какъ-то непонятно. Она сдѣлалась до того приторно-любезна съ Угаровымъ, что онъ нѣсколько разъ готовъ былъ обидѣться, принимая ея выходку за насмѣшку. Вчера, когда во время мазурки Горичъ выбралъ Соню, а Уга-

ровъ безпокойными взорами слѣдилъ за уходящей парой, княгиня подошла къ нему и сказала ему съ улыбкой:

— Вижу, вижу, молодой человекъ, какъ вы любуетесь Со-ней. Не краснѣйте, тутъ ничего дурного нѣтъ. Вотъ такъ-то вашъ батюшка когда-то любовался мною... Что дѣлать, всѣмъ свой чередъ...

Этотъ намекъ княгини на любовь къ ней Николая Владимировича Угарова,—любовь, о которой онъ что-то слышалъ въ дѣтствѣ, былъ ему очень непріятенъ. Но и Горичъ, и княгиня тонули въ томъ морѣ счастья, которое онъ чувствовалъ вокругъ себя. Шесть дней тому назадъ онъ такъ же сидѣлъ у этой липы и такъ же мечталъ о Сонѣ. Но какая разница! Тогда это было только смутное предчувствіе того, что теперь уже осуществилось.

Наконецъ, Угаровъ рѣшилъ, что пора идти спать. Подходя къ дому, онъ увидѣлъ въ спальнѣ матери свѣтъ, блеснувшій ему яркимъ упрекомъ. «Боже мой,—думалъ онъ, стоя передъ этимъ освѣщеннымъ окномъ,—зачѣмъ я не рассказалъ всего той, которая живетъ только для меня, которую я самъ люблю больше всего на свѣтѣ? Двѣнадцать лѣтъ мы жили душа въ душу; неужели же любовь къ Сонѣ можетъ поколебать это святое чувство? Я воображаю, какъ она мучилась вчера, ожидая меня, и—что же? Я не услышалъ ни одного слова упрека, не увидѣлъ строгаго или недовольнаго взгляда. Вотъ и теперь она не спитъ, все обдумываетъ, можетъ быть, догадывается... Да и отчего мнѣ не рассказать ей всего? Вѣдь любовь—самый лучший цвѣтъ, самая свѣтлая радость жизни... Моя мать можетъ быть только счастлива моимъ счастьемъ...»

Володя рѣшительнымъ шагомъ вошелъ въ домъ и поступался въ спальню матери.

— Это я, мама, можно войти?

— Войди, войди, Володя... Что съ тобою?—раздался встревоженный голосъ Марьи Петровны.

Она сидѣла на своемъ красномъ креслѣ и перебирала старыя письма. Володя придвинулъ маленькій табуретъ и сѣлъ возлѣ нея.

— Милая мама,—сказалъ онъ, цѣлуя у нея руку,—прости меня. Въ первый разъ въ жизни я обманулъ тебя, т.-е. не обманулъ, а хотѣлъ скрыть то, чего не долженъ и не могу скрыть. Я люблю Соню всѣми силами души моей, моя жизнь принадлежитъ ей, рано или поздно она будетъ моей женой.

Если бы Володя Угаровъ могъ быть постороннимъ и безпристрастнымъ наблюдателемъ того, что происходило въ спальнѣ Марьи Петровны, онъ никакъ бы не догадался, что между сыномъ и матерью шла рѣчь о лучшемъ цвѣтѣ, о самой свѣтлой радости жизни. Самъ онъ рыдалъ, прильнувъ головой къ плечу матери, а Марья Петровна, въ бѣломъ канотѣ и бѣломъ чепцѣ, изъ-подъ котораго безпорядочно выпадали пряди сѣдыхъ волосъ, съ побѣлѣвшимъ отъ испуга лицомъ крестила его дрожащей рукой, какъ крестятъ человѣка, обреченнаго на вѣрную и неминуемую гибель...

III.

На слѣдующій день, за утреннимъ чаемъ, Марья Петровна разсказала сестрѣ сцену въ спальнѣ съ такимъ трагическимъ освѣщеніемъ, такъ краснорѣчиво повѣствовала о слезахъ и отчаяніи Володи. что даже Варвара Петровна нѣсколько смутилась. Вообще Марья Петровна смотрѣла на сына какъ на тяжело-больного. Былъ отданъ строгій приказъ не будить Володю и мимо его комнаты ходить не иначе, какъ на цыпочкахъ. Освѣдомившись у сестры, какой она заказала обѣдъ, и узнавъ, что заказаны окрошка и бараній бокъ съ кашей, Марья Петровна пришла въ ужасъ, велѣла все это отмѣнить и сдѣлать самый легкій обѣдъ. Около одиннадцати часовъ вошелъ старый Андрей и съ таинственнымъ видомъ сообщилъ, что молодой баринъ изволили проснуться и позвонить, и что Павлушка пошелъ къ нимъ. Марья Петровна заволновалась.

— Андрей, снеси сейчасъ Владиміру Николаевичу чаю... Нѣтъ, погоди, принеси сначала вишневаго варенья...

Пока Андрей ходилъ за вишневымъ вареньемъ, Марья Петровна передумала.

— Нѣтъ, Андрей, ты лучше войди и спроси, хочетъ ли Владиміръ Николаевичъ пить чай у себя, или, можетъ быть, придеть къ намъ...

Черезъ минуту Андрей вернулся съ извѣстіемъ, что «Владиміръ Николаевичъ изволили взять простыню и пошли съ Павлушкой купаться».

— Ахъ, Боже мой, какъ же это купаться? Хорошо ли это при душевныхъ потрясеніяхъ?

Волноваться пришлось Марья Петровна недолго. Скоро Володя вошелъ такой свѣжій, здоровый и веселый, какимъ его давно не видали. Тетя Варя, посмотрѣвъ на него, невольно расхохоталась и махнула рукой на сестру. Снова начались рассказы о поѣздѣ—болѣе подробные, чѣмъ вчера. Марья Петровна, очень любившая музыку и стихи, отнеслась съ большимъ сочувствіемъ къ препровожденію времени съ Троицкомъ. Камнева она не знала, но много о немъ слышала и была очень довольна тѣмъ, что Володя былъ у такого замѣчательнаго человѣка. Черезъ нѣсколько дней она примирилась и съ Соней, и любовь Володи уже интересовала ее какъ романъ. По его просьбѣ, она написала княгинѣ очень любезное письмо, въ которомъ благодарила за гостепріимство, оказанное ея сыну. Впрочемъ, въ самыхъ искреннихъ признаніяхъ всегда бываетъ какой-нибудь уголокъ картины, тщательно скрываемый рассказчикомъ; такъ и Володя промолчалъ о второмъ поцѣлуѣ и о словахъ княгини относительно его отца.

Послѣ долгихъ обсужденій на семейномъ совѣтѣ, Володѣ было объявлено слѣдующее рѣшеніе. До выпуска онъ не долженъ ни говорить, ни думать о женитьбѣ. Послѣ выпуска, который совпадаетъ съ его совершеннолѣтіемъ, онъ пріѣдетъ въ Угаровку, объѣдетъ всѣ свои владѣнія и Варвара Петровна сдастъ ему дѣла, а сама поселится на покой въ Марьиномъ-Дарѣ. Конечно, первое время она будетъ руководить его хозяйственной дѣятельностью. Затѣмъ, послѣ ввода во владѣніе, Володя, если къ тому времени чувства его не перемѣнятся, можетъ сдѣлать предложеніе княжнѣ Брянской. Володя согласился на эти условія, но протестовалъ противъ того, чтобы сдѣлаться собственникомъ при жизни матери.

— Неужели, мама, ты считаешь меня недостойнымъ быть твоимъ управляющимъ?—сказалъ онъ обиженнымъ голосомъ.

— Ну, это, Володя, какъ хочешь, — отвѣчала Марья Петровна, — за кѣмъ бы ни считалось наше состояніе, оно все равно твое. Вѣдь я замужъ не выйду.

Въ началѣ августа совершенно неожиданно пріѣхали въ Угаровку Сережа Брянскій и Горичъ. Сережа сразу плѣнилъ обѣихъ хозяекъ. Молчаливый дома, онъ въ гостяхъ болталъ безъ умолку и очень мило пѣлъ французскія пѣсенки Надѣ, входившія тогда въ моду въ Петербургѣ. Горичъ сначала понравился

меньше и показался фатомъ; сверхъ того, Марья Петровна, уже вполне вошедшая въ сердечные интересы своего сына, не забывала ревности, мучившей Володю. Но Горичъ былъ такъ остроуменъ и умѣлъ въ легкомъ разговорѣ выказать столько разнообразныхъ познаній, что съ нимъ скоро примирились, и черезъ три часа послѣ пріѣзда онъ уже вступалъ въ оживленный споръ съ Варварой Петровной о литературѣ. Самъ Володя совсѣмъ забылъ свою ревность и отъ души былъ радъ пріѣзду товарищей. Невольно краснѣя, онъ спросилъ, здоровы ли всѣ въ Троицкомъ. Ему отвѣтили, что Троицкое совсѣмъ опустѣло, что въ концѣ іюля Ольга Борисовна уѣхала въ Польшу, гдѣ тогда стоялъ полкъ, которымъ командовалъ ея мужъ, и увезла съ собой Соню. Это извѣстіе какъ громомъ поразило Угарова; онъ надѣялся, возвращаясь въ Петербургъ, хоть на нѣсколько часовъ заѣхать въ Троицкое.

На другой день Марья Петровна, хлопотавшая о томъ, чтобы доставлять развлеченія своимъ гостямъ, предложила имъ съѣздить къ Дорожинскимъ, у которыхъ ни она, ни Володя не были все лѣто. Варвара Петровна наотрѣзъ отказалась отъ поѣздки.

— Васъ какъ разъ четверо, чтобы ѣхать въ большой коляскѣ,—отговаривалась она,—а запрягать для Аеоньки два экипажа не стоитъ.

Усадьба Аеанасія Ивановича Дорожинскаго была такая, какая часто бываетъ у уѣздныхъ предводителей дворянства, желающихъ попасть въ губернскіе. Старый каменный домъ былъ и самъ по себѣ слишкомъ великъ для помѣщика, живущаго съ одной дочерью, но къ дому еще примыкали съ двухъ сторонъ большія деревянныя пристройки недавняго происхожденія, съ крытыми галереями и красивыми павильонами по бокамъ. Флаги и гербы красовались вездѣ, куда только можно было ихъ помѣстить. Иныя комнаты, еще не вполне отдѣланныя, какъ бы говорили гостямъ: «Вотъ увидите, какъ мы разукрасимся, когда вы почтите нашего хозяина своимъ выборомъ». Аеанасій Ивановичъ встрѣтилъ гостей съ великой любезностью; Наташа убѣждала переодѣться и черезъ нѣсколько минутъ вошла въ обольстительно-небрежномъ лѣтнемъ платьѣ, извиняясь за своей костюмъ и говоря, что ее застали врасплохъ. Желая окончательно покорить Володю, она начала кокетничать съ красивымъ княземъ; Сережа по привычѣ выказывалъ ей полную взаимность, и къ обѣду

Наташа была уже по уши влюблена въ него. Обѣдать прѣхалъ еще Иванъ Ивановичъ Койровъ, предводитель одного изъ дальнихъ уѣздовъ — толстый, плѣшивый старикъ, съ прыгающими глазами и очень короткой шеей. Аѳанасій Ивановичъ принялъ его съ большимъ почетомъ, такъ какъ онъ пользовался неограниченнымъ вліяніемъ въ своемъ уѣздѣ.

Не успѣли еще отпить кофе послѣ обѣда, какъ Наташа, узнавъ, что Сережа поетъ, увела его въ свою маленькую гостиную, чтобы разучить вмѣстѣ какой-нибудь дуэтъ; къ величайшей ея досадѣ, миссъ Рэгъ послѣдовала за ними. Наташа пѣла съ большимъ чувствомъ и охотно фальшивила, а миссъ Рэгъ, относившаяся вообще къ своей воспитанницѣ весьма строго, обожала ея пѣніе. Дуэта подходящаго не оказалось, но Наташа пропѣла почти весь свой репертуаръ. Повидимому, фальшивыя ноты нѣжили слухъ суровой англичанки, потому что она все время одобрительно покачивала въ тактъ головой, а когда пѣвица кончила свой любимый романсъ очень высокой нотой, при чемъ взяла ее полутономъ ниже и страшно закатила глаза, миссъ Рэгъ не могла сдержать своего восторга и нѣсколько разъ повторила: «Oh, splendid, splendid!..»

Аѳанасій Ивановичъ тѣмъ временемъ развивалъ на балконѣ свои хозяйственные теоріи.

— Вотъ жаль, что моя милая кузина не любитъ ходить, а то бы я предложилъ вамъ пойти посмотрѣть на новую вѣялку, которую я выписалъ изъ Англіи. Я знаю, что есть люди, которые смѣются надъ моими реформами въ хозяйствѣ (подъ этими людьми онъ разумѣлъ Варвару Петровну). Они говорятъ: надо хозяйничать по старинѣ, новизна не привьется. А я говорю: надо только умѣть привить ее. Мужикъ не умѣетъ дѣйствовать машиной,—на это есть мастера и учителя; мужикъ не любитъ машину и умышленно ее портить,—на это есть мѣры строгости. Вотъ у меня въ одномъ имѣніи дѣйствительно мужики испортили американскій плугъ, но я такъ съ ними расправился, что впередъ, не безпокойтесь, портить не стануть ни въ одной моей деревнѣ. Въ политикѣ я, конечно, крайній консерваторъ, но въ хозяйствѣ могу себѣ позволить быть прогрессистомъ.

Аѳанасій Ивановичъ долго говорилъ на эту тему, приводя разные примѣры и хвастая добытыми результатами. Онъ поочередно обращался ко всѣмъ гостямъ, но говорилъ исключительно

для Володи. Онъ давно рѣшилъ, что Володя женится на Наташѣ, и захотѣлъ заранѣе внушить ему свои хозяйственные воззрѣнія и поколебать авторитетъ Варвары Петровны.

— Не такъ ли, почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ? — обратился онъ въ заключеніе къ Койрову.

Койровъ, все время сопѣвшій на большомъ креслѣ, которое для него перетасили изъ гостиной, отвѣтилъ нѣхотя:

— Такъ-то такъ, а все-таки скажу, что всѣ эти иностранныя сѣялки и вѣялки гроша мѣднаго не стоятъ...

Аѳанасій Ивановичъ не захотѣлъ спорить съ вліятельнымъ предводителемъ и предложилъ ему посмотрѣть на выводку лошадей. Пришлось переселиться на другой балконъ, выходившій на большой дворъ, усыпанный пескомъ и щебнемъ. Марья Петровна смотрѣла на эти выводки, какъ на необходимое, но тяжелое зло; она говорила, что всѣ лошади, по ея мнѣнію, на одно лицо, и что всѣ кучера притворяются, будто еле могутъ ихъ сдерживать. Выводка передъ балкономъ была со стороны Дорожинскаго уступкой для Марьи Петровны: онъ предпочиталъ водить гостей къ конюшнямъ.

— У васъ большой заводъ, Аѳанасій Ивановичъ? — спросилъ Сережа, съ дѣтства знавшій толкъ въ лошадяхъ.

— Не то чтобы большой, а такъ, есть кое-какія лошаденки, — отвѣчалъ тотъ съ ложнымъ смиреніемъ.

— Да, да, рассказывайте! — воскликнулъ Койровъ. — Я столько слышалъ про вашъ заводъ, что, по правдѣ сказать, только для того и пріѣхалъ къ вамъ, чтобы посмотрѣть...

Дорожинскій могъ бы обидѣться за эти слова, но они доставили ему такое удовольствіе, что онъ даже не въ силахъ былъ скрыть его, и самодовольно улынулся.

Выводка началась со ставки трехлѣтокъ, сначала сѣрыхъ и вороныхъ, а потомъ карачовыхъ, гнѣдыхъ и рыжихъ. Соблюдалась постепенность относительно роста: самыя большія прибегались подъ конецъ. Потомъ перешли къ заводчикамъ и маткамъ. Аѳанасій Ивановичъ зорко всматривался въ гостей при каждой новой выводкѣ. Если они сейчасъ же начинали восхищаться, онъ только моталъ головой въ знакъ согласія и скромно прибавлялъ: «отъ Вязочура» и «Стрѣлки» или «этотъ заводчикъ Шипкинский»; если же гости медлили съ похвалами, онъ не выдерживалъ характера и восклицалъ самъ: «какая сухость!

что за нога!» или: «прошу обратить вниманіе на подпругу, кость». Если особенно хвалить лошадь было невозможно, Аѳанасій Ивановичъ напиралъ на ея породистость или рѣзвость.

— Эготъ «Атласный» вѣдь сынъ знаменитаго «Лебеда» и представьте себѣ, что уже теперь онъ четвертушки дѣлаетъ безъ двухъ.

— Какія четвертушки? Чтò это значить, Наташа,—спросила шопотомъ Марья Петровна.

— Ахъ, ma tante, какъ же вы этого не понимаете? Это значить, что лошадь дѣлаетъ четверть версты въ минуту безъ двухъ секундъ.

По поводу «Атласнаго» Сережа упомянулъ съ похвалой о Малининскомъ заводѣ, бывшемъ верстахъ въ тридцати отъ Троицкаго.

— Полноте, полноте, князь!—воскликнулъ съ укоромъ Аѳанасій Ивановичъ,—какой же это заводъ! При покойномъ Петрѣ Гавриловичѣ Малининѣ у нихъ, безспорно, были хорошія лошади, а теперь ничего не осталось. Я въ прошломъ году заѣзжалъ туда и видѣлъ пресловутаго «Полкана», которымъ они такъ гордятся. Ну, да, конечно... онъ эlegantенъ, видна верховая кровь, но въ немъ тѣла мало, да и спины нѣтъ. Впрочемъ, вся эта порода—безспинная.

Сережа счелъ долгомъ заступиться за Малининскій заводъ, очень популярный въ сѣверныхъ уѣздахъ Змѣвской губерніи. Это привело Аѳанасія Ивановича въ крайнее раздраженіе, которое обрушилось на конюха, выводившаго въ эту минуту рослаго рыжаго жеребца.

— Васька, отчего «Лучъ» плохо вычищенъ?—произнесъ онъ спокойнымъ, но строгимъ голосомъ, подходя къ лошади.

Васька поблѣднѣлъ и выпустилъ нѣсколько невнятныхъ словъ.

— Развѣ такъ чистятъ? Ты даже не выбралъ изъ-подъ копыта... Позвать мнѣ Семена!..

Смотритель завода, Семень, маленькій, толстый и рябой челоуѣкъ въ кучерскомъ армякѣ, немедленно подбѣжалъ къ Аѳанасію Ивановичу, который что-то шепнулъ ему, указывая на Ваську.

Гости догадались, что бѣдному Васькѣ грозило немедленное наказаніе. Догадка эта подтвердилась, когда Дорожнинскій, возвращаясь къ балкону, сказалъ какъ бы въ видѣ извиненія:

— Что дѣлать! съ этимъ народомъ иначе поступать нельзя.

Затѣмъ онъ съ улыбкой началъ разъяснять качества рыжаго жеребца, уже переданнаго Васькой въ руки другого конюха.

— Эготъ «Лучъ» представляетъ интересное явленіе. Отецъ его, «Геркулесъ», былъ воронѣй, а мать «Пава», сѣрая; дѣдъ, «Удалой», котораго вы, Иванъ Ивановичъ, можете быть, помните—онъ взялъ нѣсколько призовъ въ Москвѣ—былъ также воронѣй, и только прадѣдъ знаменитый «Кроликъ», былъ рыжій...

По окончаніи выводаки, Аѳанасій Ивановичъ предложилъ гостямъ пойти взглянуть на табунъ. Койровъ съ радостью согласился, но Марья Петровна объявила, что хочетъ доѣхать за свѣтло домой, и уѣхала со своими спутниками. Наташа на прощанье заставила Сережу обѣщать ей, что будущимъ лѣтомъ онъ пріѣдетъ къ Дорожинскимъ на нѣсколько дней и привезетъ съ собой пять-шесть дуэтовъ.

Когда Угаровъ разсказалъ теткѣ сцену выводаки лошадей и эпизодъ съ Васькой, Варвара Петровна пришла въ большое негодованіе.

— Вреть онъ, нагло вреть, что съ народомъ нельзя поступать иначе. Я больше тридцати лѣтъ занимаюсь хозяйствомъ, да и какъ занимаюсь! Не изъ гостиной или кабинета, какъ иные помѣщики, а сама лично вхожу въ каждую мелочь. И что же? во всѣ тридцать лѣтъ мнѣ ни разу не пришлось присудить кого-нибудь къ тѣлесному наказанію.

— Вы-то, конечно, не присуждали,—возразилъ Горичъ,—а можете ли вы поручиться за то, что ваши приказчики и управляющіе никогда не драли мужиковъ?

— Конечно, не могу поручиться. Скажу болѣе: я даже убѣждена, что драли, это у нихъ уже вошло въ систему, но повторяю, что сама никогда не видѣла въ этомъ надобности. Да вѣдь вотъ чтó всего противнѣе въ этомъ Аѳонькѣ,—продолжала она, болѣе и болѣе раздражаясь: — я скорѣй еще понимаю, что человѣкъ вспылить, выйдетъ изъ себя и тутъ же ударить другого человѣка,—благо можетъ это сдѣлать безнаказанно... но отдавать подобныя приказанія спокойно и хладнокровно, сохраняя свои величавыя манеры, и улыбаясь, и читая родословныя таблицы своихъ поганныхъ жеребцовъ—вотъ чтó гнусно!

— А не лучше ли такъ устроить, Варвара Петровна,—

одождать Горичъ, — чтобы ни хладнокровно, ни въ пылу раздраженія нельзя было бить другихъ людей безнаказанно?

— Вы говорите про «волю»? Я объ этомъ и читала, и много говорила, и, по правдѣ сказать, очень бы желала, чтобы это устроилось. Но только повѣрьте, что мы съ вами этого не увидимъ, и дѣти ваши не увидятъ; но ваши внуки, — тѣ, можетъ быть, увидятъ.

Горичъ началъ доказывать своевременность «воли»; возникъ ожесточенный споръ. Марья Петровна, безпокойно озиравшаяся съ тѣхъ поръ, какъ начался этотъ опасный разговоръ, убѣдила ихъ спорить, по крайней мѣрѣ, по-французски. Споръ продолжался до двухъ часовъ ночи, и всѣ остались при своихъ мнѣніяхъ.

Послѣ ужина Сережа уѣхалъ, говоря, что ему нужно быть рано утромъ въ Змѣевѣ, чтобы совершить какую-то купчую крѣпость, а также исполнить и другія порученія княгини. Горичъ остался еще на однѣ сутки въ Угаровкѣ.

— Съ какихъ поръ Сережа сдѣлался такимъ дѣловымъ человекомъ? — спросилъ Угаровъ у Горича, когда они улеглись спать.

— Однако ты наивенъ, Володя! — отвѣчалъ Горичъ. — Неужели ты всему этому повѣрилъ? Да если Сережу хорошенько позкаменовать насчетъ купчей крѣпости, онъ недалеко уйдетъ отъ той барыни, которая сказала, что это такая крѣпость, изъ которой купцы стрѣляютъ. А на самомъ дѣлѣ онъ завтра въ Змѣевѣ собирается скорѣе брать крѣпость, чѣмъ совершать ее. Надо тебѣ сказать, что, по случайному стеченію обстоятельствъ, баронесса Кнопфъ пріѣдетъ завтра въ Змѣевъ дѣлать нѣкоторыя покупки, необходимыя для похода; ни мужъ, ни его адъютантъ не могутъ ее сопровождать, потому что у нихъ, тоже по странной случайности, назначенъ завтра смотръ.

— Да, ну, теперь я понимаю... Такъ, пожалуй, я и вашимъ пріѣздомъ обязанъ баронессѣ?

— Ну, нѣтъ, мы и безъ того къ тебѣ собирались, но только, конечно, баронесса поспособствовала... Опять-таки надо правду сказать, что послѣ отъѣзда Ольги Борисовны и княжны въ Троицкомъ началась невыносимая тоска. Старый князь цѣлый день стучить костылемъ, сжимаетъ кулаки, проклиная и ругается скверными словами...

— На кого же онъ такъ сердится?

— Добро бы сердился на кого-нибудь изъ насъ, тогда можно бы было что-нибудь предпринять, чтобы его успокоить, а то, представь себѣ, онъ сердится на Австрію; согласись самъ, что тутъ мы ужъ ничего не можемъ сдѣлать. Дошло до того, что наканунѣ нашего отъѣзда онъ велѣлъ отслужить благодарственный молебенъ... какъ ты думаешь, за что? За то, что шесть лѣтъ тому назадъ его хватилъ «кондрашка». Мы думали, что онъ окончательно съ ума спятилъ, но потомъ онъ намъ разъяснилъ все. «Понимаете ли, — говорить, — если бы со мною тогда не приключился ударъ, я бы навѣрно участвовалъ въ венгерской кампаніи, и теперь совѣсть меня бы мучила, что я хоть одного венгерца убилъ въ пользу этихъ подлецовъ и мерзавцевъ»...

— Ну, а съ тобою сталъ любезнѣе.

— Да, теперь помирился, можетъ быть оттого, что я ему сталъ нуженъ. Чтобы слѣдить за войной, онъ выписалъ всѣ газеты; вотъ мы и читаемъ ему по очереди съ Сережей. Самъ онъ читать не можетъ; княгиня какъ прочтетъ десять строкъ, такъ сейчасъ засыпаетъ, а у Христины Осиповны нѣмецкій акцентъ, котораго онъ не переноситъ, да, сверхъ того, она дура невообразимая. Читаетъ она ему на дняхъ изъ «Сѣверной Пчелы»: «Совѣтуемъ французамъ вспомнить примѣръ Карла-хи»... Князь начинаетъ сердиться: «Кто такой Карлъ-хи?»—«Не знаю, князь, такъ напечатано».—«Не можетъ быть, покажите»... Оказалось, что рѣчь шла о Карлѣ XII, а Христина римскихъ цифръ не знаетъ и прочитала «хи», и изъ-за этого «хи» произошла дѣлая катастрофа... Умора да и только!

— А скажи, пожалуйста, Горичъ, отчего Соня, т.-е. княжна, уѣхала изъ Троицкаго?

— Не знаю; это произошло по какимъ-то высшимъ соображеніямъ Ольги Борисовны; она настояла на этомъ.

— Но вѣдь Ольга Борисовна такая умная и прекрасная женщина; у нея, вѣроятно, были вѣскія причины...

— Не сомнѣваюсь ни въ великихъ качествахъ Ольги Борисовны, ни въ вѣскости ея причинъ, но только этихъ причинъ не знаю.

— Ну, а сама княжна желала уѣхать?

— Вотъ видишь, Володя, если ты мнѣ дашь ключъ къ ура-

зумѣнію того, что желаетъ и чего не желаетъ княжна Софья Борисовна, я тебѣ при жизни памятникъ воздвигну.

— Признайся, Горичъ, ты влюбленъ въ княжну?

— Прощай, Володя, пора спать.

Послѣ отъѣзда Горича время полетѣло съ такой ужасающей быстротой, что Угаровъ не замѣтилъ, какъ насталъ день отъѣзда и для него.

— Въ послѣдній разъ вижу тебя лицемъ, — говорила ему на прощанье Марья Петровна, — и молю Бога только объ одномъ, чтобы ты и въ своей свободной жизни остался такимъ же, какимъ былъ и до сихъ поръ.

Какое-то грустное, щемящее чувство испытывалъ Угаровъ въ Буяльскѣ, проѣзжая мимо городского сада, гдѣ онъ въ послѣдній разъ видѣлъ Соню, и входя на станцію, гдѣ онъ впервые узналъ о ея существованіи. Абрамычъ сообщилъ ему, что Сережа и Горичъ еще третьяго дня уѣхали въ Москву и что вчера княгиня завтракала на станціи вмѣстѣ съ Христиной Осиповной, послѣ чего уѣхали куда-то на двѣ недѣли. Въ Троицкомъ, гдѣ мѣсяцъ тому назадъ было такъ многолюдно и весело, оставался теперь одинъ князь Борисъ Сергѣевичъ, окруженный газетами, которыхъ никто ему и читать не могъ.

Въ Петербургѣ, въ лицѣ, жизнь потекла для Угарова обычнымъ порядкомъ. Нѣсколько разъ въ теченіе осени онъ получалъ поклонны отъ Сони черезъ Сережу, бывшаго въ дѣйтельной перепискѣ съ сестрой. Разъ Сережа показалъ ему письмо, въ которомъ было сказано: «Если Угаровъ не забылъ меня, скажи ему, чтобы онъ мнѣ написалъ, какъ онъ проводитъ время». Черезъ три дня послѣ этого Угаровъ вручилъ Сережѣ, для пересылки сестрѣ, посланіе въ восемь страницъ большого формата. Это посланіе, на сочиненіе котораго Угаровъ употребилъ болѣе двухъ сутокъ, было, по его мнѣнію, очень остроумно и въ то же время очень нѣжно, хотя о любви не было упомянуто ни слова. На это посланіе отвѣта не послѣдовало, и поклонны прекратились. Потомъ подошли экзамены, заказы платья, совѣщаніе о будущей службѣ, наконецъ — выпускъ и актъ, и всѣ эти важныя событія если и не изгнали совсѣмъ изъ его сердца, то все-таки значительно заслонили плѣнительный образъ дѣвушки-сфинкса.

IX.

Въ началѣ января, въ пятомъ часу морознаго и яснаго дня, къ подъѣзду извѣстнаго ресторана Дюкрѣ, на Большой Морской, то-и-дѣло подѣзжали простые извозчики, а изрѣдка и красивыя «собственныя» сани. Изъ саней выходили молодые люди, по всѣмъ признакамъ только-что оперившіеся. Иные, небрежно сбросивъ шинели или пальто на руки швейцара, останавливались на минуту у большого зеркала и, приведя въ порядокъ волосы, самоуверенно шли дальше, высказывая полное знаніе мѣстности; другіе, никогда не бывшіе прежде въ этомъ ресторанѣ, бросали кругомъ растерянные взгляды и не знали, куда имъ дѣваться. Старый татаринъ, стоявшій у буфета, указывалъ имъ дверь въ коридоръ и говорилъ: «пожалуйте наверхъ». Въ общей комнатѣ, налѣво отъ выхода, сидѣлъ ротмистръ Акатовъ, извѣстный всему Петербургу подъ именемъ Васьки,—одинъ изъ самыхъ преданныхъ посѣтителей ресторана: можно смѣло сказать, что онъ жилъ у Дюкрѣ, отлучаясь только по дѣламъ службы или въ театръ.

— Абрашка,—спросилъ онъ у стараго татарина,—что это у васъ такъ много народу сегодня?

— Это, ваше сіятельство, лицеисты свой выпускъ празднуютъ. Въ большой залѣ на двадцать-восемь персонъ обѣдъ заказанъ.

— Экіе болваны! — обругалъ ихъ неизвѣстно за что Акатовъ. — Туда же... празднуютъ выпускъ, а отъ двухъ рюмокъ вѣрно всѣ будутъ лежать цодъ столомъ.

— Оно точно, ваше сіятельство, дѣло молодое, непривычное...

Скоро надъ головой Акатова раздалось стройное пѣніе.

— Это еще что такое?

— Это, ваше сіятельство, молитва. Такъ у нихъ заведено: какъ, значить, въ лицей было, такъ и здѣсь.

— Скажите, пожалуйста! Тоже... пѣвцы...

Васька Акатовъ былъ не въ духѣ. Онъ много пилъ, но ничего не ѣлъ за завтракомъ, и уже давно поджидать какого-нибудь пріятеля, съ которымъ могъ бы пообѣдать. Наконецъ, ему надоѣло ждать.

— Абрашка, принеси мнѣ обѣдъ—тотъ, что для этихъ дураковъ заказанъ.

— Осмѣлюсь доложить,—сказалъ татаринъ почтительнымъ шопотомъ:—это тотъ самый двухрублевый обѣдъ, что по картѣ

написанъ; хозяинъ только названія перемѣнилъ и кой-куда труфелю положилъ, а беретъ по 15 руб. съ персоны, безъ вина.

— Все равно, принеси... И бутылку заморозь.

Акатовъ началъ ѣсть, прислушиваясь отъ скуки къ тому, что происходило наверху. Когда тамъ возвышались голоса, двигались стулья или раздавалось громкое «ура», онъ пожималъ плечами и презрительно заглядывалъ на потолокъ, крутя свои длинные рыжеватые усы.

Акатовъ заблуждался. Много тамъ наверху предложено тостовъ, много выпито рюмокъ и стакановъ, но никто изъ обѣдавшихъ не валялся подъ столомъ. Только глаза разгорѣлись и рѣчи дѣлались оживленнѣе. Ихъ было двадцать-семь человѣкъ—въ свѣжихъ сюртукахъ и пиджакахъ, со свѣжими, еще не помѣтыми жизнью лицами; трое изъ нихъ были въ военныхъ мундирахъ. Двадцать восьмой былъ воспитатель Иванъ Фабіановичъ, сидѣвшій на почетномъ мѣстѣ—полный, плѣшивый господинъ, съ золотыми очками и чалыми бакенбардами, зачесанными кверху. Центромъ средней группы былъ Андрияша Константиновъ—любимецъ всего выпуска, едва не подбившій всѣхъ поступить въ военную службу. По его же инициативѣ, лицеисты сложились и собрали 1,500 руб. на военные потребности,—пожертвованіе, которое тогда надѣлало много шума. Онъ былъ средняго роста и не особенно красивъ, но во всемъ его смугломъ лицѣ, а особенно въ большихъ карихъ глазахъ было столько доброты и отваги, что обаяніе, имъ производимое, дѣлалось понятно съ перваго взгляда. Рядомъ съ нимъ помѣщался маленькій, рыженькій Гуркинъ, котораго въ лицѣ звали адъютантомъ Константинова: онъ, очевидно, и теперь оставался вѣренъ своему званію и ѣхалъ вмѣстѣ съ Андрияшей въ дѣйствующую армію. Третій военный былъ младшій братъ Константинова—высокій и стройный юноша, съ нѣжными, почти дѣтскими чертами лица. Онъ сидѣлъ поодаль, пригорюнившись, и тихо разговаривалъ съ двумя товарищами. Нѣсколько разъ въ теченіе обѣда на его глазахъ навертывались слезы, которыя онъ поспѣшно вытиралъ то платкомъ, то салфеткой. Ему, видимо, не хотѣлось уѣзжать, и онъ отправлялся на войну, только подчиняясь авторитету брата.

— Гдѣ-то мы будемъ съ тобой завтра, Андрияша, въ это время?—говорилъ Гуркинъ, опоражнивая залпомъ стаканъ шампанскаго.

— Завтра-то будемъ на желѣзной дорогѣ, это не хитро угадать, а вотъ черезъ двѣ недѣли въ это время, можетъ быть, насъ и совсѣмъ не будетъ.

— Что съ тобой, Константиновъ, — возразилъ аккуратный Миллеръ, — черезъ двѣ недѣли вы никакъ не можете попасть въ сраженіе. Считай по пальцамъ. Завтра вы выѣзжаете—день; послѣзавтра вы въ Москвѣ—два...

— Ну, что тамъ считать, — отвѣчалъ, вставая, Константиновъ и подошелъ къ группѣ, сидѣвшей во главѣ стола.

Рядомъ съ Иваномъ Фабіановичемъ помѣщался баронъ Кнопфъ, первый воспитанникъ, вышедшій съ золотою медалью; нѣсколько другихъ, преимущественно изъ благодѣтельныхъ, окружали ихъ.

— Вы, господа, меня довольно знаете, — говорилъ воспитатель, вытирая клѣтчатымъ платкомъ лицо и лысину, — я никогда вамъ не лстилъ и теперь скажу правду: напрасно вы директора не пригласили на обѣдъ. Онъ хорошій, очень хорошій человекъ.

— Да мы были очень рады пригласить его, Иванъ Фабіановичъ, — отвѣчалъ Кнопфъ, — но многіе были противъ него за то, что онъ сбавилъ три балла изъ поведенія Козликову. Тотъ вышелъ двѣнадцатымъ классомъ...

— Это жалъ, очень жалъ, но Козликовъ самъ виноватъ: онъ получилъ шестерку изъ уголовного права; директоръ тутъ ни при чемъ.

— Не кривите душой, Иванъ Фабіановичъ! — сказалъ подошедшій въ это время Константиновъ. — Вы знаете очень хорошо, что Козликовъ пересталъ заниматься оттого, что ему все равно не хватило бы балловъ на десятый классъ. Нѣтъ, ужъ вы не оправдывайте директора. За два мѣсяца до выпуска сбавилъ три балла, да еще за какой вздоръ: за куреніе, — это чортъ знаетъ что!

Козликовъ, о которомъ шла рѣчь, сидѣлъ одинъ на противоположномъ углу стола и даже не прислушивался къ тому, что о немъ говорили. Цѣлыхъ два мѣсяца «Козликовская исторія» была у всѣхъ на устахъ, но ему отъ этого не было легче. Отецъ у него былъ очень строгій, и, узнавъ о томъ, что сынъ выходитъ двѣнадцатымъ классомъ, запретилъ ему показываться на глаза. Теперь Козликовъ занимался тѣмъ, что безпрестанно подливалъ въ свою чашку кофе и отпивалъ большими глотками. Константиновъ подсѣлъ къ нему.

— Ну, что, козленокъ, нюни распустилъ? Все перемелется,— повѣрь мнѣ.

— Нѣтъ, голубчикъ Андрюша, для меня не перемелется,— такой я ужъ несчастный человѣкъ.

— Знаешь что, козленокъ, поѣдемъ завтра съ нами на Дунай; отличишься на войнѣ, такъ и Кнопфа перегонишь.

— Ахъ, какъ бы это было хорошо, Андрюша! Да нѣтъ, это невозможно, у меня и денегъ нѣтъ ни копѣйки.

— Вотъ вздоръ какой! Коли для трехъ довольно, такъ и четвертому хватить. Приѣдемъ къ дядѣ, онъ тебя прямо въ свой полкъ приметъ.

— Спасибо тебѣ, Андрюша, только это невозможно: отецъ проклянетъ меня; я совсѣмъ несчастный человѣкъ.

— Ну, какъ хочешь, только помни одно: если слишкомъ скверно будетъ, пиши ко мнѣ или приѣзжай прямо. Я все устрою...

Константиновъ налилъ два стакана, чокнулся и облобызался съ Козликовымъ и пошелъ дальше къ группѣ, въ которой ораторствовалъ Горичъ. Между тѣмъ татары убрали со стола посуду и пустыя бутылки и вынесли громадную чашу для жѣнки. Иванъ Фабіановичъ перешелъ со своей компаніей къ фортепіано, у котораго уже сидѣлъ цвѣтущій и радостный Сережа Брянскій и напѣвалъ вполголоса:

J'étais lorette, j'étais coquette,
Mais qu'ils sont loin, mes beaux jours d'autrefois!
La république démocratique
A détrôné les reines et les rois!

— Нѣтъ, Горичъ, уши вянутъ отъ того, что ты говоришь,— раздался голосъ Константинова.— Господа, послушайте: Горичъ увѣряетъ, что единственной цѣлью нашей жизни должна быть карьера.

— Позволь, Константиновъ, я никогда этого не говорилъ, будь добросовѣстенъ. Я говорилъ, что цѣлью моей жизни будетъ карьера.

— Это все равно.

— Нѣтъ, это большая разница. Во-первыхъ...

Но Константиновъ не слушалъ возраженій.

— Я еще понимаю, если эта говорятъ люди хотя почтенные, но старые, однимъ словомъ отцы наши. Но въ двадцать

лѣтъ пренебречь всѣми идеалами добра и самоотверженія для карьеры,—это свинство и гадость.

Горичъ переѣхнулъ въ лицѣ, но тотчасъ сдержалъ себя и продолжалъ спокойно:

— Если ты хочешь ругаться,—ругайся; а если хочешь говорить серьезно, то слушай, по крайней мѣрѣ.

— Ну, хорошо, я слушаю.

— Видишь ли, идеалы жизни должны сообразоваться съ обстоятельствами. У тебя большое состояніе, родителей нѣтъ, и ты, вмѣсто того чтобы кушать и веселиться, ѣдешь на войну... Это, конечно, самоотверженіе, но оно тебѣ легко. Будь я на твоемъ мѣстѣ, я, можетъ быть, сдѣлалъ бы то же самое. Я говорю: можетъ быть, потому что хочу быть совсѣмъ добросовѣстнымъ. Мое положеніе совсѣмъ другое... да, впрочемъ, что скрывать между товарищами? Мой отецъ—дряхлый старикъ, живетъ одной пенсией. Что же я долженъ дѣлать? Отнимать у него послѣдніе гроши и заниматься самоотверженіемъ, или добывать хлѣбъ самому, иначе говоря — дѣлать карьеру? Вотъ я и выбралъ карьеру.

— Выбралъ, выбралъ... Надо, чтобы она тебя выбрала.. Почему ты такъ увѣренъ, что сдѣлаешь карьеру?

— Увѣренъ, потому что сильно этого хочу.

— Ну, ужъ это—извини меня—самонадѣянность...

— Да, самонадѣянность, и я имѣю на нее право. Вспомни, кѣмъ я былъ, когда поступилъ въ лицей. Профессорскимъ сыномъ, самымъ, что называется, замарашкой. Всѣ надо мной смѣялись, никто изъ васъ не могъ пройти мимо, чтобы не дать мнѣ тумака. Когда мнѣ пошелъ шестнадцатый годъ, я созналъ свое положеніе, рѣшилъ измѣнить его, и—что же? Подъ конецъ не только не смѣялись надо мной, но меня же многіе считали фатомъ и забіякой. Такъ вотъ, если я пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ рѣшилъ радикально измѣнить и себя, и свои отношенія съ цѣлымъ классомъ и достигъ этого, то и въ двадцать лѣтъ могу велѣть себѣ сдѣлать карьеру...

— Но вѣдь ты знаешь, что такое значить: сдѣлать карьеру? Это значить: стараться нравиться начальству, творить всякія подлости и гадости... Отвѣчай: согласенъ ты на это?

— Позволь, пожалуйста...

— Нѣтъ ты отвѣчай однимъ словомъ: да или нѣтъ?

— Я не могу отвѣчать однимъ словомъ на два вопроса. Согласенъ ли я стараться нравиться начальству? Да, согласенъ. Согласенъ ли я творить всякія подлости и гадости? Нѣтъ, не согласенъ и не буду.

— А развѣ подольщаться къ начальству не есть подлость?

Споръ началъ опять обостряться. Константиновъ 2-й напомнилъ брату, что пора варить жѣнку. Тотъ быстро сбросилъ мундиръ, засучилъ рукава рубашки и велѣлъ потушить всѣ свѣчи. Одно блѣдное синее пламя освѣщало большую залу. Всѣ вдругъ почему-то притихли и начали говорить чуть не шопотомъ. Кто-то подошелъ къ Горичу и дотронулся до его плеча.

— Горичъ, можно тебѣ предложить молчаливый тостъ? Выпьемъ... ты знаешь самъ—за кого.

Подошедшій былъ Угаровъ. Съ самаго начала обѣда воспоминанія о Сонѣ нахлынули на него съ такой силой, что онъ не принималъ никакого участія въ разговорахъ и тщетно искалъ случая поговорить о ней хоть съ Сережей. Пользуясь темнотой, онъ подерался къ Горичу и предложилъ ему выпить ея здоровье. При полномъ освѣщеніи онъ ни за что не рѣшился бы на такой подвигъ.

— Выпьемъ, Володя, выпьемъ,—отвѣчалъ, внутренне смѣясь, Горичъ,—конечно, я знаю, за кого. Да, кстати, и я хочу сказать тебѣ два слова.

— Не говори здѣсь, пойдемъ: я не хочу, чтобы насъ слышали.

Они вышли въ маленькую гостиную, которая послѣ темной залы показалась имъ ярко освѣщенной. На диванѣ, обитомъ желтымъ штофомъ, какъ пласть, лежалъ злополучный Козликовъ. Сюртукъ его валялся на полу, воротникъ рубашки былъ разстегнутъ, лицо было блѣдно, какъ у мертвеца. Угаровъ поднялъ его голову, свѣсившуюся съ дивана, и уложилъ ее на подушку.

— То, что мнѣ хочется тебѣ сказать,—говорилъ Горичъ, расхаживая большими шагами по мягкому ковру,—я, конечно, могъ бы и не говорить, ну, да сегодня я вообще разстегнулъ жилетъ своей откровенности, какъ говорилъ нашъ французскій учитель. Я очень хорошо вижу и давно знаю, что ты влюбленъ въ Соню... Все равно, будемъ сегодня называть ее Соней. Ты въ чувствахъ упрямъ, ты, вѣроятно, надѣнешся жениться на

ней. Такъ вотъ, какъ товарищъ, какъ другъ, говорю тебѣ: брось ты это дѣло!

— Какъ бросить?—воскликнулъ ошеломленный Угаровъ.— Если ты это хотѣлъ мнѣ сказать, лучше было бы не приходить сюда.

— Да, ты правъ, пойдемъ пить жѣнку.

— Нѣтъ, погоди, погоди,—просилъ Угаровъ, усаживая Горича въ кресло.— Поговоримъ спокойно. Отчего я долженъ все бросить? Ты этимъ хотѣлъ сказать, что Соня не можетъ полюбить меня, сдѣлаться моей женой?

— Нѣтъ, сдѣлаться твоей женой она можетъ, а полюбить тебя дѣйствительно не можетъ.

— Значить, она любить кого-нибудь другого. Можетъ быть, тебя?

— Ахъ, Володя, Володя, какой ты подозрительный и ревнивый! Повѣрь, что мое положеніе гораздо хуже. Къ тебѣ она равнодушна, а меня ненавидитъ ..

— Ненавидитъ... за что же?

— А за то, что я отчасти понялъ и раскусилъ ее. А между тѣмъ, Соня—единственное существо въ мірѣ, передъ которымъ я безсиленъ. Она одна могла бы заставить меня своротить съ той дороги, которую я намѣтилъ себѣ для жизни.

— А, значить, ты ее любишь? Я всегда былъ увѣренъ въ этомъ... А я... Боже мой, какъ я ее люблю!

И Угаровъ началъ говорить шопотомъ, потому что Козликовъ выказалъ кое-какіе признаки жизни. Впрочемъ, черезъ минуту онъ опять обратился въ трепъ.

— Ну, прости меня, Володя, если я огорчилъ тебя,—сказалъ въ заключеніе Горичъ.— Можетъ быть, я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что отъ столкновенія такихъ характеровъ, какъ ты и Соня, не можетъ выйти для тебя ничего хорошаго. А, впрочемъ, объ этомъ еще успѣемъ наговориться, а теперь лучше пойдемъ и выпьемъ.

Когда Угаровъ и Горичъ вернулись въ залу, она была опять освѣщена, и жженка, сваренная Константиновымъ, гуляла по рукамъ и головамъ. Всѣ языки развязались, всѣ старыя симпатіи выплывали наружу, всѣ старыя ссоры прощались отъ души. Пиръ былъ въ разгарѣ—пиръ молодости, которую мудрая жизнь еще не успѣла научить ни расчетамъ, ни притворству, ни злобѣ.

Увидѣвъ Горича, Константиновъ бросился ему на шею и повелъ его «мириться». За этимъ примиреніемъ было выпито множество стакановъ и возобновился споръ о карьерѣ, но уже въ шутиливо-добродушномъ тонѣ.

— Сколько тебѣ лѣтъ нужно «для этого»?— спрашивалъ Константиновъ.— Въ десять лѣтъ берешься сдѣлать карьеру?

— Берусь.

— Ну, такъ вотъ, предлагаю тебѣ пари на дюжину шампанскаго, что не сдѣлаешь. Ровно черезъ десять лѣтъ, т.-е. 3-го января 1864 года, мы всѣ соберемся здѣсь обѣдать, и товарищи рѣшатъ по большинству голосовъ, кто изъ насъ выигралъ.

— Идетъ.

Миллеръ сейчасъ же записалъ условія пари и, заставивъ спорящихъ подписать бумагу, спряталъ ее въ свой объемистый портфель. Тутъ же было рѣшено, что помимо 19-го октября—общей лицейской годовщины,—каждый годъ 3-го января весь выпускъ будетъ обѣдать у 'Дюкро, и Горичъ былъ выбранъ распорядителемъ будущихъ обѣдовъ. Понемногу всѣ отдѣльныя группы соединились въ одинъ большой кружокъ, центромъ котораго оставался Константиновъ. Невольно разговоръ перешелъ къ отъѣзжающимъ товарищамъ, а слѣдовательно къ политическому положенію Россіи. Оно было не легко; западныя державы еще не объявили войну формально, но каждый день надо было ждать этого объявленія. Австрія и Пруссія колебались, но самое колебаніе было равносильно угрозѣ. Молодежь, конечно, не признавала опасности, угрожавшей отечеству, и относилась къ врагамъ съ насмѣшками и презрѣніемъ. Баронъ Кнопфъ—первый воспитанникъ и братъ артиллериста, командовавшаго батареей въ Буяльскѣ—при всеобщемъ смѣхѣ прочиталъ стихотвореніе, только-что сочиненное кѣмъ-то и потомъ облетѣвшее всю Россію:

Вотъ, въ воинственномъ азартѣ,
Воевода Пальмерстонъ
Поражаетъ Русь на картѣ
Указательнымъ перстомъ.

— Господа,—говорилъ докторальнымъ тономъ Иванъ Фабіановичъ,—повѣрьте моей опытности: Франція съ нами драться не будетъ...

— Да, какъ бы не такъ! — возразилъ Константиновъ. — Развѣ вы не знаете, что соединенный флотъ уже въ Черномъ морѣ?

— Очень знаю, но во французской нотѣ по этому случаю прямо сказано, что это дѣлается въ интересахъ мира.

— А вы вѣрите побольше ихъ нотамъ. Скорѣе съ другими поладимъ, а ужъ съ французомъ будемъ драться.

— Непремѣнно будемъ, — прибавилъ Грибовскій, сынъ экс-министра и члена Государственнаго Совѣта. — Третьяго дня отецъ мой самъ слышалъ на выходѣ, какъ государь, обратившись къ кавалергардамъ, упомянулъ о Фершампенуазѣ и Кульмѣ. Это ужъ, повѣрьте, не даромъ.

— Нѣтъ, господа, — крикнулъ рыженькій Гуркинъ, — вы попросите Андрюшку, чтобы онъ прочиталъ стихи, которые онъ вчера написалъ... Вотъ такъ стихи!

Константиновъ не заставилъ себя просить и задыхающимся отъ волненія голосомъ началъ:

Межъ тѣмъ какъ все въ моей отчизнѣ
На брань съ невѣрными спѣшить
И ни имущества, ни жизни
Для чести Руси не щадить,
Хочу въ порывѣ вдохновенія
Героевъ нашихъ превознести... и т. д.

Стихотвореніе было очень длинно и плохо въ литературномъ отношеніи, но по своему содержанію оно произвело страшный фуроръ.

— Bravo, ура! — раздалось со всѣхъ сторонъ. — Качать Константинова!

Патріотическое одушевленіе, охватившее всѣхъ, было такъ сильно, что если бы въ эту минуту кто-нибудь предложилъ молодежи ринуться въ немедленный бой съ непріятелемъ, ни одинъ человекъ не остался бы въ залѣ.

Между тѣмъ жѣнка, которая казалась неизсякаемой, дѣлала свое дѣло, туманя и веселя головы. Начались самыя интимныя лицейскія воспоминанія, передразниванья профессоровъ, директора и прочаго начальства, причемъ Иванъ Фасіановичъ не то чтобы повернулся спиной къ столу, а сѣлъ какъ-то бокомъ, показывая этимъ, что онъ хотя и не протестуетъ противъ такого представленія, но и не одобряетъ его. Горичъ, не лю-

бывшій передразниванья профессоровъ, потому что видѣлъ въ этой забавѣ косвенную насмѣшку надъ своимъ отцомъ, оставшимъ профессоромъ, предложилъ спѣть старую лицейскую хоровую пѣсню.

— Брянскій,—скомандовалъ онъ,—маршъ за фортепіано!

Но Брянскаго не оказалось. Изъ разспросовъ татаръ выяснилось, что Сережу вызвала какая-то дама, пріѣхавшая въ каретѣ, и онъ уѣхалъ съ ней, обѣщавъ вернуться черезъ часъ. Раздались насмѣшливые голоса: «Какъ же, такъ онъ и вернется, держи карманъ!..» «Экая бестія этотъ Брянскій!»

— Господа!—воскликнулъ Константинъ,—по правдѣ сказать, и намъ нечего тутъ киснуть. Предлагаю поѣхать куда-нибудь за городъ и провести всю ночь вмѣстѣ. Вѣдь Богъ знаетъ, придется ли опять когда-нибудь свидѣться.

— Да, да, конечно, ѣдемъ!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Послали за тройками, а пока усиленно принялись кончать жѣнку. Начались тосты совсѣмъ неожиданные. Пили за процвѣтаніе ресторана Дюкро и за жену Ивана Фабіановича — стерую, сварливую нѣмку, которой никто изъ лицейстовъ никогда не видалъ, но голосъ которой былъ извѣстенъ многимъ, такъ какъ она цѣлый день ругалась то съ кухаркой, то съ мужемъ. Попробовали поднять Козликова, но всѣ усилія разбудить его остались безъ успѣха; Горичъ торжественно произнесъ надъ нимъ: «Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра», и поручилъ его попеченіямъ татаръ. Въ послѣднюю минуту Иванъ Фабіановичъ рѣшился также ѣхать за городъ, и это почему-то несказанно всѣхъ обрадовало. Нѣсколько человекъ схватили его на руки и понесли внизъ по узкой витой лѣстницѣ. Иванъ Фабіановичъ очутился въ очень непріятномъ положеніи. Очки на немъ разбились; его толстыя, кривыя ноги безпрестанно ударялись о перила лѣстницы, а главное, онъ боялся, что его уронять, и визгливо стоналъ, но стоны его не были слышны среди оглушительныхъ криковъ «ура» бѣжавшей за нимъ толпы. Абрамка бросился къ лѣстницѣ и хотѣлъ направить шествіе въ боковой подъѣздъ, обѣщая, что туда сейчасъ вынесутъ шинели и калоши, но его не послушали и попли прямо къ главному выходу, мимо знаменитой общей комнаты, которая теперь была совершенно полна. Противъ двери на своемъ обычномъ мѣстѣ возсѣдалъ Васыка Акатовъ; у стола его примостились

два молодыхъ офицера и разсматривали карту ужина. Остальные столы также были заняты. Нельзя сказать, чтобы общая комната отнеслась сочувственно къ побѣдоносному выходу лицейство́въ. Особенно были недовольны князь Киргизовъ, маленький желчный старичокъ во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, заѣхавшій изъ оперы выпить чаю къ Дюкро и немилосердно ругавшій и оперу, и чай, и всѣхъ знакомыхъ, встрѣченныхъ имъ въ театрѣ.

— Боже мой, что за безобразіе! — прошипѣлъ онъ, когда послѣдній лицействъ вышелъ на улицу, — а все это оттого, что ихъ мало сѣли въ лицеѣ.

— Вы совершенно правы, князь, — отозвался Акатовъ, — а глупѣе всего то, что эти мальчишки вѣчно выпьютъ на двугривенный, а накричатъ на сто рублей...

Старичокъ, не любившій, чтобы его собесѣдники, даже соглашавшіеся съ нимъ, открывали для его приговоровъ новые горизонты, отвѣчалъ съ неудовольствіемъ:

— Нѣтъ-съ, это не такъ-съ. Мошенникъ Дюкро такой счетъ имъ влѣпить, что тутъ не двугривеннымъ пахнетъ. Впрочемъ, дѣло не въ томъ-съ, а въ томъ, что ихъ, какъ я уже имѣлъ честь сказать вамъ, недостаточно пороли въ лицеѣ. Да-съ, мало сѣкли, и больше ничего-съ!

Х.

Черезъ нѣсколько дней послѣ выпускного обѣда, въ десять часовъ утра, Угаровъ и Брянскій поднимались по узкой лѣстницѣ большого дома на Фонтанкѣ. Взобравшись въ четвертый этажъ, они позвонили у двери, къ которой была прибита мѣдная дощечка съ надписью: «Иванъ Ивановичъ Горичъ, профессоръ». Пожилой рябой лакей съ суровымъ выраженіемъ лица и длинными волосами, зачесанными за уши, отворилъ имъ дверь.

— Здравствуй, Акимъ, — сказалъ Брянскій, — Яковъ Ивановичъ еще спитъ?

— Какъ можно, давно съ папашей чай кушаютъ. Пожалуйте въ столовую.

Первая комната, въ которую вошли Угаровъ и Брянскій, была когда-то гостиной; вдоль стѣнъ стояли мягкіе диваны и

кресла, но теперь вся мебель была покрыта книгами. Книги валялись на окнах и на полу. Большой письменный столъ отчасти загораживалъ дверь въ столовую, въ которой сидѣли за самоваромъ отецъ и сынъ Горичи.

— Однако вы рано за мной заѣхали, господа,—вскричалъ сынъ, пожимая руку товарищамъ,— я еще не одѣтъ. Вѣдь у министра надо намъ быть къ двѣнадцати часамъ.

— Что ты, что ты, Яша,—заговорилъ отецъ,—развѣ можно упрекать дорогихъ гостей въ томъ, что они рано пріѣхали? Что за бѣда! мы чайку попьемъ, побесѣдуемъ. Только вы, господа, ужъ извините меня, что такой безпорядокъ въ квартирѣ. Я изъ своего кабинета передѣлалъ комнату для Яши, а самъ перенбрался въ гостиную, да не успѣлъ устроиться. Да, кстати, и за костюмъ мой извините.

Горичъ-отецъ былъ облеченъ въ старый мѣховой халатъ и плисовые сапоги. На подбородкѣ, давно небритомъ, торчали жесткіе сѣдые волоса. Все лицо его было до того изрыто морщинами, что двѣ небольшія впадины между краями глазъ и ушами, происшедшія отъ многолѣтняго ношенія очковъ, казались также морщинами.

— Ну, что новаго, господа, на бѣломъ свѣтѣ?—спросилъ онъ, наливая чай гостямъ,— вѣдь мы здѣсь живемъ, какъ въ провинціи, ничего не знаемъ. Правда ли, что Орловъ не поѣдетъ въ Парижъ, а остановился въ Вѣнѣ?

— Говорятъ, что остановился, а навѣрное никто не знаетъ,—отвѣчалъ Угаровъ.—Вотъ это именно всего досаднѣе, что ничего не знаешь, развѣ попадется какая-нибудь иностранная газета.

— Ну, да и иностранныя газеты врутъ здорово!—воскликнулъ Яша Горичъ.—Вѣдь всѣмъ извѣстно, что война началась нападеніемъ турокъ на Мпхайловское укрѣпленіе, а они увѣряютъ, что мы начали войну Синопомъ.

— Да, господа,—говорилъ Горичъ-отецъ, покачивая головой,—трудно добиться правды даже и въ текущихъ дѣлахъ, а что вы можете узнать достовѣрнаго о прошедшемъ? Вотъ я сорокъ пять лѣтъ преподавалъ исторію и все искалъ правды... а какъ ее найдешь? Въ послѣдніе годы я, конечно, попривыкъ, не относился къ дѣлу съ такимъ жаромъ; а въ молодости, бывало, готовишься къ лекціи о какомъ-нибудь героѣ, котораго

особенно полюбилъ, такъ, право, чуть не плачешь отъ умиленія. Потомъ стараешься читать о немъ во всевозможныхъ источникахъ... и что же?—оказывается, что любимый герой, котораго я представлялъ слушателямъ, какъ идеаль добра и чести, дѣлалъ всякія гадости не хуже другого... А то вдругъ натолкнешься на какое-нибудь изслѣдованіе, по которому выходитъ, что герои этотъ вовсе не существовали на свѣтѣ... Давно ли, напримѣръ, была первая французская революція? Съ небольшимъ полвѣка прошло съ тѣхъ поръ. А попробуйте прочесть французскихъ историковъ, писавшихъ о ней,—можете ли вы составить какое-нибудь определенное понятіе о дѣятеляхъ революціи? Я уже не говорю объ историкахъ - роялистахъ,—отъ этихъ нельзя и требовать безпристрастія,—а говорю объ историкахъ, болѣе или менѣе сочувствовавшихъ революціи... Ламартинъ въ восторгѣ отъ жирондистовъ; Мишле восхищается Дантономъ; Луи-Бланъ — Робеспьеромъ; Тьеръ стоитъ на колѣняхъ предъ Наполеономъ... А замѣтите, что еще живы люди, лично знавшіе этихъ дѣятелей. Какъ же вы разберетесь во временахъ болѣе отдаленныхъ?

Разговоръ долго продолжался на эту тему. Старикъ ожилъ, глаза его засверкали; ему казалось, что онъ читаетъ лекцію.

— Мнѣ идетъ восьмой десятокъ,—сказалъ онъ въ заключеніе,—и я знаю, что скоро умру. Но я твердо вѣрю въ загробную жизнь и вѣрю въ то, что узнаю правду послѣ смерти. Только одна эта мысль утѣшаетъ и поддерживаетъ меня.

— Ну, опять ты заговорилъ о смерти,—воскликнулъ Яша,—а еще вчера обѣщалъ мнѣ не говорить о ней. За это я тебя сейчасъ выдамъ товарищамъ. Знаете ли, господа, какой первый вопросъ рѣшилъ отецъ сдѣлать на томъ свѣтѣ? Онъ спросить, кто былъ Желѣзная Маска?

— Не смѣйся, Яша, это очень, очень интересно. Я, знаете ли, началъ вписывать въ особую тетрадь всѣ сомнительные историческіе факты, такъ, повѣрите ли, всю тетрадь исписалъ и бросилъ... Оказывается, что почти все сомнительно...

Когда Яша, облекшись въ вицмундиръ и бѣлый галстукъ, возвѣстилъ, что пора ѣхать, отецъ осмотрѣлъ его очень внимательно.

— Смотри же, Яша, не скажи министру, — говорилъ онъ,

крестя его на прощаніе, — чего-нибудь лишняго. Помни, что первое впечатлѣніе очень много значить; сегодня важный моментъ въ твоей жизни...

— Не бойтесь, Иванъ Ивановичъ,—воскликнулъ Сережа,—мой дядя добрый человѣкъ и насъ не съѣстъ.

Когда вновь испеченные чиновники вошли въ обширную приемную графа Хотынцева, она была пуста. На диванѣ у окна дремалъ дежурный чиновникъ. Это былъ молодой человѣкъ съ наружностью франтоватаго писаря. Волосы его были густо помажены, на шеѣ болтался черный шарфъ, въ который была воткнута булавка съ огромнымъ, хотя фальшивымъ брилліантомъ. Услышавъ шумъ шаговъ, онъ вскочилъ съ мѣста.

— Что вамъ угодно, господа?—спросилъ онъ, щуря брови, чтобы придать себѣ важный видъ. — Министръ принимаетъ по пятницамъ; сегодня я не могу доложить о васъ.

— Правитель канцеляріи велѣлъ намъ быть здѣсь въ двѣнадцать часовъ,—отвѣчалъ Угаровъ.

— Да, если Илья Кузьмичъ приказалъ, это другое дѣло. Онъ въ кабинетъ у министра. Я сейчасъ доложу.

Дежурный чиновникъ очень развязно прошелъ по приемной комнатѣ, но, войдя въ коридоръ, въ концѣ котораго былъ кабинетъ министра, онъ убавилъ шагъ. Къ кабинету онъ подошелъ совсѣмъ скромно и что-то прошепталъ одному изъ курьеровъ, стоявшихъ у завітной двери. Курьеръ сначала приложилъ ухо въ двери, потомъ привычнымъ движеніемъ нажалъ безъ шума ручку замка, и исчезъ за дверью. Черезъ нѣсколько минутъ въ приемную вошелъ Илья Кузьмичъ Шрамченко — еще не старый, но успѣвшій облысѣть на службѣ правитель канцеляріи. Его смуглое лицо съ выдающимися скулами выражало какую-то смѣсь добродушія и лукавства. Онъ ласково поздоровался съ молодыми людьми.

— Молодцы, ни на одну минуту не опоздали; видно, что будете исправными чиновниками. Ну, пойдѣте на пропятіе къ нашему громовержцу; онъ васъ ожидаетъ.

Кабинетъ министра вовсе не имѣлъ того характера строгой дѣловитости, котораго ожидали новые чиновники. Это была очень изящно убранная комната, обитая мягкимъ бархатнымъ ковромъ. Только огромный письменный столъ, заваленный бумагами, указывалъ на ея назначеніе. Посрединѣ кабинета стоялъ человѣкъ

небольшого роста, съ круглымъ брюшкомъ и румянымъ, гладко выбритымъ лицомъ, напоминавшимъ крымское яблоко. Бѣлокурые съ просѣдью волосы въ мелкихъ завитушкахъ были зачесаны назадъ и покрывали чрезвычайно искусно сдѣланную наглядку.

Поза графа Хотынцева дѣйствительно напоминала громовержца. Голова была закинута назадъ, лѣвой рукой онъ опирался объ столъ, а въ правой держалъ золотой лорнетъ, черезъ который внимательно осматривалъ вошедшихъ.

— Очень радъ, господа, съ вами познакомиться, — сказать онъ медленно, какъ бы отчеканивая каждое слово. — Лицей всегда давалъ намъ не только хорошихъ чиновниковъ, но и вполне благовоспитанныхъ людей.

Затѣмъ онъ вопросительно взглянулъ на правителя канцеляріи, который представилъ ему Угарова.

— Вы вышли, не правда ли, съ медалью? Вашъ директоръ съ особенной похвалой отозвался о васъ. Гдѣ вы предпочитаете служить: въ канцеляріи или въ одномъ изъ департаментовъ?

Угаровъ объяснилъ, что онъ единственный сынъ у матери, отъ которой по случаю своего совершеннолѣтія долженъ принимать всѣ дѣла, а потому просилъ дать ему долговременный отпускъ.

— Хорошо - съ, я разрѣшаю вамъ уѣхать на одиннадцать мѣсяцевъ. Надѣюсь, что по возвращеніи вы наверстаете потерянное время.

Графъ Хотынцевъ опять бросилъ взглядъ на правителя канцеляріи, который назвалъ Горича.

— Вы потомокъ того... этого... — началъ министръ, ища выраженій и опять наводя на Горича свой лорнетъ, — однимъ словомъ, одного изъ сподвижниковъ великой Екатерины?

— Ваше сіятельство, — отвѣчалъ Горичъ съ сдержанной улыбкой, — вѣроятно, говорите о Семенѣ Гаврилычѣ Зоричѣ, но я не Зоричъ, а Горичъ.

— Ахъ, Боже мой, извините меня, это всегда Илья Кузьмичъ меня подведетъ... Илья Кузьмичъ, когда же вы, наконецъ, бросите вашу ужасную привычку искажать фамиліи?

Ни одинъ мускулъ не шевельнулся въ лицѣ Ильи Кузьмича. Двѣ вещи онъ зналъ несомнѣнно: во - первыхъ, что въ подобныхъ случаяхъ онъ всегда виноватъ, и во - вторыхъ, что выговоръ начальства никогда не имѣетъ послѣдствій.

— Отчего же вы догадались,—спросилъ послѣ небольшого раздумья министръ у Горича,—что я говорилъ о Зоричѣ? Развѣ въ лицѣ читають о немъ съ каедръ?

— Нѣтъ, ваше сіятельство, въ лицѣ намъ ничего о немъ не говорили, но отецъ мой былъ когда-то профессоромъ исторіи, и у него много разныхъ мемуаровъ. Я съ дѣтства любилъ читать ихъ, особенно тѣ, которые касались Екатерины Великой...

— О, да, вы правы. Это было славное царствованіе... Et puis quelle femme c'était!—прибавилъ онъ, какъ бы про себя.

Графъ Хотынцевъ впалъ въ минутное раздумье, но, сейчасъ же опомнившись, перешелъ въ строгій начальническій тонъ.

— Гдѣ вы предпочитаете служить: въ одномъ изъ департаментовъ или въ канцеляріи?

— Ваше сіятельство, — отвѣчалъ Горичъ, невольно краснѣя, — можетъ быть, моя откровенность покажется вамъ неумѣстной, но я долженъ сознаться, что кромѣ службы я не имѣю никакихъ средствъ существованія, а потому я желалъ бы поступить туда, гдѣ скорѣе могу получить штатное мѣсто.

— Въ вашихъ словахъ нѣтъ ничего неумѣстнаго; откровенность ваша мнѣ нравится. Илья Кузьмичъ, вакансія Иванова въ канцеляріи еще не занята?

— Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство, но только графиня Олимпиада Михайловна приказали мнѣ вчера назначить на это мѣсто барона Бликса...

Графъ Хотынцевъ вспыхнулъ.

— Какая графиня? Что такое графиня? Причемъ тутъ графиня? — заговорилъ онъ, постепенно возвышая голосъ и даже топнулъ ножкой, обутой въ лакированную ботинку. — Вы, кажется, думаете, Илья Кузьмичъ, что жена моя—министръ, а не я. Потрудитесь немедленно составить докладъ о назначеніи господина... Борича на мѣсто Иванова, и чтобы черезъ часъ докладъ былъ на этомъ столѣ. Слышите?

И, очень довольный сдѣланнымъ имъ проявленіемъ власти, министръ перевелъ побѣдоносный взоръ на Серезу.

— Quant à vous, mon cher Сереза, vous écrirez souvent à votre mère; c'est la seule commission que j'ai à vous donner pour le moment

И, сдѣлавъ общій кивокъ головой, въ знакъ прощанія, ми-

нистръ взявъ подѣ-руку Серезу и пошелъ съ нимъ во внутреннѣе аппартаменты.

Когда онъ вышелъ, Илья Кузьмичъ обратился къ Горичу:

— Хотѣлось бы мнѣ поздравить васъ съ назначеніемъ, мой юный сослуживецъ, но по совѣсти не могу еще этого сдѣлать. Теперь вава участь зависитъ отъ того, проболтается ли графъ Василій Васильевичъ за завтракомъ, или нѣтъ. Если онъ промолчитъ, дѣло въ шляпѣ, и черезъ два часа докладъ будетъ подписанъ; если же онъ по разсѣянности разскажетъ графинѣ о вашемъ назначеніи... ну, тогда еще все можетъ переимѣниться.

— А этотъ баронъ Бликсъ, вѣроятно, очень способный юноша?—спросилъ наивно Горичъ.

— Какой способный — совершенный чурбанъ, а графиня хлопочетъ за него, потому что ее просила объ этомъ какая-то ея пріятельница. Я, признаюсь, нарочно при васъ сказалъ, что графиня приказала назначить Бликса: вотъ нашего громовержца-то я разобрало... Ну, а теперь пойдемъ вмѣстѣ строчить докладъ о вашемъ пазначеніи.

Въ столовой, куда графъ Хотынцевъ привелъ Серезу, уже завтракали его жена и племянникъ—красивый бѣлокурый гусаръ Алеша Хотынцевъ. Графиня Олимпіада Михайловна Хотынцева была на два года моложе княгини Брянской и въ молодости также слыла красавицей, но, выйдя замужъ очень рано, она послѣ первыхъ родовъ потеряла сразу и красоту, и ребенка. Можетъ быть, это обстоятельство было причиной того, что въ ней вовсе не развились тѣ «Карабановскіе» инстинкты, которые такъ мучили бурную жизнь княгини Брянской. Она не думала о новыхъ побѣдахъ, а хлопотала только о томъ, чтобы не выпустить изъ рукъ сердце своего мужа. Дѣтей у нея не было; честолюбіе овладѣло всѣми ея помыслами. Хотя графъ Хотынцевъ принадлежалъ, по рожденію, къ самому знатному кругу петербургскаго общества, но самъ онъ придавалъ этому очень мало значенія, слылъ жуиромъ и даже либераломъ, а Олимпіада Михайловна всю жизнь мучилась тѣмъ, что не могла занять подобающее ей мѣсто въ свѣтѣ. Будучи женщиной ограниченной, она обладала большой дозой хитрости и проницательства и всѣ пружины этого «второго ума» пускала въ ходъ для служебнаго возвышенія мужа. Успѣхъ увѣнчалъ ея усилія: теперь, какъ жена министра и въ то же время графиня Хотынцева, она могла

считать себя одной изъ первыхъ дамъ въ городѣ. Но долгая борьба прошла ей не даромъ. Ея большіе черные глаза потускнѣли, цвѣтъ лица сдѣлался совсѣмъ желтый. Зато по стройности стана, по граціи и гибкости всѣхъ ея движеній ее можно было принять за молодую женщину.

Она встрѣтила мужа выговоромъ.

— Ты не можешь, Базиль, не опоздать къ завтраку. Вѣдь ты знаешь, что сегодня вторникъ, что у меня засѣданіе въ пріютѣ, что сегодня пріемный день у княгини Кречетовой—я ужъ три вторника пропустила,—что мнѣ надо еще сдѣлать нѣсколько визитовъ.

Она начала перечислять дамъ, которымъ должна визиты; но мужъ ея не слушалъ, онъ думалъ о чемъ-то другомъ. Послѣ какого-то вопроса жены, онъ вмѣсто того, чтобы отвѣтить ей, неожиданно обратился къ Сережѣ.

— Какъ это странно, что твой этотъ... Вторичъ... угадалъ мои мысли... Oh, il doit être très intelligent...

— Какой Вторичъ?—спросила ошеломленная графиня.

— Ma tante, это не Вторичъ, а Горичъ,—вышпался Сереже.—Это мой товарищъ по лицу, онъ поступилъ на службу къ дядѣ; мы сегодня вмѣстѣ представлялись.

— Боже мой! Вторичъ, Горичъ... Какія имена!—воскликнула графиня.—Какъ можно принимать въ лицей людей съ такими фамиліями! Comme cela sonne bien dans un salon!

— Позволь тебѣ замѣтить, ma chère Olympe,—кратко возразилъ графъ,—что задача лицей—готовить молодыхъ людей не для салоновъ, а для службы, и что поэтому лицей не можетъ состоятъ изъ однихъ Рюриковичей...

— Ахъ, à propos de la служба... Могу я сказать сегодня баронессѣ Блендорфъ, что ея cousin Бликсъ получилъ мѣсто?

Судьба Горича висѣла на волосѣхъ: графъ уже началъ проговариваться, какъ вдругъ вошелъ дворецкій и, подавая графинѣ письмо на подносі, произнесъ торжественно:

— Отъ княгини Кречетовой.

Графиня съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ разорвала конвертъ.

— Ахъ, Боже мой, какъ это хорошо, какъ это весело!—заговорила, она, пробѣжавъ записку.—У княгини сегодня вмѣсто обыкновеннаго пріема будутъ съ двухъ часовъ щипать корпію въ пользу раненыхъ... Княгиня проситъ пріѣхать пораньше и

привести кого-нибудь изъ молодежи. Вотъ и прекрасно... Сережа, ты поѣдешь со мной...

— Мнѣ, ma tante, сегодня нельзя, я общалъ...

— Вздоръ, вздоръ, поѣзжай сейчасъ домой, сними этотъ противный вицмундиръ, надѣнь une redingote boutonnée... впрочемъ, тебя учить нечего. Изъ пріюта я пришлю за тобой карету, и мы поѣдемъ вмѣстѣ. У княгини Кречетовой на будущей недѣлѣ большой балъ, тебѣ необходимо представиться... Вамъ, Alexis, нечего и предлагать—вы, конечно, откажетесь?

И, не дожидаясь отвѣта, графиня граціозно вскочила и легкой дѣвичьей походкой побѣжала одѣваться. Сережа съ грустнымъ выраженіемъ лица вышелъ вслѣдъ за ней. Дядя и племянникъ закурили сигары.

Алеша Хотынцевъ былъ племянникомъ и наслѣдникомъ Васіа Васильевича. Онъ самъ имѣлъ большое состояніе, но такъ какъ его расходы значительно превышали доходы, ему часто приходилось прибѣгать къ дядюшкину кошельку. И въ это утро онъ пріѣхалъ для того, чтобы испросить субсидію. Когда онъ высказалъ свою просьбу, графъ поморщился.

— Хорошо, я тебѣ дамъ, но знай, что ни въ этомъ, ни въ слѣдующемъ мѣсяцѣ лишнихъ денегъ у меня не будетъ. *Modérez vos transports, mon cher.*

— Не безпокойтесь, дядюшка, до лѣта не буду васъ тревожить.

Графъ подошелъ къ двери, тщательно ее заперъ и подскѣлъ къ племяннику.

— Ну, а какъ твои дѣла съ этой нѣмецкой актрисой.

— Съ Шарлотой? Да ничего, я вчера былъ у нея вечеромъ.

— Ахъ, былъ? Ну, и что же? и какъ же? Расскажи подробно. *Tu sais que j'aime les détails.*

— Да ничего не было. Сидѣли у нея все время какіе-то штатскіе. Но зато сегодня она общала завтракать со мною у Дюкрѣ въ два часа.

Глазки у графа заблистали.

— Экій счастливецъ! Какъ я тебѣ завидую!

— Такъ что же, дядюшка. Пріѣзжайте туда, я васъ познакомлю.

— Нѣтъ, какъ я могу пріѣхать? Тамъ будутъ незнакомые...

— Никого не будетъ, кромѣ Васьки Аватова, котораго вы

знаете. Еще я пригласилъ Сережу, да его тетушка переманила. Вотъ ужъ можно сказать, что человекъ предполагаетъ, а тетушка располагаетъ. Въмѣсто того, чтобы завтракать съ Шарлотой, онъ будетъ щипать корпию въ «мондѣ». Одолжила тетушка бѣднаго Сережу!

— А не поѣхать ли мнѣ въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ, подумавши немного, графъ.—Я кстати давно не былъ у Дюкрѣ. Ты понимаешь, мнѣ вѣдь только хочется взглянуть на нее вблизи. Я приѣду туда какъ бы случайно и черезъ четверть часа уѣду.

— Ну, и отлично.

Графъ вынесъ племяннику деньги, велѣлъ заложить сани и пошелъ переодеваться. Черезъ часъ онъ вошелъ въ свой министерскій кабинетъ въ коротенькомъ и очень изящномъ пиджачкѣ — сіяющій и раздушенный, помолодѣвшій лѣтъ на пять. Илья Кузьмичъ уже ждалъ его съ бумагами.

— Вы видите, мой почтеннѣйшій Илья Кузьмичъ, — говорилъ графъ, подписывая докладъ о Горичѣ—что я—вашъ министръ, и что никто не можетъ раздавать мѣста кромѣ меня... А это что за фоліантъ вы тащите изъ портфеля.

— Это, графъ, дѣло Скворцова, которое непременно надо кончить сегодня.

Когда Илья Кузьмичъ былъ наединѣ съ графомъ, онъ никогда не называлъ его: ваше сіятельство.

— Да это совершенно невозможно! — воскликнулъ графъ, смотря на часы.—У меня сегодня комитетъ.

— Вы ошибаетесь, графъ, комитетъ завтра.

— Да, завтра само собою, а сегодня экстренное засѣданіе...

— Какъ вамъ угодно, но я по вашему приказанію напишъ князю Алексѣю Ѳедоровичу, что дѣло будетъ отправлено сегодня непременно.

— Ну, что же дѣлать, читайте; придется немного опоздать.

Илья Кузьмичъ началъ читать, какъ казалось графу, невыносимо медленно. Графъ слушалъ разсѣяннѣе. Онъ не могъ даже вникнуть въ дѣло, потому что воображеніе рисовало ему картины, не имѣвшія ничего общаго съ Скворцовскимъ дѣломъ. Наконецъ, онъ не выдержалъ.

— Илья Кузьмичъ, это я уже слышалъ. Къ чему повторенія!

— Это, графъ, доводы противной стороны.

Но такъ какъ въ эту минуту обѣ стороны были графу равно

противны, онъ попросилъ правителя канцеляріи немедленно перейти къ заключенію. Выслушавъ его безъ всякихъ возраженій, онъ торопливо взялъ перо для подписи. Видя, до какой степени министръ торопится, Илья Кузьмичъ вынулъ изъ портфеля и подsunулъ ему еще двѣ бумаги весьма сомнительнаго свойства. Графъ подписалъ ихъ, не читая, и выбѣжалъ, какъ школьникъ, вырвавшійся на свободу.

Илья Кузьмичъ долго и громко хохоталъ одинъ въ кабинетѣ и по своему обычаю проговорилъ вслухъ:

— Хорошо, я воображаю, тотъ комитетъ, въ который ты поцѣрь въ своей кургузой курточкѣ и для котораго ты такъ надушился, что всѣ мои бумаги будутъ цѣлый мѣсяцъ вонять фіалками!...

И Илья Кузьмичъ съ негодованіемъ плюнулъ на коверъ.

Между тѣмъ какъ графъ Хотынцевъ засѣдалъ въ комитетѣ у Дюкрэ съ Шарлотой, а Сережа съ ожесточеніемъ щипалъ корпію въ салонѣ княгини Кречетовой, Угаровъ, свободный и счастливый, сѣдился въ вагонъ Николаевской желѣзной дороги. При первомъ взглядѣ на сидѣвшихъ съ нимъ пассажировъ Угаровъ сразу вспомнилъ о томъ, о чемъ въ послѣднее время почти забылъ въ шумѣ петербургской жизни, т.-е. о войнѣ. Всѣ лица были серьезны; тутъ были и офицеры, ѣхавшіе на войну, и помѣщики, у которыхъ на войнѣ были сыновья и братья. Они громко роптали на сдѣланныя ошибки и выражали опасенія за будущее. Начиная отъ Москвы, общее настроеніе показалось Угарову еще угрюмѣе. Уже не было и помину о прошлогоднемъ упоеніи нашими будущими побѣдами, о закиданіи шапками всѣхъ нашихъ враговъ. Враги все умножались; огромныя массы войскъ отправлялись къ западной границѣ, а дунайская армія давно слонялась по княжествамъ безъ побѣдъ и, повидимому, безъ опредѣленной цѣли. Въ Буяльскѣ станціонный смотритель встрѣтилъ путешественника неизбѣжными биточками и сообщилъ ему свѣдѣнія о Брянскихъ, о которыхъ Угаровъ почему-то избѣгалъ говорить съ Сережей: «У князя съ мѣсяцъ тому назадъ былъ ударъ, теперь онъ поправляется; а княгиня съ дочкой гдѣ-то тамъ, въ Польшѣ». На Угаровкѣ лежала печать унынія, которую не могъ снять даже неожиданный пріѣздъ Володи.

Со всѣхъ Угаровскихъ имѣній надо было поставить болѣе тридцати человекъ въ рекруты. Марья Петровна не щадила ни

утѣшеній, ни денегъ; каждый вечеръ вопросъ этотъ обсуждался на совѣщаніяхъ съ приказчиками; плачь и вой не прекращались въ сѣняхъ Угаровскаго дома. Лѣтомъ, объѣзжая съ Варварой Павловной свои помѣстья, Угаровъ былъ пораженъ тѣмъ интересомъ, который возбуждала война въ безправномъ, закрѣпощенномъ народѣ. Проѣздомъ въ одну дальнюю деревню, онъ, входя на станцію, услышалъ громкое чтеніе. Молодой ямщикъ по складамъ читалъ газету; другіе ямщики слушали его съ такимъ напряженнымъ вниманіемъ, что не слышали подѣзжавшаго экипажа. 25-го сентября Угаровъ въ этой самой деревнѣ узналъ о высадкѣ англичанъ и французовъ въ Крымъ, объ альминскомъ сраженіи и объ обложеніи Севастополя. Севастополь былъ почти не укрѣпленнымъ мѣстомъ, его, конечно, возьмутъ на-дняхъ, а потомъ... что будетъ потомъ? Никто не рѣшался отвѣтить на этотъ вопросъ; безнадежное уныніе, какъ всегда бываетъ на Руси, смѣнило прежнюю заносчивую гордость.

Въ тотъ самый день, какъ Угаровъ узналъ о высадкѣ союзниковъ, продавцы газетъ громко выкрикивали на улицахъ Парижа: «Grande victoire, prise de Sébastopol!..» Вечеромъ столица Франціи была иллюминирована; на другой день «Moniteur» объявилъ, что радостное извѣстіе не подтвердилось. Черезъ нѣдѣлю извѣстіе это снова облетѣло городъ и снова было опровергнуто. Проходили недѣли и мѣсяцы, тратились милліоны, люди гибли тысячами, а беззащитная крѣпость все стояла передъ удивленными врагами. Иностранная пресса выражала полное недоумѣніе: «Что же все что значитъ? Намъ извѣстно, что русскія ружья не стрѣляютъ, что черноморскій флотъ затопленъ, что Севастополь вовсе не былъ укрѣпленъ... Отчего же не берутъ его? Quel diable de sorcier se mêle de l'affaire?..»

И дѣйствительно былъ такой колдунъ, котораго враги наши хорошо знали когда-то, но успѣли забыть. Этотъ колдунъ былъ тотъ же безправный тогда русскій народъ.

И вотъ понемногу, незамѣтно для самого себя, этотъ колдунъ началъ и самъ сознавать свою силу. Каждый лишній севастопольскій день отзывался за тысячи верстъ пробужденіемъ бодрости и подъемомъ народнаго духа. Къ концу 1854 года, постъ четырехмѣсячной геройской защиты Севастополя, совѣмъ новое настроеніе охватило Россію. Это не было преждее, легкомысленно-насмѣшливое отношеніе къ врагу,—это была твер-

своихъ мечтаній съ дѣйствительностью, такъ какъ война происходила на югѣ, а онъ ѣхалъ на сѣверъ, но, вспомнивъ, что на Балтійскомъ морѣ слоняется англійская эскадра, онъ успокоился, и его будущіе лавры полководца получили нѣкоторое правдоподобіе. Уже совсѣмъ подъѣзжая къ Петербургу, онъ спасалъ этотъ городъ, бросаясь во главѣ своихъ товарищей въ самую критическую минуту на англичанъ и собственноручно бралъ въ плѣнъ адмирала Непира.

Неблагодарный Петербургъ поразилъ Угарова своимъ равнодушіемъ. Не говоря уже о деревнѣ, гдѣ его встрѣчали цѣлыми селеніями съ хлѣбомъ и солью, но даже въ московскихъ гостиницахъ швейцары въ русскихъ поддевахъ бросались сломя голову при его появленіи; здѣсь же, въ гостиницѣ Демута, гдѣ онъ остановился, ему отвели номеръ съ такимъ видомъ, какъ будто дѣлали ему величайшее снисхожденіе. Наскоро напившись чаю, онъ надѣлъ вицмундиръ и поѣхалъ въ министерство, смущаясь тѣмъ, что просрочилъ пять дней. Но этой просрочки никто не замѣтилъ. Илья Кузьмичъ въ отвѣтъ на его извиненія сказалъ:

— Господи, какое несчастіе! Да если бы вы пять недѣль просрочили, и то бѣды бы никакой не было!

Илья Кузьмичъ былъ въ это утро въ дурномъ расположеніи духа и желтъ, какъ лимонъ.

— По-неволѣ начинаешь завидовать людямъ, у которыхъ есть своя деревня, — говорилъ онъ, разглядывая Угарова, — а въ этомъ богоспасаемомъ градѣ ничего не наживешь, кромѣ непріятностей и гемороя. А васъ мы помѣстимъ въ департаментъ къ Висягину, Сергѣю Павловичу. Вы его знаете? Онъ также лицеистъ и человѣкъ обходительный.

Илья Кузьмичъ позвонилъ и велѣлъ узнать, пріѣхалъ ли Висягинъ. Оказалось, что его нѣтъ.

— Еще бы! — прощѣдилъ онъ сквозь зубы, — какъ же ему можно пріѣзжать во-время! Вѣдь онъ у насъ аристократъ.

Угаровъ хотѣлъ удалиться, но Илья Кузьмичъ попросилъ его посидѣть съ нимъ. Ему, видимо, хотѣлось излить передъ кѣмъ-нибудь частичку своей желчи.

— Вотъ тоже цвѣтокъ петербургской флоры — это наши понятія объ аристократахъ! Положимъ, министръ нашъ можетъ считать себя аристократомъ: по рожденію тамъ, что ли, или по

доблести предковъ... Хотя, между нами сказать, его предки были и не особенно доблестны—ну, да Богъ съ ними... но Висягинъ... Я васъ спрашиваю: что такое Висягинъ? Отца его я зналъ: это былъ чуть не мелкопомѣстный помѣщикъ, который на послѣдніе гроши воспиталъ сыновей въ лицей... Ну, вотъ, и вышелъ изъ лица Сереженька, заказалъ фракъ у Шармера, вставилъ стеклышко въ глазъ, раскрылъ ротъ до ушей (при этомъ Илья Кузьмичъ показавъ на своемъ лицѣ, какъ Висягинъ раскрываетъ ротъ и вставляетъ стеклышко) и объявилъ себя аристократомъ. И вѣдь что глупѣе всего—всѣ ему повѣрили: аристократъ, да и только! Ему все позволено, для него законъ не писанъ, всѣ лучшія мѣста и награды принадлежать ему по праву... Да если бы я смолodu зналъ эти обычаи, и я бы могъ, пожалуй, объявить себя аристократомъ.

— А посмотрите, вѣдь какъ эти господа презираютъ нашего брата-труженика,—продолжалъ Илья Кузьмичъ, все болѣе и болѣе раздражаясь, — особенное прозваніе для насъ придумали: чижамъ насъ называютъ. Ну, что-жъ, чижи такъ чижи, а безъ чижей имъ бы плохо пришлось. Вотъ графиня Олимпиада Михайловна всунула-таки къ намъ въ канцелярію своего Бликса, но этотъ ужъ такимъ ндіотомъ оказался, что даже и я не ожидалъ. Хорошо еще, что успѣлъ устроить Горича на мѣсто, которое предназначалось для этого барона. Спрашиваетъ его на-дняхъ графиня, что онъ дѣлаетъ въ канцеляріи, а онъ ей отвѣчаетъ: «я сочиняю входящія бумаги». Какъ вамъ это нравится!

И Илья Кузьмичъ залился продолжительнымъ, задыхающимся смѣхомъ.

— А какъ служить Горичъ?—рѣшился спросить Угаровъ.

— Ну, этотъ, я вамъ скажу, малый не промахъ, такъ влѣзъ въ душу графу, что тотъ безъ него жить не можетъ. Каждый день за нимъ посылаетъ, виѣстѣ изучаютъ исторію, читаютъ какіе-то мемуары... Къ Пасхѣ мы для него даже новое мѣсто создаемъ: секретаря по особо важнымъ дѣламъ. А у насъ, по правдѣ сказать, не только особенно важныхъ, но и никакихъ важныхъ дѣлъ нѣтъ. Да, подвернись какой-нибудь этакій Горичъ лѣтъ восемь тому назадъ, я бы ему такую подножку подставилъ, что онъ у меня кубаремъ полетѣлъ бы со своими мемуарами... А теперь мнѣ что! Черезъ два года мнѣ выходитъ

полный пенсіонъ, и тогда меня никакими калачами не удержать на службѣ. И вотъ, помяните мое слово, что никому другому, какъ Горичу, я сдамъ должность...

— Но вѣдь онъ будетъ еще слишкомъ молодъ,—возразилъ Угаровъ,—и черезъ два года онъ еще не достигнетъ чина...

— Ну, это не бѣда! назначать его сперва исправляющимъ должность, а за чинами дѣло не станетъ. Для такихъ...

Илья Кузьмичъ вдругъ замолкъ, вспомнивъ, вѣроятно, что Угаровъ товарищъ Горича, и продолжалъ въ болѣе мягкомъ тонѣ:

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что я что-нибудь имѣю противъ Горича; онъ прекрасный и вполне достойный молодой человекъ. Я съ вами говорю такъ откровенно, потому что сразу вижу, что вы не изъ такихъ, которые выносятъ соръ изъ избы.

А когда сторожъ громко возвѣстилъ, что «его превосходительство Сергѣй Павловичъ изволили прослѣдовать въ свой кабинетъ», Илья Кузьмичъ уже добродушно смѣялся и, взявъ подъ руку Угарова, сказалъ:

— Ну, и мы прослѣдуемъ въ его кабинетъ.

Сергѣй Павловичъ Висягинъ былъ красивый, стройный брюнетъ съ вьющимися волосами и пышными бакенбардами, доходившими до половины щекъ, и хотя ему было за сорокъ лѣтъ, но на видъ никто не далъ бы ему болѣе тридцати. Онъ безпрестанно вставлялъ въ глазъ стеклышко, но смотрѣлъ черезъ это стеклышко не на того, съ кѣмъ говорилъ, а куда-то въ бокъ. Онъ принялъ Угарова какъ любезный начальникъ, но только что Илья Кузьмичъ вышелъ за дверь, тотчасъ перешелъ на товарищески-фамиллярный тонъ, запретилъ Угарову называть себя превосходительствомъ и посоветовалъ ему поѣхать слушать Тамберлика въ «Пророкъ».

— Какъ, вы никогда не слышали «Пророка»? Въ такомъ случаѣ я вамъ, какъ начальникъ, предписываю сегодня же вечеромъ отправиться въ театръ, тѣмъ болѣе, что Тедеско въ первый разъ поетъ партію Фидесъ. А чтобы вы не отлынивали, я распоряжусь самъ.

Сергѣй Павловичъ позвонилъ.

— Позвать мнѣ Онуфрія Ивановича. Кстати я васъ помѣщу къ нему въ столъ.

Вошелъ маленькій, лысенькій, робкій столоначальникъ изъ породы чистокровныхъ «чижей».

— Онуфрій Ивановичъ, рекомендую вамъ новаго сослуживца, господина Угарова; онъ прикомандировывается къ вашему столу. А для перваго знакомства садитесь сейчасъ въ мои сани, поѣзжайте въ Большой театръ и возьмите для него кресло на нынѣшній вечеръ въ «Пророка».

Угаровъ ужасно сконфузился и началъ кланяться, что самъ возьметъ кресло, но Сергѣй Павловичъ былъ непреклоненъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы не достанете хорошаго билета, Онуфрій Ивановичъ родственникъ кассиру.

Онуфрій Ивановичъ вышелъ, но тотчасъ вернулся.

— Ваше превосходительство, не случилось бы ошибки: сегодня идетъ «Осада Гента».

— Ну, да, это то же самое. «Пророкъ» запрещенъ, а дадутъ его подъ именемъ «Осады Гента»... Главное, Онуфрій Ивановичъ, не разсуждайте.

Черезъ минуту въ кабинетъ вбѣжалъ безъ доклада господинъ, котораго Угаровъ сейчасъ же призналъ за брата Сергѣя Павловича: то же стеклышко, тѣ же пучки бакенбардъ, тотъ же взглядъ въ бокъ; только онъ былъ на нѣсколько лѣтъ моложе и одѣтъ въ мундиръ другого вѣдомства.

— Что это значить, Митя?—спросилъ Сергѣй Павловичъ.

— Я забѣжалъ къ тебѣ, чтобы сообщить важную новость.

Угаровъ, уже выходившій изъ кабинета, невольно остановился. Ему пришло въ голову: не взять ли Севастополь?

— Представь себѣ: Петька Шоринъ объявленъ женихомъ.

— Не можетъ быть? — воскликнулъ Сергѣй Павловичъ и выронилъ стеклышко изъ глаза.

Въ пріемной Угаровъ столкнулся съ Горичемъ, который бѣжалъ куда-то съ портфелемъ подъ мышкой и имѣлъ очень озабоченный самодовольный видъ.

— А, Володя!—воскликнулъ онъ, останавливаясь,—прости меня, теперь у меня свободной минутки нѣтъ, а приходи сегодня къ намъ обѣдать въ пять часовъ...

И, не дождавшись отвѣта, побѣжалъ дальше.

Своего начальника, Онуфрія Ивановича, который, по призыву Висягина, сдѣлался его комиссіонеромъ, Угаровъ прождалъ довольно долго. Онуфрій Ивановичъ привезъ билетъ, а когда Угаровъ началъ извиняться за безпокойство, невольно ему причиненное, онъ добродушно отвѣтилъ:

— Помилюйте, какое же это беспокойство? Мнѣ только доставило удовольствіе прокатиться въ саняхъ Сергѣя Павловича; я кстати и еще кое-куда заѣхалъ... Вотъ только не знаю, куда васъ посадить: вы видите, у насъ все переполнено... Знаете что,—сказалъ онъ, подумавъ,—теперь уже середина декабря, до праздниковъ вамъ сюда ходить не стоитъ, а въ январѣ милости просимъ: мы мѣсто вамъ приготовимъ, и придумаемъ занятіе какое-нибудь...

Угаровъ вышелъ изъ министерства неудовлетворенный и почти печальный. Все произошло какъ-то не такъ, какъ онъ воображалъ себѣ. Правда, съ нимъ были всѣ очень любезны, но онъ мечталъ о серьезной работѣ, а съ нимъ обращались, какъ съ ребенкомъ, котораго надо развлекать игрушками.

Подъѣзжая къ своей гостиницѣ, Угаровъ услышалъ знакомый голосъ, который его окликнулъ. Это былъ его товарищъ Миллеръ. Они вмѣстѣ вошли въ номеръ.

— Погоди! — закричалъ Миллеръ, сбрасывая пальто. — Прежде всего отдай мнѣ одиннадцать рублей тридцать копѣекъ, которые я внесъ за тебя въ лицей за книги.

— За какія книги?

— За тѣ книги, которые ты потерялъ или испортилъ въ теченіе шести лѣтъ. Изволь платить сейчасъ, а то послѣ забудешь.

Аккуратный Миллеръ внимательно сосчиталъ и спряталъ деньги, послѣ чего сказалъ:

— Ну, а теперь поцѣлуемся.

Встрѣча съ Миллеромъ была благодареніемъ для Угарова. Марья Петровна снабдила его большимъ кушемъ денегъ для устройства квартиры, но онъ рѣшительно не зналъ, какъ приступить къ этому дѣлу. Миллеръ взялся помочь ему; онъ потребовалъ карандашъ и бумагу, долго писалъ и соображалъ какія-то цифры и, наконецъ, объявилъ, что ровно черезъ мѣсяцъ—раньше никакъ нельзя—Угаровъ будетъ водворенъ въ своей квартирѣ.

Около пяти часовъ Угаровъ входилъ къ профессору Горичу. Яши не было дома; Иванъ Ивановичъ встрѣтилъ его въ плисовомъ сюртукѣ и съ какой-то важностью, которой прежде у него не было.

— Здравствуйте, мой любезнѣйшій,—сказалъ онъ, припод-

нимаясь съ большого сафьяннаго кресла, — очень радъ васъ видѣть. Яша прислалъ мнѣ записку съ курьеромъ, что вы откушаете нашего хлѣба-соли. Ну, что же, очень радъ, чѣмъ Богъ послалъ.

Прежняго безпорядка въ квартирѣ не было; она имѣла очень уютный видъ; на ней, какъ и на хозяйнѣ, лежала печать довольства. Только одинъ Акимъ не измѣнился: онъ попрежнему былъ въ нанковомъ сюртукѣ и съ волосами, зачесанными за уши.

— Да, хорошо, очень хорошо, что вы устроили свои дѣла въ деревнѣ, — говорилъ Иванъ Ивановичъ, послѣ того какъ Угаровъ разсказалъ ему все, что было въ теченіе года. — А все-таки скажу: жаль, что цѣлый годъ вы потеряли даромъ. Потерять годъ службы — это важная вещь. Ну, да ничего, съ помощью Яши мы какъ-нибудь это поправимъ.

— Я слышалъ, что Яша идетъ хорошо по службѣ, — сказалъ Угаровъ.

— То-есть, какъ *хорошо*? сказать *хорошо* — очень мало. Онъ идетъ блистательно. Я всегда надѣялся, что Яша будетъ оцѣненъ по достоинству, но признаюсь, что такого успѣха не ожидалъ. Графъ Хотынцевъ души въ немъ не чае, совѣтуется съ нимъ по всѣмъ важнымъ вопросамъ. Теперь я умру спокойно: у Яши есть второй отецъ. Да вотъ, чего же лучше...

Иванъ Ивановичъ закрылъ глаза и откинулся на спинку кресла. Видно было, что разсказъ свой онъ уже передавалъ многимъ, и что всѣ эффекты были заучены.

— Сижу я въ прошломъ мѣсяцѣ въ этомъ самомъ креслѣ и перелистываю Нибура — это моя настольная книга — вдругъ звонокъ. Акимъ докладываетъ: «графъ Хотынцевъ». Я говорю: вѣрно къ Якову Иванычу, и думаю, что это племянникъ графа, — гусаръ есть такой. Акимъ говорить: «нѣтъ, васъ спрашиваютъ». — Ну, проси. — Встаю я съ кресла, и вдругъ — кто же передо мной? Самъ министръ, графъ Василій Васильевичъ Хотынцевъ. Я долго глазамъ своимъ не вѣрилъ, и тутъ только вспомнилъ, что на мнѣ халатъ, началъ извиняться... Онъ говорить: «помилуйте, какъ же дома иначе сидѣть, какъ не въ халатѣ?» И начался у насъ чрезвычайно любопытный разговоръ...

Разсказъ старика былъ прерванъ сильнымъ звонкомъ. Вбѣжалъ Яша, извиняясь за опозданіе и говоря, что онъ умираетъ съ голоду. За обѣдомъ Иванъ Ивановичъ говорилъ безъ умолку,

перескакивая съ одного предмета на другой и постоянно возвращаясь къ графу Хотынцеву. Подъ вліяніемъ радостнаго возбужденія, въ которомъ онъ жилъ въ послѣднее время, память его вдругъ пошатнулась, и онъ немилосердно путалъ лица и событія. При этомъ онъ безпрестанно подливалъ себѣ мадеры изъ бутылки, которую Яша незамѣтно переставилъ къ концу обѣда подальше. Когда Акимъ подалъ кофе, Иванъ Ивановичъ предложилъ угостить дорогого гостя коньякомъ, но Яша поспѣшилъ отвѣтить, что Угаровъ не пьетъ коньяку. Иванъ Ивановичъ совсѣмъ осовѣлъ и говорилъ уже слегка охриплымъ голосомъ:

— Да, господа, графъ Хотынцевъ, это — свѣтлая личность, это — высокій государственный умъ. Довольно съ нимъ полчаса поговорить, чтобы убѣдиться въ этомъ. Сижу я въ прошломъ мѣсяцѣ въ кабинетѣ и перелистываю Нибура — вдругъ звонокъ... Впрочемъ я, кажется, вамъ уже это рассказывалъ...

И, слегка сконфузившись, Иванъ Ивановичъ перешелъ къ кардиналу Ришельё, въ которомъ, по его мнѣнію, было много сходныхъ чертъ съ графомъ Хотынцевымъ.

Когда въ восемь часовъ Угаровъ собрался въ оперу, Яша убѣдилъ его заѣхать домой и переодѣться, говоря, что порядочные люди иначе не ѣздятъ въ оперу, какъ во фракѣ.

— Что дѣлать, мой любезнѣйшій, — прибавилъ Иванъ Ивановичъ. — *Usus — tyrannus.*

Переодѣванье заняло такъ много времени, что Угаровъ пріѣхалъ въ театръ по окончаніи перваго акта. Привыкнувъ къ деревенской тишинѣ, Угаровъ при входѣ въ залу былъ совсѣмъ ошеломленъ блескомъ люстры, обнаженныхъ плечъ и брилліантовъ и немолчнымъ, хотя и негромкимъ говоромъ многолюдной свѣтской толпы. Сверхъ того онъ усталъ съ дороги, послѣднюю ночь въ вагонѣ почти не спалъ и вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ музыка «Пророка», которую онъ слышалъ въ первый разъ, не произвела на него особаго впечатлѣнія. Во второмъ антрактѣ подбѣжалъ къ нему на минуту Сережа Брянскій — еще болѣе красивый и элегантный, чѣмъ прежде, и взялъ съ него слово пріѣхать послѣ оперы ужинать къ Дюкрѣ.

— Никого не будетъ, — говорилъ Сережа, — кромѣ моего друга Алеши Хотынцева, который очень хочетъ съ тобой познакомиться, и двухъ молодыхъ женщинъ...

Когда въ третьемъ актѣ Тедеско появилась въ видѣ нищей и, сѣвши въ глубинѣ сцены, запѣла:

Pietà per l'alma afflitta...

ея голосъ, проникнутый глубокою скорбью о потерянномъ сынѣ, страстно взволновалъ Угарова. Изъ-за покрывала, надѣтаго на голову Фидесь, ему вдругъ померещились знакомыя черты Марьи Петровны, и это воспоминаніе окончательно отвлекло его отъ оперы и унесло въ родное, только-что покинутое гнѣздо. Подъ этимъ впечатлѣніемъ онъ даже не поѣхалъ ужинать къ Дюкрѣ, а вернулся домой и написалъ длинное письмо Марьѣ Петровнѣ. Припоминая впечатлѣнія своего перваго дня въ Петербургѣ, Угаровъ улыбнулся при мысли, что на немъ въ этотъ день были четыре костюма: сначала дорожный, потомъ вицмундиръ, сюртукъ и фракъ, тогда какъ въ Угаровѣ онъ шесть мѣсяцевъ носилъ все тотъ же сѣрый пиджакъ, за что подвергался горячимъ нападкамъ Варвары Петровны. Другое различіе между деревней и Петербургомъ было еще разительнѣе: онъ видѣлъ множество людей, въ театрѣ вслушивался въ разговоры, которые раздавались кругомъ,—и ни разу никто даже не упомянулъ о Севастополѣ. Казалось, что въ Петербургѣ забыли или не хотятъ думать о томъ, что гдѣ-то на югѣ ежечасно льется русская кровь и наши братья погибаютъ въ непосильной борьбѣ,—и невольно припоминалось ему, какъ наканунѣ его отъѣзда изъ Угаровки была получена почта, какъ тетя Варя вырвала у него изъ рукъ «Русскій Инвалидъ», какъ Андрей и Лукерья, притаившись за дверью, слушали чтеніе, и какъ черезъ полчаса вбѣжалъ Степанъ Степановичъ Брылковъ со словами: «не томите, кума, скажите поскорѣе: сдались или еще держимся?»

Третьяго января Угаровъ праздновалъ у Дюкрѣ первую годовщину своего выпуска. Собралось съ Иваномъ Фабіановичемъ шестнадцать человекъ. Трое были въ Севастополѣ, шестеро служили въ провинціи; изъ жившихъ въ Петербургѣ одинъ не пріѣхалъ по болѣзни, двое — по неизвѣстнымъ причинамъ. Нѣкоторыхъ товарищей Угаровъ увидѣлъ въ первый разъ съ пріѣзда и почти во всѣхъ нашелъ какую-нибудь перемѣну. Жизнь уже наложила на нихъ свой первый слой. Меньше всѣхъ измѣнился Сережа Брянскій: онъ остался тѣмъ же «много болтавшимъ и мало говорившимъ», какъ называлъ его Гуркинъ въ

лицей, т.-е. тщательно скрывалъ отъ всѣхъ, что дѣлать, и ни о чемъ не высказывалъ своего мнѣнія. Первый воспитанникъ, Кнопфъ, уже отпустилъ жиденскія бакенбарды. Онъ служилъ въ Сенатѣ и пространно рассказывалъ разные уголовные казусы, безпрестанно цитируя наизусть статьи уложенія о наказаніяхъ. Злополучный Козликовъ имѣлъ видъ совсѣмъ благополучный; онъ примирился съ отцомъ, очень потолстѣлъ и, повидимому, благоденствовалъ во всѣхъ отношеніяхъ. Въ серединѣ обѣда онъ уже былъ пьянъ, сыпалъ остротами и рассказывать нескромные анекдоты, что нѣсколько коробило Ивана Фабіановича. Разъ, когда онъ началъ какой-то уже совсѣмъ неприличный рассказъ, Иванъ Фабіановичъ, чтобы замять его, спросилъ, возвысивъ голосъ, у своего сосѣда:

— Скажите, Кнопфъ, что Грузновъ... дѣльный сенаторъ?

Горичъ старался держать себя скромно и ничего не говорилъ о своихъ служебныхъ успѣхахъ, но самодовольство его нѣсколько разъ вырывалось наружу.

— Ну, что знаменитая твоя карьера? — спросилъ у него Козликовъ. — Выиграешь ты пари, или проиграешь?

— Не знаю, — отвѣчалъ Горичъ, — можетъ-быть проиграю, а впрочемъ, если желаешь также поддержать за Константинова, я согласенъ удвоить кушъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Кто бы изъ васъ ни проигралъ, я все равно буду участвовать въ питьѣ... А чужое шампанское какъ-то вкуснѣе.

Болѣе всѣхъ преобразился сынъ эксъ-министра Грибовскій.

Онъ очень кичился тѣмъ, что ѣздитъ въ свѣтъ, пріобрѣлъ какія-то изиѣженныя манеры, говорилъ слегка въ носъ и растягивалъ слова. Къ Дюкрѣ онъ пріѣхалъ во фракъ и бѣломъ галстукѣ и нѣсколько разъ повторялъ, что послѣ обѣда ѣдетъ въ театръ, въ ложу княгини Зизи.

Воспользовавшись минутнымъ молчаніемъ, онъ черезъ столъ спросилъ у Сережи:

— Брянскій, ты вчера долго оставался у княгини Кречетовой?

Сережа, которому было очень неприятно, что всѣ узнали, гдѣ онъ былъ наканунѣ, отвѣчалъ съ досадой:

— Зачѣмъ ты объ этомъ спрашиваешь, когда мы вышли вмѣстѣ?

— Ахъ, да, я и забылъ...

Грибовскій не унялся, и черезъ минуту опять обратился къ Сережѣ.

— Брянскій, ты будешь въ воскресенье у Антроповыхъ?

— Право, не знаю,—отвѣчалъ неохотно Сережа,—до воскресенья далеко.

— А я врядъ ли поѣду. Тамъ бываетъ слишкомъ смѣшанное общество.

— Еще бы не смѣшанное,—брякнулъ Козликовъ.— Ужъ если тебя принимаютъ, такъ значить смѣшанное.

Всѣ разсмѣялись. Грибовскій хотѣлъ-было обидѣться, но потомъ также засмѣялся и, подбѣжавъ къ Козликову, шути взялъ его за ухо.

— Отстань, убирайся!—говорилъ Козликовъ, вливая въ себя стаканъ вина.— Подержи лучше за ухо княгиню Зизи. Мнѣ одинъ вѣрный человѣкъ говорилъ, что она это любитъ...

— Ахъ, какой онъ смѣшной!—сказалъ Грибовскій и усѣлся на свое мѣсто.

Вообще обѣдъ прошелъ оживленно и весело, но о той задумчивости, которой былъ проникнутъ прошлогодній обѣдъ, не было и помину. Тогда обѣдала семья, теперь собрались хорошіе знакомые. Одинъ только разъ прозвучала на обѣдѣ сердечная нотка, когда Кнопфъ провозгласилъ здоровье товарищей-севастопольцевъ. Миллеръ вынулъ изъ портфеля четвертушку сѣрой бумаги и громко прочелъ письмо Константинова отъ 20-го октября.

«Спасибо, дорогой другъ Миллеръ, за твое длинное и обстоятельное письмо; къ сожалѣнію, могу отвѣтить тебѣ только нѣсколькими строками. Пишу въ землянкѣ, лежа на полу, т.-е. на землѣ, и насилу могъ достать клочокъ бумаги. А между тѣмъ я видѣлъ столько высокаго и вмѣстѣ съ тѣмъ столько ужаснаго и гадкаго, что исписать обо всемъ этомъ можно бы цѣлые томы. Если Богъ дастъ свидѣться, расскажу подробно. Признаюсь, что въ первые дни было здѣсь очень жутко, такъ что я нѣсколько разъ мысленно обзывалъ себя трусомъ, но потомъ привыкъ, и теперь, идя на бастіонъ, право не чувствуешь страха больше, чѣмъ, бывало, передъ латинскимъ экзаменомъ. Брата ты бы не узналъ: до того онъ выросъ и возмужалъ во всѣхъ отношеніяхъ. За Балаклаву онъ, вѣроятно, получить Георгія, да и дѣйствительно онъ держалъ себя такимъ молодцомъ, что нельзя было не полюбоваться имъ. На другой день, т.-е. 14-го октября,

онъ ходилъ на вылазку съ батырцами и раненъ пулей въ лѣвую ногу (немного выше колѣна). Рана, впрочемъ, пустая, и дней черезъ десять онъ выпишется изъ госпиталя. Гуркинъ со мной неразлученъ и мы, конечно, безпрестанно вспоминаемъ о васъ, дорогихъ и милыхъ. Не поминайте насъ лихомъ и не забудьте чокнуться съ нами 3-го января. Впрочемъ, до тѣхъ поръ я еще много разъ буду писать тебѣ».

Константиновъ не исполнилъ своего обѣщанія, и съ 20-го октября о немъ не было никакого извѣстія.

У многихъ при чтеніи письма навернулись слезы.

II.

Въ серединѣ февраля у графини Хотынцевой былъ утренній пріемъ. Гости уже разѣзжались; въ гостиной сидѣла только баронесса Блендорфъ — высокая рыжеватая блондинка съ нѣсколько лошадинымъ лицомъ, — которую графиня уговорила остаться обѣдать. Рядомъ съ ней сидѣлъ ея двоюродный братъ баронъ Бликсъ, очень на нее похожій, съ лицомъ совсѣмъ лошадинымъ и съ моноклемъ въ глазу. Графиня уже приказала, чтобы больше никого не принимали, какъ вдругъ раздался съ лѣстницы громкій звонокъ и лакей возвѣстилъ о пріѣздѣ Петра Петровича, — нѣкогда начальника, а теперь пріятеля графа. Вошелъ высокій сухощавый старикъ, одѣтый по-старомодному, въ длинномъ сюртукѣ и съ огромнымъ чернымъ галстукомъ, подпиравшимъ ему щеки. Разсѣянно поздоровавшись съ дамами, онъ сейчасъ же вызвалъ графа въ залу и сказалъ ему вполголоса:

— Вы знаете, графъ, ужасную новость? Государь умираетъ.

— Не можетъ быть! — воскликнулъ графъ Хотынцевъ. — Кто это сказалъ вамъ, Петръ Петровичъ?

— Между докторами произошло разногласіе: Мантъ увѣряетъ, что нѣтъ никакой опасности, а другіе говорятъ, что нѣтъ никакой надежды. Вы вѣдь, кажется, хороши съ Анной Аркадьевной, — продолжалъ онъ еще тише, — она должна знать навѣрное. Поѣдьте къ ней, я васъ подожду въ каретѣ.

Петръ Петровичъ никогда не дѣлалъ визитовъ и пріѣздъ его означалъ что-нибудь необычайное, а потому графиня насто-

рожила уши по направленію къ залѣ, но, услышавъ слово: «разногласіе», успокоилась.

— Ну, конечно, я такъ и знала,—обратилась онъ съ улыбкой къ баронессѣ,—у нихъ въ комитетѣ произошло какое-то разногласіе, и они теперь волнуются изъ-за какихъ-нибудь глупостей. И отчего это можетъ возникнуть разногласіе? Кажется, все такъ ясно...

Когда же лакей объявилъ, что его сіятельство «уѣхали съ Петромъ Петровичемъ и приказали, чтобы ихъ не ждали кушать», графиня не на шутку разсердилась.

— Да ужъ, конечно, мы не будемъ умирать съ голоду отъ ихъ разногласія. А вотъ кстати и Сережа... *Chère baronne, acceptez le bras de ce mauvais sujets* и пойдемте въ столовую.

Графъ возвратился къ концу обѣда, блѣдный и разстроенный. Вѣсти, имъ полученныя, были неутѣшительны. Когда онъ сообщилъ о нихъ присутствовавшимъ, графиня не выдержала и раскричалась:

— Надо быть сумасшедшимъ, чтобы распускать такіе нелѣпые слухи! *Si au moins vous ne racontiez pas vos bêtises devant les domestiques!* У меня сегодня была княгиня Марья Захаровна, и я все знаю подробно отъ нея. Государь дѣйствительно простудился, но теперь ему гораздо лучше и онъ завтра будетъ смотрѣть какой-то полкъ, который пришелъ изъ Ревеля или идетъ въ Ревель. Что-то въ этомъ родѣ...

Вечеромъ курьеръ, посланный графомъ Хотынцевымъ во дворецъ, привезъ извѣстіе, что государю «какъ будто немного лучше». Тѣмъ не менѣе графъ почти не спалъ всю ночь, всталъ поздно и вышелъ только къ завтраку. Графиня сидѣла недовольная и говорила колкости Горичу, котораго очень не любила. Графъ опять послалъ курьера во дворецъ, но посланный не успѣлъ еще вернуться, какъ въ комнату вбѣжалъ правитель канцеляріи со словами:

— Ваше сіятельство, страшная новость: государь скончался!

Слова эти произвели невыразимое впечатлѣніе. Казалось, что всѣ услышали что-то ужасное и въ то же время непонятное. Графъ вскочилъ и тотчасъ упалъ на стулъ, закрывъ лицо руками. Нѣсколько минутъ всѣ молчали. Первая заговорила графиня.

— Ахъ, Боже мой, это ужасно, ужасно!.. Какъ же, Базиль, ты мнѣ раньше не сказалъ, что государь такъ боленъ?

Графъ даже не отвѣчалъ на этотъ упрекъ, несмотря на его явную несправедливость. Прошло нѣсколько минутъ.

— Что же теперь будетъ? — начала размышлять вслухъ графиня. — Теперь, конечно, Петръ Петровичъ уйдетъ. Кто же будетъ назначенъ на его мѣсто? Развѣ князь Бѣльскій... Послушай, Базиль, у Бѣльскаго много шансовъ, какъ ты думаешь?

— Ахъ, право, не знаю, Олупре. Не все ли равно?

Изъ отвѣта мужа графиня увидѣла, что надо сосредоточиться. На минуту она успокоилась, но ея подвижная фигура не выдержала, она вскочила и порывисто позвонила.

— Приготовь мнѣ черное платье и скорѣе закладывай карету! — скомандовала она вбѣжавшему лакею.

— Куда ты?

— Надо купить побольше черного крепа, — завтра ни за какія деньги не достанешь — и, кромѣ того, заѣхать къ княгинѣ Бѣльской. Она, можетъ-быть, еще не знаетъ...

— Приходите, mon cher, вечеромъ, — сказалъ графъ Горичу, — а теперь я не въ силахъ разговаривать.

И графъ Хотынцевъ заперся въ своемъ кабинетѣ.

Когда Горичъ вошелъ вечеромъ въ этотъ кабинетъ, въ немъ, кромѣ графа, сидѣлъ генераль Долскій, частый посѣтитель Хотынцевыхъ, имѣвшій въ обществѣ репутацію бонмотиста, умнаго скептика и «злого языка». Онъ былъ средняго и плотнаго сложенія, переходившаго въ тучность, съ коротко остриженными волосами и большими баками, въ которыхъ пробивалась сѣдина. На немъ былъ мундиръ генеральнаго штаба; эполеты и аксельбанты были зашиты въ черный крепъ. Черезъ минуту вошелъ Петръ Петровичъ и горячо обнялъ графа, какъ бы выражая этимъ молчаливымъ поцѣлуемъ ихъ общую скорбь. Вошла графиня съ предложеніемъ перейти въ столовую, но Петръ Петровичъ, узнавъ, что у нея гости, попросилъ разрѣшенія пить чай въ кабинетѣ.

— Да, господа, — сказалъ онъ, усаживаясь въ креслѣ, — мы переживаемъ важную историческую минуту. Смѣло можно сказать, что въ нынѣшнемъ столѣтіи ничья смерть въ Европѣ не произвела такого впечатлѣнія...

— Кромѣ развѣ смерти Наполеона, — небрежно откликнулся Долскій.

— Дѣйствительно, — отвѣчалъ Петръ Петровичъ, — если бы

Наполеонъ умеръ на тронѣ, на высотѣ своего могущества, его смерть могла бы произвести еще большее впечатлѣніе. Но я живо помню то время, и могу васъ увѣрить, что извѣстіе о его смерти прошло почти безслѣдно. Да и какое значеніе могла имѣть смерть безсильнаго изгнанника, тогда какъ сегодня ушелъ со сцены міра человекъ, который тридцать лѣтъ держалъ въ своихъ рукахъ судьбы Европы, который по величію былъ настоящимъ Агамемнономъ—царемъ царей.

— Вотъ за это величіе мы теперь и расплачиваемся,—пропѣдилъ сквозь зубы Дольскій.

— Еще неизвѣстно, кто въ концѣ-концовъ заплатитъ,—возразилъ уже раздражительнымъ голосомъ Петръ Петровичъ.— Во всякомъ случаѣ, не намъ упрекать государя за то, что онъ возвелъ Россію на такую высоту, которой она не достигала ни въ одну историческую эпоху. Справедливо сказалъ извѣстный персидскій поэтъ, Фазиль - ханъ, въ своей одѣ къ покойному государю: «Твое рѣшеніе есть рѣшеніе судьбы всемогущей; повелѣнія твои суть главы въ книгѣ предопрѣдѣленія».

Дольскій протянулъ свои толстыя ноги и лѣниво произнесъ:

— Да, я знаю эту оду, въ ней есть и такая строфа: «не только міръ тебѣ подвластенъ, но даже и Паскевичъ».

Графъ Хотынцевъ улыбнулся. Петръ Петровичъ строго посмотрѣлъ на всѣхъ черезъ очки. Взглядъ этотъ говорилъ: въ такой день нельзя ни говорить забавныя вещи, ни улыбаться.

— Если мы обратимся къ внутренней политикѣ покойнаго государя,—заговорилъ онъ, успокоившись и отпивъ глотокъ чаю,—мы не найдемъ въ ней ни уступокъ, ни колебаній, какія были при его предшественникѣ. Можно сказать, что въ теченіе тридцати лѣтъ царилъ одна строгая и стройная система.

— Это безспорно,—прервалъ Дольскій.— Но если отнестись критически къ этой системѣ...

— Не время, генераль, не время!—вскричалъ запальчиво Петръ Петровичъ.—Предоставимъ критику исторіи, а въ тотъ самый день, какъ закрылся взоръ, передъ которымъ вы дрожали, не хорошо бросать слова порицанія въ открытую могилу.

— Критика не есть порицаніе,—отвѣтилъ спокойно Дольскій.—Критика есть уясненіе. Если вы хвалите какую-нибудь систему, то этимъ самымъ вы также подвергаете ее критикѣ...

— Генераль, въ другое время я оцѣнилъ бы остроуміе ва-

пихъ софизмовъ и всѣ ваши діалектическіе фокусы, но теперь намъ, право, не до того. Теперь, заплативъ дань непритворной скорби прошедшему, мы должны посмотрѣть въ глаза ближнему будущему. Мнѣ кажется, что непосредственныхъ послѣдствій нынѣшняго ужаснаго дня будетъ два: прекращеніе войны и воля крестьянамъ.

— Съ первымъ положеніемъ вашего высокопревосходительства я согласиться не могу: война не прекратится.

— Почему вы такъ думаете?

— Если я понялъ мысль вашего высокопревосходительства, хотя вы и не извоили ее формулировать, вы хотѣли сказать, что Европа начала войну не противъ Россіи, а противъ императора Николая. Это вѣрно, и миръ былъ бы заключенъ немедленно, если бы не стояло на пути къ миру непреодолимое препятствіе: Севастополь. Мы принесли на этотъ алтарь огромныя жертвы, но жертвы, принесенныя союзниками, еще значительнѣе, такъ что теперь вопросъ народной чести заключается для нихъ въ томъ, чтобы взять, а для насъ въ томъ, чтобы отстоять. А передъ этой фикціей народной чести, или, если хотите, народного упрямства, блѣднѣютъ всѣ химеры гуманности, братства народовъ и космополитизма.

Дольскій закурилъ сигару и продолжалъ, очень довольный тѣмъ, что ему, наконецъ, удалось завладѣть разговоромъ.

— Что такое космополитизмъ? Это утлая ладья, въ которой можно кататься по морю въ ясную погоду. Но вотъ вѣтеръ,— и первая волна опрокинетъ ничтожную лодку. Хотя вы, Петръ Петровичъ, и считаете меня либераломъ, я не менѣе васъ скорблю о постигшей насъ великой уtratѣ. Однако есть въ Россіи дѣйствительно либеральныя кружки — и ихъ, повѣрьте, не мало — гдѣ эта утрата произведетъ нѣсколько иное впечатлѣніе. Но врядъ ли въ самомъ либеральномъ кружкѣ найдется одинъ истинно-русскій человѣкъ, который бы обрадовался при извѣстіи, что Севастополь не существуетъ. Тутъ уже кровь заговорить, а кровь—сильнѣе идеи.

— Да, это такъ,—сказалъ Петръ Петровичъ.

Услышавъ слово одобренія, Дольскій рѣшилъ, что онъ можетъ досказать ту мысль, которая была прервана такъ грубо, но по правиламъ военной науки сдѣлалъ искусное обходное движеніе. Голосъ его пріобрѣлъ какіе-то мягкіе, почти нѣжные тоны.

— Императоръ Николай Павловичъ, какъ человѣкъ, всегда будетъ предметомъ удивленія и поклоненія. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова джентльменъ на тронѣ. Вы знаете его ненависть къ парламентаризму, а между тѣмъ въ 30-мъ году онъ написалъ Карлу X замѣчательное письмо, въ которомъ уговаривалъ короля не нарушать конституціи: онъ не понималъ, какъ можно не исполнить данного слова. Даже его крупныя политическія ошибки происходили изъ того же рыцарскаго источника. Онъ не могъ признать ни узурпаторовъ, въ родѣ Луи-Филиппа, ни жонглеровъ, въ родѣ теперешняго повелителя Франціи. Во всей исторіи трудно найти монарха, въ которомъ чувство долга передъ своею страной было развито болѣе, чѣмъ въ покойномъ государѣ, и который бы меньше думалъ о личномъ счастьи, чѣмъ онъ. Всѣ свои часы, всѣ свои помыслы онъ отдалъ Россіи. Но зато...

Дольскій перевелъ духъ и возвысилъ голосъ.

— Но зато онъ требовалъ, чтобы вся Россія думала, какъ онъ, зато всякую независимую мысль онъ преслѣдовалъ, какъ преступленіе. Вотъ гдѣ корень той гибельной системы, которая привела насъ къ тому, что въ минуту роковой борьбы мы оказались неприготовлены и бездарны. Мы привыкли исполнять, но отвыкли думать. До сихъ поръ за самое полное выраженіе абсолютизма признавались слова Людовика XIV: «L'état—c'est moi!» Императоръ Николай выразился на мой взглядъ сильнѣе: онъ сказалъ однажды: «Мой климатъ».

Послѣ этого разговоръ получилъ болѣе частный характеръ. Вспоминались разные случаи изъ жизни покойнаго государя, рассказывались анекдоты, передавались трогательныя подробности его кончины. Графиня Олимпіада Михайловна нѣсколько разъ входила въ кабинетъ и, прикладывая къ глазамъ батистовый платокъ, садилась на диванъ; потомъ, услышавъ какую-нибудь фразу, вскакивала и убѣгала сообщить ее въ столовую, гдѣ около самовара сидѣли двѣ старыя фрейлины Кублицевы и баронесса Блендорфъ съ неизбѣжнымъ Бликсомъ. Въ столовой, впрочемъ, умы были заняты не столько будущими судьбами отечества, сколько близкими перемѣнами въ административныхъ и придворныхъ сферахъ. Всѣ кандидаты и министерскія и другія важныя должности были найдены и проведены ареопагомъ довольно согласно. Только одинъ жгучій вопросъ

остался безъ разрѣшенія: обѣ ли дочери княгини Кречетовой будутъ сдѣланы фрейлинами, или только старшая? Подъ конецъ вечера до столовой долетали такіе громкіе крики Петра Петровича, что графиня не рѣшалась войти въ кабинетъ. Тамъ разговоръ зашелъ объ освобожденіи крестьянъ, въ которомъ Дольскій видѣлъ спасеніе Россіи, а Петръ Петровичъ—ея гибель. Тутъ уже никакіе софизмы и фланговые движенія генерала не могли привести къ соглашенію и предотвратить бурю. Кончилось тѣмъ, что Петръ Петровичъ, не помня себя отъ гнѣва, называлъ Дольскаго мальчишкой, на что тотъ отвѣчалъ съ улыбкой:

— Для человѣка наполовину сѣдого такое наименованіе можетъ быть только пріятно...

Было уже три часа ночи, когда Горичъ вернулся домой. Иванъ Ивановичъ, поджидал сына, дремалъ въ креслѣ съ Нибуромъ въ рукахъ. Горичъ, не проронившій ни одного слова изъ вчерашняго разговора, передалъ его во всей подробности отцу и желалъ узнать его мнѣніе.

— Вотъ видишь, Яша,—отвѣчалъ, подумавши, Иванъ Ивановичъ:—тутъ, очевидно, встрѣтилось два разнородныхъ теченія, и очень трудно рѣшить, на чьей сторонѣ истина. По правдѣ сказать, и тамъ, и тутъ есть доля правды. Но все-таки... если хорошенько вникнуть... и говоря совершенно безпристрастно, я болѣе согласенъ съ графомъ Хотынцевымъ, — это государственный человѣкъ.

Яша невольно улыбнулся такому безпристрастію: онъ не передавалъ отцу ни одного мнѣнія графа Хотынцева, который молчалъ весь вечеръ.

Впечатлѣніе, произведенное смертью императора Николая въ Россіи, было дѣйствительно громадно. Сначала это былъ какой-то ошеломляющій ударъ, какое-то чувство въ родѣ того, что вся жизнь прекратилась, что вотъ-вотъ сейчасъ все погибнетъ. Потомъ, послѣ первыхъ минутъ столбняка, русскимъ обществомъ овладѣло лихорадочное, неудержимое желаніе высказаться. Казалось, что вырвавшаяся изъ-подъ гнета мысль силилась наверстать долгіе годы невольнаго молчанія. И чѣмъ дальше отъ Петербурга, тѣмъ впечатлѣніе это было сильнѣе. Защитники Севастополя узнали о кончинѣ своего царя отъ враговъ. Въ двадцатыхъ числахъ февраля, послѣ одной жаркой

вылазки, было заключено трехчасовое перемиріе для уборки тѣлъ. Во время этого перемирія французскіе офицеры передали нашимъ роковое извѣстіе, дошедшее до нихъ по подводному кабелю. Наши не повѣрили и увидѣли въ этомъ хитрую уловку, изобрѣтенную врагами для того, чтобы ихъ смутить. Официально севастопольцы узнали о кончинѣ императора только 28-го февраля, но если французы дѣйствительно думали ихъ смутить, расчетъ ихъ оказался невѣренъ: уже въ ночь на 3-е марта воынцы и камчадалы (какъ звали въ другихъ полкахъ Камчатскій полкъ) доказали зуавамъ на дѣлѣ, что никакое извѣстіе не могло ихъ поколебать и измѣнить непріятный образъ дѣйствій.

Первымъ послѣдствіемъ пробудившейся общественной мысли были повсемѣстные разговоры о предстоящемъ освобожденіи крестьянъ. Теперь трудно прослѣдить и объяснить происхожденіе этого слуха. Правда, новый государь, еще будучи наслѣдникомъ престола, не разъ высказывалъ свое отвращеніе къ крѣпостному праву, но это могло быть извѣстно только близкимъ къ нему людямъ, а между тѣмъ несомнѣнно, что въ самыхъ дальнихъ захолустьяхъ разговоры о «волѣ» начались съ первыхъ дней новаго царствованія. Молодежь, литература, всѣ мыслящіе люди, не принадлежавшіе къ помѣщичьему сословію, горячо привѣтствовали «зарю освобожденія», но большинство дворянства отнеслось къ этой зарѣ съ недовѣріемъ и ужасомъ; на первыхъ порахъ реформа казалась помѣщикамъ равносильной потерѣ всего имущества. Провинція оживилась. Люди никогда не выѣзжавшіе изъ своихъ деревень начали усердно ѣздить въ города и совѣщаться между собою о томъ, какія мѣры слѣдуетъ предпринять въ виду грозящей бѣды. Аванасій Ивановичъ Дорожинскій, покупавшій въ это время новое огромное имѣніе около Саратова, вдругъ отказался отъ покупки и потерялъ значительный задатокъ. Только тѣ, въ пользу которыхъ должна была совершиться реформа, молчали по обыкновенію, но и въ этой безличной массѣ, какою оказался народъ, начали проявляться кое-какіе признаки нетерпѣнія. Цѣлыя селенія являлись въ уѣздные города съ требованіемъ, чтобы ихъ записали въ ополченіе, потому что кто-то пустилъ слухъ, что всѣ ратники и ихъ семейства получаютъ послѣ войны волю. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ нетерпѣніе народа выразилось такъ-на-

зываемыми «крестьянскими бунтами», которые, впрочем, большею частью заключались въ пассивномъ неповиновеніи мѣстному начальству и прекращались очень быстро. Правительство, занятое войной, сочло нужнымъ успокоить умы, и 28-го августа министромъ внутреннихъ дѣлъ былъ разосланъ губернскимъ предводителямъ циркуляръ, въ которомъ было сказано: «Всемилоствѣйшій государь нашъ повелѣлъ мнѣ ненарушимо охранять права, вѣнценосными его предками дарованныя дворянству». По прочтеніи этого циркуляра, Аванасій Ивановичъ опять возобновилъ переговоры о покупкѣ саратовскаго имѣнія, но, впрочемъ, дать новый задатокъ не рѣшился.

Успокоеніе продолжалось недолго. Въ мартѣ 1856 года государь сказалъ въ Москвѣ депутатамъ дворянства знаменитую рѣчь, послѣ которой вопросъ освобожденія крестьянъ былъ рѣшенъ безповоротно въ принципѣ. Оставалось найти способъ, чтобы начинъ освобожденія исходилъ отъ самого дворянства.

Такъ какъ эта рѣчь была сказана черезъ нѣсколько дней послѣ заключенія мира и опровергала циркуляръ 28-го августа, то въ средѣ недовольнаго дворянства возникла легенда, очень долго державшаяся, что освобожденіе крестьянъ потребовано Наполеономъ и внесено въ одну изъ секретныхъ статей парижскаго трактата. Ожесточенные помѣщики, еще не смѣвшіе открыто порицать правительство, осынали громкими проклятіями Наполеона, который, какъ виновникъ войны, и безъ того былъ предметомъ общей ненависти и презрѣнія. Дѣти и внуки тѣхъ, которые не иначе называли перваго Наполеона, какъ антихристомъ, предоставляли теперь охотно этотъ титулъ его племяннику.

Аванасій Ивановичъ Дорожинскій также безповоротно начертилъ себѣ планъ будущихъ дѣйствій. Онъ заговорилъ о капитализаціи, твердо рѣшился не покупать никакихъ имѣній, отказался отъ всякихъ хозяйственныхъ реформъ и даже исподтишка продать очень дешево двѣ дальнихъ деревушки, присоединившія ему мало дохода.

III.

Аккуратный Миллеръ не могъ сдержать своего обѣщанія, и только въ началѣ марта Угаровъ перебрался на собственную квартиру въ Шестилавочной улицѣ, въ нижнемъ этажѣ боль-

шого дома, въ которомъ самъ Миллеръ съ матерью и сестрой занималъ бель-этажъ. Войдя въ свое новое жилище, Угаровъ сразу почувствовалъ, что жить ему въ немъ будетъ невесело. Все было ново и чисто, но какъ-то безвкусно и уныло. Комната была больше, чѣмъ нужно, но не было ни одного уютнаго уголка. Тѣмъ не менѣе Миллеръ былъ очень гордъ блистательно-исполненнымъ порученіемъ. Да и дѣйствительно, все практически нужное онъ предусмотрѣлъ до послѣднихъ мелочей и не безъ торжества вручилъ своему товарищу четыреста рублей сдѣланной имъ экономіи противъ смѣты. Въ квартирѣ были двѣ совсѣмъ лишнія комнаты, и Угаровъ никакъ не могъ понять ихъ назначенія.

— Вотъ видишь, любезный другъ,—пояснилъ Миллеръ,—теперь эти комнаты не нужны, это правда; но вдругъ ты вздумаешь жениться,—тогда у тебя все готово и на первый годъ ты не долженъ искать новой квартиры.

Особенно недоволенъ оказался Угаровъ своей спальней. Это была узкая, косая комната, съ окнами, выходившими на длинный и грязный дворъ.

Недовольство Угарова раздѣлялъ вполнѣ его крѣпостной человѣкъ Иванъ, бывшій когда-то камердинеромъ его отца и теперь приставленный къ нему въ качествѣ дядьки. Когда Иванъ въ первый разъ пришелъ будить барина въ новой квартирѣ, лицо его было сурово и мрачно.

— Ну, что, Иванъ, доволенъ ли ты своимъ помѣщеніемъ?—спросилъ, потягиваясь, Угаровъ.

— Да мнѣ что! — отвѣчалъ Иванъ, по старой привычкѣ, собственноручно обувая барина,—я вездѣ помѣщусь. А только позвольте вамъ доложить, Владиміръ Николаевичъ: какая же эта барская квартира? Да у насъ при покойномъ баринѣ — царство ему небесное!—въ такихъ флигеляхъ приказчики жили. Теперь опять насчетъ дровъ... Гораздо бы намъ лучше на своихъ дровахъ жить, а хозяйскія дрова—извольте сами посмотреть—развѣ это дрова? Такъ гниль какая-то, одно названіе, что дрова...

— Ну, не ворчи, Иванъ, какъ-нибудь проживемъ.

Не мало также смущала Угарова близость, въ которой ему придется жить съ семействомъ Миллеровъ. Лицеистомъ онъ къ нимъ ѣздилъ очень часто и ухаживалъ усердно за Эмилией Мил-

лерь. Въ послѣдній годъ, когда онъ вернулся въ Петербургъ влюбленный въ Соню Брянскую, ему казалось неловко вдругъ перестать ухаживать за Эмилией, а притворяться было противно. Такъ прошла зима, и онъ не рѣшился поѣхать къ нимъ. А въ этомъ году ему было неловко ѣхать оттого, что онъ не былъ ни разу въ ту зиму. Теперь, живя подъ одной крышей, онъ уже не можетъ не посѣтить ихъ.

«И зачѣмъ это Миллеръ заговорилъ вчера о моей женитьбѣ?—размышлялъ, одѣваясь, Угаровъ.—Неужели онъ хочетъ женить меня на своей сестрѣ? А съ другой стороны, онъ не только не приглашалъ меня къ себѣ, но ни разу въ два года даже не попенялъ, что я такъ давно не былъ... А вдругъ я пойду, и меня не примутъ»...

Не безъ волненія Угаровъ поднялся на лѣстницу и позвонилъ у знакомой двери.

Вдова генерала Миллера, рожденная баронесса фонъ-Экштадтъ, была въ молодости извѣстной красавицей. Теперь она представляла собою громадную массу застывшего бѣлаго жира. Несмотря на это, ея маленькіе заплывшіе глазки блестѣли, движенія сохранили относительную легкость и грацію и она часто говорила о своей красотѣ, хотя и въ ироническомъ тонѣ. Увидѣвъ Угарова, она всплеснула руками.

— Боже мой! Кого я вижу! Миля, Миля, посмотри, кто пришелъ, явился бѣглецъ отъ насъ... Миля, иди же скорѣе...

Эмилія тихо вошла и просто, по-дружески, протянула руку Угарову.

— Вы видите, что Карлуша былъ правъ,—сказала она, обращаясь къ матери.—Когда вы напомнили ему, чтобы онъ поскорѣе пригласилъ къ намъ Владиміра Николаевича, Карлуша сказалъ: зачѣмъ приглашать? захочетъ, и такъ придетъ.

— О, да, Карлуша всегда правъ,—сказала генеральша со вздохомъ.

Эмилія Миллеръ была очень симпатичная и очень красивая дѣвушка съ голубыми глазками и роскошными пепельными волосами, но ей очень вредило ея фатальное сходство съ матерью. Всякому невольно приходило въ голову, что черезъ нѣсколько лѣтъ она сдѣлается такою же тушею, какъ генеральша. За два года, что Угаровъ не видѣлъ Эмилиі, она уже сдѣлала нѣсколько шаговъ по пути къ этому образцу. Какія средства

ни пробовала она, чтобы остановить ожирѣніе, борьба ея съ этимъ семейнымъ недугомъ была бессильна.

— Ахъ, какъ вы хорошо выглядите, monsieur Угаровъ!— говорила между тѣмъ генеральша,—вы стали совсѣмъ прекрасный молодой человекъ. А отчего же вы мнѣ не говорите, что я похорошѣла? Когда вы видите такую красивую молодую даму, какъ я, вы должны сказать ей что-нибудь пріятное...

Черезъ пять минутъ Угаровъ чувствовалъ себя какъ дома. Вся неловкость его исчезла.

На прощанье генеральша выразила надежду, что такой близкій сосѣдъ будетъ часто навѣщать ихъ.

— Я не могу приглашать васъ къ обѣду, потому что у насъ слишкомъ простой столъ, но каждый вечеръ вы можете найти у насъ одну чашку чаю и теплый пріемъ.

Эмилія громко разсмѣялась.

— Отчего же вы общаете Владиміру Николаевичу только одну чашку чаю? Онъ можетъ пить и двѣ, и три, и сколько ему вздумается...

— А ты, Миля, рада случаю посмѣяться надъ моимъ русскимъ языкомъ. Что же я должна сдѣлать, m-г Угаровъ? Я въ душѣ совсѣмъ русская, дѣти мои православныя, однимъ словомъ, я русская до моихъ послѣднихъ костей... Но языкъ вашъ такой трудный, такой трудный. А по-нѣмецки я говорить не смѣю: за каждое нѣмецкое слово Миля беретъ съ меня фантъ...

Уходя отъ Миллеровъ, Угаровъ вспомнилъ, что на его совѣсти еще визитъ къ одному дальнему родственнику—двоюродному дядѣ Марьи Петровны, и заодно отправился къ нему.

Иванъ Сергѣевичъ Дорожинскій былъ очень старый генераль-адъютантъ и занималъ нижній этажъ собственнаго дома на Большой Морской. Когда Угаровъ маленькимъ лицеистомъ являлся, бывало, къ нему на поклонъ рано утромъ, его вводили въ дя-дюшкину спальню, гдѣ въ большомъ креслѣ сидѣлъ сѣдой, лысый и сгорбленный старикъ, съ длинною трубкою и «Русскимъ Инвалидомъ» въ рукахъ. Въ такомъ видѣ онъ оставался каждый день до одиннадцати часовъ, послѣ чего приступалъ къ туалету, длившемуся часа полтора. Крѣпостной куаферъ брилъ его и слегка завивалъ черный паричокъ, сдѣланный такъ искусно, что многіе принимали его за собственные волосы Ивана Сергѣевича. Другой крѣпостной камердинеръ красилъ барскіе усы и брови и прила-

живаль челюсть съ великолѣпными бѣлыми зубами. Затѣмъ Иванъ Сергѣевичъ стягивался корсетомъ, надѣвалъ всегда щегольской съ иголки куртку и, слегка позавтракавъ, входилъ въ гостиную бодрымъ и свѣжимъ генераломъ среднихъ лѣтъ. Тамъ онъ садился въ кресло, стоявшее на возвышеніи у большого окна, и смѣтрѣлъ на улицу. Всѣ его знакомые знали это и, проходя или проѣзжая мимо, кланялись ему, а иногда заходили посидѣть четверть часа на перепутьи. Иныхъ нужныхъ ему людей онъ зазывалъ самъ, дѣлая размашистые жесты обѣими руками.—«Ну, что вчера въ клубъ?—спрашивалъ онъ одного.—Кто выигралъ: Грузновъ или Локтевъ? Сколько они заплатили штрафа?»—«Ну, что было вчера на раутѣ?»—допрашивалъ онъ другого.—«Кто тамъ былъ?» Но если проѣзжалъ мимо кто-нибудь изъ свиты, бывшій наканунѣ дежурнымъ, Иванъ Сергѣевичъ чуть не выскакивалъ на улицу, чтобы позвать его. Допросъ былъ самый подробный. Кто представлялся, о чемъ говорили, сколько минутъ продолжался докладъ такого-то министра,—все ему нужно было знать. Такимъ образомъ Иванъ Сергѣевичъ одинъ изъ первыхъ въ городѣ узнавалъ о чьей-нибудь смерти, свадьбѣ или о какомъ-нибудь скандалѣ. Въ четыре часа онъ садился въ карету и дѣлалъ визиты и развозилъ по городу наиболѣе интересныя извѣстія. Вечеромъ онъ заѣзжалъ въ англійскій клубъ, гдѣ узнавалъ новости текущаго дня, игралъ три робера въ вистъ, а въ одиннадцать часовъ уже всегда лежалъ въ постели. Бодрого генерала среднихъ лѣтъ не было и въ поминѣ; оставался сѣдой, беззубый старикъ, стонущій отъ усталости, облѣпленный фонтанелями и мушками и ни для кого не видимый до второго часа слѣдующаго дня.

Угаровъ, конечно, засталъ дядюшку на его наблюдательномъ посту.

— Здравствуй, племяшка,—сказалъ Иванъ Сергѣевичъ, подставляя ему щеку для поцѣлуя.—Ну, что мать? Здорова? Пиши ей почаще.

— Я, дядюшка, пишу два раза въ недѣлю.

— Это хорошо, мать забывать не слѣдуетъ. А Варя что? Все сидитъ въ дѣвкахъ! сама виновата, смолоду была смазливенькая, и женихи были хорошіе... Зачѣмъ привередничала? Ну, и сиди теперь въ дѣвкахъ! Подѣломъ!

Тираду о тетѣ Варѣ Угаровъ зналъ наизусть, потому что дядюшка приносилъ ее при каждомъ свиданіи.

— А у меня отчего давно не былъ?

Угаровъ началъ рассказывать, но дядюшка на первой фразѣ прервалъ его.

— Нѣтъ, какова Марья Захаровна!—кричалъ онъ, указывая перстомъ на проѣхавшую коляску,—ѣдетъ мимо и отворачивается. И на что она могла смотрѣть на той сторонѣ? Все тотъ же мебельный магазинъ, который мнѣ десять лѣтъ глаза мозолить. А вотъ Шарлота проѣхала въ красной пубѣ... Дура! Ну, значить, сейчасъ мы и Алешу Хотынцева увидимъ... вонъ видишь, видишь, пролетѣлъ гусаръ въ саниахъ—это онъ! А! и кавалергардъ на сѣромъ рысакѣ... Хорошій рысакъ. Не знаешь ли, кто этотъ кавалергардъ? Вотъ ужъ пятый день какъ онъ за Шарлотой гонится.

— Не знаю, дядюшка, я никого не знаю изъ этого общества.

— Напрасно, мой другъ. Въ твои лѣта и съ твоимъ состояніемъ надо всюду ѣздить и всѣхъ знать. Вотъ погоди, на будущей недѣлѣ я позову тебя обѣдать и кое съ кѣмъ познакомлю...

У Ивана Сергѣевича былъ прекрасный поваръ, извѣстный всему Петербургу, и онъ всѣхъ знакомыхъ обнадеживалъ своимъ приглашеніемъ на обѣдъ, но устраивалъ этотъ обѣдъ очень рѣдко.

— Да вотъ, кстати, чтобъ не забыть. Я на-дняхъ разсматривалъ кандидатскіе списки въ клубѣ—ты теперь сорокъ третій кандидатъ, такъ что лѣтъ черезъ пять-шесть можешь попасть въ члены.

— Зачѣмъ же, дядюшка? Я въ карты не играю...

— Вотъ вздоръ какой, точно у насъ одни игроки. У насъ иной своихъ дѣтей при рожденіи записываетъ въ кандидаты. Да, вотъ, родственникъ нашъ, Афанасій Ивановичъ, ждетъ—не дожидется своей очереди. Онъ теперь двадцатый.

Вдругъ Иванъ Сергѣевичъ вскочилъ съ кресла и почтительно поклонился. Мимо проѣзжали щегольскія сани съ кучеромъ, одѣтымъ въ траурный армякъ. Сидѣвшій въ саниахъ молодой офицеръ посмотрѣлъ на окно и съ привѣтливой улыбкой приложилъ руку къ фуражкѣ.

— Видишь, видишь, племяша, какія лица вниманіе мнѣ оказываютъ!—говорилъ весело Иванъ Сергѣевичъ,—а княгиня

Марья Захаровна изволила мебель разсматривать... А вотъ и Демьянъ Ивановичъ заѣхалъ ко мнѣ изъ совѣта.

У подъѣзда остановилась карета, и изъ нея медленно выѣзжалъ тучный генералъ въ каскѣ. Угаровъ взялся за шляпу.

— Ну, прощай, заходи ко мнѣ, когда свободенъ.

И дядюшка снова подставилъ свою щеку.

— Постой, постой!—закричалъ онъ, когда Угаровъ былъ уже въ другой комнатѣ,—лиши почаше матери, забывать родителей—большой грѣхъ.

Отъ дядюшки Угаровъ зашелъ къ Сережѣ Брянскому, который жилъ черезъ нѣсколько домовъ. Швейцаръ, получившій разъ навсегда приказъ отъ Сережи всѣмъ отказывать, объявилъ, что князя нѣтъ дома; но на бѣду Сережа какъ разъ въ эту минуту сходилъ съ лѣстницы. Пришлось вернуться. Квартира, которую онъ занималъ вмѣстѣ съ Алешей Хотынцевымъ, была очень дорогая, но содержалась въ большомъ безпорядкѣ. Видно было, что хозяева иногда въ нее пріѣзжаютъ, но не живутъ въ ней. Въ комнатѣ, въ которую Сережа ввелъ Угарова, было холодно и пахло дымомъ. Чтобы посадить гостя, Сережа сбросилъ съ кресла большой лакированный сапогъ. На письменномъ столѣ стояли пустыя бутылки, по персидскому ковру были разсыпаны окурки папиросъ. На всѣхъ стѣнахъ въ золотыхъ рамахъ висѣли гравюры съ изображеніемъ лошадей.

— Видишь, какой у насъ безпорядокъ,—извинялся Сережа,—но это оттого, что я никогда не сижу дома, а у моего сожителя три квартиры: здѣсь, въ Царскомъ и у Шарлоты. А, да вотъ и онъ, кажется, пріѣхалъ...

Въ передней раздалось громкое звяканье сабли, и Алеша Хотынцевъ вошелъ въ сопровожденіи огромнаго датскаго пса.

— Очень радъ съ вами познакомиться,—говорилъ онъ, крѣпко пожимая руку Угарова.—*Les camarades de nos amis sont nos camarades.* Эй, Денисовъ!

Въ дверяхъ появился денщикъ съ широкимъ заспаннымъ лицомъ.

— Привезли приказъ?

— Приказаніе принесли, ваше высокоблагородіе, а приказъ еще не вышелъ.

— Этакая тоска!—сказалъ Хотынцевъ, взглянувъ на четвертушку сѣрой бумаги, которую подаль ему денщикъ:—завтра

опять съ первымъ поѣздомъ надо ѣхать въ Царское. Денисовъ, порядокъ знаешь?

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе.

Денисовъ исчезъ и черезъ минуту появился опять, неся на подносі бутылку и три стакана. Угарову не хотѣлось пить, но Хотынцевъ опять повторилъ: «les camarades de nos amis sont nos camarades», и заставилъ его выпить два стакана теплаго шампанскаго. Потомъ всѣ трое пошли обѣдать къ Дюкрѣ, гдѣ въ красной комнатѣ Шарлота уже ждала Хотынцева. Шарлота была полная, высокая блондинка, съ роскошными формами тѣла и грубо подрисованными глазами. Съ лица ея обильно сыпалась пудра. Говорила она на плохомъ французскомъ языкѣ съ нѣмецкимъ акцентомъ и показалась Угарову очень глупой женщиной. Прежде всего она обругала Хотынцева за то, что онъ заставилъ ее прождать десять минутъ, потомъ забраковала обѣдъ и заказала новый, причемъ старалась выбирать самыя дорогія блюда. Угарову было невыносимо скучно. За обѣдомъ много пили и говорили о лицахъ, которыхъ онъ не зналъ, и о вещахъ, которыхъ онъ не понималъ. Послѣ обѣда Шарлота, уже успѣвшая вывѣдать отъ Сережи, что Угаровъ очень богатъ, пригласила его пересѣсть къ ней на диванъ.

— Viens m'embrasser, mon petit, tu as une mine si triste que j'ai envie de te consoler. Vois-tu, mon petit,—шептала она, нагибаясь къ нему и царапая перстнями его шею, — j'ai une amie, une charmante petite femme, qui voudrait se caser. Je te présenterai à elle, et alors tu ne seras pas seul, et alors tu ne seras pas triste.

Съ Сережей Шарлота цѣловалась очень продолжительно и нѣжно. Хотынцевъ не выражалъ никакой ревности, но только очень громко хохоталъ во время этихъ поцѣлуевъ. Когда же онъ подошелъ къ Шарлотѣ и хотѣлъ также поцѣловать ее, она замотала головой и сказала:

— Non, non, avec toi plus tard, à la maison.

Хотынцевъ началъ потягиваться и напомнилъ, что съ первымъ поѣздомъ ему надо ѣхать въ Царское. Шарлота на прощанье обѣщала извѣстить Угарова о возвращеніи въ Петербургъ ея подруги, которая уѣхала по дѣламъ въ Москву. Сережа повелъ Угарова въ общую комнату и познакомилъ его съ постоянными посѣтителями ресторана—les amis de la maison, какъ на-

зывала ихъ m-me Дюкрѣ. Всѣ были налицо: и Васька Акатовъ, окруженный свитой молодыхъ офицеровъ, и маленький желчный старикъ князь Киргизовъ, и не старый, но совсѣмъ лысый совѣтникъ министерства иностранныхъ дѣлъ Менцель, изумлявшій даже иностранцевъ своей цвѣтистой французской рѣчью, и богатый полякъ, графъ Строньскій, прїѣхавшій въ Петербургъ хлопотать по какому-то процессу и потому старавшійся какъ можно правильнѣе говорить по-русски. Князь Киргизовъ съ молодыхъ лѣтъ привыкъ заѣзжать къ Дюкрѣ послѣ театра. Онъ появлялся часа на полтора, пилъ чай съ коньякомъ, иногда ужиналъ, ругалъ все и всѣхъ и пользовался въ ресторанахъ большимъ уваженіемъ. Теперь театры были закрыты, никакихъ увеселеній и вечеровъ въ городѣ не было, а потому князь повадился ходить каждый вечеръ и просиживалъ въ общей комнатѣ до поздней ночи. Вслѣдствіе этого его авторитетъ упалъ, и Акатовъ «показывалъ» его для развлечения публики. Подмѣтивъ его крайнюю раздражительность, онъ натравливалъ его на кого-нибудь изъ присутствующихъ, и когда старичокъ, по своему обычаю, вскакивалъ съ мѣста и подбѣгалъ къ своему противнику, Акатовъ доливалъ его стаканъ коньякомъ до краевъ. Князь въ жару спора не замѣчалъ этого, выпивалъ стаканъ залпомъ, горячился все болѣе и болѣе и доходилъ до невозможныхъ нелѣпостей. Въ тотъ вечеръ онъ былъ стравленъ съ Менцелемъ, споръ шелъ о нашей дипломатіи, въ которой князь видѣлъ причину всѣхъ нашихъ бѣдствій.

— Бумаги бы не хватило,—говорилъ онъ, бѣгая по комнатѣ,—если бы описать всѣ случаи, когда наши дипломаты едва не погубили Россію своими нотами, конференціями, протоколами и прочей дребеденью...

— Напримѣръ?—спросилъ небрежно Менцель.

— Напримѣръ, напримѣръ! — передразнилъ его князь. — Вы сами знаете примѣры. Ну, вотъ вамъ вѣнскій конгрессъ...

— Ну, что же вѣнскій конгрессъ?

— А то, что мы были побѣдителями, спасли Европу, а на вѣнскомъ конгрессѣ, благодаря нашимъ дипломатамъ, насъ оплели.

— То-есть, почему же оплели?

— Сами вы знаете, почему оплели... А все это отчего? Оттого, что почти всѣ наши дипломаты нѣмцы. Развѣ нѣмецъ не знаетъ понять и защитить русскіе интересы? Вотъ когда во

главъ нашей дипломатіи были настоящіе русскіе люди, они высоко держали русское знамя. Зато ихъ имена мы произносимъ съ благоговѣніемъ.

— Кто же это такіе?

— Какъ кто? вы сами знаете, кто.

— Ну, однако, назовите кого-нибудь.

— Извольте-съ, назову. Ну, вотъ вамъ: Каподистрія...

— Благодарю васъ; онъ именно былъ не русскій.

— Да онъ, по крайней мѣрѣ, нѣмцемъ не былъ, поймите это!—завопилъ князь, подбѣгая къ Менцелю съ сжатыми кулаками,—и за это одно ему великое спасибо. Вѣдь все зло отъ нѣмцевъ, вѣдь они всѣ хриstopродавцы, начиная съ Іуды.

— Іуда тоже былъ нѣмецъ?

— Да-съ, онъ былъ нѣмецъ, и я вамъ это докажу.

Менцель поспѣшилъ заявить, что ему это безразлично, потому что самъ онъ, Менцель, русскій, хотя и носить нѣмецкую фамилію.

Угаровъ вернулся домой въ четвертомъ часу ночи, усталый и измученный. Голова у него трещала отъ вина и отъ всѣхъ впечатлѣній дня. Впечатлѣнія не были симпатичны, но, однако, на другой день въ пять часовъ онъ входилъ къ Дюкрѣ, успокаивая свою совѣсть тѣмъ, что надо же гдѣ-нибудь пообѣдать. Скоро онъ втянулся. Недѣли черезъ двѣ, при расплатѣ, оказалось, что у него не было мелкихъ денегъ, и онъ вручилъ Абрашиѣ сторублевую бумажку. Татаринъ принесъ ее обратно, извиняясь, что въ кассѣ размѣнять ее нельзя, и передалъ Угарову предложеніе m-me Дюкрѣ завести въ ресторанъ счетъ. Угаровъ не нуждался въ кредитѣ, но это предложеніе показалось ему удобнымъ и онъ согласился. Акатовъ поздравилъ его съ официальнымъ вступленіемъ въ «друзья дома» и онъ долженъ былъ по этому случаю угостить шампанскимъ всѣхъ присутствовавшихъ. Несмотря на это экстраординарное угощеніе, разговоръ не клеился. Акатовъ уже цѣлый часъ бесѣдовалъ о производствѣ съ усатымъ полковникомъ, пріѣхавшимъ на нѣсколько дней изъ Варшавы. Это былъ его товарищъ по выпуску и потому онъ называлъ его по школьному прозвищу «Сапогомъ».

— Да пойми ты, Сапогъ, что если бы Петька Горевъ не съѣлъ мнѣ на шею, то я былъ бы теперь такимъ же полковни-

комъ, какъ и ты. Вѣдь изъ-за этого проклятаго Петъли я восемь лѣтъ просидѣлъ поручикомъ.

— Ну, полковникомъ ты бы врядъ ли былъ теперь, — отвѣчалъ Сапогъ, — а только въ самомъ дѣлѣ, что же это за порядокъ? Одно изъ двухъ: или не ходи въ академію, или, если уже пошелъ, не возвращайся въ полкъ. Такой же случай былъ у насъ въ Варшавѣ...

Князь Киргизовъ молча пилъ свой чай съ коньякомъ и угрюмо посматривалъ въ сторону Менцеля, лысина котораго чуть-чуть виднѣлась изъ-за огромной газеты, только-что присланной ему изъ министерства.

Когда Угаровъ уѣхалъ, Акатовъ почтительно обратился къ князю Киргизову:

— Скажите, князь, нравится ли вамъ новый членъ нашего клуба?

— Кто это? Угаровъ? Ничего, онъ, кажется, скромный...

— Абрашка, бутылку! — закричалъ Акатовъ. — Господа, я сегодня въ первый разъ въ жизни слышалъ, что князь кого-нибудь похвалилъ, а теперь предлагаю выпить вамъ за преображеніе князя Киргизова!..

— Я нахожу этотъ тостъ и неумѣстнымъ, и несправедливымъ, — замѣтилъ сухо князь. — Во-первыхъ, я могу и хвалить, и порицать, кого мнѣ заблагоразсудится, а во-вторыхъ я и не думалъ хвалить этого Угарова. Я только сказалъ, что онъ скромный... развѣ это не правда?

— Скромный-то онъ скромный, — продолжалъ Акатовъ, подливая Сапогу, — но, знаете ли, князь, иногда наружность бываетъ обманчива. Не даромъ говорится, что въ тихомъ омутѣ черти водятся. Иной очень скромнень на видъ, а поройся въ немъ хорошенько — такая шельма окажется, что не приведи Господи!

— Это совершенно справедливо, — согласился князь, котораго уже начинала раздражать желчь, — и я вамъ скажу больше: мнѣ кажется, что Угаровъ именно принадлежитъ къ типу такихъ ложныхъ скромниковъ...

— Еще бы! Это сейчасъ видно.

Черезъ четверть часа князь, хлебнувъ сразу полстакана чаю, немилосердно ругалъ Угарова, назвалъ его разбойникомъ и заявилъ, что онъ съ перваго взгляда почувствовалъ къ нему недоброуіе, потому что терпѣть не можетъ рыжихъ людей.

Изъ другого угла комнаты раздался громкій хохоть Менцеля.

— Oh, elle est forte, celle-là, — говорилъ онъ, роняя на полъ газету.—Ce pauvre Ougaroff peut être un brigand—je ne dis pas non—mais il n'est pas roux, par exemple... Je suppose, que vous avez la berlue...

— C'est vous, monsieur, qui avez la berlue, et encore la pire de toutes—la berlue diplomatique...

Опять на сцену явились дипломаты, вѣнскій конгрессъ и пѣмцы. Князь разсвирѣпѣлъ, глаза его налились кровью и онъ такъ нервно забѣгалъ по комнатѣ, что Акатовъ не на шутку за него испугался. Онъ всталъ съ дивана и неожиданно схватилъ за локоть князя, сказавъ вполголоса:

— Послушайте, князь, не пора ли спать? Скоро четыре часа...

— Дѣйствительно пора, — отвѣтилъ спокойнымъ голосомъ князь и ушелъ, ни съ кѣмъ не простившись.

На другой день онъ явился въ свой обычный часъ и очень дружелюбно поздоровался съ Угаровымъ, Менцелемъ и прочими друзьями дома, а черезъ два часа, подбиваемый Акатовымъ, осыпалъ ругательствами усатаго полковника, который въ это время безмятежно спалъ въ вагонѣ, возвращаясь обратно въ Варшаву, и которому даже и присниться не могло, какое негодованіе и какую злобу онъ возбудилъ во вчерашнемъ собесѣдникѣ...

IV.

Дни проходили за днями. Событія громадной важности, переплетаясь съ мелочами и дрязгами жизни и иногда подчиняясь ихъ вліянію, уносились куда-то, оставляя за собой едва замѣтные слѣды, заметаемые очень скоро новыми событіями и новыми дрязгами. Нелѣпая война, поглотившая столько милліардовъ и столько неповинныхъ людей, кончилась Парижскимъ миромъ, то-есть сравнительно—ничѣмъ. Побѣжденные защитники павшаго Севастополя могли безъ краски стыда въ лицѣ возвращаться на родину, и русское общество встрѣчало ихъ, какъ триумфаторовъ. Великій писатель, сражавшійся самъ въ рядахъ ихъ и написавшій нѣсколько гениальныхъ очерковъ Севастополя, вполсѣдствіи отнесся критически къ этимъ оваціямъ и встрѣчамъ. Конечно, въ нихъ было много восторженно-дѣтскаго,

но это вовсе не было упоение побѣдой, а радостное сознаніе честно исполненнаго долга. И въ то же самое время, какъ рѣзкій диссонансъ въ этомъ хорѣ общаго ликованія, уже начиналось дѣло о неслыханныхъ злоупотребленіяхъ комиссаріатскаго вѣдомства...

Пышныя торжества коронаціи были послѣдней гранью между невозвратно-ушедшимъ прошлымъ и новой широко-раскрывавшейся жизнью.

Что же дастъ эта новая жизнь? Вся Россія замерла въ лихорадочномъ ожиданіи. Одни надѣялись, другіе боялись; но такъ какъ ничего опредѣленнаго еще не было извѣстно, то надѣялись на слишкомъ многое,—и боялись всего.

Въ Петербургѣ, гдѣ самыя мелкія явленія жизни принимаютъ иногда въ глазахъ общества грандіозные размѣры, ожиданіе это не было очень замѣтно. Въ свѣтѣ избѣгали говорить о такомъ непріятномъ предметѣ и склонялись къ мысли, что, можетъ быть, эта «чаша» пройдетъ мимо; да и личные интересы огромнаго большинства не были такъ задѣты предстоящей реформой, какъ въ провинціи.

«Чортъ ли мнѣ въ реформѣ?!—размышлялъ Сергѣй Павловичъ Висягинъ.—Отберутъ у меня, или не отберутъ тѣ восемьдесятъ душъ, которыя мнѣ приходится по раздѣлу съ братомъ,—это мнѣ почти все равно. А вотъ, дадутъ ли мнѣ на Пасху Бѣлаго Орла,—это мнѣ всего интереснѣе...»

Возвратясь поздно ночью съ какого-то бала, графиня Хотынцева прошла прямо въ комнату мужа, зажгла всѣ свѣчи и, растолкавъ графа, сказала:

— Базиль, могу сообщить тебѣ важную новость. Сейчасъ княгиня Марья Захаровна сказала мнѣ, что никакихъ переменъ больше не будетъ. Правительство и безъ того дало много свободы. Теперь за границу можетъ ѣхать всякій, кто хочетъ, офицеры гуляютъ въ пальто и фуражкахъ и всѣ курятъ на улицѣ... Чего же имъ больше? А мужиковъ рѣшено освободить черезъ пятьдесятъ лѣтъ. Я нарочно тебя разбудила, чтобъ ты могъ спать спокойно.

Графъ Василій Васильевичъ еще протиралъ глаза, чтобы рѣшить,—видитъ ли онъ все это во снѣ, или на яву, какъ графиня исчезла.

— О, Господи, какой крестъ я несу!—ворчалъ онъ про

себя, ища ногами туфли и вставая съ постели, чтобы тушить свѣчи.

Первый севастополецъ, увидѣнный Угаровымъ, былъ Семенъ Семеновичъ Кублицевъ. Пробывъ всѣ одиннадцать мѣсяцевъ въ Севастополѣ и получивъ Георгія, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ съ прошеніемъ объ отставкѣ «по домашнимъ обстоятельствамъ». Его мать, у которой уже открылась водяная, настоятельно требовала отъ него этой жертвы. Флигель-адъютантъ, просящійся въ отставку, представлялъ совсѣмъ новое явленіе. Онъ былъ отпущенъ съ неудовольствіемъ, но все-таки получилъ званіе шталмейстера. Наканунѣ отъѣзда онъ завернулъ поужинать къ Дюкрѣ. Всѣ «друзья дома» были съ нимъ знакомы. Угарова онъ въ первую минуту не узналъ, но потомъ вспомнилъ о совмѣстномъ пребываніи съ нимъ въ Троицкомъ и очень долго передъ нимъ извинялся. Конечно, весь вечеръ онъ долженъ былъ рассказывать о Севастополѣ. О себѣ онъ вовсе не упоминалъ въ разсказахъ, но о другихъ, особенно о морякахъ, говорилъ съ паэосомъ, переходившимъ въ декламацию. Чувствовалось, что онъ говорить искренно, но что рассказы свои онъ тщательно обдумалъ и приготовилъ заранѣе, такъ какъ рассказывать ему приходилось въ очень высокихъ сферахъ. Когда же князь Киргизовъ, по духу противорѣчія, попробовалъ высказать кое-какія сомнѣнія, Семенъ Семеновичъ до-нельзя мягкій въ обращеніи, остановилъ его очень рѣзко. Князь отыгрался на интендантскихъ чиновникахъ. Онъ ругалъ ихъ всласть, и Кублицевъ за нихъ не заступался.

Съ большой похвалой отзывался Семенъ Семеновичъ и о товарищахъ Угарова, которыхъ близко зналъ. Андрей Константиновъ, ставшій и въ Севастополѣ, какъ въ лицѣ, предметомъ общей любви, былъ убитъ 27-го августа, выбивая французовъ изъ редута Шварца. Гуркинъ былъ такъ потрясенъ смертью друга, что не захотѣлъ вернуться въ Петербургъ и зарылся въ своей деревнѣ, гдѣ-то въ Херсонской губерніи. Второй Константиновъ — Дмитрій, нѣсколько разъ раненый и увѣшанный знаками отличія, былъ взятъ въ адъютанты однимъ важнымъ генераломъ и уѣхалъ за границу лѣчиться.

Угаровъ уже зналъ о смерти Константинова; это была первая смерть, отъ которой болѣзненно сжалось его сердце. До тѣхъ поръ смерть представлялась ему чѣмъ-то страшнымъ, но

въ то же время и тѣмъ-то мнѣнскимъ, не имѣющимъ никакого отношенія къ нему и къ близкимъ ему людямъ. Послѣ торжественной панихиды, отслуженной въ лицѣ всѣмъ выпускомъ, Угаровъ нѣсколько дней ни о чемъ другомъ и думать не могъ. Понемногу это впечатлѣніе поблѣднѣло, но подѣ влияніемъ разсказовъ Кублицева оно воскресло съ новой силой. Всю ночь мерещилось Угарову смуглое, симпатичное лицо погибшаго товарища. Добрые глаза смотрѣли на него съ укоромъ и какъ-будто говорили: «Вотъ ты живешь, пользуешься обществомъ другихъ людей, ужинаешь у Дюкрѣ, спишь въ теплой постели, а я лежу одинъ въ сырой и темной ямѣ... За что?»

И Угарову казалось, что онъ въ чемъ-то виноватъ передъ Константиновымъ, что онъ недостаточно цѣнилъ его при жизни. Совѣсть упрекала его и за то, что послѣ выпускного кутежа онъ проспалъ все утро и не пріѣхалъ проводить Константинова на желѣзную дорогу.

Вообще Угарову жилось невесело. Тѣ мечты о счастьѣ, съ которыми онъ ѣхалъ въ Петербургъ, понемногу разлетались, какъ дымъ. Женщина «ослѣпительной» красоты не появлялась, любовь не приходила. Одно время онъ задумалъ опять ухаживать за Эмилией Миллеръ и началъ каждый вечеръ ходить наверхъ. Эмилія держала себя съ большимъ достоинствомъ и не дѣлала никакого шага для возобновленія прежнихъ отношеній, а Угаровъ испытывалъ странное ощущеніе: когда онъ не видѣлъ Эмилиі, она представлялась его воображенію красавицей, но при каждомъ новомъ свиданіи онъ находилъ, что она опять подурнѣла. Иногда у Миллеровъ бывали необычайно скучные гости, но, когда ихъ не было, Угаровъ чувствовалъ себя хорошо въ этомъ простомъ и тихомъ домѣ, несмотря на шутливыя заигрыванія и мѣщанскія выходки генеральши. Стоило ему, напри-мѣръ, похвалить какой-нибудь коверъ, генеральша сейчасъ же заявляла:

— О, это прекрасный коверъ, онъ стоитъ сорокъ шесть рублей.

Передавая ему стаканъ чаю въ подстаканникѣ, она прибавляла:

— Посмотрите, какой отличный мельхіоръ!

Разъ они сидѣли за чаемъ втроемъ. Карлуша, державшій и мать, и сестру въ ежовыхъ рукавицахъ, почти никогда не бы-

валь дома по вечерамъ. Раздался звонокъ и въ залу скорыми шагами вошла дѣвушка небольшого роста, въ темномъ дорожномъ платьѣ, съ сакъ-воажемъ въ рукахъ. И мать, и дочь бросились ее цѣловать съ самыми шумными изъявленіями радости. Эмилія сейчасъ же увела ее въ свою комнату, откуда скоро явилась горничная съ просьбой прислать чай туда. Угаровъ успѣлъ только замѣтить, что пріѣхавшая была некрасива и худа, но глаза у нея были очень умные.

— Это моя племянница, Вильгельмина фонъ-Экштадтъ,— пояснила генеральша.— Она къ намъ пріѣхала изъ Ревеля. О, эта дѣвушка будетъ играть большой роль въ нашемъ семействѣ...

Генеральша остановилась, ожидая вопроса; но Угаровъ молчалъ, не считая приличнымъ спрашивать. Генеральша не выдержала:

— Владиміръ Николаевичъ,— заговорила она почти шопотомъ,— я васъ считаю, какъ за родственника, и сейчасъ вамъ скажу, какой роль будетъ играть Вильгельмина въ нашемъ семействѣ. Она — невѣста Карлуши.

— Какъ! Карлуша женится?— воскликнулъ Угаровъ.— Онъ ничего мнѣ объ этомъ не говорилъ.

— О, ради Бога, не говорите ему, что я вамъ сказала... Это — большой, большой секретъ. Ихъ свадьба будетъ черезъ два года.

— Только черезъ два года? Отчего же это?

— Это оттого, что Карлуша надѣется быть тогда столоначальникомъ, и ему обѣщали въ одной компаніи мѣсто съ два тысяча жалованья, и еще нашъ дядя Рудольфъ фонъ-Экштадтъ завѣщаль Вильгельминѣ двадцать тысячъ серебромъ, съ условіемъ, что Вильгельмина можетъ трогать свой капиталъ, когда ей будетъ двадцать-пять лѣтъ. Съ процентами будетъ двадцать-одинъ тысячъ шестьсотъ рублей. А теперь имъ было бы трудно, очень трудно жить.

— Но вѣдь и ждать имъ трудно, Эмилія Федоровна. Мало ли что можетъ случиться въ два года? Они могутъ разлюбить другъ друга, измѣнить намѣреніе...

— О, нѣтъ, Владиміръ Николаевичъ, нѣтъ, нѣтъ! Когда они дали свои слова передъ Богомъ, они ничего измѣнить не могутъ.

Не желая мѣшать семейной радости, Угаровъ ушелъ домой.

На другой день онъ рѣшилъ, что остывшее чувство не можетъ быть разогрѣто, и началъ опять проводить всѣ свои вечера у Дюкрѣ.

Шарлота познакомила его со своей подругой Полиной—хорошенькой и болтливой француженкой, но знакомство это не имѣло большихъ послѣдствій. Какъ разъ наканунѣ Полина столкнулась у Дюкрѣ и познакомилась съ графомъ Строньскимъ. Смѣтливая парижанка рассчитала, что ей выгоднѣе заняться пріѣзжимъ богатымъ полякомъ, а Угаровъ никогда не уйдетъ. Тѣмъ не менѣе она изрѣдка принимала его по утрамъ, когда графъ ѣздилъ ради своего нескончаемаго процесса въ Сенатъ или просиживалъ долгіе и скучные часы въ министерскихъ пріемныхъ.

Второе разочарованіе постигло Угарова на службѣ. Походивъ около года въ департаментъ безъ всякихъ занятій, онъ получилъ мѣсто младшаго помощника столоначальника, и въ теченіе шести мѣсяцевъ велъ алфавитный реестръ входящихъ и исходящихъ бумагъ. Это была чисто механическая работа, не представлявшая ни малѣйшаго интереса. Черезъ полгода, такъ какъ департаментъ былъ переполненъ и по службѣ не предвидѣлось никакого движенія, Угарову предложили быть старшимъ помощникомъ сверхъ штата, т.-е. безъ жалованья. Онъ съ радостью согласился, и ему начали поручать кое-какіе доклады. Одно изъ первыхъ порученныхъ ему дѣлъ было большое Зотовское дѣло, надѣлавшее много шума въ Петербургѣ. Оно уже длилось много лѣтъ и теперь было прислано изъ другого министерства на заключеніе графа Хотынцева. При первомъ знакомствѣ съ этимъ дѣломъ Угаровъ убѣдился какъ въ вопіющихъ злоупотребленіяхъ мѣстныхъ властей, такъ и въ невѣрномъ, пристрастномъ взглядѣ министерства, производившаго дознание. Угаровъ перевезъ это многотомное дѣло къ себѣ на домъ, окружилъ себя сводами законовъ и просиживалъ за работой цѣлыя ночи. Въ затруднительныхъ случаяхъ онъ обращался къ Миллеру, который очень скоро разрѣшалъ всѣ недоумѣнія и хвалилъ работу.

— Ты вообще смотришь на дѣло правильно, но слишкомъ размазываешь. Главное: сокращай и сокращай...

По окончаніи работы, Угаровъ употребилъ еще нѣсколько дней на сокращеніе, и все-таки исписалъ довольно мелкимъ

почеркомъ десять листовъ. Когда онъ сдалъ дѣло въ столъ, Онуфрій Ивановичъ почесалъ у себя затылокъ и сказалъ:

— Н-да... У насъ давно не было такихъ большихъ докладовъ. Сергій Павловичъ продержитъ его, пожалуй, съ недѣлю.

Но прошло двѣ недѣли, а судьба доклада была неизвѣстна. Угаровъ нетерпѣливо ждалъ результата и уходилъ изъ министерства послѣднимъ. Иногда отъ скуки онъ заходилъ въ кабинетъ къ Ильѣ Кузьмичу, который очень его любилъ и часто удивлялъ своей откровенностью.

— Почитайте и уважайте меня, Владиміръ Николаевичъ, яко пророка, — сказалъ однажды правитель канцеляріи. — Помните ли, что я вамъ года два тому назадъ говорилъ насчетъ Якова Иваныча?

Теперь все министерство уже называло Горича не иначе, какъ Яковымъ Иванычемъ.

— Вы, кажется, говорили, что Горичъ со временемъ смѣнить васъ...

— Такъ-съ, память у васъ хорошая. Ну, такъ вотъ графъ уже говорилъ со мной объ этомъ. Это была, можно сказать, комедія въ трехъ актахъ, и я вамъ сейчасъ изображу ее. Первый актъ начался съ того, что третьяго дня графъ присылаетъ за мной вечеромъ. Я вхожу и вижу, что лицо у него глубокомысленное и въ то же время хитрое: видимо, хочетъ меня провести.

Илья Кузьмичъ сдѣлалъ изъ своего лица гримасу, напоминающую нѣсколько графа Хотынцева, и заговорилъ совсѣмъ его голосомъ:

— «Вы знаете, Илья Кузьмичъ, что я бы хотѣлъ всю жизнь не разставаться съ вами, но вы сами нѣсколько разъ заявляли, что хотите уходить, а потому намъ необходимо заранѣе подумать о вашемъ преемникѣ. Кого бы вы думали назначить?» Я молчу, а громовержецъ продолжаетъ еще хитрѣе: «Я, признаюсь, охотно бы назначилъ Горича, но вѣдь онъ слишкомъ молодъ... а, какъ вы думаете?» — «Да, графъ, дѣйствительно онъ молодъ». Графъ видитъ, что я не ловлюсь, и переходитъ въ другой тонъ. «Впрочемъ, Горичъ не по лѣтамъ развитъ и вполне дѣльный дѣловѣкъ, да и, кромѣ того, какой онъ работникъ. А, какъ вы находите?» — «Да, дѣйствительно, онъ работникъ хорошій». Громовержецъ обрадовался и этому. «Ну, да, такъ вы совѣтуете мнѣ назначить Горича? Впрочемъ, мы объ

этомъ еще поговоримъ». Второй актъ происходилъ вчера. Рано утромъ посылаетъ за мной графиня Олимпіада Михайловна и принимаетъ меня въ лиловомъ будуарѣ, въ утреннемъ костюмѣ, въ какихъ-то обольстительныхъ кружевахъ. «Илья Кузьмичъ, неужели это правда? Вы требуете отъ Базиля, чтобы онъ на ваше мѣсто назначилъ Горича? Ради Бога, не выѣшивайтесь въ это дѣло; я сама найду ему правителя канцеляріи, это моя прямая обязанность. А пока, умоляю васъ, не уходите. Если вы не можете сдѣлать это для Базиля, то принесите жертву для меня»... Какъ вамъ это нравится, Владиміръ Николаевичъ? Я почему-то обязанъ приносить жертвы этому противному кружевному истукану! Ну, а третій актъ я ужъ самъ сыгралъ сегодня. Сообразивъ положеніе дѣла, я напрямикъ объявилъ графу, что жить на одну пенсію мнѣ будетъ тяжело, и что я уйду только тогда, когда онъ выхлопочетъ мнѣ аренду въ двѣ тысячи.

Черезъ нѣсколько дней Угаровъ засталъ Илью Кузьмича въ припадкѣ неудержимаго смѣха.

— Поздравьте меня, Владиміръ Николаевичъ, я сдѣлалъ важное открытіе. Я узналъ, въ чемъ заключаются историческія занятія нашего министра. Подхожу я сейчасъ къ его кабинету и, заглянувъ мимоходомъ въ зеркало, вижу, что у меня галстукъ развязался. Я сталъ его поправлять, а дверь въ кабинетъ была немного отворена, и вдругъ я слышу — графъ самымъ своимъ глубокомысленнымъ тономъ спрашиваетъ у Горича: «Скажите, mon cher, какъ вы думаете: Потемкинъ былъ въ связи съ графиней Браницкой, или это была платоническая любовь?» Я, знаете, послѣ этого не имѣлъ духу войти къ нему, а прибѣжалъ сюда, вотъ, и хохочу до сихъ поръ.

Наконецъ, Угарова позвали къ директору. Сергій Павловичъ ласково протянулъ ему руку.

— Садитесь, пожалуйста. Хотите курить?

Когда папиросы были закурены, Сергій Павловичъ началъ внимательно всматриваться въ окно, выходившее во дворъ министерства, вставилъ стеклышко и заговорилъ своимъ звучнымъ голосомъ:

— Я прочиталъ вашу первую серьезную работу и долженъ отдать вамъ полную справедливость: вы отнеслись къ дѣлу добросовѣстно, потратили на него много труда и таланта, но... но спрашивается: къ чему все это?..

Лицо Угарова выразило полное недоумѣніе.

— Вы опровергаете мнѣніе министра, приславшаго намъ дѣло. Неужели вы думаете убѣдить его вашими доводами? Какія бы были послѣдствія, еслибы графъ утвердилъ вашъ докладъ? Тотъ министръ черезъ нѣсколько времени вернулъ бы дѣло опять къ намъ, но при этомъ написалъ бы графу такое частное письмо, что мы бы были должны измѣнить нашъ отзывъ. Впрочемъ, онъ можетъ обойтись и безъ этого, можемъ провести дѣло въ комитетѣ министровъ, или войти съ особымъ докладомъ... Во всякомъ случаѣ, онъ поступитъ по своему мнѣнію, а не по вашему.

— Но что же мнѣ было дѣлать, Сергѣй Павловичъ?—спросилъ Угаровъ.—Неужели я долженъ былъ писать противъ своего убѣжденія?

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Вы могли высказать свои убѣжденія, по въ иной формѣ. Вы могли бы, напримѣръ, начать такъ: «Хотя на это можно возразить то-то и то-то»... ну, и высказать свои убѣжденія—только, конечно, на пяти-шести, а не на сорока страницахъ—а въ концѣ все-таки сказать, что мы, тѣмъ не менѣе, не находимъ препятствій... Да и потомъ надо всегда обращать вниманіе на то, откуда къ намъ поступило дѣло. Если оно прислано на заключеніе какимъ-нибудь завалящимъ министромъ, ну, тогда можно, пожалуй, немного поумничать... Но въдѣ Зотовское дѣло прислано княземъ Василиемъ Андреечемъ, и съ нимъ бороться трудно. Ему можно отвѣчать только такъ, какъ я отвѣтилъ. Я послѣ васъ, конечно, не хотѣлъ поручать дѣло кому-нибудь другому и самъ занялся имъ.

И Сергѣй Павловичъ съ торжествомъ началъ читать великолѣпно переписанный и совсѣмъ готовый докладъ, на которомъ не хватало только подписи графа Хотынцева.

— «Вслѣдствіе отношенія Вашего Сіятельства за номеромъ 1244-мъ...» ну, тутъ идутъ формальности... «Разсмотрѣвъ съ полнымъ вниманіемъ вышеозначенное дѣло, я нахожу»... И послѣ этого я почти цѣликомъ выписалъ мнѣніе самого князя Василя Андрееча, которое вы видѣли въ дѣлѣ. Ну, конечно, я немного измѣнилъ нѣкоторыя фразы и рассыпалъ, *par-ci, par-là*, эти ничего незначащія словечки, которыя я называю канцелярскими арабесками, какъ-то: «Независимо сего», или: «нельзя, съ другой стороны, не обратить вниманія и на то»... или вотъ

эту фразу (и Сергѣй Павловичъ ткнулъ въ нее пальцемъ): «Переходя затѣмъ отъ общихъ основаній дѣла къ вопросу о нарушении казеннаго интереса»... Au fond tout ça ne dit rien, mais ça fait dans le paysage.

— Позвольте мнѣ, Сергѣй Павловичъ, сдѣлать одинъ вопросъ, — сказалъ робко Угаровъ. — Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ намъ присылають дѣла на заключеніе? Вѣдь это — ненужная формальность.

— Зачѣмъ? повторилъ Висягинъ, рассматривая что-то на потолкѣ. — А затѣмъ, мой юный другъ, чтобы намъ можно было получать жалованье и не умереть съ голоду. Если бы уничтожить все то, что можетъ вамъ показаться ненужной формальностью, тогда могли бы упразднить все наше министерство и довольствоваться однимъ Ильей Кузьмичемъ съ двумя писцами.

Угаровъ вышелъ какъ ошпаренный изъ директорскаго кабинета. Послѣ этого онъ написалъ еще нѣсколько докладовъ по рецепту Сергѣя Павловича, но работа эта была ему противна, а такъ какъ онъ считался чиновникомъ сверхъ штата, то скоро совсѣмъ пересталъ ходить въ департаментъ.

Чтобы чѣмъ-нибудь наполнить свои досуги, Угаровъ абонировался въ книжномъ магазинѣ и библіотекѣ для чтенія Овчинникова. Въ библіотекѣ былъ большой выборъ русскихъ и французскихъ книгъ, за которыми Угаровъ заходилъ раза два въ недѣлю. Главный приказчикъ оказался очень любезнымъ человекомъ, самъ выбиралъ для Угарова книги и охотно вступалъ въ разговоръ о прочитанномъ. Это былъ маленькій, коренастый человекъ, лѣтъ тридцати, очень бѣлокурый и блѣдный. Глаза у него были маленькіе, взглядъ пронизательный и быстрый, усы почти бѣлые. Звали его Орестомъ Ивановичемъ Сомовымъ. Разъ вечеромъ, передъ самымъ закрытіемъ магазина, Угаровъ принесъ старыя «Отечественныя Записки», гдѣ ему очень понравилась статья о Пушкинѣ.

— Еще бы! — воскликнулъ Сомовъ. — Это статья Бѣлинскаго.

Угаровъ смутно зналъ что-то о Бѣлинскомъ. Это имя не произносилось ни на каедрѣ, ни въ печати. Сомовъ началъ говорить о немъ, глаза его заблестѣли, на лицѣ появился румянецъ. Между тѣмъ девять часовъ давно пробило, приказчики разошлись, сторожъ потушилъ всѣ лампы и нѣсколько разъ

входилъ въ магазинъ, намекая этимъ, что пора его запереть. Одна свѣча стояла на конторкѣ Сомова, но и та грозила сейчасъ догорѣть и погаснуть. Вдругъ за конторкой отворилась дверь и на порогъ показалась молодая женщина съ платкомъ на головѣ.

— Орестъ Ивановичъ,— сказала она вполголоса,— самоваръ давно поданъ, сейчасъ погаснетъ.

Угаровъ со вздохомъ взялся за шляпу. Сомову также было досадно прервать разговоръ.

— Что же,— сказалъ онъ нерѣшительно,— если вамъ не хочется спать, вы, можетъ быть, зайдете въ мою каморку.

Комната, которую Сомовъ называлъ каморкой, была такъ мала, что не заслуживала другого названія. Большой продавленный диванъ и нѣсколько ветхихъ стульевъ составляли ея убранство. За бѣлой кисейной занавѣской помѣщался большой кованный сундукъ и была еще дверь, за которой скрылась женщина въ платкѣ. Столъ передъ каминомъ былъ накрытъ бѣлой скатертью. На столѣ вмѣстѣ со всѣми чайными принадлежностями стояла холодная закуска. Все было очень опрятно и просто. Разговоръ продолжался и отъ Бѣлинскаго перешелъ къ другимъ писателямъ. Сомовъ имѣлъ колоссальную память и говорилъ наизусть не только стихи, но и цѣлыя страницы прозы. Въ оцѣнѣ писателей произошло разногласіе. Угаровъ боготворилъ Пушкина, а Сомовъ, очень хорошо понимая художественную сторону поэзіи, предпочиталъ стихи съ «направленіемъ». Его любимый поэтъ былъ Некрасовъ, и онъ съ восторгомъ прочиталъ нѣсколько стихотвореній этого поэта, ходившихъ тогда еще въ рукописи и поразившихъ Угарова своей силой. Рукописей у Сомова было множество; весь сундукъ былъ наполненъ ими. Время летѣло незамѣтно, и въ пятомъ часу утра Угаровъ ѣлъ Выборгскій крендель и колбасу съ такимъ удовольствіемъ, какого ему не доставляли никакія салми и рагу французской кухни. Черезъ нѣсколько дней вечеръ повторился, потомъ Угаровъ пригласилъ Сомова къ себѣ. Тотъ долго отпѣкивался, но все-таки пришелъ. Угаровъ приготовилъ такую же скромную закуску и прибавилъ только бутылку вина, отъ котораго Сомовъ рѣшительно отказался.

— Я себя знаю,— сказалъ онъ откровенно.—Если я выпью рюмку, то запью на нѣсколько дней; а въ моемъ положеніи это невозможно.

Скоро они стали видѣться почти ежедневно, заходя по вечерамъ другъ къ другу, но оба предпочитали бесѣдовать въ «каморкѣ». Тамъ говорилось лучше и сидѣлось дольше. Иногда къ Сомову заходили его земляки, братья Пилкины — добрые, простые ребята. Одинъ былъ медикомъ, другой — студентомъ. Спосособности у Сомова были такія же блестящія, какъ и память. Еще въ дѣтствѣ онъ почти самоучкой выучился французскому языку, и теперь зналъ французскую литературу такъ же основательно, какъ и русскую. Однажды, говоря о нелѣпости французскихъ трагедій, онъ для доказательства отыскалъ въ библіотекѣ томъ Расина и прочиталъ вслухъ двѣ сцены, но при этомъ такъ коверкалъ языкъ, что Угаровъ не выдержалъ и разразился гомерическимъ хохотомъ. Смѣхъ этотъ подѣйствовалъ заразительно и на чтеца, и часто потомъ, когда разговоръ принималъ слишкомъ мрачное направленіе, Сомовъ добродушно говорилъ:

— А что, Владиміръ Николаевичъ, не почитать ли мнѣ что-нибудь по-французски.

Угаровъ отъ души полюбилъ Сомова и незамѣтно для самого себя подчинился его вліянію. Оба страстно слѣдили за ходомъ крестьянскаго дѣла. Угаровъ приносилъ извѣстія изъ офиціальнаго міра, а Сомовъ поставлялъ заграничныя брошюры и листки, наводнявшіе тогда Россію всевозможными путями. Въ концѣ лѣта онъ съ торжествомъ вынулъ изъ сундука первый нумеръ «Колокола». Съ каждымъ днемъ Сомовъ дѣлался все радикальнѣе и рѣзче; онъ самъ, видимо, жилъ подъ чьимъ-то сильнымъ вліяніемъ. Часто въ спорахъ онъ ссылаясь на какого-то Покровскаго, который, по его словамъ, былъ человѣкъ гениальнаго ума и таланта, но по цензурнымъ условіямъ не могъ ничего печатать въ Россіи. Натура Угарова противилась этимъ крайностямъ; столкновеніе между друзьями было неизбежно. Произошло оно изъ-за письма Герцена къ Лантону. Письмо это, напечатанное во французскихъ газетахъ въ 1854 г., появилось въ русскомъ переводѣ гораздо позже. Угаровъ не могъ допустить, чтобы русскій человѣкъ, какихъ бы онъ ни былъ убѣжденій, могъ обращаться къ врагамъ съ совѣтами, какимъ путемъ вѣрнѣе разгромить Россію. Со своей стороны Сомовъ не могъ допустить, чтобы Герценъ былъ неправъ. Споръ по этому поводу длился въ теченіе нѣсколькихъ вечеровъ.

Братья Пялкины раздѣлились: медикъ былъ на сторонѣ Угарова, студентъ поддерживалъ Сомова.

— Скажите откровенно, Орестъ Ивановичъ, — спросилъ въ жару спора Угаровъ, — что вы почувствовали при извѣстіи о взятіи Севастополя?

— Сказать по правдѣ, — отвѣчалъ, подумавши, Сомовъ, — цѣлый день мнѣ было какъ-то не по-себѣ: не то грустно, не то стыдно. Но на другой же день я себя выругалъ за это и рѣшилъ, что это остатки допотопнаго воспитанія. Патріотизмъ — такой же глупый предрасудокъ, какъ и всѣ другіе.

Несмотря на эту обрисовавшуюся разность въ убѣжденіяхъ, Угаровъ горячо превозносилъ своего новаго друга. Дружба эта очень не нравилась Горичу.

— Не понимаю я, Володя, — говорилъ онъ, идя по Невскому съ Угаровымъ, — какое удовольствіе ты можешь находить въ ежедневномъ обществѣ этого приказчика...

— А я не понимаю, — возразилъ Угаровъ, — какъ при твоёмъ умѣ ты можешь такъ узко смотрѣть на вещи. Ты охотно проводишь время съ идіотами и убѣдишь на край свѣта отъ умнаго и хорошаго человѣка только оттого, что онъ — приказчикъ...

— Вовсе не убѣгу. Сдѣлай милость, покажи мнѣ этого генія.

— Ну, хорошо. Онъ будетъ у меня сегодня вечеромъ. Заходи часовъ въ десять и ты самъ убѣдишься...

— Ладно, зайду.

— И я зайду, — сказалъ Миллеръ, шедшій съ ними.

Угаровъ пришелъ домой въ началѣ десятаго часа. Сомовъ уже ждалъ.

— Орестъ Ивановичъ, — сказалъ, входя, Угаровъ, — я долженъ васъ предупредить, что сегодня вы увидите у меня двухъ моихъ товарищей.

При этомъ извѣстіи Сомовъ перемѣнился въ лицѣ.

— Это съ вашей стороны нехорошо, — проговорилъ онъ взволнованнымъ голосомъ. — Вы должны были предупредить меня заранѣе.

— Если бы я зналъ, что вамъ это будетъ такъ непріятно, я бы совсѣмъ не пригласилъ ихъ. Но что же вы можете противъ нихъ?

— Ничего не имѣю противъ, но и общаго съ ними у меня нѣтъ ничего. Къ чему же это знакомство? Съ вами мы сошлись какъ-то нечаянно—ну и слава Богу!—я объ этомъ не жалѣю, а, напротивъ того, очень этому радъ, но присоединять къ намъ новые элементы—безполезно.

— Однако я у васъ познакомился съ Пилкиными, и отъ того не произошло ничего дурного.

— Да, это правда.

Сомовъ успокоился и заговорилъ о новомъ, только-что полученномъ номерѣ «Колокола», но при первомъ звонкѣ вскочилъ и убѣждалъ такъ стремительно, что едва не сшибъ съ ногъ Миллера въ темной передней. Угаровъ послѣ долго размышлялъ объ этомъ поступкѣ Сомова и не зналъ, чему приписать его: избытку ли смиренія, или избытку гордости?

V.

Въ началѣ октября, рано утромъ, Угаровъ былъ разбуженъ сильнымъ звонкомъ, и въ спальню его вошелъ Горичъ.

— Вотъ въ чемъ дѣло,—сказалъ онъ, не снимая пальто и шляпы,—намъ надо вмѣстѣ предпринять что-нибудь относительно Сережи. Весь городъ говоритъ о его кутежахъ и безумныхъ тратахъ, о какомъ-то пикникѣ, который онъ устраиваетъ...

— Да, это совершенно вѣрно. Я даже слышалъ, что онъ надняхъ подписалъ крупный вексель ростовщику Розенблюму...

— Ну, вотъ видишь—его надо остановить, иначе онъ совсѣмъ погибнетъ... Но гдѣ же его найти? Я его три дня ищу, какъ булавку. У графа онъ не бываетъ вовсе, въ канцеляріи тоже; сегодня я въ восемь часовъ былъ у него, даже хотѣлъ подкупить швейцара, но тотъ божится, что князь «уѣхамши». Не ломиться же къ нему силой!

— Самое лучшее,—сказалъ Угаровъ,—поймать его у Дюкрё. Приходи туда въ пять часовъ; мы пообѣдаемъ въ отдѣльной комнатѣ, а потомъ вызовемъ его и поговоримъ серьезно.

— Ну, и прекрасно, а теперь я бѣгу... Прощай!..

Программа удалась какъ нельзя лучше. Сережа, вызванный товарищами, пришелъ къ нимъ съ большой радостью.

— Вотъ молодцы, что вздумали послать за мной!—сказалъ

онъ, усаживаясь на диванъ.—Я съ удовольствіемъ посижу часокъ съ вами, мы сто лѣтъ не видѣлись.

Но когда Сережа узналъ, что его вызвали по важному дѣлу, радость его мгновенно исчезла. Онъ опустилъ голову и усиленно началъ тереть одну ладонь о другую. Онъ даже сдѣлалъ попытку улизнуть, но Горичъ напомнилъ, что онъ обѣщалъ осидѣть часокъ, и для большей вѣрности сѣлъ между Сережей и дверью.

— Что же такое случилось?—спросилъ Сережа, не поднимая головы.

— Случилось то,—отвѣчалъ Горичъ,—что мы,—какъ твои товарищи и друзья, рѣшились предостеречь тебя отъ вѣрной гибели. Ты мотаешь и соришь деньгами, какъ Крезъ какой-нибудь; ты за одинъ пикникъ у Дорота заплатилъ болѣе четырехсотъ рублей...

— Это неправда,—возразилъ Сережа.—За пикникъ на каждого пришлось по 240 рублей.

— Ну, положимъ, 240. Но развѣ ты можешь тратить по 240 рублей въ вечеръ? Сколько ты получаешь изъ дома?

— Я бы былъ очень благодаренъ тебѣ, если бы ты мнѣ сказала, сколько я получаю. Мнѣ присылаютъ—сколько захотятъ и когда захотятъ.

— Во всякомъ случаѣ,—вмѣшался Угаровъ,—тебѣ не присылаютъ и десятой доли того, что ты тратишь...

— Да что вы пристали ко мнѣ?—спросилъ Сережа, слегка блѣднѣя.—Я воровствомъ не занимаюсь, ни у кого на содержаніи не живу, фальшивыхъ бумажекъ не дѣлаю...

— Такъ гдѣ же ты берешь деньги?

— Беру ихъ тамъ же, гдѣ берутъ всѣ, у кого ихъ нѣтъ—занимаю.

— Но вѣдь, занимая, надо платить. Какимъ же способомъ ты думаешь расплатиться?

— Господи Боже мой, да вѣдь будетъ же когда-нибудь состояніе въ моихъ рукахъ,—тогда и расплачусь.

— Да пойми ты, несчастный, что къ тому времени долговъ у тебя будетъ столько, что состоянія не хватитъ на уплату. Всего опаснѣе—написать первый вексель. Ты выдалъ вексель въ 500 рублей: къ сроку денегъ нѣтъ, 500 обратились въ тысячу и такъ далѣе. Французы говорятъ: *c'est comme une boule de neige*..

Сережа вдругъ разсмѣлся.

— Чему ты смѣешься?

— Представь себѣ, что все, что ты мнѣ говоришь сегодня, я вчера слово въ слово говорилъ Алешѣ Хотынцеву. Ну, развѣ это не смѣшно?

— А если ты самъ это говорилъ, — замѣтилъ Угаровъ, — ты долженъ сознаться, что поступаешь неблагоразумно.

— Охъ, Володя, да развѣ я ужъ такой идиотъ, что не могу различить, что благоразумно и что безразсудно? Но, видишь ли, если всякую минуту справляться съ благоразуміемъ, то и жить не стоитъ.. Дай мнѣ пожить нѣсколько лѣтъ въ свое удовольствіе; что за бѣда, что состояніе мое уменьшится къ тому времени, что я буду старикомъ...

— Ты былъ бы правъ, — прервалъ Горичъ, — если бы дѣло шло только о твоемъ будущемъ благосостояніи; имъ ты можешь располагать, какъ хочешь. Но дѣло идетъ о твоей чести. Продолжая жить, какъ ты живешь, ты можешь очутиться въ такомъ безвыходномъ положеніи, въ которомъ ужъ трудно различить черту, отдѣляющую безразсудное отъ безчестнаго...

— Пока я эту черту вижу ясно.

— Вотъ поэтому тебѣ и надо остановиться, пока еще есть время. Скажи, по крайней мѣрѣ, сколько у тебя долгу?

Сережа молчалъ. Ладони съ ожесточеніемъ терлись одна о другую.

— Послушай, Сережа, ты, видимо, недоволенъ нашимъ вмѣшательствомъ въ твои дѣла. Повѣрь, что мы спрашиваемъ тебя не изъ любопытства, а съ цѣлью помочь тебѣ. У меня, какъ ты знаешь, ничего нѣтъ, но Угаровъ сейчасъ сказалъ мнѣ, что съ удовольствіемъ заплатитъ твои долги. Ты считаешься съ нимъ впослѣдствіи, а теперь, конечно, дашь намъ слово, что новыхъ долговъ дѣлать не будешь.

Сережа подошелъ къ Угарову и съ чувствомъ пожалъ ему руку.

— Отъ всей души благодарю тебя, Володя; но, право, мнѣ теперь это не нужно. Если подойдетъ крайность, я самъ прибѣгну къ тебѣ. Но во всякомъ случаѣ очень, очень благодарю тебя.

— Стоить ли благодарить меня, если ты даже не хочешь сказать намъ, сколько у тебя долгу...

— Какъ не хочу? Вы знаете, что я отъ васъ обоихъ рѣшительно ничего не скрываю. Но, право, мнѣ невозможно сказать это сразу. У меня есть книжка, гдѣ всѣ долги записаны аккуратно.

— А книжку эту ты можешь намъ показать?

— Конечно, могу, когда хотите.

— Ну, такъ вотъ что: будемъ завтра обѣдать здѣсь втроемъ въ пять часовъ; ты принесешь знаменитую книжку, и мы вмѣстѣ что-нибудь рѣшимъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Дай честное слово, что придешь.

— Изволь, даю честное слово, если безъ этого ты мнѣ не вѣришь.

На слѣдующій день Угаровъ и Горичъ пришли къ Дюкрѣ задолго до пяти часовъ, но Сережи и въ пять не было. Прошло еще минутъ десять.

— Онъ способенъ надуть, — сказалъ Горичъ.

— Нѣтъ, если далъ честное слово, то не надуетъ.

— Конечно, не надую, — сказалъ входя Сережа. — Но только вотъ въ чемъ дѣло: извините меня, я обѣдать съ вами никакъ не могу.

— Это отчего? — спросилъ Угаровъ.

— Зачѣмъ ты его спрашиваешь? — прервалъ его съ гнѣвомъ Горичъ. — Ты лучше спроси у меня, и я тебѣ отвѣчу. Князь Брянскій плюетъ на товарищей и на данное слово, потому что его пригласили какія-нибудь кокетки...

— Смотри, Горичъ, — сказалъ нѣсколько торжественнымъ тономъ Сережа, — какъ бы тебѣ не стало совѣстно за то, что ты сейчасъ сказалъ. Знай же, что я обѣдаю сегодня съ сестрами...

— Съ какими сестрами?

— У меня ихъ двѣ: Ольга и Софья.

— Какъ, твои сестры здѣсь? — воскликнули одновременно Угаровъ и Горичъ. — Съ какихъ поръ? Зачѣмъ?

— Сестры здѣсь уже съ недѣлю: Маковецкій получилъ мѣсто при главномъ штабѣ и переселился въ Петербургъ, а Соня, вѣроятно, прогоститъ у нихъ всю зиму.

— О, скала скрытности! о, кладезь молчанія! — завопилъ Горичъ. — Отчего же ты вчера не сказалъ намъ объ этомъ?

— Право, не знаю, отчего не сказалъ. Такъ, не пришлось къ слову, вы же все время приставали ко мнѣ съ моими долгами. А главное оттого, что онѣ только сегодня переѣхали изъ гостиницы въ свою квартиру. Вы понимаете, что мнѣ нельзя не обѣдать у нихъ на новосельѣ...

— Гдѣ же ихъ квартира? Или, можетъ быть, это тоже секретъ?

— Какой же секретъ! Литейная, домъ Тупикова. Самое лучшее: пріѣзжайте туда послѣ обѣда.

— Ну, это будетъ слишкомъ безцеремонно. Вѣроятно, они и не устроились на новой квартирѣ...

— Какой вздоръ! Всѣ они будутъ очень рады васъ видѣть. Ольга еще въ день пріѣзда поручила мнѣ извѣстить васъ обоихъ.

— И ты отлично исполнилъ ея порученіе... Ну, Богъ съ тобой, убирайся. Кланяйся отъ насъ, а мы явимся завтра утромъ, благо и день будетъ воскресный.

Сережа исчезъ, очень довольный тѣмъ, что разговоръ о его долгахъ былъ отсроченъ, а Угаровъ и Горичъ, послѣ его отъѣзда, нѣсколько минутъ молча смотрѣли другъ на друга.

— Ну, что скажешь, Володя? — заговорилъ очень тихимъ голосомъ Горичъ. — Никогда нельзя предвидѣть сюрпризовъ, которые намъ готовить судьба. Давно ли ты жаловался на скуку и увѣрялъ, что ничѣмъ не можешь наполнить пустоту жизни? Съ тѣхъ поръ прошло полчаса, и жизнь твоя уже наполнена. Не спорю, что тебѣ, можетъ быть, будетъ подчасъ и грустно, и больно, но ужъ скучно навѣрное не будетъ.

— А тебѣ?

— Я—дѣло другое. Мнѣ некогда ни грустить, ни скучать.

Чувство, которое испыталъ Угаровъ при этомъ неожиданномъ извѣстіи, было невыразимое смущеніе. Онъ смутился гораздо больше, чѣмъ обрадовался. Словно онъ узналъ что-то такое, что налагало на него извѣстнаго рода обязанности. Прежде всего онъ долженъ сдѣлать визитъ; но, кромѣ этой обязанности, онъ долженъ еще что-то почувствовать и пережить. И немедленно изъ глубины души его поднялся протестъ противъ этой обязанности.

«Что за вздоръ такой!—размышлялъ онъ, возвращаясь отъ Дюкрѣ пѣшкомъ домой,—почему Горичъ вообразилъ себѣ, что

моя жизнь теперь будетъ наполнена? Ну, да, дѣйствительно, я былъ влюбленъ въ Соню Брянскую, но съ тѣхъ поръ прошло четыре года; почему это должно продолжаться? Мало ли, въ кого я былъ влюбленъ! И въ Наташу Дорожинскую, и въ Эмилию. Да Эмилія и теперь мнѣ очень нравится. Она милая, очень милая дѣвушка, и умная, и добрая. Сегодня же вечеромъ пойду къ ней, непременно пойду... Что за бѣда, что ея мать будетъ расхваливать свой мельхиоръ; зато я знаю навѣрное, что всѣ обрадуются моему приходу; а Соня, Богъ ее знаетъ, можетъ быть, не обратитъ на меня никакого вниманія, — вѣдь у нея все зависитъ отъ каприза... Да, впрочемъ, не все ли равно мнѣ это, какое мнѣ дѣло до ея капризовъ? Этотъ дуракъ Горичъ только взбаламутилъ меня... Самъ влюбленъ, какъ котъ, и валитъ съ больной головы на здоровую»...

Въ этихъ размышленіяхъ Угаровъ дошелъ до Литейной. На углу стоялъ городской. Чтобы не искать завтра Маковецкихъ, Угаровъ кстати спросилъ, гдѣ домъ Тупикова.

— Пятый домъ направо, — отвѣтилъ городской.

Угарову слѣдовало идти налѣво, но какъ-то машинально онъ пошелъ направо и остановился передъ домомъ Тупикова. Это былъ большой домъ въ нѣсколько этажей, съ двумя подъѣздами. — «Жаль, что я не знаю, въ какомъ этажѣ; ну, да все равно, узнаю завтра». Какая-то фигура шмыгнула изъ воротъ въ подъездъ.

— Швейцаръ! — крикнулъ Угаровъ. — Здѣсь живетъ Маковецкій?

— Здѣсь, ваше сіятельство, пожалуйста. Во второмъ этажѣ направо, второй номеръ.

— Нѣтъ, я завтра зайду. Какъ тебя зовутъ?

— Степанъ, ваше сіятельство.

Угаровъ опустилъ руку въ карманъ пальто и, найдя тамъ сорокъ копѣекъ, по неизвѣстной причинѣ отдалъ ихъ швейцару.

Уходя, онъ взглянулъ въ окна второго этажа: они были ярко освѣщены. — «Очень можно бы зайти и сегодня; почему этотъ дуракъ Горичъ сказалъ, что это будетъ слишкомъ безцеремонно? Во все не безцеремонно, если Сережа приглашалъ... Ну, да все равно, тѣмъ лучше; я сегодня пойду къ Миллерамъ... Какая славная дѣвушка Эмилія!»

Но только-что Угаровъ вошелъ въ свою квартиру, ему вдругъ

перестало хотѣться идти къ Миллерамъ. — «Вѣроятно, тамъ какіе-нибудь скучные гости», — подумалъ онъ для собственнаго оправданія. Онъ раздѣлся, надѣлъ халатъ и, сѣвъ у письменнаго стола, раскрылъ книжку «Современника», гдѣ его очень интересовала статья объ общинномъ владѣніи землею. Прочитавъ нѣсколько строкъ, онъ опрокинулся на спинку кресла и задумался. Никакихъ опредѣленныхъ мыслей у него не было; ему просто было пріятно сидѣть одному и думать. Нѣсколько разъ онъ принимался читать и задумывался снова. Онъ слышалъ, какъ въ столовой пробило двѣнадцать часовъ, потомъ часъ, потомъ два, наконецъ три. «Однако пора спать», — рѣшилъ Угаровъ. Изъ статьи объ общинѣ онъ прочиталъ только три страницы.

Горичъ обѣщалъ заѣхать за нимъ въ часъ, чтобы ѣхать вмѣстѣ къ Маковецкимъ; но, такъ какъ въ половинѣ второго его еще не было, Угаровъ отправился одинъ. Швейцаръ встрѣтилъ его съ шумнымъ изъясненіемъ радости и, взбѣжавъ наверхъ, самъ позвонилъ во второмъ номерѣ. Маленькій, румяный человѣчекъ въ непомѣрно широкомъ скюртукѣ отворилъ ему дверь, помогъ снять пальто и, чтобы его не приняли за лакея, поспѣшилъ рекомендоваться: «Сопруновъ-съ, Иванъ Сопруновъ, обойщикъ»... Вся передняя была загромождена сундуками и чемоданами, между которыми валялись куски обоевъ. Сильно пахло клеємъ, щетиной и свѣжей краской. Въ первой комнатѣ Угаровъ увидѣлъ Александра Викентьевича, стоявшаго безъ скюртука на деревянной лѣсенкѣ и вбивавшаго гвоздь въ стѣну. Увидѣвъ Угарова, онъ соскочилъ и хотѣлъ надѣть лежавшій на стулѣ адъютантскій скюртукъ. Угаровъ насилу убѣдилъ его продолжать работу и вошелъ въ залу, гдѣ былъ встрѣченъ Ольгой Борисовной.

— Наконецъ-то, Владиміръ Николаевичъ, вы пріѣхали навѣстить старыхъ друзей... Впрочемъ, не извиняйтесь; Сережа сознался, что онъ только вчера сказалъ вамъ.

Но Угаровъ, чувствовавшій потребность въ чемъ-нибудь извиниться, счелъ долгомъ сказать, что онъ пріѣхалъ бы раньше, но ждалъ Горича.

— Вы бы его могли долго ждать. Онъ здѣсь съ одиннадцати часовъ убираетъ Сонину комнату.

Ольга Борисовна была еще очень красива, но уже приближалась къ тому періоду, когда о красивой женщинѣ перестаютъ говорить: «какъ она хороша!» — и начинаютъ говорить: «какъ

она симпатична!» Около нея жался семилѣтній курчавый мальчикъ въ плисовой безрукавѣ.

— Боря, ты помнишь Владиміра Николаевича?—спросила Ольга Борисовна.—Помнишь, мы вмѣстѣ завтракали у дѣдушки.

Боря посмотрѣлъ на Угарова большими не-дѣтскими глазами и сказалъ.

— Да, мнѣ кажется, что помню.

— Сопруновъ! — раздался изъ кабинета голосъ Маковецкаго.—Зачѣмъ ты повѣсилъ здѣсь картину? Вѣдь я тебѣ сказалъ, что она должна висѣть въ гостиной.

— Осмѣлюсь доложить, это совсѣмъ не годится. Кабы въ гостиной были красные шпалеры...

— Ну, не разсуждай, неси туда.

— Сопруновъ! — раздался откуда-то голосъ Горича, —иди сюда!

И Сопруновъ, взваливъ на плечи большую картину, пронесся черезъ залу.

— Вотъ незамѣнимый человѣкъ этотъ Сопруновъ!—сказала Ольга Борисовна.—Онъ не только квартиру намъ устраиваетъ, но даже даетъ совѣты Сонѣ, какія платья ей къ лицу. А вотъ и она.

Угаровъ оглянулся. Передъ нимъ стояла именно та женщина ослѣпительной красоты, о которой онъ иногда мечталъ. Но это вовсе не была Соня. Отъ Сони остались только глаза да еще ея чарующая улыбка. Она очень выросла, плечи ея округлились, особеную прелесть ея красотѣ придавали бѣлые ровные зубы, «рядъ жемчужинъ», — промелькнуло въ головѣ Угарова устарѣлое сравненіе. Нѣжныя руки съ прозрачными продолговатыми пальцами также поразили его, какъ неожиданность. Конечно, у Сони и прежде были тѣ же зубы и тѣ же руки, но Угаровъ почему-то не замѣтилъ ихъ тогда. Онъ смотрѣлъ и не двигался съ мѣста.

— Вы, кажется, не узнаете меня, Владиміръ Николаевичъ! Неужели я такъ перемѣнилась?

Вошелъ Горичъ съ засученными рукавами скрутка и съ чернымъ столикомъ на головѣ.

— Куда прикажете поставить? — спросилъ онъ у Ольги Борисовны. — Въ комнатѣ у княжны рѣшительно нѣтъ болѣе мѣста.

— А вотъ здѣсь, здѣсь, — залепеталъ Сопруновъ, — возлѣ фуртапыанъ поставьте, на него можно ноты класть, тутъ ему самое настоящее мѣсто.

— Поздравляю васъ, княжна, съ новой побѣдой, — сказалъ Горичъ. — Сейчасъ Сопруновъ заявилъ мнѣ, что въ Петербургѣ нѣтъ ни одной барышни лучше васъ.

— Вотъ какъ передъ истиннымъ Богомъ! — началъ Сопруновъ и побѣждалъ въ переднюю, потому что кто-то позвонилъ.

Соня засмѣялась отъ удовольствія, но вообще манеры ея измѣнились: она старалась держать себя сдержанно и солидно.

— Министерша пріѣхала, — возвѣстилъ, вбѣгая, швейцаръ, — графиня Хотынцева, и спрашиваетъ, можете ли вы ихъ принять.

Но графиня, не дожидаясь отвѣта, по слѣдамъ швейцара влѣтѣла въ залу, шумя платьемъ и браслетами и подмѣшивая къ запаху краски какой-то сильный запахъ духовъ.

— Здравствуйте, мои милыя! — говорила она, обнимая племянницъ и подавая черезъ ихъ голову руку Маковецкому, который почтительно приложился къ ней. — Я заѣхала на минуту посмотреть, какъ вы тутъ устроиваетесь... А, наконецъ-то, я вижу Борю... *Quel joli garçon!* Оля, онъ весь въ тебя. Ну, здравствуй, Боричка (при этомъ графиня граціозно нагнулась и расцѣловала Бору), познакомься съ твоей тетушкой... даже не тетушкой, а бабушкой... Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ смѣшно, что я уже бабушка... Что дѣлать, à chacun son tour. Et la petite Аня dort? Я все-таки зайду посмотреть на нее. Ну, что же, зала очень хороша; рояль на мѣстѣ... Только зачѣмъ эти портьеры? Это портить резонансъ. Тутъ лучше всего сдѣлать голубыя шолковыя шторы въ сборкахъ... *C'est élégant et léger.*

Гостиной графиня осталась недовольна.

— Нѣтъ, Оля, эти обои ужасны. Тутъ нужны или темно-красные обои, или золотые съ разводами.

— Вотъ и я то же говорю, — раздался въ дверяхъ голосъ Сопрунова. — Въ гостиной безпремѣнно должны быть красныя шпалеры...

— Какія шпалеры? Я говорю про обои.

— Это, ваше сіятельство, все одно, — сказалъ Сопруновъ, приближаясь. По-вашему — обои, а по-нашему — шпалеры.

— *Qui est cet homme?* — съ ужасомъ спросила графиня.

— Сопруновъ-съ, Иванъ Сопруновъ, обойщикъ, — сказалъ

онъ, подойдя совсѣмъ близко.—Мы даже съ вашимъ сіятельствомъ очень знакомы; мы въ прошломъ мѣсяцѣ у васъ въ спальнѣ гардины вѣшали...

— Oh, mon Dieu! Je crois qu'il sent le vin!—воскликнула графиня и убѣжала въ другую комнату.

Черезъ четверть часа графиня Хотынцева перевернула всю квартиру вверхъ дномъ. Она забрала мебель въ дѣтской, большой диванъ изъ гостиной велѣла немедленно перенести въ кабинетъ, а вмѣсто него обѣщала, какъ подарокъ на новоселье, прислать нѣсколько низенькихъ креселъ. Кабинетъ Александра Викентича она приказала устроить въ комнатѣ, назначенной для столовой, и очень удивилась, увидѣвъ нѣсколько ломберныхъ столовъ.

— Неужели у васъ будутъ играть въ карты? J'ai en horreur les cartes! и даже эти столы не могу видѣть безъ отвращенія. Впрочемъ, иногда, поневолѣ, надо устраивать партію...

При этихъ словахъ Ольга Борисовна не могла удержать глубокаго вздоха.

Съ Угаровымъ, представленнымъ ей Ольгой Борисовной, министерша обошлась очень милостиво—можетъ быть, въ пику Горичу, которому не сказала ни слова. Она приказывала Угарову переносить изъ комнаты въ комнату разные столики и табуреты, и хотя упорно называла его не Угаровымъ а Уваровымъ, но на прощанье ласково кивнула ему головой и сказала, что она принимаетъ по четвергамъ.

— Ну, прощайте, мои душки,—говорила она, цѣлуя племянницъ,—мнѣ еще надо сдѣлать десять визитовъ до обѣда. Не забудьте, что вы обѣдаете у меня. Да скажите этому несносному Сережѣ, чтобы онъ тоже пришелъ. Я его совсѣмъ не вижу и не знаю, гдѣ онъ проводитъ свое время.

— Нѣтъ, насъ онъ пока балуетъ,—сказалъ Маковецкій.—Мы его видимъ каждый день. Но сегодня врядъ ли онъ зайдетъ до обѣда.

— А здѣсь что будетъ?—спросила графиня, входя по пути въ пустую комнату, оклеенную сѣренными обоями.

— А здѣсь, ma tante, мы думаемъ помѣстить гувернантку, которую придется взять для Бори.

— Боже мой, какой здѣсь тяжелый воздухъ! Alexandre, прикажите непременно сдѣлать въ этой комнатѣ форточку.

Какъ изъ-подъ земли выросъ передъ графиней Сопруновъ.

— Ваше сіятельство, — заговорилъ онъ съ отчаяніемъ въ голосъ, — форточка не поможетъ. Въ этой комнатѣ всегда будетъ вонять, потому здѣсь сейчасъ за стѣной, осмѣлюсь доложить...

Маковецкій схватилъ за плечи словоохотливаго обойщика и вытолкалъ его изъ комнаты.

— Qu'est-ce qu'il dit, cet homme? — спросила графиня.

— Rien, ma tante, il dit des bêtises.

Послѣ отъѣзда графини, Маковецкій съ помощью гостей, обойщика и двухъ людей, пришедшихъ наниматься въ лакеи, успѣли привести квартиру въ прежнее состояніе.

— Знаешь, Саша, — сказала Ольга Борисовна, — мнѣ кажется, что относительно большого дивана тетушка права. Онъ дѣйствительно неумѣстенъ въ гостиной, тѣмъ болѣе, что она пришлетъ какія-то кресла...

— Ну, матушка, извини меня. Когда она пришлетъ, тогда мы диванъ опять вынесемъ. А я, признаюсь, этимъ подаркамъ не особенно вѣрю. Тетушка обѣщала же прислать какого-то комиссіонера, который намъ отыщетъ чудную квартиру, и если бы мы его ждали, то до сихъ поръ сидѣли бы въ гостиницѣ...

Подводя ночью передъ сномъ итоги пережитаго дня, Угаровъ пришелъ къ двумъ заключеніямъ: во-первыхъ, что онъ нисколько не влюбленъ въ Соню, и во-вторыхъ, что онъ страшно ревнуетъ ее къ Горичу. Въ этихъ заключеніяхъ было явное противорѣчіе, котораго Угаровъ не могъ уничтожить; тѣмъ не менѣе, онъ былъ твердо убѣжденъ въ правотѣ своего взгляда. На Горича онъ больше всего сердился за его предательство, т.-е. за то, что, сговорившись ѣхать вмѣстѣ съ нимъ къ Маковецкимъ, онъ явился туда одинъ двумя часами раньше. Угаровъ положилъ отомстить ему тѣмъ же. На слѣдующій день Соня пригласила ихъ обоихъ къ тремъ часамъ, чтобы развѣшивать портреты въ ея комнатѣ. Но такъ какъ Горичу немислимо было вырваться изъ министерства раньше трехъ часовъ, то Угаровъ твердо рѣшился предупредить его. Въ началѣ второго часа онъ уже былъ одѣтъ и готовъ, но это показалось ему слишкомъ рано. Соня могла куда-нибудь выѣхать и еще не вернуться. Къ двумъ часамъ онъ не въ силахъ былъ ждать больше и уже надѣвалъ пальто, какъ вдругъ передъ носомъ его раздался звонокъ, «Ну, если это Миллеръ, — рѣшилъ Угаровъ, — я не вер-

нуса»... Дверь отворилась — передъ нимъ стояла высокая фигура Аѳанасія Ивановича Дорожинскаго.

— Вотъ, можно сказать, удача, — говорилъ онъ, трижды лобызая Угарова, — опоздай я на минуту и не засталъ бы васъ, мой дорогой. Но вы куда-то уходили; впрочемъ я васъ не задержу...

Онъ вошелъ въ гостиную и, усѣвшись на диванѣ, прежде всего вынулъ изъ кармана письмо Марьи Петровны, которая по старой привычкѣ любила писать «съ оказіей».

— Да, ждать, не дождется васъ старушка: давно вы не были въ деревнѣ... Да и я, Владиміръ Николаевичъ, удивляюсь, что вамъ за охота киснуть въ Петербургѣ, когда въ провинціи открывается для людей съ вашимъ образованіемъ широкое поле дѣятельности, когда вся Россія, можно сказать, наканунѣ полного обновленія...

Услышавъ слово: «обновленіе», Угаровъ ужаснулся.

Аѳанасій Ивановичъ, посѣщавшій и прежде Петербургъ, чтобы нюхать воздухъ, теперь ѣздилъ туда безпрестанно, лелѣя въ своей честолюбивой душѣ самые разнообразные планы. Завѣтной мечтой его было попрежнему — попасть въ губернскіе предводители, но онъ былъ не прочь и отъ губернаторскаго мѣста. Когда оно отъ него отдалялось, онъ говорилъ исключительно о священныхъ правахъ дворянства; когда же ему подавали въ министерствѣ хоть слабую надежду, онъ охотно разговаривалъ объ обновленіи. Угаровъ, знавшій по опыту, что на эту тему онъ неистощимъ, пересталъ его слушать и мысленно считалъ минуты. Теперь ему казалось страшно важнымъ — пріѣхать раньше Горича.

Въ столовой пробило три часа.

— А я отъ васъ ѣду къ нашему почтенному дядюшкѣ, Ивану Сергѣичу, — сказалъ Дорожинскій. — Между нами сказать, онъ вами недоволенъ; напрасно вы такъ рѣдко ѣздите къ старику. Вѣдь онъ — патріархъ всего рода Дорожинскихъ, онъ — нашъ, такъ сказать, Шамборъ... Поѣдьте-ка къ нему вмѣстѣ сейчасъ...

— Сегодня, Аѳанасій Ивановичъ, мнѣ никакъ нельзя; я непремѣнно долженъ сдѣлать одинъ визитъ.

Аѳанасій Ивановичъ взялся за шляпу. Угаровъ рассчитывалъ, что Горичъ можетъ пріѣхать въ одно время съ нимъ, но ни-

какъ не раньше. Проходя мимо письменнаго стола, Аѳанасій Ивановичъ увидѣлъ «Современникъ» и остановился.

— Это, вѣроятно, послѣдняя книжка. Прочли ли вы въ ней статью объ общинномъ владѣніи?

— Да, я только что ее началъ...

Аѳанасій Ивановичъ сѣлъ въ кресло, стоявшее передъ письменнымъ столомъ.

— Начало статьи весьма остроумно.

Онъ прочелъ вслухъ первую страницу, послѣ чего сказалъ:

— Впрочемъ, начало вы уже читали. Но дальше есть одно мѣсто, по-истинѣ примѣчательное.—Онъ долго искалъ это мѣсто, наконецъ, нашелъ и съ большимъ чувствомъ прочиталъ двѣ страницы.

— Теперь вамъ это мѣсто непонятно, такъ какъ вы не знаете предыдущаго, но когда вы прочтете все, то увидите, что это дѣйствительно примѣчательно.

Наконецъ, Аѳанасій Ивановичъ уѣхалъ, обѣщавъ побывать еще разъ и посидѣть подольше.

Когда Угаровъ вошелъ въ Сонину комнату, портреты были развѣшаны, и Соня разсматривала съ Горичемъ какой-то альбомъ.

— Какъ, безъ меня!?—воскликнулъ онъ съ непритворнымъ горемъ.

— Вы сами виноваты,—отвѣчала Соня.—Яковъ Ивановичъ гораздо исправнѣ васъ.

— О, да, конечно,—замѣтилъ Угаровъ.—Онъ даже слишкомъ исправенъ.

VI.

Графиня Хотынцева всю жизнь жила подъ вліяніемъ какихъ-то симпатій и антипатій, приходившихъ безъ всякой причины и исчезающихъ почти безъ повода. Въ послѣдній годъ она привязалась къ баронессѣ Блендорфъ и не могла прожить дня, не повидавшись съ нею. Это многихъ удивляло, такъ какъ баронесса не отличалась ни умомъ, ни любезностью и даже не занимала виднаго положенія въ свѣтѣ. Когда графиня узнала о пріѣздѣ племянницъ, ей показалось, что она ихъ страстно любить. Ольгу Борисовну она дѣйствительно всегда любила и даже изрѣдка ей писала, но Соню она видѣла въ послѣдній разъ

десятилѣтнимъ ребенкомъ. Племянницы были приняты съ энтузіазмомъ; на нихъ, какъ изъ рога изобилія, посыпались самыя заманчивыя обѣщанія и планы. Маковецкій черезъ нѣсколько мѣсяцевъ получить мѣсто съ огромнымъ жалованьемъ; Боря будетъ зачисленъ въ пажи; Соня къ концу сезона можетъ попасть въ фрейлины и во всякомъ случаѣ сдѣлаетъ блестящую партію, а пока всѣ они немедленно познакомятся съ высшимъ обществомъ. Отъ послѣдняго Ольга Борисовна наотрѣзъ отказалась.

— Мы не такъ богаты, — сказала она, благодаря тетку, — чтобы ѣздить въ свѣтъ, да меня онъ и не привлекаетъ. Вотъ Соня — другое дѣло, и вы будете очень добры, если иногда дадите ей случай повеселиться.

— Еще бы! — воскликнула графиня, — Соня будетъ выѣзжать со мной всюду; а тебя, Оля, я прошу только объ одномъ: съѣздить со мной къ княгинѣ Марьѣ Захаровнѣ; больше я къ тебѣ приставать не буду. Это очень важно. Бывать у Марьи Захаровны значить — принадлежать къ обществу.

Княгиня Марья Захаровна была очень древняя и очень величавая, замѣчательно сохранившаяся женщина. Въ молодости она имѣла много похожденій легкомысленнаго свойства, но эти грѣхи были давно забыты и она представляла въ обществѣ несомнѣнный и незыблемый авторитетъ. Нѣсколько уцѣлѣвшихъ друзей души въ ней не чаяли; остальные ея боялись. При дворѣ она держала себя независимо и гордо, къ свѣтскимъ женщинамъ относилась съ покровительственной любезностью, а мужчинамъ кланялась, откидывая голову назадъ, и только иногда, въ видѣ особой милости, протягивала кому-нибудь изъ нихъ руку, конечно, не для пожатія, а для почтительнаго поцѣлуя.

Княгиня Марья Захаровна благоворила къ графинѣ Хотынцевой, потратившей много годовъ и усилій, чтобы приобрѣсти это благоволеніе, а потому племянницъ ея приняла очень ласково. Представляя Ольгу Борисовну, княгиня сказала: *«ma nièce la comtesse Makovetzka»*. Ольга Борисовна сгорѣла отъ стыда и, уцѣвшись въ каретѣ, спросила:

— *Ma tante*, отчего вы дали мнѣ фальшивый титулъ? Я не графиня.

— *Qu'est-ce que ça fait, ma chère?* — отвѣчала графиня и махнула рукой. — *D'ailleurs tous les polonais sont plus ou moins comtes.*

Пріѣздъ Сони былъ дѣйствительно по многимъ причинамъ большой радостью для графини. Она много ѣздила въ свѣтъ, но могла бы ѣздить еще больше. На нѣкоторые танцевальныя вечера ее затруднялись приглашать. Теперь, когда она будетъ вывозить Соню, конечно, ни одинъ вечеръ безъ нея не обойдется. Кромѣ того, Соня оживитъ ея утренніе четверговые пріемы, которые какъ-то не ладились. Она велитъ поставить въ большой гостиной чайный столъ (совершенно такъ же, какъ у княгини Кречетовой), и Соня будетъ разливать чай, а главное, пріѣздъ Сони дастъ ей возможность осуществить давнишнюю мечту, т.-е. дать балъ. Съ тѣхъ поръ, какъ Хотынцевы переселились въ громадную министерскую квартиру, у нихъ не было большихъ пріемовъ. Бывали, правда, обѣды, очень цѣнные въ Петербургѣ какъ по качеству, такъ и по выбору приглашенныхъ, но вѣдь обѣды можно давать и въ маленькой квартирѣ. Каждый годъ передъ Великимъ постомъ графиня начинала заговаривать о раутѣ, но графъ рѣшительно на это не соглашался, находя, что давать раутъ — слишкомъ самонадѣянно и скучно. Теперь дать балъ почти необходимо и, конечно, графъ протестовать не будетъ. Графиня даже назоветъ свой праздникъ не баломъ, а une petite sauterie, — это и скромнѣе, и удобнѣе, такъ какъ дастъ возможность не пригласить тѣхъ, кого не хочешь имѣть на балу. Но весь городъ будетъ знать, что это настоящій балъ, о немъ будутъ говорить и при Дворѣ... и кто знаетъ?.. на второй балъ, можетъ быть, пріѣдутъ такія лица, что у графини, при одной мысли о подобномъ счастьи, захватывало духъ и темнѣло въ глазахъ.

Каждое утро заѣзжала она за Соней и возила ее по своимъ многочисленнымъ знакомымъ. За одну недѣлю Соня насчитала тридцать визитовъ и, когда у нея спросили, какое впечатлѣніе сдѣлало на нее общество, она отвѣчала очень откровенно:

— Лица разныя, но разговоры во всѣхъ тридцати домахъ совершенно одни и тѣ же... Слово въ слово...

По вечерамъ она еще иногда сидѣла дома, и это были самыя счастливыя вечера для Ольги Борисовны. Къ нимъ приходилъ кое-кто изъ старыхъ знакомыхъ Маковецкаго, преимущественно музыканты. Соня очаровательно пѣла, несмотря на строгое запрещеніе извѣстной госпожи Плиссень, у которой она начала брать уроки пѣнія; раза три составлялись квартеты.

Ежедневнымъ посѣтителемъ ихъ былъ и Угаровъ. Нисколько не влюбленный въ Соню,—по крайней мѣрѣ, онъ самъ убѣждалъ себя въ этомъ,—онъ таялъ отъ каждаго ея слова и отъ каждаго ея нотки и мгновенно упadalъ духомъ, когда Соня уѣзжала. Впрочемъ, не онъ одинъ упadalъ духомъ; такое же чувство испытывала и Ольга Борисовна, потому что въ отсутствіе Сони музыка замѣнялась картами, когда играли въ залѣ и засиживались недолго; но иногда Маковецкій запирался съ гостями въ кабинетѣ; это значило, что игра затѣвалась серьезная и что гости просидятъ, по крайней мѣрѣ, до того времени, когда Соня вернется съ бала. Въ такихъ случаяхъ Ольга Борисовна и Угаровъ просиживали цѣлыя часы наединѣ и большею частью молчали. Обоймъ было не до разговоровъ, оба понимали другъ друга, и молчаніе ихъ не тяготило.

— Отчего вы сами не ѣздите въ свѣтъ?—спросила однажды Ольга Борисовна. — Молодому человѣку, какъ вы, легко проникнуть всюду.

— Въ томъ-то и дѣло, Ольга Борисовна, что я не умѣю проникать, хотя съ удовольствіемъ сдѣлаю все, что нужно для этого. Ну, научите, съ чего мнѣ начать?

— Начните съ того, что поѣзжайте въ первый четвергъ къ тетускѣ. Она при мнѣ васъ пригласила; съ тѣхъ поръ больше мѣсяца прошло, и вы не сдѣлали ей визита.

— Боюсь я вашей тетуски. На нее какой стихъ найдеть...

— Не бойтесь, она во всякомъ случаѣ обрадуется вашему пріѣзду. По четвергамъ она мысленно считаетъ гостей, и тѣмъ ихъ больше, тѣмъ ей пріятнѣе. Она мнѣ вчера съ торжествомъ объявила, что въ послѣдній четвергъ было сто двадцать человѣкъ. Вообще ея четверги въ модѣ. Соня очень мило исполняетъ должность хозяйки.

Послѣ этого разговора прошла еще недѣля и, наконецъ, Угаровъ рѣшился. Подъѣхавъ около четырехъ часовъ къ дому министра, онъ увидѣлъ множество экипажей, стоявшихъ по обѣимъ сторонамъ подъѣзда. Въ швейцарской его поразила цѣлая толпа ливрейныхъ лакеевъ съ шубами и мантильями. Угарову пришло въ голову: не удрать ли по-добру, по-здорову? но въ это время толстый, почтеннаго вида швейцаръ спросилъ его фамилію и адресъ. Послѣ этого бѣгство было невозможно, и Угаровъ пошелъ по широкой лѣстницѣ вслѣдъ за двумя кав-

лергардами, вошедшими вмѣстѣ съ нимъ. Пройдя большую совсѣмъ пустую залу, они очутились въ дверяхъ ярко освѣщенной гостиной, изъ которой неся громкій, оживленный говоръ. Графиня привѣтствовала ихъ однимъ общимъ поклономъ и пригласила перейти къ чайному столу. Но сдѣлать этотъ переходъ было не совсѣмъ легко: все пространство между дверью и столомъ было занято; пришлось остаться у двери. Угаровъ сейчасъ же увидѣлъ у серебрянаго самовара улыбающееся лицо Сони; она передавала чашку Сергѣю Павловичу Висягину, который, повидимому, разсыпался въ любезностяхъ. Кромѣ Сони и Висягина, въ комнатѣ было болѣе сорока человѣкъ, — и ни одного знакомаго ему лица. Между тѣмъ гости все прибывали, нѣкоторые уѣзжали; воспользовавшись передвиженіемъ, юркіе кавалергарды уже стояли около Сони; Угаровъ не рѣшался двинуться съ мѣста. Одиночество начало такъ томить его, что онъ страшно обрадовался, когда мимо него молодцоватой походкой прошелъ Иванъ Сергѣевичъ Дорожинскій. Ему сейчасъ же очистили мѣсто, дамы его окружили, и онъ началъ имъ рассказывать что-то смѣшное, потому что всѣ смѣялись. Иванъ Сергѣевичъ нигдѣ долго не засиживался; не прошло десяти минутъ, какъ онъ всталъ, кое съ кѣмъ поздоровался, кое-кого потрепалъ по плечу и очутился у двери. Графиня, въ знакъ особаго уваженія, провожала его.

— Здравствуйте, дядюшка, — сказалъ Угаровъ.

— А, Володька, и ты здѣсь, — отвѣчалъ ласково дядюшка, очень обрадованный тѣмъ, что могъ на него облокотиться и перевести духъ. — Графиня, вѣдь это мой племянникъ, прошу любить и жаловать. Прекрасный малый, только однимъ нехорошъ: старика-дядю забываетъ и матери не пишетъ... ну, да теперь вся молодежь такая.

И, внезапно выпрямившись, Иванъ Сергѣевичъ бодро пошелъ дальше, а графиня повела Угарова къ высокой блондинкѣ, только-что вошедшей и сѣвшей неподалеку. «Какъ она меня назоветъ: Угаровымъ или Уваровымъ?» — мелькнуло въ его головѣ, но графиня никогда въ такихъ случаяхъ не стѣснялась.

— Monsieur Dorojinsky, le neveu du général que vous connaissez, — проговорила она скороговоркой и бросилась встрѣчать княгиню Марью Захаровну, которая входила въ гостинную

величавой поступью и съ благосклонной улыбкой на устахъ. За ней очень бойко и развязно шла маленькая рыженькая барышня—Варенька, или, какъ ее называли въ свѣтѣ, Баба Волынская, дальняя родственница княгини Маріи Захаровны. Она уже третью зиму выѣзжала съ княгиней, которая начинала этимъ тяготиться и всѣми силами старалась выдать ее замужъ. Это казалось дѣломъ легкимъ, такъ какъ Баби была очень богата, но женихи почему-то не являлись. Баби была некрасива, и красоту старалась замѣнить бойкостью походки и языка.

Блондинка, которой былъ представленъ Угаровъ, оказалась иностранкой, женой какого-то секретаря посольства, только-что назначеннаго въ Россію. Она не только никогда не слыхала о генералѣ Дорожинскомъ, но почти никого не знала въ Петербургѣ и просила Угарова называть ей лицъ, наружность которыхъ почему-нибудь возбуждала въ ней интересъ; но такъ какъ ея кавалеръ никого не могъ назвать и, смущенный этимъ, не выказывалъ вообще никакой наклонности къ обмѣну мыслей, она посмотрѣла на него съ глубокой грустью и спросила:

— Et vous, monsieur... vous avez beaucoup voyagé sans doute?

Какой-то сѣденькій дипломатъ подошелъ къ ней въ эту минуту и Угаровъ, радостно уступивъ ему мѣсто, чуть не бѣгомъ бросился вонъ изъ гостиной, такъ и не дойдя до Сони. Въ залѣ онъ столкнулся съ графомъ Хотынцевымъ, который, конечно, его не узналъ, но привѣтливо пожалъ ему руку и спросилъ, не хочетъ ли онъ покурить у него въ кабинетѣ. Черезъ два дня графъ отдалъ ему визитъ. Отданіе визитовъ происходило у графа оригинальнымъ образомъ. Швейцаръ у всѣхъ четверговыхъ гостей спрашивалъ адреса и послѣ приѣма составлялъ списокъ тѣхъ, которые были въ первый разъ въ домѣ. Въ воскресенье графа сажали въ карету и развозили по этому списку, причемъ выѣздной лакей оставлялъ загнутыя карточки графа. Отъ министра, обремененнаго дѣлами, больше нельзя было и требовать. Графъ даже не зналъ, къ кому онъ ѣдетъ, и сравнивалъ себя съ капитаномъ Кукомъ, отправляющимся въ невѣдомыя страны. Впрочемъ, онъ довольно любилъ эти воскресные выѣзды и называлъ ихъ наименьшей изъ всѣхъ жертвъ, приносимыхъ имъ на алтарь семейнаго счастья.

Соня очень смѣялась, когда Угаровъ рассказалъ ей о своемъ

свѣтскомъ дебютѣ подѣ именемъ Дорожинскаго. Она издали его видѣла и все ждала, что онъ подойдетъ къ ней. Вообще Соня обходилась съ Угаровымъ по-дружески, не замѣчала его влюбленныхъ взглядовъ и повѣряла ему свои свѣтскія впечатлѣнія. Впрочемъ, кромѣ сестры и Угарова ей не съ кѣмъ было говорить дома: Горичъ вдругъ прекратилъ свои посѣщенія, Маковецкій проводилъ все время за картами, а Сережа забѣгалъ очень рѣдко и имѣлъ видъ крайне озабоченный. Несмотря на свою крайнюю осторожность, онъ былъ замѣшанъ въ исторію, о которой говорилъ весь городъ.

Алешѣ Хотынцеву предстоялъ какой-то смотръ въ Царскомъ и онъ давно рѣшилъ, что уѣдетъ туда наканунѣ. Выйдя довольно поздно отъ Шарлоты, онъ замѣтилъ, что лошадь хромаетъ, велѣлъ кучеру ѣхать домой шагомъ и кликнуть извозчика. Извозчикъ оказался очень плохой, Алеша опоздалъ на поѣздъ и вернулся къ Шарлотѣ. Въ швейцарской онъ съ удивленіемъ увидѣлъ чье-то пальто.

— Кто здѣсь? — спросилъ онъ швейцара.

— Князь Сергѣй Борисычъ.

Алеша удивился еще больше. Сережа уѣхалъ домой спать за пять минутъ до него, жалуясь на усталость и головную боль. Алеша засталъ его и Шарлоту въ столовой за ужиномъ. По всему было видно, что ужинъ былъ задуманъ и заказанъ заранее. Одна бутылка шампанскаго была уже выпита, другая стояла въ вазѣ со льдомъ. Увидя Алешу, оба до-нельзя смутились и начали бормотать какія-то безсвязныя слова. Шарлота, впрочемъ, скоро оправилась и сказала, что она ждетъ Полину, которая непременно хотѣла провести вечеръ съ Сережей. Алеша присѣлъ къ столу, пристально посмотрѣлъ обоимъ въ глаза и вдругъ расхохотался. Онъ смѣялся очень продолжительно и громко, не сводя глазъ съ Шарлоты, потомъ всталъ и, не говоря ни слова, уѣхалъ къ цыганамъ, гдѣ пилъ всю ночь вплоть до перваго поѣзда. Черезъ день онъ получилъ отъ Шарлоты письмо, полное клятвъ и ореографическихъ ошибокъ. Въ концѣ письма была приписка отъ Полины, которая также клялась, что Шарлота устроила ужинъ по ея просьбѣ. Получивъ это письмо, Алеша отправился въ Петербургъ, заѣхалъ къ ювелиру и модисткѣ Шарлоты, заплатилъ ей долги и взялъ съ нихъ росписки; потомъ положилъ эти росписки въ конвертъ вмѣстѣ съ

письмомъ Шарлоты и хотѣлъ самъ написать ей что-то, но раздумалъ, заклеилъ конвертъ и, бросивъ его швейцару Шарлоты, вернулся въ Царское. Два дня онъ былъ очень мраченъ, а когда на третій день его товарищъ и другъ Павликъ Свирскій заговорилъ съ нимъ о случившемся, онъ сказалъ:

— Что дѣлать, душа моя! *Les maîtresses de nos amis sont nos maîtresses!*

Открывъ эту новую аксіому, Алеша повеселѣлъ и началъ ревностно заниматься службой. Съ Сереей онъ остался въ прежнихъ отношеніяхъ, но видѣлся съ нимъ рѣдко, такъ какъ безвыѣздно жилъ въ Царскомъ.

Объ этомъ происшествіи узнали въ Петербургѣ въ тотъ же вечеръ. Шарлота сейчасъ полетѣла совѣтоваться къ Полинѣ, та рассказала графу Строньскому, а Стронскій нарочно заѣхалъ къ Дюкрѣ, чтобы рассказать друзьямъ дома. На другое утро Васька Акатовъ, гуляя по Морской, зашелъ сообщить объ этомъ Ивану Сергѣичу Дорожинскому, который уже зналъ о разрывѣ Шарлоты съ Алешей изъ двухъ источниковъ. По одной редакціи Алеша засталъ у Шарлоты графа Василія Васильевича и уже началъ рубить его саблей, но, къ счастью, его оттащили. По другому источнику выходило какъ-то такъ, что дядя разсердился на племянника, проклялъ его и лишилъ наслѣдства. Услышавъ рассказъ Акатова, Иванъ Сергѣичъ пришелъ въ недоумѣніе.

— Позвольте, при чемъ же тутъ графъ Василій Васильичъ?

— Графъ Василій Васильичъ рѣшительно ни при чемъ.

— Нѣтъ, это однако невыносимо!—воскликнулъ генералъ, всплеснувъ руками.—Такъ всѣ изолгались, что жить нельзя на свѣтѣ. Ну, какъ я теперь буду рассказывать эту исторію? Впрочемъ, сегодня суббота и Василій Васильевичъ обѣдаетъ въ клубѣ. Заѣду туда пораньше и поразспрошу его самого.

Графъ Хотынцевъ, пообѣдавъ очень плотно, еще допивалъ свою чашку кофе съ коньякомъ, когда Иванъ Сергѣичъ пріѣхалъ въ клубъ. Немедленно устроивъ себѣ партію въ вистъ, онъ съ участіемъ подошелъ къ графу.

— Какъ поживаете, графъ? Мы давно не видались.

Графъ вскочилъ съ мѣста и предложилъ Ивану Сергѣичу свой стулъ, показывая этимъ, что считаетъ себя совершеннымъ мальчишкой передъ маститымъ генераломъ.

— Сидите, сидите, не беспокойтесь!—говорилъ Дорожинскій, опускаясь на стулъ, придвинутый ему дворецкимъ.—Скажите, давно ли вы видѣли Алешу? Онъ здоровъ?

— Я видѣлъ его дня три тому назадъ, когда онъ былъ здоровъ. Но отчего сегодня всѣ меня спрашиваютъ объ Алешѣ? Вы четвертый...

Дорожинскій наклонился къ уху графа.

— Онъ, говорятъ, разошелся съ Шарлотой. Это правда?

— Очень можетъ быть. Я бы былъ этому очень радъ, но рѣшительно ничего не знаю.

«Хитрить, навѣрное хитрить, это сейчасъ видно»,—говорилъ про себя Иванъ Сергѣичъ, направляясь къ ожидавшимъ его партнерамъ, но на пути его остановилъ Аѳанасій Ивановичъ Дорожинскій.

— Дядюшка, не можете ли вы представить меня графу Хотынцеву?

— Отчего же нѣтъ,—отвѣчалъ генералъ и, вернувшись, представилъ племянника графу.

— Давно желалъ имѣть честь представиться вашему сіятельству,—пробормоталъ Аѳанасій Ивановичъ съ такимъ низкимъ поклономъ, какого никакъ нельзя было ожидать отъ его высокой и представительной фигуры.

— Очень радъ съ вами познакомиться,—сказалъ привѣтливо графъ.—Присядьте. Вы недавно изъ провинціи. Ну, что тамъ?

Въ числѣ вещей, наиболѣе привлекавшихъ Аѳанасія Ивановича въ Петербургъ, былъ англійскій клубъ. Онъ уже давно былъ кандидатомъ и надѣялся скоро попасть въ члены, а пока ѣздивъ въ качествѣ гостя и представлялся разнымъ знаменитымъ и вліятельнымъ лицамъ. Бесѣдовать съ ними было для него наслажденіемъ. Онъ такъ заговорилъ графа Хотынцева, что тотъ нѣсколько разъ щипалъ себя за ногу, чтобы не заснуть, наконецъ, вскочилъ и уѣхалъ изъ клуба. Тогда Аѳанасій Ивановичъ подошелъ къ дядюшкѣ и шепнулъ ему на ухо:

— Дядюшка, не можете ли вы по окончаніи партіи представить меня Семену Ивановичу Крупову?

— Отчего же нѣтъ? Представлю. А пока посиди около меня, третій роберъ проигрываю.

Семенъ Ивановичъ Круповъ былъ самый обыкновенный ге-

нераль, проводившій всю жизнь въ клубѣ. Какъ клубный старожилъ, онъ очень громко кричалъ и былъ за панибрата со всѣми министрами. По этимъ признакамъ Аѳанасій Ивановичъ счелъ его за очень вліятельнаго человѣка и давно намѣтилъ въ числѣ тѣхъ, которымъ нужно представиться.

Сементъ Ивановичъ Круповъ игралъ въ вистъ въ сосѣдней комнатѣ и былъ въ отличномъ расположеніи духа. Онъ уже записалъ большую партію, сдать себѣ огромную игру и соображалъ, будетъ ли у него шлемъ, или только пять леве, когда Иванъ Сергѣичъ тихонько коснулся его плеча.

— Племянникъ мой, Аѳанасій Ивановичъ Дорожинскій.

— Давно желалъ имѣть честь представиться вашему превосходительству.

Круповъ поднялся съ мѣста и началъ любезно пожимать руку Аѳанасія Ивановича, но въ это время противникъ его пошелъ съ туза пикъ, а онъ второпяхъ не разсмотрѣлъ, что у него есть маленькая пика, и побилъ туза козыремъ. За этотъ ренонсъ у него отобрали три взятки, и онъ проигралъ роберъ.

— Отъ роду никогда не дѣлалъ ренонсовъ,—кричалъ онъ, вращая зрачками отъ гнѣва,—а все отъ этого проклятаго Дорожинскаго. Чортъ бы его побралъ съ его представленіемъ!

Исторія эта сейчасъ же разнеслась по клубу и, когда кто-нибудь изъ старичковъ дѣлалъ ренонсъ, другіе ему говорили:

— Что это съ вами сдѣлалось, батюшка Демьянъ Ивановичъ, или, можетъ быть, вамъ тоже Дорожинскій представился?

Шутка эта была въ такомъ ходу, что иногда самый ренонсъ называли «Дорожинскимъ».

Въ этотъ день Аѳанасію Ивановичу было суждено принести несчастіе. Графъ Хотынцевъ, уѣхавшій вслѣдствіе его болтовни раньше обыкновеннаго изъ клуба, какъ разъ наткнулся на свою супругу, возвратившуюся отъ всенощной. Графиня прямо прошла въ кабинетъ мужа.

— Скажи, пожалуйста, Базиль: правда ли, что Алеша разошелся съ Шарлотой?

— Да, я слышалъ объ этомъ въ клубѣ. А почему это можетъ интересовать тебя?

— Я сейчасъ видѣла у всенощной княгиню Марью Захаровну, и она просила узнать всѣ подробности.

Графъ разсердился, что съ нимъ случалось рѣдко.

— Нѣтъ, знаешь, это очаровательно, c'est tout à fait classique! Ну, какое дѣло Марья Захаровнѣ до Шарлоты? Какъ она любитъ совать всюду свой римскій носъ! Подумаешь, ей досадно, что въ ея лѣта уже нельзя, какъ прежде...

— Пожалуйста, не говори глупостей. Марья Захаровна—святая женщина.

— Не спорю, что она—святая, но святость у васъ понимается какъ-то совсѣмъ оригинально. У васъ чѣмъ святѣе женщина, тѣмъ она больше интересуется грѣховными дѣлами...

Это неосторожное слово вызвало бурю. На другой день графиня отвернулася отъ мужа и не отвѣчала на его вопросы. Графъ, ненавидѣвшій междоусобіе, попросилъ прощенія.

Между тѣмъ дѣло объ Алешѣ Хотынцевѣ продолжало распространяться и волновать умы. Дня черезъ три виновность Сережи Брянскаго сдѣлалась очевидна и неприкосновенность графа Василя Васильевича къ этому дѣлу признана всѣми. Разногласіе продолжалось только относительно мѣста и исхода дуэли. Одни рассказывали, что дуэль была на Черной рѣчкѣ и что князь Брянскій былъ убитъ; другіе, только что видѣвшіе Брянскаго живымъ, утверждали, что, напротивъ того, Хотынцевъ смертельно раненъ около Любани. Понемногу остановились на слѣдующей редакціи: дуэль происходила въ Кузьминѣ, около Царскаго, и Хотынцевъ легко раненъ въ ногу. Упорное пребываніе Алеши въ Царскомъ подтверждало этотъ рассказъ. Называли даже секундантовъ и удивлялись, почему никто не арестованъ.

Что касается до нравственной оцѣнки событія, общественное мнѣніе отнеслось къ Алешѣ Хотынцеву насмѣшливо и строго. Сережу осудили весьма немногіе, а дамы сдѣлались съ нимъ гораздо любезнѣе, и баронеса Блендорфъ немедленно пригласила его на очень интимный обѣдъ. По простествіи недѣли недоброжелательство къ Алешѣ обрисовалось ярче. Заговорили о какихъ-то денежныхъ счетахъ, о томъ, что Шарлота была обманута; появился на сцену какой-то подложный вексель. Наконецъ, княгиня Кречетова, ненавидѣвшая Алешу за то, что онъ не женился на ея дочеряхъ, начала шопотомъ рассказывать какія-то скабрёзныя подробности, дававшія новую окраску всему дѣлу. Въ этомъ направленіи сплетня могла развиваться и держаться очень долго, если бы не случилось въ Петербургѣ двухъ

совсѣмъ неожиданныхъ происшествій. Во-первыхъ, на Литейной среди бѣлаго дня появился бѣшеный волкъ и искусалъ двадцать человѣкъ. Весь Петербургъ единодушно заговорилъ о волкѣ. Впрочемъ, для прекращенія дѣла о Хотынцевѣ этого было бы еще недостаточно. Разговоръ о бѣшеномъ волкѣ, хотя онъ явленіе рѣдкое, могъ быть исчерпанъ въ два дня и послѣ двухдневнаго перерыва просвѣщенное вниманіе общества могло опять вернуться къ Алешѣ, но какъ разъ въ концѣ второго волчьяго дня по городу разнеслась вѣсть, что Петька Шоринъ, женившійся два года тому назадъ, развѣхался съ женою и подалъ прошеніе о разводѣ. Домъ Шориныхъ былъ однимъ изъ самыхъ гостепріимныхъ домовъ въ Петербургѣ: въ теченіе двухъ лѣтъ весь городъ перебывалъ на ихъ балахъ и спектакляхъ, друзей у нихъ было столько же, сколько знакомыхъ,—всѣ были ихъ друзьями,—и вдругъ такой неожиданный скандалъ!

Очень понятно, что благородное общество, захлебываясь отъ счастья, занялось скандальными подробностями Шоринскаго дѣла, а дѣло объ Алешѣ Хотынцевѣ, о мнимой дуэли и о другихъ мнимыхъ его поступкахъ сдало окончательно въ архивъ.

VII.

Къ Новому году въ министерствѣ графа Хотынцева произошли большія перемѣны. Товарищемъ министра очень долго былъ человѣкъ болѣзненный и старый, и до того боязливый, что никогда не подписывалъ самыхъ мелкихъ денежныхъ ассигновокъ, не осѣнивъ себя предварительно крестнымъ знаменіемъ. Предстоящія реформы пугали его даже своимъ названіемъ и онъ охотно промѣнялъ свое мѣсто на менѣе отвѣтственный постъ—неприсутствующаго сенатора,—конечно, съ сохраненіемъ прежняго содержанія. Въмѣсто него товарищемъ министра былъ назначенъ Сергѣй Павловичъ Висягинъ. Онъ былъ младшій изъ директоровъ департамента, а потому назначеніе это всѣхъ удивило. Объяснялось оно только покровительствомъ княгини Марьи Захаровны, которая очень любила обоихъ братьевъ Висягиныхъ; второго, Дмитрія Павловича, она даже собиралась женить на Бэби Волынской. Въ числѣ награжденныхъ къ Новому году былъ и Угаровъ, получившій Станислава 4-й степени. Горичъ и Сережа Брянскій были сдѣланы камеръ-юнкерами.

Всѣ ожидали къ Новому году отставки Ильи Кузьмича, но ея не послѣдовало: остановка вышла изъ-за аренды. Упрямый хохолъ не вѣрилъ никакимъ обѣщаніямъ и твердилъ одно: «выйдетъ аренда, и я выйду!» Чтобы поощрить графа къ хлопотамъ объ арендѣ, Илья Кузьмичъ не покидалъ ворчливо-недовольнаго тона, котораго тотъ не выносилъ, и даже началъ слегка грубить своему министру. Тактика эта удалась: графъ изъ кожи лѣзъ, чтобы скорѣе устроить аренду; хлопоты эти усложнились еще тѣмъ, что онъ долженъ былъ держать ихъ въ глубокой тайнѣ отъ своей супруги. Графиня, чуявшая что-то недоброе, стояла на-сторожѣ, но когда Новый годъ миновалъ, она успокоилась и рѣшила, что въ теченіе Великаго поста найдетъ сама подходящаго человѣка. Наконецъ въ срединѣ января вышла аренда и вслѣдъ за ней вышелъ и Илья Кузьмичъ, а камеръ-юнкеръ Горичъ былъ назначенъ исправляющимъ должность правителя канцеляріи.

Графъ Хотынцевъ имѣлъ настолько мужества, чтобы совершить *coup d'état*, но не настолько, чтобы объявить о немъ супругѣ. Когда графиня узнала отъ баронессы Блендорфъ, что Горичъ уже водворенъ на новомъ мѣстѣ, гнѣвъ ея на мужа былъ такъ великъ, что она рѣшила вовсе не говорить съ нимъ, а послала сейчасъ же за прежнимъ правителемъ канцеляріи, чтобы высказать ему свое неудовольствіе. Илья Кузьмичъ, которому теперь графиня представлялась, какъ онъ выражался, «не выше своей натуральной величины», пришелъ съ веселымъ лицомъ, и только что она заговорила о его черной неблагодарности, остановилъ ее словами:

— Вы совершенно правы, графиня: нѣтъ на свѣтѣ болѣе неблагодарнаго животнаго, какъ нашъ братъ чиновникъ. Вотъ хоть бы Горичъ: ужъ какъ вы о немъ заботитесь, а врядъ ли и онъ будетъ вамъ когда-нибудь благодаренъ.

Эта выходка такъ поразила графиню, что она прекратила сцену неудовольствія, и потомъ сказала баронессѣ Блендорфъ:

— *Savez-vous, ma chère, que ce Кузьмичъ avec son masque de bonhomme est parfois très-mordant!*

Наказаніе для мужа графиня придумала ужасное: въ теченіе двухъ дней она его не видѣла вовсе и даже не обѣдала дома. Графъ на этотъ разъ не просилъ прощенія и переносилъ опалу съ полнымъ спокойствіемъ, на что у него была особая

причина. Въ началѣ февраля у нихъ былъ назначенъ балъ, и графъ былъ увѣренъ, что жена его не выдержитъ долго своей молчаливо-негодующей роли. Онъ не ошибся. На третій день утромъ графиня прислала ему слѣдующую записку, писанную карандашомъ: «Нужно ли приглашать бразильскаго посланника? Жена его у меня была, но онъ еще не сдѣлалъ визита. Прошу отвѣтить письменно». Графъ не отвѣтилъ письменно, а сейчасъ же пошелъ къ женѣ, поцѣловалъ, какъ всегда, ея руку и заговорилъ о бразильскомъ посланникѣ, который такимъ образомъ сдѣлался невольнымъ медиаторомъ враждующихъ сторонъ. О Горичѣ между ними не было сказано ни слова.

Приготовленія къ балу начались почти съ самаго Новаго года. Изъ канцеляріи былъ откомандированъ къ графинѣ, для составленія списка приглашенныхъ, чиновникъ Васильевъ, извѣстный своимъ красивымъ почеркомъ. Вставъ съ постели, графиня окружала себя старыми приглашеніями, записками и визитными карточками. Карточки избранниковъ, назначаемыхъ къ приглашенію, она отсылала къ Васильеву, который вносилъ ихъ въ списокъ. Этотъ списокъ читался за завтракомъ, обсуждался, исправлялся, перемарывался и дополнялся. На слѣдующій день къ завтраку готовился новый списокъ. Несмотря на такое всестороннее изученіе вопроса, многія необходимыя лица не были званы, а нѣсколько недостойныхъ получили приглашенія. Дней за пять до бала, графъ, по настоянію жены, въ сотый разъ просматривалъ списокъ.

— Кто эта княгиня Лыкова?—спросилъ онъ у графини.— Я ея не знаю.

— И я не знаю. Ты, вѣроятно, не такъ прочиталъ фамилію.

— Нѣтъ, очень явственно написано: княгиня Лыкова. Это весьма старинный княжескій родъ, теперь захудалый. Я даже думаю, что онъ совсѣмъ прекратился.

— Боже мой, что я надѣлала! — воскликнула вдругъ графиня. — Эта княгиня Лыкова — та бѣдная, которая нѣсколько разъ приходила ко мнѣ за пособіемъ, помнишь—въ разорванномъ салопѣ, съ пластыремъ на щекѣ... Она для памяти дала мнѣ свою карточку съ адресомъ, а я вчера, въ разсѣянности, вѣроятно, послала ее Васильеву. Вычеркни ее поскорѣй!

— Поздно вычеркивать. Въ списокъ значится, что приглашеніе уже послано.

— Какъ! Послано?—закричала графиня въ неподдѣльномъ ужасѣ.—Базиль, ради Бога, поѣзжай къ ней сейчасъ и запрети ей пріѣзжать, или пошли ей двѣсти, триста рублей, сколько она хочетъ, только бы она не пріѣзжала. Я пошлю къ ней Илью Кузьмича, — онъ ее знаетъ.

Графиня бросилась къ звонку, графъ удержалъ ее.

— Во-первыхъ, Илью Кузьмича послать нельзя, потому что онъ уже въ Полтавѣ. А во-вторыхъ, о чемъ ты волнуешься? Она, конечно, не пріѣдетъ.

— Пріѣдетъ, непременно пріѣдетъ. Ты, Базиль, этихъ бѣдныхъ не знаешь, — имъ все нипочемъ, для нихъ ничего нѣтъ святого. Пріѣдетъ и войдетъ на мой первый балъ со своимъ ужаснымъ пластыремъ... Я не знаю, какъ поправить дѣло, лучше ужъ отмѣнить балъ.

— Полно, Олупре, не волнуйся. Поправить очень легко. Положи въ конвертъ пятьдесятъ рублей и пошли къ ней съ лакеемъ. Лакей извинится, что перепуталъ конверты, и приглашеніе отберетъ, а деньги оставитъ. Повѣрь, что эта несчастная княгиня Лыкова останется очень довольна обмѣномъ.

Графиня одобрила планъ и произнесла задумчиво:

— Когда ты захочешь, у тебя являются иногда умныя мысли.

Впрочемъ, этотъ планъ не пришлось приводить въ исполненіе. Вечеромъ графиня получила отъ княгини Лыковой письмо, въ которомъ та слезно благодарила за оказанное ей вниманіе, но извинялась, что на балъ никакъ не можетъ пріѣхать, такъ какъ у нея нѣтъ не только бальнаго платья, но даже не хватаетъ денегъ на покупку теплыхъ ботинокъ. Въ заключеніе она напоминала графинѣ ея обѣщаніе похлопотать о добавочной пенсіи.

Получивъ мѣсто правителя канцеляріи, Горичъ опять появился у Ольги Борисовны. Маковецкій, чтобы отпраздновать это событіе (а кстати и камеръ-юнкерство Сережи), устроилъ пиръ, на который, конечно, былъ приглашенъ и Угаровъ. Горичъ имѣлъ видъ совершенно счастливаго человѣка, но Соня встрѣтила его чрезвычайно сухо, вовсе не разговаривала съ нимъ и ни разу не взглянула на него во время обѣда. Эти періоды холодности больше всего волновали Угарова. «Изъ-за чего, — думалъ онъ, — могутъ происходить ссоры между Горичемъ

и Соней? Она на него не смотритъ, но, очевидно, все время думаетъ о немъ и на зло ему дѣлается любезна со мной. Нѣтъ, мнѣ гораздо пріятнѣе самая большая ея любезность къ Горичу, чѣмъ эта непонятная холодность...» Послѣ обѣда Горичъ на-шелъ-таки возможность поговорить наединѣ съ Соней, и холодность какъ рукой сняло. Опять начались у нихъ шушуканья, перебѣганья изъ комнаты въ комнату и какіе-то странные разговоры съ непонятными для другихъ намеками. Угарова эти намеки приводили въ полное отчаяніе; теперь онъ находилъ, что гораздо пріятнѣе, когда Соня дуется на Горича и наказываетъ его холодностью. Дѣлая характеристики своихъ танцоровъ, Соня упомянула о красивомъ кавалергардѣ князѣ Бѣльскомъ.

— А что, онъ червонный? — спросилъ Горичъ.

— Нѣтъ, онъ трефовый, съ маленькими бубновыми крапинками.

— Княжна, умоляю васъ, — заговорилъ Угаровъ, — объясните мнѣ хоть это. Что значить червонный и бубновыя крапинки?

Угаровъ произнесъ эти слова съ такимъ глубокимъ горемъ, что княжнѣ стало жаль его.

— Хорошо, Владиміръ Николаевичъ, я объясню вамъ это во время мазурки, послѣзавтра. Вы хотите танцевать со мной мазурку?

— Что же спрашивать объ этомъ? Конечно, хочу, но только я до сихъ поръ не получалъ приглашенія.

— Получишь, — отвѣчалъ Горичъ. — Я видѣлъ твое имя въ спискѣ.

Два дня провелъ Угаровъ въ ожиданіи этого приглашенія. Ово не приходило, да и не могло прійти. За недѣлю до бала Горичъ, по собственному побужденію, просилъ графа пригласить Угарова. Графъ сейчасъ же потребовалъ списокъ, собственно-ручно внесъ въ него Угарова и для пущей важности дважды подчеркнулъ его. Эти черточки и погубили Угарова. Черезъ полчаса графиня зачѣмъ-то потребовала списокъ и, увидя подчеркнутое имя, внесенное безъ ея вѣдома, разсердилась и немедленно его вычеркнула.

Наконецъ, наступилъ день бала. Угаровъ зналъ, что такъ поздно приглашеній не присылаютъ, но все-таки ждалъ и не

выходилъ изъ дома все утро. Въ восьмомъ часу вечера онъ вспомнилъ, что надо извѣстить какъ-нибудь объ этомъ Соню, и пошелъ къ Горичу. Акимъ сказалъ ему, что Яковъ Ивановичъ вышли, но безпремѣнно зайдутъ домой передъ баломъ, «чтобы переодѣться». Ивана Ивановича Угаровъ засталъ въ его обычномъ креслѣ, но уже безъ Нибура въ рукахъ. Его ноги, завернутыя въ пледъ, лежали на высокой подушкѣ, онъ страшно осунулся и похудѣлъ. Свѣтъ отъ свѣчи, падавшій на его лицо изъ-подъ зеленаго абажура, придавалъ ему совсѣмъ мертвенный видъ.

— Здравствуйте, здравствуйте, мой милый,—залепеталъ онъ слабымъ, слезливымъ голосомъ,—сядьте сюда, поближе. Какъ я радъ, что вы, наконецъ, забрели къ намъ. Вы не повѣрите, какъ тяжело сидѣть вотъ такъ одному. Все одинъ, да одинъ... какъ-то жутко становится. Яшу винить, конечно, нельзя, ему некогда, онъ теперь большой человѣкъ сталъ. Вы знаете, вѣдь онъ на-дняхъ министромъ будетъ... Да, министромъ... Что же дѣлать? А тутъ къ тому же и горе меня ужасное посѣтило.

— Какое горе? — спросилъ съ участіемъ Угаровъ.

— Какъ, вы развѣ не слышали? Вѣрунька-то моя бѣдная скончалась. Въ какихъ-нибудь два дня Господь прибралъ ее.

Вѣрунькой Иванъ Ивановичъ называлъ свою покойную жену. Она умерла, когда Яшѣ было два года. Большой портретъ ея, висѣвшій въ гостиной, былъ всегда задернутъ черной тафтой, и Иванъ Ивановичъ рѣдко говорилъ о ней. Теперь при воспоминаніи о женѣ онъ началъ всхлипывать. Нѣсколько слезинокъ упали на руку Угарова, которую старикъ не выпускалъ изъ своихъ холодныхъ костлявыхъ рукъ.

— Да вѣдь это было такъ давно,—сказалъ растерявшійся Угаровъ.

— Какъ давно? Совсѣмъ не такъ давно, еще на прошлой недѣлѣ она сидѣла вотъ тутъ, гдѣ вы теперь сидите... Нѣтъ, она сидѣла за фортепіано и пѣла свой любимый романсъ... Боже мой, какъ же слова? Я сейчасъ вспомню. «Ангелъ неба благодатный...» — благодатный, благодатный... нѣтъ, дальше не помню, память начинаетъ мнѣ измѣнять... А вамъ забывать ее не слѣдуетъ; покойница васъ любила больше всѣхъ Яшиныхъ товарищей... А меня-то какъ она любила! Какая она была тихая, кроткая! Я ее называлъ своей Агнесой Сорель, да и ли-

цомъ она ее напоминала... И вдругъ, безъ всякой причины, въ какихъ-нибудь два дня...

Старикъ началъ судорожно рыдать. Угарову сдѣлалось страшно. Онъ не зналъ, что ему дѣлать, и очень обрадовался, услышавъ звонокъ.

При видѣ сына Иванъ Ивановичъ сейчасъ же пришелъ въ себя.

— А ты, Яша, на балъ сегодня? Ну, что-жъ, поѣзжай, танцуй. Я тебя ждать не буду, меня что-то ко спу клонить.

— Конечно, ложись, папа. Зачѣмъ же ждать меня? Завтра утромъ все тебѣ расскажу.

Горичъ очень удивился, узнавъ, что Угаровъ не получилъ приглашенія.

— Это какая-нибудь ошибка, я самъ видѣлъ тебя въ списокѣ. Я сейчасъ съѣзжу къ графу и привезу тебѣ приглашеніе.

— Ну, нѣтъ, на это я не согласенъ. Откровенно скажу тебѣ, что мнѣ очень хотѣлось туда ѣхать, но проситься на балъ: «пустите меня Христа ради!» это—такая гадость, на которую я неспособенъ.

— Это, Володя, намъ съ непривычки кажется гадостью, а въ свѣтѣ смотрять на это совсѣмъ иначе. Сегодня одна изъ неприглашенныхъ дамъ, да еще титулованная, пріѣхала къ графинѣ въ десять часовъ утра. Графиня поняла, въ чемъ дѣло, и не приняла ее. Представъ себѣ, она ворвалась въ кабинетъ графа, начала плакать и умолять, чтобы ее пригласили. А графъ сидитъ въ халатѣ и безъ парика... Ты видишь эту картину?

— Ну, что же, графъ пригласилъ?

— Очевидно, пригласилъ и увѣрялъ, что приглашеніе было готово, но не послано по ошибкѣ. Да онъ бы не только ее, а все ея племя пригласилъ, чтобы отдѣлаться...

— Ну, прощай, тебѣ пора одѣваться. Объясни же княжнѣ, что мазурку я не танцую съ ней, потому что меня не пригласили, и что она все-таки должна мнѣ объяснить, что значать «бубновыя крапинки».

Полиція суетилась у подъѣзда, украшеннаго тамбуромъ; съѣздъ начинался. Подъѣзжали еще большею частью сани, изъ которыхъ выскакивали офицеры въ киверахъ и каскахъ; изрѣдка съ тяжелымъ грохотомъ подкатывала четырехмѣстная карета.

Хотя гостей на балу было еще очень мало, но графиня, въ

великолѣпномъ гри-перлевымъ платьѣ, покрытомъ дорогими старыми кружевами, уже стояла въ маленькой гостиной подлѣ лестницы и принимала входившихъ съ разнообразными, глубоко обдуманнѣми отгѣнками любезности и почета. Графъ, котораго она, къ великому его неудовольствію, заставила стоять возлѣ себя, одинаково привѣтливо встрѣчалъ всѣхъ гостей, хотя половину изъ нихъ не узнавалъ. Начало бала ознаменовалось весьма непріятнымъ эпизодомъ. Выборъ дирижера очень озабочивалъ графиню. Ей хотѣлось пригласить конногвардейца Волынскаго, который часто дирижировалъ при дворѣ, но графъ на это не согласился, потому что Волынскій не бывалъ въ ихъ домѣ. Послѣ долгихъ обсужденій выборъ остановился на кавалергардѣ князѣ Бѣльскомъ, который принялъ предложеніе съ большой радостью: онъ слегка ухаживалъ за Соней. Между тѣмъ наканунѣ бала графиня поѣхала за послѣдними инструкціями къ княгинѣ Марьѣ Захаровнѣ и встрѣтила у нея Волынскаго.

— Вотъ вамъ, милая графиня, настоящій дирижеръ, — сказала Марья Захаровна, — ужъ лучшаго вы не найдете.

Графиня пришла въ восторгъ отъ этой мысли и немедленно пригласила Волынскаго. Въ каретѣ она вспомнила о Бѣльскомъ и рѣшила послать ему извинительную записку, сваливъ вину на графа. Но дома ее ждали кондитеръ и модистка, съ которыми пришлось долго разговаривать, потомъ Соня пріѣхала примѣрить бальное платьѣ, и графиня совсѣмъ забыла о Бѣльскомъ. И Волынскій, и Бѣльскій пріѣхали въ началѣ бала почти въ одно время, и, когда выяснилось, что оба они приглашены дирижировать, Бѣльскій сейчасъ же уѣхалъ, а Волынскій просилъ уволить его отъ этой пріятной обязанности, такъ какъ это поставило бы его въ неловкія отношенія къ кавалергарду. Конногвардейцы и кавалергарды постоянно соперничали во всемъ и должны были соблюдать большую осторожность, чтобы чѣмъ-нибудь не обострить кислосладкихъ отношеній, установившихся между ихъ полками. Графиня совсѣмъ растерялась. Помощь явилась ей съ такой стороны, съ которой она никакъ не могла ее ожидать.

Алеша Хотынцевъ послѣ выпуска изъ Пажескаго корпуса усердно ѣздилъ въ свѣтъ, но года черезъ два это ему надоѣло, онъ пустился въ кутежи, началъ посѣщать дамъ полусвѣта, а

настоящій свѣтъ покинулъ совсѣмъ, называя его съ отгѣнкомъ презрѣнія «мондомъ». Ему очень не хотѣлось ѣхать на балъ къ дядѣ и дней за пять онъ нарочно пріѣхалъ къ нему, чтобы узнать—«нельзя ли ему отбояриться».

Графъ Василій Васильевичъ сказалъ ему прямо:

— Видишь, мой милый, мнѣ будетъ совершенно все равно, если ты не пріѣдешь. *Entre nous soit dit*—у насъ будетъ такая скука, что я самъ съ удовольствіемъ удралъ бы на этотъ вечеръ къ тебѣ въ Царское... Но помни, что Олупре никогда тебѣ этого не проститъ.

Изъ этихъ словъ Алеша вывелъ заключеніе, что пріѣхать необходимо, и, обѣдая въ день бала въ полковой артели, выпилъ вдвое противъ обыкновеннаго для храбрости. Онъ продолжалъ пить и послѣ обѣда, пренебрегъ желѣзной дорогой и на лихой тройкѣ, вмѣстѣ со своимъ другомъ Павликомъ Свирскимъ, прискакалъ изъ Царскаго прямо къ дядюшкину подъѣзду. Войдя въ балную залу послѣ полуторачасовой ѣзды на морозѣ, Алеша почувствовалъ нѣчто въ родѣ пріятнаго изумленія. Ощущенія тепла и свѣта, видъ красивыхъ полураздѣтыхъ женщинъ,—все это было вовсе не такъ дурно, какъ онъ думалъ, или, вѣрнѣе, какъ онъ говорилъ. Проходя мимо буфета, около котораго еще никого не было, онъ услышалъ голосъ дворецкаго:

— Попробуйте, ваше сіятельство, хорошо ли мы клику заморозили.

Алеша выпилъ залпомъ два стакана шампанскаго, и это окончательно привело его въ отличное расположеніе духа. Узнавъ отъ Сережи о недоразумѣніи съ дирижерами, онъ подошелъ къ графинѣ и, нагнувшись къ ея уху, сказалъ:

— *Ma tante*, я въ первый годъ офицерства недурно дирижировалъ. Если хотите, могу попробовать сегодня...

Графиня посмотрѣла на него съ недовѣріемъ, но дѣлать ей было нечего.

— Попробуйте, *Alexis*, очень вамъ благодарна,—и начните поскорѣй. Давно пора.

Алеша отцѣпилъ саблю, далъ оркестру знакъ начинать и, подойдя къ Сонѣ, сдѣлалъ съ нею первый туръ вальса. Онъ былъ представленъ Сонѣ дней за пять до бала, видѣлъ ее тогда такъ мало, что не успѣлъ разсмотрѣть. Теперь онъ вдругъ очаровался ею и сейчасъ же пригласилъ ее на мазурку. Соня отвѣчала, что на мазурку у нея уже есть кавалеръ.

— Замѣтьте, княжна,—сказалъ Алеша, нисколько не смущаясь ея отказомъ,—что я прошу не милости, а справедливости. Сама судьба хочетъ, чтобы вы танцевали со мной. Я дирижеръ, а вы хозяйка, или, по крайней мѣрѣ, виновница всего торжества.

— Но что же мнѣ дѣлать, если у меня есть кавалеръ?

Горичъ, торчавшій всегда неподалеку отъ Сони, услышалъ этотъ разговоръ и передалъ Сонѣ извиненія Угарова.

— Вы видите, княжна, что судьба за меня,—сказалъ весело Алеша и принялся вальсировать со всѣми барышнями по порядку.

Съ этой минуты все шло какъ по маслу. Черезъ два часа графиня уже могла сознавать, что ея балъ удался. Всѣ приглашенные съѣхались; большіе министерскіе салоны были полны, но ни тѣсноты, ни духоты не было. Благодаря Алешѣ, оживленіе въ танцахъ не прекращалось ни на мгновеніе. Словно радуясь своему возвращенію изъ «кабацкой» жизни въ болѣе свойственную ему сферу, Алеша былъ безконечно веселъ, и веселье это сообщалось другимъ. Дирижировалъ онъ не совсѣмъ по свѣтскому шаблону: Волинскій съ видомъ знатока нашелъ въ его дирижированьи слишкомъ много удали, *trop d'abandon*. Кажалось, что вотъ-вотъ еще немножко,—и строгое приличіе бала будетъ нарушено, но опасная черта не переступалась, и самыя смѣлыя фигуры не выходили изъ должныхъ предѣловъ. Во время мазурки графиня съ торжествомъ ходила изъ комнаты въ комнату и сама любовалась своимъ баломъ. Она была въ эту минуту совершенно свободна. Для особенно важныхъ гостей она, несмотря на свою ненависть къ картамъ, устроила нѣсколько партій въ большой гостиной, мужчины играли въ кабинетѣ графа, а всѣ маменьки, чтобы удобнѣе слѣдить за дочками, частью проникли въ бальную залу, а частью примостились въ дверяхъ. Увидѣвъ графа Василія Васильевича, графиня подошла къ нему и сказала:

— Алеша est un ange; il est d'un entrain et d'une élégance tout-à-fait remarquables.

Графа Василія Васильевича во всемъ этомъ праздникѣ интересовала только одна вещь—ужинъ. Онъ уже два раза ходилъ самъ на кухню, а теперь шелъ совѣщаться съ дворецкимъ относительно того, въ какое именно время и въ какія двери вносить столы для ужина.

— Погоди, Базиль,—сказала графиня, удерживая его за рукавъ фрака.—Посмотри на Алешу и Сою: не правда ли, какая славная парочка? Знаешь ли, мнѣ пришло въ голову, что хорошо бы ихъ поженить... Что ты скажешь на это?

Графъ только махнулъ рукой.

— Пусти, Олупре, мнѣ нужно видѣть дворецкаго.

— Нѣтъ, подожди одну минуту. Посмотри направо: видишь эту пару за большимъ зеркаломъ? Они теперь не танцуютъ.

— Ну, вижу, Дмитрій Павловичъ Висягинъ и племянница княгини Марья Захаровны.

— Да, Бади. И что же, ты не видишь въ ней ничего особеннаго.

— Вижу, что она дурна, какъ смертный грѣхъ.

— Полно, Базиль, она сегодня очень интересна.

Графъ расхохотался.

— Этого только не доставало! Рыжая, вся въ веснушкахъ... Что ты нашла въ ней интереснаго?

— Ну, ты ничего не понимаешь. Посмотри, посмотри: они опять пропустили свою очередь.

— Ну, такъ что же изъ этого?

— Ступай къ своему дворецкому!—сказала съ соболѣзнованіемъ графиня и съ довольнымъ видомъ перешла въ большую гостиную. Проходя мимо стола, за которымъ играла княгиня Марья Захаровна, графиня сказала вполголоса:

— Notre jeune amie danse bien peu et cause beaucoup. Хорошій знакъ, княгиня.

— «Дай-то Богъ!»—отвѣчалъ взоръ княгини, устремленный къ небу.

Мазурка еще не была кончена, когда Баби вошла въ гостиную и, подойдя къ княгинѣ, произнесла какимъ-то особеннымъ голосомъ:

— Il fait bien chaud, ma tante.

Княгиня притянула племянницу къ себѣ и, цѣлуя ее въ лобъ, произнесла:

— Je te félicite, mon enfant.

Въ то же время княгиня многозначительно взглянула на Сергія Павловича Висягина, сидѣвшаго рядомъ. Онъ вскочилъ съ мѣста и сказалъ:

— Княгиня, я забылъ поблагодарить васъ за книгу, которую вы мнѣ прислали.

И, схвативъ руку княгини, онъ дважды чмокнулъ ее губами.
— Дай Богъ, чтобы эта книга принесла счастье, — сказала княгиня.

Хотя свидѣтели этой небольшой сцены могли бы ничего не понять въ ней, но черезъ минуту по всѣмъ комнатамъ графини Хотынцевой, какъ электрическая искра, пробѣжала вѣсть, что Дмитрій Павловичъ Висягинъ сдѣлалъ предложеніе Бэби Волынской.

Бракъ этотъ давно былъ рѣшенъ княгиней Марьей Захаровной. Помѣхой была старинная связь Дмитрія Павловича съ какой-то женщиной изъ средняго круга *«une bourgeoisie de peu»*, какъ выражалась княгиня. Дмитрій Павловичъ долго боролся и медлилъ, наконецъ на балу графини Хотынцевой дѣло было рѣшено къ общему удовольствію.

За ужиномъ Дмитрій Павловичъ и Бэби сидѣли рядомъ. Всѣ къ нимъ подходили и пили ихъ здоровье, но ни одинъ человѣкъ ихъ не поздравилъ. Поздравленій они принимать не могли: свадьба не была объявлена. Объявленіе должно было произойти на слѣдующій день за обѣдомъ у княгини Марьи Захаровны...

Ужинъ удался на славу какъ въ кулинарномъ отношеніи, такъ и въ смыслѣ порядка. Всѣмъ было хорошо и просторно, никакой суматохи не было замѣтно. Въ свою очередь, графъ Василій Васильевичъ торжествовалъ, сознавая, что такого ужина во весь сезонъ не было ни у кого. Онъ былъ такъ доволенъ, что даже хотѣлъ протанцовать туръ вальса во время котильона, но вспомнилъ, что онъ—министръ, и удержался.

Въ шесть часовъ утра Алеша Хотынцевъ сходилъ съ лѣстницы, держась за перила, но увѣряя въ то же время, что онъ не усталъ нисколько. Его тройка стояла у подъѣзда. Алеша и Свирскій вскочили въ сани, и прозябшіе кони вихремъ помчали ихъ въ Царское.

— А знаешь, Павликъ,—говорилъ Алеша, закутываясь плотнѣе въ шинель,—иногда и на балахъ можно пріятно проводить время. Право, эти дѣвчонки вовсе не такъ глупы, какъ кажутся съ перваго взгляда. Вотъ, напримѣръ, эта княжна Брянская... Она въ два часа сказала мнѣ больше умныхъ вещей, чѣмъ Шарлота въ два года.

— А кстати, гдѣ Шарлота?

— Чортъ ее знаетъ... Говорятъ, какой-то купчикъ увезъ ее въ Москву для практики французскаго языка... Нечего сказать, хорошо будетъ говорить купчина послѣ такого учителя.

Алеша зѣвнулъ, и черезъ пять минутъ оба друга спали богатырскимъ сномъ.

Для графини Хотынцевой ея балъ имѣлъ то послѣдствіе, что въ одинъ вечеръ она нажила больше враговъ, чѣмъ во всю свою жизнь. Врагами ея сдѣлались: во-первыхъ, всѣ тѣ дамы, которыхъ она не пригласила, во-вторыхъ, маменьки тѣхъ барышень, которыя имѣли меньше успѣха на балу, и въ-третьихъ, всѣ тѣ дома, у которыхъ балы не были такъ блестящи, какъ у нея. Но такъ какъ никто изъ нихъ не выражалъ графинѣ своей вражды открыто, а, напротивъ того, всѣ сдѣлались съ нею вдвое любезнѣе въ ожиданіи будущихъ баловъ и пріемовъ,—то она была въ полной увѣренности, что баломъ своимъ приобрѣла всеобщую любовь и окончательно упрочила за собой почетное мѣсто въ петербургскомъ свѣтѣ.

VIII.

На слѣдующее утро Миллеръ пилъ чай у Угарова,—когда раздался звонокъ, и въ комнату вошелъ высокій, стройный офицеръ въ адъютантскомъ мундирѣ. Угаровъ всталъ и съ недоумѣніемъ глядѣлъ на вошедшаго. Тотъ остановился среди комнаты и также не произносилъ ни слова.

— Боже мой! — воскликнулъ Миллеръ. — Да это Константиновъ!

— Наконецъ-то узнали!—со смѣхомъ сказалъ Константинъ, обнимая товарищей.

Да и трудно было въ этомъ молодцоватомъ адъютантѣ съ матово-блѣднымъ лицомъ и довольно большими усами узнать того розоваго и нѣжнаго Митю Константинова, который четыре года тому назадъ плакалъ на выпускномъ обѣдѣ. Теперь онъ напоминалъ старшаго брата, только былъ красивѣе его и выше ростомъ. Севастополь и физически, и нравственно переродилъ его, но его хрупкая натура не выдержала такой насильственной ломки. Константиновъ дѣлалъ впечатлѣніе чловѣка, постоянно играющаго какую-то роль; во всѣхъ его движеніяхъ и рѣчахъ было что-то неестественно-театральное. Иногда во время разговора онъ

вдруг останавливался на полусловѣ, глаза его начинали усиленно моргать, и все лицо передергивалось нервной судоргой; это продолжалось съ минуту, послѣ чего ему нужно было еще нѣсколько минутъ, чтобы вполне овладѣть собою.

Константиновъ только наканунѣ пріѣхалъ изъ-за границы, гдѣ онъ сначала лѣчился отъ ранъ, а потомъ «изучалъ военное дѣло». Генералъ, при которомъ онъ служилъ адъютантомъ, повезъ его вечеромъ на балъ къ графу Хотынцеву, гдѣ отъ Сережи Брянскаго онъ узналъ адреса всѣхъ товарищей. Черезъ пять минутъ Константиновъ подробно разсказалъ всѣ свои подвиги въ Севастополѣ; для наглядности онъ даже чертилъ карандашомъ на оберткѣ книги наши и непріятельскія позиціи. Разговоръ зашелъ о Гуркинѣ, и Константиновъ никакъ не могъ понять его продолжительнаго горя.

— Повѣрьте, господа, что я любилъ своего брата не меньше, чѣмъ Гуркинъ, но я только могъ радоваться его смерти, потому что онъ умеръ настоящимъ героемъ.

И онъ началъ рисовать редутъ Шварца, при отбитіи котораго былъ убитъ Андрей Константиновъ. Его послѣдняя фраза прозвучала такой фальшивой нотой, что Угаровъ, желая переимѣнить разговоръ, спросилъ, хорошъ ли былъ балъ у графа Хотынцева.

— Чтобы рѣшить, хороша ли какая-нибудь вещь, надо ее сравнивать съ другими однородными вещами,—произнесъ докторальнымъ тономъ Константиновъ,—а я сравнивать не могу, я былъ на балу въ первый разъ въ жизни, да, вѣроятно, и въ послѣдній. И представь, что со мной случилось. Разговариваю я во время мазурки съ генераломъ Дольскимъ,—весьма замѣчательнымъ человѣкомъ,—съ нимъ я только что познакомился,—вдругъ подлетаетъ ко мнѣ сестра Брянскаго и предлагаетъ протанцовать съ ней туръ мазурки. Я долженъ былъ отказать ей. Она, видимо, разсердилась, но что же мнѣ дѣлать, если я не умѣю танцовать...

— Помилуй, ты былъ лучший танцоръ въ лицей.

— Да, но съ тѣхъ поръ прошло около пятнадцати лѣтъ, если считать мѣсяцъ Севастополя за годъ...

— И ты извинился передъ княжной?

— Нѣтъ, конечно, извинился; она меня простила и посадила около себя за ужиномъ. Возлѣ нея, по другую сторону, сидѣлъ какой-то гусаръ и несъ такую дичь, что намъ нельзя было раз-

говориться. Но послѣ ужина она таки заставила меня протанцовать съ ней котильонъ и даже представила своей сестрѣ, какой-то госпожѣ Могилевской.

— Маковецкой,—поправилъ Угаровъ.

— Да, именно Маковецкой... ты ее знаешь? Теперь мнѣ приходится этой Маковецкой дѣлать визитъ, хотя я пріѣхалъ въ Петербургъ вовсе не для того, чтобы танцовать котильонъ и дѣлать визиты...

И онъ сообщилъ товарищамъ, что не нынче—завтра вспыхнетъ большая европейская война, и что онъ занятъ разработкой плана кампаніи для русской арміи. Въ академію онъ не пойдетъ—онъ ее презираетъ, и что можетъ дать ему академія?! Онъ прочелъ самъ всю военную литературу, онъ лично знакомъ со всѣми иностранными знаменитостями военного дѣла, а, главное, онъ началъ съ практики, которую потомъ провѣрилъ теоріей. Опять начались чертежи, при чемъ Константиновъ забросалъ товарищей цѣлымъ градомъ терминовъ, которыхъ они не понимали.

Послѣ отъѣзда Константинова его товарищи впали въ долгое раздумье. Свои мысли Миллеръ выразилъ слѣдующей фразой:

— Знаешь, Володя, если бы *этотъ* былъ убитъ, *тотъ* не сказалъ бы, что радуется смерти брата.

— Да, конечно,—отвѣчалъ разсѣяннo Угаровъ.

Онъ думалъ совсѣмъ о другомъ; его поразили эпизодъ съ Соней. Онъ уже началъ кое-что понимать въ причудахъ этого страннаго характера. Очевидно, Константиновъ заинтересовалъ ее только тѣмъ, что отказался протанцовать съ ней туръ мазурки.

Вообще Угаровъ уже ни о чемъ не могъ думать, кромѣ Сони. Отказавшись отъ мысли ѣздить въ свѣтъ, онъ пользовался каждой минутой, когда могъ ее видѣть у Маковецкихъ, и не умѣлъ скрывать того, что испытывалъ. Соня, видимо, тяготилась его страдальческимъ видомъ; но если онъ ее не видѣлъ, онъ страдалъ еще больше. Вдругъ до него дошли смутные слухи о томъ, что она выходитъ замужъ за Алешу Хотынцева.

Виновницей этихъ слуховъ была графиня. Когда какая-нибудь фантазія забиралась въ ея голову, она для осуществленія этой фантазіи принимала самыя энергическія мѣры. Не прошло трехъ дней послѣ бала, какъ она съ этой цѣлью устроила маленькій обѣдъ. За полчаса до обѣда она вошла въ кабинетъ мужа.

— Я не понимаю, Базиль,—сказала она, усаживаясь съ ногами на диванъ,—почему ты противъ этой свадьбы. Во-первыхъ, они будутъ очень счастливы, а во-вторыхъ, это будетъ очень удобно и для насъ. Вѣдь мы съ тобой написали другъ для друга завѣщаніе, или, какъ ты это называешь,—*он ne sait pas trop pourquoi*,—пожизненное владѣніе. А съ этимъ пожизненнымъ владѣніемъ можетъ потомъ выйти большая путаница.

— Какая путаница?—спросилъ съ удивленіемъ графъ.

— А такая путаница, что потомъ будетъ трудно разобрать, кто умеръ и кто нѣтъ. Ахъ, Боже мой, какія глупости ты заставляешь меня говорить иногда... Я хотѣла сказать, что трудно будетъ разобрать, кому все пойдетъ послѣ нашей смерти. А если Алеша женится на Сонѣ, мы сдѣлаемъ ихъ нашими наслѣдниками, и это будетъ гораздо проще. Развѣ это неправда?

— Это дѣйствительно будетъ просто, — да я вообще нисколько не противъ этой свадьбы. Я только нахожу, что *они* должны желать свадьбы, а не *мы*.

— О, они безъ ума другъ отъ друга, это сейчасъ видно. Да вотъ спроси самъ у Алеши... ты понимаешь, что мнѣ неудобно дѣлать ему такіе вопросы...

И однако это былъ первый вопросъ, который сдѣлала графиня, когда Алеша вошелъ въ комнату. Алеша отвѣчалъ,—и это была правда,—что княжна ему очень понравилась.

— Въ такомъ случаѣ,—сказала, улыбаясь, графиня,—васъ можно поздравить съ полной взаимностью. Соня только и бредитъ послѣдней мазуркой.

Соню графиня уже увѣрила наканунѣ, что Алеша безъ ума влюбленъ въ нее. Послѣдствіемъ этой тактики было то, что Соня причислила Хотынцева къ числу уже готовыхъ поклонниковъ, на которыхъ не стоитъ обращать особеннаго вниманія.

За обѣдомъ Алеша разсказалъ теткѣ, что съ ея легкой руки на него посыпались со всѣхъ сторонъ приглашенія. Даже княгиня Кречетова пригласила его на завтрашній балъ.

— А вы пойдете?—спросила Соня.

— Да, если вы общаете танцевать со мной мазурку.

— Не могу,—тетушка мнѣ строго запретила танцевать съ однимъ и тѣмъ же кавалеромъ двѣ мазурки сряду.

Графиня поспѣшила дать разрѣшеніе.

— На этотъ разъ ты можешь сдѣлать исключеніе. Вѣдь вы почти родственники.

— *Les neveux de nos tantes...* — началъ было Алеша, но никакой аксіомы не вышло.

Для графини этого было довольно. Вечеромъ она написала длинное письмо княгинѣ Брянской. Она извѣщала сестру, что Соня почти невѣста, и уговаривала ее сейчасъ же ѣхать въ Петербургъ. Княгиня Брянская, изнывавшая отъ скуки въ Троицкомъ, отправила это письмо съ Аристиной Осиповной въ Зміевъ къ Пріядошенскому, заняла у него тысячу рублей и очень быстро собралась въ путь. Ольга Борисовна очень удивилась, получивъ отъ матери депешу о ея выѣздѣ, и наскоро отдѣлала для нея комнату, предназначавшуюся для гувернантки, но графиня на это не согласилась. Она сама поѣхала на желѣзную дорогу и привезла княгиню къ себѣ. Встрѣча была самая трогательная; нѣжности съ обѣихъ сторонъ продолжались цѣлый день. Вечеромъ, когда всѣ улеглись, графиня въ ночномъ костюмѣ пришла въ комнату къ сестрѣ и долго сидѣла возлѣ ея кровати. Онѣ вспоминали свою молодость, вспоминали и судили тѣхъ, кого уже не было въ живыхъ. Въ пятомъ часу утра графиня, растроганная воспоминаніями, пришла въ спальню и написала длинное письмо баронессѣ Блендорфъ. Она рассказывала ей о своемъ счастьи и приглашала баронессу пріѣхать на другой день обѣдать, чтобы познакомиться съ Olette, «которая не женщина, а ангелъ...»

Какъ бы поздно ни легла спать графиня, въ полдень она, какъ заведенные часы, всегда сидѣла за завтракомъ. Княгиню долго не могли разбудить; проснувшись, она потребовала завтракъ къ себѣ въ комнату, и когда графиня вошла къ ней, то увидѣла, что Olette, сидя въ постели, держитъ обѣими руками котлетку и что кофточка ея закапана соусомъ. Это невольно покорило графиню. Послѣ семейнаго обѣда, на которомъ присутствовалъ Алеша Хотынцевъ, княгиня сказала графу Василю Васильевичу, что недурно бы сыграть пульку въ преферансъ. Графъ, очень любившій поиграть въ картишки и отказавшійся отъ этого занятія только въ угоду супругѣ, сейчасъ же велѣлъ подать въ гостиную столъ и карты. Графинѣ это было тѣмъ болѣе неприятно, что третьимъ сѣлъ играть Маковецкій, а поэтому никто не могъ акомпанировать Сонѣ. Она безпрестанно при-

ставала къ игрокамъ, что пора имъ кончить, а когда всѣ пошли пить чай въ столовую, собственноручно стерла записи и велѣла убрать столъ. Княгиню это распоряженіе очень огорчило.

— Видно, ужъ такое мое несчастіе,—сказала она съ упрямомъ сестрѣ,—я всю жизнь проигрываю; сегодня мнѣ какъ нарочно повезло, я была въ малинѣ, а ты, Олимпре, все разстроила. Впередъ ни за что не пойду къ чаю, пока не кончу пульки.

«Что же это такое? — подумала графиня. — Неужели она каждый день будетъ играть въ карты...»

Вечеромъ графиня опять пришла поболтать съ сестрой, но просидѣла всего четверть часа, находя, что Olette разговариваетъ совсѣмъ не такъ интересно, какъ наканунѣ.

Каждый день приносилъ новое разочарованіе. Особенно сердили графиню посѣтители княгини Ольги Михайловны. У княгини оказалось въ Петербургѣ множество друзей обоего пола и самыхъ разнообразныхъ возрастовъ. Друзья эти пріѣзжали въ разные часы и водворялись въ гостиной надолго, такъ что графиня не могла никого принять изъ боязни, чтобы ея гости не увидѣли этихъ «моветоновъ». По воскресеньямъ и праздникамъ являлись четыре кадета, до того похожіе между собой, что различать ихъ можно было только по росту. У всѣхъ были одинаково огромные носы и щетинистые волосы, торчавшіе вихрами. Это были сыновья генеральши Хрипковой, съ которой княгиня подружилась въ Польшѣ, гдѣ Маковецкій служилъ подъ начальствомъ генерала. Кадеты являлись спозаранку, называли княгиню бабушкой, съѣдали весь завтракъ, трогали всѣ вещи и пачкали ковры грязными сапогами. Одинъ изъ нихъ даже разбилъ фарфоровую куклу, которою графиня очень дорожила. Въ одно прекрасное утро посѣтила княгиню сама генеральша Хрипкова. Это была очень полная, высокая и обидчивая дама. Вся жизнь ея протекла въ заботѣ, какъ бы кто-нибудь «не манкировалъ» ей; рассказы ея большею частью заключались въ томъ, что она одну «срѣзала», другую «оборвала», третью «поставила на свое мѣсто». Обидѣлась она уже въ швейцарской. Пока докладывали о ней княгинѣ, швейцаръ пожелалъ внести въ книгу ея адресъ.

— Это зачѣмъ?—воскликнула генеральша.—Ты, кажется, принимаешь меня за просительницу, что требуешь мой адресъ...

— Я ничего не смѣю требовать, ваше превосходительство,—

сказалъ особенно тихимъ голосомъ швейцарь,—а только у насъ заведенъ такой порядокъ...

— Очень глупый порядокъ, — отрѣзала генеральша и начала раздраженно взбираться на лѣстницу.

Въ залѣ ей попался навстрѣчу графъ Василій Васильевичъ, но она смѣрила его съ головы до ногъ такимъ уничтожающимъ взглядомъ, что онъ поспѣшилъ юркнуть въ свой кабинетъ. Шумно облобызавшись съ княгиней, генеральша выразила желаніе немедленно познакомиться съ ея сестрой, впрочемъ, обошлась съ ней надменно, боясь уронить свое достоинство, а чтобы министрша не очень зазнавалась, выпалила въ нее цѣлымъ зарядомъ именъ высокопоставленныхъ лицъ, съ которыми она была знакома. Тутъ же совсѣмъ некстати она сообщила, что ея крестнымъ отцомъ былъ графъ Аракчеевъ.

— *Dieu, comme elle est communel*! — вырвалось у графини, когда генеральша Хрипкова уѣхала.

— Да, конечно, — возразила усталымъ голосомъ княгиня, — у нея мало свѣтскаго лоска, но зато это такая достойная и такая умная женщина. Съ ней никогда не соскучишься. Это не то, что твоя баронесса, съ которой двухъ словъ нельзя сказать.

— Однако, я говорю съ ней по цѣлымъ часамъ, — замѣтила сухо графиня. — Впрочемъ, можетъ быть, и я глупая...

Черезъ нѣсколько дней сестры глубоко ненавидѣли другъ друга. Катастрофа между ними не произошла только оттого, что разъ вечеромъ, когда княгиня была у дочери, маленькій Боря заболѣлъ. У него сдѣлался сильный жаръ и его уложили въ постель. Воспользовавшись этимъ предлогомъ, княгиня, какъ добрая бабушка, осталась ночевать на Литейной, а утромъ послала за своими вещами. Графиня узнала объ этомъ съ большой радостью. *Olette* уже давно перестала быть ангеломъ и называлась не иначе, какъ «*cette Mégère*». По прошествіи недѣли графиня опять полюбила сестру и приглашала ее переѣхать снова къ ней, но княгиня рѣшительно отъ этого отказалась. У Маковецкихъ жить ей было гораздо привольнѣе: она могла принимать кого хотѣла и цѣлые дни проводила за картами.

Между тѣмъ дѣло свадьбы не подвигалось, хотя графиня придумывала всевозможные предлоги, чтобы Алеша и Соня видѣлись какъ можно чаще. Они встрѣчались и разговаривали съ большимъ удовольствіемъ, но скорѣе имѣли видъ добрыхъ прія-

телей, чѣмъ влюбленныхъ. Тѣмъ не менѣе графиня нисколько не сомнѣвалась въ успѣхъ своего плана и думала, что это только вопросъ времени. «En principe c'est une chose décidée»,—говорила она ежедневно кому-нибудь по секрету. Угаровъ съ нетерпѣніемъ ждалъ поста, надѣясь, что будетъ чаще видѣть Соню, но горько ошибся. На первой недѣлѣ Соня говѣла и два раза въ день ѣздила съ графиней въ домовую церковь княгини Марьи Захаровны; со второй недѣли начались концерты, *soirées causantes* и рауты. А слухи о замужествѣ Сони то затихали, то воскресали съ новой силой. Угаровъ обратился за разъясненіемъ къ Горичу.

— Не волнуйся, — отвѣчалъ тотъ увѣреннымъ тономъ. — Свадьба не состоится.

— Почему ты такъ думаешь?

— По двумъ причинамъ. Во-первыхъ, графиня Олимпиада Михайловна слишкомъ объ этомъ старается, а во-вторыхъ, княжна занята теперь совсѣмъ другимъ человѣкомъ.

— Кѣмъ же это?

— Во всякомъ случаѣ не тобой и не мной.

Больше ничего Угаровъ не добился отъ Горича.

Томленіе его росло съ каждымъ днемъ. «Когда же все это кончится?—размышлялъ онъ, сидя въ своей неуютной гостиной.—Надо что-нибудь предпринять. Надо объясниться съ Соней, или уѣхать въ деревню, уѣхать надолго, навсегда»...

Въ такихъ размысленіяхъ засталъ его Аѳанасій Ивановичъ Дорожинскій. Передавая ему обычное письмо Марьи Петровны, онъ сказалъ:

— А я, дорогой мой, прибавлю то, чего, вѣроятно, въ письмѣ этомъ нѣтъ. Плоха старушка, изныла по васъ. Понять я васъ не могу, Владиміръ Николаевичъ. Добро бы еще служили, карьеру дѣлали, а то—чтò вамъ за охота оставаться здѣсь безъ дѣла? Опять состояніе ваше не шуточное, заняться имъ не мѣшаетъ. Вы знаете, я никогда не одобрялъ управленіе Варвары Петровны, —ну, да прежде куда ни шло! А теперь время не такое, мужики отъ рукъ отбились, а Варвара Петровна состарѣлась, совсѣмъ съ ними справиться не можетъ. Вы мнѣ простите, мой дорогой, что я позволяю себѣ вамъ совѣтовать...

— Помилуйте, Аѳанасій Ивановичъ, я вамъ отъ души благодаренъ, вы говорите совершенную правду.

И Угаровъ съ чувствомъ пожалъ руку.

— Ну, а если вы съ этимъ согласны, за чѣмъ же дѣло стало? Я въ началѣ страстной уѣзжаю, могли бы сговориться и ѣхать вмѣстѣ. Какъ разъ поспѣли бы въ Угаровку къ празднику. То-то былъ бы тамъ свѣтлый праздникъ.

Авванасій Ивановичъ и прежде не разъ читалъ ему подобныя наставленія, но Угаровъ пропускалъ ихъ мимо ушей. Теперь они пришлись чрезвычайно кстати, когда онъ самъ думалъ объ отъѣздѣ. «Это—повелѣніе судьбы»,—рѣшилъ Угаровъ, суевѣрный, какъ всѣ нервныя люди. «Будь, что будетъ, а я или добьюсь чего-нибудь, или уѣду. А то въ самомъ дѣлѣ закинешь... Сегодня вечеромъ Соня дома, — сегодня же объяснюсь съ ней непремѣнно». Планъ объясненія такъ занялъ Угарова, что онъ пропустилъ часъ обѣда. Въ восемь часовъ онъ входилъ въ домъ Тупикова.

Швейцаръ объявилъ ему, что «старая княгиня и Александръ Викентьевичъ дома, а Ольга Борисовна съ княжной уѣхали къ министершѣ. Министерша за ними карету присылала, и человекъ ихній сказалъ, что у нея нынче французъ фокусы показываетъ».

Это извѣстіе ошеломило Угарова. «Впрочемъ, все равно,—думалъ онъ, шагая по мокрому тротуару,—объяснюсь завтра или послѣзавтра; я, во всякомъ случаѣ, рѣшился, — но куда мнѣ дѣться сегодня?»

Угаровъ зашелъ къ Горичу и не засталъ его дома, потомъ поѣхалъ въ гостиницу, гдѣ всегда останавливался Авванасій Ивановичъ Дорожинскій, но и того не засталъ. Идя мимо книжнаго магазина Овчинникова, онъ зашелъ къ Сомову.

Онъ такъ давно тамъ не былъ, что Сомовъ встрѣтилъ его съ удивленіемъ. Въ каморкѣ, кромѣ братьевъ Пилкиныхъ, сидѣлъ еще одинъ господинъ, котораго Угаровъ не зналъ. Молодая и довольно миловидная женщина, въ шерстяномъ черномъ платьѣ, разливала чай; Угаровъ сейчасъ же призналъ въ ней женщину въ платкѣ, которую онъ видѣлъ мелькомъ, когда въ первый разъ былъ у Сомова.

— Моя жена, — сказалъ коротко Сомовъ.

Незнакомца онъ не счелъ нужнымъ называть, но по тону почтенія, съ какимъ всѣ къ нему относились, Угаровъ догадался, что это былъ тотъ самый Покровскій, о которомъ такъ много слышалъ отъ Сомова.

— При немъ можно продолжать,—сказаль Сомовъ Покровскому, когда Угаровъ усѣлся и получилъ чашку чаю.

Покровскій кивнулъ головой въ знакъ согласія, и Сомовъ вынулъ изъ-подъ скатерти тоненькую книжку «Голосовъ изъ Россіи».

Во время чтенія Угаровъ жадно всматривался въ Покровскаго. Это былъ довольно красивый брюнетъ неопредѣленныхъ лѣтъ, съ небольшою бородой, одѣтый съ претензіей на щеголеватость. Угаровъ жаждалъ прочесть въ его лицѣ признаки гениальности, но теперь это лицо съ полужакрытыми глазами выражало утомленіе и скуку. Раза два онъ раскрывалъ глаза и устремлялъ на Угарова и пытливый, и проницательный взглядъ.

— Рѣшительно ничего не вижу хорошаго въ этой статьѣ,—сказаль онъ, когда Сомовъ дочиталь послѣднюю страницу. — Надо быть очень наивнымъ, чтобы радоваться освобожденію крестьянъ.

— Но однако тутъ есть кое-какія вѣрныя мысли,—робко замѣтилъ Сомовъ.

— Одно изъ двухъ,—продолжалъ Покровскій тономъ, не допускавшимъ возраженія:—или освобожденіе крестьянъ будетъ фиктивное, и тогда вся эта реформа—одна насмѣшка надъ честными людьми; или освобожденіе будетъ настоящее,—и тогда еще хуже: тогда революція будетъ отсрочена на много лѣтъ.

— Но если освобожденіе будетъ настоящее,—спросилъ Угаровъ:—зачѣмъ же тогда революція?

При этихъ словахъ Угарова всѣ остальные переглянулись, какъ будто онъ сказалъ что-то совсѣмъ неприличное. Въ другое время это смутило бы Угарова, но въ этотъ вечеръ онъ былъ полонъ энергіи и храбро началъ развивать свою мысль. Покровскій совсѣмъ закрылъ глаза и не удостоилъ его ни однимъ возраженіемъ, потомъ нервно зѣвнулъ и сказалъ, не смотря на Угарова:

— Ну, знаете, батенька, человѣкъ съ такими идеями, какъ ваши, можетъ дойти до всего. Впередъ, если встрѣчусь съ вами, буду осторожнѣе, чтобы не сказать при васъ чего-нибудь лишняго.

Послѣ такого намека Угарову оставалось одно—уйти. Сомовъ поднялся-было, чтобы его проводить, но раздумаль и сѣлъ на свое мѣсто. Надѣвая пальто въ передней, Угаровъ слышаль сдержанный смѣхъ братьевъ Пилкиныхъ...

Было одиннадцать часовъ. Вздволнованный всѣми непріятными впечатлѣніями дня, Угаровъ не хотѣлъ идти домой, голодь его мучилъ, онъ зашелъ къ Дюкро, гдѣ также не былъ очень давно. Входъ его произвелъ нѣкоторую сенсацию.

— Абрашка! — закричалъ Акатовъ. — Неси намъ всѣмъ телятины: блудный сынъ вернулся.

Но отчій домъ произвелъ, вѣроятно, болѣе сладостное впечатлѣніе на блуднаго сына, чѣмъ общая комната Дюкро на Угарова. Тѣ же лица на тѣхъ же мѣстахъ, на которыхъ онъ привыкъ ихъ видѣть въ теченіе двухъ лѣтъ, показались ему невыносимыми, и онъ удивлялся, какъ одно время онъ могъ приходить сюда каждый вечеръ.

На этотъ разъ князь Киргизовъ былъ стравленъ съ графомъ Строньскимъ. Споръ начался у нихъ очень невинно — съ трюфелей. Графъ Строньскій похвасталъ, что въ его имѣніи Большихъ-Подлипинкахъ рождаются трюфели не хуже французскихъ. Князь Киргизовъ опровергалъ это и признавалъ только тѣ трюфели, которыя привозятся изъ Перигора. Понемногу споръ отъ трюфелей перешелъ въ область политики и исторіи.

Князь Киргизовъ сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, скрестивъ на груди руки, говорилъ весьма тихимъ голосомъ и смотрѣлъ на своего противника въ упоръ. Его поза и голосъ доказывали, что онъ хочетъ быть терпѣливъ и сдержанъ. Строньскій сильно размахивалъ руками и имѣлъ видъ побѣдителя.

— Но, однако,—замѣтилъ онъ ядовито,—вы же сами присягали Владиславу и звали его на царство...

— Неправда! Вздоръ! Никогда не присягали! Никогда не звали на царство! очень нуженъ вамъ Владиславъ!

— Ну, да, конечно,—пошутилъ Строньскій,—вы, т.-е. князь Киргизовъ, персонально его не приглашали, но Москва присягала и звала...

— И это вздоръ! И Москва не присягала! И Москва не звала! Очень ей нуженъ вамъ Владиславъ!

— Но позвольте, князь, такъ спорить нельзя. Даже Карамзинъ говорить...

Руки князя разжались. Терпѣніе лопнуло.

— Вретъ Карамзинъ!—крикнулъ онъ, вскакивая съ мѣста.

— Нѣтъ, князь, это уже слишкомъ! Вы опровергаете фактъ, помѣщенный въ каждомъ учебникѣ исторіи, а Карамзинъ...

— Да что вы тычете въ меня вапимъ Карамзинимъ?—кричалъ князь, бѣгая по комнатѣ. — Мало ли что писалъ Карамзинъ! Знайте, милостивый государь, что онъ не кончилъ своей исторіи, а потому и не успѣлъ исправить всѣхъ ошибокъ. Знаете ли вы, какими словами оканчивается исторія Карамзина: «Орѣшекъ не сдавался». Слышите ли: Орѣшекъ не сдавался!.. А между тѣмъ всѣмъ извѣстно, что Орѣшекъ сдался. Послѣ этого нечего ссылаться на Карамзина...

— Позвольте, позвольте, князь, — раздался голосъ Менцеля. — Вы увлекаетесь. Карамзинъ — нашъ русскій писатель, которымъ мы должны гордиться...

Князь грозно остановился передъ Менцелемъ.

— Этого только недоставало, чтобы вы вздумали меня учить! Точно я не знаю, что Карамзинъ — великій русскій писатель. Но поляки все равно не должны и читать его, потому что все равно не поймутъ.

Въ свою очередь Строньскій потерялъ терпѣніе.

— Прошу васъ, князь, взвѣшивать ваши выраженія, — сказалъ онъ, задрожавъ отъ гнѣва. — Иначе вы поставите меня въ необходимость потребовать отъ васъ сатисфакціи...

— Что такое?! сатисфакціи?—заревѣлъ князь. — Извольте, я вамъ даю сатисфакцію, и не одну, я пять, десять, сто сатисфакцій! И съ большимъ удовольствіемъ, и сію минуту, если хотите!... Ишь чѣмъ вздумали напугать меня... Сатисфакція! Точно Самойловъ въ «Свадьбѣ Кречинскаго»!

Акатовъ увидѣлъ, что дѣло можетъ кончиться плохо, и поймалъ князя за локоть.

— Послушайте, князь, вы не чувствуете ничего особеннаго?

— Ничего. Что это значить?

— Ну, а мнѣ что-то нехорошо. Мнѣ кажется, что судакъ, который мы ѣли, былъ не совсѣмъ свѣжій.

— Вы очень нѣжно выражаетесь. Не совсѣмъ свѣжій!.. Онъ былъ совсѣмъ тухлый... Я это замѣтилъ сразу.

— Но согласитесь, князь, что это очень нелюбезно со стороны Дюкрѣ—подавать намъ такую гадость...

— Нѣтъ, вы замѣчательно нѣжно выражаетесь сегодня. «Нелюбезно!» Это болѣе, чѣмъ нелюбезно, — это гнусно, отвратительно-подло! Помилуйте, мы просиживаемъ здѣсь всѣ вечера и ночи, тратимъ тысячи, а онъ осмѣливается кормить насъ

гнилью! И, вотъ, попомните мое слово, что пройдетъ два-три года, этотъ мерзавецъ вывезетъ во Францію милліона полтора франковъ, купитъ замокъ, заживетъ бариномъ и будетъ смѣяться надъ нами, сѣверными варварами... Да будь онъ проклятъ вмѣстѣ со своей почтенной супругой, съ чадами и домочадцами и со всѣми своими гнилыми судаками! Да будь я проклятъ самъ, если когда-нибудь нога моя ступить въ это заведеніе...

Князь началъ подробно перечислять всѣ преступленія Дюкрѣ, совершенныя въ теченіе многихъ лѣтъ. При этихъ воспомина-ніяхъ онъ нѣсколько разъ ссылался на графа Строньскаго, со-всѣмъ забывъ о сатисфакціи. У Строньскаго всякій разъ, что князь обращался къ нему, нижняя губа вздрагивала отъ гнѣва, но понемногу успокоился и онъ.

Мадамъ Дюкрѣ, сидѣвшая за конторкой и не въ первый разъ слышавшая эти проклятія, немедленно наказала князя Киргизова, вписавъ въ его счетъ нѣсколько лишнихъ рюмокъ.

IX.

Около этого времени съ графомъ Хотынцевымъ произошла странная метаморфоза. Онъ, считавшійся всю жизнь либераломъ и самъ называвшій себя «свободнымъ мыслителемъ», вдругъ оказался ретроградомъ. Въ засѣданіи Государственнаго Совѣта одинъ изъ новыхъ министровъ такъ прямо и назвалъ его мнѣніе «ретрограднымъ». Кромѣ того, онъ получилъ неизвѣстно отъ кого по городской почтѣ нумеръ «Колокола», въ которомъ краснымъ карандашомъ была подчеркнута статья: «Холопы реакціи». Въ концѣ этой статьи находились слѣдующія строки: «Къ этой почтенной компаніи примкнулъ и графъ Хотынцевъ, котораго правильнѣе можно бы назвать графомъ Хапынцевымъ, потому что, будучи нижегородскимъ губернаторомъ, онъ хапнулъ здоровый кушъ съ раскольниковъ, да и теперь, говорятъ, хапаетъ съ живого и мертваго».

Графъ такъ былъ пораженъ этой статьей, что даже не замѣтилъ, какъ въ кабинетъ вошла графиня.

— Базиль, я къ тебѣ съ просьбой. Марья Захаровна рекомендовала мнѣ на службу очень милаго молодого человѣка, князя Вуйскаго. Нельзя ли ему дать мѣсто?

Графъ послалъ за Горичемъ, который сказалъ, что въ на-

стоящую минуту мѣста нѣтъ, но что этого Буйскаго онъ будетъ имѣть въ виду.

— Ну, а это мѣсто, которое вы прежде занимали... секретаря важныхъ дѣлъ... оно еще свободно? — спросила графиня.

— Графъ велѣлъ уже назначить на это мѣсто чиновника канцеляріи, Сергѣева...

— Какого это Сергѣева? — воскликнула графиня. — Ужъ не того ли, который въ прошломъ году былъ замѣшанъ въ это грязное дѣло? Онъ укралъ какую-то шубу, или что-то въ этомъ родѣ...

— Вы ошибаетесь, графиня; Сергѣевъ ничего не укралъ, а напротивъ того: у него украли шубу.

— Ну, это совершенно все равно, онъ ли укралъ, или у него украли... Главное то, что онъ былъ замѣшанъ въ гадкомъ дѣлѣ, une affaire de vol, а потому очень странно назначать его на такое видное мѣсто... Впрочемъ, я забыла, что въ нашемъ министерствѣ теперь люди, какъ Сергѣевъ, имѣютъ больше успѣха, чѣмъ люди нашего общества.

Графиня вышла, сильно хлопнувъ дверью.

Графъ Василій Васильевичъ плотно затворилъ дверь и, подойдя къ Горичу, сказалъ ему вполголоса:

— Какъ вамъ это нравится, mon cher? Все равно: онъ ли укралъ, или у него украли...

И, хихикая про себя, графъ усѣлся за письменный столъ.

— Какъ же прикажете, графъ? Докладъ о Сергѣевѣ уничтожить?

— Нѣтъ, mon cher, погодите. Можетъ быть, еще обойдется какъ-нибудь... До вотъ, кстати, прочитайте, что я получилъ сегодня по почтѣ. Мнѣ по поводу этого «Колокола», да и по другимъ разнымъ поводамъ, хотѣлось бы поговорить съ вами... Знаете чтò: не пообѣдаете ли вы сегодня со мной у Дюкрò?

— У Дюкрò? Съ вами?

— Что же это васъ такъ удивляетъ? Я, какъ и всякій другой, не лишенъ этого права. Приѣзжайте туда часу въ шестомъ и займите красную комнату внизу...

Графъ Василій Васильевичъ вошелъ къ Дюкрò съ бокового подъѣзда, озираясь по сторонамъ, какъ тать въ ночи, и съ высоко-поднятымъ воротникомъ пальто. Онъ сейчасъ же отвергнулъ карту, почтительно поданную ему Абрашкой, и присту-

пилъ къ сочиненію «простого и вкуснаго» обѣда. Выборъ супа занялъ минуты двѣ.

— Ты мнѣ дашь,—сказалъ онъ внушительно Абрашеѣ,—во-первыхъ, *tortue claire*.

— Для васъ однихъ, ваше сіятельство, или для двухъ прикажете?

— Конечно, для двухъ... Потомъ ты мнѣ дашь...

Графъ глубоко задумался.

Горичъ пошелъ поболтать съ Угаровымъ, который обѣдалъ въ общей комнатѣ. Возвращаясь, онъ увидѣлъ въ коридорѣ графа, разговаривающаго съ мадамъ Дюкрѣ. Графъ говорилъ тихо, но съ такимъ жаромъ поднималъ и опускалъ руки, что Горичу пришло въ голову, не было ли между говорившими когда-нибудь болѣе важныхъ отношеній. Проходя мимо, онъ услышалъ слѣдующія слова:

— *Surtut, chère madame, n'abusez pas du citron. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Rien qu'un soupçon de citron.*

— *Soyez tranquille, monsieur le comte, vous serez servi comme par le bon vieux temps.*

— *Oh, oui, c'est ça... le bon vieux temps...*

И графъ, вслѣдъ за Горичемъ, вошелъ въ красную комнату.

Пока татары подавали закуску, онъ важно разлегся на диванѣ и счелъ нужнымъ поговорить о политикѣ.

— Читали ли вы послѣднюю рѣчь принца Наполеона въ законодательномъ корпусѣ? Это верхъ безумія. Удивляюсь, какъ его не посадили до сихъ поръ въ маленькіе домики.

Хотя графъ считалъ себя знатокомъ русскаго языка, но нерѣдко грѣшилъ подобными галлицизмами.

Къ обѣду онъ приступилъ съ лицомъ серьезнымъ и даже строгимъ; первыя три блюда ѣлъ съ большимъ аппетитомъ, запивая ихъ соотвѣтствующими винами, и не былъ способенъ ни къ какому обмѣну мыслей, кромѣ разговора объ обѣдѣ. Насытившись, онъ до остальныхъ пустяковъ—блюда три-четыре, не больше—еле дотрогивался, и то скорѣе изъ любознательности, чтобы узнать, такъ ли они приготовлены, какъ онъ объяснялъ.

— Ну, что, *mon cher*, спросилъ онъ, окончивъ съ чувствомъ ставанъ лафита 1848-го года,—прочли вы, какъ меня отдѣляли?

— Да, графъ, прочелъ; но неужели эта глупость могла васъ разсердить или огорчить?

— Дѣйствительно, она меня болѣе удивила, чѣмъ разсердила. Ужъ если они хотѣли про меня написать какую-нибудь гадость, то могли бы выдумать что-нибудь болѣе правдоподобное. Въ Нижнемъ я не только не могъ ничего хапать, но въ три года, что я тамъ былъ губернаторомъ, я истратилъ около ста тысячъ своихъ на балы и обѣды, потому что жена моя хотѣла непременно перещеголять губернскую предводительшу. А предводителемъ былъ Пронинъ, извѣстный миллионеръ. Но дѣло не въ томъ, а я хочу на эту статью написать возраженіе. Какъ вы посоветуете мнѣ это сдѣлать?

— Я бы вамъ посоветовалъ вовсе не отвѣчать. Да и гдѣ же можно печатать возраженіе? Въ Лондонѣ печатать не захотятъ, а у насъ о «Колоколѣ» запрещено даже упоминать въ печати. Да не стоитъ и отвѣчать на такую глупость, которой не только никто не повѣритъ, но на которую никто даже и не обратитъ вниманія...

— О, какъ вы ошибаетесь въ этомъ! какъ видно, что вы неопытныя и юны! Начать съ того, что многіе повѣрятъ. Есть люди, которые вѣрятъ всему гадкому. А другіе хотя и не повѣрятъ, но все-таки будутъ меня считать какъ бы опозореннымъ. Люди ко мнѣ расположенные, *се qu'on appelle les amis*,—будутъ меня защищать, но все-таки не удержатся, чтобы не рассказать про этотъ пасквиль тѣмъ, которые еще не знаютъ. Повѣрьте, *mon cher*, что если бы мой тезка донъ-Базиліо пожилъ въ Петербургѣ, онъ бы еще болѣе убѣдился въ могуществѣ клеветы...

Послѣ спаржи, которую графъ остался недоволенъ, такъ какъ она была слишкомъ разварена, разговоръ его принялъ еще болѣе меланхолическій характеръ.

— Въ странное время живемъ мы, *mon cher*. Быть министромъ теперь то же, что лишиться всѣхъ правъ. Въ старину, когда я началъ служить, у насъ была извѣстная система. Я вовсе не сторонникъ этой системы, но, по крайней мѣрѣ, мы—слуги правительства—знали, какъ намъ поступать, и всегда могли рассчитывать на поддержку. Теперь насъ ругаютъ со всѣхъ сторонъ, а поддержки у насъ никакой, и мы даже не знаемъ, чего отъ насъ хотятъ. Вотъ слободскій предводитель подаль по

крестьянской реформы проект, въ которомъ пошелъ дальше той точки, на которой теперь стоитъ правительство... И что же? Его сослали административнымъ порядкомъ. Скажу вамъ про себя. Я нисколько не ретроградъ и радъ сочувствовать всякимъ новымъ мѣрамъ, но дайте мнѣ право разсматривать эти мѣры и не заставляйте меня бѣжать слѣпо за тѣмъ, кто громче кричить. А тутъ еще кругомъ какія-то подпольныя интриги... Я хотѣлъ вѣять себѣ въ товарищи Дольскаго. Вы его знаете, это—человѣкъ умный, дѣльный и проникнутый самыми современными идеями, но противъ него начался цѣлый крестовый походъ, и эта старая карга, княгиня Марья Захаровна — *n'en déplaît à ma femme*, которая ее обожаетъ,—подсунула мнѣ Сергѣя Павловича Висягина—извѣстнаго ретрограда. Ну, чѣмъ же я виновать?

— Почему вы называете Сергѣя Павловича ретроградомъ? Онъ теперь только и бредитъ реформами и на-дняхъ разскажетъ одному губернатору, что въ молодости былъ совсѣмъ красный. .

— Ну, знаете, теперь не разберешь: кто красный, кто бѣлый, кто консерваторъ и кто либераль. Я знаю только одно, что пора мнѣ убраться по-добру, по-здорову, а то, пожалуй, дождешься вотъ этого...

И графъ сдѣлалъ рукой выразительный жестъ, изображающій, какъ выталкиваютъ за дверь.

Когда подали кофе, графъ пожелалъ выпить рюмку *fine champagne*. Дюкрѣ самъ принесъ бутылку, всю покрытую пескомъ и пылью, объясняя, что этотъ коньякъ такого времени, когда даже названіе *fine champagne* не существовало. Выпивъ двѣ рюмки этого необыкновеннаго коньяку, графъ не то чтобы опьянѣлъ, но какъ-то размякъ.

— Вы не повѣрите, *mon cher*, — говорилъ онъ, закуривая огромную сигару, — какъ мнѣ пріятно вотъ такъ пообѣдать съ вами и поговорить на свободѣ. Вѣдь я совсѣмъ не рожденъ быть министромъ. Всѣ эти почести я никогда не ставилъ въ грошъ... Моимъ идеаломъ всегда была тихая, беззаботная жизнь, хорошая книга, хорошій обѣдъ, нѣсколько пріятелей, съ которыми можно поболтать пріятно, — *de temps en temps le sourire d'une jolie femme*... Вотъ и все. И не только ничего этого у меня нѣтъ, но я не имѣю даже того, что имѣетъ каждый сто-

донадначальникъ, т.-е. спокойнаго домашняго очага... Я не могу пожаловаться на свою жену, это во многихъ отношеніяхъ достойная женщина, но у нея столько причудъ, сколько капризовъ, такіа странныя мысли... Образчикъ ея воззрѣній вы слышали сегодня утромъ, а меня она каждый день угощаетъ чѣмъ-нибудь въ этомъ родѣ. Но это бы еще куда ни шло, а главное — *ce qui me rend la vie dure*, — это ея невыносимый деспотизмъ. Вѣдь она слѣдитъ за каждымъ моимъ шагомъ, она...

— Мнѣ кажется, графъ, что вы преувеличиваете, — остановилъ его Горичъ, боявшійся, что графъ подъ вліяніемъ вина пустится въ признанія, въ которыхъ потомъ самъ раскается. — Мы говорили съ вами о Висягинѣ...

— Нѣтъ, позвольте, *mon cher*, я не преувеличиваю ни сколько, я даже многого не хочу говорить. Но чтобъ вы видѣли, въ какомъ я положеніи, расскажу вамъ, такъ и быть, одинъ фактъ. Вотъ мы съ вами обѣдали у Дюкрѣ, а гдѣ я сегодня обѣдалъ официально, какъ вы думаете? — Въ Царскомъ Селѣ.

— Отчего въ Царскомъ Селѣ?

— Оттого, что скажи я, что обѣдаю у Дюкрѣ, особенно съ вами, она ни за что бы меня не пустила, и я долженъ былъ ѣхать въ своей каретѣ сначала на царскосельскую машину, а оттуда въ извозничьей каретѣ сюда. Ну, развѣ это не унижительно?

— Право, графъ, вы смотрите въ увеличительное стекло. Конечно, графинѣ, можетъ быть, пріятнѣе, что вы въ Царскомъ у вашего племянника...

— Какъ, у Алеши? Оборони Богъ! Къ Алешѣ она бы пустила меня еще менѣе. Я долженъ былъ ей сказать, что ѣду къ Петру Петровичу. Вы знаете, что Петръ Петровичъ вышелъ въ отставку и будируетъ правительство. Въ старину, *les mécontents* поселялись обыкновенно въ Москвѣ, гдѣ представляли извѣстную силу, имѣли *prestige*. Но теперь времена не тѣ, да и состояніе у него не такое, чтобы можно было — *faire figure* въ Москвѣ. Тамъ для этого имъ большое состояніе нужно, или развѣ ужъ такіа заслуги, какъ у Ермолова... Вотъ Петръ Петровичъ переселился въ Царское Село, будируетъ оттуда и составляетъ оппозицію.

— Но отчего же графиня одобряетъ ваши поѣздки къ Петру

Петровичу? Сколько я знаю, у нея воззрѣнія крайне консервативныя и не допускають никакой оппозиціи...

— Вотъ этого, mon cher, я и самъ понять не могу. Назвалъ кто-то Петра Петровича: le vénérable exilé—съ тѣхъ поръ это и пошло въ ходъ. А какой же онъ exilé, когда каждую субботу ѣздитъ въ Петербургъ и обѣдаетъ въ англійскомъ клубѣ? Всѣ къ нему ѣздить въ Царское на поклоненіе и, какъ говорить моя супруга: «c'est bien vu dans le monde». А кѣмъ это—bien vu, почему bien vu, — кто ихъ разберетъ.

— Чѣмъ же занимается Петръ Петровичъ въ Царскомъ?

— Онъ пишетъ мемуары, и въ этомъ—entre nous soit dit,—весь секретъ его успѣха. Всякій думаетъ: «а, ну, какъ онъ отшлепаетъ меня въ своихъ мемуарахъ?»—и спѣшитъ задобрить его на всякій случай. А Петръ Петровичъ, когда захочетъ отшлепать, сумѣетъ это сдѣлать, да и вообще умѣетъ заставить почитать себя. Въ клубѣ ему теперь такое почтеніе оказываютъ, что вы себѣ представить не можете. У насъ все такъ. Григорій Ивановичъ въ такомъ же положеніи, какъ и онъ: также вышелъ въ отставку, но живетъ себѣ тихо и скромно и никто на него вниманія не обращаетъ. А Петръ Петровичъ объявилъ, что онъ—оппозиція, и изъ него героя сдѣлали. Но я васъ спрашиваю: какая же это оппозиція, когда онъ преисправно получаетъ отъ правительства двѣнадцать тысячъ въ годъ?

Графъ выпилъ еще одну «последнюю» рюмку и опять заговорилъ о своей супругѣ.

— Знаете, mon cher, — система графини Олимпіады Михайловны самая ложная. Когда за вами такой бдительный надзоръ, всегда хочется его обмануть. Мнѣ всего пріятнѣе сидѣть здѣсь именно оттого, что она считаетъ меня въ Царскомъ. Если бы не мои лѣта и положеніе, я бы даже предложилъ вамъ поѣхать къ какой-нибудь кокеткѣ. Вотъ до чего можетъ довести ея деспотизмъ. Повѣрите ли, иногда этотъ гнетъ доводитъ меня до такихъ мыслей, что потомъ мнѣ самому дѣлается страшно.

Графъ оглянулся на дверь и произнесъ вполголоса:

— Il y a des moments, où je commence à comprendre les révolutions!

Потомъ графъ началъ рассказывать разные любовныя похождения своихъ молодыхъ лѣтъ. На каминѣ раздался бой часовъ.

— Сколько бьетъ, mon cher? Восемь?

— Нѣтъ, графъ, уже десять.

— Какъ! неужели десять? Позвоните, mon cher. Абрашка, давай счетъ — и какъ можно скорѣе.

— Отчего вы такъ заторопились, графъ?

— Какъ мнѣ не торопиться? Вы забываете, что я долженъ ѣхать на царскосельскій вокзалъ. Поѣздъ приходитъ въ одиннадцатъ часовъ, а карета моя пріѣдетъ раньше, слѣдовательно, я долженъ пріѣхать еще раньше, потомъ вмѣшаться въ толпу, и идти какъ будто изъ Царскаго. Dieu, quel ennui!

Горичу сдѣлалось и смѣшно, и жалко. Онъ предложилъ графу проводить его на вокзалъ.

— Какъ это мило, что вы меня не покинули! — говорилъ графъ, брезгливо усаживаясь въ грязную, оборванную четырехмѣстную карету, — будьте до конца свидѣтелемъ моего печальнаго или, если хотите, смѣшного положенія. Это мнѣ напоминаетъ какіе-то стихи, — кажется, Пушкина:

Все это было бы смѣшно,
Когда бы не было такъ грустно...

Извозчики лошади, несмотря на понуканія кучера, ѣхали почти шагомъ.

— Боже мой! — волновался графъ. — Мы никогда не доѣдемъ. Вотъ увидите, моя карета пріѣдетъ раньше, и при входѣ я буду встрѣченъ моимъ глупымъ Иваномъ. Cela sera du progrès! Ну, да и карета хороша. Это какой-то гробъ, а вовсе не карета. Знаете ли, такихъ лошадей и такой экипажъ нигдѣ въ мірѣ нельзя найти, кромѣ нашихъ желѣзныхъ дорогъ...

Однако они пріѣхали во-время. Въ одиннадцатъ часовъ пришелъ поѣздъ, но вмѣшаться въ толпу графъ не могъ, потому что ея не было. Пріѣхало не болѣе десяти пассажировъ. Первымъ выскочилъ изъ вагона Алеша Хотынцевъ.

— Гдѣ вы сидѣли, дядюшка? Я въ Царскомъ обшарилъ всѣ вагоны и не нашелъ васъ.

— Вотъ видишь, мой другъ, я по разсѣянности вошелъ въ вагонъ второго класса, да и остался тамъ. А отчего ты зналъ, что я въ Царскомъ?

— Мнѣ объ этомъ тетюшка написала. Она прислала въ Царское курьера съ просьбой пріѣхать вмѣстѣ съ вами и ужинать у нея. Что у васъ такое?

— Право, не знаю; я ни о какомъ ужинѣ не слышалъ.

Горить видѣлъ, какъ графъ и Алеша сѣли въ карету, и какъ глупый Иванъ, съ пледомъ въ рукѣ, перебѣжалъ на другую сторону кареты и отворилъ дверцу.

— Что ты тутъ дѣлаешь?—раздался голосъ графа.—Отстань, пожалуйста.

— Ваше сіятельство, графиня мнѣ приказала непременно укутать ваши ножи.

Мысль объ ужинѣ явилась графинѣ внезапно послѣ отъѣзда мужа, и она немедленно привела ее въ исполненіе. Матримоніальная нерѣшительность Алеши ей надоѣла, и она рѣшилась покончить съ нимъ въ этотъ вечеръ. Предлогъ для ужина былъ очень хорошій: обѣды у Петра Петровича были скудны, и графъ возвращаясь изъ Царскаго, всегда жаловался на голодь. Теперь когда графъ былъ переполненъ яствами и винами Дюкрэ, одинъ видъ изящно накрытаго стола, уставленнаго бутылками, привелъ его въ содроганіе.

— Нѣтъ, знаешь, Оlympe, — сказалъ онъ, усаживаясь въ столовой около жены, — сегодня обѣдъ у Петра Петровича былъ очень недуренъ, а, главное, пресытнѣй, такъ что я врядъ ли буду въ силахъ ѣсть что-нибудь...

— Вотъ вздоръ какой! Что же было за обѣдомъ?

— Былъ супъ *tortue claire*, потомъ—*soudac à la normande*, потомъ—*selle de mouton*, потомъ еще кое-что...

— Съ чего же это нашъ бѣдный Петръ Петровичъ такъ раскутился? Но ѣсть ты все-таки будешь, потому что я велѣла приготовить твои любимыя блюда.

Поневолѣ графу пришлось притворяться, что онъ ѣсть, но пить онъ отказался наотрѣвъ, ссылаясь на головную боль. Зато Алеша ѣлъ съ большимъ аппетитомъ и пилъ за троихъ. Графиня была съ нимъ очаровательно любезна и даже выпила бокалъ шампанскаго за его здоровье. Когда подали кофе, графиня выслала людей и сочла своевременнымъ начать атаку.

— Кстати, Alexis, вы знаете, что весь городъ говоритъ о томъ, что вы женитесь на Сонѣ?

— Да, *ma tante*, я слышалъ объ этомъ, — отвѣчалъ, слегка покраснѣвъ, Алеша.

— Что же вы скажете объ этомъ?

— Что же я могу сказать? Я могу только дать честное

слово, что я въ этихъ слухахъ не виновать, что я ни одному человѣку объ этомъ не говорилъ.

— Конечно, я не могу сомнѣваться въ вашемъ честномъ словѣ, но, однако... откуда же взялись эти слухи?

— Послушай, Олупре,—вмѣшался графъ,—не обвиняй, по крайней мѣрѣ, Алешу въ этихъ сплетняхъ. Я нѣсколько разъ просилъ тебя быть осторожнѣе...

— Ну, да, я такъ и знала. Я одна окажусь виноватой. Что бы ни случилось, я всегда виновата во всемъ.

Составляя утромъ планъ дѣйствій, графиня рѣшила даже не подать вида, что она желаетъ этой свадьбы. Она только попросить Алешу прекратить ухаживаніе за Соней, и это заставить его высказать свои чувства. Но вмѣшательство графа такъ ее разсердило, что всѣ мысли ея спутались, и она обратилась съ горькими упреками къ Алешѣ:

— Что мой мужъ ко мнѣ несправедливъ,—это въ порядкѣ вещей. Обязанность каждаго мужа—быть несправедливымъ къ женѣ. Но почему вы противъ меня, этого я не могу понять... Погодите, не перебивайте меня. Я всю жизнь доказывала вамъ свое расположеніе. Когда вы еще были пажомъ и Базиль сердился на васъ за шалости, я всегда за васъ заступалась. Наконецъ, еще недавно, когда всѣ были противъ васъ,—à propos de cette femme que je ne veux pas nommer,—я одна стояла за васъ горой. Я сдѣлала балъ, просила васъ дирижировать, чтобы сблизить васъ съ обществомъ, pour vous réhabiliter aux yeux du monde... И что же? Вы не только не цѣните моего расположенія, но даже не падите мою бѣдную Соню. Развѣ вы не знаете, что это ухаживаніе, sans but, и эти толки о свадьбѣ могутъ погубить молодую дѣвушку въ глазахъ свѣта?

— Но что же я могу сдѣлать? — воскликнулъ съ неприкрытымъ отчаяніемъ Алеша.—Просить руки княжны я не смѣю, потому что не имѣю никакой надежды...

— Боже мой, какая скромность! Отчего же это?

— Оттого, что я вижу, что княжнѣ многіе нравятся гораздо больше, чѣмъ я.

— Кто же это, напримѣръ?

— Ну вотъ, напримѣръ, Константиновъ.

— Pardon, Alexis, но вы начинаете говорить глупости. Что такое Константиновъ? Il s'est bien battu à Sébastopol, il ra-

conte joliment про Оедюхины горы, — mais voilà tout. Вспомните этотъ его ужасный титъ, а главное,—le nom qu'il porte... Развѣ это имя? Le joli plaisir de s'appeler madame Константины!

«А не хватитъ ли мнѣ сейчасъ предложеніе? — мелькнуло въ головѣ у Алеши.—Во-первыхъ, тетушка отъ меня отстанетъ (самымъ горячимъ желаніемъ Алеши было въ эту минуту, чтобы тетушка отстала). Во-вторыхъ, княжна дѣйствительно прелестная дѣвушка, а въ-третьихъ, я никогда еще не былъ женатъ; можетъ быть, это и не такъ дурно».

— Вотъ видите, ma tante, я прежде всего съѣзжу въ Москву, чтобы устроить кое-какія денежные дѣла,—началь-было Алеша, но графиня поспѣшила прервать его рѣчь и этимъ испортила все дѣло.

— Что касается вашихъ денежныхъ дѣлъ, мой милый Alexis, то о нихъ вамъ беспокоиться нечего. Вы считаетесь наслѣдникомъ Базиля, но у меня свое довольно большое состояніе, которое я оставляю Сонѣ, такъ что въ случаѣ вашей женитьбы вы получите все...

При этихъ словахъ графиня Алеша весь вспыхнулъ. Ему показалось ужасно обиднымъ, что его соблазняютъ деньгами. Онъ хотѣлъ отвѣтить, что онъ себя не продаетъ, но напелъ, что это будетъ слишкомъ грубо, и удержался. Потомъ онъ хотѣлъ сказать, что княжна Софья Борисовна слишкомъ привлекательна сама по себѣ, чтобы нуждаться для привлеченія жениховъ въ тетушкиномъ состояніи, но этотъ болѣе мягкій отвѣтъ пришелъ ему въ голову слишкомъ поздно. Потомъ,—какъ это всегда съ нимъ бывало при сильныхъ душевныхъ потрясеніяхъ,—ему захотѣлось громко смѣяться, но онъ удержался и отъ этого, не произнесъ болѣе ни одного слова и, какъ-то странно улыбаясь, смотрѣлъ на графиню. Графиня одна говорила пространно и краснорѣчиво на тему семейнаго счастья и ужаснаго положенія неженатыхъ молодыхъ людей. Графъ Василій Васильевичъ не могъ выдержать этого потока краснорѣчія и неожиданно захрапѣлъ. Графиня посмотрѣла на него съ сожалѣніемъ и сказала:

— Это всегда съ нимъ бываетъ, когда онъ обѣдаетъ въ Царскомъ. Le chemin de fer le fatigue trop...

Алеша всталъ, молча поцѣловалъ руку графини и исчезъ. Графиня разбудила мужа.

— Базиль, можешь меня поздравить, дѣло кончено. Не позже какъ черезъ недѣлю Алеша сдѣлаетъ предложеніе.

Черезъ недѣлю Алеша Хотынцевъ получилъ четырехмѣсячный отпускъ и уѣхалъ съ Павликомъ Свирскимъ на охоту въ свою казанскую деревню, ни съ кѣмъ не простившись въ Петербургѣ.

Х.

Въ пятницу на шестой недѣлѣ поста назначенъ быть въ Дворянскомъ собраніи концертъ Контскаго. Наканунѣ этого дня Ольга Борисовна и Соня просили Угарова достать имъ билеты. Исполнить эту задачу было не такъ-то легко. Концертъ былъ очень интересный, послѣдній въ сезонѣ, и всѣ мѣста были разобраны за недѣлю. Угаровъ хлопоталъ все утро, ѣздилъ къ самому Контскому, и наконецъ ему удалось достать четыре билета. Одинъ оставилъ для себя, остальные съ торжествомъ повезъ къ Маковецкимъ.

Швейцаръ объяснилъ ему, что всѣ пошли въ Гостинный дворъ на вербы и что дома одна княжна Софья Борисовна, только что вернувшаяся отъ министерши. Угаровъ быстро взбѣжалъ на лѣстницу. «Теперь или никогда, — подумалъ онъ, — такой случай больше не повторится...» Соня сидѣла въ залѣ за роялемъ и разбирала какой-то новый вальсъ. Поблагодаривъ Угарова за билеты, она сказала ему:

— Вы знаете, Владиміръ Николаевичъ, что я во всю жизнь не проиграла ни одного пари. Вотъ и теперь. Вчера кто-то увѣрялъ, что вы не достанете билетовъ, а я предложила пари, что достанете непременно.

— Отчего же вы были такъ увѣрены въ этомъ?

— Оттого что... не знаю сама, отчего. Оттого что я знала, что вамъ будетъ пріятно доставить удовольствіе... сестрѣ и мнѣ... однимъ словомъ, вашимъ друзьямъ... Послушайте, какой предстанный вальсъ...

И Соня заиграла снова.

— Я дѣйствительно вашъ другъ, — сказалъ Угаровъ, облокотившись на рояль, — а потому рѣшаюсь спросить у васъ: справедливы ли тѣ слухи, которые ходятъ о васъ въ городѣ?

— Какіе пменно?

— Слуховъ такъ много, что въ нихъ не разберешься. Одни говорятъ, что Хотынцевъ сдѣлалъ вамъ предложеніе, и что вы ему отказали; другіе говорятъ, что на Святой вы уѣзжаете и что свадьба будетъ въ деревнѣ...

Соня звонко разсмѣялась и сказала, не прекращая своего вальса:

— На Святой я не уѣзжаю, — свадьбы въ деревнѣ не будетъ, — Хотынцеву я не отказала: предложенія онъ мнѣ не дѣлалъ. Вы видите: все неправда.

— Значитъ, вы свободны? — воскликнулъ Угаровъ. — Въ такомъ случаѣ, княжна, будьте моей женой!

Вальсъ вдругъ оборвался. Угаровъ пришелъ въ такой ужасъ отъ звука произнесенныхъ имъ словъ, что съ отчаяніемъ схватилъ какую-то огромную нотную тетрадь и спряталъ за ней лицо.

— Простите меня, княжна, — заговорилъ онъ, не смѣя взглянуть на Соню, — ради Бога, не говорите ни слова. Я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что вы подумаете и чтобы я подождать. Но я не могу ждать, я слишкомъ долго ждалъ и мучился. Конечно, если вы не хотите, — что же дѣлать!.. Только умоляю васъ: не говорите. Если вы согласны, не ѣдите въ концертъ и останьтесь дома. Я увижу, что Ольга Борисовна вошла одна, приѣду къ вамъ, и мы переговоримъ обо всемъ... Ну, а если вы войдете въ концертъ, тогда — что же дѣлать!..

Раздался звонокъ. Угаровъ, какъ пуля вылетѣлъ изъ залы.

— Вы развѣ не обѣдаете съ нами? — спросилъ его въ передней Маковецкій.

— Нѣтъ, извините, мнѣ некогда, я ѣду въ концертъ. Сегодня концертъ Контскаго.

— Что съ нимъ сдѣлалось? Оля, ты слышала? — сказалъ Маковецкій. — Право, онъ, кажется, сошелъ съ ума. Концертъ въ восемь часовъ, а теперь четыре...

Въ семь часовъ Угаровъ уже входилъ въ длинную и узкую комнату, прилегающую къ большой залѣ Дворянскаго собранія. У дверей залы за столомъ, покрытымъ зеленымъ сукномъ, сидѣлъ господинъ во фракѣ и раскладывалъ программы концерта. Противъ входа, прислонясь къ окошку, стоялъ караульный офицеръ въ каскѣ. Этихъ людей Угаровъ видѣлъ въ первый и въ послѣдній разъ, но лица ихъ такъ врѣзались ему въ память, что всю жизнь онъ не могъ ихъ забыть. Очень скоро началъ

появляться первый слой публики: гимназисты и технологи, блѣдныя дѣвицы въ красныхъ кофточкахъ, молодые люди въ пиджакахъ, дамы въ широкихъ домашнихъ блузахъ. Все это люди, имѣвшіе билеты на хорахъ и явившіеся заблаговременно, чтобы занять мѣста лучше. Около половины восьмого наплывъ ихъ уменьшился; въ теченіе нѣсколькихъ минутъ Угаровъ опять не видѣлъ никого, кромѣ караульнаго офицера и господина во фракѣ. Въ три-четверти восьмого прошла величавая дама въ черномъ бархатномъ платьѣ, съ жемчугомъ на шеѣ, потомъ появился генералъ въ мундирѣ и звѣздахъ, потомъ опять дама, также въ черномъ бархатномъ платьѣ, менѣе величавая, но зато съ тремя дочерьми, потомъ уже непрерывной цѣпью повалила остальная элегантная публика. Угаровъ пріютился за господиномъ во фракѣ и, закрывшись большой программой, не сводилъ глазъ со входной двери. При первыхъ аккордахъ увертюры, раздавшихся въ залѣ, онъ увидѣлъ вдали высокую фигуру и расчесанныя бакенбарды Маковецкаго. Угаровъ невольно зажмурился на секунду. Сердце его уже не билось, а стучало, какъ маятникъ. Когда онъ открылъ глаза, бакенбарды были въ пяти шагахъ отъ него; еще ближе къ себѣ онъ увидѣлъ стройную фигуру Ольги Борисовны. Рядомъ съ ней шла Соня. Лицо ея было серьезно и строго. Никогда еще оно не казалось Угарову такъ красиво и такъ ненавистно. — «Тѣмъ лучше», — сказалъ онъ самъ себѣ и стремительно бросился внизъ, въ швейцарскую, къ удивленію и негодованію изящной публики, поднимавшейся по лѣстницѣ сплошной стѣной. «Тѣмъ лучше», — сказалъ онъ громко, вскакивая на извозчика.

Пріѣхавъ домой, онъ послалъ швейцара за Миллеромъ и объявилъ Ивану, что на слѣдующее утро они ѣдутъ въ Угаровку.

— Это никакъ невозможно, — сказалъ Иванъ, почесавъ затылокъ, — у насъ все бѣлье въ мытьѣ.

— Ну, возьми бѣлье отъ прачки...

— Какъ же я возьму бѣлье? Вѣдь оно будетъ совсѣмъ сырое, а прачка деньги потребуетъ, какъ за настоящее.

— Дѣлай какъ знаешь, но завтра въ одиннадцать часовъ утра мы выѣзжаемъ.

Иванъ еще продолжалъ ворчать, когда вошелъ Миллеръ.

— Въ чемъ дѣло?

— Я получилъ важныя извѣстія изъ деревни и завтра уѣзжаю.

— Надолго?

— Можеть быть навсегда. Будь такъ добръ, сдай кому-нибудь мою квартиру,—срокъ контракта черезъ полтора года,—и продай мебель.

— Ну, за нее много не дадутъ.

— Это мнѣ все равно. Я готовъ даже отдать ее даромъ ховяину, если онъ уничтожить контрактъ. Какъ ты думаешь, согласится?

— Конечно, согласится, но это будетъ слишкомъ глупо. Завтра поговоримъ съ нимъ вмѣстѣ.

— Я завтра уѣзжаю, въ одиннадцать часовъ.

— А отпускъ взялъ?

— Нѣтъ, не взялъ.

— Такъ какъ же ты уѣдешь безъ отпуска?—Поѣзжай послѣ-завтра.

— Нечего дѣлать, придется отложить. Впрочемъ, мнѣ надо еще заплатить кое-какіе счета: поѣду послѣзавтра.

— Ну вотъ, оно такъ-то будетъ лучше,—сказалъ Иванъ, любившій подслушивать.—По крайности, бѣлье просохнетъ.

Миллеръ началъ ходить взадъ и впередъ по гостиной въ глубокой задумчивости. Потомъ онъ зажегъ свѣчу и обогрелъ всѣ комнаты, соображая что-то.

— Ну, прощай, завтра утромъ зайду.

А Угаровъ отворилъ всѣ ящики своего письменнаго стола и началъ перечитывать и рвать письма, накопившіяся у него со времени пріѣзда въ Петербургъ. Письма Марьи Петровны онъ хотѣлъ сохранить и откладывалъ въ особую шкатулку. Вдругъ онъ вздрогнулъ. Ему попалась подъ руку единственная записка, полученная отъ Сони: «Сегодня въ девять часовъ у насъ играютъ квартетъ Бетховена, который вы такъ любите. С. Б.». Онъ скомкалъ эту записку и хотѣлъ изорвать ее съ ожесточеніемъ, но рука его какъ-то машинально бросила ее въ шкатулку.—«Изорву потомъ»,—оправдывался онъ передъ собою.

Въ первомъ часу ночи раздался звонокъ. Вошелъ Миллеръ.

— Я къ тебѣ по дѣлу. Согласенъ ли ты на слѣдующія условія: квартиру ты передашь сейчасъ же, за мебель тебѣ дадутъ половину того, что она тебѣ стоила, но только деньги ты получишь черезъ годъ.

— Какъ же мнѣ не согласиться? Я лучшихъ условій и не желаю.

— Ну, въ такомъ случаѣ дѣло кончено. Твою квартиру я беру для себя.

Миллеръ ушелъ и черезъ минуту вернулся опять.

— Еще забылъ сказать одно условіе. Завтра въ пять часовъ ты долженъ у меня обѣдать и, если тебѣ все равно, надѣнь фракъ.

На слѣдующее утро Угаровъ прежде всего отправился въ министерство. Горичъ устроилъ ему отпускъ въ нѣсколько минутъ, и хотя спросилъ о причинѣ его внезапнаго отъѣзда, но ему показалось, что Горичъ знаетъ все. Эта мысль была такъ ему невыносима, что онъ поспѣшилъ уйти и даже не сказалъ о днѣ своего отъѣзда, чтобы избѣжать дальнѣйшихъ свиданій съ Горичемъ. Потомъ онъ отвезъ въ магазинъ Овчинникова оставшіяся у него книги. Сомовъ очень внимательно сосчиталъ ихъ, возвратилъ Угарову залогъ и попросилъ расписаться въ полученіи денегъ.

— Что же, Орестъ Ивановичъ,—спросилъ Угаровъ, расписываясь въ большой книгѣ,—и вы тоже думаете, что при мнѣ надо остерегаться, какъ бы не сказать чего-нибудь лишняго?

— Нѣтъ, я этого не думаю,—отвѣчалъ, потупивъ глаза, Сомовъ,—потому что я не считаю васъ способнымъ на какую-нибудь подлость. Но только опять и то правда, что видѣться намъ бесполезно, потому что убѣжденія у насъ слишкомъ различны. Да и дороги наши разныя,—прибавилъ онъ какимъ-то особенно грустнымъ тономъ и поспѣшилъ перейти къ какой-то толстой дамѣ, которая уже давно приставала къ приказчику, чтобы онъ далъ ей «Education maternelle» съ картинками.

Хотя Угаровъ никогда не нуждался въ деньгахъ, но въ теченіе трехъ лѣтъ у него накопились кое-какіе мелкіе долги въ магазинахъ. Заѣзды въ эти магазины, а также къ портному заняли у него много времени. Счетъ у Дюкрѣ оказался на тысячу рублей болѣе, чѣмъ онъ предполагалъ, такъ что половину долга онъ обѣщалъ выслать изъ деревни. Мадамъ Дюкрѣ очень просила этого не дѣлать и выразила готовность ждать хоть десять лѣтъ. Отъ Дюкрѣ Угаровъ зашелъ сдѣлать прощальный визитъ дядюшкѣ. Иванъ Сергѣевичъ Дорожинскій сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ, но въ другомъ, болѣе широкомъ креслѣ, пе-

ренесенномъ изъ спальни и обложенномъ подушками. Онъ простудился и уже нѣсколько дней не выѣзжалъ изъ дома.

— Впрочемъ, это вздоръ, — сказалъ онъ бодро, — докторъ обѣщалъ черезъ три дня меня выпустить.

Но, взглянувъ на его осунувшееся лицо и тускло равнодушные глаза, Угаровъ подумалъ, что врядъ ли дядюшкѣ придется когда-нибудь выѣзжать изъ дома.

Аеанасій Ивановичъ, сидѣвшій также у дядюшки, весь сіялъ какимъ-то особеннымъ ореоломъ.

— Какъ я радъ, мой дорогой, — сказалъ онъ Угарову, — что мы вмѣстѣ ѣдемъ завтра, но это чистая случайность. Я долженъ былъ уѣхать сегодня и остался только оттого, что сегодня у насъ въ клубѣ стерляжъ уха.

Хотя онъ слегка подчеркнул слова: «у насъ въ клубѣ», но Угаровъ этого не замѣтилъ, а потому Аеанасій Ивановичъ поспѣшилъ разъяснить ихъ.

— Вѣдь я въ прошлую субботу избранъ въ члены англійскаго клуба.

— И прекрасно прошелъ, — сказалъ Иванъ Сергѣевичъ.

Впрочемъ, избраніе Аеанасія Ивановича прошло не безъ протеста. Во время баллотировки кто-то состригъ, что баллотировуется «ренонсъ», и эта шутка доставила Аеанасію Ивановичу нѣсколько черныхъ шаровъ. Тучный и красивый генералъ, съ глазами на выкатѣ, уже выпившій три стакана холодной жюнки, подойдя къ ящику Дорожинскаго, воскликнулъ:

— Какой это Дорожинскій? Тотъ, что всѣмъ представляется? Налѣво ему!

Старшина, шедшій за генераломъ съ тарелкой шаровъ въ рукѣ, сказалъ безстрастнымъ голосомъ:

— Предлагаютъ Иванъ Сергѣевичъ и Петръ Петровичъ.

— Ну, въ такомъ случаѣ, нечего дѣлать, положу направо. Пускай себѣ представляется на здоровье.

Въ день баллотировки Аеанасій Ивановичъ не имѣлъ права обѣдать въ клубѣ, а просидѣлъ нѣсколько часовъ въ своемъ номерѣ у Демута въ такомъ волненіи, что даже не могъ обѣдать. Въ одиннадцатомъ часу ему прислали изъ клуба членскій билетъ. Аеанасій Ивановичъ хотѣлъ сейчасъ же ринуться въ клубъ, но, не желая выказывать слишкомъ большой торопливости, остался дома. Болѣе всего радовала его мысль, что онъ каждую

минуту можетъ поѣхать въ клубъ. Какъ скупой рыцарь, онъ могъ сказать:

..... Съ меня довольно
Сего сознанья.....

Зато какимъ наивнымъ самодовольствомъ, какимъ скромнымъ торжествомъ дышала вся фигура Аванасія Ивановича, когда на другой день, на парѣ великолѣпныхъ рысаковъ, онъ подъѣзжалъ къ англійскому клубу. Онъ испытывалъ такое чувство, какъ будто въѣзжалъ въ одно изъ своихъ имѣній. Ему казалось, что даже часть Демидова переулка принадлежитъ ему. Онъ пріѣхалъ за часъ до обѣда, въ клубѣ еще никого не было. Аванасій Ивановичъ вошелъ въ читальню. «И книги, и журналы, и газеты, все это мое,—подумалъ онъ.—Бильярдъ тоже мой». Онъ посидѣлъ и въ бильярдной. «И кегли мои»,—но въ кегельную не пошелъ, потому что было бы слишкомъ смѣшно сидѣть тамъ одному. Какъ всякій вновь поступавшій въ члены куба, онъ пожертвовалъ большой кушъ въ пользу прислуги, но, независимо отъ этого, щедро награждалъ каждого поздравлявшаго его лакея.

Съ другими членами клуба отношенія его радикально измѣнились. Съ этой минуты онъ никому не представлялся, онъ только знакомился.

Въ пять часовъ Угаровъ, облекшись во фракъ, входилъ къ Миллеру. Онъ засталъ тамъ множество бароновъ Экштадтовъ, фонъ-Экштадтовъ, фонъ-Миллеровъ и всякихъ другихъ «фоновъ». Изъ знакомыхъ Угарова былъ только его товарищъ Кнопфъ, но и того звали здѣсь фонъ-Кнопфомъ. Генеральша Миллеръ была въ пышномъ лиловомъ платьѣ, полу-декольтѣ, съ тюлевой накидкой, приколотой брилліантовой брошкой.

— Обратите вниманіе на этотъ брилліантъ,—сказала она Угарову.—Въ немъ болѣе трехъ каратовъ.

Бѣдная Эмилиа такъ растолстѣла, что миловидность ея совсѣмъ исчезла, и она казалась почти однихъ лѣтъ съ матерью. Вильгельмина фонъ-Экштадтъ, въ бѣломъ платьѣ, съ блестящими глазами и съ лицомъ, сіяющимъ отъ счастья, была, напротивъ того, очень миловидна. Въ концѣ невыносимо длиннаго обѣда генеральша провозгласила тостъ за жениха и невѣсту. Поднялся пасторъ и очень долго говорилъ по-нѣмецки, послѣ чего Карлуша Миллеръ и Вильгельмина поцѣловались. Тотчасъ послѣ

обѣда женихъ и невѣста захотѣли посмотрѣть свое будущее жилище. Угаровъ предложилъ имъ сопутствовать, но они предпочли идти одни. Генеральша начала благодарить Угарова.

— Если бы вы не уѣхали въ деревню, мои бѣдныя дѣти ждали бы еще цѣлый годъ, а теперь они будутъ счастливы, и этимъ счастьемъ они обязаны вамъ...

— Однако они слишкомъ долго остаются въ вашей квартирѣ, — сказалъ шутя Угарову старѣйшій изъ гостей, баронъ Рейнгольдъ фонъ-Экштадтъ.

— О, это ничего! — воскликнула генеральша. — Они строятъ въ разныхъ комнатахъ станціи своего будущаго счастья.

Это чужое счастье невольно волновало Угарова, и со дна души его поднимались горькія мысли. Онъ рано пошелъ домой. Когда онъ увидѣлъ свою полуразоренную квартиру, съ выдвинутыми ящиками и раскрытыми столами, съ веревками и газетами, валявшимися на полу, вся его трехлѣтняя петербургская жизнь предстала ему въ своей неприглядной наготѣ. Три года влачилъ онъ эту пустую, эфемерную, кабацкую жизнь, безъ всякой пользы для другихъ, безъ всякой радости для себя. Былъ одинъ домъ, въ которомъ онъ отдыхалъ душой, была одна дѣвушка, которая могла составить его счастье. И вотъ теперь, безъ всякой причины, безъ всякой вины, этотъ домъ навсегда закрыть для него, эту дѣвушку онъ никогда не увидитъ.

«Хоть бы написала мнѣ два слова, — думалъ Угаровъ, — хоть бы что-нибудь объяснила, подала какую-нибудь надежду. Правда, я самъ просилъ ее ничего не говорить, но все-таки она должна была это сдѣлать. А то прогнала меня молча, какъ сгоняютъ съ руки назойливую муху, и поѣхала въ концертъ». Въ теченіе сутокъ Угаровъ вѣпилъ и безпрестанно говорилъ себѣ: «тѣмъ лучше»; кромѣ того, приготовленія къ отъѣзду и всякія хлопоты поглощали его вниманіе. Теперь, когда безъ всякаго дѣла онъ остался одинъ съ своими мыслями, невыносимая горечь обиды охватила его сердце.

Въ такомъ же мрачномъ настроеніи пріѣхалъ онъ и на слѣдующее утро на желѣзную дорогу. Азанасій Ивановичъ былъ также въ дурномъ расположеніи духа. Двѣ губернаторскія ваканціи проскочили у него мимо носа, а наканунѣ въ клубѣ изъ разговора съ однимъ вліятельнымъ лицомъ онъ убѣдился, что фонды его въ министерствѣ стояли вообще невысоко. Едва

успѣвшись въ вагонъ, онъ уже началъ высказывать свое недовольство существующимъ порядкомъ.

— Вся бѣда, мой дорогой Владиміръ Николаевичъ, въ томъ, что у насъ не умѣютъ цѣнить людей. По теперешнему времени правительству нужны люди знающіе и энергичные. И они есть, но ихъ не видятъ, или не хотятъ замѣчать. Вездѣ протекція, вездѣ все та же старая опричина. Что же остается нашему брату, коренному дворянину? Намъ остается одно, крѣпко сплотиться и дѣйствовать во-едино противъ общаго врага, чиновника...

Поездъ тронулся. По обѣимъ сторонамъ дороги, какъ послѣдній привѣтъ Петербурга, стояли безобразныя фабрики съ закопѣлыми трубами и чернымъ, валпвшимъ изъ нихъ дымомъ. Но вотъ фабрики кончились, передъ глазами раскрылось черное поле. Свѣжій весенній вѣтерокъ врывался въ окно вагона, въ большихъ лужахъ играло яркое солнце, молодая травка зеленѣла по краямъ канавы. Вздохъ облегченія вырвался изъ груди Угарова, какъ у человѣка, очнушагося отъ долгаго кошмара. Онъ не слушалъ Аеанасія Ивановича, который все говорилъ, говорилъ безъ конца; онъ прислушивался къ какому-то внутреннему голосу, который шепталъ ему: «Полно тебѣ унывать и приходить въ отчаяніе. Ну, да, тебѣ теперь обидно и больно, но что же изъ этого? Жизнь не кончена, вся жизнь впереди. Еще много испытаешь и радости, и горя, еще успѣешь пожить и для другихъ, и для себя!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Осень и зима 1858 года были очень оживлены въ губернскомъ городѣ Зміевѣ. Въ началѣ осени ожидался пріѣздъ новаго губернатора, въ ноябрѣ должны были происходить дворянскіе выборы, а въ декабрѣ — засѣданія дворянскаго комитета по улучшенію быта крестьянъ.

Князь Холмскій, болѣе десяти лѣтъ управлявшій Зміевской губерніей, оказался при новыхъ порядкахъ далеко не на высотѣ своего призванія. Онъ не только не сочувствовалъ никакимъ реформамъ, но, говоря о нихъ, выражался такъ: «съ позволенія сказать, реформы». Онъ считалъ эту шутку очень остроумной и, произнеся ее, всегда громко хохоталъ самъ. Двухъ чиновниковъ своей канцеляріи онъ выгналъ со службы за то, что они публично говорили о необходимости освобожденія крестьянъ. Весной 1858 года онъ былъ назначенъ сенаторомъ въ Москву, и Зміевская губернія управлялась вице-губернаторомъ Андреемъ Николаевичемъ Бубликовымъ. Это былъ человекъ хорошій, но мнительный и огорченный. Онъ былъ переведенъ на службу въ Зміевъ еще раньше князя Холмскаго, когда начальникомъ губерніи былъ генералъ Крампъ, сразу не влюбившій новаго вице-губернатора. Князь Холмскій обращался съ нимъ такъ же высокоумѣрно, какъ съ послѣднимъ писцомъ своей канцеляріи. Все это наложило на его безбородое лицо печать вѣчнаго

унынія. Выраженія его глазъ никто не видѣлъ, потому что съ молодыхъ лѣтъ онъ носилъ четырехугольные синіе очки, надъ которыми поднимались и опускались густыя брови, выражая полную безнадежность. Пятнадцать лѣтъ онъ жилъ надеждою попасть въ губернаторы, но одна вліятельная особа, проѣзжавшая черезъ Зміевъ, сказала про Бубликова: «il n'est pas du bois dont on fait les gouverneurs», и этотъ приговоръ, вызванный несчастной наружностью, а отчасти и смѣшной фамиліей вице-губернатора, положилъ предѣлъ его дальнѣйшей карьерѣ. Послѣ десятилѣтняго пребыванія въ Зміевѣ, Бубликовъ женился на Ольгѣ Ивановнѣ Койровой, дочери мѣстнаго помѣщика.....

.



*) На этомъ прерывается рукопись.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Биографическій очеркъ	СТРАН. V
---------------------------------	-------------

Стихотворенія.

Къ родинѣ	3
Жизнь («О, жизнь! ты—мигъ...»)	4
Дума матери	5
Поэтъ	7
Голгоѳа	8
Май въ Петербургѣ	10
Вечеръ	11
Близость осени	12
Сиротка	13
Жизнь (К. П. Апухтиной) («Пѣсня туманная...»)	15
Отвѣтъ анониму	16
Весеннія пѣсни	17
Серенада Шуберта	19
«Я зналъ его, любви прекрасный сонъ...»	20
Сегодня мнѣ исполнилось 17 лѣтъ	21
Въ альбомѣ	26
Комета (изъ Беранже)	27
«Гремѣла музыка, горѣли ярко свѣчи...»	28
Къ утеряннымъ письмамъ	29
Е. А. Хвостовой (экспромтъ)	31
Мое оправданіе	32
Въ вагонѣ	33
Подражаніе древнимъ	34
Пѣсни	35
Картина	36
Первой розѣ	37
Прощаніе съ деревней	38

	СТРАН.
Memento mori	39
Изъ Гейне («Меня вы терзали, томили...»)	41
Изъ Байрона («Мечтать въ поляхъ, взбѣгать на выси горъ...»)	42
Молодая узница (изъ А. Шенье)	43
М-ше Вольнисъ («Искусству все пожертвовать умѣя...»)	45
Проселокъ	47
Греція (посв. Н. Ѳ. Щербинѣ)	49
«Волшебныя слова любви и упоенья...»	50
«Когда такъ радостно въ объятіяхъ твоихъ...»	51
На могилѣ	52
Посвященіе	53
Маю	55
«О, Боже! какъ хорошъ прохладный вечеръ лѣта...»	—
«Я люблю тебя такъ оттого...»	57
«Ни веселья, ни сладкихъ мечтаній...»	58
Отрывокъ (изъ А. Мюссэ)	59
Изъ весеннихъ пѣсенъ	60
Изъ поэмы «Послѣдній романтикъ». I. «Малыгинъ родился въ глуши степной...»	63
II. <i>Chanson à boire</i>	64
Солдатская пѣсня о Севастополѣ	66
Гаданье	68
На балу	70
Къ молодости	71
Астрамъ	72
Двѣ грёзы	—
Къ Гретхенъ (экспромтъ послѣ перваго представленія оперетки «Petit Faust»)	74
Подражаніе древнимъ	75
«Among them but not of them» (изъ Байрона)	76
Минуты счастья	77
Où est le bonheur (Минуты счастья)	78
Нинѣ (изъ А. Мюссэ)	79
Пепитѣ (изъ А. Мюссэ)	81
Дорожная дума	83
Къ морю	84
«И ждалъ тебя... Часы ползли уныло...»	85
«Ни отзыва, ни слова, ни привѣта...»	86
Нюбея (заимствовано изъ «Метаморфозъ» Овидія)	87
Странствующая мысль	90
Моленіе о чашѣ	92
Ночь въ Монпелье	94
«Мнѣ снился сонъ... То былъ ужасный сонъ...»	96
Судьба (къ 5-й симфоніи Бетховена)	97
А. С. Даргомыжскому («Съ отрадой тайною, съ горячимъ нетерпѣньемъ...»)	99
Реквиемъ	100
Ледяная дѣва (изъ норвежскихъ сказокъ)	104
Старая цыганка	109
Встрѣча	113
«Опять въ моей душѣ тревоги и мечты...»	114

Королева	115
Актеры	118
Будущему читателю (въ альбомъ О. А. К—ой)	120
«Въ дверяхъ покинутаго храма...»	121
Праздникомъ праздникъ	122
Съ курьерскимъ повозомъ	123
«Въ убогомъ рубищѣ, недвижна и мертва...»	127
А. Н. М—ву («Уставши на пути, тернистомъ и далеко...»)	128
Осенніе листья	129
«Когда Израиля въ пустынь врагъ настигъ...»	131
A la pointe	132
Умирающая мать (съ французскаго)	134
Огонекъ	135
Недостроенный памятникъ	136
«Я ее побѣдилъ, роковую любовь...»	139
Твоя слеза	141
«О, смѣйся надо мной за то, что безучастно...»	142
Любовь	143
Падающей звѣздѣ	144
М. Д. Ж—ой («Когда путемъ, несноснымъ и суровымъ...»)	145
Венеція	146
Швейцарскъ	153
О цыганахъ (посв. А. И. Г—ву)	155
Памяти Н. Д. Карпова («Съ тѣхъ поръ, какъ помню жизнь, я помню и тебя»	157
«Какъ бѣдный пилигримъ, безъ крова и друзей...»	158
«Въ уютномъ уголкѣ сидѣли мы вдвоемъ...»	159
«Сухія, рѣдкія, нечаянныя встрѣчи...»	160
«Въ темную ночь, непроглядную...»	161
«Средь смѣха празднаго, среди пустаго гула...»	162
«Ночи безумныя, ночи безсонныя...»	163
Наканунѣ	164
П. И. Чайковскому («Ты помнишь, какъ забившись въ «музыкальной»)	165
Во время войны. I. Братьямъ	166
II. Равнодушный	167
Публика (во время представленій Росси)	168
Надъ связкой писемъ	169
Графу Л. Н. Толстому («Когда въ грязи и льки возникшему кумиру...»)	170
«Истомилъ меня жизни безрадостный сонъ...»	171
«Птичкой ты рѣзвой росла...»	172
Двѣ вѣтви	173
«Отчалила лодка... Чудъ брезжилъ разсвѣтъ...»	174
«Снова одинъ я... Опять безъ значенья...»	175
«Черная туча виситъ надъ полями...»	176
Разбитая ваза (подражаніе Скулли Прюдому)	178
Мухи	179
Старая любовь	180
Пара гнѣдыхъ (переводъ изъ Донаурова)	181
«Привѣтствую васъ, дни труда и вдохновенья!...»	183
Голосъ весны	184
Богиня и пѣвецъ (изъ Овидія)	186

«Когда любовь охватить насъ...»	186
Пыганская пѣсня	188
«Прости мени, прости! Когда въ душѣ мятежной...»	189
Два голоса (посв. С. К. и Е. К. З—нымъ)	190
«Пусть не любишь стиховъ ты; пусть будетъ чужда...»	191
В. М—ву («Мой другъ, тебя томить невѣрная примѣта...»)	192
Памятная ночь	193
На новый 1881 годъ	195
Отравленное счастье	196
Къ поэзіи (посв. А. В. П—вой)	198
«День ли царитъ, тишина ли ночная...»	200
1882 г.	201
Г. Карцову («Настойчиво, прилежно, терпѣливо...»)	202
Письмо	203
Сонъ	207
«Изъ отроческихъ лѣтъ онъ выходилъ едва...»	209
Музѣ	210
Ссора	211
«О, да! повѣрилъ я. Мнѣ вѣрить такъ отрадно...»	213
Годъ въ монастырѣ (отрывки изъ дневника)	214
«Люби, всегда люби! Пускай въ мученьяхъ тайныхъ...»	234
«Оглашенніи, изыдите...»	235
«О, скажи ей, чтобъ страсть роковую мою...»	236
Памяти Нептуна	237
Во время болѣзни	238
Пѣвица	239
Позднее мщеніе	241
«О, будьте счастливы! Безъ жалобъ, безъ упрека...»	243
«Какъ пловецъ утомленный, безъ вѣры, безъ силъ...»	244
Отвѣтъ на письмо	245
5-го декабря 1885 г.	247
А. Г. Рубинштейну (по поводу «историческихъ концертовъ»)	248
Памяти прошлаго	249
Старость	250
Изъ бумагъ прокурора	253
Передъ операциею	261
«Мнѣ не жаль, что тобою я не былъ любимъ...»	263
Памяти Ѳ. Н. Тютчева	264
«Въ житейскомъ холодѣ, дрожа и изнывая...»	265
«Прощай!»—твержу тебѣ съ невольными слезами...»	266
«О, не сердись за то, что въ часъ тревожной муки...»	—
К. Д. Нилову («Ты насъ покидаешь, пловецъ безпокойный...»)	267
А. Н. Островскому («Лѣтъ двадцать пять назадъ спала родная сцена...»)	268
«Проложенъ жизни путь безплодными степями...»	269
Сумасшедшій	270
29-е апрѣля 1891 г.	273
Голосъ издалика	274
«Давно-ль, вашъ городъ проѣзжая...»	275
«Опять пишу тебѣ, но этихъ горькихъ строкъ...»	277
«О, что за облако надъ Русью пролетѣло...»	—

«Передъ судомъ толпы коварной и кичливой...»	278
«Все, чѣмъ я жилъ, въ чемъ ждалъ отрады...»	—

Князь Таврическій. Драматическая сцена	281
--	-----

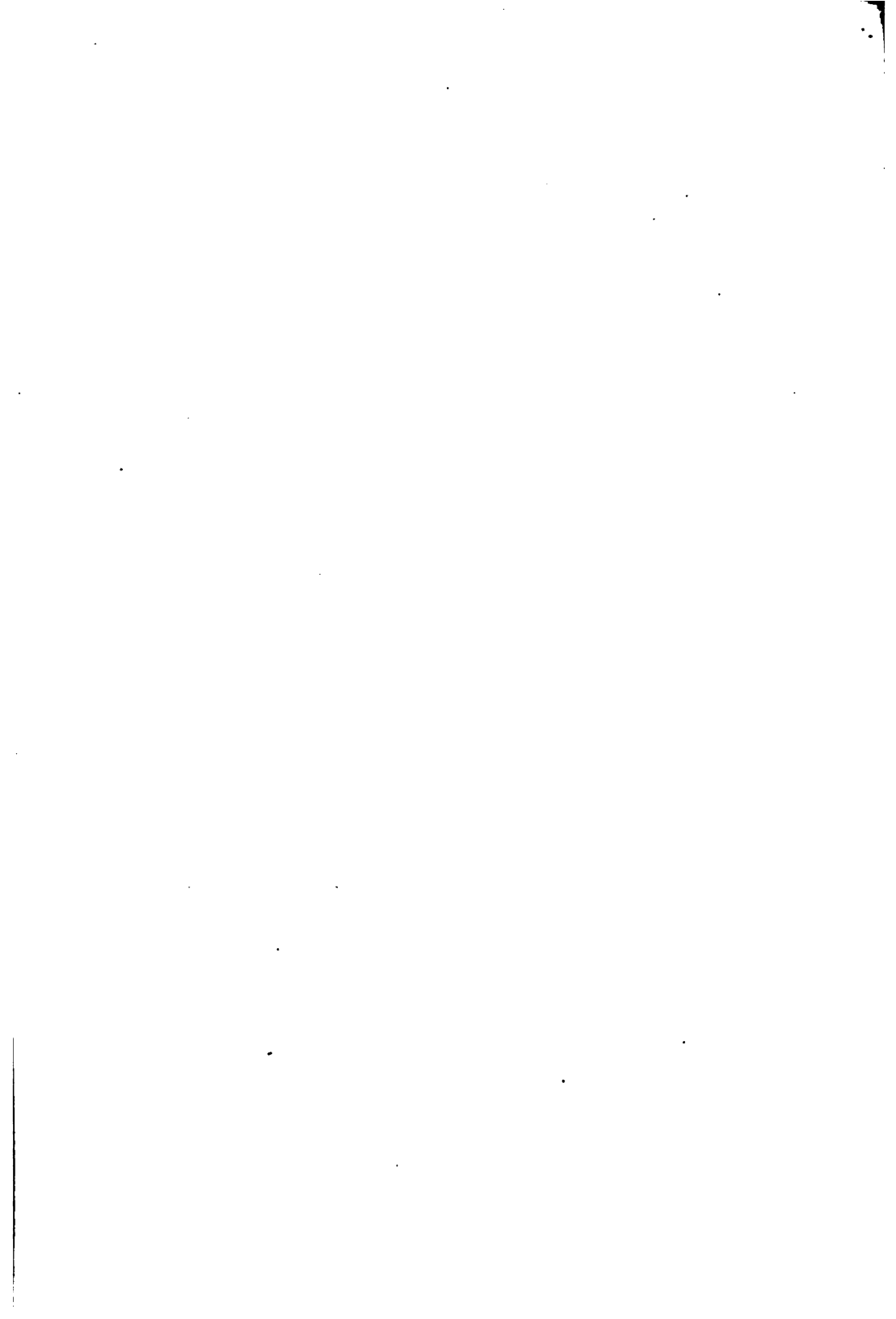
Юмористическія стихотворенія.

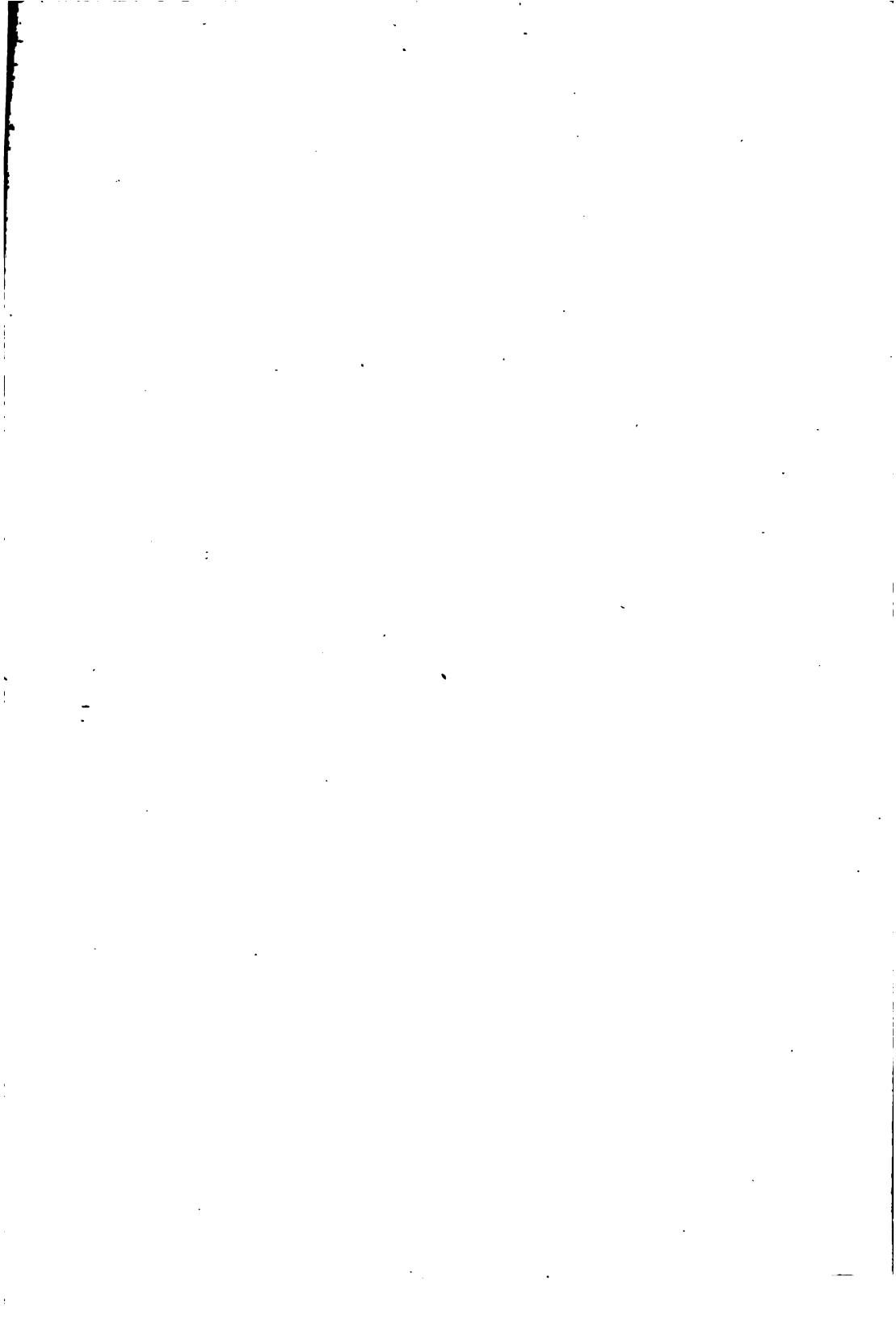
Пародія («Пьяные уланы...»)	291
Первое апрѣля	292
Пародія («Боже! въ какомъ я теперь упоеніи...»)	294
Советъ молодому композитору (по поводу оперы Сѣрова «Не такъ живи, какъ хочется»)	295
Дилетантъ	—
«Когда будете, дѣти, студентами...»	297
В. А. Вилламову (отвѣтъ на посланіе)	298
«Напрасно молокомъ лѣчиться ты желаешь...»	299
Проповѣднику	—
Эпиграмма	—
Пѣвецъ во станѣ русскихъ композиторовъ	300
Изъ записокъ ипохондрика	303
Надпись на своемъ портретѣ	—
Кумушкамъ	304
П. И. Чайковскому («Къ отъѣзду музыканта-друга...»)	305
Посланіе графу А. Н. Граббе («Княгиня Тамара, дочь Гудала...»)	306

Проза.

Архивъ графини Д**. Повѣсть въ письмахъ	311
Дневникъ Павлика Дольскаго	369
Между смертію и жизнью. Фантастическій разсказъ	427
Неоконченная повѣсть	457











3 2044 011 257 714

THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS
NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON
OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED
BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE
NOTICES DOES NOT EXEMPT THE
BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER
BOOK DUE

SEP 10 1991

CANCELLED

MAY 14 1991

~~WIDENER
BOOK DUE~~

~~FEB 19 1990~~

~~WIDENER
BOOK DUE~~

~~FEB 19 1990~~